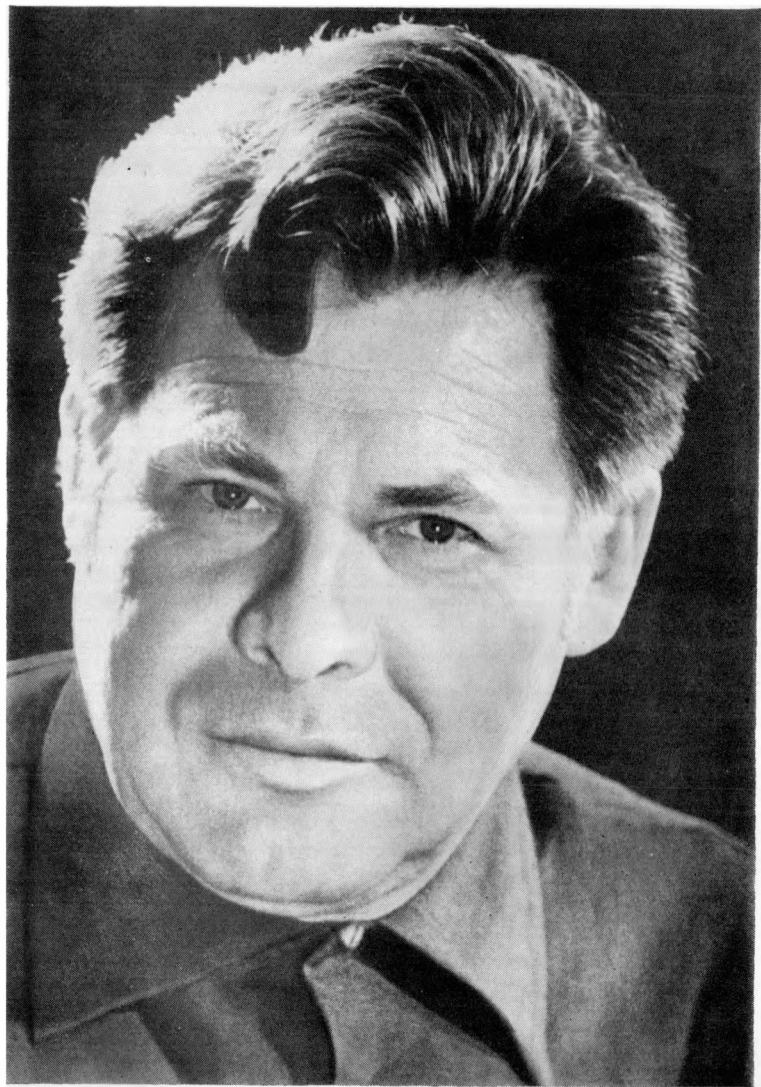


ЕВГЕНИЙ НОСОВ

ЕВГЕНИЙ
НОСОВ

ШУМИТ
ЛУГОВАЯ
ОВСЯНИЦА

**Постановлением Совета Министров РСФСР
писателю Евгению Ивановичу Носову
за книгу «Шумит луговая овсяница»
присуждена Государственная премия РСФСР
имени М. Горького за 1975 год.**



ЕВГЕНИЙ НОСОВ

ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА

Повести и рассказы

Издательство
«Советская Россия»
Москва
1977

Носов Е. И.

Н84 Шумит луговая овсяница. Повести и рассказы. М., «Сов. Россия», 1977.

496 с. (Лауреат Государственной премии РСФСР им. М. Горького).

В книгу вошли избранные рассказы и повести Евг. Носова, среди которых многие получили широкую известность у читателя. Их дополняют короткие рассказы-зарисовки, в которых писатель предстает тонким, влюбленным в природу знатоком и ценителем ее.

Н 70302—139 79—77.
М — 105(03)77

Р2

ХРАМ
АФРОДИТЫ

*Деревенские
повести*

ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА

1

В середине лета по Десне закипали сенокосы. Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не застя солнца, белые округлые облака. Раза два или три над материковым обрывистым убе-режьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлеб-ных высот, от полужских тесовых деревень неспешно наплы-вала на луга туча в серебряных окоемках. Вставала она высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и похохатывала громами и вдруг оглу-шительно, весело шарахала в несколько разломистых колен, и стеклянным перезвоном отзывалась Десна под теплыми струями ливня. Полоскались в веселом спором дожде при-тихшие лозняки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирала влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь. А в заречье, куда сваливалась туча, уже висела над синими лесами оранжевая радуга. Оттуда тянуло грибной прелью, мхами и умытой хвоей.

Лесные запахи мешались с медовыми и чайными запа-хами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмель-но и необъяснимо радостно и молодо на душе.

После таких дождей вдруг выметывала в пояс луговая овсяница, укрывала собой клевера, белые кашки, желтые подмаренники, выколашивалась над пестротравьем, и луга одевались нежной фиолетовой дымкой. И как только накаты-вал этот чуткий дымок на луга — днями быть сенокосу.

Первыми съезжались в пойму председатели и бригади-ры — местные, из полужских колхозов, и дальние, с суходо-лов. Суходольские тоже имели здесь свой пай. Ходили по пояс в травах, осматривали деляны, ставили тычки.

Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли. Суходольские косари спуска-лись со знойных бугров и междуречий будто на великое

переселение: в пароконках — бочки с горючим, артельные казаны, связанные по ногам бараны, кули с мукой и картошкой, пуки деревянных граблей, старых и новых, белых, только что наструганных. Ехали целыми семьями — с женами и ребятишками, ветхие старички и те увязывались, тряслись в новых рубахах, ухватясь черными сухими пальцами за грядки, будто ехали к причастию. Иные еще бодро сидели в передках, крутили концами вожжей над лошадьми, покрикивали с незлобной хрипотцой: «Но-о, окаянные! Шевелись!» — а сами все поглядывали из-под картузов на буйную травяную вольпицу, и в просветленных лицах была заметна хозяйственная озабоченность и много-много раз пережитая радость предстоящей сенокосной страды, крестьянской работы — праздника.

Молодежь ехала особняком. Парни в пестрых майках, крутые угловатые плечи в каштановом загаре, девчата, как одна, в косынках шалашиком. Сидели в больших сенных телегах, свесив босые ноги в бортовые решетки. Рыкала перебиваемая колесным перестуком гармошка, кто-то голосисто выкрикивал частушки, полоскались над головами, мельтешили листвою натыканные торчком березовые ветки.

Останавливались на самом берегу, глушили тракторы, в тени лозняков распрягали лошадей с темными пропотелыми холками, засыпали им вдоволь полные телеги свежескошенной травы, по которой еще прыгали кузнечики, а сами, изголодавшись на своих хлебных увалах по вольной воде, лезли в Десну. Гулко бухались с глинистого уреза парни, выныривали, мотали головами, стирали с глаз прилипшие волосы, блаженно отфыркиваясь. Девчата визжали от ласки воды, неистово колотили ногами, выбрызгивая белые пузырьстые столбы, полоумно шарахались от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце.

А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики, бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями. У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины. Старики забредали недалеко, по коленки, и, не стыдясь сраму, в простой житейской потребности, ахая и придыхая, плескали на себя бегучую хрустальную теплынь. Потом долго намыливались, пуская шапки пены по струе, ласково разговаривая с пескарями, что доверчиво ты-

кались в ноги. Мылись обстоятельно, на весь год, до следующего сенокоса, если еще приведется...

Ребятишки, уже накупавшись до звона в ушах, жарились в песочных лунках, засыпали себя каленым крупитчатым сахаром, а потом, серые, шершавые от песка, который, просыхая, осыпался с приятным зудом во всем теле, бежали в лозняки, трещали кустами, визжали, обстрекаясь о крапиву, и объедались еще не успевшей покраснеть дармовой ничейной ежевикой.

На лужку, на обрыве, вытянув по траве ноги, сложив в подол между коленок ненужные руки, сидели рядышком замужние бабы, отвыкшие за многие годы семейных забот от вольной речной воды, стыдясь при таком народе, при таком солнце оголиться, снять с себя одежду. Сидели, поглядывали с виноватыми улыбками на молодых беспечных девок, на Десну в слепящем блеске. Для них в кои-то разы посидеть вот так на бережку — и то радостно. Кто-нибудь из озорников подкрадывался по воде, выхватывал из-под берега и шмякал прямо в подол линючего, облезлого рака. Бабы взвизгивали, раскатывались по траве, подбирая ноги, начинали журить шалопута и вдруг, устыдясь своей праздности, вставали и шли к телегам искать какого-нибудь дела, без коего не могла баба чувствовать себя нормальным человеком ни в праздники, ни в похороны.

Под вечер, наполоскавшись в реке, тут же на берегу выкашивали поляну под бригадное становище, плели из лозняка низкие балаганы, каждый на свою семью, закидывали их тяжелой травой, оставляя узкий пчелиный лаз, поодаль врывали казан под общий кулеш, и так по всему берегу на много верст возникли временные сенные селища с теми же, по своим деревням, названиями: Меловое, Сухой Колодец, Польшовка...

Полужане, в отличие от суходольских, выезжали в луга налегке, без баранов и кулей муки — за всем этим ездили на колхозное подворье по ходу дела, однако, чтобы не тратить время, тоже жили балаганами, вкапывали артельные котлы, и у них становища назывались не так сурово: Лужки, Доброводье, Поречное или какие-нибудь Лебяжьи Капустичи.

Две недели кипела в лугах жаркая неумная работа. Начиналась она с рассветом. Все вокруг еще в призрачной дреме. Диковинными башнями громоздились на той стороне неясные лозняки и ветлы. Десна — под куревом тумана, только слышно, как хрустально вызванивали капли росы, роняемые с нависших кустов в чуткую воду, да на весь плес бормотали

струи вокруг затонувшей коряги. Все мокро и серо от росы: мокры задранные оглобли телег, горбатые спины бочек с соляркой, мокры и седые балаганы, и на дне остывшего казана за ночь набежало чистое озеро росы над остатками пшенной каши.

Но вот зашебуршало в одном из шалашей, рука прокопала сенную затычку в лазе. Наружу, как большой неуклюжий жук, выползал дед Тимофей. Выпрямлялся, с кряхтением отрывая от земли оплетенные веревками жил руки, да так, и не выпрямившись до конца, оставался стоять на полусогнутых ногах, и синяя выпущенная рубаха пусто балахонилась спереди и натянута кургузилась сзади. Тимофей сипло откашливал вчерашнее курево, долго и зло скреб под рубахой за поясом: приходил в себя. И не ожив еще как следует, уже крутил утреннюю сигарку и приглядывался к косам, что свисали крючковатыми носами с ошкуренной слеги. И на каждом кончике косы — по росяной капле.

Тимофей осматривал косы, выбирал ту, что притупилась, присаживался с ней на козелки с наковаленкой и прицеливался перевернутым молотком.

«Ди-у, ди-у, ди-у» — чисто, ясно, певуче разносилось над лугами, над сонным становищем. И тотчас на той стороне в лозняках отзывалось еще тоньше и певуче: «Ти-у, ти-у, ти-у»...

Шуршали сеном разбуженные балаганы, один за другим выползали багровые, заспанные, измятые будто в тяжком похмеле косари, вытряхали из рубах и всклокоченных волос сенную труху, крикали от сырой прохлады, разминали намаянные, не отдохнувшие за воробьиную ночь поясицы, бежали, пошатываясь, споласкиваться к реке. А Тимофей все тюкал по наковаленке, правил косы, и вот уже и ниже по течению, в суходольской бригаде, отозвались, затюкали по косе, и выше, в Меловом стане, и еще дальше... И так по всей реке, по всем ее извилам, близко и далеко, будто первые петухи, загомонили молотки и наковаленки — славили зарю.

Выбиралась из своего шалашика Анфиска, с хрустом потягивалась, заламывая за голову бронзовые руки с острыми локотками, и тоже сбегала босиком к Десне, на ходу расстегивая кофту и бросая ее на кусты. Забрела в реку и, зажав подол юбки между колен, шумно плескала дымящуюся парком воду на плечи в белых лямках ночной рубахи. Соломистая коса ее, свалившись со спины, писала концом по воде.

Косились мужики на Анфиску, цепляли озорными словами:

— Может, спину потерять?

Спугнутая Анфиска стыдливо опускала на воду юбку, выбиралась на сухое. Мужики провожали ее долгим прищуром, примечая в Анфискиной фигуре всякие соблазны, потом, и сами смущаясь, переглядывались, без слов понимая друг друга.

Росла Анфиска в Доброводье, никто как-то не примечал в ней ничего особенного: тощеногая, лупоглазая. Жила с матерью, ходила в плюшевом жакетике да парусиновых туфлишках. В ту пору саперная рота доставала со дна затопленные понтоны и всякий военный утиль. В Анфискиной избе остановился на постой саперный лейтенантик. Месяца через три рота снялась. Анфиска ходила как потерянная. А под Новый год у нее родился мальчонка. Бабы провожали ее долгим молчаливым взглядом, жалели промеж собой в разговоре.

— Еще найдет себе... Молодая.

— Не больно теперь найдешь.

— Ей теперь один выход: уезжать, вербоваться куда...

Но Анфиска не уезжала, не вербовалась, а вот уже пятый год ходила в колхоз.

— Кончай курить! — по-армейски командовал бригадир и колотил обгорелой палкой по пустому гулкому kazanу.

Всхрапывал запущенный трактор, громко стрелял синим дымом. Мужики запрягали в косилки лошадей, разбирали косы и уходили в луга по росе до завтрака. И уже при солнце шли ворошить сено бабы и девки. Над пестрыми косынками колыхались грабли, будто оленье рога. Плелись неспешно, с ленцой. Но, придя на место и рассыпавшись каждая к своему валку, сноровисто и легко начинали подбивать и ворошить сено граблями. Дело вроде бы немудрящее, а поди ж ты: забивали здоровых девок пожилые бабы. Откуда что бралось: держались прямоспинно, с неуловимым достоинством, грабельки в руках невесомы, знай себе мелькали обшорканными до костяного блеска зубьями. Не гнула, не старила бабу работа, а, наоборот, молодила: не дело делает — играет, кружево вяжет.

На стыке двух соседних лугов иногда останавливались побалагурить.

— Эй, бабоньки! — кричали суходольские мужики. — Приходите вечером под копенку, потолкуем...

— Гляди, беседчики отыскались! — хохотали полужские бабы.

Один из косарей передавал косу товарищу, обеими руками покрепче натискивал кепку и бежал к бабам, по-медвежьи

раскорячась и расставив руки-лапищи. Бабы взвизгивали и ощегинивались граблями.

— Проваливай, проваливай, бобик непривязанный!

— А ну, девки, лови его, обормота. Ломай крапиву!

Бабы дружно кидались в контратаку. Косарь поворачивал и, перепрыгивая через два валка, улетаывал к своим.

Но все это так, между прочим. Сенокос же кипел своим чередом. День-деньской катал по лугу свои колеса-бублики белорус-тракторок, сновали, стрекоча, конные сенокосилки, полнились травой и взблескивали, освобождаясь, конные грабли, и лошади ошалело мотали мордами и секли оводов хвостами. А уж по всяким неровностям, по старым окопам, по кустам да бочажинкам махали косами мужики. Выпростаны из штанов рубахи, чтоб обдувало, мокры и темны сатиновые и ситцевые спины, багровы лица под выгоревшими картузами и кепками, виски влажно лоснились, а косари все ступали и ступали рядами, нога в ногу, замах в замах: так спорей и легче, чем вразнобой. Ярко сверкнет сразу дюжина кос над травами, переступит сразу дюжина сапог, на одно мгновение задержатся, повиснут в воздухе косы и тотчас снова с шелестящим певучим звоном все разом нырнут в зеленую глубину. Будто узкие белые рыбы играют, выплескиваются над волнами. И ложатся травы в ровные валки, то с подкошенным ирисом, желтой дугой промелькнувшим на пятке косы, то с малиновой свечкой иван-чая. Свежие валки истекают соком, терпко млеют от зноя, и тянет по всему поречью сладким настоем увядания.

К полудню все живое собиралось к воде, поили и купали лошадей, пили и полоскались сами, смывая сеной зуд и соль. Потом, разлегшись вокруг артельных алюминиевых полумисков, хлебали огненный бараний кулеш. Ели по старинке, блюда очередь по кругу от старшего, подпирая доньшки резных ложек ломтями хлеба, с хрустом заедая горячее хлебово зеленым луком. А насытившись, расплозились по балаганам, где под темными сводами еще хранилась ночная прохлада. Но и тут, завидев, между прочим, как Анфиска на четвереньках, белея заголившимися круглыми икрами, заползала в низкий лаз своего шалашика, кто-нибудь непременно шутил:

— Фис, пусти на полчасика...

— Срамоидолы! — корили бабы. — Мальчонку бы постеснялись. Мальчонка ведь при ней. А вы брешете языками.

За первой на деревне девкой так не следят, так не приглядываются, как за молодой вдовой бабой. Пройдет она обык-

повенно, как все, а уже кажется, что не идет, а играет бедрами. Девки купаются — ничего, а войдет она в воду — и опять-таки вроде как с умыслом. Ни пойти ей, ни прилечь без хитрого прищуря со стороны, тем более что дело-то необычное: сенокос! Кругом воля-вольная, и в косарях бродила хмельная удаль, как ни при какой прочей работе. И хоть и в шутку задевали Анфиску, но и в пустых словах косарей — извечный тайный намек и мужицкая надежда на лотерейный греховный билетик...

Иногда в луга наведывался доброводенский председатель Павел Чепурин. Был он еще молодой, но уже успел навоеваться, схлопотать контузию и шрам от виска до подбородка, закончить политехнический институт, очутиться в деревне в числе тридцатитысячников, собранных по предприятиям, еще раз переучиться в Тимирязевке и, кроме боевых орденов, нахватать кучу выговоров за своенравность и искажение спущенных сверху циркуляров. Но, несмотря на свою горячность, мужик он был толковый, по-солдатски простой, и все оживлялись, когда он появлялся в лугах на мотоцикле.

— Ну, как, хлопцы, дождя не будет? — кричал он еще издали, подъезжая.

Косари обступали его, чтобы поговорить или просто покурить председательских папиросок.

— Да вроде не должно...

Чепурин соскакивал с мотоцикла и, нагнувшись и захватив пук подсохшего сена, нюхал, раздвигая на былки и сорил себе на пыльные сапоги.

— Барана съели? — неожиданно спрашивал он, скосившись.

— Еще вчерась, — сознавались косари.

— Даете...

— Дак сена какие... Невпроворот...

— Центнеров по двадцать возьмем?

— И по тридцать будет... Как ни в какой год. Чай, сена!

— Чай-то чай, — почесал под кепкой один из косарей. — А не худо бы и чаюхи. За такие сена магарыч полагается.

— Будет, будет! — пообещал Чепурин, белозубо захохотал, покраснев шрамом, и прошел к трактору, прихрамывая и шмурыгая сапогами по стерне.

— С хорошим сеном вас, бабоньки! — крикнул он весело, проходя мимо ворошенных валков.

— И вас так же...

— Носы! Носы берегите! А то облупятся. Потом не забелишь.

Бабы, будто того и ждали, чтоб их задели, дружно посыпали в ответ:

— Мы и не беленые сойдем!

— Все одно в печку глядецца, с горшками целовацца...

— Ты б свою-то на солнушко вытягнул. А то грабли по ней соскучились...

— Почеревок раструсила б... Небось ночью и не охватишь.

Бабы дружно расхохотались.

Чепурин и сам засмеялся и, смеясь, жмурился, крутил головой.

— Ну и язвы, ну и язвы,— бабы! Обхватывать-то некого,— сознался Чепурин.— Неделю как уехала.

— Опять небось по курортам?

— В Сочах, бабы, в Сочах...

Бабы зашикали, иные с издевкой, иные продолжая вышучивать:

— Принцесса, скажи на милость!

— В стенгазету ее, толстомяую!

— Что ж так: нами — дак командуешь, а на свою узды нету?

— Нету, бабоньки милые, ох нету! — развел руками Чепурин.— Закатила мне домашнее бюро, села и уехала. Я, говорит, тебя все равно не вижу. Ты готов сам сесть в свинарник, в клетушку. От тебя, говорит, свинарником пахнет... Вот как!

— Знамо,— встряла в разговор Тимофеева бабка, высокая корявая старуха, говорившая басом.— Знамо: у кого грабли на плечах, а у кого задница в Сочах.

Бабы завизжали, схватились за животы. Иные, что помирнее на язык, конфузливо ухмылялись: уж больно солонó сказанула бабка! Одними только глазами усмехнулась и Анфиска, застенчиво прикрыв рот уголком косынки.

Поймав на себе ее беглый смущенный взгляд, Чепурин и сам смутился и, переходя на дружески деловой тон, спросил:

— Ну, как, Анфиса Васильевна, работается?

— Да как...— Анфиска, почему-то густо покраснев, нагнула голову, затеребила граблями клочок сена, отпихивая и подгартывая его к себе.— Как всем...

Чепурин помолчал, уставившись на бегло перебирающие Анфискины грабельки с таким видом, будто наблюдал важную и неотложную работу. Молчал так, словно хотел еще что-то спросить у Анфиски. И она ждала, не поднимая головы. Но, так ничего и не спросив, Чепурин построжел лицом, сказал:

— Такле, значит, дела...

И, может быть, быстрее, чем хотел, заспешил к трактору.

Меж тем сено начали копнить, а на второй неделе сенокоса в каких-нибудь два-три дня все поречье на много десятков верст вверх и вниз по Десне дружно взбугрилось копнами, и не было такого места в лугах, куда бы можно было пройти напрямик, не натолкнувшись на копнушку. И, закругляя дело, стали сволокивать их на места повыше, посуше и там выкладывать округлые приземистые стога. Под конец, свезя к стогам сено с балаганов, поплескавшись в Десне на прощанье, выпив за ранним ужином сельповской перцовки, поплясав или так просто поговорив на вольном досуге, начали сниматься и сами бригады. И вот уже и вовсе опустели берега. Остались только притоптанные поляны покинутых становищ, черные закопченные ямы из-под котлов да плетеные скелеты раскрытых балаганов. И еще остались стога... Неспешно тянулись мимо них отъезжающие обозы, и люди провожали взглядом памятники отшумевшей страды. Молча хранили стога в себе и безмятежные радости ребятишек, и чьи-то первые и не первые сердечные тайны, и хозяйственные надежды на сытый год, с молоком и хлебом, и общее удовлетворение завершённой работой. Глядели косари на стога, на долгие вечерние тени от них, часто перечеркнувшие дорогу, и сами удивлялись: сколько наворочали!

2

Разорив свои шалаши, доброводенские косари тем же вечером, пока еще не село солнце, переправились на другой берег Десны разбирать процентные деляны.

Левая сторона реки густо кучерявилась ивняками. Тут и там над мелкоколесьем высоко и дремотно поднимались старые уремные ракиты с растресканной корой и темными округлыми кронами. Под ними все лето стояла сумеречная и влажная духота, гудело комарье и бушевал хмель. Местами лес разбежался, открывая большие и малые луговины. Эти-то опушковые покосы, разбросанные и затерянные в лозняковой чащобе и неудобные для бригадной уборки, Чепурин раздавал для подворной косьбы в счет заработанных сенных процентов. Луговины побольше закреплялись за двумя-тремя дворами, на малых косили в одиночку. Обычно из года в год каждый косил на своем постоянном месте.

Анфиска тоже переправилась в попутной лодке, забитой бабами и мужиками.

— Косить али только поглядеть? — поинтересовался дед Тимофей, с кормы направлявший лодку.

— Что глядеть? Смахнет за одним разом, чтоб не бегать-ся, — ответила за Анфиску баба.

— И то дело, — кивнул Тимофей. — Мы дак тоже, не загад, покосимся.

— Самое в пору, — отозвалась другая баба. — Ночь будет светлая.

— Витюньку бы на деревню отправила, — посоветовал Тимофей, глядя, как Анфиска, подхватив сына одной рукой поперек живота, а другой опираясь на косу, ступила за борт в мелкую воду.

— Нехай бегаёт: лето, — сказала баба.

— Замаеялся небось мальчонка.

— А он, может, при ней охрану несёт.

— Какой он охранщик? — сказал Тимофей. — Комар носом проткнет.

— Какой-никакой, а все-таки живая душа при ней. От вашего брата шатуна... Который ему пошел-то?

— Пятый с зимы, — не оборачиваясь, досадуя на бабье сердоболье, ответила Анфиска и, осыпая комья глины, грузно выбралась с Витькой под мышкой на твердый травяной берег. Она поставила сына на ноги, вскинула на плечо косу, подхватила узелок с едой и шагнула в кусты на пробитую тропку.

— Лодка будет у поваленной ракиты! — крикнул с воды Тимофей.

— Найду!

— Стучи, стучи косою почаще, давай знать!..

— Ладно!

— Ежели раньше нас управишься — покричишь!

Анфиска прошла берегом вверх по реке и в полуверсте вышла на свою деляну, одним краем примыкавшую к Десне. Анфиска не была здесь с прошлого лета и едва узнала свой покос. Поверх нетронутых трав, пестревших багряными головками клевера, синими колокольцами, лупастыми звездами ромашек, часто пророс морковник. Он цвел крупными белыми зонтами, распустившимися на уровне Анфискиной груди, и ей казалось, будто поляна была занавешена сверху полупрозрачным тюлем.

— Вот мы и дома, — сказала Анфиска Витьке, устало и умиротворенно оглядывая покос, будто осматривала горницу, в которой так давно не была. Опушка и на самом деле походила на светлую и чисто прибранную комнату, окруженную

стенами леса и с распахнутым окном на реку, в луговое раздолье. В окно это широко и спокойно лился свет низкого солнца, по-вечернему румянившего лес и поляну, тянуло теплой сыростью речных песков, запахом нагретых за день осок и свежесметанных стогов.

Витька тут же нырнул под зонты морковника и побежал под ними, раскинув руки и теребя ладонями дудки. И там, где он бежал, над его белесой, давно не стриженной головкой вздрагивали и покачивались кружевные шапки соцветий.

— Мам, гляди какие! — кричал он.

Анфиска несколькими взмахами подкосила угол у самой реки, сгребла тяжелую, дурманно и знойно пахнущую траву, бросила поверх вороха телогрейку и позвала Витьку.

— Ну посиди тут.

— Не хочу сидеть. Побегу удочку срежу. Буду рыбу удить.

— Ну поуди, поуди.

Она присела на краю обрыва, свесила ноги над водой, уперлась руками в траву, откинулась на них и замерла так в минутном отдыхе. Прямо против нее над высоким убережьем садилось багрово-дымное солнце. Матерый берег, до которого Десна доставала только в пору своего весеннего разгула, на самом верху, на увале, плоско и ослепительно желтел хлебами. Но скат его вместе с деревьями, садами и поперечными оврагами был уже окутан вечерней дымкой, казался пустынным, отвесным и непрístupной синей стеной громоздился над плоской равниной лугов. Сами же луга еще купались в последних лучах солнца. Бесчисленные стога нежно розовели подсвеченными маковками и тянули навстречу Анфиске по багрово-зеленой отаве длинные синие тени. В лугах было безлюдно и по-вечернему настороженно и тихо. Только на самом увале высоко и густо вздымалась пыль над дорогой. Это суходольцы сразу несколькими обозами, поднявшись на урез, погнали лошадей рысью по ровному, спеша в дальние свои деревни, затерянные где-то за хлебами.

— Вот и покосы прошли,— вздохнула Анфиска, вглядываясь в клубы пыли над отъезжающими обозами. И ей стало почему-то грустно, что прошли покосы. Жаль было хорошей поры, которую она любила сызмальства. Чем больше выросла, тем нетерпеливее бежала в луга, полняясь смутным и радостным ожиданием чего-то... Но все обернулось обычной вдовьей работой, липучим и грубым вниманием мужичья, замкнутым одиночеством, о котором она никому не смела и не могла сказать. Теперь она была даже рада, что поблизости

нет никаких делан и что она наконец-то одна. И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето...

Вздохнув, она сняла платье, ночную рубашу, подстелила под себя белье и посидела так, остывая, неспешно, задумчиво оглядывая себя, смахивая с шеи и поперек перерезанных полоской загара грудей сенную труху. Мягкое тепло вечернего солнца тронуло и пригрело ее живот и колени. Из лозняков выпорхнула и закачалась перед Анфиской на торчавшей из воды камышинке желтая плиска. Перечеркивая собою красное солнце, она раскачивалась, вздрагивала узким хвостом и с птичьей откровенностью разглядывала раздетую Анфиску.

— Сарафан сняла? Сарафан сняла? — требовательно спрашивала она.

— Кыш! — махнула Анфиска и плотво сдвинула колени. В кустах зашебуршал Витька, радостно окликнул:

— Мам, смотри, какая удочка.

— Ага... хорошая.

— Мам, а что это у тебя на руке синее?

Витька притронулся пальцем к Анфискиному предплечью. Анфиска закрыла покосный балагурный синяк ладонью и небрежно сказала:

— Поди, Витя, побегай...

Витька сострадательно уставился на Анфискину ладонь, прикрывавшую синяк.

— Поуди, поуди, Витя... Вон какая хорошая удочка.

Витька повернулся и запрыгал по берегу, вспархивая выгорелыми волосенками при каждом поскоке.

Анфиска поглядела вслед сыну, глаза ее заплыли слезой:

— Глупый...

И, оттолкнувшись пятками о край обрыва, она сильным броском бухнулась в розовато-засмирившую Десну.

Уже в сумерках запалили костерок, ели поджаренное на прутиках сало, крутые яйца, прикусывали перышками лука. За темными кустами долго и светло разгоралась луна. Они ели, тихо переговариваясь, слушая, как где-то в лесу, на других делянках гомонили бабы, звякали о косы оселки, а на той стороне в лугах все ржала и ржала беспокойно лошадь, глухо и тяжело стуча по земле копытами.

— Мам, чегой-то она?

— Так... спутанная.

Поиграв в засиневшем небе хворостинкой с угольком на конце, Витька угомонился, прилег на охапку травы, Анфиса прикрыла его телогрейкой.

— Спи, горюшко мое, спи, мужичок мой...

Витька пошевелился, сворачиваясь калачиком, угреваясь, и затих.

Анфиска взяла косу, подошла к краю поляны. Луна, наконец, выпуталась из зарослей — большая, чистая и ясная, кусты под ней заблестели влажными листьями. Деляна просияла, будто враз зажглись, засветились подвешенные над травами люстры морковника. На зонтах цветов тончайшим хрусталем заблестела роса. И сразу, как только взошла луна, где-то рядом отсырело закрипел, забегал под серебристой и невесомой сеткой соцветий дергач, дружно брызнули окрестные кусты стрекучим гомоном камышевок.

— Светло-то как! — подивилась Анфиска.

Стоя на берегу, у края деляны, она завороженно глядела на медлительную, переспело истекающую медовым светом луну. Потом, все еще прислушиваясь к ликующей ночи, к радостно-грустному чувству в самой себе, неслышно, как бы боясь что-то потревожить, провела косой по крайним травам деляны.

3

Скоро уже, подчиняясь затягивающему азарту работы, Анфиска косила широко и жадно. Лишь изредка она распрямлялась, смахивала со лба волосы и поглядывала на скошенные валки. Неспешная луна собиралась бродить в небе до самого рассвета, и Анфиска прикидывала, что к тому времени должна управиться. Иногда, давая себе минутный роздых, она брала оселок и несколькими ударами поправляла жало косы. И тотчас на ближней деляне, за темными шапками ракич подавала голос Тимофеева коса: мол, коси, коси, девка, мы тут тоже косим. За ней откликнулась другая, третья, и начинало тонко, загадочно звенеть по всему ночному лесу: ко-сим, ко-сим.

И вот уже и жаль Анфиске, что она одна, а не на артельной деляне, где теперь потрескивает костер под старой ракичой, сложена в общую кучу разная еда, закипает черный покосный чайник, набитый смородиновым листом. И нет-нет да кто-нибудь, на время остановив косу, взболтнет что-то веселое... А есть, которые вдвоем, с мужем...

Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем... Костер палить было бы некогда, да и балагурить незачем... Работали бы молча. А тоже хорошо...

Прислушиваясь к перезвону на ближних и дальних делянах, она уловила ворчливый гул мотоцикла на лесной дороге. Дорога эта, по которой свозили в деревню сено, петляла, вось-

мерила, давала ответвления по всей уреме и где-то недалеко обегала Анфискин покос. Свое сено она переправляла сразу на тот берег, так было удобней, и на ее маленькую деляну не было пробито проезда. Мотоцикл протарахтел мимо, потом внезапно заглох, долго молчал, снова застрекотал, теперь уже возвращаясь обратно. В кустах, против ее покоса пробиллся раздробленный листвою свет фары.

«Рыболовы, что ли,— подумала Анфиска.— Мало им места на Десне».

Хлестая ветками кустов, мотоцикл продрался, вынырнул на поляну, полоснул светом, но тут же умолк и погасил фару. Анфиска опустила косу, выжидая.

Из тени кустов вышел рослый человек.

По белой фуражке она узнала Чепурина. Прямо по некопшеному он подошел к ней.

Анфиска замерла.

— А я слышу: кто-то косой звякает. Дай, думаю, взгляну,— сказал.— Едва проехал...

Чепурин стоял против света, и она, мельком взглядывая, не могла разглядеть его лица, но по голосу улавливала какую-то странную растерянность и возбужденность. Видно, ему и самому было неловко оттого, что он оказался на этой деляне, неловко было и объяснять, зачем он здесь.

— Испугалась?

— Думала, рыболовы...— проговорила она.

— А я в районе был... Только что оттуда,— сказал Чепурин и зачем-то снял фуражку.— Заехал поглядеть, как народ полуношничает...

— Да вот косим...— сказала Анфиска. Растерянно перекрещенными на груди руками, оставшимися прижатыми так вместе с ручкой косы с самого момента появления Чепурина, она чувствовала, как часто колотилось ее сердце.

Чепурин обвел глазами деляну:

— Твой, значит, пай... Морковки много. Сорное сено будет...

— И на том спасибо,— выговорила Анфиска чужими, одеревневшими губами.

Чепурин помолчал, повертел в руках фуражку.

— Помочь, что ли? — сказал он, помолчав.

— Я сама,— тихо воспротивилась Анфиска.

— Сама-то не успеешь.

Он взялся за ручку косы, легонько потянул к себе. Анфиска не отпустила.

— Спешить некуда,— сказала она.— Ночь еще впереди.

— Скоро темно станет.

— Луна только взшла. Вон какая!

— Погаснет луна-то твоя... Сегодня затмение будет...

— Не надо, Павел Семенович,— потупилась Анфиска.—

Я сама управлюсь.

— Ну как знаешь.— Чепурин посмотрел на луну, на морковник.— Ты не подумай... Я ведь по-хорошему.

Он достал папироску, пыхнул спичкой. Анфиска стояла, выжидая. В ее как-то сразу поменевшей ростом фигуре было что-то неприкаянное и жалкое.

Долго и напряженно молчали. В мокрых кустах верещали камышевки. Вдруг Чепурин порывисто отбросил окурок и крупными шагами пошел в дальний угол деляны к мотоциклу. Но он не уехал, как подумала Анфиска, а, к ее удивлению, вытащил из коляски разобранную косу, сладил ее и молча принялся косить прямо от колес мотоцикла. Анфиска слышала, как заходила его коса с сердитым и протяжным шиканьем.

Анфиска растерялась. Первой ее мыслью было разбудить Витьку. Но Витька сладко посапывал, и она, поправив на нем одежду, отошла, остановилась у обрыва, смятенно уставившись на светлую гладь реки. Потом тихо, будто крадучись, прошла к незаконченному прокосу. Она начала косить, все время сбиваясь, путаясь в траве, мучительно и обостренно прислушиваясь к размашистому вжиканью в дальнем углу деляны.

Луна, уже высоко поднявшаяся над лесом, заметно поубавилась, уплотнилась, но все еще была диковинно велика. Анфиска косила против луны, Чепурин двигался от луны к ней навстречу. Работали молча, затаившись, как два сапера по обе стороны фронта, пробивающие проход в проволочном ограждении. Нетронутая стена трав, разделявшая их, уменьшалась и редела. Впереди, белея, покачивалась фуражка Чепурина, широко и порывисто поворачивались его плечи, и то и дело над дудником взмелькивала ручка его косы. Она видела, как, вздрогнув, широкими полукружьями рушились и исчезали перед ним хрустальные люстры морковника.

Когда между ними осталась тонкая, на два-три взмаха стенка из высоких, пронизанных светом стеблей, Анфиска остановилась. Остановился и он, шумно и прерывисто дыша.

Тяготясь этой неловкой паузой, страшась — не его, Чепурина, а самое себя, своего напряженного обессиливающего оцепенения, она, ни разу не взглянув на него, не поднимая головы, повернулась и пошла, почти побежала к берегу, к началу покоса.

— Анфис... — позвал он.

Она слышала, как он смахнул остатки травы, разделявшие их, и торопливо пошел следом.

— Что ж мы... так и будем разбегаться по углам? Глупо все как-то...

В голосе его звучала все та же неловкость и виноватость за то, что он здесь и вот так с нею...

Анфиска только еще больше нагнула голову, вышла к берегу и сразу начала новый прогон.

— Давай хоть косить рядом... — буркнул Чепурин.

Она успела уже отойти немного, когда Чепурин начал косить с левой стороны. Чувствуя за спиной мерные переступы его сапог, резкое свистящее позванивание, Анфиска, закусив губы, косила с оцепенелым упорством, как будто все дело было в том, чтобы не дать себя догнать. На каждые два его взмаха она отвечала тремя. Босые ноги горели от колючей стерни и спиртово-жгучей росы, но еще больше горело ее лицо.

«Что ж это...» — спрашивала она самое себя.

Вспомнилось, как весной он подвозил ее со станции. Она тогда, перед половодьем, накупила много хлеба, несла тяжело в двух мешках, связанных вместе. Он нагнал ее на своем «газике», узнал, остановился, забрал мешки и посадил в машину. Дорога была разбитая, с жидкой снежной кашей в глубоких колеях, с частыми львами по низинам, машину бросало, заваливало с боку на бок. Чепурин напряженно рулил, и, может быть, потому лишь изредка с ней заговаривал, отрывочно спрашивая о самом обыденном: как живет, как мать, сынишка... В шоферское зеркальце она мельком видела его худое, обветренное лицо с багровым швом во всю плохо выбритую щеку, видела напряженно-сосредоточенные жидко-зеленые глаза и, стесняясь своих чувалов, набитых городскими буханками, грязных галош на валенках, настоженно цепenea от новых его вопросов, односложно отвечала: «Живу помаленьку», «Мать ничего», «Сын уже большой».

И когда потом приходилось встречаться с Чепуриным — на колхозном дворе, на улице — все так же терялась перед ним, и особенно почему-то в тот раз, на покосе, когда он пытался заговорить с ней.

Ни разу не оглянувшись, она косила все с тем же упорством и уже не чувствовала рук, не ощущала в онемевших пальцах кося и только упрямо, через силу водила плечами. Белые шапки морковника, взблескивая оброненной росой, ка-

залось, сами собой гасли перед нею, будто слабые огоньки от ветра.

На середине прогона она услышала, как Чепурин остановился. Чуть обернувшись, она увидела, что он скинул пиджак, отшвырнул на стерню и, оставшись в одной белой рубашке, азартно поплевал на руки.

Но и у нее больше сил не оставалось.

«Сейчас упаду»,— задыхаясь и слепея от напряжения, думала Анфиска.

Она уже не слышала ни его, ни своей косы, не слышала цикадного стрекота камышевок, не замечала, как все бежал, все скрипел на остатке быстро таявшей луговины дергач — невольный судья этой борьбы двух людей на ночном покосе.

— Тьфу! Заморила! — сплюнул, наконец, Чепурин.— Анфис... Да погоди ж ты...

Он постоял, глядя вслед продолжавшей косить Анфиске, и вдруг, отбросив косу, в два прыжка нагнал, обнял, больно сдавив плечи, рывком повернул к себе и, сам задыхаясь, прижал к груди.

— Вот... Чтоб знала...

Потная, горячая, не видящая ничего, с гулким стуком в висках, она затихла в крепком захвате его рук, провалившись в какое-то обжигающее небытие.

— Не сердись только... не гони,— проговорил он.

Луна, поднявшись в свой зенит, накалилась до слепящей голубизны, небо вокруг раздвинулось, нежно просветлело и проливалось теперь на лес, на поляну, на белую кипень цветов трепетно-дымным голубым светопадом. Свет падал на Анфискино лицо, казавшееся бледным и осунувшимся. Под полузапахнутыми ресницами темно и влажно взблескивали глаза.

— Устала я,— не открывая век, прошептала Анфиска, почувствовав себя вдруг окончательно надломленной и обессиленной не только от напряженной косьбы, но и от всех этих трудных и горьких лет вдовьего одиночества.

Чепурин, должно быть, понял в ней это, бережно взял в ладони ее голову, притянул и крепко и долго поцеловал в сухие, безответные губы.

Анфиска затаенно молчала, приходя в себя, прислушиваясь к сильным толчкам его сердца под влажной от пота рубашкой.

— Запалила ты меня,— сказал Чепурин.

— Я сама чуть не упала.

— Зачем же так...

— Не знаю...

— Я ведь по-хорошему...

Анфиска не ответила.

Он слегка, будто стесняясь этого движения, одними только кончиками пальцев потрогал ее волосы.

— Давай докосим? — сказал Чепурин.

Постояв еще, помедлив, она наконец молча шевельнула плечами, прося ее освободить. Чепурин разжал руки, она устало нагнулась, подняла косу.

— Ты посиди... Не надо, — сказал Чепурин.

— Нет... Я тоже...

Остаток поляны они докашивали рядом.

Чепурин, без фуражки, с закатанными рукавами белой рубахи, косил размашисто, низко пуская косу, чуть пригибая колени. Встречный свет заливал его плечи, дымился в светлых спутанных волосах. Тяжелые стебли дудника, мельтеша белыми шапками, уносились в сторону и ложились рядом с Анфиской. Валок истекал сырым травяным запахом. Время от времени Чепурин приостанавливался и, шумно отдуваясь, улыбаясь запаленно-открытым ртом, подбадривал:

— Идет дело?

Анфиска молча кивала.

— Ну давай... Осталось немножко.

За согласной работой как-то сама собой прошла Анфиска на усталость, руки окрепли, и она, поглядывая на Чепурина, на его неторопливые расчетливые движения, чувствуя, что ему нравится косить, и сама начинала полниться тихой и умиротворенной радостью.

— У тебя есть оселок? — спросил он.

— Где-то на берегу.

— Надо поправить косы. Мы их совсем загнали об эту чертову морковку. Откуда ее столько выросло?

Чепурин говорил так, будто ничего между ними и не было, будто они еще с вечера пришли сюда, как другие, как все, затем только, чтобы запасти на зиму сена.

Он нашел на обрыве оселок и стал править косы — ее и свою. И сразу за лозьями тонко звякнуло ответно. И зазвенело, затюкало справа, слева, близко и далеко — по всему лунному лесу.

— Народу-то сколько! — удивился Чепурин.

Ликующе-голубой свет заливал поляну. Была видна каждая травинка, каждый листок, и все везде что-то сверкало и блестело. Светлая гладь реки за краем обрыва кольчужно серебрилась от кругов разыгравшейся рыбы. Бледно просту-

пили песчаные косы на той стороне, и в песках блестели и переливались голубым огнем выброшенные створки ракушек. Серебрились обрызганные росой осоки под тем берегом, легким дымом серебрилась подстриженная отава, серебрилась шиферная крыша коровника на гребне далекого уреза и призрачными шатрами проступали бесчисленные стога в луговом заречье.

Простоволосо-растрепанный, в расстегнутой на груди рубахе, Чепурин стоял с косой и оселком в руке, чуть наклонив голову, и, полный мальчишеского внимания и интереса, слушал, как перекликались косы на лесных делянах.

Еще вчера этот человек расчетливо считал свои часы и минуты, куда-то уезжал, приезжал, командовал и распоряжался, звонил по телефону каким-то далеким и высоким начальникам и сам был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской беспокойной жизнью. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сызмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь.

— Как названивают! — сказал он, радуясь. — Послушай только, что делается! По всей Десне.

Анфиска смотрела на Чепурина, слушала и ничего не слышала, кроме стука своего радостно-смятенного сердца.

4

Перемешанные с травой стебли морковника пружинисто топорщились, валки высоко бугрились, белели зонтиками, и вся поляна казалась приборно-полосатой. Терпко, дурманно пахло каратиновым настоем, напитавшим росу и ночной воздух.

Они лежали на ворохе скопленной травы, влажной и теплой, нагретой их телами. Лежали на самом берегу, головой к реке, умиротворенные доверием друг к другу.

— Есть хочешь?

— Чтой-то не хочется.

— Я захватил с собой. В мотоцикле. Поешь.

— Не надо. Не вставай...

Чепурин лежал навзничь, подложив под голову правую руку, она — пристроилась на его плече.

— Не хочется, чтоб ты уходил... — Анфиска задержала его руку на своем плече и сама подвинулась теснее. — Смотри,

какая луна сегодня! Я даже чувствую ее сквозь веки. Закрой глаза... Ты правду говорил про затмение?

— По радио передавали.

— А я думала — нарочно...

Луна бесстрашно, светло и празднично шла навстречу неведомому, поджидавшему ее в какой-то точке кроткого ночного неба. Казалось, уже сам воздух начинал тихо и напряженно вызванивать от ее неистового сияния.

— Я хоть нагляжусь на нее сегодня... Не помню, когда и глядела так...

— Это верно, — кивнул Чепурин — Головы поднять некогда.

Анфиска, задумавшись, долго вглядывалась в голубой диск.

— Какая она чистая... Как девушка. Я даже глаза различаю. Словно бы улыбается.

— Это горы.

— Нет, глаза.

— Кратеры всякие.

— Тебе — кратеры, а мне — глаза.

Чепурин усмехнулся Анфискиному шутовскому упрямству.

— Вот песни по радио поют, — вздохнула Анфиска. — Про свиданье на луне. Глупости какие, господи! Земли, что ли, мало? Только любите по-хорошему.

Тяжелый рогатый жук низко пролетел над головами и плюхнулся в скошенную траву. Должно быть, летел из заречья. Жук завозился, рыкая крыльями в стеблях, будто запускал заглухший мотор. Наконец, взлетел и, довольный, басовито загудел. На светлом небе были видны его черные вскинутые надкрылья. Анфиска проводила его взглядом, прислушиваясь.

— Разве есть где лучше? Птиц-то сколько! Каждый куст стрекочет.

— Да, ночь хороша! Теплынь. Самое лето.

— У нас по Десне их сверчками зовут.

— Какие они?

— Разве не видел? Серенькие с желтиной.

— Как-то не обратил внимания.

— Хвост округло подстрижен. У пливки хвост ровный, у зяблика, у чечевички — с выемкой. А у этих — будто лопаточка для мороженого. И голос: не поют, а сверчат. Потому и сверчки.

— Похоже... А вон то кто? Осторожно так...

— Не узнал? Соловей!

— Ну какой же соловей? Соловья-то я знаю.

— Соловей и есть.

— Коротко очень.

— Молоденький еще... Старые теперь уж не поют. Лето переломилось. А этот только пробует голос. Первая его песня. Будто в молодой орешек посвистывает... Слышишь?.. Щелкнет и сам себя слушает. Мол, ладно ли получилось? А потом надолго и замолчит: засовестится. Молоденький...

— Берендеевна! — усмехнулся Чепурин и ласково, уважительно взглянул на Анфиску.

— В детстве из лесов-лугов не вылазили. В деревне — куда еще побежишь? Вся тебе тут земля, весь мир. Каждое гнездо разглядим: и как сделано, и какие яички... С той поры всех птиц своих знаю... А вот то дергач... Послушай, как он...

— Этого скрипуна я давно заметил.

— Всю ночь так.

— Уж больно музыка у него некрасивая. Будто гребешком по сухой щепке.

— Это нам только. А ему все равно весело. Ночь-то какая! Диво! Все, как умеет, радуется... Я тоже, будь моя воля, птицею стала бы... Даже не задумалась — поменялась бы...

— Чудачка!

— Хорошо птицею. Лети куда хочешь. Воля!

— Куда же ты?

— Мало ли куда...

Раздумывая, куда бы она полетела, Анфиска вспомнила, как еще подростком несколько раз бегала на станцию. Мать завертывала в капустные листья обваренного куренка, клала на дно корзины десяток-другой яиц, свежих огурцов, и Анфиска, шлепая по прохладной утренней пыли, бежала среди хлебов к паровозным дымам на горизонте. Ничего не волновало ее так сладко и празднично, как добела накатанные рельсы и длинные, зовущие паровозные гудки.

Там, на станции, поставив у ног корзину где-нибудь возле газетного киоска, она подолгу заглядывалась на поезда: дивилась широким, в одно сплошное стекло, вагонным окнам, белым накрахмаленным занавескам, цветам в глиняных горшках на столиках и по всему этому силилась представить, как должно быть хорошо и необыкновенно ехать в таком вагоне. Вполуслух, разлипая губы, она читала надписи «Москва — Одесса», «Москва — София» и, прочитав, с ревнивой завистью следила за бойкими проводницами в синих беретах, которые, убрав подножки и став в вагонных дверях, вот так просто, с какой-то легкой беспечностью ехали в далекие неведомые

города, равнодушно посматривая на все, что оставалось здесь, на перроне, на все эти киоски, багажные тележки, на нее, Анфиску, зазевавшуюся босоногую девчонку из неизвестного им села.

Анфиска забывала про свою распродажу, пока какой-нибудь дотошный пассажир, заглянув в корзину, не обнаружил торчащие цыплячьи лапки. Набегали другие, копались в корзине, как в своей собственной, выгребали яйца, огурцы, совали деньги. Она машинально прятала их в карман, не считывая, стесняясь своего нехитрого товара, и приходила в себя лишь когда появлялся милиционер и сонно, разморенно говорил: «Давай, давай отсюда... Не положено».

— Посмотрела бы, куда наша Десна течет...— вслух сказала Анфиска.— До самого моря слетала бы... Живешь! Вот тебе изба, печь, вот грабли или тяпка... Зима — лето, зима — лето...

Анфиска робко улыбнулась, будто винясь за свое такое желание — полететь птицей.

— Правда, Паша... Бабе всегда только и солнышко отпущено, что в детстве. Девчонкой прыгаешь, ничего не знаешь, думаешь: как все. А вырастешь — нажалеешься, что баба... Конечно, не у каждой так.

И опять она вспомнила поезда. Почему-то в них всегда много красивых женщин. Некоторые уже пожилые, с седой в висках, а все равно красивые. Не лицом даже, а чем-то таким, чего Анфиска никак не могла понять. Вольностью своей, что ли? Они красиво прогуливались вдоль вагонов, красиво ели мороженое, красиво смеялись и разговаривали с мужчинами, тоже красивыми, породистыми. Платформа была единственным местом, где Анфиска прикасалась к этому шумному веселому миру, существовавшему сам по себе в певодомом далеке от ее, Анфискиной, жизни.

— Есть — на всю жизнь баба, а есть — женщины,— сказала Анфиска, прервав свои размышления.— Кому как выпадет.

— А ты тоже красивая,— Чепурин за плечо качнул Анфиску к себе.— Смотрел я, как сено ворошила: красавица!

— Какая, Паша, красота, если по три гектара свеклы на брата... Ногти позаломились...

Небо все расцветало, все голубело в том месте, где проходила высокая и ясная луна. Оставив ее сиять одну, звезды далеко вокруг отступили, истаяли и только понизу, над самыми деревьями, где было темнее, проглядывали редко и несмело, будто боялись помешать праздничному шествию луны. Может быть, она разгоралась бы и дальше, но как раз в это

время что-то притронулось к ее левому боку, чуть надавило, оставив едва заметную вмятину.

— Смотри, Паша!

— Вижу.

Они притихли, вглядываясь.

Казалось, все оставалось прежним: и мерцающая бездопность неба, и сама луна светила все с той же беспечной ясностью; но это безмолвное, вкрадчивое чье-то прикосновение к луне сразу же было замечено и лесом и лугами.

Коростель оборвал свой скрип и насторожился. Скрипнул еще раз неуверенно, затих и не подал больше голоса. Поредел и рассыпался хор камышевок.

Наступила тревожно настороженная тишина.

Стало слышно, как в тени обрыва, омывая камыши, дремавшие у берега взбродку, всплескивалась вода. Казалось, Десна бежала у самого изголовья, и, чтобы достать до реки, стоило только протянуть руку.

— Давай Витьку разбудим,— сказал Чепурин, невольно переходя на шепот.

— Зачем?

— Поглядит на затмение.

— Мал еще... Что он понимает?

Чепурин покосился на часы.

— Сколько? — спросила Анфиска.

— Четверть второго.

— Тихо как стало.

— Ага... Будто отрезало...

— Луна, как откусанное яблоко... Совсем закроет?

— Говорили — совсем...

— А мне почему-то жалко ее...

— Ну что ты...

— Правда. Даже как-то не по себе.

— Это всего только тень.

— Знаю, что тень. И в школе учила — тень. А тревожно. Тебе разве нет?

— Непривычно как-то.

— Вот и птицы затаились. Тоже понимают...

Подчиняясь нахлынувшей тишине, они и сами притихли и долго лежали молча, наблюдая затмение.

На реке стукнуло весло. Высокий бабий голос позвал:

— Анфи-са!

По лесу изломанно прокатилось: «И-са, и-са», и, затихая, эхо потерялось в лугах, среди стогов.

— Тебя...

— Домой кличут. У них там лодка.

— А-у, Фиска-а! Поехали-и!

В ответ в лугах залиvisto заржала лошадь.

— Затмение начало-ось! — кричали с берега бабы. — Где ты там?

Кто-то постучал в косу, потом еще покричали и стихли.

Было далеко слышать, как время от времени переправлялись лодки: стучали о борта весла, позвякивали причальные цепи, перекликались бабы. И еще долго потом доносились с той стороны лугов постепенно затухающие голоса.

— Уехали, — сказал Чепурин.

— Пусть... — твердо проговорила Анфиска.

Из вороха травы, примятого посередине и закрывшего краями лес, им было видно одно только небо и круг луны, на который слева все напоззало и напоззало что-то зловеще-неотвратимое, что принято просто называть тенью.

Чепурин и Анфиска вдруг почувствовали себя затерянными в обезлюдевшем, притихшем лесу.

— Глухо-то как...

— Боишься?

— Нет... — И, помолчав, добавила: — С тобой не страшно.

Они глядели на медленно угасающую луну, и Анфиска вспоминала, как все эти годы думала об этом человеке, в одиноких невысказанных мечтах примеряла его к своей жизни. Вспоминалось, как однажды увидела на дороге мотоцикл. Ехали незнакомые мужчина и женщина, усталые, в запыленных комбинезонах. Он — за рулем, а она — сзади: обхватила его за бока, прижалась щекой к спине — от ветра, и ехали. Долго она смотрела им вслед, пока не скрылись за горюшкой, а сама все прикидывала, как бы она тоже вот так поехала... Хоть на край света... И чтоб тоже был ветер... А то раз привезли в сельпо пододеяльники. Хорошие такие, с русской мережкой по углам. Смотрела, как люди брали на приданое девкам-невестам, и завидовала... И опять прикидывала, как бы она застелила все новое... И хотя знала: ни к чему это, никогда тому не бывать, а все-таки приходили такие мысли, все примеряла его к себе... И сегодня тоже: косила, а его рядом с собой ставила... Только когда и вправду приехал — испугалась. Ждала, ждала этого часу, а самой жутко стало... И жутко и хмельно...

Вспоминая все это, украдкой разглядывая его лицо при лунном свете, Анфиска бережно провела пальцем по шраму на щеке Чепурина.

— Чем это тебя, Паша?

— Осколком.

— Будто ножом.

— Это меня напоследок в Берлине угостили гранатой с чердака.

От темного шрама, затянутого гладкой и бесчувственной кожей, Анфиска провела пальцем по светлой живой щетине на подбородке, попробовала расправить лучики морщин на виске. С тихой задумчивостью разглядывала она залитое лунным светом лицо Чепурина — суровое и грубое вблизи, с крупными сухими губами, с жесткими кустиками выгоревших бровей. Двигая кадыком, он заглатывал дым папиросы и неторопливо выпускал синий жгут, целясь им в комаров. Анфиска удивлялась, как много он набирал дыма, который долго еще потом, при каждом выдохе курился из ноздрей постепенно затухающими струйками. От лица Чепурина веяло спокойной надежностью, и, может быть, оттого оно казалось Анфиске даже красивым, а больше всего — понятным: в нем ничего не настораживало и не отпугивало.

— Смотрю я на тебя: вот и городской, а какой-то ты наш... — тихо проговорила Анфиска. — Будто в деревне вырос.

Он сузил глаза, жесткие кустики бровей обрывисто нависли над переносьем. Долго лежал так, сощурясь, остро вглядываясь в луну, а может быть, и во что-то свое, в самом себе.

— Вот вспоминаю свое мальчишество, — сказал он задумчиво. — Кажется, оно было страшно давно. Как до рождества Христова.

— А я будто вчера девчонкой бегала, — сказала Анфиска. — Даже платья, какие носила, помню.

— Тебе повезло. Все-таки цельным куском живешь. А я другой раз силуюсь представить что-нибудь из тех лет, закрою глаза и вижу совсем не то... Какие-то балки огненные рушатся... Люди бегут... Черные против огня... Бегут и падают...

Анфиска зябко поежилась.

— Насмотрелся ты за войну. Оттого и так...

— Может быть... Никак я не пробьюсь сквозь все это в те свои годы... Где-то они остались по другую сторону... Как за лесным пожаром. И не связываются с теперешними.

— Сколько тебе тогда было?

— Семнадцать.

— Молоденький совсем.

— Из девятого класса пошел. Перевязал веревочкой свои физики-химии, недоделанные планеры на чердаке спрятал и — потопал... Думал, приду — доделаю... Я даже девчатам писем не писал: не успел завести. Все планеры клеил.

Чепурин потянул из вороха травинку, пожевал, поиграл ею в губах, продолжая задумчиво и пристально вглядываться в ночное небо.

— И все это куда-то ушло... Самый лучший кусок жизни. Будто и не я тогда был на свете... Так вот и живу какой-то укороченный.

— Может, от ранения это?

— Может, и отшибло... Такое теперь ощущение, словно я впервые появился на свет не в родильном доме, как это положено, а в армейском госпитале. Вынырнул из хлороформа, будто из небытия, и, как младенец, смотрел на божий мир. Ко всему нужно было привыкать заново...

...Помню, первое, что я тогда увидел после операции,— были стенные часы. Я долго смотрел на маятник. А он не спеша так раскачивается. Как, бывало, дома... И тишина... Еще недавно все грохотало, а тут тихо... По этому маятнику и догадался, что живу...

А еще помню, в палату вошла медсестра,— по губам Чепурина скользнула грустная улыбка.— Вот говорят: не бывает любви с первого взгляда... Она вошла такая белая, чистая. Я смотрел на нее, как на чудо... Подсела ко мне и говорит: «Ну вот, все в порядке. Теперь будете жить». А я даже не словам, а одному только голосу ее обрадовался.

— Это уже после Берлина?

— Берлин еще брали. На тумбочке вода в графине все время вздрагивала... Это было в Эбенсвальде, в полевом госпитале. Я лежал весь в бинтах, и голова и грудь, только ежик между бинтов торчал на макушке.

— Больно, наверно, было?

— Тогда еще нет... Она сунула мне градусник под шею. Сказала, чтобы прижал его подбородком. Я наклонил голову и увидел близко перед собой ее руку... Не знаю, что на меня тогда нашло. Я дотянулся до ее пальцев губами и поцеловал... Они были прохладные, чистые... И душистым мылом пахли... Она не отдернула руку, а только потрепала мой ежик. Я никогда не был такой счастливый, веришь?

— Понимаю, Папа,— кивнула Анфиска.

— Может быть, потому, что для меня уже кончилась война. А тут еще весна за окном: солнце, небо синее, деревья зазеленели... А может, и оттого, что из детства вынырнул прямо взрослым парнем. Минуя юность. Она была для меня каким-то открытием. Во мне впервые проснулось что-то радостное, благодарное к этой белой девушке.

— Жалко, что не я была это,— прошептала Анфиска.—

Я так бы и сидела около тебя... Ты правда ее любил?
— В тот день она раза три ко мне подходила... А на другое утро меня эвакуировали.

— Так сразу? А она?

— А что она? Для нее я был просто раненый. Сотый или тысячный. Я даже имени ее не знал. Да это было и не важно. Я радовался одному тому, что она есть, кроме огня, трупов, вонючих портянок...

На поляну неслышно выметнулась летучая мышь, стремительно, изломанно заметалась над валками. Несколько раз она совсем близко пронеслась над Чепуриным. Потом так же неслышно пропала — загадочное существо, своим появлением всегда странно и неприятно упрекающее человека в бренности его страстей. Анфиска поискала мышь в лунном небе, но не нашла и тихо спросила:

— А что потом было? Расскажи, Паша. Я ведь только и знаю про тебя, что ты наш председатель.

— Потом? — Чепурин потянулся к пачке «Беломора», лежавшей рядом с ним на траве, раскурил папиросу и выпустил дымный бублик, целясь им в луну. — Потом валялся в госпитале. В Рязани. Война давно кончилась. На дворе июль, отцвели госпитальные липы. Многие раненые разъезжались по домам. Долеживали самые бедолаги — обгорелые, ампутированные. В палатах пусто, нудно... Я тоже стал проситься на выписку. Правда, раны еще не затянулись, но меня не стали задерживать: госпиталь тоже спешил сворачиваться. Направили меня лечиться по месту жительства. Есть такой городишко Борисоглебск, может, слыхала?

— Нет...

— За Воронежем... Пришкондыбал домой. Костыли, рука на перевязи. Мать что-то стирала. Постарела, будто прошло десять лет. Кинулась ко мне красными распаренными руками. Обступили сестренки — друг друга не узнаем: вытянулись. Набежали родственники: одни бабы. То смеялись, то плакали, то опять смеялись... Знаешь, как это бывает, когда одни бабы. Все ведь остались вдовы.

— Знаю, родной... — вздохнула Анфиска. — Я тогда еще маленькая была, а помню: как почтарка пройдет — то в одном дворе плач, то в другом. Да и теперь еще ревут... Когда праздники...

— По всей России было так... Переполовинепные города и деревни. От отца тоже одна увеличенная карточка на стенке осталась... Из нашей семьи девятеро ушло. Сначала батя с дядьями. А следом и мы, пацаны. И все там... От самой Поль-

ши до Москвы могилы Чепуриных тянутся. А потом еще и в обратном порядке.

Чепурин несколькими затяжками жарко раскурил папиросу, морщась, заговорил пополам с дымом:

— В общем, вернулся я в свой Борисоглебск. Начислили мне сто восемьдесят три рубля пенсии. А стоптанные башмаки на барахолке тысячу рублей стоили. Пачка папирос — четвертная... Думал-думал, решил пойти в школу доучиваться. Поступил прямо в дневную. Все к лешему перезабыл, все эти синусы-косинусы. Ночами сидел догонял. Утром в школу иду — ветром шатало...

— Я бы так не смогла.

— Что было делать? Правда, в школе меня уважали. Бывало, иду по коридору, костыль скрипит, медали звякают, малышня жметя к стеночке и тихо так: «Здрасьте», «Здрасьте»... А директор говорил: «Если надо покурить, заходи в мой кабинет, вместе покурим. Только не при детях, пожалуйста»... В общем, всякое было...— Чепурин махнул рукой и замолчал.

— Говори, Паша,— попросила Анфиска.— Мне все интересно про тебя.

— Ну что еще рассказать? В тот год я все-таки десятилетку не закончил. Весной открылась рана на плече. Положили в госпиталь. Опять что-то резали. Сдал экзамены только на другую весну. Потом уехал в Харьков... Вон опять мышь появилась...— Чепурин кивнул подбородком.— Смотри, смотри! Совсем не боится. Даже ветер по лицу.

— Это она около твоей рубашки. Они белое любят... А в Харькове зачем, Паша?

— В Харькове? Надо было как-то выкарабкиваться... Поехал поступать в институт. С условием, что из дому не будут высылать ни копейки.— Чепурин рассмеялся.— Вот тоже была веселая жизнь. Бывало, разживемся гуашью и рисуем друг другу носки — прямо на голой ноге. Кому в клеточку, кому в полосочку. Красивые носки получались. Если краски покруче на казеине замешать — износу нет. От бани до бани... Вот так, Анфисушка, я стал инженером железнодорожного транспорта... Ну что еще? Направили меня в Смоленск. Года не поработал, как меня сюда, к вам, на укрепление эмтээс... На этом вся моя городская жизнь и закончилась. Успел только жениться, перед самым отъездом.

— У нас бы и женился,— робко усмехнулась Анфиска.

— А я откуда знал, что поеду? Знал бы — повременил... Тебя бы взял. Пошла бы?

— Пошла...

— Ты тогда еще в школу бегала.

— Четырнадцать было.

— Стручок зеленый.

— Все равно через три годочка выскочила.

— Да, как бежит время! — шумно выдохнул Чепурин.—

Вот уже и двенадцать лет, как я здесь... Помню, прихожу из обкома домой, месяца три, как поженились. Так и так... Едем в деревню!.. В какую такую, говорит, деревню? Посылают, как молодого специалиста. Какой, говорит, ты специалист? Там же трактора, а ты паровозник. Пойди и объясни им... А что им, говорю, объяснять? Они и сами знают, что паровозник. Так и знай, говорит, никуда я не поеду! Я замуж вышла не за твою МТС... В общем, собрал я чемоданчик и поехал.

— Без нее?

— Один... Я тогда уже коммунистом был. Не пойдешь же говорить: мол, жена не хочет... У всех жены не хотели... Тогда только в ваш район человек тринадцать послали. Были и добровольцы, но в основном рекруты. Помню, ходят кислые по обкому. Иные разными справками запасались. Так и хочется сказать: да не тяните вы их, все равно удерут... Так и не прижились они в деревне. Потихоньку разбежались. Кто сразу, кто еще года два-три проволынил.

Чепурин опять потянулся за папиросой.

— Ну, вот... Приехал я в МТС, только малость огляделся, меня через пару лет — в колхоз, в Погожее. Он тогда отделен от вас был. Снова на укрепление.

— Досталось тебе, Паша,— вздохнула Анфиска.

— А, да ладно... Ну их к ляду, все эти воспоминания,— засмеялся Чепурин.— Начали про луну, а съехали черт знает куда... Смотри, как уже накрыло, сердешную. А все равно светит, не сдается... Был я недавно в своем Борисоглебске... Походил, поглядел... У нас тут лучше... Красота!

— Отвык, поди...

— Да и отвык... Что это вон там под кустом блестит?

— Где?

— Да вон... Смотри на ту ветку. Видишь? Ну и сразу под ней.

— Теперь вижу...— Анфиска присмотрелась.— Это паутина, Паша. Росой ее обдало, а паук ползает и раскачивает... Она и взблескивает.

— Все-то ты знаешь! — радостно удивился Чепурин. Он погладил ее волосы, и она, вся встрепенувшись от этой его

ласки, поднялась на локте и, стараясь заглянуть ему в глаза, взволнованно спросила:

— Тебе хорошо со мной?

Чепурин кивнул.

— Правда? — с каким-то счастливым испугом переспросила Анфиска.

— Правда.

Она порывисто обняла Чепурина, припала щекой к его груди, жарко, обрадованно зашептала:

— Мне тоже... Мне так хорошо, что хочется пойти с тобой куда-нибудь... И сама не знаю куда...

— Сейчас в поле хорошо, — сказал Чепурин, перебирая пальцами Анфискину косу. — Хлеба подходят... Светлые стоят.

— И молодым зерном пахнут, — кивнула Анфиска. — В эту пору мы ребяташками всегда в поле бегали... Наберем снопов, а потом где-нибудь на костре печем. Не пробовал?

— Нет.

— Зерно молоденькое, быстро печется. Как усики обгорят, так и готово.

— И как же потом?

— А очень просто. Нашелушим в ладошку и — в рот.

— Никогда не пробовал.

— Вкусно! Свежей булкой пахнет. Как только что из печки. Особенно, если посолить маленько... Я поле люблю... Всякое люблю... И когда снег только сойдет... Кругом еще серо, а оно уже зеленое. Видно, как по нему ветер бежит... И облако пройдет — видно... А то когда еще дождь в мае... — задумчиво шептала Анфиска. — Теплый, с громом... Гром ворчит, как дедушка... И дождь тоже добрый, веселый... Земля так и поднимается под ним... И хлеба на глазах рослеют... Утром стояли чуть выше щиколотки, а к вечеру уже и до колен... А в лесу кукушка без устали... Дождь, а она будто и не замечает...

Обняв Чепурина, она говорила все это, закрыв глаза, счастливо хмелея от своих видений. И хотелось ей, чтобы не она одна это видела, а чтобы вместе... Так бы вот идти и идти вдвоем...

— А на заре летом, — продолжала шептать Анфиска, — когда идешь полем — тепло в хлебах. Лугом идешь — зябко, а свернешь в хлеба, сразу согреешься... Так теплом и повеет... Берегут теплоту от самого дня...

— Тебе б стихи писать.

— Не умею я стихов.

— А вот так, как говоришь.

- Что вижу, Паша, то и говорю.
- Хорошие у тебя глаза... Ворожея ты моя! Вот бы, правда, птицами нам с тобой заделаться?
- Перепелками...— подсказала Анфиска.
- Давай перепелками... Ты впереди, а я за тобой: «Дай догнать! Дай догнать!» Так они, кажется?
- И никуда б я от тебя не полетела! — тихо, радостно засмеялась Анфиска.
- Почему?
- До первой кочки только...
- Да почему до первой кочки-то? — не понял Чепурин.— Сама говорила — до моря...
- Это если б одна...
- А со мной — до кочки? Непонятно...
- Что ж тут понимать... Сразу бы и яичко тебе снесла...
- А-а! — рассмеялся Чепурин.
- Соскучилась я без гнезда...
- Нет, сначала полетали бы,— сказал он, рассматривая, как путалась луна в легком подсвеченном дыме Анфискиных волос.— Хлеба посмотреть надо... Я хоть и перепелом летал бы, а все-таки душа у меня председательская... Косить, голубушка, скоро... На днях ездил во вторую бригаду. Ничего пшеничка...
- Хорошая?
- С хлебом нынче будем.
- Каждый год так говоришь.
- Теперь точно будем.
- Не сердись, Паша. Люди видят: стараешься ты...
- А я и не сержусь,— примирительно сказал Чепурин. Он приподнял ее голову со своей груди и поцеловал.
- И не полетим мы с тобой никуда,— обнимая Чепурина, прошептала Анфиска.— Никакими перепелками. Нам и тут хорошо... Что нам еще нужно. Правда?
- Правда.
- Мой ты сейчас, и все... Пусть до света... Пусть одна трава только постелю... А все-таки не сон, а правда... Я только во сне вот так с тобой была... С того самого раза, как подвез ты меня на машине... Помнишь?
- Помню...
- И не сказал ты мне тогда ничего такого, а как-то запало... Заболела тобой душа...
- Потому и не сказал, что сам растерялся.
- А я после того случая даже встречаться с тобой боялась... Только на собрании на тебя и погляжу, когда в прези-

диуме сидишь... Да так, когда украдкой... Думала, заметишь что во мне... Не хотела, чтоб ты знал...

— Что ж меня бояться?

— Думала, зачем тебе это... Работа у тебя такая, на виду у всех, а я тут со своим...

— Вот дуреха!

— Когда покосили, когда было все... думала: ни за что не признаюсь, что люблю... Было, ну и было... Считал бы, что тоже у нас с тобой, как у этой луны, затмение вышло...

— Ну зачем же ты на себя так...

— Не знаю... А теперь, будто век с тобой прожила... Вот ты говоришь — в поле бы сейчас... Я б с тобой хоть на край света... А только лучше бы по улице... Открыто... Чтоб народ был и чтоб все видели...

Анфискины глаза влажно заблестели.

— А плакать-то зачем?

— Это я от жадности... Первый раз со мною такое... Вот и замуж ходила, а такого не было, чтоб как пьяная... Я ведь молоденькая за него пошла. Покатал на лодке, духов в коробке подарил, никогда таких не видела... Ну, я и думала, что это и есть любовь... Что я понимала? Мы ведь все дуры девки так выскакиваем.

Анфиска говорила порывисто — скажет и помолчит, будто теперь только начинала понимать, осмысливать прожитое.

— Он все говорил: я из тебя конфетку сделаю. Давай, говорит, шляпу купим. И косу, говорит, теперь не носят... Как-то поехал в город, смотрю, правда, привозит шляпу... А я никак не могла шляпу-то эту... Всю жизнь в платках... Другой раз думаю: уважить все-таки надо... Все уйдут из дому, а я — примерять перед зеркалом. Примеряю и в зеркало себя не вижу: так стыдно!.. Думаю, ладно, не сразу. Может, и к шляпкам привыкну... Жизнь еще вся впереди. Вот переедем с ним в город, там, может, надену... А на этом все и кончилось... Пожила три месяца, а потом часть ихняя снялась, и он уехал... Говорил, что, как приедет на место, вызовет телеграммою. И по сей день... Поплакала я, заплакала, да и ждать перестала. Маленький родился... Вот и вся моя любовь, Паша... Даже к замужеству не успела привыкнуть... Будто в тяжелой болезни побывала.

— Тебе холодно? — спросил Чепурин. — Ты вся дрожишь...

— Это я когда наговорюсь. Про свою жизнь. Меня и колотит... Смотри, как уже закрыло луну-то.

— Ага.

— И звезды высыпали.

— Это потому, что небо потемнело.

— Я когда маленькая была, думала: звезды — это просо рассыпано.

Чепурин усмехнулся.

— А месяц — петушок.

— Выдумщица!

— Правда... Мне тогда везде сказки чудились. Бывало, найду битое стеклышко, зеленое или красное, приложу к глазу, да так бы все и смотрела: сказка!

Анфиска задумчиво посмотрела на обломок луны.

— Давеча иду лугом: лошадь с жеребеночком. Сама спутанная по ногам и над сбитой холкой мухи вертятся. А жеребенок знай себе вынашивается. Щипнет раз-другой травку и скачет — ног под собой не чувствует. Ему щипнуть не главное. А самое важное — вот так по траве розовыми копытцами помельтешить. И наверное, все ему сказкой кажется... А мать, гляжу, ест, ест эту самую траву, жадно так, словно бы работу выполняет: надо. А сама все глазом косит на жеребенка. Увидит, что далеко забежал, поднимет голову и тревожно так позовет... Поглядела я на них и по этому жеребенку да по лошади себя узнала: какая была и какая есть теперь... Я ведь в детстве как считала? Хлеб — это так, между прочим... Даже и голодно было, и то... Главное — в стеклышко поглядеть. А теперь все наоборот, как у той лошади...

— Сама ты стеклышко битое, — рассмеялся Чепурин и расстроганно привлек к себе Анфиску. — Так бы и глядел через тебя!

— Что ты через меня увидишь?

— А вот вижу... Как-то чисто, хорошо... А насчет лошади — это ты на себя наговариваешь. Человеку никогда не перестанут чудиться сказки. На то он и человек. И у тебя она есть.

— Разве ты только, — вздохнула Анфиска. — Вот едешь мимо дома, а я так и подскочу к окошку. Будто магнитом притянет. Отодвину занавеску и высматриваю в дырочку. Как раньше в детстве через это самое битое стеклышко. И, кроме тебя, никого и не замечала. Гляжу, а у самой так и кольнет сердце: может, зайдешь в избу-то... Но так ни разу и не зашел... Не сказка, а горе ты мое... Видеть вижу, а не достану. Как тот мой золотой петушок в небе.

— А вот и достала...

— Минутное это все, Паша... До свету. А хочется, чтобы всегда было так...

Кто-то невидимый выел сочную мякоть луны, оставив от нее только тоненькую дынную корочку с правого края. В тусклом призрачном свете глухо темнел лес. Чуть заметно брезжили белые валки покоса. Было слышно, как с кустов падала роса. Отяжелевшие капли срывались и, падая, разбивались о встречные листья. Кусты неумолчно шуршали и перешептывались.

— Какую ночь мы себе выбрали,— затаенно прошептала Анфиска.

— Не будь затмения, я б и не решился приехать,— сказал Чепурин.

— Почему, Паша?

— Ну как это?.. Ни с того ни с сего... А то думаю: затмение, дай помогу. Вроде как причина. Наверно, сразу все и поняла?

— Я думала, ты выпивши.

— Да нет... Не было такого...

— Вижу, говоришь как-то не так... Думала, выпил.

— Это я от страха, должно быть,— засмеялся Чепурин.— Еще в дороге: стал у паромщика косу просить, а он посмотрел на меня хитрым бесом и говорит: «Покосись, покосись, председатель... Дело твое молодое... Только косу не утрей... Завези утречком-то». А до того на станции: зашел в буфет купить кое-чего, а буфетчица с усмешкой: «Кара-Кумчиков» возьмите, пригодятся... Вот язва! А ну их всех! Давай-ка мы лучше перекусим. С утра ничего не ел...

— Поешь, родной.

— И ты тоже... Я сейчас принесу.

Чепурин поднялся, пошел к мотоциклу.

Анфиске было жалко, что он ушел, и она протянула и положила руку на примятую рядом с нею траву, будто хотела укрыть и сберечь в траве оставшееся после Чепурина тепло. Дожидаясь, она прислушивалась, как он копался в мотоцикле, и ей было непонятно, как она все это время жила без него... И как будет жить завтра, когда из-за этого вот леса взойдет солнце и наступит день... И послезавтра... И страшась и не желая думать об этом, она нетерпеливо позвала:

— Паша!

— Иду! — откликнулся он издали, смутно белея рубашкой.

Возвратясь, он сел на краю, свесил ноги с обрыва, зашуршал бумагой, разворачивая сверток.

— Давай сюда, на бережок...— сказал он оживленно.— Черт, луна совсем спряталась... Костер, что ли, разложить?

— Не надо... Не возись...

— Ну фэру давай засветим.

— Ну ее...

— Я тут бутылку прихватил,— смущенно сказал он.— Выпьешь маленько? А то прохладно все-таки... Озябла, поди?

— Глоточек выпью...

— Белая только.

— Ничего...

— Жалко, стаканчик не догадался захватить. У тебя нет?

— Кружка есть. В узелке возле Витюшки.

— Пойду возьму.

— Не ходи, Паша. Жалко ведь...

— Чего жалко?

— Минутки наши бегут... Дай, я так выпью.

Анфиска отпила один глоток, потом, расхрабрившись, глотнула еще и еще, но, почувствовав, как перехватило дыхание и навернулись слезы, отняла бутылку от губ, невидяще протянула ее в сторону Чепурина и шумно задышала в ладошку.

— С ума сошла, столько выпить! — ужаснулась она.— Пьяная буду. До стыда.

— Ничего,— подбодрил Чепурин.— Согреешься. Бери, поешь. Тут вот сыр... Пирожки какие-то... Колбаса... Сейчас порежу.— Чепурин щелкнул складником. Под ножом вкусно пахло чесноком.— Ешь давай. Еще вот яблоки моченые.

Анфиска жевала, поглядывая на реку. В темной воде светились редкие звезды. Река старалась унести их с собой, качала и дробила на невидимых струях, но звезды, будто позолоченные поплавки, снова возвращались на прежнее место. Заречного берега не было видно, но временами с той стороны легким дыханием ветерка доносило запах спелых стогов.

В деревнях на берегу перекликались ранние петухи.

— Сеном как пахнет! — глубоко вздохнула Анфиска, радуясь еде, выпитым глоткам водки, реке, запаху сена и всей этой вольнице.

— Ехал я сегодня лугами,— говорил Чепурин, шурша в темноте газетой.— От самого райцентра по всей пойме стога и стога. В глазах рябит. Тысячи!

— Ключевские тоже убрались?

— Все! До последней балки.

— А в Капустичах?

— Докашивают, копны свозят. Поглядел — народу в лугах! Ни в какие годы столько не было. Праздник!

— На хорошее — народ дружно.

— Подъехал я к одному дедку. Сухой, как стручок, штаны пустые, но косишкой рьяно так шумургает. Ну как, говорю, отец? Идут дела? Остановился, смеется красными деснами: что ж им не пойтить... Одна, говорит, осталася нам работка, где вот так-то всем миром: сенокос. Отстранили вы нас, стариков, от поля. Обезлюдела жатва. Разве што со стороны поглядишь с дороги. А што справа от той дороги и што слева, — вроде как и не мое теперича... Ты, говорит, только не записывай... Это мы промеж собою, сынок. По душам... Хоть ты и не нашинский председатель, а соседский, однако тебе тоже сказать надо. — Смотрю, у дедка уж и руки трясутся. Крутит сигарку, а табак в разные стороны. — И еще скажу: с народом ладь, сынок. Не шушкайся от него по кабинетам.

Чепурин откинулся на спину, положил голову Анфиске на колени и лежал так недвижно, лицом к потухающей луне. Она истаивала безропотно, в настороженно больной тишине, объяввшей землю и небо. Слабый свет узкого серпа терялся где-то в вышине, не достигая земли, и все здесь, внизу, было погружено в тревожное затаенное ожидание. Было только слышно, как бежала река, да невидимые деревья и травы роняли невидимые капли росы.

— Надо пораньше в «Сельхозтехнику» смотаться. Кое-что к комбайнам выколотить... Хуже нет любить председателя!

— Да почему же, родной?

— Разговорами про гектары да центнеры замучает.

— Этим и живем, Паша...

— Да и поговорить не с кем... Так вот, чтобы начистоту. Все в себе носишь... Разве что жене сказал бы... Так ей наплевать на все это... Вот поехала загорать. А потом какие-то однопляжники письма шлют... — Чепурин вздохнул. — Один я, Анфиса...

— Верю, родной, верю...

— Последнее время уставать начал. Старею, что ли? Такое ощущение, будто с самого фронта не демобилизовывался. Кажется, что и сапоги те же... Где-то люди в театры по субботам ходят, в выходной с книжкой на диване валяются... Лет пять, как ни одной книжки не прочитал.

Тень земли скрыла последние остатки лунного диска. Откуда-то набежавшие тучи, разрозненные и сонные, глухо серея, медленно подкрадывались к луне. В разводьях между ними синело небо, слабо подсвеченное звездами. И на этой

спневе отчетливо вырисовывался черный круг, окантованный по краям блеклым отсветом. Казалось, в небе висела луна с мертвым, незрячим ликом. В темноте, перебирая его волосы, Анфиска чувствовала на коленях приятную тяжесть головы Чепурина, улавливала запах вина и папирос в его дыхании, и все это пробуждало в ней счастливое чувство близости и родства к Чепурину.

Чепурин поднял руку и в темноте ответно провел ладонью по ее щеке.

— У тебя хорошие руки, Паша.

— Чем они хорошие?

— Добрые... И травой пахнут... По рукам можно узнать, любит человек или не любит.

— Как это?

— Не знаю... Не могу тебе объяснить... Просто чувствую... Человек может сказать неправду, а руки — нет...

— Добрая ты душа, Анфиска. Вот живу я со своей... Приеду вечером домой, только и скажет: обед на плите. Или: сапоги оскреби... И весь разговор...

— Почему так, Паша?

— Теперь и не разобрать, кто виноват. Может, и сам... Завез в деревню, по полям мотаюсь. Ни выходного, ни отпуска. Все откладывал с отпуском. Да и когда было? Что ни год — то суматоха... Она ведь от меня уже уезжала. Два года не жили... Говорит, что у матери была, а так кто ее знает... В общем, застарелая болезнь у нас с нею... Никакому теперь уже лечению не поддается... Вот настояла сынишку отправить к бабке.

— К твоей матери?

— Ну, что ты! В Смоленск! У них там пианино и все такое... Мол, тебе один колхоз на уме, а мальчику расти надо... А я, правда, его и не вижу. Без меня вырос.

— Сколько ему?

— Да уже одиннадцатый... Теперь и вовсе пусто в избе без него... Вчера вечером заехал домой — никого! Даже ходики стоят, гирька до полу...

— Все я понимаю, — вздохнула Анфиска. — Не бесчувственная.

— Вот узнает начальство, что я тут с тобой на бережку... лунное затмение наблюдаю... Персональное дело заведут... На днях заехал я в райком, усадил меня первый в кресло, про колхоз стал спрашивать. Раньше никогда не спрашивал, сам все знал. Потом и говорит: давай, Чепурин, пиши заявление, пересмотрим твои выговоры. Сколько их у тебя накопи-

лось? Три, кажется? Полный кавалер!.. Смеется: ну ничего, снимем... Будем, Чепурин, дальше двигать историю. Смотри, какой нам простор теперь дали... А да леший с ними, с выговорами! — Чепурин приподнялся с Анфискиных колен.— Мне бы еще пяток лет поработать. Охота посмотреть, как оно пойдет...

— Ты еще молодой, Паша. Вон как мы давеча поляну-то уложили.

— Это я перед тобой только... Петухом... Вот раны начали доносить. На пятый десяток уже перевалило... По годам посчитать — много, а если разобраться, то по-человечески еще и не жил. Ни в городе, ни в деревне...

Невидимая и сильная река бежала где-то под ними, в темной глубине русла. Десна полнилась множеством то тихих, едва уловимых, то вдруг шумных напряженных выплесков и, как живая, дышала в своей неутомимой работе терпкой речной испаряной. По этим всплескам угадывалась ночная жизнь реки, можно было представить, как у глинистых твердолобых упорных мысов струя закручивалась тугими пружинами, то устремляясь в глубину сосущими воронками, то выбрасываясь вверх донной, гневно кипящей водой. И как потом усталая река отдыхала на чистых пологих песках, сама становясь чистой и спокойной, и как мирно перешептывалась она с дремавшими камышами и осоками.

Сквозь речную сырость с другого берега от стога прорывался слабый предутренний ветерок, и тогда дурманно и хмельно пахло переломившимся летом.

— А мне ты все равно молодой... — прошептала Анфиска.— Не смотри ты на эту луну... Ну ее!..

Она рывком обняла Чепурина и страстно, голодно стала целовать, закрыв его лицо рассыпавшимися волосами...

6

На востоке робко, бескровно посветлело.

Проступили обвисшие под тяжестью росы, похожие на косматых старух древние уречные ракеты. Наплывшие под утро мышино-серые тучи уплотнились, закрыли луну, так и не успевшую осветлиться, и все, что теперь с ней делалось, — происходило в незримом таинстве. Все вокруг было наполнено сосредоточенным раздумьем, будто природа, только что пережившая таинственную операцию над луной, теперь притихшая, томимая неизвестностью, ждала окончательного исхода. Даже камышевки не решались поднимать обычный утрен-

ний гам и, сторожко перепархивая в кустах, односложно по-свистывали вполголоса.

Деляна, еще вчера полнившаяся пестрой кипенью цветов, неузнаваемо опустела и попросторнела, будто комната, из которой за ночь вынесли все. Скошенные травы к утру обессилели, приникли к земле и теперь в сером полусвете утра однообразно маячили туманно-сизыми стенами.

— Пора нам...— сказала Анфиска.

Чепурин кивнул, но продолжал лежать.

Анфиска приподнялась и, охватив колени и положив на них голову, устала на одинокую былку морковника, случайно уцелевшую на середине поляны. Потом стала переплетать растрепавшуюся косу.

— Да...— что-то подытожил Чепурин и рывком встал на ноги.

Он молча сгреб копнушку, раструсил ее между валками, разобрал косы и отнес их к мотоциклу.

— Бери Витюшку, поедем,— сказал он, развернув и вытолкнув из травы мотоцикл.

— Нет, Паша,— потушилась Анфиска.— Поезжай один.

— А ты как же?

— Я сама.

— Ну что ты! Все лодки на той стороне.

— Тебе на паром надо...

— Ерунда... Старик болтать не станет.

— Нет, нет... не проси.

— Ну как же... Были, были и — я в одну сторону, ты — в другую...

— Такая наша доля...

— Ну, не надо так...— нахмурился Чепурин.— Не могу я тебя бросить.

— Это, Паша, не бросанье... Вот, если разлюбишь...

Анфиска потянулась к нему руками, обняла, прижалась всем теплым усталым-ласковым телом и, откинув голову, взглянула в его глаза — доверчиво и открыто...

— Поезжай...

— Не поеду я один.— Чепурин нагнулся, поддел под Анфискины колени, поднял ее на руках.

— Не надо, Паша,— попросила Анфиска.— Послушайся. Не надо, чтоб нас с тобой видели. Понимаешь?

Чепурин поставил Анфиску на землю.

— Давай хоть Витюшку отвезу. Намучился парнишка...

Витька крепко спал на охапке травы. Под накинутой на него телогрейкой он казался маленькой незаметной кочкой.

Из-под насыревшей полы торчала только босая, искусанная комарами ножонка, покрасневшая от крепкой утренней свежести.

Анфиска и Чепурин присели перед ним на корточках.

— Крепко спит, косарь! — потеплев лицом, усмехнулся Чепурин.

— Витя, сынок...— Анфиска потормошила его, приподняла сонного. Растрепанный, с отпечатавшимися травинками на заспанно-округлой щеке, Витька, не открывая глаз, подгибал ноги и расслабленно опять оседал на траву.

— Вить, домой поедем...

— Как разоспался парень!

— С дядей Пашей. Знаешь дядю Пашу? Наш председатель.

Витька потер кулаками глаза, расклеивая пухлые губы, проговорил:

— Зна-а-аю...

— Ну вот, — обрадовалась Анфиска. — С дядей Пашей и поедешь. На мотоцикле.

— Ла-адно...

Чепурин надел на него свой пиджак, плотно обернул полами, подпоясал ремнем и отнес в коляску. Анфиска глядела на то, как Чепурин возился с Витькой, и у нее радостно и влажно блестели глаза.

— Мам, а ты? — забеспокоился Витька.

— Я тут останусь...

— Почему, мам? Садись! Еще есть место...

Анфиска нагнулась, поцеловала Витьку в растрепанные вихры.

— Глупый ты мой... Скажи бабушке, я скоро...

Чепурин, медля, завел мотоцикл и уже за рулем, взглянув на Анфиску, поймал ее взгляд, закрыл глаза и посидел так, с закрытыми глазами. Потом резко крутнул ручку газа, машина дернулась и нырнула под мокрые лозняки.

Анфиска постояла, послушала, как хрустели под колесами ветки, потом повернулась и пошла к берегу, машинально обломив по пути одиноко торчавшую былку морковника.

Внизу рассветно и холодно клубилась туманом Десна.

Анфиска в какой-то бесчувственной отрешенности спустилась с обрыва, разделась, завязала в узелок белье и неслышно погрузилась в воду.

Она плыла на боку, толчками порозовевшего плеча рассекая и буруня сумеречную гладь реки. Коса, соскочившая с приколоч, змеисто извивалась на воде. Туман стлался над са-

мой Анфискиной головой, задевая поднятый в руке узелок с платьем, он был плотен и непроницаем, как низко нависший потолок. Десна под ним казалась бездонной и отливала тусклой зеленоватой чернью. Анфиска плыла под туманом, не видя берегов, по одному течению угадывая путь. Но реки она не боялась, не думала ни о ее ширине, ни о темных глубинах.

Она плыла, стараясь не плескаться, прислушиваясь. Под нависшим сводом туманного курева стояла глухая мертвая тишина. Было только слышно, как бежала мимо нее, чуть позванивая, сонная вода и как низко, с шелковым шорохом пролетала какая-то птица.

И вдруг где-то на середине туман розово вспыхнул, и светло и радостно просияла вода. Анфиска догадалась: взошло солнце. Она даже остановилась, перестала грести. Ее сносило вниз по течению, но она все ждала, настороженно вслушиваясь, стараясь за всплесками воды разобрать еще что-то такое, что ей так хотелось.

Сквозь оживший под солнцем туман, откуда-то из-за облачной дали, пробился едва уловимый гул мотоцикла.

Сердце ее толкнулось, забилося часто, настойчиво. И она поплыла, полнясь тихой нежностью и надеждой.

В ЧИСТОМ ПОЛЕ ЗА ПРОСЕЛКОМ

I

Кузница стояла у обочины полевого проселка, стороной обегавшего Малые Серпилки. С дороги за хлебами видны были только верхушки серпилковских садов, сами же хаты прятались за сплошной стеной вишняков и яблонь. По безветренным утрам над садами поднимались ленивые печные дымы, сытно, запашисто отдававшие кизяком и хмызой. Летом отсюда на гречишную цветь, огибая дымную кузницу, со знойным гудом летели пчелы. Осенью же, когда после первых несмелых утренников недели на две устанавливалось задумчивокроткое бабье лето с голубооким небом и русоволосыми скирдами молодой соломы, из серпилковских садов далеко в поле проникал горьковато-винный запах яблочной прели, и на все лады неумело и ломко кричали кочетки-сеголетки.

Из всех строений со стороны проселка видна была одна только семилетняя школа. Несколько лет назад ее построили взамен старой, изначальной и сильно обветшавшей углами. Поставили ее на задах деревни, на ровном муравистом выгоне, и теперь она чисто белела на темной зелени садов, а при восходе солнца полыхала широкими и ясными окнами.

Кузница же была выстроена у проселка еще в стародавние времена каким-то разбитным серпилковским мужиком, надумавшим, как паучок, поохотиться за всяким проезжим людом. Сказывают, будто, сколотив деньгу на придорожном ковальном дельце, мужик тот впоследствии поставил рядом с кузницей еще и заезжий двор с самоварным и винным обогревом. И еще сказывают, будто брал он за постой не только живую денежку, но не брезговал ни овсом, ни нательным крестом.

В революцию серпилковцы самолично сожгли этот заез-

жий двор начисто. Распалась, подожгли заодно и кузницу. Однако вскорости смекнули, что кузницу палили зря. Тем же временем расчистили пожарище, прикатили новый ракитовый пень под наковальню, сшили мехи, покрыли кирпичную коробку тесом, и с той поры кузница бесшумно и справно служила сначала серпилковской коммуне, а потом уже и колхозу.

Правда, был случай, имеющий самое непосредственное отношение к этому повествованию, когда кузница в Малых Серпилках вдруг умолкла. Нежданно-негаданно помер кузнец Захар Панков. А надо сказать, что Захар Панков был не просто кузнец, а такой тонкий мастер, что к нему ездили со всякими хитроумными заказами даже из соседних районов. Бывало, лопнет в горячей работе какая деталь в тракторе — механики туда-сюда: нет ни в районе, ни в области такой детали. Всякие прочие запчасти предлагают, а такой точно нету. Они к Панкову: так, мол, и так, Захар, сам понимаешь, надо бы сделать... Повертит молча Захар пострадавшую деталь (виду он был сурового, волосы подвязывал тесьмой по лбу, борода смоляная на полфартука, точь-в-точь как старинный оружейник, но в современной технике толк вот как знал!), даже иной раз зачем-то в увеличительное стеклышко поглядит на ивлом. Ни слова, ни полслова не скажет, а только бережно завернет деталь в тряпочку и опустит в карман. Тут уж и без слов понятно: раз взял, стало быть, выручит. Да и не только поглядеть на Захарову работу, а даже издали послушать было любо. Как начнут с молотобойцем Ванюшкой отбивать — что соборная звонница: колоколят молотки на всевозможные голоса. И баском и заливыстым подголоском. Праздник, да и только в Серпилках! Особенно по весне, перед посевной: небо сильнее, чистое, с крыш капает, теплынь, а они вызванивают на весь белый свет... Сколько помнят Захара, все годы провисел его портрет на колхозной Доске почета. И когда помер, не сняли. Навсегда оставили.

Похоронили Захара честь по чести. В Серпилковской школе даже занятия были отменены. Три его медали (он на войне служил в саперах) школьники несли на красных подушечках...

Той же осенью призывали на воинскую службу Ванюшку. Совсем осиротела кузница, стоит в чистом поле с угрюмо запахнутыми воротами. Серпилковцы, привыкшие к веселому перезвону молотков за садами, чувствовали себя так, будто в их хатах остановились ходики. Сразу стало как-то глухо и

неуютно в Серпилках: очень уж не хватало им этого перестука на выгоне. Да и из хозяйственного обихода выпала кузница: ни отковать чего, ни подладить. Сильно жалели серпилковцы, что в свое время не приставили к Захару какого-нибудь смышленного мальчика, чтобы усвоил и перенял тонкое Захарово искусство. И вдруг с пустых осенних полей через сквозные облетевшие сады до Серпилков явственно долетело: «Дон-дон-дилинь... дон-дон-дилинь...»

II

Зазвонило, затюкало глухим темным вечером, в канун Октябрьских праздников, когда серпилковцы еще не укладывались спать. В каждой, почитай, хате бабы запускали тесто на пироги, ощищивали кочетов или разбирали поросячьи ножки на завтрашний холодец. Так что многие услышали этот неожиданный перезвон в поле и, высыпав во дворы, слушали, не зная, что и подумать.

Но прежде других странный стук молотка в ночи за деревней услышал Доня Синявкин, сухонький, беспорядочно волосатый дедок, у которого бороденка росла не сплошняком, а пучками. Даже на узком утином носу, на самом его заострении упорно и неистребимо пробивался сивый жесткий кустарничек. За эту пучковатую поросль Доню Синявкина окрестили «квадратно-гнездовым», или попросту Квадратом. Будучи одиноким человеком (впоследствии к нему приедет из города племянница Верка), в хате которого от самой смерти старухи некому было печь пирогов и студить холодцы, дед Квадрат в тот день с самого утра начал обходить Серпилки и поздравлять односельчан с наступающим праздником. Делал он это на старинный манер христославия: открывал дверь, стаскивал у порога шапку и, кашлянув для верности голоса, тотчас начинал забубенной скороговоркой:

— С праздничком вас, люди добрые, мир и согласие вашему дому, быть пирогу едому, яичку крутому, сальцу — смальцу, чарочке в пальцы...

Пропевши такие слова, Квадрат поясню кланялся в красный угол и присаживался на лавку.

Правда, серпилковцам было не до Квадрата: белили хаты, выколачивали перины, возились со стряпней. Однако в двух, не то в трех домах дедок все же зацепился, всласть набеседовался о том о сем и к вечеру был в самом благовеселом расположении души. Тут бы ему и отправиться спать, но, проходя мимо хаты председателя колхоза Дениса Ивановича,

не смог преодолеть искушения на минутку заскочить к нему, потому как очень уж уважал Дениса Ивановича.

«Кого тогда и поздравлять с праздничком, ежели не Дениса Ивановича!» — почтительно сказал сам себе Квадрат и толкнул калитку.

В хате было жарко топлено, празднично пахло едой, на столе ворохом высилась горка кучерявой, только что обжаренной капусты для пирога. Жена Дениса Ивановича, сдобная, крутобедрая Дарья Ильинична, возилась у дежи, сам же Денис Иванович, в чистой исподней рубашке, с очками на носу, сидел тут же, подле капусты, и, пощипывая серебряный ус, читал районную газету, а точнее сказать, разглядывал сводку. Когда Квадрат вошел и затаил было свое «быть пирогу едому, яичку крутому», Денис Иванович в самый раз ударил по газете пальцами на манер того, как если бы стряхивал с нее комашку, и сказал, усмехнувшись, но, однако же, и в сердцах:

— Вот ведь сукины дети! Ну и ловкачи!

— Ты кого так? — спросил дед Квадрат, в знак приветствия потрогав хозяйку выше локтя, поскольку кисти рук у нее были заляпаны горчично-желтым тестом.

— Да росошинский «Верный путь», — отложил газету Денис Иванович. — По сводке у них вся зябь поднята, а я давеча проезжал — до сего дня заовражье не тронута. А вот, поди ж ты, на второе место по району выскочили! Ну и ловкач этот Посвистов!

— Сказывают, Тимирязевскую академию кончал, — вставил Квадрат. — И еще штой-то...

— Тимирязевская тут не виновата.

— Дак и я ж говорю, — поспешно согласился Квадрат. — К ученой голове еще долгон быть порядочный доклад от себя лично. Не та шинель, что пуговицами блестит, а та, что греет. Вот хоть тебя, Денис Иванович, взять. Образования у тебя почти что никакого. На живом деле да на людях сам себя образовывал. А хозяйством правишь куда с добром.

— Гм... — кашлянул Денис Иванович и загородился газетой.

— Все сыты и справны, и Серпилки наши, слава те господи, не прорежены бегами да вербовками, — продолжал гомонить Квадрат, подсаживаясь к жареной капусте. — Я вот нынче проходил: любо-дорого поглядеть, какая у нас деревня. Хаты белые, окошки протертые, плетни не проломлены скотиною на манер Россошек.

— Ну и долдон ты, я погляжу, — сказал Денис Иванович. — У кого, может, хаты и побелены, а твоя опять рябая,

как леопарда. Соседку попросил бы обмазать, что ли... Людей бы повосвестился.

— Образу, ей-бо, образу,— заморгал бесцветными веками Квадрат.— Я ведь к чему? Вот ты меня поругал, а мне приятно. От хорошего человека и замечание приятно послушать. Потому как ты настоящий хозяин нашей жизни. И не столько образованием, сколь сердцем что к чему угадываешь.

— Ну ладно, будя...— поморщился Денис Иванович.— Не люблю... закуси лучше.

— Закушу, закушу,— кивнул Квадрат, поглядывая, как Дарья Ильинична, убрав со стола капусту, взамен выставляла из шкафчика тарелки со снедью и графинчик с морозовым узором и рябиновыми ягодами на дне.— Опять же и колхоз наш получше ихнего называется: «Нива»! А то «Верный путь»... Это в Россопках-то верный путь? Прошлой зимой тринадцать телянок издохло... С названиями, я тебе скажу, надо поаккуратней. Чтоб смущения потом не получалось...

— Закуси, закус... Что впустую языком молоть...

Всего только две рюмочки рябиновки и выпил дед Квадрат, однако уже начал было и задремывать за разговором. Денис Иванович, сунув босые ноги в сапоги и накинув ватник, сказал:

— Осовел ты, Квадрат, пойдем доведу...

И вот, когда они проходили мостком у старой школы, с которого, если бы не Денис Иванович, дедок не преминал бы оступитья впотьмах, в это время и долетел до Серпиллок странный перезвон.

— С-слышь? — наострился дедок и поднял в темноте палец.

Постояли, послушали: из-за темных, окостенелых, осенних садов, из глухой полевой темени еще отчетливей, чем прежде, донеслось: «Дон-дон-дилинь-дон... Дон-дон-дилинь-дилинь...»

— Ей-бо, в кузне это...— определил Квадрат.

— Какого лешего...— возразил Денис Иванович.

— Секи мне голову — в кузне!

— Кому это приспичило ночью да еще под праздник?

— А вот и гадай...

— Чепуху мелешь, дед.

— Нет, ты послухай. Вон энти два глухих удара — это он по заготовке молотком тюкает, по раскаленному... по мягкому... потому и глухо... Ты послухай... А энтот, со звоном, то уж он по наковальне...

— Кто это он? — спросил Денис Иванович.

— А вот, должно, он и есть...

— Да кто он, черт ты дери! — озлился Денис Иванович.

— Кто, кто... Може, сам Захар тюкает... — понижая голос до шепота, знобко выдохнул дедок.

— Тьфу! — сплюнул Денис Иванович.

— Его подчерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванивает...

— Спятил ты, что ли?

— Помер-то он прямо за работою... Разрыв сердца вышел. Говорят, осколок от войны близко к сердцу сидел... Прибежали — он лежит за мертво, а сошник от культиватора еще на земле дымится. Вот как довелось помереть человеку!

— Человеком был — человеком и помер, — сказал Денис Иванович.

— Вот я и говорю: восстал Захар с погоста за незаконным делом.

— Однако ты хватил сегодня, — сказал с досадливой укоризной Денис Иванович. — Зря я тебе подливал рябиновки.

— Ты меня хмелем не попрекай... Кузня без него совсем осиротелая осталась... Никакого ни стука, ни грюка не слышать... Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...

— Ну это ты... того... — буркнул Денис Иванович, однако стук молотка в темном осеннем поле — ни луны, ни просяного зернышка в небе — показался ему странным и даже стал раздражать своей реальностью, на которую не приходило никакого объяснения.

— Гм, — сказал Денис Иванович так, как сказал бы в его положении норовистый бык, увидевший на дороге красную тряпку. Как человек, не терпящий никаких загадок, он добавил со всей решительностью: — А вот мы сейчас поглядим!

Денис Иванович сошел с мостика и направился в темный проулок, что резал Серпилки поперек и выводил в поле.

Квадрат, однако, замешкался на мостике.

— Денис Иванович, — позвал он. — А может, не надо мешать? Пусть себе тюкает...

— А вот мы разберемся! — упрямо твердил в темноте проулка Денис Иванович.

— Погодь, можа, народ шумнуть?

— Нечего тут. Тебе лишь бы шуметь. Идем, говорю!

Дедку, возбуждавшему себя всякими предположениями, очень уж захотелось в теплую хату, но, поборов в себе такое желание, он все-таки спустился с мостка и сторожко последовал за Денисом Ивановичем, для верности окликав:

- Идешь, Денис Иванович?
- Да иду. Где ты там?
- Я к тому, что... Идешь ли?

III

Выйдя за сады и чувствуя, что теряет последнюю связь с Серпилками, уютно пахнувшими в темноте теплыми, настоящими хлевами, дедок остановился, пяля глаза в черную пустоту, в то место, где должна была стоять кузница. Но строение совсем не проглядывалось, будто его вовсе и не было. Зато с еще большей явственностью, обдавшей дедка колючим холодом, доносилось это таинственное «дон-дон-дилинь...». Он даже уловил носом запах того самого дыма со сладковатой тухлинкой, который при живом Захаре Панкове полевой ветер доносил до Серпилки. И уже рисовалось ему, как в закопченном нутре брошенной кузни молчаливо и сосредоточенно стучит молотком Захар и на его лбу, перехваченном тесемкой, красным взблеском играет отсвет горнила... Но впереди упрямо крошили зяблевые комья сапоги Дениса Ивановича, и дед Доня, окликнув еще раз председателя, побежал за ним мелкой трусцой.

Между тем стук молотка в кузнице прекратился. Теперь они шли к чему-то, безмолвно затаившемуся в ночи.

— Денис... — негромко позвал Квадрат.

— Чего?

— Бегишь-то больно швидко... Погодь...

Денис Иванович приостановился.

— Угрозил ты меня, ей-богу.

Денис Иванович не отвечал.

— Настырный ты... ужасты! Тюкает, ну и пусть себе тюкает...

Сошлись вместе, постояли.

— Затихло что-то... — сказал дедок.

Поле затаилось в глухой осенней неподвижности. Не было даже видно огней деревни, спрятавшейся за садами. Только крепко, свежо пахло нахолодавшей соломой да еще сладким кузнечным дымом.

— Денис... Гля-ка...

— Вижу.

Впереди проступил проем кузничных ворот, слабо, призрачно подсвеченный изнутри.

— Пошли, — твердо сказал Денис Иванович.

— Ты, Денис, как хочешь, а я тут постою...

Денис Иванович фыркнул и пошел один. Было слышно, как сердито и упрямо топали его сапоги. Через некоторое время черная коренастая фигура Дениса Ивановича замаячила в освещенных воротах и исчезла в глубине кузницы.

Прошли долгие минуты тишины и безвестности. Дед Квадрат, онемев и напрягшись, готовый задать стрекача, ожидал, что вот-вот в кузнице что-то загремит, рухнет, Денис Иванович выскочит опрометью, а вослед ему полетят лемехи и раскаленное железо. Но время шло, ничего не обваливалось, а Денис Иванович исчез, будто вошел в преисподнюю. Мелко покрестив кадык щепотью, дедок прокрался к воротам и, прячась за створкой, заглянул вовнутрь.

На столбе, подпиравшем кровельную матицу, висела керосиновая коптилка — пузырек с кружалкой сырой картошки, сквозь который был продернут ватный фитиль. Красно-вато-дымный шнур огня и копоты ронял тусклый и ломкий свет в закопченную темноту кузницы. В горне среди шлага малиновым пятном догорал, остывая, уголь... Денис Иванович стоял у наковальни и, оттопырив губы в тусклом серебре усов, задумчиво вертел в руках какую-то железяку, и по тому, как он ее перекидывал из ладони в ладонь, будто печеную картошку, было видно, что железяка эта еще не совсем остыла.

— Денис Иванович...— окликнул из-за створки ворот дедок.

— Ну?

— Никого... нетути?

Денис Иванович не ответил, продолжал вертеть в руках поковку...

— А ведь уголья в горне горят... Стало быть, кто-то...

Тут рот Квадрата онемел и остался раскрытым, будто в него вставили распорку. В углу, за тесовым сундуком, в который старый кузнец Захар складывал свой инструмент, дедок узрел чьи-то ноги, обутые в стоптанные кирзовые сапоги. Даже пупырышки разглядел на подошвах.

— У-у... у-у...— произнес дедок и вытянул трясущийся палец в сторону ящика.— У-у...

Денис Иванович, сощурясь, склонив голову набок, долго глядел на торчащие головки сапог, потом подошел к сундуку, запустил за него короткопалую руку и вытащил на свет за балахонистый ватник насмерть перепуганного и по-кутячи обмякшего мальчонку.

— Ты кто такой? — спросил он.

— М-Митька я...— захныкал малец и заслонил свою тре-

угольную, с остреньким подбородком и широким лбом рожицу длинным, обвислым ватным рукавом.

— Какой такой Митька?

— Это Агашки сорванец! — тотчас взъерепенным воробьем залетел в кузницу Квадрат. — Агашки проулочной, у которой грушу молоньей расшибло... Ах ты, чирый подштанниковый. Это ты тюкал? Я т-те...

Дедок проворно ухватил оттопыренное Митькино ухо и стал его накручивать, как если бы это была ручка сельсоветского телефона.

— Я т-те покажу, разбудяй сыромятный, как народ смущать! Люди Октябрьскую революцию собрались отмечать, а он, стервец, тюкает... Я т-те потюкаю...

— Это не я-а-а! — заголосил мальчонка. — Я только мехи качал... Это все Аполошка...

— Я и Аполошке уши накручу!

— погоди ты, — отпихнул дедка Денис Иванович. — Сразу и уши откручивать. Аполошка, где ты тут?

— Вылазь немедля! — выкрикнул Квадрат.

— Ну, я... — глухо долетело откуда-то сверху.

С поперечины под самой крышей свесились похожие на утюги солдатские ботинки, из которых торчали портянки, а потом уже заголившиеся мальчишеские ноги. Обметая многолетнюю сажу, с дегтярно-черной матицы спустился неуклюже-длинный, вислопечий Аполошка, старший Митькин брат. Конфузливо подшмыгивая носом, Аполошка уставился себе под ноги. Большой вислый нос его был покрыт угольной копотью.

Денис Иванович с любопытством и даже как будто с удивлением оглядел ребятешек.

— Чистые сапустаты! — подсказал дед Квадрат.

— погоди, не лотоши, — поморщился Денис Иванович и спросил Аполошку, повертев перед его законченным носом найденной на наковальне железякой.

— Ты ковал?

— Я... — отворачиваясь, сознался Аполошка.

— Это что ж такое будет?

Аполошка промолчал.

— Это дышляк, — сказал за него малец.

— Что за дышляк?

— Это что колеса вертит, — быстро заговорил Митька, заблестев непросохшими глазами. — Мы тут паровоз делали. И все обратно положим, как было...

Митька с поспешностью подскочил к груде железного

хлама и вытащил оттуда самоварно блеснувшую артиллерийскую гильзу крупного калибра.

— Это вот котел самый... Куда воду наливают... Мы вот тут дырку заклепаем, и котел будет... А тут колеса... Пар сначала пойдет здесь, потом здесь и здесь...

Денис Иванович еще раз оглядел «котел» и поставил на наковальню.

— Ты вот что, Аполошка... Паровоз — это ладно... Ты мне скажи: болт отковать сможешь?

Аполошка перемялся ботинками.

— Ну что ж молчишь? Экий ты козюлистый!

— С нарезкой? — глядя куда-то в сторону, спросил Аполошка.

— Как положено.

— Если с нарезкой, то плашки надо.

Говорил он медленно, тягуче, словно брел по вязкой топи и с превеликим трудом выволакивал слова-ноги.

— А ты откуда это знаешь, что плашками?

Аполошка поддернул носом, и даже что-то презрительное промелькнуло в его сумрачном чумазом лице.

— А как же?

— Гм... — пожевал губами Денис Иванович. — Ладно, делай пока без нарезки.

— Простого болвана?

— Давай простого.

— Сейчас прямо? — недоверчиво спросил Аполошка.

— Сейчас и валяй.

— Дак какой надо? На три четверти, на пять восьмых или какой?

— Валяй на три четверти.

Аполошка потянул из вороха железа длинный прут и кивнул Митьке:

— Ну-ка, качни.

Митька с радостной готовностью подскочил к мехам, схватил за ремешок, перехлестнутый за деревянную вагу над головой, и повис на ремешке обезьянкой, задрав кверху сапоги. Оттянув рычаг, он снова ступил на землю и ослабил ремень.

IV

Внутри горна, над шлаком, что-то загудело, зашипело, маминое пятно остывающих углей живо брызнуло искрами и засинело огоньками. Аполошка пошурудил огонь и сунул прут в угли.

Красный летучий отсвет озарил Аполошкин подбородок, мослатые скулы, бугристый лоб, все, что было упрямого в этом нескладном подростке, оставив в тени лишь его раздумчиво-синие, широко распахнутые глаза. И от этого озарения, а может, и от чего иного, невидимого, загоревшегося в самом Аполошке, он враз как-то повзрослел, сурово построжал, будто заказанное ему дело прибавило целый десяток лет. Оно и всегда так: серьезная работа старого мастера молодит, юнца — мужает.

Придвинулись к огню и дедок с Денисом Ивановичем, стоят, смотрят, как Аполошка клещами поправляет, нагартывает на огонь уголь. И глядели они на Аполошкины руки, на длинные в сивой окалине клещи, на гневно ревущий огонь так, будто отродясь ничего диковиннее и не зрели. То ли ночь тут смешала все понятия, то ли сам Аполошка удивлял — ведь огурец зеленый, опупок, — а поди ж ты! Но скорее всего оттого завороженно стояли старики, что никогда не привыкнет человек смотреть с мертвым сердцем на то, как калится, краснеет металл в жарком нутре горнила, на самое изначальное ремесло свое, прошагавшее с ним всю людскую историю, начиная от бронзы, и породившее все прочие хитроумные обращения с металлом.

— А ну, прймай паровоз! — крикнул Аполошка так, будто это не был Агафьин Аполошка, в огороде которой молнией разбило грушу, а сам огненный бог, свершавший свое таинство в ночи. Дедок вздрогнул и, подчинясь спешности дела, мигом подлетел к наковальне и смахнул паровоз. Аполошка выхватил из горна бело-желтый, почти прозрачный прут, истекающий светом и жаром, припадая на хромую ногу, шагнул к наковальне, очертив в темноте ослепительную полудугу. Черная Аполошкина тень изломанно пронеслась по стенам и потолку кузницы.

— Зубило! — крикнул Аполошка, и белки его сверкнули в темных провалах глазниц.

Митька бросил мехи, подхватил зубило на длинном державке, приставил его к пруту, спросил Аполошку только взглядом: «Здесь?» — и Аполошка, кивнув, одним взмахом молота отсек конец прута. Тут же подхватил отрубленный кусок клещами, поставил его на попа, часто, торопко затюкал по концу молотком, осаживая прут и поворачивая клещи то вправо, то влево. И при каждом повороте пускал удар вхолостую, по наковальне, вызванивая ту самую паузу, то веселое кузнецкое «дилинь», непременно для всякого порядочного мастера, во время которого он успевает мгновенно оце-

нить сработанное, прицелиться и поправить поковку. Живой, податливый металл, рассыпая колкие звезды, послушно, стериново осел и утолщился и, остывая, помалиновел.

Сунув опять заготовку в горн, Аполошка кивнул своему подручному, тот, бросив зубило, метнулся к ваге. И пока тяжело сопели где-то над головой мехи и гудел огонь, выплевывая из горна раскаленную угольную крошку, Аполошка снова был молчаливо-суров и строг лицом, как хирург.

— Шестигранник или на четыре угла? — обернулся он по-
года к Денису Ивановичу.

— Давай на шесть.

Аполошка выхватил болванку, споровисто огранил, поправил в обжимке и швырнул в корыто с водой.

Денис Иванович выхватил еще парившую поковку и внимательно оглядел, можно сказать, даже обнюхал ее со всех сторон.

— Да, болт...— сказал он.

— Нарезать? — спросил Аполошка.

— Не надо. Верю.— И, повернувшись, протянул болт дедку.

Квадрат принял штуковину обеими руками, долго держал ее в пальцах за концы, поворачивал и все качал головой.

— Поди ж ты...

— Дядя Захар за один нагрев болт делал,— сказал Аполошка, глядя куда-то в угол.— А я два раза грел...

— Ишь ты... какой,— покосился на него Денис Иванович.— А колесо ошинуешь?

— Ошиную.

— И концы сварить?

— Дядя Захар показывал... А так — не знаю...

— Показывал, говоришь?.. Гм... Ну, а сошник?

— Культиваторный?

— Он самый.

— Можно и сошник. Только сталь хорошая требуется.
Рессорная.

— Ты мне пока так, одну форму.

— Один не оттянешь. С молотобойцем надо.

— А ну, давай попробуем,— сказал Денис Иванович и, захваченный азартом живой и горячей кузнечкой работы, ее древней и дивной затягивающей силой, добавил молодец-
вато:

— Поищи-ка Ванюшкин молот. А ты, дед, покачай нам, а то малец умаялся.

Дедок ухватился за вагу, а спустя минуту, разоидясь, рас-

стегнув шубейку и по-мальчишески заблестев глазами, говорил под тяжкие, воловьи вздохи мехов:

— Вот, Денис, штука-то какая... Гляжу я, нету на русской земле, которая хлеб родит... нету ничего приветнее для души... окромя, когда деревенская кузня гомонит молотками... Вот и ракеты теперь пошли и все прочее... А все ж таки кузня — всему голова... Как хочешь...

— Ты давай качай, качай, старый! — буркнул Денис Иванович.

— Да уж стараюсь... Раздуваю... А я было подумал: опосля Захария кончилась у нас династия... Ан переялась... Попросило семя...

V

Долго еще в предпраздничной ночи долетал до Серпиллок спор молотков. Стучали они то сердито и торопко, то со звонкой веселостью. Всполошенные серпилковцы никак не могли взять в толк, что происходит там, в чистом поле, какая такая открылась непонятная всепошная перед самым Октябрем. Прибежавший на деревню Митька запальчиво рассказывал:

— Ой, что делается! Сам Денис Иванович куеть... Ватник снял, в одной исподней рубахе... Перемазался — ужась... Денис Иванович куеть, а Квадрат качаить... Денис Иванович Аполошке: «А это сделаешь?» — «Сделаю». — «А это?» — «Сделаю»... Аполошка не сдается ни в какую. Все экзамены по-выдержал. Сколь всего понаковали — ужасы!

— Да ты-то куда опять? — спрашивали Митьку. — Мать вся избегалась.

— А! — махнул спущенным рукавом малец. — Скажите ей: мол, некогда... Послали за водой. И за куревом.

ВАРЬКА

Вот уже битый час Варька, мокрая и встрепанная, в кучем, выгоревшем за лето сарафане, гонялась по озеру за утками. Она упиралась широко расставленными ногами в борта полузатопленной плоскодонки, весло цепко увязало в иле, путалось в пухлых травяных пластах. От каждого толчка лодка заваливалась набок, и в ее отсеках хлюпала и взбрызгивалась парная, цвелея вода. Комары столбом толкались над головой, и Варька, отмахиваясь, яростно шлепала себя то по остро выпиравшим лопаткам, темным и худым плечам, то по мокрым и красным, исцарапанным камышами икрам.

— И штоб я в другой раз заместо кого осталась! — кричала она злым, грубым голосом. — И пропади они все пропадом, те утки! Нашли дуру!

Птица нахально лезла в самое непролазное лопушье, набивалась в камыши, рассчитывая пересидеть там Варькино буйство и все-таки остаться ночевать на озере. Варька шуровала веслом в камышах, колотила плашмя по воде, взбивая розовые при закатном солнце брызги. Утки, тоже розовые, мельтешили в ее глазах вместе с ослепительными бликами взбаламученной воды. Устав махать веслом, Варька оглядела озеро, рукой заслоняясь от багрового солнца.

— И когда же вас, самураев, заберут от меня на птицекомбинат, навязались вы на мою головушку...

Сторож Емельян что-то кричал, командовал Варьке, но она в утином гомоне ничего не понимала и только, оборачиваясь, видела, как Емельян, черный на светлом предвечернем небе, прыгал на своей деревяшке по крутому голому берегу, размахивая кистетом.

— А иди ты... — досадовала на него Варька. — Размахался!

Птичник стоял в лугах, верстах в семи от деревни, на берегу глубокой старицы с донными ключами. Построили его года четыре назад, когда пошла по колхозам мода на водоплавающую птицу. Председатель Парашечкин, круглый, коренастый мужичок в кепке с пуговкой, верхом на своем бе-

лом горбоносом жеребце, как Наполеон перед сражением, самолично выбирал позицию. Он долго петлял по лугам, среди неразберихи стариц, заросших ивняком и всякой дурной болотной всячиной, и под конец остановился на этом одиноком бугре. Будучи человеком осторожным и прижимистым, он не стал сразу разоряться на капитальное строительство, а поначалу распорядился сладить птичник на скорую руку — для пробы. «Так — дак так, а не так — дак и ладно», — приговаривал он, размечая бугор саженкой, — откуда и докуда ладить постройку. Плотники сплели из лозы опояску в полметра высотой, сверху сомкнули жердяные стропильца и все это закидали соломой. С тех пор и стоит посреди лугов этот приземистый безглавый балаган. Мода, однако, прижилась, утка оказалась доходной птицей, теперь можно было бы взамен шалаша поставить что-нибудь поосновательнее, тем более что колхоз при средствах, но Парашечкин что-то не спешил.

— Срамота-то какая! — донимали Парашечкина птичники, когда тот появлялся на озере. — Против соседей совестно. В миллионерах ведь ходим.

Парашечкин, сощурясь, издали оглядывал птичник и вдруг, побагровев, начинал ругаться:

— Ну-к што, што в миллионерах! С красоты воды не пить. Птичник как птичник. Не капает. Утка тебе што? Утка тебе не курица. Ей хоромы не нужны. А если я сюды двести тыщ кирпича убухаю, посчитайте, во что кило птицы обернется, дуры!

— Да ведь мы-то не утки. Нам и переночевать негде. В деревню каждый раз не набегаешься.

— Вон берите тракторную будку, хватит с вас.

По весне на птичник завозили с инкубатора две-три тысячи зеленовато-желтых пiskuнов, выпускали их на старицу, все лето полоскались они на полной природе, казенные харчи, правда, тоже были подходящие, подкармливали зерновыми отходами, мучной мешанкой, так что к концу августа, к тому моменту, когда надо закруглять дело, от уток на озере некуда было бросить камень. К этой поре все чаще навещался Парашечкин, хватал первую попавшуюся утку, прикидывал ее на руке, разгребал пух и тихо так, заискивающе говорил:

— Вы уж, девки, давайте пошуруйте эту недельку. Чтoб все по высшей категории пошло. А я, так и быть, помимо грамот... — он прищуривал один глаз и совсем так, как только что оглядывал уток, оценивающе посматривал на птичник, —

так и быть, я вам по набору духов преподнесу. По «Кармену». От себя лично.

Наконец объявляли сдачу, несколько дней на птичнике стоял гам, уток расписывали по клетушкам, грузили на машины и отправляли на птицекомбинат.

Остальное время балаган пустовал. Зимой по нему, занесенному сугробами, упиваясь утиным духом, шастали лисы. Весной же он одиноко торчал на бугре, со всех сторон облитый полой водой.

Варьку на птичнике называли приبلудной. Она объявилась там сама по себе и не числилась ни в каких штатных расписаниях. Позапрошлой весной шла она из школы домой, увидела возле правления грузовик, из которого доносился жалобный многоголосый писк, залезла на заднее колесо, заглянула в кузов. В решетчатых ящиках копошились черноглазые, похожие на пуховички вербы утята.

«Ой, да какие же они!» — загорелась Варька счастливой нежностью, закинула портфель в кузов и прикатила на птичник. Сначала бегала туда после уроков, а когда распустили на каникулы, осталась там на все лето.

Приходила мать, ругалась с птичницами за то, что они сманивают девку, отбивают ее от двора, и Варька пряталась от матери в камышах. Из-за этого птичницы сперва косились на Варьку, гнали ее домой, но потом привыкли и даже не мыслили своего дела без Варькиной помощи.

Варька разжигала кормозапарник, замешивала отруби, гонялась за утками, когда те, узнав про соседнюю бахчу, улетывали туда клевать помидоры, бегала с поручениями птичниц в контору, палила из дробовика по коршунам, с Емельяном ставила в лопушистых заводах верши. Сарафанишко висел на ней застиранной и вконец выгоревшей тряпичей, сама же она заветривала и обгорала до сизой шелухи, а руки и ноги истончались до такой степени, что от выпиравших суставов походили на узловатые жерди.

К концу лета утки надоедали ей до крайности. Из нежных беспомощных пискунов они превращались в прожорливых, нахальных и бестолковых тварей. Они изматывали Варьку до того, что у нее начинал портиться характер, Варька становилась злой, как осенняя муха, и клялась широким остервенелым крестом, что больше ноги ее не будет на этом распроклятом птичнике. А на следующую весну Варька опять прибегала к озеру, с какой-то болезненной жадностью набрасывалась на недельных утят, прижималась к ним щекой,

хватала ртом черные мягкие клювики и визжала, дрожа голосом:

— Ой, девчата, не могу! Какие же они хорошенькие!

И все начиналось сначала. Вот уже третье лето.

После обеда на птичник должны были привезти подкормку. Возил корм обычно Генка на «газике». Но вместо него неожиданно прикатил на пароконке с тремя мешками комбикорма Сашка-цыган.

Года три назад в позднюю осеннюю распутицу Сашка прибился к деревне вместе со своей матерью. Варька впервые увидела его в тот день возле правления. Пока мать обговаривала свою просьбу в кабинете Парашечкина, Сашка, тогда еще щуплый, узкоплечий мальчонка с заостренным, перепуганным лицом, сидел на затоптанном осенней грязью крыльце правления и сторожил узелок с пожитками. На нем была какая-то замызанная, не по росту кацавейка с подвернутыми рукавами, из которых зябко торчали черные сухие пальцы с белесыми ногтями. Больше всего Варьке запомнилась Сашкина обувь — глубокие резиновые старушечьи боты, дырявые и переломленные в носках, отчего казались странно и неприятно пустыми. Варька, пока шла мимо, минутно оглядывалась, дивясь не столько самому цыганенку, сколь его неприкаянному и равнодушно-покорному виду, и ей хотелось, чтобы Парашечкин не отказал и принял их в колхоз.

Зимовали они на свиноферме, в общественной хате, служившей и красным уголком и обогревалкой. Весной для них запахали кусок выгона на краю деревни, и до той поры, когда появится вольный материал на хату, плотники помогли сладить маленькую времянку в одно оконце. С первыми теплыми днями соседка бабка выгребла из своего погреба мешок картошки, набрала в подол узелков и кулечков со всякими семенами и повела Сашкину мать Марию на свежераспаханный выгон обучать земле. Мария, высокая, сухая цыганка, застенчиво улыбаясь своей неумелости, неловко и терпеливо что-то сажала и сеяла, поглядывая на проворные и корявые бабкины пальцы. Любопытные бабы нарочно бегали с ведрами к выездному колодцу, чтобы ненароком подсмотреть, как обживаются чужепришельцы. Иные, не скрывая своей стародавней крестьянской непримиримости к бродяжьей жизни, посмеиваясь, кивали:

— Сеять да пахать — не на карты брехать!

Однако постепенно все это изгладилось. Мария помаленьку обвыкла, привыкли и к ней. Она оказалась неназойли-

вой женщиной, без нарочитой цыганской нахалинки, на сви-
нарнике работала с молчаливым терпением — одним словом,
баба как баба. К тому ж и горе носила в себе самое обычное,
бабье: бросил ее муж. Рассказывала, что цыган не смирился
перед новым законом, не сдал коня государству, а в необду-
манной горячности и глухой тоске по прежней кочевой жизни
тайно забил его в лесу, мясо продал, а сам подался искать
волю в Молдавию, а может, и дальше куда, к сербам. Звал и
ее с собой. Но одному, может, где и воля, а куда ж ей с маль-
чонкой...

Труднее приживался на деревне Сашка. Ребятишки то
липли к нему, забавляясь его чужой необычностью, странным
говором и привычками, то вдруг, не поделив какой пустяк,
дружно и наглухо чурались, лепили всякие обидные прозви-
ща и по малолетству бездумно попрекали всем цыганским:
Сашкиной кучерявостью, глазастостью. «Сыган, сыган, коску
смыгал!» — выкрикивал из-за плетня какой-нибудь сопливый
бесштаный пацан, просто так, от нечего делать. Свистушки
девчонки, без семи лет невесты, тоже сочиняли про Сашку
всякую обидную небывальщину, вроде того, что, мол, у него
цыганские ненадежные глаза, многозначительно ахали и, пу-
гая друг дружку Сашкиной неверностью, уговаривались «ни
за что на свете» не водить с ним компанию.

Сашка держался хотя и не враждебно, но настороженно
и замкнуто, больше вертелся возле взрослых мужиков и все
дни пропадал на конюшне. На улице видели его редко,
в дневную школу он не ходил, стеснялся своего роста, в ве-
черке же по причине его неграмотности не нашлось началь-
ных классов. Ради него одного учреждать изначальное обу-
чение в вечерней школе никто не стал, хотя завуч и угово-
рил Сашку по вечерам брать уроки у него на дому.

Свалив мешки, Сашка закурил сигарету, присел у заднего
колеса на корточки.

— Девчата, шестимесячный приехал! — крикнула птични-
ца Нинка Арбузова, и вслед за ней все остальные высыпали
из вагончика.

Сашка бывал на птичнике редко, и на него сбегались
глядеть, как на диковинку. Сашкину голову покрывала буй-
ная копна нестриженных волос, опутывавших шею сине-смо-
ляными кольцами. Девчата завидовали этому даром достав-
шемуся нечесаному счастью и между собой называли Саш-
ку шестимесячным.

— Саш, продай бигуди, — притворно серьезным тоном ска-
зала Ленка Пряхина, присев перед цыганенком на корточки.

Птичницы томились знойной скукой августовского дня и обрадовались случаю побалагурить.

— Какие бигуди? — не понял Сашка.

Девчата прыснули. Сашка, смигивая черными ресницами, выжидающе поглядывал то на одну, то на другую.

— Он их на конюшню отнес, — вставила Нинка, подписывавшая на грядке телеги Сашкину накладную. — Кобылам на ночь хвосты накручивает.

Девчата снова дружно захохотали. Сашка отвернулся, пустил длинную струйку дыма на свои босые серопыльные ноги.

— Саш, а правду говорят, что ты девкам зелье подсыпашь? — не унималась Ленка. — Девки выпьют и сразу дурочками становятся.

— Ты и без зелья дурочка, — огрызнулся Сашка.

Варька, сочувствовавшая Сашке еще с того самого дня, как увидела его на крыльце правления с узелком под мышкой, не принимала участия в балагурстве, топталась в сторонке, испытывая стыдливую неловкость от обидных и задиристых шуток птичниц. Девчата заметили Варькино смущение, тотчас истолковали его на свой лад и бессовестно набросились на нее.

— Ты чего за спины прячешься?

— Девки, да она краснеть научилась...

— Хорош парень; а?

— Одни глаза чего стоят!

— Берегись, Варька, они глазливые!

Поймав на себе черно-сливовый Сашкин взгляд, Варька совсем смешалась, еще больше пыхнула от жаркого и сладкого испуга и гнева и, чувствуя, как глаза наливаются слезами, нагнула голову и убежала за будку.

— Отдай накладную, — нахмурился Сашка.

— погоди! Куда ты спешишь? Побудь с нами.

— Сашечка, сплясал бы, что ли!

— Ага, Саш! Чего тебе стоит! А мы Парашечкина попросим, чтоб он тебе трудодень за это начислил. Как за художественную самодеятельность.

Сашка угрюмо зыркал из-под спутанных завитков, потом подскочил, хотел было выхватить накладную, но Нинка, увернувшись и подняв бумажку над головой, захохотала:

— Сперва спляши...

— Дай, говорю! Я на работе, поняла?

— Поняла... Твоя работа пикуда не убежит. Вон как хвосты обвисли.

Сашка затравленно и дико озирался. Не найдя слов, болезненно скривясь, он вдруг выхватил из повозки длинный кнут.

Девчата взвизгнули и рассыпались. Перевалившись через решетчатую дробину и огрев кнутом сонно выстаивавших жару лошадей, Сашка покотился прочь в сухом грохоте растрепанной телеги.

— Ой! — спохватилась Ленка Пряхина, когда Сашка был уже за озером. — А что же мы про кино не спросили? Сегодня же четверг. В клубе кино должно быть.

Варька весь остаток дня носила в себе обиду на девчат за давешнее и уже было настроилась вечером сходить в клуб, но к ней неожиданно подошла Ленка, обняла пухлой рукой за плечи и потащила в сторону от балагана.

— Пойдем, чегой-то скажу.

— Чего еще? Небось подежурить?

— Ага, Варь, золотце, побудь за меня!

— Больно нужно! — Варька сердито дернула плечами, но Ленка крепко и непрекословно обхватила ее за талию, прижала к своему мягкому и теплому бедру.

— Варь, ну ладно тебе... Ты что, в кино собираешься?

— А хоть бы и в кино.

— Ну что тебе кино? Успеешь еще, находишься.

— А тебе больно нужно?

— Сама знаешь... Ну просто аж душа сохнет. Ну, хочешь, я тебя поцелую?

Варька знала, что у Ленки любовь, и давно тайно и пылливо приглядывалась к птичнице. Ленка ходила то улыбкавой и потерянной дурочкой, то рассеянной и молчаливой, но все равно было заметно, что ей хорошо. Это было чем-то вроде странной и счастливой болезни. Варьку и самое от одного этого слова охватывало щемяще сладким ознобом, и она начинала смотреть куда-то далеко-далеко, за деревню, за край земли. Все это было как-то неопределенно и ничем не похоже на Ленкину любовь, и к тому же бесследно проходило, как только она начинала возиться с утками. Но через эти смутные наплывы сладостной грусти Варька понимала, что происходит с Ленкой, и то сочувствовала ей, то вдруг упрямо и вызывающе грубила ей.

— Побудь, а, Варь... — вкрадчиво шептала Ленка. — Дай доходить... Теперь уже недолго осталось...

— Да что ты на меня виснешь! — Варька рванулась, но,

не вырвавшись, задвигала острым и жестким локтем. — Нашли дуру! Я и так за вас все лето тут сижу.

— Варь, ты же хорошая, чего же ты орешь дурным голосом?

— Как хочу, так и кричу! Отпусти, говорю!

— Тебе уже пора за собой последить. Вон как давеча на тебя Сашка глядел... Парни — они все примечают: и как ходишь, и как с людьми обращаешься. А ты орешь как скаженная.

— Больно нужен мне твой Сашка! — протестующе выкрикнула Варька, снова закипая обидой на девчат за их доминирующую пронырливость.

Она вдруг рванулась и убежала, стукотя пятками по убитому, высохшему бугру.

— Вот чумовая!

Через час, когда птичницы уже ушли, Варьке стало жалко неприкаянно бродившую возле балагана Ленку, и она, подкравшись, виновато сказала:

— Ладно, иди уж...

Ленка обернулась, вся просияв, сцапала Варьку, сдавила своими цепкими, удушливыми ручищами.

— Опять тискать! — завопила Варька, задыхаясь в сдобной Ленкиной груди. — Чуть что — прямо на ше...ею. Гляди, промахне...еешь...ся... не на ту повиснешь...

— Ах ты язва сухоребра! — взвизгнула Ленка.

— Уйди, говорю, а то ушибу!

Варька, вскидывая колени, начала топтать, воровя наступить Ленке на ноги, та неуклюже запрыгала, отдергивая ступни, запнулась о корыто, и они шлепнулись и раскатились, хохоча — Ленка тоненько, молодым барашком, Варька раскатисто и басовито.

Ленка стала собираться. Она стащила старенькую блузку и, продев локти в спущенные лямки нижней сорочки, оголилась до пояса, круглотелая и ладная, белея крепкими грудями. Она, ни чуточки не смущаясь Варьки, в сознании собственного превосходства, неспешно оглядела самое себя и, поглаживая нежно-розовые соски, попросила полить умыться. Варька с готовностью подхватила ведро, стала лить на мониста, в то место, где темный загар от выреза воротника четко переходил в чистую белизну спины. Ленка вздрагивала, радостно придыхала от ледяной ключевой воды, поводила литыми, сразу порозовевшими плечами, и Варьке была приятна эта здоровая и красивая Ленкина нежность, которой она искренне и открыто завидовала.

— Лен, а ты справная! — сказала она и тут же, отвернувшись, трижды поплевала себе под ноги.

— Тоже... выдумашь! — передыхая, отозвалась Ленка.

— Ей-богу, Лен!

Умывшись, Ленка ушла в тракторную будку, покопалась там в сундуке, стала одеваться в чистое. Варька неотступно ходила следом.

— Варь, застегни.

И Варька, озабоченно волнуясь, неловко и торопко застегивала настоящий лифчик, туго перерезавший Ленкину спину узкой белой полоской.

Ей было любопытно и сладко наблюдать все эти таинства девичьих сборов: как Ленка неспешным движением плавных, красивых рук расчесывала влажные после умывания волосы, встряхивала и откидывала распушенную голову, как прищипывала комочком ваты, будто крестясь, — сначала на лоб, потом на подбородок, а затем уже на обе щеки — душистую пудру, как потом, растерев ее приученными движениями, облизала запорошенные губы, вдруг блеснувшие свежо и ярко, и как поклонила палец и провела по бровям, словно расправила два птичьих крыла. От всего этого Ленка сразу несказанно похорошела, и никак нельзя было подумать, что совсем недавно она месила утиные отруби. Варьке было немножко грустно, что все эти превращения происходят не с нею самой и что, если бы в клуб пошла она, Варька, то никому до этого не было бы дела, а просто сидела бы в первых рядах вместе с такими же, как она, девчонками, грызла бы семечки в подол, отпускала тумачи сопливым ребятишкам, которые в темноте суют за воротник раздавленный шиповник, а потом, после кино, отиралась бы с подружками возле уличной гармошки, держась от нее в стороне, с независимым видом, громко и без дела смеясь и подтрунивая над старшими. И все же Варька радовалась за Ленку, радовалась ее праздничной нарядности и тому, что ожидает ее сегодня в деревне. Ей хотелось, чтобы все у Ленки было хорошо и счастливо.

— А целоваться будешь? — жарким шепотом спросила Варька.

Ленка, сощурилась, посмотрела строго и осуждающе, но, не выдержав Варькиной искренней простоты и влюбленности, самодовольно хохотнула:

— Ну и дура же ты!

— Нет, Лен, правда?

— Отстань!

Ленка ушла.

Прислонясь щекой к дверной притолоке тракторной будки, Варька долго глядела, как она шла торопким, кокетливым мелкошажем, помахивая в руке белыми босоножками, то пропадая в ложбинах, то снова появляясь на открытом.

Емельян и Варька наконец собрали уток в плетеный загончик вокруг балагана. Продираясь сквозь густо облепившие ее базарно горлающие утиные шеи, поддавая под них ногой, чтобы расчистить корыто, Варька вываливала из ведер теплое мучное месиво и бежала опять к кормозапарнику. С полчаса у корыт творились галдеж и толчея, жадное чавканье и прихлебывание, потом гомон постепенно стихал, враз отяжелевшие утки, волоча зобы, разбрехались от корыт, началась чистка перьев, прихорашивание, и наконец все успокаивалось. Спрятав головы под мышки или зарыв носы в грудастые, распушенные зобы, улегшиеся утки недвижно белели в загоне плотной булыжной мостовой.

Тем временем Варька, перевалившись через край, задрала голые, искусанные комарами ноги, выскребала и споласкивала котел, потом таскала воду, чтобы утром, к моменту, когда проснется вся эта орава и поднимет голодный крик, снова заполнить корыта свежей мешанкой.

После молчаливого ужина за тесовым столиком возле тракторной будки Емельян, неспешно выкурив самокрутку, полез, побряхтывая, в свою каморку, прилаженную сбоку к балагану, такую же безоконную, соломенную, с узким лавом, высланную сухой осокой.

Оставшись одна и не зная, что больше делать, Варька длинной тенью бродила по притихшему птичнику. После ухода разнаряженной и откровенно счастливой Ленки, взбудоражившей Варьку своими сборами, ею все больше овладевало чувство своей никому ненужности и неотвязно росла смутная, беспокойная потребность что-то делать с собой. Солнце уже зашло малиновым шаром, будто медный пятак в дорожную пыль, зарылось в сизую мглу на горизонте. На луга пала грустная сумеречная синева. На ближних и дальних старицах лениво и равнодушно, со старческой хрипотцой квакали матерые лягушки, нагоняя тоску и скуку.

Походив вокруг балагана в одуряющем томлении и так и не найдя себе дела, Варька вернулась в тракторный вагончик. В будке еще плавало хмельное облако духов, оставшееся от Ленки. Она непроизвольно и жадно потянула носом этот

манящий в какие-то светлые, обманчивые царства запах, от которого все вокруг — и этот соломенный балаган, и вытоп-танный выгон, и разбросанные по нему корыта — начинало казаться ненужным, угнетающим своей трезвой и равнодуш-ной обыденностью.

Варька прокралась к Ленкиному сундучку, нетерпеливо и воровато покопалась в его темном нутре и выгребла себе в по-дол зеркальце, причудливо огащенный флакон духов и ко-робочку с пудрой. С гулко колотящимся сердцем она расста-вила все это на откидном столике у маленького, еще светло-го оконца, перед которым недавно сидела Ленка. Пристроив зеркальце, она разглядывала себя, поворачивая лицо и кося глаза, потом открыла пудру и мазнула ватой по облуплен-ному редисочному носу.

Нос мучнисто-бело проступил на темном остроскулом ли-це, и тогда Варька, будто испугавшись, стала торопливо за-ляпывать все остальное. Из квадрата зеркала на нее смот-рело безбровое большеротое существо. У существа было странно бледное, мертвое лицо и почти черные оттопыренные уши. Оно поворачивало голову на длинной тонкой и тоже почти черной шее и косоило круглые, болотно-зеленые глаза с отчужденно испуганно расширенными зрачками, после че-го ненавидяще, со злобной растяжкой сказала:

— У, зан-н-туда!

Она выскочила из будки, сбежала к озеру, сдернула через голову сарафан и вышагнула из трусов. Берег был илист, истоптан крестиками утиных лап. Варька голышом, горбясь, побежала вдоль берега к круче и с ходу, высоко вскинув пят-ки, бухнулась вниз головой. Над ней взбурлил пенный бу-рун, затухая, он расплылся по озеру тяжелыми ленивыми кругами, разнося на изгибах прибрежную черноту воды. Она долго и сильно гребла в придонной глубине, пугаясь невидимых трав, трогавших ее живот мягкими, вкрадчивыми ла-пами, и вынырнула далеко от берега, задохнувшись, оглох-шая от шума воды в ушах. Коротким нырком Варька смыла с глаз прилипшие волосы, шумно отфыркалась, потеряла по ли-цу ладонями и поплыла ребячьими размашистыми саженка-ми. Вода охладила и успокоила Варьку. Уморившись, она оп-рокинулась на спину, вытянулась плашмя и замерла. Над поверхностью виднелись только нос и подбородок да еще два бугорка груди, то проступавших, то погружавшихся в ритме Варькиного дыхания.

Озеро простиралось в темной раме вечерних сумеречных берегов. Плотной стеной темнели по сторонам камыши, чер-

нела причаленная Емельянова лодка, чернели верши, выброшенные на сухое, и только сама вода была еще светла. Лежа на спине на середине озера, Варька не замечала ни берегов, ни обступивших камышей, она видела только небо, огромное и высокое, кажущееся особенно высоким теперь, вечером, когда только в самой безмерной его глубине на недвижно замерших кучеряшках облаков еще розовел свет давно угасшей зари. И еще видела она воду, начинавшуюся у самых ее глаз. Зеркально ясная гладь озера, чуткая ко всему, что простиралось над ним, была заполнена подрумяненными облаками и уже не казалась озером, а таким же, как и небо, бездонным пространством, и нельзя было сказать, где кончались настоящие облака и где было только их отражение. Два мира, вода и небо, охваченные вечерним задумчивым покоем, где-то за пределами Варькиного зрения слились воедино, и ей стало радостно и жутковато вот так, одной, недвижно парить в самой середине этой сомкнувшейся светлой бездны, и снизу и сверху заполненной облаками. Она наслаждалась простором, легкостью, почти неосязаемостью своего тела, и все ее недавние томления и горести казались нелепыми и смешными. Здесь не было ни балагана, ни Ленки, ни деревни, все это ушло из ее сознания и стало почти нереальным, а была только одна она, Варька, в своем гордом и высоком одиночестве. И она завопила как можно громче, для одной только себя, не стесняясь своей безголосости:

Кавказ подо мною. Один в вышине
Стою над снегами у края стремнины.

И так же нараспев, затажно выкрикнула:

— Я-я-я-я! Эге-ей!

Своего голоса Варька не услышала, потому что уши находились под водой. Она смутилась, забила ногами шумный фонтан и поплыла к берегу. На ходу она обрывала белые лилии, уже закрывшиеся на ночь. Лилии волочились за ней на длинных гибких стеблях, концы которых Варька придерживала зубами. Она любила делать их них мониста, надламывая стебелек то в одну, то в другую сторону. Получалось что-то вроде цепочки с тяжелым цветком на конце.

Одевшись и сполоснув в лодке ноги, Варька расстелила на берегу, на высоком месте, телогрейку, бросила на нее пучок лилий, принесла и разложила рядом полдюжины крепких приплюснутых помидоров, краюху хлеба и соли на ло-

пушке. Помидоры еще хранили в себе тепло знойного дня, Варька, озябшая после купания, радовалась этому живому теплу, некоторое время держала помидоры в ковшиках ладошек и лишь потом, надавливая большими пальцами на черенковую ямочку, разламывала пополам. Положив половинку в рот, она запрокидывала голову, досылала щепотку соли и, пожевав, прикусывала краюшкой. Она ела не спеша, радуясь вкусу хлеба, с удовольствием хрустя крупинками соли, ела, поглядывая, как в лугах зарождались туманы. Сизое курево проступало откуда-то из низин, слоилось тонкими лоскутами, обозначая все неровности земли, старицы и ложбины. Постепенно туманы перемешались с загустевшей сумеречной синевой, упрятались горбатые спины стогов, темные островки лозняка, далекие деревеньки на суходолах, а затем и сами суходолы, скрылись все следы человеческого бытия. Размылся и пропал из виду горизонт, раскованная перед сном, отпущенная на волю земля беспредельно разбежалась во все стороны, таинственно уходила краями в глубину ночи и простиралась перед Варькой в величаво-спокойной тишине и безлюдье.

Варька доела помидоры, легла на живот, подперла голову кулаками. Она лежала просто так, умиротворенно глядя и прислушиваясь к лугам. Именно в эти минуты прихода ночи Варька испытывала наибольшую близость и свое слияние с простой и ничем не приметной круговиной земли, простершейся вокруг нее. Она чувствовала себя тоже раскованной и отпущенной на волю, и в такую пору луга всегда манили ее куда-то. Они манили ее своей новой незнакомостью, когда даже стог, много раз виденный днем, вдруг неузнанно выплывал из темноты и воспринимался с удивлением и легким испугом, манили своей таинственной оборванностью тропинок, которые, казалось, были протоптаны не просто к балагану или к бахчевым шалашам, а вели к неразгаданному и где-то совсем близко заплутавшемуся счастью, заставляя чутко прислушиваться при каждом шаге и держать настороже свое тихо и радостно бодрствующее сердце, учащенное острым ощущением бытия.

Между тем взошла поздняя, натужно-красная луна. Пробившись сквозь сдвинутые к горизонту плоские и вытянутые облака, она очистилась от багровости, пролилась рассеянным, не оставляющим теней голубоватым светом. В загустевшей было темноте наступил перелом. Варька знала, что теперь уже до самого утра в лугах будет брезжить эта призрачная голубизна. За озером на просяном поле глухо заворо-

чался трактор — начали перепахивать под зиму. Поле это не имело правильной формы, оно причудливо изгибалось меж обступивших низин, и трактор, светя себе единственной фарой, будто зеркальцем, мерцал издали на поворотах.

«Сбегать посмотреть!» — обрадовалась Варька возможности пойти куда-нибудь.

Но пока она обходила озеро и шла лугом, трактор успел обогнуть поле и теперь удалялся по другому его краю. Свежая пахота опоясала белесое при луне просяное жнивье. Варька пожалела, что не перехватила трактор и не посмотрела, кого прислали распахать просо, и некоторое время шла следом, по борозде, босыми ногами ощущая влажный холодок перевернутого пласта. Но вдруг заметив слева от поля огонек, которого раньше не видела, остановилась. Огонек то исчезал, то опять вспыхивал, и Варька сначала подумала, что кто-то идет лугом и курит, и лишь когда он вскинулся ясным высоким пламенем, она поняла, что разжигали костер. Еще сама не зная, что собирается там делать, Варька выбралась из борозды и свернула влево. Она шла, не обходя глубоких низин, держась на свет костра. Старицы запутанными петлями избороздили луг, вода в них держалась недолго, только после половодья, а остальное время стояли сухими, иные лишь с вязкой мокрецей, вокруг которой безудержно бушевали травы и лозняки. Только немногие питали себя подземными ключами. Но Варька еще издали определяла их по лягушачьему кваканью. Низины до краев были заполнены серебристым при лунном свете туманом. Варька входила в него, как в воду, сначала по пояс, а потом и вовсе с головой. Твердь земли внезапно убегала, почти проваливалась под ногами, тело охватывал овражный холодок, и Варька с приостановившимся дыханием продиралась сквозь брызжущие росой заросли, разрывая сомкнувшиеся стебли коленками и спеша поскорее выбраться на открытое. А выбравшись, оглядывалась и с поздним веселым страхом удивлялась самой себе, как это она прошла через этот распад, такой жуткий и затаенно-невидимый под седой гладью тумана. Уже неподалеку от костра в одной из таких низин Варька повстречала лошадей. Они паслись на дне, под туманом. Были слышны только сочное хрумканье и тяжелый переступ спутанных ног. Из серой пелены то проступал темный круп, то показывалась поднятая голова, будто кони всплывали из озерных глубин, и тогда они казались Варьке фантастическими чудищами, что бродили по земле в далекие времена.

У костра Варька никого не встретила. В мерцающей кру-

говине света стоял только белый Парашечкин конь, задумчиво и недвижно глядевший на желтые языки пламени. Казалось, что это он распалил костер, чтобы просушиться от низицной сырости и обдумать какие-то свои лошадиные думы.

Варька поглядела по сторонам, застыя от света ладошкой. Удивленно хмыкнув безлюдью, она приподняла сарафан, поставила под горячий дым мокрые озябшие коленки. Мерин за ее спиной переступил несколько шагов, потянулся шейей, стал обнюхивать и тыкаться мягкими губами в Варькины лопатки, обдавая теплым травяным дыханием и щекоча шею усатой мордой.

— Отстань, дурак, — незлобно передернулась Варька и, обернувшись, увидела бредущего к костру человека.

Варька ойкнула, поспешно опустила густо паривший подол. В круг костра вошел Сашка в наброшенной на плечи стеганке, с жестяным чайником в руке. Варька замерла от неожиданности.

Весь сегодняшний вечер она наполнилась какой-то радостно-беспокойной смутой, странным и непонятым ожиданием, отчего было просто невозможно свернуться калачиком в тракторной будке и проспать эту ночь, и ноги сами бежали и несли ее в туманные, затаившиеся дали лугов. Она не знала, кого встретит у этого одиноко мерцавшего костерика, не думала ни о ком и ни о чем и шла сюда в неосознанном стремлении идти куда-то. И вдруг этот Сашка. Его будто нарочно кто подослал во второй раз за сегодняшний день. Она замерла, охваченная мгновенно налетевшим чувством сладкого и знобкого смятения. Тотчас припомнился внимательно-тягучий Сашкин взгляд, каким он посмотрел на нее давеча возле тракторной будки и который Варькина память помимо ее желания, оказывается, ревниво припрятала в своих самых тайных глубинах — припрятала даже от нее самой, еще не умевшей ничего беречь долго и серьезно.

Сашка сбросил с себя телогрейку и, оставшись в красной майке, сливаясь чернотой обнаженных рук и плеч с чернотой ночи, загущенной светом огня, подсел к костру. Он молча закопал в угли чайник, подложил сушняку, потом, припав на четвереньки, стал раздувать пламя. Он дул в малиновый переливчатый жар, медно блестел лицом от пламени и, отстраняясь, чтобы глотнуть свежего воздуха, обнажал сахарно-белые, клыкастые зубы.

Варька глядела на Сашку, так и не поняв, обрадовалась она ему или испугалась.

На нее же он не обращал ни малейшего внимания, будто ее вовсе тут и не было, и это его непонятное молчание еще больше смущало Варьку.

Она хотела было уйти, исчезнуть так же тихо в ночи, как и появилась, но за спиной был длинный, запутанный и нехоженный путь к озеру, через отяжелевшие от студеной сырости луга, а здесь горел огонь, и он притягивал иззябшую Варьку веселым, обжитым теплом. Но еще больше притягивали вдруг открывшееся тайное Сашкино одиночество и сам Сашка, такой непонятный и ни на кого не похожий. Все еще не поборов робости, она тихо присела на другую сторону костра, отгородившись от Сашки ярко заплывавшим пламенем.

— А ты чего тут?

Сашка оторвался от огня и долгим прищуром посмотрел на нее, будто увидел только теперь.

Внутренне холодея, ожидая какого-то страшного гипноза от Сашкиных сливово-черных глаз, чувствуя, что деревенеет лицом, Варька, однако, выдержала взгляд. Сашка отвернулся первым, и она сказала как можно небрежнее:

— Костра, что ли, жалко?

Охватив колени руками и чуть откинувшись, она с независимым видом стала следить за искрами, торопливо, в неверном, трепетном лете исчезающими в темноте.

— Куда идешь?

— Кино смотрела,— соврала Варька.— На птичник иду.

— Тут дороги нету.

— А я напрямки.

Сашка покосился на мокрый подол сарафана.

— Смелая...

Отвалившись, он вытащил из куста котомку, выложил из нее жестяную самодельную кружку и, покопавшись, выгреб горсть черной ягоды вместе с листьями и мелкими веточками. Все это, не очищая, он натолкал в чайник.

— Чай кипятишь? — дружелюбно спросила Варька.

Сашка хмуро усмехнулся:

— Зелье завариваю.

Было видно, что в нем еще не улеглась обида ни птичника, а может быть, заодно и на нее тоже.

Сашка на ощупь брал из вороха несколько веток и не спеша выкладывал их колодцем по бокам чайника. Огонь то вспыхивал, жадно набрасываясь на одеревенелые былки

прошлогоднего бурьяна, то опять затаивался под шевелящимся пеплом. Ночь топталась и ходила вокруг костра, отступая перед огнем на несколько шагов и снова сужая круг, и тогда Варька спиной чувствовала ее влажное прикосновение. Глядя, как Сашка, большоголового от непроглядной черни спутанных завитков, весь в пляске багровых бликов, с молчаливой сосредоточенностью возился с чайником, взбодороженная всей этой таинственностью глухого, затерянного места, она и сама была готова поверить, что он на самом деле заваривал что-нибудь небывалое и колдовское. Но она только передернула плечами:

— Так уж и зелье...

— Не веришь?

Подавляя неприятный холодок сомнения, Варька вызывающе встряхнула головой:

— Дай попробовать.

Сашка молча снял с огня вскипевший чайник, не спеша, с какой-то устрашающей медлительностью нацедил отвару и, подняв смоляную бровь, поставил кружку в траву рядом с Варькой.

— Дурочкой станешь,— предупредил он, насмешливо блестя глазами.

— Так уж и дурочкой! — передернула плечами Варька.— Держи карман!

Кружка жгла руки, Варька завернула ее в холодные листья конского щавеля. Вытянув сторожку губы и кося к носу глаза, она леговько потянула крепко пахнущий кипяток.

— А, испугалась! — Сашка вдруг весело захохотал, довольный, что подурочил Варьку.

— И ни чуточки! — сконфузилась Варька.

— Видел, видел! — смеялся Сашка, прихлопывая по коленкам.

— Подумаешь! Обыкновенная смородина.— То, что кипяток был заварен самой обыкновенной черной смородиной, даже разочаровало Варьку.— Думаешь, не знаю, где рвал? Возле Белых ключей. А я знаю, где ежевика.

— Сам знаю.

— А терн?

— Какой такой терн? — не понял Сашка.

— Синяя ягодка. С косточкой.

— Колючий такой? Знаю. Сколько хочешь.

— А свербига где, знаешь?

Сашка замигал мохнатыми ресницами.

— И не знаешь! — обрадовалась Варька.

Она прихлебывала чай маленькими жаркими глотками, поглядывая на Сашку сквозь душистый парок и торжествуя, что Сашка не знает свербигу.

Сашка достал кусочек пиленого сахара, небрежно бросил в Варькин подол. Потом вытащил желтую, в пятнистых подпалинах лепешку, разломил на коленке и положил на траву возле Варьки.

Ободренная Сашкиным угощением, она принялась за лепешку. Лепешка оказалась свежей, с хрусткой, поджаристой корочкой, и было вкусно запивать ее смородиновым чаем. Ее первая сковывающая робость перед Сашкой прошла, да и сам Сашка больше не смотрел на нее с пугающей, мрачной настороженностью, и ей стало легко и хорошо.

Примечая в Сашке все цыганское — его буйную черноту волос, диковатый, летучий взгляд, гортанную картавость речи, все то, что вызывало у деревенских девчонок непонятную ей самой настороженную неприязнь, Варька поглядывала на Сашку с добрым участием, дивясь его притягивающей необычности. К нему как-то особенно шли и длинные, затоптанные на отворотах штаны, и жарко-красная майка, и этот огонь, игравший на каштаново-черных плечах влажными блуждающими бликами, и даже сама ночь, которую он коротал неспешно и деловито.

— Саш, а ты откуда? — спросила она, думая о том, где он жил и вырос до того, как объявился в деревне.

— Как откуда? — не понял Сашка.

— Ну, где жил раньше?

— А нигде...

— Как это?

— А так... Ездил.

— Ну, а родился-то ты где?

— А не знаю, — сказал Сашка с небрежным безразличием. — Тебе зачем?

— Так просто... Чудно как-то...

Та его жизнь была для Варьки загадочной и непонятной и казалась зря потраченной.

— И в школу не ходил?

— Какая школа? Говорю — ездил...

— А что делал, когда ездил?

— Что делал, что делал... Когда дождь — из кибитки смотрел. Когда вечер — у костра сидел. Когда на базар ходил — плясал. — И, усмехнувшись, добавил: — На пузе, на голове...

— Как это? — удивилась Варька. — Покажи.

— Что ты как муха... жж-жж... Чаю — дай, как жил — скажи, плясать покажи... Музыку надо. Я без музыки не могу.

Варька пошарила позади себя рукой, нащупала узкий листок лисохвоста, сорвала и, заложив между двух больших пальцев, поднесла к губам. В ее ладонях родился негромкий бархатистый звук. Белый конь приподнял жесткие изогнутые ресницы и сторожко шевельнул ушами. Набрав побольше воздуха и раздув щеки, Варька заиграла «Яблочко». Она дудела, покачиваясь из стороны в сторону, раскрывая и прикрывая ладошки и весело посмеиваясь одними только глазами. Лисохвост пел совсем как дудочка — нежно и чисто.

Сашка некоторое время удивленно смотрел и слушал, губы его непроизвольно раздвигались и раздвигались, пока не прорезалась широкая белозубая улыбка. И вдруг, будто решившись на отчаянный поступок, он подскочил, утробно гикнул и частой дробью прошелся ладошками по коленкам.

— Давай.

В следующее мгновение он уже встрепанным бесом выстукивал пятками, пришлепывая и пришаркивая длинными обтопанными штанинами, бубня себе под нос какие-то слова, то ли просто так балабоня языком.

Варьке было забавно и весело глядеть, как в красных отблесках огня смешно подскакивал Сашка, колотил себя с неистойвой яростью то по выпяченному животу, то по надутым щекам. Вдруг он быстро нагнулся, уткнул голову в траву и, упершись в землю руками, задрал ноги. Сделав на голове несколько неуклюжих прыжков, Сашка опрокинулся на живот и, изогнувшись рыбой, завертелся на животе, подминая метелки травы. Наконец он подскочил, часто дыша и улыбаясь открытым ртом.

Варька хохотала, пригнув голову к коленкам.

— Чего смеешься? — спросил Сашка, сам хохоча и пьяно пошатываясь. — Тут плохо... трава мешает... И давно не плясал... разучился малость.

Он отхлебнул из кружки остывшего чая и пошел собирать сушняк.

Откинувшись на траву, Варька слушала, как где-то совсем рядом, за ближайшими кустиками бессмертника, деревянно поскрипывал коростель: кр-икр, кр-икр... Варьке чудилось, что это вовсе не птица, а сторож Емельян скрипит своей дрявяшкой, ковыляет в лугах, ищет ее, Варьку, хочет загнать в тракторную будку. Но ей не хочется в будку и совсем не

хочется спать. Вот даже ни капельки! И Варька, тихо посмеиваясь, загребла обеими руками и пригнула себе на грудь, на лицо гибкие шелковинки мятлика. Пусть Емельян пройдет мимо. Он не должен ее найти. Она глядела сквозь кружево тонких метелок в небо, вдруг проступившее после костра. Ночь сияла, искрилась щедрым, непрерывно струящимся лунно-голубым свечением, в логу звенели путами кони, и пьяняще пахло аиром, раздавленным конскими копытами. От этого ощущения ночной светлой земли Варька испытывала в себе радостную легкость и тихое ответное ликование.

Пришел Сашка, сбросил вязанку сушняка, стал подкладывать и раздувать огонь.

— Не надо,— тихо попросила Варька.— Давай посидим так.

Сашка послушно присел на вязанку.

Они молчали, прислушиваясь друг к другу.

— Это твои лошади в логу? — спросила наконец Варька.

— Мои. А что?

— Просто так... Мало их осталось.

— Четыре пары. И две на конюшне.

— Что станешь делать, когда и этих сдадут? Тебе жалко, что лошадей не будет?

Сашка захрустел вязанкой.

— Я на трактор уйду,— глухо сказал он.

— На трактор так не возьмут. Надо учиться.

— А сколько надо? — с боязливой надеждой отозвался

Сашка.

— Семь классов.

— Семь? Много... А у тебя сколько?

— Девять...

— Девять! — не поверил Сашка.

— Сдам уток — в десятый пойду.

— Зачем тебе столько?

— Не знаю... Буду уток считать,— засмеялась Варька.

— А у меня только два,— не сразу ответил Сашка.— Осенью в третий буду ходить. Три будет. Я в сельмаге книжку купил. Про трактор. Когда коней пасу — картинки гляжу. А слова не понимаю.

Сашка замолчал. Было видно, что он всерьез огорчился.

— А ты пока сказки читай, стихи,— посоветовала Варька.— Тогда и про тракторы поймешь.

— Я читаю...

Сашка потянулся к котомке, вытащил и подал Варьке маленькую книжечку.

— Вот...

Открыв книжку и повернув ее к лунному свету, Варька узнала пушкинские поэмы. Она узнала их как-то сразу, еще до того, как разглядела название,— одним только беглым взглядом на стройные, точеные колонны стихов. Она перебирала страницы, и в ней непроизвольно, сама собой, рождалась какая-то неуловимая, светлая и высокая музыка. Совсем так, как звучно начинала петь для нее одной та самая скрипка, которую она каждый раз видит на гвоздике в сельмаге.

— Эту читать легко.— Сашка ревниво следил за Варькиными пальцами, перелистывавшими страницы.— Про цыган написано. Сандро Пушкин писал.

— Александр Пушкин,— поправила Варька.

— Н-нет! — Сашка упрямо тряхнул кудрями.— Сандро! Как я. Я Сандро, и он Сандро. Цыган тоже. Тут есть его портрет. Я глядел — цыган.

Варька вовсе не собиралась уступать Пушкина, но спорить не захотела. Она была сегодня добрая и не стала разрушать Сашкину наивную и гордую веру. Пусть думает. Она только сказала:

— Это тоже Пушкин написал...

И негромко, бережно отставляя друг от друга слова, сама завораживаясь торжественностью вещей стихов, стала читать «Памятник».

Слух обо мне пройдет по всей Руси великой,
И назовет меня всяк сущий в ней язык,
И гордый внук славян, и финн, и ныне дикой
Тунгуз, и друг степей калмык.

— Пушкин — он для всех,— сказала Варька, дочитав стихотворение до конца.

Сашка молчал, задумавшись.

В двух шагах от нее по-прежнему дремал конь. Он стоял против лунного света и теперь виделся не белым, а будто высеченным из серого камня. Варька глядела на него снизу, сквозь спутанную сетку мятлика, и ей, возбужденной только что прочитанными стихами, от которых все вокруг обрело какое-то новое видение, конь показался вдруг сказочно высоким. Он возвышался над ней узловатой, глыбистой громадой. Над его хребтом висела, почти касаясь, луна, и

шерсть на крупе голубовато блестела горным слежалым снегом.

— Давай покатаемся,— сказала, радостно замирая.

— Ты что?

— Давай, Саш! Смотри, как хорошо!

Сашка промолчал.

— Ну дай мне лошадь. Я одна поеду.

— Ты что, дурочка?

— Ничего ты не понимаешь!

Она поднялась и вдруг, тихо чему-то засмеявшись, кошачьим прыжком подскочила к лошади, подхватила свисавший повод и вскинулась, переломившись, животом на спину. Испуганный конь шархнул и понес прочь в тяжелом галопе.

— Догоня-я-ай! — донесся ее азартно-радостный голос.

Сквозь всплески белой гривы Варька видела, как пропосились мимо лунно-седые купы лозняков, тускло и бездонно мерцала вода в низинах и как все бежало и бежало навстречу нестройно рассыпавшееся в мокрых травах черное войско конских щавелей. Перемахнув топкий ручеек, Варька выбралась на отдающий чебрецом песчаный бугор и придержала повод. И сразу до нее донесся торопливый галоп. Сашка! Она почти наверняка знала, что он пустился в погоню. Ей даже хотелось, чтобы он за нею погнался. Она только не знала, какой скачет за нею Сашка: то ли обозленный ее своеволием, то ли задетый ее насмешливым вызовом... Пропизанная сладким холодком испуга, Варька ойкнула и пятками ударила лошадь. Она чувствовала под собой живую доверчивую силу, тепло боков под своими коленками, терпкий и горячий запах бегущего коня и, радуясь охотной резвости понявшего Варькин порыв животного, припала к холке и отпустила поводья. Конь ровно понес ее гребнем суходола между двух темнеющих зарослями стариц. Он нес ее к широкой вольнице покосов в неоглядной россыпи темных стогов.

Оглянувшись, Варька с жутким замиранием заметила позади себя па залитой светом луговине черное пятно всадника. Она поняла всю невыгодность белой масти своего коня и, доскакав до первых выступавших на пути лозняков, обогнула кусты и свернула к старице. Мокрые ветки захлестали ее по ногам. Она подобрала ноги, собралась в комок на самом крупе. Под копытами захлюпала вязкая грязь. Дремавшая на черной воде луна лениво закачалась и, уродливо

растягиваясь, разорвалась на маслено-золотые ломти. Крепко ударил из-под копыт запах застоялой болотной прели. Из темных прогалов в лозняках с сухим треском вылетела какая-то птица. Мелькнув белым, она исчезла за выступом противоположного берега. Конь вздрогнул всей кожей, прынул в сторону. «Не бойся, не бойся, родненький!» — приговаривала Варька, сама замирая и не дыша, и похлопала лошадь по вздрагивавшей лопатке. Она направила коня на ту сторону и, почти повиснув на его гриве, выбралась на обрывистый берег.

Едва переведя дух и приглядевшись, Варька снова увидела Сашку. Он разгадал ее уловку и тоже успел где-то перебраться через старицу. Она снова вскачь пустила лошадь, хотела было проскочить к стогам, но Сашка, заметив ее белое мельканье, стал забирать левее, тесня ее в открытые луга. И тогда, тоненько, по-щенячьи скуля, то ли всхлипывая, то ли захлебываясь загнанным смехом, сама не замечая этого смеха, она поскакала напрямую. Встречный ветер взбил сарафан и до трусов оголил ее ноги. Где-то уже давно потерялась гребенка, и волосы били по лицу и набивались в рот. Она скакала теперь к трактору и в прорези конских ушей, как на мушке прицела, старалась удержать плясавший от скачки светлячок тракторной фары. Оглядываясь, она видела из-за плеча черную глыбу всадника, с молчаливым упорством преследовавшего ее.

Сашка нагнал ее у самого просяного поля.

Варька услышала за спиной топот и тяжелый, отрывистый всхрап Сашкиного вороного. Метнув глазами, она увидела у самого локтя вспененный оскал конской головы. Она заколотила пятками, рванула повод, но горячий конский бок придавил ее ногу, и тотчас что-то крепко обхватило ее у поясницы и сорвало с коня. Варька вскрикнула и зажмурилась.

— Ну?.. Ну?.. Догнал? — задыхаясь и давясь словами, спрашивал Сашка. Он втащил ее на свою лошадь и, больно в горячности обхватив свободной рукой шею, придавил голову к груди. — Будешь еще? Будешь?

— Пусти! Сумасшедший!

Сашка прерывисто дышал ей в шею, и она слышала тугие и гулкие удары его сердца под майкой. И вдруг, нагнувшись и накрыв ее лицо черными растрепанными вихрами, впился в губы торопливым, жадным поцелуем.

— Да ты... что?! — завопила Варька, вцепившись в Сашкин чуб и оторвав Сашку от себя.

— А зачем убегала? Зачем? — горячим, обжигающим шепотом бессвязно твердил Сашка. — Думала, не догоню, да?

Варька, полыхая стыдом, забилась в его руках и угрем скользнула с лошади.

— Потому что цыган, да? — глухо пробормотал Сашка.

— Потому что... дурак!

Не оглядываясь, Варька рысцей побежала к черневшей впереди пахоте. Она бежала, студень росую ноги, прикрыв голые худые плечи перекрещенными на груди руками.

«Чего ж это он? — взбудораженно думала она, силясь понять случившееся. — Чего ж я-то?..»

Она выбежала к просянному полю и пошла по борозде к своему озеру. Трактор все еще пахал. Где-то позади нее он обшаривал развороченную землю длинным косым лучом, и его озабоченный гул за спиной рождал в Варьке успокаивающее чувство близости человека. После ледяной росы вспаханное поле казалось теплым, и она пошла по крайней борозде, отогревая в мягкой рассыпчатой земле окоченевшие ступни.

На одном из поворотов луч трактора внезапно выхватил из темноты лошадей, и Варька тут же увидела Сашку. Он сидел на бочке из-под горячего, брошенной на окраине поля, и держал в поводу обеих коней — белого и черного. Но вот трактор снова чуть повернул, и видение исчезло.

Варька, нагнув голову, торопко шла в ярком пучке света мимо этого места. Она знала, что Сашка ее видит, и ей было не по себе идти вот так, у него на виду. Хмельно путались мысли, почему-то не шли, деревенели ноги, и губы все еще обожженно и стыдливо горели и казались недвижимыми и чужими.

Наконец она выбралась из борозды и, набредя на знакомую тропку, побежала к озеру. Она бежала, чтобы согреться, сначала нехотко, вялой трусцой, но потом все прибавляла и прибавляла ходу. Она бежала, не останавливаясь и не передыхая, глубоко и жадно дыша тугим студеным ветром, зажигаясь горячей радостью бега.

Край неба на востоке слегка позеленел, когда Варька, еще издали выглядывая Емельяна, прокралась к балагану. На берегу по-прежнему валялись отсыревшая за ночь телогрейка и пучок лилий. Она подобрала цветы и прошла к загому.

— Ну, как вы тут без меня, мои родненькие? — ласково заговорила она, перегнувшись через прясло. — Сейчас я вам каши запарю. Просяной. Это вам Сашка привез. Три мешка. Знаете Сашку?

«Сказать Ленке или не сказать?» — уже без испуга, с запоздалым счастливым откликом думала она в то же время о Сашкином поцелуе. И, ужаснувшись этой безумной мысли, сладостно обомлев, Варька тихо, одной только себе, прощептала:

— Низачтошеньки!

Утки понимающе кланялись, согласно и дружно прядая желтоклювыми головками.

ШУБА

Засыревший большак, исполосованный колесами, выбирая, где поположе, широкой дугой поднимается на косогор. На дороге и пашне еще видны следы недавней бессонно-горячей работы, когда из земли выбиралось и выдиралось все, что она успела и сумела родить людям за недолгое лето. То попадалась в колее раздавленная колесами свекла, то звено от тракторной гусеницы или еще какая неведомая железяка, обретенная впопыхах машиной, то в стороне, среди черного, белесые скирды молодой соломы. А у обочины торчал случайно не задетый плугом, сгорбившийся, как старик, сухой подсолнух. Ветер шуршал лохмотьями его листьев, а он все кивал и кланялся путникам непокрытой растрепанной головой.

Страда отшумела, и теперь по обе стороны большака чернела по-осеннему засмиревшая земля, комковато и неловко улегшаяся на покой.

Дуняшка и Пелагея, поспешая, шли обочь дороги. Опустевшие поля не вызывали у них никаких размышлений: они здесь жили, и все было привычным и незаметным, как этот осенний полевой воздух, которым дышали. Они шагали бок о бок и оживленно болтали о всяких своих житейских делах.

Пелагея, еще шустрая, сухощавая баба, шла налегке в сером клетчатом платке и в Степкином ватном пиджачке с жестяными перекрещенными молотками в петлицах — Степка учился в школе механизации, на воскресенье приехал домой, и Пелагея выпросила у него пиджак съездить в город. Изпод пиджака высовывался белый, оборчатый, надетый по торжественному случаю передник, который встречный ветер то поддувал пузырями, то запихивал между худых Пелагеевых колен. Но она не одергивала, а так и шла, шлепая о тощие икры широкими голенищами резиновых сапог.

Дуняшка старалась не отставать. Она хоть и была выше матери, но подростковое пальтишко с короткими рукавами узило ее в плечах и как-то казалось и ниже ростом и моложавее, скрадывая года два — именно те, в течение которых

Дунышка успела повзрослеть, похорошеть и уже кое-кому приглянуться.

Увлеченные разговорами, они все прибавляли и прибавляли ходу, пока, запыхавшись, Пелагея уже не могла ничего связно сказать, кроме отдельных, перебитых частым дыханием слов, после чего она останавливалась и удивленно оглядывалась на деревню, говоря:

— Чтой-то мы... так... бегём? Гляди, уже где... дворы. Небось... не на пожар.

Но, передохнув минутку, они снова поворачивались и шли скоро и торопко. Такая уже деревенская дорога: сызмальства не приучены ходить по ней вразвалочку. Всегда у бабы в конце этой дороги какое-то спешное дело: детиски ли, квашня ли с тестом, поросенок ли некормленный,— если идти с поля, а если в поле, то и того пуще всяких дел, особенно когда подоспеет страда. Как ни богат колхоз техникой—и комбайны, и культиваторы, и сеялки-веялки всякие, и тракторы по восемьдесят лошадиных сил,— и все же еще столько прорех, что каждый умный председатель, если хочет, чтобы дело шло без сучка без задоринки, непременно бросит клич: «А ну, бабоньки, подсобим! — и добавит для подбодрения: — Техника техникой, а все же баба в колхозе — большая сила!» И бабы наваливаются. Мужики ездят на тракторе взад и вперед по свекловищу, дергают рычаги, руль крутят, выковыривают культиватором бураки. А бабы, будто галки за плугом, с галдецей, коли еще не притомились, или уже молча к закату дня, все собирают и собирают свеклу в корзины и подолы и таскают и таскают ее, в комьях тяжелой земли, по перепажанному полю в кучи. А после, собравшись в кружок, попережку с пустыми разговорами и пересудами незаметно да и переворачивают опять многие тонны бурака, обобьют от земли, отсекут ботву, обрежут хвосты и сложат в кучи. И лишь когда завечереет и не разобрать, то ли это свекла, то ли просто грудка земли, поднимаются пестрой стаей и бегут, бегут полевой дорогой, на другом конце которой ждут их другие неотложные домашние заботы.

А на току разве обойтись без нее? Или на сенокосе? На ферме? Да где ты без нее обойдешься? Нехитрая машина — баба, простая в обращении, на еду непривередливая, не пьет, как мужик, и не кочевряжится при расчете. Мужик за кручение руля на тракторе полтора трудодня берет, хоть и со сменщиком работает, она без всякой смены и на половинную долю согласна, потому как понимает: руль с умом крутить надо. А где бабе ума взять? Ум-то весь мужикам достался.

Но особенно поспешает она, если, вырвавшись от дел, соберется в город. Не часто это случается, и потому побывать в городе — чуть ли не праздник. Потолкаться в магазинах, посмотреть на ситцы, а коли есть деньги, развернуть их колковатую, нетронутую, радостно-пеструю свежесть — ромашками да незабудками, — повыбирать и поволноваться, прикидывая в уме, как это подойдет подростшей девке, а то и себе. Себе-то ведь тоже хочется! А платки какие! За шелковый и взяться страшно: к рукам липнет. Руки-то шершавые, а материя что твой дым — дунул, и полетела! И обутка всякая, и гребенки. Конфет да пряников — аж в глазах рябит. Целый день ошалевшая, радостно-увлеченная, ходит она по лавкам да по лоткам, не поест, не присядет, потому как нет для нее ничего волнительнее, чем разные товары да обнови.

Купит ли картуз мальчонке или мужику — не прячет его в корзину, а наденет поверх платка и несет всю дорогу, чтобы не помялся часом, а больше — чтоб люди видели обнову. Картуз-то вся цена два рубля, а несет она его так, будто невеста что купила. А уж если ситчику или штапелю на платье, то всю дорогу останавливается, заглядывает в корзину, щупает, шепчет что-то над нею и вдруг зардеется смущенно, если застанут невзначай за этим таинством знакомые...

— Да вот обнову купила, — скажет, посерьезнев. — И не знаю, то ли угодила, то ли нет? — Но тут же сама и порешит: — Сошьется — сносится. Не барыня.

А у Пелагеи и того важнее была причина торопиться: Дуняшке идут пальто покупать. Не какое-нибудь простенькое. А хорошее, настоящее зимнее. Чтоб с меховым воротником, на подкладке шелковой, да чтоб сукно было доброе. Не часто приходится такие дорогие обнови справлять. Себе-то уж и не помнит, когда покупала. С воротником — так и вовсе. Почитай, полсотни лет прожила, а ни разу мехового воротника не носила. Да их как-то раньше и не было, кроме овчинных. Платок накинула — вот и весь воротник. Теперь-то всякие пошли. Под разного зверя. Во всем их роду Дуняшка первая наденет. Подружки уже посправляли, а она до сих пор в этом куцем бегаёт. Против людей неловко. Да и то сказать — невеста уже. Третьего дня вышла Пелагея ввечеру корову подоить, глянула через плетень, а Дуняшка с парнем у калитки стоит. Это ничего, что с парнем. Уже самостоятельная. Нынче осенью тыщу двести в колхозе заработала. Пятьсот рублей уже разошлись. Поросяточка купили, сена копенку, да и так, по мелочам, потратилось. Если не купить — ра-

зойдутся. Тогда до будущего года ждать. А то уж одета будет.

Потому и частила сапогами Пелагея, будто сваха, озабоченная и взвинченная предстоящим нешуточным делом. Где-то там, как в сказке, за горами, за долами, невесть в каком магазине, в каком универмаге, неведомо еще какое — синее, черное или коричневое, а может, и еще краше, висит то, единственное, с меховым воротником, которое предстоит Пелагее разыскать, выбрать, да не прогадать ни в какой малости, чтобы в самый раз пришлось. Дуняшке. Не так уж это просто.

Все эти думки и заботы вихрились в Пелагеевой голове наряду с теми словами, которые выговаривала на ходу Дуняшке. Думы — сами по себе, слова — сами по себе.

Дуняшка, переключаясь с матерью, тоже про свое думала. Прожитая жизнь ее покороче, забот поменьше, но зато с покупкой пальто у нее связано много своих девичьих мыслей, от которых всю дорогу радостно голубеют глаза и румяно горят щеки.

Взойдя на самую верхушку косогора, где дорога опять встретилась с телефонными столбами, взбежавшими на гору напрямик по самой крутизне, Пелагея остановилась глотнуть воздуха. Обе оглянулись и, отдыхая, смотрели на деревню. Она все еще виднелась серой полоской соломенных крыш среди черной зяби и просторных полос подросшей озими. Деревня казалась совсем маленькой меж необозримого уймаща земли, вздыбленной холмами, и еще большего неба, серо клубящегося осенними тучами.

Пелагея, пробежав глазами по ряду похожих одна на другую хат, безошибочно нашла свою и, озабочившись, проговорила:

— Наказала Степке сходить в селпо за керосином. Забегается — не сходит...

А Дуняшка нашла длинный белый брусочек своей птицефермы на отшибе деревни, подумала, догадается ли дед Алексей перетянуть под навес привезенную рыбную муку, вспомнила о пропавшей вчера любимой курице Моте, которую она умела отличать среди сотен других таких же белых. Мотя была нерасторопная и копуша, но несла крупные яйца. Потом Дуняшка тоже, как и Пелагея, стала перебирать глазами хаты. Но искала она не свою, а другую... Вот она, под молодым, еще необлетевшим рыжим топольком. Сердце колыхнулось и пролилось теплом... Под этим топольком на лавочке прошлый раз — не дай бог, мать узнает! — поцеловал ее Сашка. Она, внутренне полыхая от стыда и счастья, сорва-

лась со скамейки и побежала, угнув голову. Только ноги не слушались, а сердце так гулко колотилось под пальтишком, что не слышала, как нагнал он ее и пошел рядом...

Дуняшка, забывшись, долго глядела затуманенными глазами на рыжий тополек, пока Пелагея не позвала:

— Пойдем, девка! Чтой-то ты?

А выйдя на ровное и разойдясь малость, спросила:

— Третьего дня ктой-то под нами стоял?

— Ты про кого, мать? — как могла простовато спросила Дуняшка, а сама так и пыхнула, благо что пыхать-то уж больше некуда было.

— Ну, не дури,— осерчала Пелагея.— Небось не глухая. Голос вроде знакомый, а признать не признала.

— Сашка стоял,— уклончиво сказала Дуняшка.— Так, мимо шел.

— Это чей же? Акимихин, что ли?

— Тетки Фроси... Что хата под тополем.

— А-а! Ну, ну!.. Отслужился, стало быть?

— В Германии служил.

— Что же, привез что-нибудь?

— Не знаю, не спрашивала. Мне-то что!

— Должен привезти,— решила Пелагея.

Обежали большую лужу, налитую дождями, в которой утонули обе тропочки, проторенные рядом: Пелагея — справа, Дуняшка — слева. А когда опять сошлись, Пелагея спросила:

— С матерью будет жить аль в город подастся?

— Не знаю я.

— А ты б спросила.

— Не спрашивала я.

— Как же об этом не спросить-то? — удивилась Пелагея.

— Он мне про Германию рассказывал. Интересно так! А про это разговор не было.

— Гляди-ка! — хлопнула себя Пелагея по переднику.— Да об этом в перворядь спрашивать надо. А так — что толку провожаться?

Дуняшка заморгала глазами, отвернулась, глядя на голые придорожные кусты.

— Ну, ну! — примирительно сказала Пелагея.— А только, если опять придет, попытай. Тут ничего зазорного нету.

— Не буду я спрашивать,— сердито мотнула головой Дуняшка.

— Не будешь, так я сама разузнаю,— решительно сказала Пелагея, ловко перепрыгивая через канаву.

- Стыд-то какой! И не смей! И не думай даже!
- Дура и есть дура.
- Пусть! А только не смей! Нужен он мне больно!
- У калитки стоишь — стало быть, нужен.

— Много я настояла! — дернула плечами Дуняшка и побежала вперед, норовя обогнать Пелагею, идти одной. — Только и знаю: на ферму и домой.

— Я аль запрещаю? Парень он тихий. На тракториста учился. Стой. А только стоять с умом надо. Девичье дело такое... Вот купим пальто...

Но Пелагея не договорила, потому что и сама не знала, что должно быть, когда купят они пальто.

На шоссе вышли как раз к самому автобусу, часа полтора ехали, разлученные теснотой, терпеливо вынося давку и тряску, и наконец вывалились на автостанции. Пелагея — без одной пары жестяных молоточков в петлице, Дуняшка — со взбившимся на затылок вязаным платком и такая, будто побавилась с березовым веником. Она тут же стала озираться по сторонам, дивясь пестрой городской сутолоке, а Пелагея сразу сунула руку за пазуху Степкиного пиджака и цапнула кофту под грудью: «Целы? Целы... Ох!»

Они вошли на главную улицу, и город захватил их своим хлестким людским водоворотом.

Мимо Дуняшки шли кепки и косынки, шинели и спецовки, шарфы и шарфики. Проходившие очки удивленно и близоруко косились на Пелагеин передник. Вертлявые береты больше поглядывали на Дуняшку. Она даже слышала, как один берет сказал другому: «Гляди, какая вишенка! Блеск! Натуральный напиток!» И она деревенела от робости и смущения. Проходили всякие шляпы — угрюмо надвинутые и лихо заломленные. И всякие шляпки. Дуняшка дивилась цветочным горшочкам и горшочкам для гречневой каши, мелким тарелочкам и эмалированным мисочкам и просто ни на что не похожим. Шныряли авоськи с картошкой и хлебом, плавно покачивались сетки с мандаринами, робко шаркали матерчатые боты, подпираемые костыликом. А над всем этим людским потоком каменными отвесными берегами высились дома.

Дуняшка редко бывала в городе, и каждый раз он открывался по-новому. Когда приезжала с матерью еще маленькой девочкой, ее так поразили вороха конфет, пряников и множество всяких кукол, что ничего другого она не запомнила, и потом в деревне долго еще снился пряничный город, в котором жили веселые, красивые куклы. Постарше она

читала вывески, заглядывалась на милиционера, как он размахивает полосатой палкой и поворачивается туда-сюда, и, пока Пелагея стояла за чем-нибудь в очереди, глядела на кассовую машину, выбивавшую чеки.

Но теперь больше всего ее занимали люди.

«Сколько их, и все разные!» — дивилась Дуняшка, проталкиваясь за матерью. Мимо прошли тысячи, а схожих нет. И не то чтобы лицом, одеждой или годами. А чем-то еще таким, чего Дуняшка понять не могла, но смутно чувствовала эту несхожесть. У них в деревне люди как-то ровные — и лицом, и одеждой, и жизнью.

По пути Пелагея и Дуняшка заходили в магазины, приглядывались к одежде, но примерять не брали. Пелагея говорила:

— Пойдем в главном посмотрим.

Ей казалось, что самое лучшее пальто должно быть в универмаге. Но идти прямо туда ей не хотелось. Нельзя же так: прибежал, отвалил деньги — и до свидания! Кто так покупает? Пелагее было лестно, как продавщицы — красивые, белолицые — снимали с вешалки одно, другое пальто, выбрасывали перед ней на прилавок, а она хотя и знала, что покупать пока не будет, да и по цене подходящего не находилось, но деловито тормошила пальто, щупала верх, дула на воротник, разглядывала подкладку. А тем временем Дуняшка застаивалась в галантерее.

Бог ты мой, сколько тут всего! Чулки простые, чулки в резиночку, чулки тоненькие, в паутинку, как у ихней учительницы. Мониста! Голубые, в круглую бусинку, красной рябинкой, зеленым прозрачным крыжовником, и рубчатые, и граненые, и в одну нитку, и в целый пучок... А брошки! А сережки! Блузки какие! Гребенки и вовсе небывалые! Глядела на все это Дуняшка, и даже продавцы замечали, как разбегались глаза от красоты невиданной, как сами собой раскрывались пухлые Дуняшкины губы от восхищения. Подходила Пелагея, не торопясь, разглядывала все это богатство, полная внутренней гордости, что если захочет, то все может купить.

Смотрели на Дуняшку продавцы, ждали, чего пожелает она, на чем остановит выбор. А Дуняшка торопливо шептала Пелагее:

— Глянь, какие сережки! Не дорого, а как золотые! — и моляще дергала мать за рукав.

— Пошли, пошли! Некогда тут! — озабоченно говорила Пелагея.

А Дуняшка:

— Мама, хоть гребенку!

Но Пелагея направлялась к выходу и лишь за порогом, чтоб не слышали люди, гусиным шепотком выговаривала:

— Гребенку купим, а на пальто не хватит. Понимать надо!

До универмага они добрались лишь после обеда. Правда, сами они еще ничего не ели: и некогда было, и не хотелось. У входа в магазин люд вертелся, как вода в мельничном омуте. Здесь засасывало, кружило и выбрасывало сразу десятки людей. Из дверей универмага доносился глухой непрерывный гул, будто там тяжело вращались жернова.

Пелагея и Дуняшка протолкались внутрь, наспех обежали первый этаж, но там продавалось не то, что нужно, и они пошли выше. На лестничной площадке, между первым и вторым этажами, они увидели себя в огромном зеркале, вделанном в стену. Зеркало молчаливо подсказывало каждому проходящему мимо, что именно надо ему заменить или чего не хватает в одежде.

Пелагея поднималась по лестнице, высоко подбивая коленями свой оборчатый фартук. Она отчужденно взглянула на себя и вдруг проговорила:

— Батюшки, молотки-то я потеряла! Теперь убьет малыш...

Одной ступенькой ниже поднималась Дуняшка. Она глядела в зеркало во все глаза, потому что видела себя вот так, всю сразу, первый раз в жизни. В своем вязаном платке, делавшем ее голову круглой и обыкновенной, в куцем, узкоплечем сереньком пальтишке, из-под которого торчали длинные, крепкие ноги в хромовых забрызганных сапогах, Дуняшка походила на молодую серенькую курочку, у которой еще как следует не прорезался нарядный гребешок, не округлился зобик, не поднялся кверху хвостик, зато уже отросли сильные, выносливые ноги. Но щеки ее по-прежнему неутомимо пылали, и зеркало шепнуло: «Разве можно в таком пальто ходить под рыжий тополек?»

В отделе верхней женской одежды было не очень много народу. За прилавком в огромном длинном салоне в благоговейной тишине и терпком запахе мехов и нафталина висели пальто и шубы. Они помещались длинными рядами, как коровы в стойлах на образцовой совхозной ферме,— рукав к рукаву, масть к масти, порода к породе. На каждом из них висели картонные бирки. Между рядами в торжественном

почтении, разговаривая вполголоса, ходили покупатели, брали в ладони бирки, приценивались.

— Вам для девочки? — посмотрев внимательно на Дуняшку, спросила полная пожилая продавщица в очках и халате, похожая на ветврача из соседнего совхозного отделения. — Пожалуйста, пройдите. Сорок шестые направо.

Пелагея, а за ней Дуняшка несмело вошли за обитый красным плюшем барьер и начали осмотр с края. Но Дуняшка шепнула: «Черное не хочу», — и они прошли к бежевым. Бежевые были хороши. Большие роговые пуговицы. Мягкий коричневый воротник. Кремовая шелковая подкладка. Пелагея смяла в кулаке угол полы — не мнется.

— Дуня, ну-ка прочитай.

— Тысяча двести.

— Так, так, — сдвинула брови Пелагея. — Маркое дюже. Вон у агрономши. Ехала в машине — замянула. А теперь хоть брось.

— Мама, смотри, вон темно-синие! — зашептала Дуняшка.

— Ничего сукнецо! — одобрила Пелагея.

— Воротник красивый! Просто пух! — шепнула Дуняшка.

— Тысяча девятьсот шестьдесят.

— Это небось год указан?

— Да нет... рубли.

— А-а... рубли... Уж больно дорого что-то. Пальто — так себе. И воротник небось собачий. Ни лиса, ни кот. Собака и есть.

Дальше висели светло-серые. Они были почему-то без воротников, но зато с опушкой на рукавах. Пелагея недоверчиво покосилась на бирку, но просить Дуняшку прочитать не решилась. За серыми пошли шубы.

— Небось тоже дорогие, — сказала Пелагея, — тыщи на полторы, не меньше.

— Ну, подобрали что-нибудь? — спросила продавщица.

— Да что-то не нравятся, — озабоченно сказала Пелагея. — То маркие больно, то крою не нашенского.

Продавщица, бросив едва заметный взгляд на Пелагеин передник, спросила:

— Вы на какую цену хотели бы?

Пелагея задумалась.

— Да вот и сама не знаю, — сказала она. — Брать дорогое рискованно. Дочка еще будет расти. Пока б рублей за семьсот. А то можно и подешевле.

— Конечно, конечно, — понимающе закивала очками продавщица. — Девочка еще в росте.

— Вы уж, пожалуйста, постарайтесь.

— Есть у нас для нее великолепное пальто! — сказала продавщица. — Недорогое, но очень даже приличное. Пойдемте. Мы ее сейчас так разодем.

Продавщица прошла в самый конец ряда и, покопавшись, подала:

— Вот, пожалуйста.

Пальто и верно было хорошее. Коричневое в елочку. Воротник черный. Вата настегана не внатруску, а как следует. Теплое пальто! Пелагея дунула на воротник — мех заколыхался, провела по шерсти — прилег мех, заблестел вороновым крылом.

— Драп, воротничок под котик, — пояснила продавщица, поворачивая пальто на пальце. — Пожалуйста, подкладочка из шелковой саржи. Чистенько. Тебе нравится? — спросила она Дуняшку.

Дуняшка застенчиво улыбнулась.

— Ну вот и отличненько! — тоже улыбнулась продавщица. — Давайте примерим. Вот зеркало.

С радостным трепетом надевала Дуняшка пальто. От него пахло новой материей и мехом. Даже сквозь платье Дуняшка ощущала, какой гладкой была подкладка. Она была прохладной только сначала, но потом сразу же охватило тело уютным теплом. Вокруг шеи пушисто, ласково лег воротник. Дрожащими пальцами Дуняшка застегивала тугие пуговицы, и Пелагея, озабоченно покрасневшаяся, кинулась ей помогать. Как только пуговицы были застегнуты, Дуняшка сразу почувствовала себя подтянутой и стройной. Грудь не давило, как в старом пальто, а на бедрах и в талии она ощутила ту самую ладность хорошо сидящей одежды, когда и не тесно и не свободно, а как раз в самую пору.

Посмотреть на примерку пришли почти все бывшие за барьером покупатели. Какой-то старичок с белой, будто выстиранной бородкой, летчик с женой. Дама в черном пальто и черно-дымчатой лисице с мужчиной очень приличного вида в красном шарфике тоже подошла к примерочной.

Дуняшка посмотрела в зеркало и обомлела. Она и не она! Сразу повзрослела, выладнялась, округлилась, где положено. Она увидела свои собственные глаза, сиявшие счастливой голубизной, и впервые почувствовала себя взрослой.

— Прямо невеста! — сказал старичок.

— Вам очень к лицу, — заметила жена летчика. — Берите, не сомневайтесь.

— Ну что за прелесть девчонка! — улыбулась дама в лице. — Что значит одеть как следует человека! Недаром же говорится: «По одежде встречают...» Разреши, милая, я заправлю твою косичку. Вот так! Чудо, а не пальто.

— Выписывать? — наконец спросила продавщица и достала из кармашка чековую книжку.

— Раз люди хвалят, то возьмем, — сказала Пелагея. — Восемнадцать годков дочке-то. Как не взять.

— Пожалуйста: шестьсот девяносто три рубля двадцать одна копейка. Касса рядом.

Пелагея побежала платить, а Дуняшка, неохотно расставшись с новым пальто, натянула на себя старенькое и повязала платок.

— Счастливая пора у этой девочки, — вздохнула дама. — Первое пальто, первые туфельки... Все впервые...

Продавщица ловко завернула покупку в бумагу, несколькими взмахами руки обмотала бечевкой и, щелкнув ножницами, подала Дуняшке.

— Носи на здоровье.

— Спасибо, — тихо поблагодарила Дуняшка.

— Спасибо вам, люди добрые, за совет и помощь, — сказала Пелагея. — Тебе, дочка, спасибо на ласковом слове, — сказала она даме.

— Ну что вы! — улыбулась дама. — Приятно было посмотреть на вашу девочку. Ты в каком классе?

— На ферме я, — проговорила Дуняшка застенчиво и уставилась на свои большие красные руки, державшие покупку.

— Она у нас птичницей в колхозе работает, — пояснила Пелагея. — Триста ден выработала. На ее деньги пальто и справили.

— Ну, это совсем мило! — сказала дама и очарованно еще раз посмотрела на Дуняшку.

Сразу уходить из магазина не хотелось. Пелагея и Дуняшка еще не остыли от возбуждения и долго толкались по разным отделам. После покупки пальто, которое Дуняшка носила под мышкой, все время поглядывая на него, хотелось еще чего-нибудь. И они, разглядывая товары, говорили, что хорошо бы к такому пальто прикупить еще и боты. «Вон те, с опушкой». — «Говорят, они неноские». — «Как же неноские? Катька Аболдуева третью зиму носит». — «Ладно, купим. Такие у нас в сельпо есть». — «Мама, глянь, какие шляпы!» — «Ты что, спятила? Будешь ты ее носить!» — «Да я так просто». — «Тебе б платок теперь пуховый».

Так обошли они весь этаж и опять, проходя мимо отдела

верхней одежды, остановились взглянуть на прощание на висевшие пальто.

За барьером они увидели даму, примерявшую шубу. Мужчина в красном шарфике стоял рядом. Он держал ее пальто.

Шуба была из каких-то мелких шкурок с темно-бурыми спинками и рыжими краями, отчего она выглядела полосатой. Продавщица, развернув шубу, набросила ее на даму, и та сразу потонула с головы до пят в горé рыжего легкого меха. Были видны только гребень взбитых на макушке волос цвета крепкого чая да снизу, из-под края шубы,— циклотки ног и черные туфельки.

— Широкая дюже,— шепотом заметила Пелагея.— Совсем человека не видно.

Дуняшке шуба тоже показалась очень просторной и длинной. Она свисала с плеч волнистыми складками, рукава были широкие, с большими отворотами, а воротник разлегся от плеча до плеча. Может быть, так казалось после черного пальто, которое очень ладно сидело на даме?

Пальто это было очень хорошее, совсем новое — и материал, и лисий воротник. Его еще можно носить и носить, и если бы у Дуняшки было такое, она не стала бы брать шубу, а купила бы пуховый платок и боты.

Дуняшке хотелось сказать об этом даме, хотелось проявить участие, посоветовать что-нибудь, как советовали только что во время примерки ей самой. Но, конечно, она ни за что не решилась бы. Это она только так, про себя. Она не знала, какие надо говорить слова, и вообще робела перед этой хотя и приветливой, но все же в чем-то неподступной женщиной.

Дама передернула плечами, отчего шуба заходила на спине широкими складками, и посмотрела на себя в зеркало. Дуняшка увидела ее красивое, в этот момент слегка побледневшее лицо, охваченное широким рыжим воротником. Живые светло-коричневые глаза смотрели внимательно и строго, а подкрашенные губы чуть улыбались.

— Филипп, тебе нравится? — спросила дама, проводя выгнутой ладонью по щеке и волосам.

— В общем, ничего,— сказал мужчина.— Пожалуй, даже лучше той...

— Как сзади?

— Три складочки. Как раз то, что ты любишь.

— Может быть, не будем брать? Мне не очень нравится воротник.

— Отчего же? Шуба тебе к лицу. А воротник — пригласи Бориса Абрамовича. Переделает.

— Мне его что-то не хочется. Марина Михайловна говорила, что он ей испортил шубу. Я позвоню Покровской — у нее хороший скорняк.

Дама еще раз взглянула на себя в зеркало.

— Хорошо, я беру,— сказала она.— Если что — Элка сносит.

— Разрешите выписать? — учтиво спросила продавщица.

— Да, да, милая...

Мужчина пошел платить. Он расстегнул портфель и положил на кассовую тарелочку два серых кирпичика сотенных, перехваченных бумажной лентой.

— Это все за одну шубу?! — ахнула Дуняшка.

Шуба была завернута в бумагу. Продавщица с серьезным лицом, на котором была написана вся торжественность момента, несколькими привычными взмахами руки обмотала пакет бечевкой и, вручая даме, так же, как и Дуняшке, пожелала:

— Носите на здоровье.

— Благодарю вас.

— Вот мы с тобой и с обновками! — улыбнулась дама, заметив Дуняшку, и ласково потрепала ее по щеке.

В ее руках был совсем такой же пакет, как и Дуняшкин, почти такого же размера, в той же белой бумаге с красными треугольниками, так же перехваченный крест-накрест бечевкой. Положить рядом — не различить.

Мужчина взял у нее пакет, и они вышли.

На улице сыпал мелкий дождик. Асфальт блестел. Дуняшка и Пелагея видели, как дама и мужчина сели в мокрую блестяще-черную машину и поехали. В заднем окошечке мелькнула лисья мордочка воротника с красной пастью.

— Хорошие люди,— сказала Пелагея.— Обходительные.

Дуняшка посмотрела на свой пакет. Дождь дробно барабанил по обертке, и бумага покрылась пятнами. Дуняшка расстегнула пальто, спрятала покупку под полу.

— Мама, есть хочется,— сказала она.

На сдачу от пальто они купили у лоточницы по булке и по мороженому, остальную мелочь спрятали на дорогу. Зашли за газетную будку и стали есть. Они ели жадно и молча, потому что проголодались, и еще потому, что было неловко есть на людях. А мимо все шли и шли поднятые воротники и шляпы, кепки и спецовки, очки и береты, цокали туфельки и шаркали матерчатые боты. Время от времени проходили

раздутые портфели, и Дуняшке казалось, что они набиты сотенными. Иногда проплывали лисы, уютно пристроившиеся под зонтиками. На них не капало.

— Ну, пошли, что ли? — сказала Пелагея, отряхивая с пиджака крошки. — Не знаю, купил ли Степка керосину...

С автобуса они сошли еще засветло. Дождь перестал, но большак осклиз и тускло поблескивал среди черной, тяжело осевшей влажной земли. Пелагея подоткнула под пиджак фартук и, разъезжаясь сапогами по убитой тропинке, зашагала впереди Дуняшки. Теперь она спешила домой, потому что надо еще успеть постирать Степкино белье. Завтра рано ему ехать в школу механизации. Дуняшка бежала следом. Ей тоже хотелось поскорее домой.

Уже перед самым косогором вдруг проглянуло солнце. Оно ударило пучком лучей в узкую прореху между землей и небом, и большак засверкал бесчисленными лужами и залитыми колеями.

Выйдя на самую кручу, они остановились передохнуть. После дождя потишило и потеплело. Город притомил Дуняшку своей сутолокой, а здесь, в поле, было тихо, хорошо и так все привычно. Возле подсолнуха, одиноко торчавшего у дороги, стоял теленок. Он обдергивал влажные, обмякшие листья и неторопливо жевал их, пересовывая языком черенок. Перестав есть и растопырив уши, он задумчиво уставился на Пелагею и Дуняшку. Недоеденный черенок торчал из его влажных розоватых губ.

— Скоро придем, — сказала Пелагея. — Ну-ка, дай сюда...

Она взяла у Дуняшки сверток и проткнула пальцем бумагу. В прорыв проглянула подкладка. Она была цвета молочной печенки и шелково переливалась на свету.

— Хорошая подкладка! — одобрила Пелагея. — Ну-ка, погляди.

— Хоть на платье! — сказала Дуняшка. — Мама, а верх какой? Я забыла...

Поковыряли бумагу в другом месте, добрались до верха.

— И верх хороший! — еще раз убедилась Дуняшка.

— Ну, верху — сносу нет! Говори, что тыщу отдали.

— За тыщу и хуже бывает. Помнишь, то висело, бежевое?

— И глядеть не на что!

— Мама, давай воротник посмотрим. Еще воротник не посмотрели.

Воротник был мягок и черен, как вороново крыло. Замечательный воротник!

— Как она сказала — какой воротник?

— Под котик.

— А-а... Ишь ты! Дорогой небось.

— Мама, и теплое!

— Теплое, дочка.— Пелагея прикинула сверток на руке.— Насчет теплоты и говорить нечего. А что шуба? Одно только название. Ни греву, ни красы. Как аipun. Была б она целая. А то из латок. Того и гляди, ловнет на швах. Да и вытрется. А уж это — красота! И к лицу. И сидит ладно.

— Я в нем как взрослая,— застенчиво улыбнулась Дуняшка.

— Молчи, девонька, продадим теленка — платок пуховый справим.

— И ботики! — вся засветилась Дуняшка.

— Справим и боты! Справим!

Под горку бежалось легко. Чтоб сократить дорогу, пошли напрямки по травянистому склону. Впереди, выхваченная солнцем из темной пашни, белела хатами деревня. Дуняшка, млея от тихой тайной радости, отыскивала глазами рыжий тополек.

ПОДПАСОК

Жаркий августовский полдень.

Выжженный, порыжелый на буграх выгон залит недвижимым, дремотным зноем. Дрожит, зыбится горячий воздух, и снуют в нем медным, зудящим гулом остервенелые оводы.

Подпасок Митька в глубоко надвинутом картузе, так что донышко выперло острой макушкой, сидит на бугре, на солнышке. На плечах внапашку старая ватная стеганка, под ней спрятана от солнца сумка с едой. По бугру длинной серой змеей распластался кнут, тяжелый, грубо свитый из прорезиненных обрезков. Кнут не его — деда Сереги. Дед уже неделю как хворает, говорит, «перепекся али воды попил как неловко», и Митька попросил у него кнут в знак своего теперешнего старшинства и единовластия.

— Бери, бери, — прошамкал дед, мелко дрожа каждым волоском сивой клокастой бороды. — Вон он, под сараем на перемете висит... И бабушку мою бери... себе в подпаски... чтоб трудодни зазря не пропадали... А я тем делом, может, от хворобы опростаюсь.

Недвижно висит жидкое, оплавленное солнце в белесом небе, лениво течет скупое на бег пастушье время. Еще только полдень, а уж намаялся со скотиной Митька, ног под собой не чувствует. В нынешнем году никак не держат бестравные луга стада. Из всех мест эти болотца самые спокойные. Вода да зелень осок надолго приманивают скотину. Он и так ведет стадо осмотрительно, расчетливо, больше низами — по торфяникам да по лознякам: все укормистее, чем по суходолу.

«Оно, конечно, — размышляет Митька, — хорошо бы теперь свежей резки подвезти. Да где там! Нынче опять упустили кукурузу. Сорняк забил».

Вот и гоняет Митька скотину, изловчается, как может, день — так, день — этак, день по солнцу, а назавтра — против. Больше на этой круговине ничего и не придумаешь. А если по совести, то один леший — что по солнцу, что против: мается от бестравия скотина.

Поглядит из-под картуза Митька, не балуют ли коровы, па бабку на дальнем бугре по ту сторону стада — стоит бабка, подперев клюкой подбородок, сухоногая, в белой, низко спущенной косынке, издали похожая на черногузку; переведет взгляд на сосняк, окаймляющий выгон, даже отсюда душный и неприютный своей жаркой сухостью, потом на курган с плоской макушкой, солоमисто-желтый от выжженной травы на склонах, — и опять устремляет глаза в землю. Сколько раз за лето глядел-переглядел и на курган и на лес, так что теперь они вроде пустого места. А окромя и глянуть не на что. Разве на самолет лениво вскинет голову Митька, день за днем об эту пору пролетающий над выгоном. Высоко-высоко над всем этим маревом прохладно проблестит с нату-женным гулом серебряный крестик и опять истаёт в полиня-лом небе — загадочный и, как звезда, далекий от Митькиных забот и жизни.

А проводив самолет, долго ковыряет ногтем бесчисленные занозы от татарника в своих задубелых ногах или глядит, как, упоенная зноем, стрекочет на кнуте серая кобылка. От этого жаркого стрекота Митьке еще больше хочется пить, но он притерпелся и лишь облизывает корявые, в белых отмет-ках, заветренные губы. Ждет, пока скотина вволю налазает-ся по осокам.

Через четверть часа коровы, истоптав вдоль и поперек болотце, обглодав корявые, уже не раз обглоданные лозняки, начинают разбредаться, и Митька расслабленно поднимается, нетерпеливо идет впереди стада, волоча за собой длинный, пыльно змеящийся кнут. Вслед за ним с дальнего косогора молчаливо, как тень, снимается бабка.

К обеду Митька наконец выгоняет стадо к реке, на дойку. Доярок еще не видать. Коровы забредают поглубже, пряча брюхо от оводов, долго и пристально тянут теплую на песках воду. Митька, сбросив ватник и зайдя выше коров, тоже лезет в реку прямо в незакатанных штанах, зачерпывает кар-тузом, пьет, а остаток выплескивает себе в лицо, за пазуху. Потом выбирает кручку повыше, садится, свесив ноги с об-рыва.

Побединцы пригнали к реке свое стадо раньше. Двое ста-рых пастухов уже храпят под ракитой, пастушата на песке режуются в карты. Одного, рыжего, Митька знает — это Кар-пуха, остальных двух не разобрать. Хохочут, макают друг друга за чубы в песок — в дурачки играют.

Митька с завистью глядит на реку. Весело там! И все в этой «Победе» получше ихнего. Что скот взять. Кинул

Митька наметанным глазом — побединское стадо раза в три больше, скотина справная. И заводу хорошего — почти сплошь черно-рябая. Вдалеке за лугом, под самыми дворами два бруска белеют — новые коровники. А за деревней среди желтого жнивья еще три красных бруска — то уже побединские свинарники. Из кирпича набузовали, один в один. И деревня у них справная. Промеж зелени белеет черепица на крышах, а то и цинком есть покрытые. Вон блестит под солнцем, точно зеркалом выстлано. Это клуб. Радио слышно. Если бы не трактор, всю до слова песню разобрать можно.

Поискал Митька трактор, нашел: кукурузный силос возле фермы буртуют. Упрямым черным жуком ползет на крутую сизо-зеленую кукурузную гору, надрывно ревет мотором, а одолев, стихает довольно и сваливается за другой склон. И опять радио слышно, поет что-то веселое... Живут люди! Прямо на лугу «елочку» поставили. Митька, правда, сам не видел, только слышал, как она жужжит утром да вечером, но дед Серега ходил, смотрел: занятная, говорит, штука, коровы так и отскакивают. И дояркам, понятное дело, облегчение. Их, окромя того, еще и на машинах возят, — как солдат, в кузове.

Скосил Митька глаза на свою Покатиловку — скука смертная, а не деревня. Как есть вся под соломой. Коровник и тот камышом крытый. Только в одном месте, у ставка, кучерявятся ракитки, а так все голо, перед хатами рыжая ботва картошки да черные кучки торфа понизу. Да еще черное тырло на отшибе, а посреди черного два пестрых пятна — две заболевшие коровы.

Даже луг у побединцев кажется Митьке лучше, зеленее. Может, оттого, что ракиты по берегу тень бросают. Только дед Серега говорил, что они его весной чем-то посыпали. Может, и от этого.

Тем временем пастушата побросали карты, сели обедать. Из костерка выгребли печеные яйца, вытрясли из сумок помидоры, лепешки. Поевши, Карпуха выкопал из сырого песка под ракитой два огромных арбуза, ополоснув их в реке и, весь перегнувшись, потащил их в подоле рубахи товарищам. Разрезал арбуз ножом на животе, поддел крышку — даже отсюда видно, что спелый.

«Ишь жируют, черти мордастые, — незлобиво подумал Митька, — на бахче натибрили». И сам тоже полез в сумку. Достал кусок мелко нарезанного старого сала, ломоть хлеба, два огурца, стал жевать безо всякой охоты.

На той стороне показывается грузовик, с верхом заваленный свежей кукурузной резкой. Выруливает к берегу, медленно петляет между раkitами. Две бабы, поочередно поддевая вилами, сбрасывают резку на землю. Стадо поднялось с песков, бредет следом. Поваяло мучняным, теплым кукурузным духом.

Митькины коровы тоже обеспокоились, подскочили. Тянут морды, нюхают воздух. И не успел Митька сообразить, как валом полезли в воду. Митька забежал наперед по мелкому, яростно полоснул перед мордами кнутом, завернул стадо. А с другого края, с самого обрыва, плюхнулась и поплыла на ту сторону черноухая первотелка. Переплыла, отряхнулась на песке и побежала, нетерпеливо мыча, к машине.

— Не могли в другом месте посыпать! — сердито проворчал Митька.

И, сложив ладони, крикнул:

— Карпуха-а! А Карпуха! Пужани корову! Корова переплыла-а!

Карпуха задержал у рта большой ломоть арбуза, прислушался...

— Чего?!

— Корова переплыла!

Карпуха лениво перевалился на другой бок, с шумом выплюнул в воду струю арбузных семечек, крикнул ехидно:

— Спи больше!

— Да не спал я!.. Увидела машину и переплыла...

Карпуха опрокинулся на спину, замотал ногами:

— Ой, умора! Увидела машину... Ну, смехота!

— Пужани, Карпух! — просительно крикнул Митька, глотая насмешку. — Чего тебе стоит?

— Нам ничего не стоит. Нехай побудет у нас. На курорте. Харч подходящий.

Пастушата дружно захохотали.

— Да мы что, не кормим, что ли? — обиделся за коров Митька.

— Оно и видно! Могу отсюда ребра пересчитать...

— У нас, может, поболе вашего кукурузы, — не очень смело соврал Митька.

Уж слишком обидно ему было слышать ядовитые Карпухины слова.

Карпуха опять запрокинулся на спину, загорланил нарастающим:

У меня есть сапоги,
Берегу их к лету...
А по правде вам сказать —
У меня их нету.

Пастушата опять угодливо расхохотались, а Митька замолчал и долго с колючей горечью в горле смотрел на равнодушно бегущую воду.

— Эй, «Светлый путь»! Держи за свою корову! — Карпуха швырнул через реку недоеденные пол-арбуза. — Больше она не стоит.

Половинка плешнулась в реку, напугав какую-то рыбью мелочь.

— Наворовали арбузов, а теперь расшвыриваете? — крикнул Митька, чтобы тоже сказать что-нибудь в отместку.

— А ты что за указчик? Ты в своем колхозе указывай, а на чужой берег носа не суй. Откусим. Мне председатель сам говорил: «Ежели надо — бери, сколько хочешь, не стесняйся». Понял?

Митька никак не мог поверить, чтобы ихний Трошин так-таки за мое почтение разрешил Карпухе шастать по бахче.

— Врешь все! — крикнул он.

— А хоть бы и наворовали! Это все едино! У себя воруем, не у вас, — задористо, с гордецей отбрехнулся Карпуха. — У нас этих арбузов — завались. Нам арбузы нипочем, мы миллионами ворочаем. Понял?

— Понял, — язвительно проговорил Митька, но кричать через реку ничего не стал: что зря с дуроломом разговаривать?

— А ты рад бы украсть, — не унимался Карпуха, — да у вас нечего.

— А мне и не надо, — сам себе отвечал Митька. — Чем хвастается! Услыхал бы Трошин...

— Ага, заело? — Карпуха заложил два пальца в рот и зашвистел. — Замолчал? Все вы там голопупые! В нашем сельпо селедку полопали!

Митька в бессильной обиде за своих односельчан облизал сухие губы, крепко сжал кнутовище.

Насчет селедки — по весне раз было. Ходили в ихнее сельпо. Потому как в покатиловский магазин ничего не возили — дороги не было. Запомнил, гад! Только не ему, мордастому, говорить это... Тоже работник объявился! За чужими руками да ногами. Побегал бы он с Митькино. Им что!

Вон засыпали резку — и часа два хоть в карты дуй, хоть под кустом дрыхни. Да и сам Карпуха не больно-то разгонится. Все поровит вместо себя ребятишек послать. Зануда малый! На той неделе рыбу глушил, мешок судаков выгреб. Все мало ему, куркулю рыжему.

— Ну ладно тебе трепаться! — крикнул он, сдерживаясь. — Гони корову! Тебе — шалды-балды, а мне — скоро доярки подойдут, доить надо.

— Молоко — это уже дудки! Молоко — наше. Кукурузу жрет? Жрет! Смотри, как уминает! Значит, давай сюда молоко. А как же? По совести!

— Только тронь корову! — хмуро крикнул Митька.

— «Тронь», да? На спор? — Карпуха вызывающе осклабился.

— А вот попробуй...

— Ну, поглядим, поглядим... — И, обернувшись, крикнул пастушонку: — Степка, дуй за ведром.

Митька, закипая холодной, удушливой яростью, бледнея лицом, дрожащими пальцами расстегнул ремень штанов, стащил рубаху и, забыв о картузе, неожиданно нырнул с обрыва. Выплыл он на середке на мелком и, подбивая воду коленками, сразу пошел на ту сторону. Пятнадцатиметровый крученный кнут, пуская по воде усы, живой зловещей змеей волочился сзади.

— Ребята, не бойтесь, — рыкнул Карпуха, вскакывая с песка. — Пусть сунется...

Но Митька, бугаем нагнув голову и глядя на побединцев, сузившимися глазами из-под обвисшего, мокрого картуза, не убавил шагу. Его гнала, подталкивала нестерпимая, гневом заклокотавшая обида и за себя, и за своих коров, и за «голопупых» покатиловцев, за «слопанную» селедку, за это сытое, самодовольное глумление, — будто и впрямь был виноват Карпуха во всех тех бедах и прорехах голой, соломенной Покатиловки.

У берега Митька приостановился, подождал, пока течение вытянет кнут, чтобы можно было в любую минуту поднять его в воздух.

Страшная это штука — пастуший кнут! Похлестче дробового ружья. Полоснет вокруг ног, обожжет, свалит на землю...

Карпуха растерянно попятился.

— Ну, гад, подступись! — сказал Митька решительно и угрюмо, выходя на берег.

И, не глядя больше на Карпуху, по берегу же, держа кну-

товеще в вытянутой назад руке, голым оцетиненным бесом пошел к корове.

Притихшие пастушата видели, как Митька обвязывал кнутом рога первотелки, подтянул ее к воде и там толкнул в зад обеими руками.

В тени, под ракитой, проснулись старые пастухи — Иван и дед Коля, заспанные, крутят сигарки.

Митька, все еще не остывший от обиды, хотел было пройти мимо, но дед Коля закивал взлохмаченной головой, подзывая:

— Иди, милок, покурим!

Митька, подумав, подошел в чем был, голый, в мокром картузе.

— Опять поцапались, петухи? — сказал дед Коля, протягивая Митьке черной, костлявой рукой кيسет, сытно пахнущий махоркой с донником.

Митька помолчал, не стал жаловаться.

— А чтой-то, гляжу, деда Сереги твоего не видать?

— Не вышел нынче, — Митька крутил сигарку, просыпая желтую крупитчатую махорку на мокрые коленки, — слег дед.

— Скажи ж ты! Ай-ай! — горько зажмурился дед Коля. — Не выдержал, стало быть. Сморился... Известное дело! По таким-то лугам, как ныне... Один, выходит, справляешься?

— С бабкой.

— Бяда! Чистая бяда!

Попыхтели сигарками, оглядели друг у друга кнуты. У побединцев ременные, обхлыстанные о траву до блеска. Сухие, легкие кнуты, с желтыми латунными колечками.

— Слышь, а вашего Сорокина опять в районной газете пропесочили, — сказал Иван, насмешливо глядя на Митьку единственным глазом. — Не читал? Могу дать почитать. За брехню. Поглядишь — с виду птица: гимнастерка с карманами, ремень офицерский на пузе, сапоги начищенные, — а выходит, брехун. Потеха!

— Не в ремнях краса, — сказал дед Коля. — Вон наш Трошин... Ни с заду, ни с фасаду... При нем только жили. Да еще совесть...

— А что, Митька, — опять начал Иван, — все к тому склоняется, что присоединят к нам вашу Покатиловку.

Митька молчал, тоскливо посмотрел за реку, на свои луга.

— Пойдешь к нам в подпаски? — усмехнулся Иван.

— Ну чего липнешь к мальчонку? — перебил дед Коля. — Нехорошо это... Разве он виноват? Он, может, больше ихнего Сорокина за колхоз думает...

— Ну, я пошел,— сказал Митька.— Донтъ скоро...

— Иди, иди,— закивал старик.— Как же это дед-то Серга? Ведь мы с ним, почитай, с самого начала колхозов в этих лугах...

Митька вошел в воду. Мелкая рябь бессильно теребила утонувшее одинокое облако. Митька поправил картуз и, поднырнув под облако, скорыми саженками поплыл к своему берегу.

ЗА ДОЛАМИ, ЗА ЛЕСАМИ

I

На рассвете меня будили журавли.

Я просыпался в пепельном полусвете северного утра. Свет этот всю ночь брезжил в окнах. Казалось, истекал он отовсюду: светилося серенькое и ровное, будто натянутая волглая холстина, небо, светились из мореных глубин тихие озера — и те, что были на виду, и те, что таились за темными гривами лесов.

Деревянная кровать, высокая, прочно срубленная, нечто вроде Кон-Тики, на которой и в самом деле при случае можно было пуститься в дальнее плавание, стояла на мощных ногах посередине просторной, теперь пустой и гулкой избы.

Я, житель соломенной и плетневой России, не переставал удивленно преклоняться перед этим царством дерева, в которое попал.

Проснувшись, я лежал еще некоторое время на теплом, свалывшемся длинными косицами романовском полушубке, который нашел в темной клетке вместе с жестяной лампочкой и остатками керосина на дне пузатой бутылки, оплетенной берестой. У ног моих, на подвешенном к потолку шесте, парами висели сухие, в листьях, березовые веники. В полусвете они были похожи на убитых глухарей, привязанных за тонкие шейки. И опять я с невольным уважением задумывался о человеке, срубившем из могучих стволов эту высокую звонкую избу с дюймовым крюком для детской зыбки в двухобхватной матице и эту кровать-ковчег — для себя и своей молодухи. Я силился представить неведомого мне лесного жителя за его повседневным делом — на скудной подзолной пашне, с певучим топором на стропилах только что срубленной избы, на медвежьей обкладке в февральском завьюженном лесу, в дымном зное баньки под горою, за праздничным столом с рыбными пирогами и крутосолеными рыжиками.

Но человека, который жил в здешних укромных местах, уже нет в живых. На шестке его очага невесть сколько лет

и зим чернеют навсегда остывшие угли — печальные следы покинутого жилья.

Молодого наследника этой лесной хоромины, отпрыска третьего не то четвертого колена, я случайно повстречал в Железнодорожке, в сердце Курской аномалии. На своем бронированном КРАЗе в бесконечном потоке самосвалов он много раз за день спускался по бетонному серпантину на восьмидесятиметровую глубину карьера.

Вечером мы сидели в новеньком стеклянном кафе с модной небрежной росписью на оранжевых стенах. Было видно, как над карьером дымилось зарево прожекторов, сверливших глубину котлована. Черный от карьерного зноя, с белобрывым ребячьим боксом, еще мокрым после душа, в пестрой фланелевой рубашке с закатанными рукавами, он по-свойски окликнул:

— Зиночка!

Подошла юная официанточка, тоненькая, с подведенными под японку уголками глаз.

— Зиночка, золотце, коньячку.

— Разве ты сегодня не в ночь? — удивилась Зиночка.

— Голуба, ты плохо следишь за графиком.

— Больно нужно!

Он добродушно захохотал и проводил Зиночку счастливо-озорным взглядом здорового и свободного парня.

Проходившие к столикам шоферы приятельски толкали его в плечо, и он, усмехаясь, обнажая белые крепкие зубы, приветливо кивал, а иных норовил толкнуть ответно. Было видно, что знали его здесь хорошо и жилось ему суматошно, молодо и весело.

— А братья у меня тоже — один в Красноармейске на Волге, другой — в Сумгаите. Слышал про такой? Ну вот там. А меньшей в Мурманском, во флоте.

— Значит, разлетелись кто куда.

— Разлетелись! — засмеялся он. — Написал меньшому, чтоб после службы сюда махал. Но дело его.

— Может, домой поедет?

— Не! — убежденно сказал он. — Не! Чего там ему...

— Сам-то давно дома был?

— Да годов восемь... Как батю похоронил... А ты живи! Поезжай и живи, если нравится. — Он хлопнул меня по колену. — Какой разговор! Можешь и совсем остаться. Напилишь дров и живи, пописывай. Вашему брату тишина больше подходит. Это нам надо пошумнее. А то прямо и двором топить можно. Ковыряй по бревну. Все едино погнет.

...И я поехал. Два часа самолетом — над Рыбинским туманным морем, над кучерявой зеленью тайги. От Вологды — поездом до какой-то станции за Сухоной, сплошь забитой сплавными кряжами. Потом растрепанным на лесных корчах автобусом, а там — на двуколой молоковозке, под звон пустых фляг и гуденье оводов. У дальней колхозной фермы я расстался с молоковозкой и пошел пешком через лесные покотины и белесые северные ржи, проросшие понизу, у корневищ, маслятами, пока не показались зеленошелая колоколенка с осыпавшимися шатрами и седые крыши изб на высоком взгорке между двух озер...

Ключей от дома он, разумеется, мне не вручал. Приехал, отодрал от сенных дверей наискось приколоченную плаху, робко поднялся по разошедшей лестнице, вошел в избу, вздохнувшую навстречу стылой печью, толкнул створки ставней и присел на пустую кровать.

II

Где-то на болотах кричали журавли. Перед восходом солнца крик их был так гулок, что казалось, будто птицы кружатся над коньком избы. В который раз поддаваясь обману, я вскакивал с кровати, отдергивал забыгую хозяевами, надувавшуюся внутрь избы занавеску и выглядывал из высокого, словно леток скворечни, окна.

Говорили, что журавли прилетали на гороховое поле — совсем близко. Но я их так ни разу и не видел. Кричали они все-таки за гривой на болотах. Лесное эхо подхватывало их клич, и он, усиленный и многократ отраженный гулкой органичной звучностью сосновых стволов, окружавших болото, метался над топью. Крик этот не был резок или тороплив, нельзя было назвать его и трубным кличем. В нем было что-то глубинное, грудное, как в сильном женском меццо-сопрано, — какой-то русалочий полувоплъ, таинственный и печальный, невольно уносящий воображение в мир полузабытых сказок детства.

Да и все из моего окна виделось мне здесь сказочным: и эта горстка высоких теремных изб на горке между двух озер — иные заколоченные, иные еще с живыми красными гераньками в нешироких резных оконцах; и поленницы березовых дров, сложенные у стен задымленных бань, заросшие вместе с банями высокой крапивой; и округлые, еще свежезеленые стожки, похожие на островерхие шлемы былинных витязей; и бесконечные изгороди-прясла с белобокими соро-

ками на березовых кольях; и звон коровьих колокольцев, и мягкий голос рожка, искусно закрученного из длинного берестяного ремня, того самого старинного рожка, которым здешний пастух до сих пор скликает разбредшуюся по лесным тропам скотину. И леса, леса... Леса, в какую сторону ни глянь: черные, отвесные, с белыми мазками берез, с малинниками по сухим волокам, с россыпями рыжиков по опушкам, боры-брусничники, боры-моховики, глухаринные и медвежьи заломы, журавлиные топи.

Я глядел из окошка своей избы, слушал журавлей и думал, что, конечно же, не в степной соломенной Руси рождались сказки моего детства — про медведя, у которого березовая нога, про колобок, который выставили поостыть вот на такое именно окошко с замысловатой вязью по козырьку наличника, про репку, сладку и крепку, которую «тянут-потянут — вытянуть не могут» и которая так и мерещилась мне среди капустных кочанов, про сестрицу Аленушку и ее братца Иванушку и про то, как жили-были дед да баба и как у них была курочка-ряба...

Все это у меня на родине осталось только в памяти людей да в книжках. А здесь продолжало жить.

В этой деревеньке и на самом деле жили дед да баба. Только дед Михайла жил в хоромине по правую руку от моей, а бабка Евдокия — по левую, через две избы. Были они одиновешеньки, каждый сам по себе. В доме же напротив жили сестрица Верушка-сорожка с братцем Митькой. При них — и курочка-ряба, серенькая в белых крапушках, с цыплятами. Отец у Верушки-сорожки — Семен Лутков, колхозный бригадир, мать — телятница. Через несколько пустых изб, у самой околицы, окнами на раздерганный горбатый мосток стоял Марьин терем. Марья, надо считать, тоже сама по себе жила, поскольку меньшой сын Васька был шофером в колхозе, там при гараже и ночевал и завертывал домой разве что сменить засаленную рубаху.

Кроме этого люда — восемь душ на двенадцать изб, — в деревеньке больше никого. Но и то, рассказывают, густо. За соседним волоком в Тарутине и вовсе один старец остался. Уж и деревеньку ту из всех бумаг повычеркивали, и мостков туда не ладили, уличные тропки позарастали, и по брошенным огородам ельник прорезался, а он, старец тамошний, все еще держится.

Из окна в окно через дорогу было видно мне, как Семен Лутков пил чай. Поблескивал самовар, белела суровая скатерка, стучала чашками Семенова жена Параскева. Семен, еще в майке, прихлебывал из блюда и читал перед закуркой листок из календаря-оторвыша. Потом, уже в пиджаке и сапогах, с дерматиновой сумкой-бригадиркой через плечо, выводил из ворот чалого мерина, бросал на него вчетверо сложенную попону, пристегивал широким брезентовым ремнем и нетерпеливо кричал в окно:

— Парань!

— Сичас...— отзывалась Семенова жена.— Малого угомоню...

Из глубины избы доносился капризный хнык братца Митьки и заспанный, просительно-ласковый голосок сестрицы Верушки-сорожки:

— Спи, Митька. Чего куксиси-то? Будешь ревить — по горох не возьму.

Наконец выбегала повязанная белым платочком Параскева, забиралась на сваленные под окном кряжи и уже оттуда, пока Семен придерживая повод, задрав повыше юбку, плюхалась животом на спину мерина.

— Подвинь-кось,— просил Семен и тоже садился на мерина.

Каждое утро Семен подвозил Параскеву до ее телятника в четырех верстах за лесом и уже оттуда ехал бригадирствовать. Удельное княжество его состояло из шести — восьми сильно поредевших посадок, спрятанных друг от друга за долами, за лесами, и Семен, не слезая со своего мерина, объезжал пашенки и сенокосы до закатного солнца. В не столь давние времена в здешних местах был свой самостоятельный небольшой, но крепкий колхоз, объединявший ближайшие деревеньки. Но потом его влили в другой, а другой — в третий... Колхоз все уходил и уходил куда-то от здешних людей, как уходит вода, оставляющая после себя пересыхающие бочажки с кое-какой рыбешкой. Иные перебирались поближе вслед за непоседливым, кочующим колхозом, а иные, оказавшись на мели, разъехались.

Один Семен, стародавний бессменный бригадир, продолжал жить из упрямства на прежней наситенной кочке. А может быть, и не из одного только упрямства, а из тихой, бессловесной любви к здешней земле в надежде, что когда-ни-

будь опять полуднеют и заполняются новыми избами поредевшие посадки.

— Верушко, цыплятам яичко скрошить не забудь-то,— уже отъезжая, говорила Параскева.

Завидев меня, оба кланялись: Семен чинно приподнимал кепку, выговаривал, припадая на букву «о»: «Доброго здоровья», Параскева — мягко, певуче, застенчиво: «Здрасьте».

— Бригадирствовать? — спрашивал я.

— Надо! — говорил Семен, и было видно, что нес он свою службу с обстоятельной деловитостью, подобно бывалому, втянувшемуся сержанту, которому доверили держать растянутый фланг порядком поредевшими силами...

Несколькими минутами позже прошмыгнула мимо моего окошка Марья. На ней Васькина пропачканная мазутом стеганка, перехваченная какой-то красной опояской, резиновые сапоги торопливо вышлепывали по икрам: фр-фр. На сгибе руки у локтя — старый, почернелый берестяной короб, на дне которого перекатывалась краюха хлеба. Марья тоже кланялась со словами:

— Побежать рыжички побрать.

— Уже есть?

— Как не быть... Вчера бежала одной палестиной — будто кто денежки просыпал. Приходи угощаться.

— Так ведь рыжички солить лучше всего. А мне уж и ехать скоро...

— Чего — солить-то! Рыжик долго не раздумывает. В день и просолится.

Марья прошлепала, профыркала большими сапогами, а вслед за нею посеялся через березу над окном мелкий дождичек.

Мне было видно из окна, как курочка-ряба спряталась от дождя под прикрытые Семеновы избы и оттуда, из-под стенов, из-за мелкой дождевой сетки, озабоченно принялась скликать свой непоседливый выводок, разбежавшийся по траве.

Из своего оконца высунулась Верушка, выставила под дождик руку, засмеялась. Потом увидела внизу курицу с цыплятами, убежала и вернулась с ножом и яичком. Высунулся и Митька, стал глядеть, как Верушка расколупывала яйцо и потом крошила его на подоконнике.

— Цып-цып,— приговаривала Верушка, брала щепоть желтой крошки и бросала вниз.

Митька тоже неловко, горстью, загребал крошки, выставлял из окна руку, разжимал кулачок, но яичко, прилипшее

к пальцам, не сыпалось, и тогда он совал пальцы в рот.

— Митька, не смей есть! — говорила Верушка. — Я тебе другое расколупаю. А это цыплятам. Цып-цып-цып...

Желтые пуховички, тонко попискивая, копошились в про-свиришке, гоняясь за едой, и курочка-ряба, вся распушенная, растопыренная, гомонила над каждой крупницей.

А дождик все сеялся, и по-прежнему печально выкликали кого-то за лесом журавли.

IV

Как-то перед завтраком пришла ко мне баба Евдокия, принесла иконку.

В соседних деревнях попадались любопытные иконы, лет по двести — по триста каждой. Иногда встречались и того древнее: суздальского письма, забредшие сюда с юга, и бело-морские, сохранившие в росписи еще следы византийской манеры — пышной и торжественной, парадной. Суздальцы же писали своих святых и апостолов свободно и просто.

Расспрашивал я об иконах и бабу Евдокию с дедом Михайлой как самых стародавних обитателей деревушки. Но дед Михайла оказался неверующим и сказал, что иконок в доме давно уже не держит. Когда померла его старая, то иконки он, правда, не стал изничтожать ни топором, ни печ-кою, а пустил их по реке. Баба же Евдокия сказала, что есть у нее пресвятая дева с младенцем удивительной работы и чтобы я непременно зашел посмотреть на ту деву.

Но я никак не мог собраться, и вот она, стукая по лестни-це посошком, пришла сама.

— Уж и не взойду, — сказала она с порога. — А бывало, бе-гала в эту вот избу-то... Козой! — Она была в веселеньком платочке с иностранными фестивальными словами по голу-бому полю. .

Баба Евдокия присела на лавку передохнуть после лест-ницы. Кофта на бабе Евдокии трикотажная, длинная юбка — с белым старинным передником. На ногах малонадеванные сельповские парусиновые туфельки с кожаными носками.

— А ты что так... батюшка, не идешь? Обещался, поди...

— Да вот... — Я развел руками.

Баба Евдокия оглядела избу: видно, давно тут не была. Глаза у нее на удивление молодые — голубенькие и ясные, не вылиняли, не заслезались. Видать, в молодости очень бы-ла собой пригожа. Да и теперь еще по-стариковски чем-то хороша. И седина под платком, и большие шишковатые руки

с пергаментно-прозрачной коричневой кожей, под которой видна каждая синяя прожилка,— все к месту, ко времени.

— Принесла я тебе... батюшко... иконку-то... раз любопытно.— Голос у бабы Евдокии чистый, напевный, как в далеком детстве: «В некотором царстве, в некотором государстве, за долами, за лесами...»— И вареньица принесла дак...

Баба Евдокия развернула на коленях белый узелок, вынула баночку с вареньем, поставила на окошко, а потом уж показала и саму иконку.

— Ну, это и есть пречистая с младенцем. Погляди-ко.

Я взял в руки тяжелую дощечку, взглянул и смутился: на ней была наклеена огоньковская репродукция «Мадонны Литты» работы Леонардо да Винчи.

— Кротости и скорби необыкновенной...— сказала баба Евдокия, ревниво заглядывая из-за моего плеча в картину.— Знать, великий мастер писал дак... Не иначе...

— Великий, бабушка, великий,— сказал я.— И давно она у тебя?

— Да годов восемь-девять... Наши ребятенки в озере изловили... Волнами в камыши прибило-от... Вот и мокла невесть сколь времени, а краски не потухли...

Я разглядывал икону, а про себя думал: кто это так подшутил над бабой Евдокией? И не деда ли Михайлы эта иконка, некогда пущенная им по реке, а затем изловленная и заклеенная репродукцией деревенскими озорниками?

— Бери дак... ежели надобно,— мужественно сказала баба Евдокия и вздохнула.— У меня еще Микола-угодник остался... Хватит мне, однако, и Миколы...

Я опять принялся разглядывать склонившуюся над младенцем мадонну, от которой и на самом деле оторваться не было никакой возможности, а баба Евдокия, сидя на лавке и опершись подбородком на руки, крест-накрест лежащие на конце посошка, тем временем с горестной пристальностью разглядывала меня. Я спросил:

— Что, бабушка, так разглядываешь меня?

— Да что разглядываю... Пошто один в избе живешь? Живи у меня... Чаю взогреть али стряпню. Я бы с превеликою охотой... А то во всем дому моем токмо и звуку, что ходики.

И мне стал понятен горестный взгляд бабы Евдокии, стосковавшейся по будничной домашней заботе о другом человеке. Великая потребность матери, не оставляющая ее до последнего дыхания, то самое священное чувство, которое и изобразил да Винчи в своей Литте.

— Что же это мы как тараканы по углам: кажанный по себе,— сказала баба Евдокия.— Чай, люди-от...

— Спасибо, бабушка. Только уж и перебираться ни к чему — уезжать мне скоро...

— Ну хоть так заходи.

— Так — зайду. А что же сыны — пишут?

— А у меня, батюшко, не сыны, а дочки. Три, и все дочки.

— И тоже в разъезде?

— Одна, старшая, в Москве. За инженером замужем. Была я: справно живут. Прислугу содержат. Хотели меня при себе оставить. Зять было и прислуге отказал, чтобы, значит, ее койку мне отдать. Квартера у них хоть и об двух комнатах, а поглядели-поглядели — некуда еще одну койку пристраивать: все углы заняты. Вот и хотели было прислугу рассчитать-то... Ну я и возвратилась. Это Таисия. А Ольга за военным, на островах, уж и не выговорю названия. У тех не была: далеко. Самолетом надоть, а потом уж пароходом, да и то токмо летом — пароходом-то... Далеко. Ну, а меньшенькая, Августа, при мне все жила. А как заневестилась, тоже полетела искать свою долю. Парней-то у нас тут и вовсе на погляд ни единого. Ну и полетела, голубушка, потому как что ж сидеть?.. Ну и я теперь одна, как труба погорельская на пепелище... А ты, батюшко, заходи... Попиши-попиши свое да и заходи...

Баба Евдокия расслабленно встала и потопала к двери. Я проводил ее по лестнице до самого низа.

— А журавли-то все кричат,— сказал я.

Постояли, послушали.

— А я и не слышу,— сказала баба Евдокия.— Глуха стала. А то, может, и обвыклася. Всю-то жисть кричат дак...

V

Дождик тихо отсеялся. В окно дохнуло мокрыми стогами и по-весеннему горьким благоуханием осин. Мне было слышно, как моя соседка Верушка, выбежавшая на улицу после дождя, напевала:

В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать л-е-т!

Когда я приехал в деревушку и поселился напротив Семеновской избы, Верушка-сорожка, узнав про свежего челове-

ка, весь день толкалась с братцем Митькой на улице, стараясь привлечь мое внимание. На другой день она осмелела и пришла ко мне в избу. Она вошла неслышно — только качнулась занавеска па окне — и остановилась у порога, держа брата на закорках. Смущенно переступая на пороге тонкими, гусяно покрасневшими босыми ножками, облепленными мокрым травяным крошевом, она глядела на меня вопрошающе-пытливо, глядела как-то одним глазом, потому что второй ее глаз был закрыт свалившимися набок волосами, которые она не могла поправить, придерживая обеими руками Митьку под голый зад. Верхняя губа ее подковкой приподнялась над двумя редко расставленными зубами. На Верушке, худенькой и невесомой, висело не по росту старушечьи-длинное бумазейное платье. Митька насупленно выглядывал из-за ее плеча. Оба вели со мной как бы негласный разговор: «Ну вот мы и пришли. Прогонишь или не прогонишь? Ты не прогоняй нас, потому что отца с матерью нету дома и нам скучно одним в пустой деревне. Мы посмотрим на тебя, на твои вещи, на то, что ты тут делаешь, и уйдем себе потихоньку».

— А! Это вы! Ну проходите, проходите.

Верушка неловко потопталась.

— Как зовут-то тебя?

Она зарделась, потупилась и себе под ноги торопливо проговорила что-то вроде:

— Вершкасоршка.

— Как-как?

— Верушка-сорожка,— повторила она медленней и внятней.

— А почему же — сорожка?

— А я плаваю баско... Меня размахнут, кинут в озеро, я и поплыву... Как сорожка.

— Ах ты рыбка красноперая! Что ж ты так у порога?

— А я, дядя, тебе гороху принесла,— сказала Верушка-сорожка.— Зелененький.

— Да ну! Я очень люблю зеленый горох.

Девочка ступила на середину избы, наказала Митьке, чтоб держался покрепче. Тот с готовностью обхватил ее толстыми ручонками за шею. Верушка-сорожка высвободила свои руки и проворно развязала пояс на платье. И тотчас на полу у Верушкиных ног набежал ворошок стручков.

— Да мне одному и за неделю не съесть! Давайте-ка вместе.

— Не... Мы на поле наелися, это тебе...

— Ну тогда я вам дам по карандашу, и вы будете рисовать. И по листу бумаги.

Дети присели на лавку.

Верушка-сорожка взяла свой карандаш, оглядела, поспешила — химический или простой? — бережно нагнула на него листок бумажки трубочкой и спрятала за пазуху. Братец же Митька схватил карандаш за концы кулачками, вытянул руки и вдруг, надув щеки, забибикал, натужно покраснев и пуская пузыри.

— Это он в шофера играет, — пояснила Верушка. — Он как палочку найдет, так начинает рулить. Папка говорит — шофером наш Митька будет.

Вот так мы познакомились в тот раз.

В жизни раз бы-ва-ет
Восемнадцать л-ет! —

продолжала напевать под окном Верушка-сорожка, и я не утерпел, выглянул из окна, чтобы посмотреть, чем она занята. Верушка, напевая, раскладывала под окном пучки какой-то мягкой травы. Она клала их ровными рядами, один к одному, и каждый пучок перехвачен был посередине травяным перевяслицем. Сверху мне не было видно Верушкиного лица, его закрывала белая косынка шалашиком, только проворно мелькали тонкие темные руки, и в этой косынке, в просторном, балахонистом платье и в своей игре-работе она походила на маленькую женщину. Рядом с ней ползал на четвереньках белоголовый Митька. Он хватал пучки и сосредоточенно раздвигал их по былинкам.

— Не смей теребить, Митька! — говорила Верушка. — Это же лев! Ты лучше расстилай со мной. А я потом тебе рубашечку сотку.

Братец Митька смотрел, как Верушка-сорожка расстила «лев», пробовал и сам класть пучки, но, видно, клал их как-то не так, и Верушка говорила:

— На лучше тебе палочку. Шофером будешь.

Митька хватал палочку и начинал дудеть:

— Би-биц... би-биц... фр-фр...

— Поехал, поехал наш Митрий, — говорила Верушка. — Поезжай, Митрий, в Мурманск, к дяде Николаю. Будешь с ним шофером. Там пряники сладкие... Ты мне пряников сладких привези, а я тебе рубашечку сотку. Белую рубашечку с красной опояской.

Заметила меня в окошке Верушка-сорожка, окликнула, как обычно:

— Дядя Женя-я-я...

— А-а...— отозвался я, так же растягивая голос.

— Че делае-ешь?

— Пишу, Верушка...

— Все пишешь да пишешь!

— Вот я и думаю: не отложить ли пока? В гости к тебе пойти, что ли?

Верушка насторожилась, перестала расстилать свои снопики: правду ли я говорю?

— Самовар поставишь,— так приду.

— А не обманываешь?

— Правда приду.

Верушка-сорожка некоторое время внимательно смотрела на меня, потом, вдруг просияв, широко, счастливо улыбнулась, подхватила Митьку и, распугивая цыплят, побежала к избе.

На пороге она еще раз оглянулась, и мне была видна ее белозубая улыбка.

Самовар гудел, приставленный трубой к душнику печки. Верушка набирала в тушилке угли и, приподняв трубу, бросала их в огненное жерло. Увидев меня на пороге, она выпрямилась и, держа в руке угли, провела рукой по лбу, откидывая волосы.

— Проходите,— сказала она по-взрослому озабоченно и серьезно, называя меня на «вы» в знак торжественности момента.

Посередине комнаты висела глубокая и просторная зыбка, как морской баркас, раскрашенная в зеленое, с резьбой по кормам и бортам — красные лебеди и рыбки. Братец Митька, стоя в ней, выпятив голый живот, силился раскатать ее за веревки.

— Би-бип! — сердито сигналил Митька и старательно фырчал.

— Кочегаришь? — кивнул я ему и подтолкнул зыбку.

— Он у нас шоферистый,— улыбнулась Верушка-сорожка. Нос у нее был выпачкан углем.— Он в Мурманск поедет. В Мурманском много напих... И дядя Коля наш... И деда Михайлы Федор.

Она достала из сундука новую льняную скатерть, постелила ее поверх старой, узкими ладошками пригладила сле-

жалые пружинистые сгибы, достала из ларца чашки, хлеб, баночки с вареньем и, подхватив самовар, поставила его на жестяной поднос.

— Садитесь, дядя Женья,— сказала она, зардевшись.— Чем богаты, тем рады,— прибавила она, подражая Параскеве.

Митька тоже попросился, и Верушка, выхватив его из зыбки, посадила к столу на лавку.

— Да вы пейте,— потчевала меня Верушка-сорожка.— Вот черничное, кисленькое... А это морошка. Я-то сама морошку не очень... Больно сладко... А вы попробуйте... Это у нас от прошлого году. Новое еще не варили...

Я пил с кисленьким черничным, с духовитым земляничным, пробовал желтое, медвяное морошковое. Верушка, прихлебывая из блюдца, ревниво следила за мной и перехватывала мою опорожненную чашку:

— Давайте налью.

— Налей, голубушка. Что ж, скоро и в школу, а?

— Да уж скорей дак...

— Соскучилась?

— Ну да... Одна и одна. Все только с Митькою.

— А пойдешь — так Митьку-то куда?

— А мы его бабе Евдокии отдаем. Ей забавно даже... Одна дак... Дед Михайла тоже просит, чтобы ему отдавали...— Верушка развела руками.— Баба Евдокия сказывала, чтоб только ей, потому как дед Михайла курит...

— Школа-то далеко?

— А там.— Верушка-сорожка махнула в угол рукой.— В Маслячухе. Раньше, сказывают, дак здесь была... А потом перевели... Учеников не стало... У нас и теперь во втором только трое... А так все разные: кто в первом, кто в четвертом... Говорят, в этот... как его... будут забирать...

— В интернат?

— Ага.

— В интернате хорошо тебе будет.

Верушка посмотрела на меня, что-то обдумывая, и вдруг поспешно заговорила:

— Да вы пейте, пейте! Я еще налью.

— Да уж запарился. Передохну малость.

Я отдернул занавеску, чтобы протянуло свежим ветерком. На подоконнике рядом с цветочным горшком стоял маленький деревянный человечек.

Вырезанный из куска ольхи, он был кирпично-красен и своей большой головой, плутоватой ухмылкой и сложенными

на животе короткими ручками напоминал какого-то языческого божка.

— Кто же такой?

— А это моя кукла Катька,— сказала Верушка-сорожка.

— Ну какая же это Катька! — удивился я, разглядывая божка.— Это старичок лесовичок.

— Нет, Катька,— рассмеялась Верушка.

— Ну ладно, пусть будет Катька. Кто же тебе сладил такого?

— А это все дедушка Михайла. Он и рожки мастерить может.

— Хочешь, я тебе подарю настоящую куклу? С косичками и в платьице?

Верушка потупилась.

— Завтра пойдем с тобой в магазин и купим. Тут есть магазин?

— Есть. В Маслячухе.

— Ну вот, завтра же и пойдем.

— Ой, Митька! — спохватилась она.— Ты опять весь измазался вареньем. На тебя никак не настираешься.— И, стараясь спрятать радость, озабоченно принялась вытирать Митькины черничные щеки.

Над избой далеко, шмелино загудело.

— Самолет,— сказала Верушка.— Архангельский.

— А ты как узнала?

— Самолет-то? Он всегда об эту пору летит.

Она соскочила с лавки и подбежала к ходикам, вставленным в специальный шкафчик — с дверцей и застекленным оконцем.

— Проверить часы дак...— сказала она, открывая дверцу.— Аккурат в двенадцать над нами пролетает.

Братец Митька, услышав самолет, насторожился, раскрыл рот бубликом. И, убедившись, что это вовсе не шмель, а настоящий мотор, счастливо заухмылялся.

Я взглянул на свои часы и тоже поправил: подвел на две минуты — по высокому заоблачному гулу.

VII

Верушка-сорожка еще с утра отнесла братца Митьку к бабе Евдокии, и вот мы уже шли по деревеньке, направляясь в Маслячуху. Верушка была в новом розовом платье белым горошком, в пестренькой косынке, с носовым платочком, по-

доткнутым под резинку короткого рукава. Лицо строгое, озобоченное, а глаза так и сияют.

— Куда эдак вырядилась наша красавица, наша словутица?

На крышке колодезного сруба сидел дед Михайла, правая нога в сапоге, левая — в катанке. Дед Михайла воевал еще с «Вильгельмой» и вот уже полвека носит на левой ноге все тот же рыжий валенок с разрезанным и раздерганым голенищем. Дед Михайла перестал строгать березовый чурбан и хитро сощурился на Верушку-сорожку — совсем так, как ее деревянная кукла Катька.

— И куда так важно путь держим?

— В Маслючиху, — отвстила Верушка.

— За пряниками-конфетами?

— За куклой!

— За куклой? — всплеснул руками дед Михайла. — А я как раз тебе новую лажу.

— А то — с косицами.

— Так я тебе и косицы вырежу.

— А то — в платье.

— Дак и в платье...

— А то платье раздевать можно.

— А! Ну это другое дело. Ступай-ступай... А не прикупила бы ты мне макаронов да песку-сахару?

— Прикуплю.

— А то у меня все макароны повыходили. А нога-то у меня — Вильгельма окаянная — не бегаает.

Марья тоже выглянула в окошко:

— И куда наша Верушка так бежит?

— За куклой!

Выбежали за околицу, прошли горбатым мостком, что сразу за Марьиной избой, прошли зеленой отавой со стожком, синими льнами, белесыми ржами — все выше, выше на горушку к лесному волоку. Во ржи, на темной молодой елке, на самом торчке раскачивалась тетерка.

И жаворонки звенели над головой, будто по весне. Один, должно быть самый бойкий, свалился из поднебесья, сел на большой замшелый камень у дороги с чистым озерком воды во вмятине и долго пил, запрокидывая головку.

Взошли на горушку, оглянулись. Темные леса разбежались во все стороны. На бугре между двух озерков — Верушки-сорожки деревенька. И такая она маленькая издали, будто кучка спичечных коробков на гривенник. А подальше, в стороне, на другом бугорке, еще кучка коробков — то Ворониха,

а за вон той высокою гривой с темными ольхами понизу — Параскевина ферма, а за этой гривой — Тарутино, а до Маслючихи еще бежать и бежать.

Потом шли волоком в чуткой тишине леса. Верушка все бежала и бежала, и круглые ямочки от ее пяток отпечатывались на влажной лесной дороге. Любопытная белка, должно быть заметив розовое Верушкино платье, два раза взад-вперед перемахнула вверху над просекой. Рыжие маслята толпами высыпали из-под мелкого ельничка, будто тоже хотели посмотреть, кто и куда идет по лесу в таком розовом платье с белыми горошинами.

— Побежим быстрее, а то на перерыв закроется, — озабоченно говорила Верушка-сорожка. — Или на базу уедет...

И вот открылась Маслючиха и сельповский магазинчик у околицы. В магазин заходили и выходили люди. Увидела Верушка, что люди заходят и выходят, и того пуще заторопилась:

— Пойдемте, пойдемте, а то пока добежим, дак...

Добежали, успели. На тесовых порошках магазина сидели какие-то бабушки. Все в новых платочках и у всех большие узловатые руки — как у бабы Евдокии. Пришли, видно, посидеть на сельповском крыльце, поговорить, повидаться. Раньше в церковь ходили, теперь вот в сельпо: дело стариковское — лишь бы на люди.

— Чья ж такая ягодка-росинка? — враз заговорили-запели бабушки, увидев Верушку-сорожку.

— Чай, из Тарутина? — спросила одна бабушка.

— Что ты, девушка, кой из Тарутина? В Тарутине ноне никого из ребятенков-то и нет. Один старец Митрофан, да и то не знаю, жив ли? — сказала вторая бабушка.

— Из Воронихи, чай? — сказала третья бабушка.

— И не из Воронихи. В Воронихе кому такой быть? У Алпаты двое мальцов да у Саввичны внук из Архангельску живет. Дочка-то ее оступилася, грех вышел, ну вот и внука к бабке отправила. А больше там и рожать-то некому, в Воронихе-то.

— Луткова я, — сказала Верушка.

— Бригадирова! — сказала первая бабушка. — Вытянулась-то как! И не узнать. Ах, золотинушка ты моя! Что там бабка Евдокия, жива ли? Топают?

— Жива.

— И дед Михайла?

— Жив и дедушка Михайла.

— Гли-кось, парень лихой!

В магазинчике, заставленном панцирными кроватными сетками и ящиками с болгарскими помидорами, толпились люди: должны были привезти хлеб. Пахло новыми резиновыми плащами, керосином и селедкой. Верушка-сорожка мышью пробралась под ногами к прилавку, зорко обежала глазами полки — керосиновые фонари, электрические чайники, соломенные шляпы — и нетерпеливо обернулась. Я тоже прогиснул.

— Вам чего? — спросила меня тучная приземистая продавщица, увидев в моей руке пятерку. — Только белая.

— Да нет. Нам куклу.

— Куртку?

— Куклу.

— Какую куклу? — не поняла продавщица. — Ах, куклу? Игрушку? — обрадовалась она знакомому, но как-то выскочившему из головы слову. И уже с облегчением сказала: — А кукол нет.

— Как нет?

— Не завозили.

— Что — на базе нет?

— На базе, может, и есть, да мы не завозили.

— Почему? — удивился я. — Кукла — первое дело.

— А у нас кукла — неходовой товар.

— Да почему ж неходовой?

— Вы, гражданин, наперво детей нарожайте, — почему-то обиделась продавщица, — а потом и предъявляйте претензии к магазину. Я кукол понаведу, а они будут на моей шее висеть. Мне и так некуда товар ложить.

Мы вышли из магазина. Вид у Верушки-сорожки был растерянный. Но в дороге она повеселела, а может быть, просто маленьким своим женским сердцем пересилила обиду и уже кричала мне из лесу, из густых завалов:

— Дядя Же-еня-я! Малины ско-оль! Иди щипа-ать!

VIII

Через неделю я уезжал.

Я вышел из избы, нашел старую плаху и принялся заколачивать сенную дверь. На стук топора прибежала Марья, выполз, подогнув рыжий валенок, дед Михайла, выскочила Верушка-сорожка с братцем Митькой на закорках. С Семеном и Параскевой я попрощался еще до солнца, когда они седлали мерина.

— На дорожку, — сказала Марья и силком засунула в мой

переполненный заплечный мешок банку свежесоленых рыжиков. Дед Михайла вручил мне выжженную ивовую дудочку с берестяным раструбом и тут же показал, как на ней играть. Дудочка пропела мягко и бархатисто. Прокуренные Михайловы пальцы дрожали.

— Пожил бы еще с нами,— сказал он, вытирая о ладонь мундштук дудочки.— Дак и песням бы тебя научил.

— Спасибо, дедушка... Что поделаешь? Надо ехать...

— Ну ехать дак ехать... Только спрошу я тебя напоследок. Я вот супротив Вильгельмы воевал, а ты супротив Гитлера. У тебя вот на груди планочки. И я тож Егория имею... Правда, не надеваю, потому как Егорий, а имею. Враг-неприятель один. А только за это мне никаких делов, одни неприятности. Полвека с сухой ногой. Кто я? Не рабочий я, не колхозник. Так, небокопнитель...

— А ты, дедушка, носи своего Егория. Теперь разрешено. Теперь это даже почетно,— сказал я.

— Дак Егорий Егорием... Мне бы пенсию какую-никакую... на табак... Будешь в Москве, вот и разузнай. Так, мол, и так. Есть такой дед Михайла. Нуждается в выяснении личности... Так и скажи Калинину.

— Калинин, дедушка, двадцать лет как умер.

— Ужли? — Дед Михайла задумчиво подергал бороду.— Двадцать лет? Ай-я-я... А в календарях все рисуют.

— Хороший был человек, вот и рисуют.

— Это верно, душевный... Беда-то какая... Ну да что теперь делать... Ты еще к кому следует зайдя... А то напиши дак...

— Напишу, дедушка, непременно напишу.

Баба Евдокия принесла старинный льняной рупняк с красной вышивкой. Подала на вытянутых руках с важным лицом, но тут же не выдержала, расплакалась и обхватила меня за шею.

— А мы все так привыкли... А теперь вот и от сердца живьем отрывать... Все провожаем да провожаем... Все едут да едут.

— Ну, будя тебе, девка...— насунился дед Михайла.— На дорогу-то ревить... Едут — стало быть, надо... Не тут теперь Расея, во лесу с медведями. Расея из лесу-то выбралась...

Распрощались мы, одна только Верушка-сорожка с братцем Митькой увязалась провожать меня. Вышли мы с ней за околицу за березовые воротца, прошли горбатым мостиком...

— Ну, Верушка, ступай, а то ведь с Митькой-то тяжело тебе...

— Не... Я еще малость провожу... Мы с ним по горох в поле бегаем...

Прошли лугом меж стожков, начались льны на взгорке.

— Ступай, ступай, Верушка...

— Еще немножко... Вон до той елки...

Прошли синими льнами, рыжими хлебами, мимо елки, на которой качалась тетерка, добрались до камня на горушке с лужицей во вмятине, из которой в прошлый раз напился жаворонок. Возле камня мы попрощались.

Я пошел и все оглядывался на Верушку, на Митьку, на исчезающую в серой дали серую тесовую деревеньку: что-то не давало мне зашагать просто, не оглядываясь.

А Верушка-сорожка все стояла и стояла среди ржи на высоком камне, держа Митьку на закорках. В длинном балахонистом платье, в белой косынке шалашиком, с тонкими, как тростинки, ногами. Издали она еще больше походила на маленькую женщину.

И вдруг я услышал ее далекий тонкий голосок:

— Дядя Же-ня-а! Дядя Же-ня-а-а! Смотри-и!

Я обернулся.

Над лесом показались две большие, темные, четко вычерченные птицы. Они беззвучно махали широкими крыльями, время от времени гортанно перекликались, и голос их, протяжный и печальный, казалось, заполнял собой все небо и всю землю, проникал в самые глухие лесные чащи и в самые бездонные глубины озер.

ДОМОЙ, ЗА МАТЕРЬЮ

1

Когда поезд пришел в Москву, Васюкеев все еще богатырски храпел в пустом купе мягкого вагона. В новом касторовом пиджаке, нейлоновой сорочке и рыжих собачьих унтах он лежал навзничь, сцепив на животе толстопалые руки в синих крапичках подкожного угля. Его светло-русые кудри рассыпались по стопке нераспечатанного постельного белья, запихнутого под голову.

Проводник долго дергал его за рукав, Васюкеев поводил бровями, жевал, издавая крепкими зубами морозный скрип, наконец, разлепил глаза и мутно, непонимающе взгляделся в проводника.

— Подъем! Прибыли!

— Куда?

— Москва, браток. Белокаменная.

Васюкеев поворотился на бок, отдернул занавеску. За окном было голубо и солнечно, перрон многолюдно бурлил народом, пестрели цветы и яркие весенние шляпки.

— Вот это махнули! — зевнул Васюкеев, удивляясь тому, как поезд быстро домчал его до столицы, и припоминая, как еще совсем недавно он залезал в вагон, набело заляпанный косой заполярной пургой, и как вот этот старикан проводник, пряча фонарь за полу казенной шинельки, горбился от снега в три погибели, разглядывая его, Васюкеева, билет в мягком вагоне.

Он садился в Воркуте и был озабоченно деловит перед лицом провожавшей беременной жены Кати, которая все твердила, чтобы зря не пил и не сорил деньгами. Прощаясь с женой, Васюкеев стоял на подножке вагона, заслонив проход медвежьей шубой. С багровым и мокрым от колючего снега лицом смотрел он вниз, на Катю, на ее вздернутый живот и кричал в пургу, в ветер:

— Ты, Кать, крепись тут... Я скоро...

Ехал он в отпуск на Орловщину, но не просто прогулять-

ся, отдохнуть от шахты, а по неотложному делу. Через три месяца ожидали они с женой прибавления и, обсудив по-семейному, как им быть дальше (Катя тоже работала в шахтоуправлении и не хотела терять место), порешили, что он поедет и заберет свою мать, которая жила в деревне под Кромами.

Хватит, потопила печи, потаскала чугуны,— жалел он мать дорогой, сидя в пустом купе и поглядывая на зимнюю тайгу, убегавшую беспредельно в обе стороны.

Летающие вдоль насыпи завьюженные километры, мягкое постукивание колес, строгая чистота, никель и зеркала купе и толстый бумажник, давивший грудь сквозь нейлоновую рубашку, будили в нем спокойное, горделивое чувство своей собственной значимости, хозяйина жизни и всех этих диких промерзлых пространств. Здесь он был нужным, почитаемым человеком.

Ему припомнилась послевоенная голодная безотцовщина, вросшая в землю сумеречно-дымная хата, рвань телогреек и косяковых ватных одеял, в которую они, четверо голопятых, вечно нестриженных Васюкеевых, кутались, вповалку укладываясь спать на полу; вспоминалась клочкотавшая выварка, ее кислая бражная вонь и то, как мать, плоская, безгрудая, иконолика от худобы и глубоко провалившихся глаз, всю ночь топталась возле выварки, а под утро разливала по бутылкам мутный и теплый самогон, который она, занавесив окна мешками, тайком гнала на хлеб и одежду... Один за другим Васюкеевы, недоучившиеся, кое-как пройдя по пять-шесть зим в школу, подрастая, покидали деревню и по вербовкам разлетались кто куда. Лишь младший Алешка дотерпел до десятого класса и по всем правилам поступил в Московский университет. Учился он уже по третьему году, и уже три года мать жила в деревне одна.

«Сколько же ей теперь?» — думал Васюкеев, напрягаясь подсчитать материны годы. Но с горечью и укоризной закусил губу, поймав себя на том, что даже не знает, когда она, в каком году, в каком две-месяце появилась на свет.

Растравив себя воспоминаниями, нахлынувшими сыновними чувствами и не вынеся одиночества, Васюкеев отправился на люди, очутился в вагон-ресторане и больше не выходил оттуда, по-родственному зазывая за свой обильный стол разную подорожную публику.

— Давай, братва, подсаживайся,— делал он широкий замах рукой, пьяно мигая отяжелевшими веками.— В отпуск

еду... За матерью... Мать у меня, понимаешь... Ты знаешь, какая у меня мать? Во-о! Понял? — Васюкеев отставлял от огромного кулака большой палец и показывал его всему застолью.— Душу за нее натварь выну, понял?..

Когда проводник растолкал его в Москве, поезд был уже пуст и состав собирались отвести на запасные пути. Васюкеев натянул порыжелую медвежью шубу и оглядел заваленный закусками столик. Среди снеди стояла початая бутылка коньяку, про которую он даже и не помнил, когда и как она появилась в купе. Васюкеев налил коньяку в ладонь, плеснул себе в заспанное лицо и вытерся подкладкой шапки.

— Закуси тут за меня,— сказал он проводнику, стащил штолки чемодан и выскочил на перрон.

2

Через полчаса Васюкеев был уже на Курском вокзале. Он сдал вещи на хранение и тут же на площади узнал в справочной будке, как ему разыскать брата Алексея. В Москве Васюкеев бывал не впервой, но уверенно чувствовал себя только на вокзалах и в дорожных ресторанах, да еще в метро, которое напоминало ему родную шахту,— ценил в нем хорошую вентиляцию и строгий график на рельсах.

Безо всякой путаницы Васюкеев добрался в метро до университета и сразу, выйдя на поверхность, увидел его соборно-строгую громаду.

«Куда затесался!» — подумал он о брате, чувствуя, как трудно ему задирать свинцовую после попойки голову, чтобы разглядеть вознесенный в небо залоченный шпиль.

Он не сразу разыскал вход в здание, долго обмерял его то справа, то слева, широко мельтеша унтами, наконец, робея перед строгостью мрамора и тяжелых дверей храма науки, вошел вслед за какими-то черномазыми девками в просторный вестибюль. Черномазые девки в длинных до пола цыганских юбках, поводя синими белками, заинтересованно косились на его меховую одежду-обужу, и он, польщенный вниманием, подошел к ним, спросил озабоченно:

— Извиняюсь... Брат у меня тут. Алексей Васюкеев.

Девки широко, толстогубо заулыбались, блестя крупными фасолинами зубов, и одна из них, кивая, переспросила:

— Алекс?

— Ага! — обрадовался Васюкеев. — Алексей Ильич.

— Алекс? Басюкееф?

— Да-да-да! Брат я ему... Родственник.

— О, карашо! Один момэнт, товарищч.

Девки заулыбались, вошли в лифт, и та, что разговаривала с Васюкеевым, закрывая за собой полированную дверцу кабины, еще раз сказала ему «карашо» и поводила в воздухе узенькой синей ладошкой.

Ожидая результата, Васюкеев топтался у поминутно хлопающих выходных дверей, испытывая неловкость от своего здесь присутствия и нечаянной встречи с заморскими девушками, в то же время мысленно примеряя их на свой вкус. Он не чувствовал к ним никакого мужского интереса, а только удивлялся, как непонятной и неизвестно для чего существующей диковине.

«Черные, а тоже бедовые, — думал он снисходительно. — Шныряют по лифтам, как дома».

Брата он не видел лет пять, еще с тех пор, как навевывался домой в отпуск, помнил его маломерком по-домашнему, обыденно, в ватнике и резиновых сапогах и никак не мог представить его здесь, среди этого мрамора, но, когда из лифта вышел рослый плечистый парень в куцем волохато-зеленом пальто, без шапки, Васюкеев сразу же радостно встрепенулся.

Алексей, еще издали расплываясь знакомой высюкеевской редкозубой улыбкой, покраснев чистым широким лицом, твердо прошел через вестибюль, протягивая руку, и совсем просто сказал:

— Привет. Откуда ты?

— Да вот зашел... Домой еду... — Васюкеев переступил унтами.

— В отпуск?

— Ага... Дай, думаю, съезжу... Значит, тут ты...

— Как видишь.

— Солидно.

— Да ничего. Жить можно.

Братья еще раз оглядели друг друга и улыбнулись. Алексей дружески толкнул Васюкеева в плечо. Васюкеев засмеялся и полез в карман за папиросами.

— Пойдем, покажу тебе мои апартаменты, — предложил Алексей.

— Да не...

— Пошли! На самый верх свожу. Вся Москва видна, как с самолета.

— Эта самая... с тобой, что ли, учится? — попытался перевести разговор Васюкеев.

— Сембелл? Со мной. В одной группе. Из Камеруна она.

— Слышал такой...— Васюкеев мял пальцами папироску, не решаясь ее зажечь.

— Так поднимемся?

— Да не... Как-нибудь в другой раз...

— Чудак-медведь! — усмехнулся Алексей.

— Пошли, проводишь. Мне вечером на поезд.

Солнце по-весеннему яростно сияло меж грудастых белых облаков, небо, подпираемое шпилем университета, казалось особенно высоким. Асфальт на проездах ослепительно блестел внешней бегучей водой. С карниза, откуда-то с огромной высоты сорвалась сосулька, раскатисто, со стеклянным звоном жажнулась о дымящийся просыхающий тротуар.

— Куда потопаем? — Алексей зажмурился от солнца.— Хочешь, покажу Третьяковку?

— Погоди...— Шалый ветер, который не чувствовался там, внизу, в старой Москве, не давал Васюкееву прикурить, и он торопливо жег спички.— Погоди... Поговорить надо...— И, увидев такси, замахал шапкой.

Они поехали в центр.

— Где у вас тут хороший ресторан? — спрашивал Васюкеев, поглядывая на шумную сутолоку столичных улиц.

— А тебе какой надо? С музыкой?

— Ну... Чтоб посидеть... Поговорить, как брат с братом.

— Этого добра хватает.

— Ну давай, Леха, вези... Посидим, потолкуем.

Выбрали «Берлин». Ресторан Васюкееву понравился: бархатные диваны, фонтан в зале, лепные девицы под потолком. Заказали обед, а для начала — бутылку коньяку, икры, осетрины, каких-то салатов, свежих огурцов, которые Васюкеев попросил не резать, а подать целиком. Старый чинный официант вскинул косматую бровь на Васюкеева, на его заветренное до глянцевого блеска лицо, понимающе кивнул седым стриженным ершиком: «Сделаем». И пока официант подавал на стол, Васюкеев покряхтывал, будто у него ломило поясницу. Лицо его было страдальчески озабочено.

— Ну, давай, Леха...— он отодвинул поданные рюмки и разлил коньяк по пивным фужерам.— Давай по лампадику...

Чокнулись. Васюкеев с дрожью старательно выцедил весь фужер, Алексей отпил половину.

— Ты чего? — озабоченно, понизив голос, спросил Васюкеев.

— Я с двух раз...

— А-а... Ну ладно... Ты давай рубай.— Он захрустел огурцом.— А помнишь, как мы с тобой просвирник за амбаром лопали?

— Было,— кивнул Алексей, намазывая икру на булочный ломтик.

— Проснемся, а в хате хрен ночевал, все порушил: ни хлеба, ни... А то еще бздюку рубали.

— Паслён по-научному,— усмехнулся Алексей.

— Не знаю, как там по-научному. Помню, за ушами потом скребло...— Васюкеев разлил остатки коньяка.— Брехня! Теперь выкарабкались! Иван с Илюхой пишат: тоже хорошо живут. Иван «Волгу» купил.

— Слышал.

— Тебе еще долго?

— Два года осталось.

— Сколько платят? Полста дают?

— Хватил! — Алексей усмехнулся.

— Ну ты давай рубай,— Васюкеев с сочувствием посмотрел на брата.— Харчишки, поди, неважные?

— Жив, как видишь.

— Зря ты по этой ботанике пошел.

— Почему?

— Пшик один.

— У нас геоботаника. Разведка ископаемых.

— Ну ладно... Тебе виднее... Вот только с матерью надо что-то делать. Ты бываешь в деревне, как она там?

— Да как. Крышу ей перекрыли. Иван в колхоз писал, чтоб помогли. Садочек развела. Копаются помаленьку.

Васюкеев помолчал, поводил вилкой по скатерти.

— Хочу, понимаешь, ее к себе забрать. Хватит ей там сидеть. Как думаешь?

— Не знаю... Как она...

— А что она? Хату продам натварь. Деньги ей на книжку положу. Пусть свои у нее водятся. Квартира у меня хорошая: ванна, все такое... Печку не топить, воду не таскать. Гастроном прямо подо мною. Вот Катюха скоро родит. Пусть с внуком копаются, стариковское дело...

— Ее Илья к себе зовет... У них двойня родилась.

— Илья обойдется. У него жена не работает.

— Съезди поговори.

— А что говорить? Заберу, и все.

Подали клетки по-немецки с копченостями и по курице. Васюкеев попросил еще бутылку коньяку.

— Ты чего? — поднял брови Алексей.

— А чего? — засмеялся Васюкеев. — Посидим, поговорим...

— Я больше не буду.

— Их ты, интеллигенция! — Васюкеев, рисуясь, долгим засосом, как ситро, вытянул двухсотграммовый фужер и понюхал огурец.

Вторую бутылку он выпил один, покраснел до багровости, на бровях заблестела испарина — захмелел. Он курил одну за другой и стряхивал пепел на нетронутую курицу.

— Ты давай тоже ешь, — посоветовал Алексей. — Да будем выбираться, в Третьяковку поедем.

— Брось, Леха, — поморщился Васюкеев. — Что ты мне со своей Третьяковкой? Я, может, поговорить с тобой хочу... Понял?

— Понял, — усмехнулся Алексей.

— А Иван — трепло. Расхвастался. Подумаешь, машину купил! Да я хоть завтра могу...

— Чего же не купишь?

— Дура ты, Леха. Куда я на ней? Это тебе не Иванов Донбасс... Кочки да болота... Вот поеду мать заберу натварь... Не знаешь ты, Леха, какая у нас мать с тобой... Ни черта ты не знаешь...

— Почему — не знаю?

— Сопляк ты еще, понял? Просвирник.

— Ладно тебе, — Алексей отвернулся и принялся смотреть в зал.

— Да ты не козюлься... А Илюшка зря мылится. Он матери ни рубля не послал. Во — ему мать, понял? — Васюкеев свернул кукиш. — У него паца дома сидит, женью мнет... Пока он соберется из своего Братска, а я уже еду.

— Смотри, а то еще передеретесь... Васюкеевы, — усмехнулся Алексей. — И матери достанется.

— А что? И морду набью. Илюшке? Жмоту этому? Набью! И Ваньке набью... Крышу перекрыл! Осчастливил... Да я за мать душу хоть кому натварь выну. Понял?

Васюкеев поднялся и, косолапо шаркая унтами по красной ковровой дорожке, пошел искать туалет.

Возвращаясь, он остановился возле фонтана. Там, в кругу любопытных какой-то шкет с усиками пытался сачком изло-

вить живых карпов, сновавших в мелкой воде. Под хохот и визг девиц шкет, все больше конфузясь и зверея, шлепал по воде сачком, норовя накрыть рыбу. Но карпы успевали вышмыгнуть.

— А ну дай я.— Васюкеев взялся за сачок. Парень с усиками было закочевряжился, но подвыпившие мужчины поддерживали Васюкеева.

— Дай ему... Пусть сибирячок попробует.

Васюкеев, спрятав за спину сачок, не спеша пошел по кругу, давая карпам успокоиться и собраться в стадо.

— Ты давай лови,— презрительно усмехнулся шкет.

— Тихо! — Васюкеев поднял руку в его сторону.— Тихо, понял? — И в тот же миг сделал выпад, воткнул сачок ребром в дно фонтана. Вода закипела. Васюкеев выхватил сачок, провисший под тяжестью двух рыбин. Откуда-то появившийся оркестр заиграл туш. В толпе и за столиками захлопали. Васюкеев поднял сачок высоко над головой и приложил руку к сердцу. Карпы трепыхались в сетке, обдавая всех водяными брызгами.

— Прикажете зажарить? — спросил подскочивший официант.

— Зажарь, папаша.

— Одного? Двух?

— Давай обоих.

Вскоре за сдвинутыми столиками Васюкеев угощал жареными карпами и коньяком почитателей своего охотничьего таланта. Карпы, окрапленные зеленым крошечком лука, были поданы на метровом подносе в окружении румяно зажаренной картошки. Время от времени Васюкеев передавал бутылку коньяку в оркестр и заказывал играть, что взбредет в голову.

— Домой, понимаешь, еду,— говорил он капельмейстеру.— Мать у меня там... Знаешь, какая у меня мать? У-у...— Васюкеев мотал головой и скрипел зубами.— А ну давай сыграй... «Вечера» давай, «Вечера».

Заказав через швейцара такси, Алексей, наконец, выдворил Васюкеева на улицу и усадил в машину.

— К ГУМу давай,— сказал Васюкеев шоферу.

Поехали к ГУМу.

Васюкеев влетел в универмаг перед самым закрытием. Купив с ходу рюкзак, он в распахнутой шубе, взопревший, метался по этажам и, наваливаясь на прилавок, манил к себе пальцем молоденьких продавщиц.

— Подай, любя, вон ту шалку, с махрами которая...

Он разворачивал шаль, таращился, тяжело двигая веками, и коротко бросал:

— Где касса?

Потом под звонки и предупредительное мигание гумовских люстр купил сапожки на меху, плащ-болонью, хотел еще что-то прихватить, но секции начали закрываться и его попросили сойти вниз. В гастрономическом отделе он успел купить яблок и банок с болгарскими конфитюрами и, сыпав все это в рюкзак, помахал на себя лапами шубы.

— Уф!.. Давай, Леха, поехали!

3

Послав Алексея забрать чемодан и закомпостировать билет, Васюкеев надумал бриться и из-за этого чуть было не опоздал на поезд. Едва только успели захихнуть вещи на площадку первого попавшегося вагона, как поезд тронулся.

— Ну, Леха, ты тут давай... шуруй! — крикнул с подножки Васюкеев, оставляя на перроне конфетный запах одеколона. — Пока!

Замельтешили красные и фиолетовые путевые фонари, потом над Яузой промелькнула древняя церквушка, слабо озаренная отсветом городских огней, и потянулась скучная неразбериха складов, автобаз и серых пригородных домишек. Васюкеев докурил папирску, стрельнул окурком за дверь под колеса и пошел искать свой вагон.

Ему надо было в головные вагоны, но он пошел не в ту сторону и долго открывал и закрывал за собой тамбуры, шел, толкаясь и задевая рюкзаком за боковые дверные ручки купе по пустым коридорам ночного южного поезда, не встречая ни единой живой души. Лишь в самом конце он наткнулся в тамбуре на молодых солдат. Солдаты, без поясов, в растегнутых гимнастерках, дымили папиросками.

— Какой вагон, служивые? — спросил Васюкеев, протискиваясь в задымленный до синевы тамбур.

— Надцатый! А тебе какой?

Васюкеев махнул рукой и полез дальше.

Этот самый «надцатый» был заселен довольно густо. Ехал всякий тульский, орловский, курский и прочий этого направления неказистый люд, экономивший на сидячем билете. В полутьме отсеков на охряных лавках рядом сидели

постнолицы, закутанные платками бабенки и меднокожие небритые мужики. На верхних багажных полках теснились мешки, чумалы, перевязанные веревками и ремнями самодельные рундучки, вздутые чемоданы или же торчали ноги сморенного дорожной сутолокой ездока, решившего растянуться вопреки билету, на дурню. Крепко шибало неистребимым духом сидячих вагонов — сырыми ватниками, взопревшими сапогами, кислым кизячным дымом сигарок, которые смолят тут же, в «рукав», несмотря на сварливые запреты проводниц.

Ради этих одного-двух хвостовых третьеклассных вагонов и мчался в ночи южный, мотаясь на путях длинным и пустым телом с пустыми, безлюдными окнами купе, до которых еще не дошла курортная лихорадка.

Васюкеев не стал возвращаться в свое спальное купе, ехать было ему теперь недолго, не более пяти часов, и он, отыскав свободную лавку, сбросил на нее рюкзак и стащил душную шубу.

Наверху, выставив кверху острые обтянутые коленки, спал голенастый солдат, похожий на зеленого кузнечика. Васюкеев, обвыкаясь, некоторое время наблюдал, как дрожали от качки вагона солдатские коленки, потом перевел взгляд вниз, где в полутьме нижней полки ехала какая-то маленькая старушка, крест-накрест спеленутая под мышками толстой шерстяной шалью. Старушка сидела в терпеливой неподвижности, сложив клубочком маленькие темные руки в подол длинной ватной одежды. На ногах у нее были черные валенки, которые, не доставая до пола, торчали, как у куклы, чуть вперед, обнажая подшитые побелевшей дратвой подошвки, на одной из которых прилепилась блескучая обертка вокзального эскимо. Нависавшая шаль скрывала ее лицо, торчал только сухой морщинистый подбородок, по и по нему Васюкеев догадался, что старушка была ветхая, древняя, чуть живая. Он подумал было, что она спит, но, приглядевшись, приметил, как под шалью, в темной глубине шалашика взмелькивала какая-то живинка: старуха наблюдала за Васюкеевым.

— Жива, ай нет? — спросил он, наклоняясь и заглядывая под шаль. В нем еще бродило хмельное желание задеть кого-нибудь, побалагурить.

— Жива покудова, — отозвалась каким-то далеким голоском старушка.

— Чего не спишь? Добро бережешь?

— Какое у меня добро? Шило да мыло...

— Тогда давай спи. Лавка порожняя.
— Опрокинусь, да и просплю станцею-то.
— А какая твоя станция?
— До Орла мне, сынок. Да там еще до Ливен.
— Землячка, выходит,— оживился Васюкеев.— Я тоже орловский. Давай ложись, а я покараулю.

— Да кто ж тебя знает...
— Боишься, обкраду? — Васюкеев засмеялся.
— Выпимши ты... Самого укачает.
— Это верно, выпил,— кивнул растрепанным чубом Васюкеев.— Домой, понимаешь, еду. Мать у меня там... Вроде тебя... Помоложе, конечно, а тоже уже старенькая. Одна живет... Вот хочу забрать ее к себе.

— Далече забирать-то?
— На Севере я... Живу — во! От души, понимаешь? Ну, а она в деревне... Чугунки-горшки всякие... Зачем, когда у меня полный ажур...

— Детки есть?
— У меня? Об чем разговор! Во какой Гагарин растет!
— Один маленький?
— К маю еще космонавт будет. За нами не заржавеет... Можно и третьего настругать. Не в это все упирается... Вот поеду, хату продам, мать заберу, тогда полный ажур будет. Мы с Катюхой — вкалывать на молочишко, а бабка с внуками, как водится... А то бабка без пользы теперь... Садочек завела — кому это нужно? Верно ай нет?

Васюкеев, довольный своей рассудительностью, посмотрел в темноту, под полку, ожидая, что она скажет, но старушка не отозвалась, а только послышался ее глубокий вздох. Приняв ее вздох на свой счет, Васюкеев расчувствовался, полез в рюкзак и выбрал большое румяное яблоко.

— На, погрызи маленько,— протянул он.
— Нечем мне кусать, сынок... На показ нетути...
— Сколько годов-то?
— Да зажилась,— спокойно ответила старушка.— По пачпорту девяносто первого году я. А так господь знает кодышняя...

— А у тебя и паспорт есть?
— Да мне он без надобности, да в городе без него жить не дают.

— В городе, стало быть, прописана?
— В Кизеле. Может, слышал: на Урале Кизел-то... Сын у меня там, Петя... На заводе мастером.
— С Урала едешь?

— Да нет... Зачем с Урала... С Череповца еду, за Москвой который...

— А говоришь, в Кизеле прописана?

— Прописка-то в Кизеле... А жила у Степана, в Череповцу... Дак я и в Череповцу допреж была прописанная. Это до того, как в Кизеле. А опосля Череповца еще и в Туймазах жила, у дочки, у Надеи... Глянуть, дак у меня весь пачпорт в печатках... А самая последняя печатка в Кизеле поставленная... А еду-то я, чтоб тебе понять, не из Кизела, а с Череповцу, от Степана, стало быть...

— И сама небось запуталась,— зареготал Васюкеев.

— Да чего путать... Я тые дороги зажмучись сыщу... По несколько разов проезжала. Детки у меня там... Петр, который мастером-то... Тот в Кизеле... А в Череповцу Степа, меньшенький. Инженером он по литейному... А в Туймазах дочка Надея... Та по нефти... Лаборантка... Теперь ее там петути, в Туймазах-то... Выехала... Далеко она теперь... А то еще Николай, сын. У того, правда, не жила... Тот тоже далеке, за границею аж... В Египту... Это которые живые, а которые побиты, так то Митрий и Алексей, самые первые от рождения-то...

— Катаешься, значит.

— Да ужо укаталась... — вздохнула старушка.

— А у меня тоже браты к себе мамашу зовут. Да только я к себе ее заберу.— Васюкеев подтянул чемодан, достал семужий балык и бутылку пятидесятидвухградусной «Северной водки». — Давай, мать, позанимаемся, раз мы земляки с тобой. Я тоже свою покатаю, покажу свет белый... А то сидит там...

Он ополоснул водкой кем-то забытый на столике стакан, налил с палец и протянул старушке.

— Маленько, а?

Старушка, не расцепляя рук, даже не пошевелившись, сказала из-под шали:

— Что ж так-то пьешь, мать не повидамши? Спрятал бы ты баловство это...

— Нельзя! Домой еду, душа горит — просит. Волнуюсь, стало быть.

— Встретит пьяного-то — не обрадуется.

— Обрадуется! Пять лет не виделись.— Васюкеев трудно, содрогаясь, выпил и, щелкнув складником, принялся кромсать балык на газетке.— А тебя, стало быть, тоже сыны нарахват?

— Дак что ж поделаешь... Всем надо было... У всех дет-

ки... Теперь ить семьями не живут, чтоб все вместе. Теперь вроде утиные выводки пошли: едва наклонился, втемяже и бежать от матери: то в ФЗО, то на курсы, то по вербовке... Бывало, полна хата народу, положить некуда, а то одна осталась... Петя на Урал махнул, Степан себе укатил, Николай себе... Надея на ноги поднялась — тоже полетела... Это поначалу-то, сразу опосля войны,— сказала старушка, помедлив.— А потом Петя объявился... В Кизеле который... Пристал: поедем да поедем. Вроде тебя... Ничего с собой, говорит, не бери, все есть, только поедем... Что ж, думаю, одна сидеть буду? Хатку скоренько продали, коровку продали, поросеночка было завела, закололи, опалили в дорогу... Перины, подушки, всякий чебур-хабур по свояченицам да по соседям пораздавала... Все порушила, весь свой корень извела начисто, поехали. В Кизел-то... Ну Петя сразу пачпорт на меня хлопотал, прописали. Квартира, правда, хорошая, заводская... Двое деток у Пети, жинка тоже работает. Обстирываю, обшиваю, живу. Хлоп — Степа письмо прислал. Совет-молит, чтобы приезжала, стало быть... Петя ему телеграммою: не поедет, дескать, заболела, все такое... Опять Степан шлет письмо: получает новую квартиру, да мало дают площади. А ежели я приехала бы, то на меня лишнюю комнату и дали бы... Что ж, думаю, такой подходящий случай будет из-за меня упускать. Говорю Пете: поеду. Он ни в какую, не пущаст меня, и все тут: дети малые, жене придется работу бросать... И Петю жалко и Степу жалко — квартиру, боюсь, упустит. Кое-как уговорила Петю, пообещала вернуться вскорости, да и поехала в Череповец... Ну хлопотали ему квартиру, хорошую, на три комнаты. А он возьми да и пропиши меня, чтоб, стало быть, к Пете-то не верталась. Живи, говорит, у меня, и все тут... Вот, говорит, тебе отдельная комнатка, хозяйствуй. Ну, живу, деток обхаживаю, года три так-то прожила... Вот тебе Надея пишет: поздравь, мама, замуж вышла. В Туймазах-то этих... Совет письмом к себе. Раз зовет, другой раз зовет, а то и обижаться стала. Мол, почему у братьев живу, а единственную дочку позабыла... Да как забыть — помнила я. А только Степа не отпускает, самое детки в такой поре, глаз нужен, дескать, чего тебе не хватает — поедешь к Надее... А Надея возьми да и сама прикати, в Череповец-то... Поссорились они со Степкой из-за меня, война поднялась, никуда я, говорит, без матери не поеду. Надоло, говорит, мне аборт делать... Пришлось мне поехать, раз такое неотложное дело. Да и застряла у нее было, пока Надея с мужем не разошлась. Запил так-то, загулял,

драться начал... Ну Надея возьми да и махни от него на Дальний Восток-то. А меня опять Петя к себе забрал... А опосля к Степану переехала. Да так вот и ездила туда-сюда.

Васюкеев, опершись о столик рукой, начал было задремывать от качки, но все же уловил, когда старушка замолчала. Спросил вяло:

— А теперь куда едешь?

— А теперь на свою прежнюю родину еду... Руки отказываться стали... Ни постирать, ни по кухне чего сделать... Степина-то жинка говорит: «Чтой-то ты, мамаша, заскучала? Съездила бы ты к Петру, может, говорит, тебе там получше будет». А откуда мне теперь лучшему-то быть, совсем укаталась, за столом, за чашкою-то среди бела дня стала задремывать... Поехала я прошлым годом в Кизел, к Пете... Побыла там маленько. Ну, а что быть без толку? Я и чулочка детского теперь натянуть не могу, силушки моей не осталось. Да и какие чулочки? Детки все повзросли, повыучились, женихаться по лестницам, как кутята, стали. Старшенький, Витька, дак тот и жинку уже с положением в дом привел... Время подошло, куда от него денешься-то... Петя мне и говорит: мы, мама, коечку тебе в кухне поставим. А в комнате твоей пусть молодые поживут. Пока своей площадью обзаведутся. А там мы тебя опять на прежнее место водворим... А то, ежели хочешь, у Степана покамест побудь... Пожила я на кухоньке, вижу, одна помеха людям. Они допоздна сидят, телевизор смотрят, чай пьют, а я тут с раскладушкой на кухне расшапериваюсь, к плите не подойти... Собралась я и опять к Степану. А Степа меня и прописывать даже не стал, дескать, раз в Кизеле прописана, дак зачем же еще у него в Череповце прописывать-то. Правда, сам Степа ничего насчет этого не говорил, молчал, а она, невестка, ему об этом говорила... А и правда, жить у них тесновато стало. Гарнитур новый купили, каждому чтоб по отдельной кровати—ей и Степе... Ну, поколготилась я у них зиму, а недавно она, невестка-то, меня и спрашивает: «Как там Надея живет, что пишет? Не съездила бы, говорит, к ней? Денег, говорит, на дорогу дадим...» А куда я к Надее-то? Близок свет — на островах где-то живет, на консервных... А делать нечего, собралась я к Надее... Думаю, как-нибудь доберусь. В последний раз съезжу, да там у нее и останусь, на островах на тех-то... Дали мне денег на дорогу, телеграмму отбили... Ну, раскланялись мы по-хорошему, Степа всплакнул даже, дескать, может, в последний раз видимся... Поехала я. До Москвы

доехала, чтоб, стало быть, самолетом-то лететь, да так заскучала я, так замутилась душа, смерть, что ли, почувялась? Да домой сюда поворотила, на прежнее свое жительство...

Старушка говорила спокойно, рассудительно, все так же сидя неподвижно, говорила одним только сморщенным подбородком, выступавшим из-под шали. Васюкеев, запустив пятерню в кудри, давно уже дремал за столиком под монотонное жужжание ее голоса. Ему даже приснилось, будто он залез на свою хату и отдирает новую, недавно покрытую солому. Ветер подхватывает пуки и далеко рассеивает по огороду. Он рвет кровлю, а мать хватает его за руки и смеется. Не хватай меня за руки, тоже смеется Васюкеев, ты лучше трубу ломай...

— Куда ж мне теперь...— говорила свое старушка, не замечая, что Васюкеев спит.— Пока у людей побуду до часу своего... Кладбище у нас хорошее. Сирень кругом... Вот зацветет скоро...

Наверху заворочался солдат, приподнялся на локте, сонно посмотрел вниз. Васюкеев встрепенулся, крикнул, прогоня дремоту, налил стакан водки и протянул солдату.

— На-ка, служивый, ополоснись.

Солдат, долго не раздумывая, заспанно выпил и полез в тесное галифе за куревом.

— Где едем? — хрипло спросил он.

— Да где... — Васюкеев отдернул занавеску и хмельно вылез в окно. Над пустынными пашнями взошла обкусанная с одного бока луна и летела за поездом, ударяясь о встречные деревья и путевые будки. В призрачной синеве мартовских снегов, подернутых глянцевым настом, маячили, будто наколотые иглой, точки далеких деревенских огней.

— Все по России едем... Где ж еще...— сказал Васюкеев.

4

В Орел поезд пришел около двух часов ночи.

Васюкеев, выгрузившись, побежал в буфет подкупить еще каких-нибудь гостинцев. Потом, озаботясь, испытывая сладко-щемящее чувство от близости родной земли, направился к выходу.

Заглянув в помещение пригородных касс, он увидел свою недавнюю попутчицу. Она пристроилась в пустом зале на жестком эмпеэсовском диване, напротив заставленного фанеркой кассового окошечка. Сидела, как и в поезде, сложив в подол руки и выставив вперед подшитые валенки. Блестящая фольга от эскимо все еще держалась на подошве. Видно, она приготовилась сидеть так до утра, ожидая поезд на Ливны.

Зал начали убирать, полы наполовину мокро блестели.

Васюкеев постоял в дверях, поглядел, как бабы, мелькая из-под халатов рейтузами, мыли тряпками пол, и, махнув рукой, пошел к городскому выходу искать такси на Кромы.

ВО СУББОТУ, ДЕНЬ НЕНАСТНЫЙ...

1

Однообразно-серое небо недвижно висело над аэродромом. С осенней лентой крапал нудный, обложной дождик. Сеялся он с ночи, и взлетное поле, ровное и пустое, с одинокой, наспех сколоченной диспетчерской будкой посередине, побурело и потерялось краями за сизой моросью. Лишь с одной стороны к нему подступали призрачные очертания старых деревьев, казавшихся особенно высокими в тумане, за которыми еще более смутно угадывались окраинные постройки районного центра.

Райцентром здесь именовалось большое село, разделенное пополам худосочной речушкой Варакушей. Речка привередливо петляла и рылась в хлябкой низине, заросшей камышами, лозой и красностволым дурманным дудником. По весне она затопляла все это от склона до склона, так что избы, отбежав на сухие взлобки и растянувшись по ним двумя бесконечными улицами, гляделись друг на друга через камышовую чащобу с почтительного расстояния. Ближе к центру села Варакуша была подпужена глиняной дамбой, разлилась широкой стоячей водой, и на этой воде весь день гомонили, полоскались и смертно дрались стая на стаю зажиревшие осенние гуси. По утрам они слетались сюда прямо из калиток окрестных дворов, а днем — с суходольной озими, что зеленела по буграм за домами. Перед тем как опуститься на воду, они старались как можно дольше протянуть, продержаться в небе. Тяжело и трудно махая крыльями, заполошно кегекая, удивляясь самим себе, что так высоко летят, они проносились над дворами, над торговой площадью возле заколоченной церкви, по сторонам которой толпились скобяные и книжные магазинчики, парикмахерская и новая кирпичная чайная, потом, спускаясь все ниже, летели над школьным двором и садом, откуда в них швыряли яблоками и кепками, и под конец, потеряв строй и высоту, беспорядочно ломались к воде сквозь береговой ракетник. Гусиный ликующий гам проникал даже в кабинет предрика, куда я заходил по делам своей командировки.

— Вот черт,— говорил он, прикрывая форточку,— когда насыпали плотину, думали устроить озеро Рицу, с беседками и крашеными лодками. Беседки и лодки поразломали в один год, но зато гусей поразвели превеликое множество. Жизнь, так сказать, дала поправку.

Даже отсюда, с аэродрома, было слышно, как гоготали стаи где-то за дождем, за туманной хлябью.

Часов в восемь утра, когда я добрался до диспетчерской будки, возле нее уже собралось человек пять пассажиров. На чемодане, укрывшись офицерской накидкой, так что были видны одни только начищенные сапоги и белые резиновые ботинки, сидели, шушукались военный с женой, а может, и не с женой... У дощатой стенки прятались от дождя две девочки — обе в высоких прическах, прикрытых прозрачными полиэтиленовыми накидками, о которые с сухим треском разбивались крупные капли, копившиеся на карнизе. Красными нахолодавшими руками девчата бросали в округленные бубликом рты подсолнечные семечки и с вороватым любопытством прислушивались к шушуканью под палаткой. Топтался еще какой-то пожилой и сумрачный гражданин с портфелем, в очках, зеленой обвислой шляпе и тяжелом драповом пальто — должно быть, наезжий ревизор.

Потом подошли еще двое — грузная, закутанная бахромчатой шалью бабка и женщина помоложе, тоже полная, но крепкая и рослая, в васильковом шелковом плаще. Та, что помоложе, несла на изгибе руки большую, обшитую мешком одноручную корзину. Она поставила ношу у кассового окошечка, загороженного фанеркой, усадила на корзину запыхавшуюся бабку и, сама переводя дыхание, с приветливым добродушным взглядом оглядела публику.

— Будет — не будет самолет? — спросила она вслух у самой себя, ребром ладони запихивая под платок шестимесячные кудряшки.

Ей никто не ответил. По расписанию самолет должен был прилететь в половине девятого, а уже набежало без четверти, и каждый задавал себе такой же вопрос: «Будет — не будет». Гражданин в очках вместо ответа только взглянул на небо. Он нетерпеливо топтался взад-вперед, придерживая обеими руками свой желтый портфель впереди себя у коленок, и, прохаживаясь так, успел натоптать на раскисшей земле хлюпкую пятиметровую дорожку.

Неожиданно под бабкой резко, звонко, пронзительно гаркнул гусь. Все оглянулись. Даже военный высунулся из-под накидки. Он оказался молоденьким лейтенантиком и был, су-

дя по раскрасневшемуся лицу, немного под хмельком, а может быть, разогрелся так от интимной беседы со своей спутницей. Гусь забился в корзине и закричал еще громче. Девчонки переглянулись и прыснули.

— Ну чего ты, чего ты,—засмущалась женщина в васьильковом плаще и с виноватой улыбкой посмотрела на корзину.

Гусь все вскрикивал просительно и тревожно, тыкал носом в натянутую мешковину, но бабка продолжала недвижно сидеть, широко расставив толстые отечные ноги в глубоких калошах.

— Черт знает что такое,—проворчал гражданин в очках, морщась и косясь на старуху.

— А что я сделаю? — еще больше засмущалась женщина, стоявшая рядом.— Накормленный, напоенный...

— На то есть автобус,—сказал гражданин в очках. Он подбежал к окошечку и забарабанил по фанерке согнутым пальцем.— Совсем избаловались...

— Говорила, мама, давай зарежем. Одни только неприятности,—сказала женщина.— Еще и за корзину возьмут, за место посчитают. И люди вот обижаются...

— Сердит, пока за стол не сел,— строго сказала бабка.

Гражданин промолчал и еще раз побарабанил в оконце.

— Ну чего здучите? — взъярился наконец молчавший до того диспетчер, появляясь в дверях будки. Щуплый, обиженный, был он одет в выцветший на плечах синий ватник и резиновые сапоги с байковыми отворотами и выглядел по-домашнему. И не брит был тоже по-домашнему. Только геветфовская фуражка, фасонисто сдвинутая набок, обозначала его высокое предназначение.

— Здучат и здучат...— с напускной суровостью проворчал он, но, видимо, довольный тем, что может вот так строго говорить с каждым.

— Так ведь уже больше часу ждем,—с простодушной виноватостью отозвалась женщина.

— И я жду,—диспетчер циркнул желтой табачной слюной.— Запоздывает...

Морщась от дождинок, он пошарил глазами по мутному небу, перевел взгляд на шест с обвисшим полосатым конусом, потом достал из кармана большой амбарный замок, повесил его на дверь и, побалтывая ключом на веревке, поглядывая на свои сапоги, на то, как они разъезжаются на осклизлой земле, неспешно пошлепал к райцентру.

— Куда же вы? — возмутился гражданин.— Как в Конго, ей-богу...

— Все улетите... Сказано,— не оборачиваясь, отозвался диспетчер и вдруг, замахав руками, погнался за мокрой, взъерошенной коровой, которая забрела к самой будке.

— Куды пресси?! Геть — пошла, пропасти на вас нетути!

Корова, оставляя глубокие жирные рытвины на раскисшей земле, отбежала прочь и лопухо вызрелась на диспетчера.

— Целый день, знай, гоняю...

Диспетчер ушел неизвестно куда и на сколько, растворившись в мороси.

Вскоре, взявшись за руки и над чем-то хохоча, убежали девочки.

Дождь не дождь, но я успел промокнуть в своем легоньком пальто и тоже пошел поискать прибежища, решив, что если появится самолет, то непременно услышу его гул в небе. Да пока он сядет, разгрузится, пока пилоты перекурят — времени будет предостаточно вернуться на аэродром.

2

Я пошел не по натопанной дороге, которая выводила на улицу окольно, а напрямик, по аэродромной траве, к маячившим впереди деревьям. Несмотря на ненастье, было у меня легкое настроение, должно быть, оттого, что завершил свое дело. Я особенно не сетовал на опаздывающий самолет и даже на этот въедливый дождишко, который мне и вовсе пришлось бы к настроению, если бы со мною были плащ и сапоги: люблю побродить по полю или же по опустевшим лесам, чутким и гулким, как заброшенные храмы. А то встретиться поблизости копенка сена, я с удовольствием привалился бы сейчас к ее обдерганному коровами сухому подножию и лежал бы так, наблюдая за вороной, одиноко тянущей по серому осеннему небу. Или, жуя травинку, добываясь от нее какого-то вкуса, думал бы о минувшем лете, о живой шумливой траве, которая теперь вот уложена всем скопом в сеной ворох. Зимней лунной ночью к стожку начнут подбираться сторожки русаки, и радостно глядеть, закопавшись в копне с ружьишком, как они то и дело встают столбиком, роняя на искристый снег долгие синие тени...

Шагая по мокрой траве к селу, я вспомнил, что уже давно не писал о таких вот милых пустяках. И вообще хотелось написать что-нибудь простое, бесхитрое, ни на малость не

вмешиваясь в течение жизни, хотя бы вот о таком сером осеннем деньке, о бабкином гусе, зашитом в корзине, должно быть еще молодым, не долетавшем своего срока до веселых морозцев, когда воздух резок, как спирт, и вода холодна, и особенно красны на первом снежку гусиные лапы, о том, как иду сейчас полем и как встречу кого-то в деревне и заговорю с ним или с ней, еще не зная, о чем,— написать так, как было, как будет, как виделось, без привиранья и лукавства. И почему-то вспомнилось мне яшинское:

Медведя мы не убили,
Но я написал рассказ
О том, как медведя убили,
Какие мы храбрые были,
Когда он пошел на нас.

Зная, что меня теперь никто не услышит, я попробовал напеть стихи на мотив «Я люблю тебя, жизнь»:

В журна-ле меня-я хва-ли-ли-и-и
За правду,
За мас-тер-ство-о-о...
Медведя мы не уби-ли-и-и,
Не видели даже его-о-о.

Дальше мотив как-то не пришелся, и я, перелезая под высокими деревьями через плетень, захрустевший подо мной всеми своими иссушенными и выветренными костями, а теперь мокрыми и ослизлыми, дочитал стихи без напева:

И что еще характерно:
Попробуй теперь скажи,
Что факты не достоверны, —
Тебя ж обвинят во лжи.

Так, бормоча про шкуру неубитого медведя, я очутился в чужом огороде. Дождь копошился в опавших тополиных листьях, далеко усеявших гряды, и был он здесь слышнее, чем в поле. Огород уже перекопан и истоптан, но на одной грядке еще матово голубели крепкие студеные кочны и свежо и остро пахло поздней капустой, а еще горьковатым палым листом и посыревшей усталой землей, отработавшей свое. На старом подсолнухе, забытом у межи, предзимне тинькала синица. Прицепившись к его поникшей растрепанной голове, она теребила пустую жухлую решетку. И тоже было хорошо видеть этот живой и неунывающий желто-зеленый комочек бытия.

И был приятен своим домовитым уютом стук топора за сараем.

Я пошел на этот стук, отыскал в плетне огородную калитку, снял с кола лыковую петлю, удерживавшую дверцу запертой, и, остерегаясь собаки, но в то же время желая все-таки, чтобы она выскочила и облаяла — не мрачный цепной Полкан, а суматошная и незлобивая собачушка, что через минуту уже приятельски тычется в колени, нетерпеливо перебирает передними лапами и метет землю хвостом, — протиснулся за лозовую скрипучую калитку.

Собака не выскочила, не облаяла, а в пустом дворе тпала топором женщина. Голова ее была небрежно обмотана хлопчатым мелкоклетчатым платком, забранным внутрь воротника все того же стеганого ватника, так удачно кем-то придуманного, что и поныне его предпочитают в нашей несуровой местности всем прочим одежкам, — и в лес по дрова, и в город за хлебом, и так просто дома расхож да ловок, а если нов еще, то и в праздники. Носят его от млада до старого, иные так и всю жизнь, только роста меняют, как раки меняют скорлупу. У меня и у самого такой: добрая штукенция, а если сверху полушубок набросить или, на худой конец, пододеть козловую безрукавку, то и вовсе стой себе у проруби, таскай окуней.

Женщина выдергивала из мокрой кучи хвороста плоско слежавшиеся лозины и, прилаживая на плахе подобно тому, как придерживают куренка перед тем, как отрубить ему голову, сноровисто отсекала полуметровые полешки, а потом, когда хворостина истончалась, секла и ветвистые концы. Нарубленное она складывала в ровный ворошок, белевший в мою сторону свежими косыми торцами, после чего выдергивала новую хворостину. Я стоял у сарая, смотрел, как она рубит, и она долго меня не замечала. Заметив же, наконец, женщина выпрямилась, свободной рукой сдвинула съехавший платок на затылок. Мокрый блестящий топор в другой ее руке повис вдоль кирзового сапога.

Было ей лет за сорок, а то и под пятьдесят, суха и мелка темным дубленным лицом, некрасиво-востроноса, и серые, полураскрытые и растянутые в частом дыхании губы светлей, чем само лицо, разгоряченное работой. Неосознанно, без всякой для себя надобности, я пожалел, что она не молода. Нам ведь, мужикам, всегда хочется, чтобы нас окружали молодые и красивые. Едешь в поезде, и всей-то езды на три-четыре часа, казалось бы, что тебе до проводника. Ан нет, почему-то чувствуешь себя бодрее, когда знаешь, что в твоём вагоне

молоденькая проводница. Даже лишний раз покуришь в коридоре. Или в магазине: из молодых рук возьмешь и жирную ветчину, не станешь препираться... Да что поезд или там магазин! Лежишь в больнице, температура под сорок, глаза осоловелые, а все же приятнее, когда подсядет врачиха помоложе. Даже если и министр, вот как занятой человек, тысячи бумаг, сотни прошений, важен и суров с виду, а зайдя к нему просительница, если, конечно, не явная рухлядь,— суров-то суров, а все равно улучит момент и оценит. А ежели хороша собой, то невольно, хочет не хочет, а помягчает, хотя и сам понимает, что не положено: все-таки при исполнении высоких обязанностей... Что поделаешь, видно, не нами это устроено...

Моя суженная была не молода, и я лишь на мгновение пожалел об этом, даже не я, а что-то во мне, помимо меня. И уже через секунду, смирившись и позабыв об этом подспудном толчке, я с фальшивой бодростью, с какой-то юридичкой зябко потирал руки, изображая сирого и бесприютного.

— Пустила бы, хозяйюшка, к печке. Ждали, ждали самолет, а его все нет, проклятого.

Должно быть, вид у меня был не совсем разбойный, но и не начальственный — пальто да кепка и никакого пугающего портфеля (в деревне казенный портфель — всегда какая-нибудь смута), а потому она сразу же откликнулась:

— Да какой самолет — вон как обложило.

Она врубила топор в колоду и, нагнувшись, принялась собирать растопку.

— И диспетчер куда-то ушел,— сказал я, продолжая потирать ладони.

— Пойдемте уж... Только печка еще не топленная.

Она подхватила беремок и направилась к сеним, гулька разлатыми голяшками сапог. Просыпав по дороге несколько полешков, она быстро обернулась, но, заметив, что я подбираю, пошла, заговорив уже совсем доверительно, по-свойски:

— А вчерась вроде был самолет. Утром бегла в магазин, дак слыхала — рипел. А и автобус небось нынче не пойдет, глейдер расквасило.

Вслед за ней я прошел в темные сени, различая тугие тела насыпанных мешков в углу, коромысло и волосяное сито на стенке. Забилась, заметалась на мешках и с дурным криком, загромыхав опрокинутым ведром, прошмыгнула меж ног на свет, за порог, курица.

— Проходитья, проходитья,— ободряла меня хозяйка уже из

кухни, видя, как я втягиваю голову перед низкой дверной притолокой.— Да уж чего там ноги вытирать, все одно пола нету.

Со свежего воздуха резко потянуло духом чужого жилья: каким-то варевом, застарелым дымом. Маленькое, на уровне пояса, оконце, заплаканное дождем, роняло непривычно низкий свет прямо в разверстое устье холодной печки. На подоконнике, среди мутных пустых бутылок равнодушно и безжизненно торчал из консервной банки отводок цветка алоэ. Колочий и неказистый, он почти совсем перевелся в городах, особенно в пору пенициллинов, и его держат теперь лишь сердобольные старушки, все еще памятуя как о сподручном лекарстве.

Женщина сбросила дрова к подножию печи, на землю, истыканную острыми поросячьими копытцами, и, не раздеваясь, приговаривая: «Сичас, сичас... А я вчерась не управилась нарубить, дак и припозднилась с печкою»,— полезла открывать вьюшку, ступив на полку — дощатый настил между печью и горничной перегородкой. Учув хозяйку, настороженно гукнул под полком поросяенок. Он приладил свой пяточок к дверной щелке и, шевеля им и втягивая воздух, докучливо заверещал, заканючил.

— Узё-ё! — она притопнула сапогом по доскам настила.— Поори мене, скаженный, Витькю разбудишь... Сейчас наварю.

Я снял кепку и присел на краешек скамьи перед столом, рядом с ведрами, в темной глубине которых на взблестках воды покачивались черные перекрестия оконной рамы. Сидя так, я оглядывал убежище, приютившее меня. Из-под стола высовывалось лукошко, набитое кусками свежего розоватого сала, густо пересыпанного крупной замокревшей солью. Несколько кусков почему-то валялось на земле, у подножия лукошка, и на один из них я чуть было не наступил ботинком. Я принялся подбирать, но хозяйка, заметив мое смущение, замахала с полка:

— Небось, небось... Это поросяенок пораскидал. Все балуется, демоненок. Ему и лиха мало, что, можа, это мать его посоленная лежит,— усмехнулась она.— Отлучусь, а ему тут своя воля. В лукошко лезет, чугульки с лавки скапывает... Один грех с ним.— Она опять усмехнулась, глядя на меня сверху, с полка.— Намедни рушник с гвоздя сдернул, бегаёт, запутался, телепает — весь об пол измызгал. Как кутенок. Хоть не выпускай. А в закуте держать жалко, сосуночек еще...

Она принялась собирать на печи сухую разжежку и, ше-

борша щепками, говорила откуда-то из глубины запечья, вся перегнувшись туда с полка, вытягиваясь и привставая на носки, отчего из сапог высывались голые, напряженно-угловатые икры в уродливых жгутах синих вен.

— Да и сарай такой... Вот Витька, может, подладняет... Да теперь что ж ладнять: дожди пошли. А и то, слава те господи, со свеклой управилися.

— Это хорошо,— отозвался я, имея в виду убранную свеклу.

— Да уж отмаялися. А то нешто благо по грязи-то убирать, кабы б дожди. Оно хочь и машины теперь, а все одно работы много... Машина-то она слепая, за ней тоже догляд нужён. А еще ж погрузить... Полтораستا центнеров на гектаре, а в колхозя их пятьсот... Бабе оно завсегда на чем живот порвать сыщется...

Она спрыгнула с полка с пучком лучин и, положив разжежку на шесток, принялась выгребать золу. Кочерга утробно гыркнула по кирпичам пода.

— А теперь и надо бы помочить,— говорила она за ловкой своей работой.— Хлебушко по сухому сеялся. Ему и так, бедному, ничево... Все под бурак да под конопли сыпють, а ему опять ни граммушки. Байки одни. Сердце изболелося, на него гляючи. Взопел квелый да не охотный... Какой же он будет, коли уже теперь такой... А ему ж еще под зиму итить.

О хлебе она говорила «он», «ему» — как о живом существе.

— Это плохо, если так,— поддакивал я, разглядывая большой брусковатый фуганок, висевший на горничной переборке. Был он из какого-то темного, с красниной, дерева, и на его смуглых, лоснящихся боках проступали витиеватые, узорчатые слои.

— Мужев струмент,— перехватила мой взгляд хозяйка, подпаливая выложенный на поду дровяной колодчик.

— Хороший фуганок,— похвалил я.

— А и хороша-ай! — кивнула она, обрадованная похвалой.— Мастера смотрели, тоже так говорили. Сказываюг, хёаги дюже хорошие. А мой дак когда и брился лезгою. Уж так, бывало, правит, так правит... До того, чтоб газетку состругивало... Ежели буковки снимает, а газетка цельная остается, не прорезывается насквозь, тади бросает точить... А после того побриться любил. Свежей-то лезгою. А мне дак и страшно делается, как он по лицу вострой железкою. У нево весь струмент такой был ухоженный. Дюжи любил, штоб все в аккуратности былó...

Печь разгоралась, сипели и потрескивали лозовые дрова, пузырились обрубленные концы, роняли капли на жаркие угли, которые, допламенев, сами собой распадались на одинаковые округлые кусочки, осыпая наставленные чугуны. Дым, обволакивая поверху устье, розовым холстом бежал навстречу и уже серым загибался в трубу. Хозяйка, по-прежнему в телогрейке, лишь платок отбросив с маленькой головы на заплечья, проворно шастала по кухне — то поскребет какую-то посудину, то ухватом поправит чугунок, отодвинет подальше, если начинал закипать. Стены, потолок, ведра на лавке, бутылки на подоконнике — все заиграло веселыми красноватыми отсветами, и совсем славно запахло ракистыми дровами. Я сидел поодаль, а и то чувствовал на лице и на руках приятное тепло, пальто мое начало парить и пахивать пареной и кислой материей.

— Это ж он сам делал,— кивнула она на посудный шкафик справа от окна.

Я сначала не обратил на него внимания, но теперь из вежливости принялся разглядывать. Стоял он в темном углу между окном и сенишной дверью и сам был темен от времени. В его потускневшем лаке где-то глубоко и глухо тоже плясало багровое пламя печи. Но я все же разглядел резьбу на дверцах — трехпалые, похожие на клевер, листья и какие-то птицы с чешуйчатым оперением. И пока рассматривал, женщина, опершись на ухват, с робкой настороженностью ожидала, что скажу.

— Тонкая работа. Это что же за птицы?

— А не знаю... Это он все выдумывал.

Женщина в раздумье поковыряла в печи ухватом.

— Он-то не здешний был, с Архангельску. А сюды на подряды приезжал, с товарищами. Кому конюшню, кому что... По колхозам. Два лета так. Ну, мы с ним и сошлись. Это ж он, как поженился, скапчик-то сделал. Бывало, прибежит с работы, повесит на дереве фонарь — дерево во дворе стояло, засохло — и все пилит, стружит. Скапчик-то этот. И ночь уже, мошкара около фонаря мельтешит, а он все стружит. А я ему: Коля, да что ж ты так-то: там работаешь, дома работаешь, не к спеху бы. Жить будем, так все и поде-лаешь потихоньку. Не слушается, все работает. А я и сама стою около, да и засмотрюсь на ево. То одним рубанком досочку пробежит, то другим, яичко положи — не шелохнет-ся: так гладко да ладно. А ему все мало. А уж когда сошьет вместе шипами да клеем, то и опять стружит. А опосля всего возьмет этот-то вот большой да еще и им отгладит. Фуга-

нок аж птицей посвистывает, а стружка ну вот тонка, вот тонкусенька, чуть не светится. Я, бывало, наберу ее, обдам кипятком, запарю, да потом цветы делаю. В луковый отвар, да химический карандаш разведу — покрашу, ну как живые...

То ли от печки, а может быть, и от разговора она вся разрумянилась, запылала худым темным лицом, и сквозь заветренность и не в пору ранние морщины пробилось что-то далекое, девичье, какое-то стыдливо-радостное смущение.

— А птиц-то он уж опосля наметил, да и вырезал. Стамесками да долотцами разными. Уж джоже забывался он за работою. Долбит, а в волосах стружки вот как понапутляются. Волос у него весь вился, тоже как наструганный. И так у него ладно все получалось. И травки и листочки всякие. А я гляжу теперь и все вспоминается, как мы с ним первый покос косили. Когда поженились. И птицы вот так тоже были. Сидит она на щавелиночке и ну свищет, ну свищет. Коси около нее — не боится...

Она постояла, с тихой задумчивостью глядя на огонь, и я пытался представить, какой была она в молодости.

— Все звал к себе туда. Сказывал, дома у них высокие, окна не достать, леса — конца краю нет. Покосы вольные. Хотелось мне поехать посмотреть. Да так и не собралась: то Нюркою, старшей дочерью, затяжелела, а тут и война вот она... Загадывал хату перебрать, полы постелить. Джоже непривычно ему было без полов. В кухню выходил, дак обувался, как во двор... Да так все и осталось, как есть. Один скапчик-то этот только и успел сделать...

— Погиб, что ли?

— Да сразу-то не убило... На побывку опосля ранения приезжал... А уж потом его, под самый конец... Вот все берегу, — кивнула она на фуганок. — От самой войны. Просили продать — не продала. Стамески да коловоротья, мелочь всякую — так Витькя порастаскал, позабельшил, не углядела. Бывало, ругаюсь: Витя, сынок, да что ж ты делаешь, инструмент растаскиваешь. Вырастешь — как раз и сгодится. Работать пойдешь, как батька. Где тади возьмешь такой инструмент. Отец его по штучке собирал да копил... А уж и вырос Витькя, а не заинтересовался етим. Оно если бы при отце, дак видел бы, как тот работает. Может, и поимел интерес. А так что ж, лежит мертвый инструмент, сам он ничего не покажет, не расскажет... Не привилось ему отцово. Так вот и висит на стенке... И не нужен, а продать чегой-то не могу, чегой-то жалко...

Она отлучилась в сени, вернулась с полумиском картош-

ки и, продолжая рассказывать о муже, о Витьке, о старшей дочери, что теперь замужем на Урале, пристроилась было чистить картошку прямо на шестке. Я приподнялся, уступая ей место у стола.

— Сидитя, сидитя,— запротивилась она.— А то лучше в горницу ступайте. Молочка бы, дак своего нету... Да вы разденьтесь, я пальто просушу. Будет ай нет самолет, а оно тем часом и провянет.

Видно, за то, что я поговорил с ней, послушал, ей хотелось чем-нибудь уважить меня, и она просто-таки стащила с моих плеч мокрое пальто и проводила в горницу.

Горенка была об два окна и с полом. В простенке старенький комод, на середине — круглый стол под клетчатой скатертью. Ситцевые занавески в мелких синих цветочках прятали кровать у глухой стенки. Оттуда доносилось глубокое дыхание спящего, должно быть, Витьки. А она продолжала говорить мне через перегородку:

— Это ж еще тади, как коров в закуп отбирали, дак с тех пор и нету... Раз зашли: продавай да продавай, другой раз... Да и отдала, бог с ней, с коровою. Не отдашь, дак потом и горя с кормами не оберешься. За каждым пучком станут доглядать: где взяла. А теперь и сама отвыкла, ну ее. Да и дети повыросли, сало вон есть. Станет Витька жить да внуки пойдут, дак тади, может, опять заведем.

— А вы в колхозе? — спросил я.

— В колхозя, ой и в колхозя...— сказала она, появляясь в дверях горницы с ножом и полуочищенной картофелиной.— Правда, теперь многие по конторам служат. То больнички, то базы... Много тут контор всяких. Консервенный завод вроде собираются строить. Дак на контору грамоти нужно... Так что в колхозя мы... Да и куда ж теперь? Жисть прошла. Теперь уж одново надо держаться. Вот и пенсию в колхозе стали начислять. Не знаю, как Витька порешит... Чтой-то молчит, ничего не говорит...

На кухне закипело, и она, убежав, загромыхала сковородной крышкой, продолжая говорить о Витьке. Видно, ее очень беспокоило, останется сын дома или уедет, как уезжают многие, вернувшиеся из армии.

Я подсел к окну, выходявшему на улицу, в палисадник. За мокрыми кустами смородины, сохранившими кое-какие листья, проглядывался крутогорый выгон, под которым, в самом низу, чернел колодезный журавль, а дальше серой туманной шубой простирались камыши. К колодцу не спеша, с коромыслом и ведрами, спускалась какая-то молодуха. Не-

смотря на ненастье, она была раздета, в одном только полупальце, брошенном поверх безрукавого красного платья, и, лениво сходя, играя крутыми бедрами на скользком глинистом спуске, она озиралась направо-налево, оглядывая пустынную улицу. Посматривая на окно, у которого я сидел, она не спеша привязала цепь к дужке, не спеша опустила ведро, зачерпнула, перелила в другое, зачерпнула еще раз и, все так же, не торопясь, посматривая на окно, прошла косою тропкой в гору, к соседним домам.

— ...Жить будет, дак и новую крышу справим,— продолжала говорить из кухни хозяйка.— Хотела в том году картошки на крышу продать, да ящур не дал, не пускали с картошкой. А нынешним какой-то жук, говорят, напал.

— Колорадский, что ли?

— Шут его знает. Тоже не пускают. Я уж и картошку на палочку натыкала — нет, никаких делов.

— Это зачем же на палочку?

— А так теперь делают. Знак для проезжих шоферов. На палочку наткнут и перед домом тею палочку поставят. А шофера уже знают, что в этом дворе есть продажная картошка.

В горницу неожиданно залетел поросенок. Стукотя по полу копытцами, едва не упав на повороте, он обежал вокруг стола и остановился, как вкопанный, перед моими ногами. Глаза голубые, смысленные, хитрые, сквозь белую шерстку проглядывало чистое, младенчески-розовое тельце. Я поднял носок ботинка и пошевелил им перед настороженной мордочкой. Поросенок гукнул животом, отскочил и, мотнув скуластым рыльцем, умчался в кухню.

— Иди лопай, лялуций,— заговорила с ним хозяйка.— Вынашивается, скачет...

Послышалось торопливое чавканье и похрюкивание.

— Покопай, покопай мне. А то в закутку запру, дак тади не больно будешь привередничать, все подберешь на холоди.

В окно смотреть наскучило, и я прошелся по горнице, разглядывая картинки и фотографии. В большой раме, узорчато выпиленной из фанеры, да еще и подпаленной какими-то зигзагами, висело стекло, с обратной стороны которого по синему фону цветной фольгой были выложены три женские фигуры с наивными кукольными и в то же время порочными физиономиями. Под ними золотилась надпись: «Вера, Надежда, Любовь». У «Надежды», восседавшей в центре, были огненные кудри и синие глаза с лучеподобными ресницами. У «Веры» и «Любови» — смоляные косы, переброшенные на

грудь, и черные жгучие очи, но почему-то без ресниц. Произведение это было еще ново и, должно быть, покупалось, как и оклеивалась свежими обоями сама горница, к Витькиному возвращению. Мне представлялось, как в радостном удивлении остановилась покупательница перед базарным китайцем, выставившим на прилавке пеструю и броскую мишуру, и как не могла отойти, стояла, смотрела и все-таки взяла. А потом везла домой, в автобусе, тихо радуясь и ревностно оберегая свою покупку, чтобы не раздавили в автобусной толчее. Был в этой покупке и свой особый резон, поскольку, кроме праздничной яркости, коей всегда недостает в крестьянском доме, несла она во вдове жилище еще и нечто символическое, долженствовавшее провозгласить извечные чаяния: чтобы в доме обрелись и Вера во что-то, и Надежда на что-то, и Любовь, без чего жить человеку невымыслимо.

— У нас кто картошку в Донбасс сvez — все с крышами железными, — между тем говорила она, возясь с поросенком. — А так, где ж его возьмешь, железо-то...

— Да, с железом трудновато, — отозвался я.

На комодке были разложены явно Витькины вещи. На подставке, изогнутой буквой «С», возвышалась черная пластмассовая подводная лодка, грозная своим стремительным видом даже в миниатюре. Небрежно валялись белые офицерские перчатки, которые самому Витьке в его звании и не полагались. Рядом стояла голубая «Спидола» и граненый флакон с оранжевой грушей пульверизатора. Из-за решетки «Спидолы» торчала фотокарточка, ажурно обрезанная по краям: хорошенький смеющийся чертенок-девчонка в короткой стрижке, растрепанной свежим ветром, в белом платице и с бо-соножками в руке. Она стояла в накате волны, захлестнувшей пляжную гальку, а позади бурунилось и взмелькивало барашками бескрайнее море, и было оно не злобное, а только ветреное и солнечное. От этих вещей — подводной лодки, транзистора, фотографии веселой приморской девчонки, от снежно-белых перчаток и даже от пузырька с резиновой грушей, который был пуст, но все еще источал тонкий праздничный аромат недавнего одеколона, — веяло иной, не здешней жизнью. Все это напоминало о далеких морских походах, свежих соленых ветрах, матросских вахтах, беспечных увольнительных на берег, когда перед тем в тесном и шумном кубрике старательно утюжились клещи, драились бороды и ботинки, одеколонились чубы и ленты бескозырок...

— Где служил-то парень? — спросил я через перегородку.

— А на Черном море. Сказывает, дюже красиво там. Целую сетку апельсинов привез...

— Повидал свет, стало быть.

— Да поглядел... В прошлом годи далеко плавали... Уж и забыла, в какую страну... Одну-то помню — Болгария. Это что все помидоры оттудова продают... А ту — вот запамятовала, какая это земля. Снегу, говорит, совсем не бывает. Дак, говорит, пальмы, как у нас ракиты, по улицам растут... Возили их куда-то, где ихние цари лежат. Сказывает, по три тыщи лет уже в гробах, а все, как есть, цело...

— Наверное, в Египте был? — подсказал я.

— Ага, во-во... Там, там... Говорит, будто и бабы и мужики в платьях ходят... — рассмеялась она. — Дак, а что ж, ежели такая жара... Повидал всево. Теперь, слава богу, дома... А то боялась, в Етнам пошлют или еще куда... Да скоро сахар начнут давать. За свеклу. Малому костюм надо справить, — быстро переключилась она с Египта и Вьетнама на свои житейские заботы — вот уж верно: пока баба с печи летит, семьдесят семь дум передумает. — Когда-то он себе зарабатывает, одно флотское на ем... За четыре-то года, поди, наделала казенная одежда...

— Зато девчатам нравится, — пошутил я, все еще стоя перед комодом.

— Да чтой-то не больно, гляжу я, с девчатами, — живо отозвалась она, и была заметна в ее голосе озабоченность и даже недовольство. — Третью неделю, как приехал, а — дома и дома... Все свое радио крутит, балаболку-то эту... Правда, вчора ходил куда-то... Аж утром пришел... Выпимши...

«Наверно, трудно было оторвать от себя такую...» — еще раз полюбовался я фотографией на «Спидоле».

— ...Он по радио там служил. У ево это еще с малства. Все, бывало, проволоки мотает и мотает... Теперь и не знаю, какую ему работу дадут тут... Тоже горюшко... Говорила, учишь по отцову-то делу, уж на что лучше, каждому нужнн...

— Это тоже важная специальность.

— Да есть тут при районе радио, дак туда бы...

— Радиоузел?

— А не знаю... Кино объявляют, да так чево... Посылала спросить, дак, говорит, нету таких местов, монтером только, по столбам лазить... А и по столбам что ж, ежели платют. Зато дома. И обстиран и обшит. Да и самой веселее. А то все одна и одна. В фэзэво учился — одна, да в армии четыре годочка... И старшая дочь пять лет как из дому. Жисть прошла — одна, как палец.

— Я бы им и койку свою с периною отдала,— сказала она, пораздумав, имея в виду, должно быть, будущую невестку.— Живите. А мне теперь и на печке хорошо, таковская...

В сенях опять всполошилась курица, зашаркали ногами, слышались голоса.

— Ой, ктой-то еще идет,— хозяйка толкнула дверь навстречу.

— Можно к вам? — донеслось из глубины сеней.

— Заходите, заходите,— с готовностью отозвалась хозяйка, отступая от двери.

Мне было видно из горницы, как неуклюже протиснулись в кухню сначала женщина в васильковом плаще, державшая впереди себя одноручную корзину, а за нею и бабка, закутанная шалью, — те самые, что вместе со мной дожидались самолета. Пока они входили, до меня докатились волны холодного воздуха и запах сырой одежды.

— Здрасьте вам,— устало, расслабленным голосом поздоровалась женщина в плаще.— Да зашли на дымок. Связались с этим самолетом, сами не рады. Попутной давно бы уехали.

— Да и машины нынче небось не вот-то ходят,— тотчас сочувственно подхватила разговор хозяйка.— А у нас уже есть один человек, тоже дожидается... Да вы проходите, проходите, обогревайтесь, сейчас лавку ослобоню.

Звякнули ведра: хозяйка переставила их на пол.

— Гляжу я, ктой-то вроде знакомые будеть,— говорила она живо.— А где видела — не упомяну.

— Да здешние мы.— Женщина достала из кармана плаща вчетверо заутюженный носовой платок, развернула его и принялась вытирать крупное и влажное лицо, помалиневшее от уличного ненастья.— Цукановы мы, может, слышали... Наливайки по-уличному,— добавила она.

— Ну-те, ну-те... — задумалась хозяйка.— Это что возля сельпа?

— Ага, ага... Домик ошалеванный.

— Теперь признаю... Старичок еще у вас хроменький.

— Да старичка-то уже нету. Год как помер.

— Ай-я-я... Скажи на милость...— вежливо сокрушалась хозяйка.— Царство ему небесное. Или болел чем?

— И не болел, в голову что-то вступило. В одну минуту прибрался.

— Ай-я-я... Да вы садитесь. Да корзину-то поставьта, чего ж ее держать, надержались небось... Узё-ё! — прикрикну-

да она на поросенка.— Куды принохиваешься, демоненок, не про тебя положено.

— Хорошенький кабанчик,— похвалила гостя.— Тьфу, тьфу — не сглазить.

— Да завела, пока того есть будем,— сразу озаботилась хозяйка.— А и морока в зиму заводить.

— И не говорите,— понимающе согласилась Наливайка-младшая. Теперь она с бабушкой сидела на лавке и не была видна мне из горницы.— Ни травиночки, ни крапивочки, знай вари. Да и выпустить некуда.

— Ой и правда! А и без него нельзя.

— Нельзя-я! — убежденно протянула Наливайка-младшая.

— Да все собираюсь позвать слегчить, пока маленький. Я кабанчиков чтой-то больше люблю.

Женщины, едва познакомившись, повели беседу с тем доброжелательным и чутким вниманием друг к другу, которое и теперь еще кое-где водится по укромным заповедным деревьям.

— Свинка хуже,— продолжала поддерживать разговор хозяйка.— Свинка в тело войдет — дай гулять, не жрет, с боков спадает.

— Дак и огулять, вот тебе и выгода,— возразила Наливайка-младшая.

— Ну ее... Натерпелась я раз, дак и зареклась маток заводить,— отмахнулась хозяйка.— Вот так-то годов пять назад усходила свинья, ревет, закуту роет... Дай, думаю, огуляю. Поросятки как раз в цене были... Ну-те... Побегла я в правление. А мне: не можем. Да как же так? А очень, говорят, просто: свинья частная, а хряк колхозный. Не можем дозволить. Да что ж, говорю, с ним сдеется, с хряком-то? Али моей свинье тоже заявление в колхоз подавать?

Женщины рассмеялись. Рассмеялся про себя и я.

— Ой лихо мое! — оживилась хозяйка.— Побегла я в Кудиново, там, может, думаю, договорюсь... И там от ворот поворот.

— Да пол-литра взять бы,— смеялась Наливайка-младшая.

— Брала я. Как же теперь без пол-литры. Брала. А и маргарыч не помог. Нельзя, и все тут. Строгое указание, говорит, такое дадено.

— А и правда, было тогда,— смешливым голосом подтвердила Наливайка-младшая.— Скот води, да в оба гляди, чтоб не заедаться.

— Свинье не до поросят, коли заживо палят,— вставляла

бабка. Говорила она редко и всякий раз со строгостью, но женщины рассмеялись ее словам, и хозяйка продолжала вовсе весело:

— И смех и грех... Да уж со своим уложили ее в телегу, морду веревкой обвязали, да тишкóм, огородами свезли ее в Малаховку, да там и окрутили по знакомству. Да и то сторож за воротами хвермы стоял, караулил, как бы кто не нагрязнул. А я-то сама сижу в сторожке, жду, пока свадьба-то кончится, а сама как на угольях: вот набегут, вот прихватят. Чего доброго, свинью отберут.— Хозяйка машинально ковырнула в печи ухватом.— А теперь и разрешили, пожалуйста, да не хóчу. Благо ее вести на ферму-то. Далеко... Ну ее, кабанчик спокойнее.

— А зачем вести? — сказала Наливайка-младшая.— Вести и не надо. Теперь на дому можно. Аким Ваныча позвать, он все и поделает.

— Да как же это он сам? — стыдливо рассмеялась хозяйка.

— У него все есть для этого. В чемоданчике носит.

— Ой, да что ж это мы про такое! — спохватилась хозяйка.— Человек у меня в горнице. Вот послушает-то...

Женщины поутихли, хозяйка зачем-то сходила в сени, вернулась и уже потом, поостыв и опять взяв уважительный тон, сказала:

— А вы, стало быть, дочка с мамашею. Гляжу, дюже похожие.

— Ага, с мамашею,— томно, прочувственно вздохнула Наливайка-младшая.— Да надумали съездить к Ване. К брату моему меньшенькому. Ваня-то наш теперь в городе живет. Пусть мама побудет, пока ноги ходят. Квартира у него хорошая, детей пока нет... Дак и пусть поживет до весны, до огородов.

— А я к своей никак не соберусь. К дочке-то, к дочке... Тоже в городя, да больно далёко, аж на Урали.

— А наш тут, в области. Как отслужил действительную, побыл дома, поглядел и уехал. Не хочу и не хочу тут...

— Молчите... Не живут теперь молодые в семьях,— горестно подтвердила хозяйка.— Едут и едут, лишь бы со двора долой. Моя тоже: вербовка была на целину, заездила: поеду и поеду. Подружки сговорились, ну и она туды... Ни в какую. Чего, говорит, я тут сидеть буду. Молодость, говорит, моя проходит... Ну проводила. Платье ей в дорогу справила, кофточку шерстяную в городе на базаре по-дорогому взяла, туфли недоеданные положила. Из последнего собрала. Поехала. За Вол-

гу куда-то... А потом пишет в письме: чемоданчик украли.

— Да как же это? — ужаснулась Наливайка-младшая.

— А шут ее знает. Дура-то не пуженая. Это они с матерью широкие, нос драть... Я так и охнулась: последние тряпьишки!

— Да чего там говорить...

— А тут к весне прикатила ее подружка, здрасьте вам, отец-мать, радуйтесь: пуговики на пальте не застегаются... Нацеливничалась... Ой, лихо мое! Это же она про ихний барак и порассказала. Ухажеры со всего степу около того бараку.

— Да уж известное дело...

— Правда, говорит, которые самостоятельные, с понятией, дак те и замуж потом берут, погулявши. И домик им дают отдельный. Да как же, ничего не видимши, узнаешь, который с понятией, а который с безобразией на уме?

— Нету, нету у молодых строгости,— поддакивала Наливайка-младшая.

— Ой и натерпелася я с этой целиной! Да опосля, слава те господи, человек попался, забрал ее из того бараку. Работали у них приезжие, колодцы били, да один и присватался.

— Так, так...

— На Урал к себе забрал. Хоть и татарин, а, пишет, ничего, смирный, уважительный. Двое детишек уже. Обошлось, камень с души... А теперь вот Витька, не знаю... Пишет ему одна, смущает малого... Глядишь, тоже завеется.

— И-и, да и пусть еде-е-ет! — нараспев высказалась Наливайка-младшая.— Малый—не девка... Вон Ваня наш... Что ж, говорит, я тут буду. И пять лет пройдет — Ванька, и десять — все Ванька. Деревня она и есть деревня. В одном званьи... И верно, уехал, дак и живет теперь. До помощника мастера дошел. Образованную взял... Одегы-обуты, этим летом вдвоих на курорт ездили, карточки прислал...

Помолчали, задумались. Потом хозяйка спросила:

— И не боитесь самолетом лететь?

— Да и лучше, чем автобусом. С маминим ли здоровьем полдня по колдобинам трястись. Шестьдесят восемь годочков ведь. Самолетом спокойнее.

— А я — убей, не сяду,— с веселым испугом воскликнула хозяйка, как-то легко переключаясь от озабоченности на шутку.— Да как же это лететь — кругом пусто? Лучше пешки добегу.

И опять неожиданно, как тогда, на аэродроме, в бабкиной корзине гаркнул гусь, да так оглушительно, так звонко, что эхо отозвалось в пустых ведрах. Поросянок всхрюкнул

и примчался ко мне в горницу с ошетиненным загривком.

От гусяного вскрика на кровати заворочался Витька, потянулся, высунул из-за полога ногу в полосатом носке.

— От скаженный,— обругала гуся Наливайка-младшая.— Да везем Ване, к Октябрьским. Хотела зарезать, а мама: не улежит до праздников. Говорит, давай живого свезем. У них там гараж есть, в гараже пока побудет.

Гусь забил крепкими крыльями по ивовым стенкам и еще раз кекекнул, на этот раз надломленно и безнадежно.

— Стомился, бедный,— пожалела хозяйка.— Пуцай походит, промнется.

— Это ж надо корзину расшивать,— заколебалась Наливайка-младшая.— А вдруг самолет?

— Да долго ли обратно захихнуть. Я ему зернеца сыпану.

— Обойдется не гулямши,— строго определила судьбу гуся бабка, и женщины перешли судачить на другую тему.

Витька окончательно проснулся, отвернул полог, выглянул в горницу. Был он еще по-южному смугл, черные вихры неприбранными завитками клубились над крепким скуластым лицом. Заспанно сощурясь, он посмотрел на серое окно, на меня и, не поздоровавшись, потянулся полосатой тельняшечной рукой к брюкам на стуле, за папиросами. Он курил, мял зубами папироску и, глядя куда-то вверх меня, с молчаливым бесстрашием слушал разговоры на кухне.

За окном мелькнуло красное, хлопнула сенешная дверь. В кухню кто-то вошел, вытирая, зашаркал у порога ногами.

— Заходи, заходи, Вер,— запригласала хозяйка.

— Вы еще не истопились, здравствуйте,— послышался голос с приятной напевенкой.

— Что раздетая, дош вон какой.

— Уже перестал, туман только. А я нынче хлеб пекла. Надоел покупной, кисёл, меры нет. Своего захотелось. Нажарилась возле печки, дак и тепло.

— Или выходная, хлеб затеяла?

— Кой выходная. К двум часам бежать. Лектор какой-то приехал, дак клуб прибрать надо. Вчера танцы были, затолкли, лопатой не отскребешь.

— Теперь заненастилось, не намоешься. Да ты проходи, проходи,— опять запригласала хозяйка.— А я дак еще не прибиралась, ералаш в хатя.

— Да нет, тетя Усть, я на минуточку... Я чего... Радио что-то замолкать стало. От дождя, что ли. Слово скажет — два молчит... Зашел бы Витя глянуть, чего оно...

— Да он спит еще. Вчера натапцевался.

— Я глядела, не было его в клубе.

— Да ты пройди, побуди.

Витька придавил о пол папиросу, задернулся пологом.

— А я вижу, кто-то в окне, думала Витя, дай забегу спросу. А если спит, дак чего ж...

— Погоди, я его сама побужу,— готовно сказала хозяйка.— Хватит ему...

— Ой, не надо, тетя Усть,— горячо запротивилась Вера.— Вы уж потом передайте. Да и не к спеху. Как будет время, так пусть и зайдет... Побегу я.

— Да сидела б...— не отпускала хозяйка.— Щас самовар поставлю. Вчерась бегала в сельпо, дак мед с сотами был, полкило взяла...

— Спасибо, тетя Усть, бежать надо. Гладить затеяла.

Вера ушла, опять промелькнула под окнами жарким платьем. Витька полежал еще за пологом и снова высунулся.

— Соседка наша,— пояснила хозяйка.— Девушка еще... Не забыть Витьке сказать, чтоб сходил починил... А и будете, бабы, чай пить, самовар поставлю?— предложила она с легкой бесшабашностью.— Все одно сидеть...

— Да когда уж теперь,— сказала Наливайка-младшая.

Витька встал — крепкий, кряжистый, с сильными скошенными плечами, бедра его плотно обтягивали синие трикотажные полуплавки с красной окантовкой — натянул флотские брюки, обулся. Потом отвернул полог, сдернул с гвоздя бушлат, громыхнувший латунными пуговицами, набросил его внапашку. Уже одетый, закурив еще раз, он вышел.

— Вить, а тут Вера заходила...

— Слышал,— буркнул Витька.

— Радиво у них чево-то...

Витька не ответил, шагнул в сени. Дым от папиросы протянулся за ним из самой горницы.

— Сын? — уважительным полупшепотом спросила Наливайка-младшая.

— Сыно-ок...— вздохнула хозяйка, и были в ее голосе и гордость, и растерянность перед непонятным Витькиным молчанием.— Вот демолизовался... Дома теперь...

Потом они еще о чем-то судачили, и было слышно, как весело зашумел самовар.

В окно я увидел Витьку. Он стоял, прислонясь спиной к палисаднику, засунув руки в карманы и растопырив локтями накиннутый бушлат. Время от времени над его кудлатой головой взвивался дымок папироски.

Дождик, наверно, и вправду поутих, потому что заметно

посветлело, и был теперь виден не только колодец под бугром, но и бурые чащобы камышей за ним и даже тот берег с окраинными домами заречной улицы. Только пахота на бугре за избами еще размыто синела.

По той стороне, полевой дорогой, мимо намокших, резко желтевших скирдов новинной соломы, плелась подвода, и было видно, как лошадь усердно мотала головой, помогая себе тащить телегу. Витька долго следил за нею, потому, должно быть, что ничего живого не попадалось на глаза и глядеть было не на что.

Глядел на телегу и я...

Вдруг Витька обернулся и закивал мне, замахал рукой. Я было не понял, в чем дело, но тут и сам за разговорами на кухне, за шумом самовара услышал глухой и ровный гул самолета.

В доме сразу все всполошились. Хозяйка прибежала с моим пальто, просохшим, с горячей подкладкой, потом побежала помогать Наливайкам, сама же подхватила корзину и потащила в сени.

— Ой леший! Да что ж он так-то налетел,— приговаривала она.— Чаю не попили.

— И на том спасибо,— выходя, ссутулилась в низких дверях Наливайка-младшая.— Заходите когда...

— Да вы горóдами, горóдами бегите. Тут ближе...

Самолет, развернувшись над селом, серым кургузым саранчуком промелькнул за деревьями и пал где-то в поле.

Уже за сараем я торопливо сунул руку хозяйке, она, простоволосая, с откинутым на плечи платком, тревожно озабоченная тем, как бы мы не опоздали, неловко подала мне свою маленькую, неприятно жесткую и сухую руку и, приговаривая: «Вы уж извиняйтя... Заходитя»,— растроганная не расставанием с нами, а скорее самой процедурой прощания, стыдливо и смущенно завлажнела глазами. Я взял у Наливайки-младшей корзину с гусем, и мы пошлепали торопливым скользучим бежком по раскисшей огородной тропке — я, за мной Наливайка-младшая и уж за ней, растопырив руки, толсто закутанная бабка.

— Час вам добрый! — кричала вослед нам от сарая хозяйка.— Ох, лихо мое!

3

К самолету никто не опоздал: в полутемном железном чреве кабины уже сидели и лейтенант со своей попутчицей, оживленной предстоящим полетом, и гражданин с ревизорским

портфелем, и те две девчонки в высоких копноподобных прическах. В овальную дверь было видно, как внизу, возле стрелянки, покуривая и часто сплевывая, нарочито налегая на матерок, панибратничал с пилотами аэродромный диспетчер.

Наливайки сели в конце на разных скамейках, и, когда самолет взревел, задрожал всем телом и помчался, они, грузно припечатанные к сиденью, устали друг на друга, окаменело переживая оторопь.

Сначала за окном струилась близкая трава, потом она незаметно отступила вниз, стала полем, самолет накренился, поворачивая, земля резко провалилась, и в этом провале, в буром разливе камышей оловянно заблестела кривулистая речонка. Мы летели над долиной Варакуши, ближе к левому ее косогору, и вскоре внизу поплыли четкие квадратики дворов. Я даже разглядел сруб колодца под кручей с витками тропинок, веером протянувшихся от него к избам, и, мысленно пробежав по одной из них, отыскал по вялому, затухающему дымку над соломенной крышей Витькину избу. Разглядел и неубранную грядку капусты, и сарай, и ворошок хвороста во дворе...

А еще успел разглядеть черное пятно перед палисадником, и я догадался, что это все еще стоит на улице Витька. Мне даже показалось, что мелькнуло его запрокинутое лицо — светлое пятнышко на темном фоне бушлата: должно быть, он глядел на самолет.

И то, как от соседнего дома отделилось красное и двинулось навстречу Витьке...

Самолет забирал все выше, и стало видно далеко окрест: неоглядно простирались ухоженные поля — зеленые и черные, с пятнами скирдов на взметах, с жирными полосами дорог, разумно обходивших овражки и кочковатые низины, пестрая россыпь коров мелкой галькой виднелась на яркой озими... Сама же деревня, вытянувшаяся двумя долгими улицами по обе стороны Варакуши, под конец смешалась и разбрелась домами, и это был уже сам райцентр. Я отыскал базарный майдан с белой церквушкой, заезжий дом рядом с нею, где провел четыре командировочные ночи, и розовый брусок школы по другую сторону площади в окружении серых безлистных садов. За школой широко белела вода местной Рицы в голых глинистых берегах. Своими очертаниями пруд походил на балалайку, основанием которой служила ровная грядка плотины, а грифом — втекавшая в него Варакуша. С высоты все это казалось ничтожно малым, игрушечным, каким-то вопло-

щением суеты сует. И только сама земля с высотой становилась еще шире и беспредельней.

И опять в корзине забился и закричал гусь, и все повернули головы, обрадовались происшествию, снявшему тягостное напряжение полета, засмеялись, заговорили. Покраснев, деланно заулыбалась и Наливайка-младшая: ей было неловко, что она везла такую беспокойную пошу. На крик гуся высунулся из служебного отсека пилот, широколицый, густобровый, в лихой аэрофлотской фуражке с эмблемами.

— Это у кого такая веселая закуска? — спросил он, оглядывая пассажиров.

Все уставились на бабку.

— А ну, давай, старая, шуранем его за борт, — сказал летчик. — Эх и полетит!

— И ее заодно, чтоб знала место, — желчно буркнул гражданин с портфелем. — Совсем обнаглели...

Наливайка-младшая и вовсе побагровела от смущения, маленькие глаза ее замигали, но бабка даже не повела бровью.

— Ничего, мать, — летчик блеснул белозубой улыбкой. — Давай действуй... Гусь — это штука!

Все рассмеялись, он подмигнул и захлопнул за собой дверь.

Под крылом пластались дымные космы тумана, и вскоре самолет нырнул точно в вату — во что-то белое и глухое...

ХРАМ АФРОДИТЫ

I

Скорый миновал Орел.

За окном при низком солнце резко, ослепительно белели жаркие застоявшиеся хлеба. Начинались пространства с открытым безлесным горизонтом.

Сараев стоял в коридоре вагона, курил и сквозь черные очки глядел на знойные степные пейзажи. Встречный ветер задувал внутрь оконные занавески, трепал его тонкую хрустяще-белую сорочку, забрасывал на плечо галстук и сдувал пепел с сигареты, вставленной в толстый мундштук.

— Кто желает бутерброды? Ест свеженьи бутерброды!

По коридору прошла тучная грузинка в накрахмаленном чепце и с потными усиками.

Сараев заглянул в корзину и спросил пива.

— Какой мужчина пьет пиво, когда едет на Кавказ? — Разносчица кокетливо повела синеватыми белками. — Пэй «Напареули», пэй «Мукузани». Сто лет будэш жить!

Сараев натянуто улыбнулся — у него было дурное настроение.

Все последние годы он летал на юг самолетом, но на этот раз решил проехаться по-студенчески. Однако получилось как-то несуразно. Вчера по случаю его отпуска были гости, и он опоздал на свой вечерний поезд, на который еще за неделю ему заказали билет. Из-за этого он не выспался и из Москвы выбрался только к обеду следующего дня. Он попытался сразу же вздремнуть, но, промаявшись в душном купе до Тулы, решительно встал, вымылся до пояса в туалете, тщателью выбрился и надел все чистое.

Это придало ему некоторое облегчение, но в душе царил меланхолия, и он старался не заходить в купе.

К тому же попались неинтересные соседи. Ехала высокая костлявая старуха в перманенте, с неприятно белыми зубами, взявшая на себя роль хозяйки и распорядительницы купе и сразу же отобравшая его нижнюю полку для своей внучки. Внучка, по всей видимости еще девица, лет двадцати пяти,

такая же высокая и плоскогрудая, в толстых очках, укутав колени простыней, отчужденно читала Блока. Третьим был какой-то Иван Иванович из Мытищ, пухленький, кругленький, с мешковатыми щечками, напоминавший Сараеву благоправного грызуна, привыкшего к неволе и перевозкам в клетке. Иван Иванович уютно обосновался на верхней полке и ни разу не спускался вниз. Он то и дело доставал из багажного отсека чемоданчик, отмыкал его маленьким блестящим ключиком, похожим на нательный крестик, и долго шуршал внутри чемодана бумагой. Потом принимался мелко и часто жевать и похрустывать, сотрясаясь щечками и вперив отсутствующий взгляд в какой-нибудь шурупчик оконной рамы. И без того душное купе наполнялось запахом малосольных огурцов и домашних котлет, сдобренных чесноком. Сараева раздражали эти запахи, и он уходил в коридор и подставлял голову под ветер.

«Не выпить ли, на самом деле, стаканчик сухого?» — вяло подумал Сараев.

Через грохочущие тамбуры он побрел в ресторан, еще свободный в этот предвечерний час от посетителей, выбрал столик у восточного затененного окна и долго и пристрастно читал списки закусок. Ни на чем не остановившись, он попросил подать пару южных груш и подержать бутылку «Напарули» в холодильнике.

Уже перед закатом остановились в Курске.

Пока охлаждалось вино, Сараев вышел на площадку. Профессиональным глазом он осмотрел тяжелый темноокрашенный вокзал, похожий на кофейный торт, по карнизам которого какая-то архитектурная стряпуха обильно надавила маргариновых завитушек. Вокзал был воздвигнут во времена культовой помпезности в расчете на внешний эффект с на редкость бездарной планировкой внутри. Главные выигрышные площади интерьера были безнадежно испорчены подземными спусками и нелепым вентиляционным колодцем в центре вестибюля. Для пассажиров же оставлены маленькие заурядные боковушки.

Сараев хорошо знал не только вокзал, но и прочие достопримечательности Курска. С мысленной усмешкой он вспомнил, как лет десять тому назад начинал здесь свою архитектурную карьеру. Приехал он тогда сразу же после окончания института, бредил новаторством Корбюзье, был полон воинственного скептицизма и наивно и самоуверенно мечтал облагородить Курск собственными творениями. Городишко показался ему тогда безалаберным, с единственной осевой ули-

цей, выглядевшей более или менее сносно, но в остальном ветхий, замшелый, мещанско-купеческого облика с беспорядочными вкрапинами стандартных новостроек. Но местные отцы зодчества не поняли высоких помыслов и направили Сараева, как молодого специалиста, на укрепление какого-то треста «Сельстрой», который проектировал в основном одни только свинарники. Теперь это выглядело как анекдот, и, вспоминая иногда, Сараев любил рассказывать об этом курьезе в кругу знакомых. Но тогда он не на шутку обиделся и даже сник и не чаял унести отсюда ноги.

Поезд тронулся, Сараев вернулся к своему столику, ему подали вино, и он отпил несколько глотков из прохладно запотевшего фужера. На дальних городских холмах, погрузившихся в туманную синеву, закатно полыхали окна каких-то зданий. Сараев смотрел на вечерний силуэт города и не чувствовал к нему прежней неприязни. Мелькнула даже честолюбивая мыслишка сойти в Курске на денек, навестить своих коллег и вообще посмотреть, чего они здесь без него нагородили.

Перебирая в памяти имена и события тех лет, Сараев вдруг вспомнил поездку в одну здешнюю деревеньку по делам все того же злополучного «Сельстроя». Тоже прелюбопытная история! Как-то так получилось, что ее он совсем замятовал и никому не рассказывал, а, право же, стоило бы рассказать. Он попытался припомнить название этой деревеньки и никак не мог: то ли Грызловка, то ли Дрызгалка, какое-то этакое, в духе некрасовского «Кому на Руси...». Знал только, что находится она как раз по ходу поезда, примерно в полста километрах отсюда. «Надо не пропустить,— подумал Сараев, оживляясь при мысли о предстоящем маленьком дорожном событии.— Любопытно взглянуть, что там теперь...»

Он даже вспомнил приметы, по которым можно было узнать места. Как раз напротив той деревеньки должна быть кирпичная железнодорожная будка под огромным разлатым вязом. Еще, помнится, на крыльцо будки выходила босая сторожиха с высоко задирающим юбку беременным животом. Она была повязана платком, поверх которого по случаю поезда надевала форменную фуражку с красным верхом. Провожая поезд, сторожиха безучастно, с каким-то деревянным лицом глядела на мелькавшие мимо вагоны, выставив перед собой обернутый вокруг дровяка, захватанный мазутом желтый флажок. А поодаль, за бурьянистым кладбищем, торчала заброшенная церквушка. Кровля осыпалась с ее луковки, и обнажился каркас, похожий на школьный глобус, с параллелями

и меридианами переплетений. Сама же деревенька начиналась сразу за церковью, километрах в двух или трех от железной дороги, и ее можно, пожалуй, увидеть из окна вагона.

Сараев долил фужер и выпил в один прием: легкое ароматное вино приятно бодрило. Он вставил в мундштук новую сигарету и, поглядывая в окно, принялся не спеша припоминать ту свою давнишнюю поездку — со всеми возможными подробностями, какие еще удерживала память.

II

Он сошел с рабочего поезда под тем самым вязом поздним осенним утром. Паровоз глухо продудел в сыром, ватном воздухе, состав потащился дальше, волоча по обочине хвост сернистого дыма, прибитого к земле холодной моросью. После ухода поезда на разъезде стало безлюдно и тихо. В туманной неразберихе ветвей кричала невидимая ворона, и от ее крика особенно чувствовалась близость зимы. Помнится, как он спросил дорогу у той самой беременной будочницы и как, перейдя пути, под вороний карк, неловко пошлепал в своих штаблягах по осклизлой тропе. Тропа эта, мокро блестя, повела его через пустынно черневшую пашню, далеко присыпанную пятками листьев все того же придорожного вяза... И как, озираясь, пересек кладбище, неприятно бугрившееся среди сырых бурьянов, и минул церквушку, призрачно, размыто маячившую в стороне за моросью... И как потом долго пробирался по грязной, ископыченной скотом улице, разорванной пустырями, и как поразила его своей неприятной хмуростью осенняя деревня — кислый запах хлебов, какие-то репьистые собаки с мокрыми, забрызганными животами, черная пузырящаяся грязь в колеях и мазаные хаты в набрякших сыростью землисто-соломенных папах. Хаты смотрели на него подслеповатыми оконцами и странно напоминали Сараеву толпу сумрачных мужиков с полотен передвижников. Помнится, он брел тогда по этой самой Грызловке чужой и неприкаянный, в отяжелевших башмаках, похожих на свинцовые водолазные боты, и чувствовал себя заброшенным на край света. Утешала только мысль, что он в тот же день постарается вернуться домой.

Ехал он, в сущности, по пустяковому делу. Тамошний председатель, какой-то Яценко, просил прислать специалиста, с тем чтобы тот посмотрел местный камень и сделал бы заключение, годится ли он для постройки или нет. Просили уже третьим письмом, и начальник треста вызвал Сараева и ска-

зал: «Съезди, голубчик, посмотри, что там такое. А то, чего доброго, возьмут и пожалуются. Завтра же и поезжай». Вообще-то, думал Сараев, могли бы послать по такому делу кого-нибудь другого, из простых техников. Но командировка уже была подписана, и он, пожав плечами, вышел из кабинета.

Какой-то малец, с коленками влезший в резиновые сапожки, погрызывая морковку, проводил Сараева до колхозной конторы — новой рубленой избы под белым шифером. Сараев оскреб щепкой штiblеты и, робко заглядывая внутрь, вошел под навес крыльца, в распахнутые сени, из которых тянуло дымом. На новом струганом полу, заляпанном глиной, пламенела груда новых кирпичей. Дым до пол-окон заполнял комнату, беспорядочно заставленную лавками и столами, ленивым змеем извивался вокруг шкафов, тыкался в углы, ища выхода, и, добравшись до двери, уползал под притолоку в сени. Перед плитой, сложенной в правом от двери углу, стоял на коленях старик, подвязанный каким-то бабьим платком вместо фартука, и, слезливо жмурясь, дул в открытую топку. Печка парила: просыхающими боками, сердито выстреливала в дверцу искрами, старик увертывался от них, сморкался, пронытый дымом, и, глотнув свежего воздуха, опять принимался дуть. На столе сидели двое мужиков, наполовину завешенные дымом, и Сараев отчетливо различал только их ноги, все в тех же грязных резиновых сапогах.

— Тяги никакой нетути,— говорили деду сапоги.— Вишь, как насупило.

— Имга... Имга дым не пропускает... Не дает ему ходу через трубу...

— Может, за карасином сбегать? — сидя на карачках возле печника, крикнул в самое ухо мужик в старом военном френче. Рукава френча были закатаны до локтей, а кисти рук вымазаны глиной. Глиной же была выпачкана и его сигарка. Очевидно, не забывая, что папироска измазана, мужик держал ее в губах, брезгливо морщась правой щекой.— Карасину, говорю, надо...

— Чего?

— Карасинцу!

— Подь ты к едрене фене... советчик... — отсморкнулся старик.— Знай давай свои счета и щелкай...

— Щелкать покуда неча... Мощна не звякает.— Мужик отошел и стал обмывать в ведерке руки.

— Боров прогреется и потянет... — сказал дед, протирая красные глаза изванкой фартука.— Боров нахолодал... Известное дело...

— Ты, дедарь, как с председателем-то уговаривался насчет печки? — спросил мужик во френче. — Мы с тобою ешшо за хундамен не разошлись.

— Это мое дело, — буркнул печник. — Я, можа, нашему председателю в подарок печку сложил.

— С чего б это?

— Ась?

— С чево ты, говорю, такой добрый? — прокричал, надуваясь горлом, мужик.

— А с того, што с ободранной липки лыка не деруть. Ежели в твоей касси ни полпятака, дак теперича замерзатъ? Погодим. Бог совестью не обделил покудова... Не столько годели.

Сараев стоял в дверном проеме, остановленный ремонтной неразберихой. Наконец его заметили за дымом, за разговорами.

Мужики почтительно слезли со стола, счетовод засуетился, стал обтирать о штаны мокрые руки.

— Строительством вот подзаялись, — виновато проговорил он. — Неделя, как въехали... Насвинячили маленько с печкою.

Счетовод подсел к столу и принялся доставать из ящика какие-то бумажки, карандаши, пузырек с клеем. Он раскладывал их с деловитой сосредоточенностью, но было видно, что все это ему без надобности, из-за того только, что объявился посторонний человек.

По людям, по их разговорам Сараев определил, что среди них нет председателя. И теперь он боялся, что придется долго дожидаться, сидеть неизвестно сколько в этой задымленной избе под любопытными взглядами, и совершенно не знал, о чем следует разговаривать в таких случаях. Он хотел было выйти и где-нибудь походить, но, вспомнив про нудную слякоть, присел на лавку. Счетовод перекладывал бумажки, мужики принялись вертеть папироски, наступило неловкое, неприятное молчание.

— Строите, значит, — сказал наконец Сараев, тоже закуривая.

— Да вот... Прямо бяда... — отозвался счетовод, конфузливо ожидавший хотя бы каких-нибудь слов от гостя.

— Погода просто никуда... — помолчал, сказал Сараев.

— Да уж куда хуже... Бяда, да и только.

В дверь заглянула девушка в мокром жестком плаще с капюшоном, из-под которого белел пуховый платок, наполовину закрывавший ее багровые, влажно блестящие щеки. Не входя в комнату, она расставленными руками уперлась в дверь

ные косяки и как-то устало посмотрела на печь, на ворох кирпичей, на весь этот строительный неуют.

— А, внучка! — обернулся печник. — В самый раз к печке. Иди, милая, погрейся. Сейчас, сейчас мы ее, холеру...

— Некогда, Пантелей Степаныч. В карьер надо. — Постояв в дверях, она наконец прошла в комнату, роняя с плаща на пол крупные дождевые капли. Даже сквозь дым от нее остро пахло мокрым брезентом. — Мне тут никаких звонков, ничего?

— Как сказала?

— Не звонил?

— Не было, — ответили мужики.

— Звонков-то, — отозвался старик, пристально глядя в топку. — Б поле мертво. Какие теперича звонки?

— Анбары почистили, да и отзвонились, — вставил один из мужиков. — Теперь мы сами по себе.

— Погоди, скоро насчет надоев начнут, — сказал второй. — Сами по себе на погосте будем...

Счетовод нагнулся через стол, шепнул Сараеву:

— Наш председатель... Яценко...

Когда ехал сюда, Сараев не думал, что этот самый Яценко — девушка, причем весьма заурядного облика, которую он поначалу принял за почтальоншу. Он рисовал себе председателя таким степным толстошеим Добрыней с животом, подпоясанным ремнем с двумя рядами дырок. Сараев приподнялся и неуверенно представился.

Протянув над конфоркой покрасневшие пальцы, она со вздохом сказала:

— К вам только за смертью посылать... — И через плечо скользнула по Сараеву беглым изучающим взглядом.

У нее было обыкновенное круглое лицо неприятного красноватого загара, на котором, как на негативе, выделялись белесые жиденькие бровки и светло-зеленые, крыжовниковые и потому, может быть, такие резкие глаза.

— Мы уж тут сами обошлись... — Она потерла руки, повернула их ладонями кверху.

Сараев, оставшись стоять на середине комнаты, еще острее почувствовал свою здесь ненужность и в растерянности покрутил в руках шляпу, делая на ней заломы и тут же выправляя их.

— Может быть, посмотрим? — сказал он.

— Пожалуйста... — дернула плечами председательша и, не оборачиваясь, сказала счетоводу: — Вань, дай-ка твой плащ.

Она сама сняла с вешалки такой же серый, как у нее, дож-

девик, протянула его Сараеву и, бросив коротко: «Надевай-те», — пошла к выходу.

Сеялся все тот же полутуман-полудождь. Яценко отвязала от перил мокрую со спины, желтенькую лошадь, поворошила в повозке солому и, подождав со строгим, замкнутым лицом, пока Сараев, путаясь в полах плаща, неуклюже забрался в телегу, села с ним рядом. Лошадь, корячась, выбрасывая в сторону ноги, поворотила телегу от крыльца и зачавкала копытами, вскидывая голову, потряхивая светлой, разваленной на обе стороны гривой.

Ехали куда-то деревней, все такой же набрякшей осенней сыростью, с редкими облетевшими ветлами, зеленозамшелыми срубамы колодцев, с пустыми огородами по низам, на которых среди черной земли белели капустные кочерыжки и вялая картофельная ботва. Потом свернули на выгон, к кузнице, где кряжистый старик покидал им в телегу штук тридцать синих от закалки ломов, и опять ехали деревней. Телега, нагруженная железом, скрипела, неожиданно заваливалась с боку на бок в колдобинах, колеса со всхлипом выворачивали вязкую грязь, тяжелые шмотья земли, поднимаемые ободом, оползали и отваливались от колеса возле самих пальцев Сараева, сжимавших низенький дощатый бортик, и эта черная, сыро отяжелевшая земля, разжиженная по низинам, казалась Сараеву неукротимой, взбунтовавшейся стихией. Как это все было похоже на те подмосковные деревни с флюгерками и кружевными верандами, куда он наезжал со студенческими пикниками!

Ехали молча, будто каждый сам по себе, и Сараеву было неприятно это отчужденное молчание председательши.

Впереди из калитки вышли двое. Один — в старой заплатанной стеганке, но в новом кожаном треухе, с рыжей, коротко подстриженной бородкой; другой — долговязый нескладный подросток. Оба с топорами за поясом. Бородатый, завидев телегу, отступил было опять за калитку, но Яценко окликнула его, спрыгнула с возка и пошла навстречу.

— Аким Петрович! — еще с дороги крикнула она, крупно шагая в резиновых сапогах. — Аким Петрович! Ну что же вы от меня прячетесь, честное слово!

— А чего мене прятатца? — Рыжебородый сдвинул шапку на глаза и, выглядывая из-под цигейки, усмехнулся. — Не украл, не ограбил...

— Коровник ведь раскрыт. Холода заходят, — подошла к нему Яценко. — Сделать надо...

— А я разве отказываюся? — Мужик опять усмехнулся,

постукивая, поигрывая пальцами по обуху топора.— Давай будем делать. Мене едино: хоть коровник, хоть гроб.

— Вы всё смеетесь...

— Какой смех? Я, председатель, господин хороший, свою цену сказал. Могу, так и быть, сот пять сбавить. По-свойски.

— Да ведь нет у нас денег... Нет!.. Понимаете?

— На нет и суда нет,— крикнул рыжебородый.

— Аким Петрович... Голубчик... А деньги, вот побожусь, на тот год — обязательно...

— Не будеть...— Мужик отвернулся и принялся с деловитым вниманием разглядывать плетень.— Не будеть! Мене уже надували... Вас, таких, восемь сменилося. С вас взятки гладки.

— Ну смотрите, Аким Петрович, не обижайтесь потом.— Яценко постучала кнутовищем по сапогу. Сараев видел, как пыхнуло ее лицо горячей краской.— Я ведь с вами по-хорошему. Совесть надо иметь.

— А ты мене не пужай! Не пужай! — выкатил глаза мужик.— Не я колхоз разорил.

— Ей-богу, обрежем усадьбу. Вот будет собрание, и обрежем. Как несознательному.

— Нету таких правов. У мене двое девок на тебя холку мнуть. Задарма, за палочки. И за то скажи спасибо... Пошли, Степк.

— А тебе, Степан, не стыдно по чужим селам рыскать? А еще комсомолец!

— А я что? — Степан переступил сапогами.— Ему говорите...

— Ну ты...— цыкнул на малого мужик.— Мы не вред какой делать идем. Тут колхоз и там колхоз. Советская власть — она всюдова... Так что ты нас, девка, на бога не бери. Мы люди трудящие. Накось, полюбуйся.— Он сложил ладони ковшом и протянул их впереди себя.— Мозóля на мозóле... Нас никто не может попрекнуть. От нас никому разору нету. Пошли, Степк...

Мужик пересунул топор и зашагал прочь. Вслед за ним, втянув голову, будто боясь, что его ударят, затрусил Степан.

Председательша отвернулась и долго стояла недвижно, глядя куда-то в другой конец деревни. Потом медленно возвратилась к повозке, волоча кнут по грязи.

— Какой нахал! — сказал Сараев, не зная, как выразить ей свое сочувствие.

Яценко не ответила. Она вытянула из-под капюшона угол платка, украдкой утерла глаза, влезла в телегу и кнутом огрела лошадь.

За селом, возле старого ветряка с растрепанными и зала-
танными кровельным железом крыльями, дорога повернула
влево, вниз через балку. Проехали, как по клавишам, через
шаткий бревенчатый мосток. Лошадь, навалившись на хомут,
кланяясь в коленки мордой, потащила на взем. Яценко
соскочила, пошла рядом. Сараев тоже перекинул ноги за
край возка.

— Ничего, сидите,— сказала она.

— Ну как же...— сунулся опять с тележки Сараев.

— Сидите, сидите... Я ведь в сапогах.

Он уступил и с чувством смущения убрал ноги в телегу.

— Вы на меня, наверно, сердитесь? — сказал он, испыты-
вая неловкость оттого, что остался сидеть.

— За что?

— Насчет камня...

— Да ну вас...— отмахнулась Яценко.

— Я ведь в тресте новый человек. И притом случайный.

— Почему ж случайный?

— Я архитектор, понимаете... Ну, а тут всякое такое...

Никакой архитектуры...

Она долго шла молча. Сараев косился на нее с повозки,
ожидая ответа на эту учиненную над ним несправедливость,
но она сказала про свое:

— В колхозе — ни бревна, а вы там все отмалчиваетесь...
Мы из-за вас целый сезон потеряли.

Сараев смотрел на нее, тяжело шагавшую рядом с коле-
сом, и все пытался определить, сколько ей лет. То она каза-
лась моложе его, то старше, особенно когда вот так серди-
лась и снисходительно говорила о его приезде.

— Я вам еще весной писала...

— А что за камень? Известняк, наверно? У вас тут зона
известняков.

— Не знаю... Наш печник в овраге разыскал. Принес, го-
ворит, гостинец. Били этот камень топором, в воде вымачи-
вали. Вроде бы крепкий. А так черт его знает... Ждали, жда-
ли от вас специалиста да и плюнули, стали разрабатывать
на свой страх и риск. Надо же как-то строиться, выходить из
положения. Село — оно вроде пасынка: цемент достань, гвоздь
достань, бревно какое, и то за ним надо своих людей в Каре-
лию посылать. А у нас у самих каждый мужчина на счету.
Вот послали троих — ни ответа, ни привета. Еще сбегут...
Разве нельзя снабжать по-человечески, централизованно?

К нам же не посылают косить хлеб для каждого учреждения, чтобы каждый себе...

Вдоль дороги, на взгорке, потянулось взрытое, истоптанное свеклянище. Видно, здесь еще недавно шла спешная уборка. Невдалеке мокро блестела брошенная железная бочка и какая-то непонятная машина. Лошадь неожиданно повернула к этой машине, переднее колесо завалилось в канаву. Сараев испуганно вцепился в бортик повозки.

— Куда! Куда ты! — крикнула Яценко, натягивая вожжи.

— Я лучше сойду... — сказал Сараев — Здесь уже не так грязно.

— Сидите... Это он культиватор увидел, — она поворотила коня на дорогу. — Я на нем три года агрономила. Он и усвоил: раз в поле машина — надо сворачивать.

— Ах вон оно что! — попытался засмеяться Сараев.

— Трактористы его за это Механиком прозвали. То морду солидолом намажут, то на хвост старых болтов нацепляют. Он хвостом по мухе махнет, а болты гремят. Трактористы хохочут... Все надо мной подшучивали.

Подобрав полы, она на ходу ловко вспрыгнула в телегу, подхлестнула коня кнутом. Тот старательно приналег, чаще закивав ушами под дугой.

— Но-о, пошел... пошел, парень, — она подбадривающе поцокала губами. — Я ведь сюда еще совсем пигалицей приехала. Прежний председатель сам за мной на станцию прикатил. Как же: новый агроном! А увидел и скривился: пигалица!

Из-за края капюшона Сараеву был виден один ее нос, розовый, как молодая картофелинка. Наверно, за лето он не раз лупился и теперь все еще розовел свежей кожицей.

— Ехали сюда, чемодан вывалился на колдобине, и все мои книжки рассыпались. Ползаю под колесами, собираю, а он мне с тележки: «Я думал, сундук приданого везешь. А у тебя одна теория». Из-за этой самой теории и пошло у нас с ним... В прошлом году сняли... Теперь вот сама... У разбитого корыта... Ни денег, ни севооборотов, одни папки с директивами... Библия... Директивы от Луки, от Матфея...

На водоразделе свернули с большака и ехали скошенным полем, жирно, невпопад исполосованным колесами. По жнивью за дождем призрачно бродили силуэты коров. Пастух — старик с холщовой сумкой на боку, — положив темные кисти рук на копец батога, стоял у края дороги в пустынном одиночестве верхового поля и, когда телега поравнялась, старорезимно снял шапку:

- Доброго здравьица.
- Здравствуйте, дядя Сергей.
- На карьер?
- Да вот специалиста везу.

— Да-а... Тюкают, тюкают, сердешные,— согласно закивал сивой бородой старик.— Отседова слышать, как стучать... Больше характером берут...

Сначала за краем поля высунулись серые купы леса, потом открылся и сам овраг, обрывистый, укрытый мглою. С его туманенного дна доносился глухой утробный стук. По крутым петлям еще не уверенной, недавно разведанной дороги меж облетевших кустов и мокрых стволов деревьев долго спускались вниз. Лошадь, приседая, давилась в хомуте, колеса наматывали на полевую грязь пестрые лапы опавших листьев.

Наконец скатились па самое дно, которое оказалось довольно ровной луговинной, еще свежо зеленевшей травой в отвесной теснине сумрачного безлистного леса. Под одинокой грушей, выбежавшей на поляну, дымил костер, высились штабеля белого камня, светлели срезами бревна, по ворохам орешника, снятого со склона, прыгали и перекликались сорочки выводки. У костра на плоском камне сидел мужик, прямо вытянув деревянную культю, заляпанную известковым месивом. Он выкатывал из углей прутиком печеную картошку, стучал ею по культе, обивая золу, и, разломив надвое, вяло, неохотно жевал. Заметив приехавших, мужик подогнул под себя здоровую ногу, поднялся на ней, как на домкрате.

— Ну как, Бусов, подается? — спросила Яценко.

— Да вот грызем... Как старуха сухарь.— Мужик обтер с губ картофельную сажу и посмотрел на склон, на темную стену леса, откуда доносились беспорядочные удары.— Кубов с полста набили. Кабы б погода, дак и возить можно...

Припадая на деревяшку, он повел гостей лесной тропой куда-то вверх.

— Отходу многовато,— говорил он, подныривая под орешник.— Половина идет в щебенку.

На склоне, очищенном от кустов и дернины, открылась ступенчатая выемка, похожая на огромную лестницу. Десятка три баб и девок, закутанных в платки по самые глаза, с ног до головы запорошенные мучнистой и слипшейся под дождем пылью, пристроившись на вырубленных карнизах, лопатами и топорами отбивали слонстые плиты и сбрасывали

их вниз. Другие подбирали обломки в носилки и спускались с ними вниз, на дно оврага.

— Вот и наш Донбасс,— сказал Бусов, достав кумачовый кисет.— Нужда всему обучит.

— Ох и Донбасс, будь оно неладно! — крихтя, выпрямилась баба с белым, захватанным носом.

Она отшвырнула кирку и, осыпая щебенку, спрыгнула с карниза.

Вслед за ней полезли и другие, ничком валясь на ворох мокрого, измазанного известью орешника.

Сараев поднял обломок, повертел его в руках.

— Я на Кавказе войну воевал,— сказал Бусов.— Так там все село из камня. Снаряд не берет. Крепость, а не дома.

— Там другой,— возразил Сараев.— Там песчаник.

— А этот какой же?

— У вас типичный известняк.

— Не согдится, что ли?

— Почему же. На хозяйственные постройки можно. Впрочем, надо исследовать лабораторно. Известняки тоже разные.

Бабы со вниманием следили, как он подобрал несколько обломков и завернул их в носовой платок.

— Товарищ начальник! — крикнула с хвороста баба с белым носом.— А что, тот-та кирпич на погреб согдится? Хочу себе натаскать да погреб подладить. А то мой совсем обсыпался.

— Вполне, вполне! — заверил Сараев.— Что касается отходов, то щебенку рекомендую мешать с цементом и лить блоки.

— Оно-то можно...— Бусов лизнул бок скрученной сигарки.— Кабы цемент вольный. Пишем, пишем в потребсоюз, а оттуда один ответ: ждите.

— М-да...— Сараев, сощурился, озабоченно оглядел карьер.

— Нам бы динамиту! — крикнул кто-то из бабьей кучки.— А то с тово-та камня рожать разучимся.

Бабы сдержанно хохотнули.

— Динамит — хрен с ним! — выкрикнула плечистая конопатая девка в солдатских галифе.— Мы сами динамит. Платили б только — что хошь свернем. Вы там, товарищ начальник, похлопочите, чтоб деньжонок подкинули. А то председатель говорит, будто деньги наши в банке арестовали. Что они, фальшивые, что ли?

— Это временно, товарищи,— сказала Яценко.— И не деньги, а счет.

— Я в этих бухгалтериях не разбираюсь,— жестко усмех-

нулась конопатая, доставая из-за пазухи зеркальце в картонных корочках. Сидя на хворосте с прямо вытянутыми ногами, она зажала зеркальце носками кирзовых сапог и, поглядывая в него, принялась перевязывать платок.

— Вот еще поковыряю натошак да и подамся в город. Там хоть на платье заработаю. А то, глядите, товарищ, в сверхсрочных штанах хожу. У мово ухажера отпяла.

Бабы захохотали, зыряка на Сараова из-под пизко насунутых платков озорными глазами.

— Чего, Наська, дурь перед человеком кажешь? — отвернулся Бусов. — Дура и есть дура. Тьфу!

— А ты, бригадир, помалкивай! — огрызнулась конопатая.

— Ничего, девчата. Как-нибудь выкрутимся. Вот построим новые фермы, Дом культуры заложим... — примирительно сказала Яценко. — Вы только постарайтесь. С первого дохода всем по платью наберу. Кто работает в карьере.

— Ох, да когда же тот-та рай будеть!

— Честное слово, наберу. По шерстяному. При свидетелях говорю. Первую же свадьбу в новом клубе сыграем.

— Нам бы пока хоть рукавицы. Все руки оборвали.

Начали спускаться в овраг, туда, где дымился полузатухший костерок. И уже с тропинки, обернувшись, Яценко спросила:

— А что, девчата, обед еще не привозили?

— Митька поехал! — крикнула Наська. — Встретите на дороге, чертыхните, чтоб швыдче погонял, зараза.

— Надо бы здесь кухню оборудовать, — обратилась Яценко к Бусову. — А то какой это обед — пока довезет, все разболтает. Да и остынет. Съездите, заберите в телятнике котел.

— Сделаем.

— И брезент с машины. Скажите шоферу, что я велела. На рукавицы. Сами и пошьете. А ломов я вам привезла. Тридцать штук. Хватит?

Бусов кивнул и, обернувшись, замахал, как на кур, обеими руками:

— Давай, бабы-девки! Шевелись, родимые!

Бабы нехотя, разморенно поднялись с валежника. Наська подперла бока кулаками, поломала взад-вперед поясницу, пошла следом в распоротых на толстых икрах галифе, волоча за собой кувалду. И вдруг с отчаянной веселостью, с вызовом, дурашливо загорланила:

С неба звездочка упадет
Бригадиру на ремень.
Бригадир гулять поманет
И запишет трудовень...

И, взмахнув кувалдой, вдрызг раскрошила подвернувшуюся глыбу плитняка:

— И-эх, мать твою курицу!

Бусов выгрузил ломы, и, пока телега поднималась наверх, со дна балки, из ее занавешенной дождем глубины долго слышались тупые удары лопат и обухов.

IV

Уже в сумерки Механик дотащил председательскую колесницу до крыльца конторы. Он шумно вздохнул, понюхал затертое штанами перильце и, грызнув его своими желтыми долотами, принялся устало жевать отодранную щепку.

В конторе уже никого не было. Безлюдно темнели забрызганные алебастром окна.

— Ну, что будем делать? — Прислонясь к перильцу, Яценко задумчиво уставилась на желтые штилеты Сараева. — Что же вы так-то... налегке?

Сараев смущенно улыбнулся. Он был, наверно, действительно жалок в этих форсистых измазанных башмаках.

— Я, наверно, пойду... — Он посмотрел из-под навеса в низкое сумеречное небо. — Пока еще светло...

— На пятичасовой вы уже опоздали. А до вечернего еще часа три.

— Подожду в буфете.

— Какие у нас буфеты...

— Да, я забыл...

— Пойдемте лучше, я покормлю вас. Только сначала отведу на конюшню лошадь. Хорошо?

— Да, конечно... Конь тоже проголодался. — Сараев сочувственно посмотрел на Механика, громыхавшего во рту удилами.

Яценко вскоре вернулась и заставила Сараева переобуться в принесенные чьи-то просторные, набитые соломой резиновые сапоги.

Они шли вечеряющей улицей, пробираясь у самых завалинок, придерживаясь за ослизлые плетни, чтобы не поскользнуться. В соломенных кровлях копошился дождь, пахло мокрой слежалой соломой. Со дворов журчал тихий гомон засыпающих гусей. Иногда за плетневой стеной сарая

звенело ведро под струями молока. Внизу на пустых огородах, смутно белея боками, по-детски просяще взмыкивал теленок.

Сараев не любил деревенских вечеров, даже тех, подмосковных, которые встречали у костра с гитарой. Чужое жилье на закате солнца всегда почему-то навевало на него щемящую тоску, острое чувство бездомности, а эта безлюдная незнакомая улица, затерявшаяся где-то среди осенних полей,— особенно. Иногда в темноте окна, за кустиками геранек, мелькало чье-то размытое сумеречно-тусклое лицо то ли старухи, то ли девочки, и ему приходили странные мысли о том, что вот он прошел мимо и никогда, до конца своих дней, не увидит этого человека, как никогда не видел его прежде. Он устал, проголодался и, плетясь за Яценко, не чаял добраться до твердого сухого места.

Яценко остановилась перед сплетенной из лозы калиткой и, подождав Сараева, сказала:

— Проходите. Собак нет...

Истинно втягивая голову, Сараев вошел в низкие темные сени с запахом насести. Яценко долго возилась с замком, наконец отомкнула какую-то внутреннюю дверь. Придерживая Сараева за рукав, она провела его в темную глубину хаты, заполненную одиноким тиканьем часов, нащупала где-то спички и засветила керосиновую лампочку на столе.

— Ну, раздевайтесь? — скорее не предложила, а спросила она.— Это моя обитель. Так что не церемоньтесь.

Сараев принялся стаскивать плащ, от которого у него занемели плечи.

— Здесь раньше была наша старая контора. Арендовали у одной старушки. А теперь поселилась я... Вы умеете разжигать примус?

— Попробую...— неуверенно сказал Сараев. Пол и крыша над головой заметно улучшили его настроение.

— Пробуйте... Вот вам сковорода. В этом ящике сало и яйца... Я скоро вернусь...

Она вышла. Сараев присел было перед лавкой с примусом, но разжигать его не решился: совершенно забыл, как это делается. Он отрезал кусочек сала и, с удовольствием посасывая его, в одних носках прошелся по комнате. На старом, забрызганном чернилами конторском столе потрогал какие-то ростки, густо пророщенные в простой тарелке, просмотрел несколько пластинок, сложенных стопкой на патефоне, о существовании которого тоже позабыл начисто, потом подошел к плетеной этажерке с «художественными» ожогами на

прутьях. Этажерку распирали книги, а верхнюю полку венчали зеленый жестяной будильник и матовый остроконечный пузырек духов. Пузырек приятно и сладостно пах, напомнив Сараеву свет, людской веселый гомон, сверкающий бег автомобилей.

Вскоре вошла запыхавшаяся Яценко, лицо ее было мокро от дождя.

— Припустил не на шутку,— сказала она и поставила на стол бутылку «Столичной».— Есть хочется до смерти!

Сараев приятно удивился: есть действительно хотелось до смерти, и он еще по дороге думал о том, что не худо бы выпить стопку. К нему пришло ветерпеливое оживление.

Не раздеваясь, она разожгла примус, весело зашумевший на лавке синей короной, и, обернувшись, спросила:

— Может быть, подогреем сначала борщ?

— Угу,— напевно произнес Сараев.

— Ничего, что вчерашний?

— О чем разговор? — нагнувшись, он с тем же мурлыкающим настроением разглядывал корочки книг.

— Некогда готовить. Варю сразу дня на три...

Поставив на примус кастрюлю, она сдернула тяжелый, словно скроенный из толя, громыхающий плащ, ватную теплогрeйку, раскутала голову и, присев на скамейку у печки, по-мужски, нога об ногу, стащила сапоги.

— Чертовы латы,— сказала она.— Не оборачивайтесь, пожалуйста. Я переоденусь.

Сараев вытащил какую-то «Агротехнику твердых пшениц» и отошел с ней к окну. Он услышал ее легкие босые шажки по полу, потом шуршание платьев, которые по студенческому обычаю висели на стене под простыней, слышал, как она вытащила из-под койки чемодан и выложила туфли.

— Надоели все эти фуфайки и сапоги,— говорила она у него за спиной, торопливо раздирая свалывшиеся волосы расческой.— Иногда ноги просто скучают по туфлям на каблучках...

Звякнула пробка от духов, и она сказала:

— Ну вот... Можете теперь не читать...

Сараев захлопнул книжку и во второй раз удивился: перед ним после грубых своих одежд предстало неожиданно хрупкое существо в голубеньком горошковом платьице, с трогательно тонкой белой шеей, с неловко и наспех сделанной прической из светлых коротких волос. Она с чуть испуганной улыбкой взглянула на Сараева, будто спрашивала: «Ну как теперь?»

— О-о! — прицокнул языком Сараев.

Но в самом колыхнулось чувство снисхождения и даже нечто похожее на жалость к этой девчонке, вдруг вместе с плащом и сапогами утратившей олицетворение прежней административности. Ей не удалось только снять с лица свою председательскую маску, крепко прикипевшую от ветров и непогоды, и повесить ее, хотя бы временно, на гвоздь рядом с брезентовым дождевиком. Граница этой маски резко делила надвое высокий лоб, проходила возле маленьких ушей к подбородку, и было непривычно и даже поначалу неприятно видеть этот контраст белой нежной девичьей шеи и потемневшего красновато-оливкового лица со светлыми глазами. Перед ним стояла почти что школьница со странно старившим ее прежним, уже знакомым Сараеву лицом.

— Вам очень идет голубое, — проговорил Сараев.

— Давайте, давайте есть, — смутилась она окончательно и празднично, счастливо застучала каблуками высоких туфель к примусу.

Сараев помог нарезать огурцы и помидоры, нашлась половинка арбуза. Яценко поставила на стол две дымящиеся тарелки с борщом, сковороду с глазуней, занавесила окна, и они сели.

— Ну? — она посмотрела на Сараева с оживлением хозяйки, наконец-то добравшейся до стола. — За что выпьем?

— Наверно, за хозяйку?

— Нет... Выпьем за этот злополучный камень. Чтоб не разваливался...

— За камень так за камень.

Чокнулись, она храбро выпила свои полстакана, зажмурилась, блеснув слезинками в ресницах, и торопливо кольнула вилкой дольку помидора.

— Если все пойдет хорошо — поставим там завод. Купим камнерезную машину. Я читала — есть такие.

— Это очень дорого.

— Не век же мы будем без денег... Ешьте борщ — остынет... Вообще-то нам обещали ссуду на строительство. Если вы дадите обоснованное заключение. Банк требует гарантий.

— Постараемся.

— Да уж знаю эти старания. Мне вообще-то не следовало с вами чокаться.

— Не понимаю.

— Из-за вашей волокиты. Да что вам? Над вами не каплет. Кругом асфальты. Шаг ступил — булочная, другой — кинотеатр. А у нас дети ходят за четыре километра в шко-

лу. Встают в шесть утра и идут в темноте по такой грязице.

— Да, грязь у вас действительно классическая. Бр-р! — Сараев зябко передернул плечами и сам разлил водку по стаканам. — А вы сами разве не горожанка?

— Нет, я родилась в Заволжье. В степном совхозе.

— И где же грязь лучше? — пошутил Сараев.

— Далась вам эта грязь. У нас там такое раздолье, вы даже не представляете. Один раз, я только в третий класс перешла, отвязала чью-то лошадь под седлом и ускакала в степь. Хотела посмотреть, что там за горизонтом, какой он, край земли. Так никуда и не доехала. Все хлеба и хлеба.

— Вы сюда после института?

— Да, я из Тимирязевки.

— Это что же, по сердечному влечению?

— Землю я очень люблю. Но не так я представляла себе дело, когда училась. Трудно. Сами видели. Все запущено, особенно земля. Иногда становится грустно. У меня папа тоже агроном, там, в Саратове. Крупный селекционер, не слышали? Павел Григорьевич Яценко. Между прочим, вот та книга, что вы листали, — его работа.

— О!

— Но дело не в этом. Он мне говорил, что мы много шаманим в сельском хозяйстве. Бубны и знахарство. А нужно решительное переливание крови. Нужны серьезные государственные капиталовложения, хорошие машины, дороги, удобства, знания. Современный хлеб надо делать серьезно, достойно человеческого разума. Когда я приезжала домой на каникулы, мы с ним, бывало, всю ночь проговорим. Вам не скучно? А то я все про свое да про свое.

— Да нет. Отчего же. Но, по-моему, это не женское дело — председательствовать.

— Почему? Женщин-председателей много. Есть даже Герои Труда.

— Мне кажется, они больше мужчины, чем женщины.

— Как это?

— Если несколько лет вот так походить в сапожищах, среди трактористов да всяких уполномоченных, мало что останется женского. Я заметил, у всех руководящих женщин какие-то мужские физиономии.

— Зато у всех руководящих мужчин физиономии бабьи. Это я тоже заметила.

— Один — ноль в вашу пользу! — весело рассмеялся Сараев.

Он стукнул стаканом о ее стакан, выпил, подышал в тонкие пальцы с золотым колечком и, закусывая яичницей, в свою очередь возразил:

— Нет, в самом деле. У них ведь должны быть семья, дети. Как-то не вяжется: председатель и — у нее дети. Так же не представляю себе женщину-секретаря — ну, допустим, райкома — с ребенком на руках. Всякие там бюро, выговор... Все это какие-то солдатские должности. Тут: или — или.

— По-вашему, я тоже не женщина?

— Ну! Вы еще вполне! — воскликнул Сараев. — Правда, когда ехал сюда, думал, что вы мужчина. Этакий с брюшком. Товарищ Яценко. Сбила с толку вапа, прошу прощения, бесполоая фамилия.

— Кстати, меня зовут Тоней, — тихо, с легкой обидой сказала она.

— Тогда выпьем за товарища Тоню. За милую, несмотря ни на что, женственную Тоню!

— Да ну вас! Вы все время надо мной подсмеиваетесь. Думаете, я не понимаю?

— Помилуйте! Ничуть даже. Совершенно искренне. Я ведь заметил, как вы утром плакали, когда встретились с шабашниками. Это — верный признак, что вы еще не растратили себя, как женщину.

— Не выдумывайте. Ничего я не плакала. И давайте лучше есть арбуз.

— С удовольствием! Но, извините, вы замужем?

Краска залила ее маленькие уши.

— Зачем вам это?

— Ну... поскольку мы затронули эту тему.

— Я еще несовершеннолетняя. Ясно?

— Нет, вы мне правитесь! — рассмеялся Сараев. — Вам палец в рот не клади. Ну, а если, кроме шуток?

— Была. — Она усмехнулась и в то же время вызывающе посмотрела на Сараева. — Не сошлись характером. Понятно? Я неживчивая и упрямая. Я не женщина, я председатель. Вы же сами говорили: или — или.

— А вы и вправду злока.

— Какая есть.

Сараев достал портсигар и, напевая, принялся закуривать. Подперев подбородок ладонями, Тоня с задумчивым вниманием разглядывала его свежее, чистое лицо, синий, щегольски повязанный галстук, белый, хорошо накрахмаленный воротничок, следила за его интеллигентно-красивыми пальцами, разминавшими сигарету. Сквозь ее оливковую председатель-

скую маску смотрели чуть сощуренные устало-грустные глаза.

— Что так скептически? — спросил Сараев, окутывая себя дымом, как завесой.

— Так... привыкаю. Вкусно пахнут сигареты.

— Хотите? — Сараев протянул через стол раскрытый портсигар.

— Нет, спасибо. Курить совсем не то. Пробовала. Дым приятен только со стороны. Впрочем, возьму одну штучку. На память, что в моем доме был мужчина.

— Так уж и не бывают.

— Представьте, нет. Некому. У нас тут все больше допризывники. Вот платья еще со студенческих времен висят, — она задумчиво поводила по столу арбузной коркой. — Разве что съезжу когда на совещание. Я — куда ни шло, сама напросилась. Мне наших девчонок жалко. Хорошие все девушки, а замуж выйти не за кого. Я их даже в колхозе не особенно стала удерживать. И ругают меня за это, как-никак все-таки рабочая сила, а все равно потихоньку отпускаю, если попросятся. Сила-то сила, да ведь не конячья. Люди ведь. Вот построим себе новый Дворец культуры, купим хороший оркестр, тогда... А знаете что, приезжайте к нам строить клуб. Честное слово! — она выдвинула в столе ящик, вырвала из общей тетрадки листок. — Вот вам карандаш, бумага, давайте вместе прикинем, как бы это сделать по-лучше.

— Так вдруг?

— А что? Вы же архитектор.

— Нужна смета, данные о материалах и прочее и прочее...

— Вот видите, опять волокита. Неужели у вас нет никакой фантазии?

— Фантазия должна опираться на реальный расчет. Я лучше вам пришлю. Сделаю, как положено.

— Эх, вы. Дайте сюда! — она забрала у Сараева листок и совсем по-детски принялась чиркать и набрасывать какие-то линии.

— Это что же у вас, колонны, что ли? — спросил Сараев, зайдя за ее спину.

— Да, колонны. Все это колонны. Много колонн, а на них, не знаю, как это по-вашему называется... Вот так должно быть сделано...

— Это называется архитрав. А над ним фриз...

— А здесь мы сделаем вот так... Понимаете, такие ши-

рокие крылья, над всеми колоннами, с лепными листьями...

— Целый храм Афродиты! — усмехнулся Сараев. — Осталось только украсить фронтон вашим собственным барельефом в ниспадающих одеждах.

— Пожалуйста, не смейтесь! Я только не умею нарисовать, но я его вижу! Весь белый, легкий, солнечный, а здесь вот и здесь посадим липы. Больше всего я люблю липы. А в общем, у меня тут ничего не получилось, — она крестом перечеркнула рисунок. — Ерунда какая-то.

— Зачем же! Отдайте мне этот набросок.

Он свернул листок вчетверо и спрятал в боковой карман, хотя знал, что эта бумажка никуда не пригодится: все эти колонны и фронтоны с лепной мишурой давно вышли из моды. Если уж проектировать, то надо что-то современное: стекло, бетон, лаконичные формы и линии. И потом, неужели она думает, что из плитняка можно построить что-либо стоящее? Святая простота! Разве что коровник.

— Давайте выпьем за ваш храм Афродиты! — предложил Сараев.

— Если серьезно, то давайте! — она потрогала пунцово пылавшую щеку. — Подумать, сколько сегодня выпила!

Вскипятили чай, потом Тоня раскрыла патефон, поставила пластинку.

— Этот патефон мне подарили на ВДНХ. За капусту. Когда я еще была агрономом. В пятьдесят шестом году.

Из-под иглы выпорхнула экзотическая шульженковская «Голубка». Сараев ее уже пережил, переболел ею, но здесь, в деревенской избе, рядом со сковородой и недоеденными огурцами на столе она прозвучала неожиданно свежо и зовуще.

— Хотите, потанцуем? — предложила Тоня. — Что-то взбрело в голову. Не помню, когда я танцевала.

Сараев взглянул на часы.

— Успеете, — она подошла, положила руку на его плечо, и они, привыкая друг к другу, неловко сделали несколько шагов.

— В сущности, довольно вульгарная песенка, — заметил Сараев.

— А мне нравится. В ней все багровое и голубое. Закат и море.

— У нас в городе ее уже заиграли. Под «Голубку» продают лотерейные билеты.

— Ну и пусть. Говорят, если увидишь море, хотя бы один раз, будешь скучать.

— Давайте проверим вместе. Берите отпуск, и махнем в Гагры.

— Нет. Это пока мне не по пути. Вот когда разбогатеем, построим...

— Храм Афродиты?

— Какой же вы несносный! — поравнявшись с окном, она протянула руку и на ходу переставила иглу. Пластинка запела:

Когда из моей Гаваны отплыл я вдаль,
Лишь ты угадать сумела мою печаль...

— Я почему-то на вас все время злюсь,— сказала она, жарко дыша ему в шею.

— За что же?

— Не знаю...

Он ощущал, как под ладонью ходила, двигалась ее остренькая лопатка, и чувствовал, как Тоня вся тянулась, стараясь танцевать на цыпочках. Видимо, эта в общем-то бацальная мелодия и на самом деле волновала ее, будоражила душу, и Сараеву стало жаль ее и даже прихлынуло какое-то чувство, похожее на нежность.

— Не знаю...— повторила она и пытливо заглянула в его глаза.— Серьезно, приезжайте к нам строить...

Слушая, Сараев перевел взгляд на ее обветренные, жаркие и очень близкие губы, говорившие что-то еще о стройке, о ее планах, и вдруг, сразу опьянев, больно сдавив ее руку, порывисто нагнулся и зажал этот так близко говорящий горячий рот своими губами.

— Приеду, честное слово приеду...— торопливо, полоумно твердил он, не справляясь с дыханием.— Верь мне...

...На вечерний поезд он опоздал и уехал перед рассветом пятичасовым.

— Я тебя провожу,— сказала она.

Одевались, не зажигая лампы. Было слышно, как на этажерке, будто вынутое сердце, стучал будильник. Она сунула босые ноги в сапоги, набросила дождевик, ничего не пододев под него, и, шурша бумагой, стала заворачивать штилеты.

— Ты тоже надевай сапоги,— сказала она.

— Это же чужие.

— Ничего. Ты ведь приедешь?

— Да, конечно.

— Я буду очень ждать. Придумай что-нибудь. Скажи, что... Ну, что ты еще не совсем осмотрел карьер. Или попросись в соседний район.

Они вышли во двор. Было совсем еще темно. Невидимый дождь по-прежнему лениво булькал в невидимых лужах. Вдали, в поле, между какими-то темными сараями светил одинокий фонарь.

— Это окно нашей будки. Пойдем прямо на него. Так ближе.

Шли по глыбистой, перепаханной земле, не видя ни самой земли, ни друг друга. Сапоги сразу же отяжелели. Позади, на деревне, скулила собака — единственный звук в этой вязкой тишине поля.

— Ты идешь? — спросила она.

— Иду. Я чуть было не потерял сапог.

— Дай мне руку.

Она подождала его и засунула в его рукав маленькую холодную ладошку.

— Вот так. А то вдруг показалось, что тебя вовсе нет. И не было.

Он забрал ее пальцы в кулак, и они пошли, держась на огонек.

Где-то на полпути Сараев остановился.

— Ты беги. Я теперь сам.

— Нет.

Он обернулся и посмотрел на деревню. Деревни не было. Только черная пустота и тоскливый лай собаки в той стороне.

— Беги.

— Нет. Не хочу.

— Озябнешь.

— Нет! Не могу вот так сразу вернуться в пустую комнату... И потом я люблю смотреть на поезда. Особенно ночью. Когда с огнями.

Она упрямо потянула его за руку.

Где-то слева глухо зашумело. Из-за поворота показался яркий немигающий глаз. Поворачивая, узкий слепящий луч полоснул поле, на мгновение высветил белый остов церквушки в тонкой пряже дождя, замелькал по кладбищенским крестам.

— Это твой!

Они побежали, держась за руки и гулякая сапогами, луч прожектора обдал их колючим боковым светом. Сараев увидел, как между пол распаханного дождевика часто мелькали ее голые колени.

— Я не думала... что он... так скоро... — выкрикнула она порывисто.

Они влетели в грохот притормаживающего состава, стоящего на этом разъезде всего одну минуту. Сараев, задохнувшийся, со звоном в ушах, с колотящимся сердцем, из последних сил вскарабкался на чудовищно высокую, отвесную подножку и, тяжело хватая всем нутром воздух, невидяще посмотрел вниз, где должна быть Тоня. Она колотила его кулаком по сапогу и совала какой-то сверток.

— Туфли, туфли забыл,— разобрал он.— Боже мой, как все нелепо.

Паровоз протяжно взыв, будка с красным окном качнулась и поплыла в сторону. У его ног замелькала раскрытая Тонина голова. В свете тамбурного фонаря он видел ее растерянное, вопрошающее лицо, почти голую грудь и ночную сорочку, белевшую между пол дождевика, который она забыла запахнуть. Тоня что-то кричала ему, махала на себя поднятой рукой, но он ничего не понял. Вскоре она отстала и исчезла за шумом колес...

Еще оглохший от бега и стука в висках, держась за поручни, Сараев повис на руках над рябо мелькающей насыпью. Он еще пытался что-то разглядеть позади, но видел только красноватый оконный квадрат будки, перечерченный крестом рамы и косым дождем. В последнюю минуту ему показалось, будто кто-то остановился против окна, загородив свет. Но поезд выгнулся, поворачивая, и окно исчезло вовсе.

— Гражданин, не положено.

Сараев втянулся в вагон, проводник молча захлопнул за ним дверь и повернул завертку...

V

Вспомнив теперь, спустя десять лет, всю эту историю, застенчивую многими другими, приключавшимися с ним в более поздние времена, Сараев испытывал нечто похожее на волнение. Она тогда написала ему письмо, потом спустя неделю — второе. Но как-то так получилось, что он не ответил: были срочные командировки в другие районы. Потом она замолчала... А вскоре подвернулся случай, и он спешно распросился с этим «Сельстроем».

Уже по дороге в Москву он вспомнил, что в кармане брошенного на квартире счетоводского дождевика, который он больше не надевал ни разу, остались образцы известняка, взятого им для лабораторного анализа. Он хотел было написать своим прежним сослуживцам, чтобы они забрали эти образцы и исследовали их без него. Но, приехав в столицу,

как-то замотался с устройством на новом месте. К тому же вскоре с головой ушел в срочную работу и выдержал интересный проектный конкурс. Теперь он вот уже несколько лет возглавляет одно из творческих объединений Москвы.

...Сараев курил, машинально, не глядя, стряхивая пепел в тарелку с грушами и старался не пропустить те знакомые места. А за окном все бежала, все разворачивалась равнина, сумерки синили и размывали пустынное жнивье, близкие от дороги скирды молодой соломы, и уже маячили у горизонта первые огни каких-то деревень.

— Да... Храм Афродиты... Где она теперь? Наверно, вышла замуж за какого-нибудь тракториста... А может быть, просто уехала...

Подошел военный, попросил разрешения сесть за его столик. Сараев кивнул, вылил остатки вина в фужер, прополоскал рот и отвернулся к окну. Но уже ничего нельзя было разобрать, кроме бегущих по обочине отражений вагонных окон.

Правда, в одном месте промелькнуло нечто, похожее на ту полуразоренную церквушку, а вскоре за ней, дальше в поле, вспыхнуло огнями широких окон какое-то крупное строение. Но то ли это было место, та ли деревня,— Сараев не мог бы сказать наверняка. Скорее всего, железнодорожная станция, каких всюду понаставили за последнее время вместе с переводом южной магистрали на электрическую тягу. Впрочем, с этой упрямой девицей все может случиться. Не мудрено, что чего-нибудь и нагородила...

— Что там такое? — спросил военный.

— Так... Смотрю знакомые места.

— Воевали здесь?

— Да, знаете...

— Курская дуга... А я под Ленинградом... Может быть, возьмем по коньячку?

— Что ж, пожалуй,— сказал Сараев, задергивая занавеску.— Делать все равно нечего.

ЕСТЬ ЛИ ЖИЗНЬ НА ДРУГИХ ПЛАНЕТАХ?

Низкобрюхий паровозик натужным рывком сдвинул состав и, тяжело и черно дымя в пристанционные вязы, потащил за выходную стрелку. Станция сиротливо опустела и попросторнела. Стало слышно, как верещали воробьи, облепившие приземистую крышу какого-то склада.

Сопедавшие с поезда немногие пассажиры быстро разошлись, и Стремухов остался один возле своего чемоданчика. В здешних местах он оказался впервые, но вообще-то его знали во многих районах: он разъезжал с лекциями на планетно-космическую тематику. Синие афишки, усыпанные звездами, еще долго после его наездов висели на клубных дверях, сельмагах или амбарах.

Был он трудолюбивым и добросовестным лектором, следил за печатью, аккуратно вырезал бритвочкой заметки или отдельные кусочки из них, вырезки наклеивал на плотный листок цветной бумаги и складывал в специальные папки: отдельно по Марсу, отдельно по Венере, по звездам и галактикам. Это коллекционирование, особенно после того, как от него неизвестно почему ушла жена Катя, перешло границы утилитарного лекторского интереса и превратилось в тихую, безмолвную страсть.

Командировка была последней перед отпуском, и Стремухов ехал сюда не особенно охотно. И вообще он недолюбливал те места, где нет чайных и заезжих домов. Дело тут во все не в том, что он был человеком изнеженным и не терпел неудобств. Напротив. Прочитав лекцию, он старался уединиться и переночевать где-нибудь на диванчике в сельсовете или в учительской. Но местные власти и слушать не хотели: «Какой может быть разговор! Будет еще где-то там валяться... Пошли, пошли!» И Стремухова вели к кому-нибудь в хату. Тут-то все и начиналось. Его сажали в красный угол, застилали белым хрустящим рушником колени, и, пока он сидел этаким Иисусом Христом, все живое в доме, начиная от старухи хозяйки и кончая замороженными внучатами и кошкой, разглядывало его всяк на свой манер, ловило каж-

дое его движение. Он же совершенно не умел есть на людях, рассеянно жевал одни только соленые огурцы, хотя стол обычно был обильно уставлен всякой всячиной. Молодая хозяйка пугалась, начинала за что-то извиняться и, отозвав на кухню мужа, срочно усылала его из дому. Муж через некоторое время прибежал, и по его счастливым глазам было видно, что достал-таки... Он с кхеком, будто припечатывал штемпель, ставил поллитровку на стол.

Бутылка мерцала холодной, самоуверенной прозрачностью своего содержимого, при одном виде которого у Стремухова запотевали очки. Он испуганно благодарил и показывал на сердце.

После ужина хозяйка начинала стелить свою двухспальную кровать, взбивать кулаками перину и вытаскивать из сундука чистые наволочки и простыни, и Стремухов, мучимый неловкостью, бормотал, прося постелить где-нибудь на полу.

Но хуже всего было ячью, если приходила надобность выйти во двор. Он не запоминал дверей и особенно всяких задвижек и терпеливо долеживал до утра.

Все это ему еще только предстояло, когда он сошел на перрон в Сенцовых Будах.

Проводив глазами поезд, Стремухов без всякого интереса оглядел станцию. Неподалеку косолапо переваливался брюхатый гусак с вывернутым крылом. Крыло торчало из правого бока наподобие обнаженной сабли. Гусак разговаривал сам с собой сипловатым басом и подбирал просыпанные семечки. Подойдя ближе, гусь замолчал, строго то одним, то другим глазом посмотрел на Стремухова, будто перронный милиционер, и к Стремухову подступило беспокойное чувство бездомности.

— Сейчас пойду,— сказал он не то гусаку, не то самому себе, поправил очки и взялся за чемоданчик.

От Сенцовых Буд Стремухову надо было ехать еще километров тридцать, в сухомлиновскую группу колхозов. Распросив дорогу, он вышел за станцию.

Возле дорожного указателя на большом перевязанном чемодане сидела девушка в голубой вязаной кофточке. Желто-нестрая косынка шалашиком укрывала ее лицо от солнца. Стремухов поздоровался, приподнял шляпу и осведомился, как добираются до Сухомлинова. Девушка ответила, что к поезду приходила почтовая машина, что она уже ушла и теперь придется караулить попутную.

Стремухов тоже присел. Солнце сквозь плащ припекало

его спину, галоши сделались горячими. За дорогой, уже сухой, посветлевшей, нежилась под солнцем яркая, ровная зелень озимых. Оттуда тянуло теплой, разомлевшей пашней и травянистыми хлебами. Над головой счастливо звенели жаворонки, в поселке горланили петухи, и все вокруг было по-майски радостно и празднично — и земля, и небо, и все, что росло на земле и парило в воздухе, а где-то по другую сторону Сенцовых Буд глухо и благодушно, как добрый старик, ворчал и погромыхивал гром.

Стремухов снял шляпу, надел ее на острое колено. Ветерок прохладно погладил его по влажным волосам. Он облегченно вздохнул.

Добирался он сюда на двух поездах, и оба были неудобны по времени. На скорый попал поздним вечером, ехать было какой-то пустяк, и он не брал постели. Ночью пересел вот на этот «дачник», проторчав перед тем часа полтора в ожидании посадки в переполненном вокзальчике. «Дачник» едва тащился, то и дело скрежетал тормозными колодками и надолго замирал почти возле каждой будки. В вагоне стоял повальный и беспечный храп. Стремухов и сам было прикорнул на лавке, но к нему, как к единственному бодрствующему пассажиру, привязался какой-то заросший босой старик, а может быть и не старик, в офицерской шинели. Старик дергал Стремухова за рукав и, блудливо озираясь, упрашивал сойти с ним на каком-то разъезде. По его словам, он там раскрыл заговор и заговорщиков-де надобно похватать, пока еще не рассвело. Стремухов безропотно слушал, потом, окончательно умаявшись, не выдержал, извинился, сказал, что ему пора выходить, и пересел в другой вагон.

— А вам до самого Сухомлинова? — спросила девушка.

— Да...

— Наверно, в командировку?

— Да, знаете...

Девушка посмотрела из-под своего шалашика на галопи Стремухова и замолчала.

Молчал и Стремухов.

Тем временем показалась машина. Девушка вышла на дорогу, подняла руку. ЗИЛ прошел было мимо, но потом прижался к обочине и остановился. Девушка переговорила с шофером и замахала Стремухову:

— Идите! Ну, идите же!

Кузов огненно пламенел новыми кирпичами. Кирпичи были сложены аккуратно, ряд к ряду, вровень с бортами. Стремухов, успевший, пока влезал, выпачкаться в кирпичной, еще

не обдутой заводской пылью, присел сверху штабеля на корточки, собираясь ехать так до конца.

— Вывалитесь,— усмехнулась попутчица.— Идите сюда.

Стремухов послушно перебрался назад. Там было свободное место и кусок брезента.

— Только знаете, машина не до самого Сухомлинова,— сказала девушка.— Она свернет на маслозавод. Я вас не предупредила... Но там недалеко.

— Ничего,— кивнул Стремухов.— А вы здешняя?

— Сухомлиновская.

— На каникулы?

— Ездил в область на семинар.— Девушка посматривала на бегущие по сторонам поля, и ее косынка, завязанная под подбородком, то парусила, то щелкала за спиной острым углом. Видно, ей было приятно узнавание дороги в преддверии дома.— Я библиотекарь.— И, как бы желая убедить, что дело ее не шуточное, добавила: — У нас библиотека — двенадцать тысяч томов. В районе такой пелу... Смотрите, какая туча!

Позади грузовика, над Сенцовыми Будами, стояла туча. На ее глухой синеве нежно вырисовывались молодая, светлая зелень придорожной посадки и белый дымок товарняка. Туча казалась неподвижной, хотя полчаса назад ее вовсе не было. Она торжественно-величаво разворачивала свои многоярусные, сине-пепельные полотна, отороченные белым барашком. В ее темных разломах все так же неспешно и добродушно рокотал гром.

— А мне нравится! — воскликнула девушка, хотя Стремухов ничего не сказал.— Как в театре. Так бывает перед спектаклем. Смотрите — опущен занавес, а за ним что-то передвигают.

— Мы успеем? — тревожно спросил Стремухов.

Через полчаса ЗИЛ остановился перед спуском в широкую низину. Открылась речушка в молодых осоках. Луг пестрел гусиными выводками. Не переезжая мост, машина остановилась. Вышел шофер, помог выгрузиться, спросил у Стремухова закурить. Стремухов развел руками, и шофер, хлопнув дверцей, покотил вправо, верхней дорогой.

— Теперь мы дома! — сказала девушка.— Вот только пробежать луг и взойти на гору.

Тем временем туча все так же не спеша коснулась солнца, подержала на кончике вытянутого языка добела раскаленный шар, будто остужая его своим дыханием, и медленно проглотила, засветившись изнутри. Солнце в какие-то пропре-

хи выпустило широкий сноп лучей, сверху донизу косо перечеркнувший тучу, но в этот миг весело и властно чертыхнулся гром, и лучи убрались.

— Ой, что будет! — крикнула девушка, перевязывая потуже косынку.— Побежали!

Подхватив свой чемодан, девушка первой стала спускаться вниз. За ней трусил Стремухов, подшаркивая галошами по сухой, убитой дороге. Скат полого и длинно уходил к мосту.

Налетел и упруго толкнул в спину ветер — теплый и влажный, сытый травами, как дыхание стада. По косогору пробежала белесая полоса прижатой озими, ветер заплясал крученым столбом пыли и начисто вымел деревянный настил. Девушка поймала взметнувшийся подол платья, нагнулась, зажала его в коленях. И тотчас ветер набросился на Стремухова, безо всякого почтения, дерзко и хулиганисто, заламывая поля его шляпы то кверху, то книзу. Стремухов всплеснул руками, но не успел — шляпа взлетела в воздух. Стремухов бросил свой чемоданчик, побежал догонять. Он пеловко подпрыгивал, взмахивал руками. Но шляпа не давалась и, вращаясь вокруг своей оси, синим велюровым Сатурном перелетела через кювет, упала в траву, покати-лась.

Стремухов, тонконогий, в обдутых, пусто трепыхавшихся брюках, бежал следом, норовя наступить на шляпу галошей. Но его обогнала девушка и, смеясь и мелькая белыми тапочками, поймала шляпу почти у самой воды.

— Какой... вет... ветер, однако! — задыхаясь прокричал Стремухов. Его хохолок свалился на лоб и запутался в очках. Тугой ветер не давал ему сказать еще какие-то слова, и он, простоволосый и растрепанный, смотрел, как вихри заламывали и клали на воду зеленые мечи аира.

Дождь догнал их на мосту. Он спустился с пригорка, шелестя, будто тысячекрылая стая скворцов. Быстро темнела чуть пылившая дорога.

Первые капли редко и гулко зашлепали по теплому настилу. Будто кто-то наискосок вгонял новенькие, блестящие гвозди, от которых оставались видны одни только темные круговины шляпок. И вдруг зашумело...

— Ага-га-га-а! — торжествующе загрохотал гром.

Пока девушка, присев на чемодан, разувалась, Стремухов, чуть поколебавшись, осторожно накинул на нее плащ.

— Дождь, знаете...

— А вы?

— Ничего! — бодро отозвался Стремухов и приподнял воротник пиджака.

— Идите сюда! — рассердилась девушка. Она схватила его за руку и втащила под плащ.

Серый, мглистый свет то и дело вспыхивал ослепительным голубым мерцанием, и следом через все небо прокатывался крученный, узловатый гром, то затухая до глухого ворчания, то вдруг снова обрушиваясь ступенчато грохочущим обвалом.

Стремухов сидел, радостно оцепенев.

Ночная бессонная езда, попутная машина с кирпичами и эта гроза до сих пор были для него лишь неизбежными препятствиями на пути к лекторской трибуне. Отправляясь в дорогу, он обычно впадал в состояние безропотной отрешенности, будто напяливал на себя непроницаемое облачение. Но внезапный вихрь, сорвавший с него шляпу и заставивший неловко скакать на виду у этой девчонки, заодно сдул с него и это состояние отрешенности.

От недавней погони за шляпой, после чего все еще гулко колотилось сердце, и от хлынувшего ливня, и еще оттого, что он пожертвовал своим плащом и был готов промокнуть до нитки, к нему пришло радостно-счастливое возбуждение. Может быть, оно скоро и прошло бы, но как раз в эту минуту девушка бесцеремонно потащила его под навес плаща и усадила его рядом с собой на чемодане. Стремухов стыдливо оцепенел, как если бы его раздели донага.

Он не мог бы сказать, сколько просидел вот так, в немом оцепенении, но когда наконец очнулся, то тихо и где-то глубоко внутри себя изумился, будто проснулся и протер глаза.

Он увидел, вернее, почувствовал, что сидит на самом краешке чемодана и придерживает полу плаща за спиной девушки. Рука устала, а он боится пошевелиться, чтобы как-нибудь нечаянно не задеть свою спутницу. И это «не задеть» было не просто обычной предупредительностью, а непонятным, волнующим сопротивлением чему-то.

— Извините... — сказал он, заранее боясь того, что хотел сказать, хотя полчаса назад не испытывал никакого страха перед своей попутчицей. — Мы вот так сидим... А я не знаю, как вас зовут.

— Меня зовут Леной.

— А по отчеству?

— Зачем вам по отчеству? — усмехнулась девушка. —

Спрячьте ноги.

— Ничего...

— Как — ничего? Садитесь поудобнее. Смотрите, у вас совсем промокли колени.

— А мы не раздавим чемодан? — спросил Стремухов и, немного придвинувшись, почувствовал прикосновение Лениного плеча.

— Ничего не случится. Там у меня репродукции.

— Интересуетесь живописью?

— Буду устраивать выставку.

— Даже вот как!

— Книг теперь в деревне много, — сказала Лена. — А картин хороших нет. Вешают в домах плакаты. Про сберкассу. Просто обидно. Везу хоть это. Пусть смотрят, учатся понимать хорошее.

Не поворачивая головы, а лишь незаметно скосив глаза, Стремухов уважительно посмотрел на свою соседку. Но ничего не увидел, кроме откинутой на спину косынки и копны волос. Но все это было в такой волнующей и неправдоподобной близости — эти мокрые и спутанные волосы, пахнущие дождем и ветром, что у него начало застилать уши, и он, словно сквозь вату, едва слышал громыхание грома.

— А вы, часом, не уполномоченный? — неожиданно спросила Лена и критически посмотрела на Стремухова.

— Нет, а что?

— Терпеть не могу уполномоченных... Наезжают, как татарские баскаки.

— Нет, знаете... Я лектор. Буду читать у вас лекции.

— На какую тему? Если ли жизнь на других планетах?

— Да... А как вы угадали?

— Что ж тут угадывать? — усмехнулась Лена. — По вас видно. Какой-то вы... потусторонний.

Стремухов смутился, поправил очки.

Дождь, было утихший, пустился в новую, веселую, скорошью пляску на чисто вымытом мосту.

— Теперь огурцы полезут! — сказала Лена. — А что, есть еще где-нибудь жизнь, как у нас?

— Очень возможно... Я, знаете, даже убежден.

Стремухов мечтательно посмотрел на серую стену дождя.

— Совершенно ошибочно считать, что во всей беспредельно великой вселенной жизнь существует только на Земле. Если так, то, стало быть, она возникла и развивается случайно. Но как раз законы развития материального мира исключают такую случайность. Напротив, в не ограниченном ни временем, ни пространством космическом мире возможны бесчисленные повторения. — Стремухова подхватило и по-

несло, будто к нему придвинули трибуну.— А тем более всякие варианты и стадии существования живой мате...

Над ним оглушительно и сухо треснуло. Мост ходуном заходил под ногами. Стремухов вздрогнул и замолчал, но тут же спохватился и продолжал:

— Так вот... тем более всякие стадии и варианты, в том числе и мыслящей материи.

— А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь,— перебила Лена.

— Поз... позвольте... Отчего же? — удивился Стремухов.

— Не знаю...

— Но это антинаучно!

— Ну и пусть!

Стремухов даже обиделся.

— Вот вы говорите, что на Марсе нашли какие-то там лишайники,— сказала Лена.— А я радуюсь, что одни только лишайники.

— Странная вы девушка,— пробормотал Стремухов.— Первый раз встречаю такое любопытное игнорирование... За исключением, разумеется, церковников.

— Ну что ж, записывайте и меня в мракобесы,— весело и вызывающе сказала Лена.— А вы и сам как поп... Все неземную жизнь проповедуете...

— Значит, вы совсем отрицаете? — ужасаясь и почти шепотом спросил Стремухов.

— Я не отрицаю. Пусть даже и будет. Но чтобы не лучше, чем у нас. Пусть там ходят по своим лишайникам.

Она выставила босые ноги из-под плаща.

— Не могу даже представить, чтобы такой вот наш, такой вот теплый дождик есть еще где-то... И такой гром... И вообще... Все равно у нас лучше всех! Ничего вы не понимаете!

Стремухов, сбитый с толку, смущенно смотрел, как дождь смывал с Лениных ног набрызганную грязь. Лена шевелила порозовевшими пальцами, и Стремухов даже разглядел на ее мизинце маленькую белую мозолину.

Дождь прекратился так же внезапно, как и нагрянул. Шум его затихал, удалялся. Стало слышно, как внизу, между сваями, плескалась взбухшая речка. Мокрый луг полнился радостным гогомом гусей. Откуда-то пробилось солнце и затеплило доски моста.

Но Стремухову было жаль, что дождь перестал.

Они сошли на раскисшую, в мутных лужах дорогу.

— Позвольте ваш чемодан...— спохватился Стремухов.

— Что вы! Я сама...

— Нет, позвольте,— он решительно взялся за ручку чемодана.

— Имейте в виду — он тяжелый.

— Тем более!

Чемодан оказался действительно тяжелым. Но это лишь обрадовало Стремухова.

Он пошел, осторожно прощупывая галошей уцелевшие бровки и островки. Лена шла сзади, с удовольствием забредая в теплые молочно-желтые лужи.

— Да разуйтесь вы! — смеясь, она поглядывала на Стремухова.— Все равно весь мокрый.

На вершине горы они остановились. Над ними простиралось небо, беспредельно огромное, вымытое и ясное, раздвинутое вширь и в глубину предвечерней прозрачностью воздуха. Где-то впереди туча все еще волочила свои косые рушники дождя. Но ее уже заслонили ярусы недвижно замерших облаков, встававших белыми величавыми городами.

И все это от края и до края перепоясал пестрый кушак радуги.

— Вот здесь я и живу,— сказала Лена, сама удивляясь открывшейся шире.— Во-он оно, наше Сухомлиново.

Как ни упирался Стремухов, Лена все-таки уговорила пойти к ним ночевать.

— Зачем же в сельсовет? Будете там где-то валяться...

— Нет, знаете... Я все-такж пойду,— просяще сказал Стремухов и с тоской посмотрел мимо Лены.

— Куда же вы такой? Какой вы космонавт... в мокрых брюках! — Лена сердито подтолкнула его под локоть.— Ну, идите же!

Ленина мать, невысокая, полная и подвижная женщина, заговорила со Стремуховым так, будто давно ждала его и только удивлялась, что его до сих пор не было.

— А я гляжу — прошла почтовая, а никого нет. Ах ты господи! Надо же, в самый проливень... Вот и за калоши начерпали. Да ведь у нас чуть брызнуло — уж и ног не вытащить.

Лена провела Стремухова в горницу, вынула из сундука брюки, повесила на спинку стула.

— Переодевайтесь. Они совсем новые. Брат купил перед армией.

— Право же... — мученически зашептал Стремухов.

— Перестаньте! Если будут велики — вот вам булавка.

И давайте ваш пиджак. Удивляюсь — сидел человек под плащом, а спина мокрая.

Ужинали уже при свете лампы, за тесовым столиком под отцветавшими вишнями. Вечер был с молодым месяцем, чуткий и синий, какие случаются только в начале лета, после первых гроз. Лена в легком безрукавном сарафане бегала в погреб, носила из кухни посуду, раздувала во дворе самовар, смешно плача от дыма.

— А это настоечка. На смородинных почках.— Ленина мать обтерла передником черную бутылку и пристроила ее между тарелок.— Может, попробуете с дороги. Сами делали... Ух и дождь, скажите на милость!

Стремухов, облаченный в чужие брюки и благодаря этому окончательно примирившийся со всем, послушно ел все, что ему подсовывала Лена. Он даже, ободренный ее вниманием, выпил стопки три настойки. Настойка как-то вкрадчиво и ласково обволокла его теплом, и в нем тихо и радостно что-то посмеивалось.

Ему нравились этот серый дощатый столик, и керосиновая лампа, и путаница вишневых веток над головой. От всего этого ему захотелось говорить о чем-нибудь простом и веселом. И он почему-то вспомнил о старике в офицерской шинели, который подбивал его схватить заговорщиков. Но рассказ получился несмешным, и Стремухов как-то сразу отрезвел, виновато посмотрел на Лену и замолчал.

— Расскажите еще о чем-нибудь,— попросила она ободряюще.

— О чем же?

— О чем хотите.

Лена, подперев голову кулаками, разглядывала Стремухова с открытым, безбоязненным и задумчивым вниманием.

— Вы ведь много знаете. Я по вашим глазам вижу...

— Гм... что ж... однако...— пробормотал Стремухов.

— Ну хотя бы про звезды. Это интересно. Я ведь тогда нарочно наговорила.

— Про звезды?— Стремухов усмехнулся. Не поднимая головы, он помешивал ложечкой в стакане. Потом отодвинул стакан и попросил: — Налейте еще рюмочку.

Он выпил, снял очки и, близоруко сощурился, грустно взглянул на Лену.

Они еще посидели за остывшим чаем. Стремухов молчал. Наконец Лена, вздохнув, сказала:

— Эх, вы!.. Идите лучше спать.

Стремухову уходить не хотелось, но он послушно встал.

В хате он спать отказался. Ему постелили в сарайчике, в закроме, набитом сеном.

— Только здесь корова,— предупредила Лена, с лампой провожая Стремухова под навес.— Не бойтесь, она привязанная. Тут спал дедушка, когда был жив. А теперь я... Спокойной ночи.

Стремухов разделся и лег, забыв снять очки. Он лежал навзничь, вслушиваясь, как под ним шуршали, уминаясь, сухие травинки сена.

В дверной проем он видел, как засветилось окно в хате: в горницу вошла Лена и поставила лампу на стол. Лена опять куда-то ушла, потом вернулась, стала перебирать свои репродукции. На некогорые она смотрела подолгу, и лицо ее то хмурилось, то нежно и радостно расцветало.

Потом Лена унесла лампу, и окно погасло.

По улице шумно прошла ватага сухомлиновских девчат. Они прошли совсем близко и, обходя и перепрыгивая через налитые лужи, хватались даже за забор, изловчась уберечь от грязи туфли и босоножки. «Ой, мамоньки родные! Всю красу свою заляпала!» — взвизгивал кто-то.

Дальше по улице их встретила гармошка, и высокий, радостно-бунтарский девичий голос подхватил:

Не прячь, мама, сарафан
В белую горошку.
Все равно я убегу
Плясать под гармошку!

Девчата засмеялись, песня рассыпалась, и гармошка смолкла. Потом уже далеко, так что нельзя было разобрать слов, частушка еще раза два всплеснулась, сладко тревожа Стремухова живым девичьим голосом.

Село затихало.

Стремухов долго лежал в черной пустоте сарая, возбужденный и настороженный, в ожидании чего-то... В широком проеме неясно голубела стена беленой хаты с темным окном. Он тайно еще надеялся, что, может быть, в окне снова засветится огонек или скрипнет сенная дверь...

Но ничего не случилось. Ночь шла своим чередом. Сухомлиново спало, и молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал в вишнях.

НА РАССВЕТЕ

Всю неделю низко висело огяжелевшее небо. Ветер кружил и пересыпал снег, шершавым языком зализывал санные пути и тропки, ровнял овраги, а за хатами и амбарами выметывал диковинными полукружьями сугробы с острыми гребнями.

Этой ночью вдруг прояснилось, и над Воробьевкой объявился молодой, чистенький месяц. Пока мело и вьюжило, он успел за тучами высветиться широким серпом, и от колодезных журавлей, перепутанных и запорошенных вишняков и жердяных изгородей на снег проронились робкие, нежные тени.

Воробьевка длинно, нестройно, перебиваясь пустырями, тянулась по крутому берегу речки, как раз по ходу месяца, и он за долгое раздумчивое свое шествие в ночи успел оглядеть каждое подворье, пересчитать стожки на огородах, выслушать всех воробьевских шариков и тузиков, разногласо и тоскливо обрехивавших его из глубины заснеженных дворов.

Часу в третьем ночи, налившись голубоватым предутренним накалом, месяц повис над Алениной хатой, что сразу за овражком зачинала новый порядок Воробьевки, именовавшийся Березовскими выселками. Берез, однако, здесь никаких не росло, сама же Аленина хата в нахлобученной по самые оконца соломенной папахе, толсто укрытая снегом, одиноко маячила посередине разгороженной усадьбы.

Сквозь морозную ботву на стеклах месяц заглянул в кухню, осветил горбатый сундук под самым окошком, на котором, лишь недавно забывшись, Алена беспокойно переживала во сне нахлынувшие на нее события.

Вчера сына ее Севку выбрали председателем здешнего колхоза.

Весь вечер, буравя метельный снег, тарыхтел по Воробьевке трактор с двумя санными будками, собирал и свозил людей в правление. Алена тоже была на собрании, народу, несмотря на завихруху, набилось полно, она сидела ни жива ни

мертва, плохо понимая, что говорили и кричали, и все было как на суду. Как на суду, пытали Севку про всю его жизнь, спрашивали, с чем пришел, как думает повести дело. Иные кричали против: мол, хрен редьки не слаще; иные вступались: дескать, ежели свой, так оно, может, и лучше будет.

Севка сидел за красным столом, между старым председателем Фролом Палычем и каким-то начальником из района, сидел насупясь, кусая губы, был бледен лицом, и, когда встречался с глазами матери, сердце у нее холодело от неприятного страха за сына.

Севка потом и сам говорил с трибуны речь. Алена тянула шею, слушала, но мыслями не могла поспеть за Севкиными словами, потому что неотступно думала: «Как это все будет?»

Вернувшись с собрания, Алена не могла уснуть, долго ворочалась на сундуке и под конец сморилась запоздалым, тяжелым сном.

Ей почему-то снилось, будто провожала мужа Степана на фронт. Привиделось все так, как было когда-то на самом деле, со всеми подробностями, какие теперь и наяву не всегда приходили на память. Как Степан, суровый и молчаливый, в чистой исподней рубахе, морщась от сигарки, старательно и пристально обвертывал новой портянкой ногу, положенную на колено другой ноги, как расправлял складки рядна и обхаживал ступню ладонью, а руки были темные от застарелого мазута, с белесыми волосками на кургузых, негнучих пальцах. Перед севом или жатвой Степан, бывало, собираясь в свою бригаду, всегда требовал чистую рубаху и сам выкраивал из мешка, который поновее, свежие портянки, и в тот день, снаряжаясь на войну, он обувался так же неспешно и рачительно, будто шел на пашню перед страдой.

И еще привиделось, как на машинке перешивала Степану наволочку под заплечную сумку. У нее не нашлось белых ниток, она строчила черными, понимала, что нехорошо это, и сквозь застилавшие слезы видела, как по белому полотну ложилась черная кривая стожка...

И как потом Степан посадил на колени детишек — двух на правое, двух на левое — и говорил ей, чтоб ничего не берегла, если обернется круто, чтоб продала костюм его серый, который дали в премию, и часы именные, и велосипед, и лес, что берегли на новый сруб...

И даже то привиделось, как грохнулась она в Степановы сапоги и заголосила впричет, и все слова припомнились до

единого: «Что же ты, Степушка, говоришь такое, будто и вернуться не собираешься? Да нешто мы ироды, чтоб продавать костюм, ни разу не одеванный, выжить тебя из собственной хаты...»

Уходя, Степан в последний раз оглядел двор, ошкуренные лесины под плетнем и старую, осевшую набок хату. Одно было непонятно: и пиджак, и мешок белый за плечами были Степановы, как тогда, а лицом и голосом вроде бы Севка. И сказал он ей непонятное: «Полно убиваться-то, не на войну иду. Председателем выбрали».

От этого сна Алена полоумно подскочила на сундуке, порывисто и шумно дыша, будто вынырнула из омута.

Освоившись с темнотой, Алена разглядела на стене у сепной двери пальто и сапоги под вешалкой. Все это была Севкина одежда, и, стало быть, никакой войны не было, а сам Севка мирно посапывал в горнице.

В сенях проснулись и тихо загомонили гуси. Старая гусыня, чуя близкую весну, дробно стукотела в кухонную дверь, выщипывая войлочную обивку. Негромкий семейный гомоник птицы окончательно успокоил Алену, и она, перекрестив рот щепотью, опять прилегла на сундуке.

— Ох ты, матерь божья! Привидится же такое...

Она уже не смогла больше уснуть и тихо лежала, перематывая, как пряжу с одного клубка на другой, бесконечные свои мысли,— начала со вчерашнего собрания, а незаметно перетряхнула все свое жигье-бытье.

Месяц наискосок переместился из одного кружка оконца в другой, высветил из темноты осколок зеркала. Зеркальце это было вмазано в печь еще в давние времена, когда Алена ходила молодухой и, бывало, возьась с горшками и ухватами, нет-нет да и посмотрится в осколок, чтобы держать себя перед мужем в опрятности. Была она в свои годы не последней девкой. Правда, с лица не очень приметная, но зато брала свое, когда не сидела сложа руки. Выйдет в круг — в плясе себя не помнила, ноги чуть ли не словами выговаривали «Чеботуху». Заведет частушку, голос — пей, не напьешься, ключ родниковый. А еще коса — ни у кого и на погляд такой не было: через всю спину коса ржаным перевяслом. В работе и того всех пуще: мешок одной рукой за угол, другой за устье, а из-под язу коленом поддаст — и уже в телеге мешок как есть в шесть лудиков. Что стог свершить, что косой прогон вымахать — не столько работа казалась мудреной, сколь легка была девка на руку. Пока раздумывали нерасторопные воробьевские ухажеры, сама себе выбрала в по-

ле жениха, приголубила энтээсовского тракториста, тихого, застенчивого парня, безродного и пришлого откуда-то с дои-ских низов.

Жили жадно, как и рабогали. За пять супружеских лет четверых ребятешек народили. Бывало, соседка Марья разжалостливится: ты, мол, Ленка, хоть годок передохни, поостынь малость, себя побереги, или времени больше не будет? А она раз за разом не только не портилась лицом и всем прочим, а еще пуще наливалась здоровой бабьей красой. Муж попался сговорчивый, работающий, бригада его была первой по району. Что ни сезон — премия, то деньгами, то часами, корову справили, всякую пгицу, припасли лесу на новый дом. Как-то под Октябрьские Степан одним заходом себе велосипед купил, ей — швейную машину. Собирались жить прочно, на твердом корню.

И вдруг как обухом по голове — война...

Алена припомнила, как уходили на фронт воробьевские парни и мужики и как без них затаилась, притихла и обезлюдилась Воробьевка. Будто стала ниже хатами, словно вросла в землю. А потом осенними забурьяненными дорогами накатил враг, вконец затоптал еще теплившиеся угольки привычной колхозной жизни. Все сразу оборвалось. Отбросил враг Воробьевку к самой черной нужде, к лучине, к знахарям и повитухам.

Поснимала Алена со стены Степановы грамоты, скрутила в трубочку, обвязала тесемкой и запечатала в кувшине вощинной. Среди ночи закопала кувшин у огородной межи. Но кто-то донес, что муж ходил в ударниках, и начали вымагывать душу: сначала корову отняли, потом забрали сено, в сене нашли велосипед со швейной машиной, а потом свезли лес на блиндажи да еще разобрали рубленую амбарушку.

Не сдавалась Алена, отбивалась от нужды, как могла, по окрестным деревням выменивала на щепоть соли, на мучной обсевок последнее барахлишко. Только костюм Степанов остался на дне опустевшего сундука. Под конец пошла с сумкою молигь людей, но костюма не тронула. Берегла, как затаенную свою надежду. Случалось, бредет безлюдным, стылым полем с разными кусочками в сумке, услышит самолет и скорее не глазами, а сердцем поймет, что свой. Будто со дна темного колодца, долго глядит на серебристый крестик. Уж и самолет скроется за далью, и гул его истает в морозной тишине, а она все глядит вослед, переполненная тоской.

Перед весной, по последним метелям, пришли наконец наши. Пришли и прошли, не задерживаясь, шляхом дальше, на запад. На другой день Алена обстригла и выкупала ребятишек, выскребла ножом половицы, отбила в мералой земле кувшин с грамотами и украсила ими горницу. Потом с ведром и тряпкой побежала мыть полы и окна в захламленном немцами сельсовете.

Припомнилось, как опять собирали колхоз: снесли припрятанные плуги и боронки, хомуты и еще кое-какой инвентаршко. Из живности в общем хозяйстве оказались две пестроевые лошади, оставленные проходившим армейским обозом, да еще председатель — солдат на деревянной ноге.

По весне вся Воробьевка высыпала в поле. Первый раз за эти годы собрались вместе всей деревней. Вышли с детишками, ветхие старики и те выползли. Стаскивали с пашни сухой, застарелый бурьян, жгли большие жаркие костры. Люди хмелели от сквозного вешнего ветра, от крепкого запаха талой земли, но еще больше от ощущения пришедшей вольности. Война ушла куда-то далеко, лишь иногда кто-нибудь из детишек опасливо насторожится, приняв за вражьи самолеты тяжелые клинья гусей, низко тянувшие у горизонта. Безногий председатель Усов в кургузой шинельке, увязая в оттаявшей земле деревяшкой, размечал загонки. У кого уцелели коровы, пахали на коровах. Алена сладила себе из приводного ремня лямку, подбила ее, как хомут, куском потника и, туго подвязав рушником живот, стала в плуг за коренного. Справа и слева, по четыре с каждой стороны впряглись бескоровые солдатки. Рассыпавшись нестройным полукругом, чтобы не мешать друг дружке, бабы налегли на постромки. Лемех туго врезался в слежалую землю, медленно, неровно змеился перевернутый синеватый пласт. «П-шол, п-шол, п-шо-о-ол! — подбадривал Усов, припрыгивая сбоку. — Еще чуток, бабоньки, еще нажмем, родненькие!» Бабы пьяно раскачивались, с вытянутыми до земли руками, в упрямом молчании переставляли босые ноги. В конце гона они оставались, терли намученные плечи, измятые лямками груди, но никто не уходил из упряжки, не упрекал Усова за его просящее понукание.

Может, все опять и вернулось бы к Алене — бабу трудно сломать, пуще лыка она в жизни, — если б только Степан возвратился домой живым. Тем и держалась она, что ждала мужа. Но пришла бумага — и все впереди вдруг показалось ей непроходимой топью, и не видела она края той топи, и не

прошла бы, не сдвинулась с места, если б не четверо ребятишек, из которых самому старшему, Севке, было всего девять годков. Тяжело приходила в себя овдовевшая солдатка, а оглядевшись, опять потянулась на люди. Она и без того уже была не той, прежней Аленкой, какой ходила при Степане, а тут сразу как-то сникла, обвяла, как надрубленная лесина. Все ушло, осталось самое необходимое, чтобы тянуть, кормить четыре рта: хребет да жилы. Да еще коса осталась, уже не ржаная, а пеньковая, все больше отдававшая холодной мертвяной сизостью. И вот это зеркальце... Год от года мазала и белила Алена печь, обрастало зеркальце глиной и побелкой, уцелел от него глазок не более пятака, и теперь, отражая свет месяца, глядело оно на Алену печальным голубоватым глазком из далеких времен ее молодости.

Ободренные тишиной ночи, заливачто пиликали сверчки в лунном полусвете кухни. Но Алена, думая о своем, почти совсем их не слышала. Привычное, обжитое трюканье сверчков отдавалось в ушах не задевающим внимание звоном, как извечный дух старой хаты, в которой она прожила во вдовьих трудах и заботах почти четверть века.

Последние десять лет Алена жила с младшими детьми. Потом разлетелись и они. Осталась Алена одна в хате, как старая картофелина в лунке. Еще и теперь под руку пападают то растрепанный, замусоленный пальцами задачник, то сохшийся недомерок — башмачишко, а уже двое младших служат в армии, а дочь Настя замужем на разъезде.

Севка же ушел из дому еще подростком. Как занеладилось в те годы в колхозе, так и ушел. Хотел было пойти на курсы трактористов, по отцовской специальности, но за малолетство не взяли. Тогда он мотнул в город, поначалу пристроился у дядьки, плотничал возле него негласно. Дядька денег Севке не давал, а держал его при себе за харчи и одежду. Алена и этому была рада, но Севка засвоевольничал, отписал, что не хочет жить, как при старом режиме, и ушел в ФЗО. Школа эта оказалась и того лучше — на всем готовом. После ФЗО определился в техникум. Днем на производстве, а вечером учился. Последние годы работал прорабом на разных стройках, стал присылать домой деньги. Радовалась Алена: выбился-таки малый в люди! И вот тебе на — бросил все, прикатил в Воробьевку. Да еще полез в председатели, в самое ненадежное и колготное дело.

В сенях на насесте захлопал петух, пустил сонное колечко. Алена сунула ноги в валенки, накинула на шею юбку и опять, остановленная думами, долго сидела так, с юбкой на шее, уронив руки на голые худые колени. Последнее время, томимая одиночеством, она подумывала о том, чтобы продать хату и перебраться к дочери на разъезд. Севку она считала отрезанным ломтем. Младшие, когда отслужатся, наверное, тоже не приживутся в Воробьевке. Осталась Настя. Алена и порешила переехать к ней по весне, тем паче, что к этому сроку Настя выходит в декрет. Алена сидела на сундуке, соображая все это, и ее порой заливала теплая волна радости оттого, что Севка теперь будет с нею, но этот радостный наплыв проходил, Аленино лицо опять становилось тревожным и озабоченным, как только она начинала думать о вчерашнем собрании.

Алена оделась, растопила печь, пристроила на полу чугуники и сунула в угли утюг. Потом засветила керосиновую лампочку, осторожно, выбирая половицы, чтоб не пробудить Севку, прошла в горницу и присела перед Севкиным чемоданом. Из стопки белья, разостланного поверх каких-то книжек, она выбрала рубашку и бросила ее на стол. Водя по рубашке утюгом, Алена поглядывала на Севку. Она глядела на него озабоченно, вопрошающе, будто оценивала сына.

Севка спал на боку, подобрал коленки. Он отрывисто всхрапывал, вылезшее из наволочки рыжее петушиное перышко шевелилось под носом. Во всем облике сына было еще много от того, прежнего Севки, каким он еще жил дома, и в глазах Алены, оглядывавшей его не крупное тело под стареньким байковым одеялом, теплилась тихая, грустная ласковость. Ей казалось, что вот сейчас он проснется, зажмурится со свету и, как бывало прежде, первым делом спросит про сапоги, которые частенько обувал в школу младшенький, Колька. Она силилась представить сына в председательском кабинете, за столом Фрола Палыча. Как Севка бумаги подписывает, как дует на круглую резиновую печатку, как ругается на бригадира и стучит по столу. Но Севка никак не подходил ко всему этому. Всякий раз в ее мыслях Севку заслонял собой Фрол Палыч, неприступно грозный и дюжий, под которым «Победа» кособочилась, когда он садился за руль, а уж если гроыхнет в сердцах кулаком по столу, в соседней бухгалтерии останавливались ходики... «Кремень человек, а ведь тоже не удержался,— глядя на Севку, подумала Алена о Фроле Палыче.— Мой уже восьмой по счету. Ох ты господи!»

Алена выгладила рубаху, повесила на спинку кровати. Постояла с утюгом в опущенной руке, прикидывая, что бы еще такое сделать. Сегодня Севка в первый раз пойдет в контору как новый председатель, и надо бы, чтоб все на Севке было хорошо и ладно. Расправляя под утюгом складки, ващупала что-то во внутреннем кармане, мешавшее гладить. Алена отстегнула булавку и вынула красную книжечку, обернутую прозрачной слюдой. На ее щеках из-под старческой желтизны пробился девичий румянец радостного и горделивого смущения. Она бережно положила книжечку на край стола и взглянула на Севку.

Севка не спал.

— Вынула я, чтоб утюгом не попортить,— виновато забормотала Алена.— Я обратно положу...

— Ничего мама. Тебе можно,— сказал Севка.

— Полежи еще, сынок. Только доярки на утреннюю прошли.

Севка достал из-под подушки пачку папирос, закурил, перевернулся на спину, закинул руки за голову, задумался, разглядывая желтый подтек на потолке.

— Сева, может, отцов костюм достать? — несмело сказала Алена, разглаживая пиджак.

— Не надо, мама. Пусть лежит.

— Сколько ему лежать-то? — Алена отвернулась.— Того гляди моль погрызет. Я уж и так табаком да донником пересыпаю. А только про кого теперь беречь? Надевай, чего уж.

— Николай скоро вернется из армии, подари ему,— сказал Севка.— У него нету.

— Ну, смотри... А то ни разу не одеванный. Вот и одел бы в память об отце. День-то какой! В первый раз ведь идешь. Народ на тебя глядеть будет... И я бы посмотрела... Ты совсем как Степан стал.

— Ни к чему мне рядиться,— сказал Севка.— Не на смотрины иду. Вон, гляжу, крыша протекла. Перекрыть бы...

— Да теперь уже до новины. Теперь и соломы во всей Воробьевке не сыщешь.

На кухне зашипели угли, Алена всплеснула руками,— батюшки, курица перекипит! — зашлепала валенками к печке. В кухне столкнулась с соседкой Марьей, полной, круглолицей, в суконной шали поверх ситцевой блузки, с бордовыми от мороза, оголенными по локоть руками.

— Здравствуй, соседка! На дворе хорошо-то как! Морозно! Чисто! — веселым шепотом загомонила Марья.— Как

раз как Фрола сковырнули, так и погода стала. К добру, не иначе!

— Дай-то бог!

— Спит еще? — округляя глаза на дверь в горницу, спросила Марья.

— Проснулся.

— С тебя, девка, магарыч.

— С чего это?

— Да как же! Теперь ты председательша.

— Какая я председательша! — Алена зарделась и, пряча смущение, подперла щеку кулаком. — Молодой больно. И не знаю, как это он будет...

— Ничего, Ленка, ничего, — горячо зашептала Марья, — не бойся, выладняется. Слушала я его вчера. Видно, что от души парень берется.

— Правда, Марья, правда! От души... Сам надумал. Какую должность в городе бросил... Недавно квартиру дали. Печку не топить, за водой не бегать, все как есть приспособлено. Тоже оставил. А только не знаю, как он тут будет... Не грядка с луком. Одной земли сколько!.. Машины. С людьми надо ладить. Сама знаешь, народ-то у нас всякий! Ох, боюсь я, Марья! Не шутейное это дело! Пособить бы ему.

— Про это и говорить нечего, — кивнула Марья. — Что же мы — сами себе лиходеи? Не понимаем? Пособим! Жить в этой хате останетесь?

— А где ж еще?

— Я б в Фролов дом переехала. Фрол Палыч все равно здесь небось не останется. Да и дом-то не его, колхоз строил.

— Не знаю... Нешто можно так-то? Против людей совестно. Не успели выбрать — сразу в дом. Сева говорил, свою перекрывать будем.

— Ой, пойду, девка! Пришла на минутку, а стою-то сколь! Настя-то как? Ладит с мужем?

Заговорили про Настю.

— Живут ничего, муж хороший, старательный, недавно дорожным мастером назначили. Настя кассиршей было устроилась, да вот рожать собралась, дома теперь. Хотела к ним перебраться. Да теперь не придется. А то ведь корову им отдала, сама знаешь, тут не прокормишь, а там обочь дороги малость накашивают... Как она теперь будет с коровой, сама тяжелая... Ничего живут...

— Побегу! Кланяйся Всеволоду-то Степанычу. Скажи, пусть не сумлеваются.

Марья в который раз уже запахивала на груди концы шали, но находились новые и новые разговоры. Наконец Марья убежала, а вслед в кухню прилепал босиком Севка за сапогами.

— С кем это ты, мать?

— Марья за солью приходила. Кланялась тебе. Носки, Севка, в печурке. Тепленькие.

Алена остановилась у дверного косяка, спрятала руки под передник и молча наблюдала, как Севка обувался. Сунув ногу в голенище, он с криком надел сапог, встал, промялся, пошевелил носком, укладывая ногу полочнее, и принялся за вторую. Алена смотрела на это мужицкое дело повзрослевшего сына со вниманием и грустным удовольствием, видя в Севке прежнюю отцовскую обстоятельность.

Обувшись, Севка стащил с себя майку, вышел во двор и вернулся до пояса мокрый и красный, сыпучий, морозный снег набился в его растрепанные волосы.

— Хор-рошо-о! — крикнул Севка, ловя брошенный Аленой льняной чистый рушник. — На лыжах у вас тут бегают?

— В школе ребяташки балуются, — сказала Алена.

— Обязательно заведу лыжи.

— Будет тебе когда...

— Найду!

Севка попросил плеснуть кипятку в пластмассовый стаканчик, сел в горнице к столу бриться.

Алена, возясь с завтраком, размышляла над Севкиной ребячьей беспечностью — «вот лыжи еще на уме» — и, выждав момент, спросила из кухни с тревогой:

— Что ж ты, Сева, сам-то как?.. Не боишься?

— Чего бояться надо? — откликнулся Севка.

— Да вот председателем идешь...

Севка долго не отвечал, и Алена ждала, прислушиваясь к тому, что делалось в горнице. Не дождавшись, тихо подошла к двери, прислонилась седым виском к притолоке.

Севка скоблил безопасной бритвой щеку и одним глазом сердито, напряженно косился в круглое зеркальце, приставленное к стаканчику. Не отвечал потому ли, что не вовремя Алена подроспела с вопросом, — как раз языком подпирал изнутри щеку, чтоб ладнее было бриться, а может, думал, что сказать. Заметив мать, Севка посмотрел на нее остро и цепко, но тут же бросил на стол бритву и распахнулся широкой, простодушной улыбкой.

— Знаешь, мама... Если откровенно — малость боязно...

— Тогда как же ты...

— А все равно пойду.

Севка сердито закрутил помазком в мыльнице, но тут же, отодвинув прибор, хлопнул себя по коленкам.

— Вот ты говоришь — в городе на хорошем месте был. Что ж, был... Но вспомню, что вы тут наперекосяк живете, — веришь, не могу! Работа из рук валится. Раз десять ходил в обком, просил, чтобы сюда направили. Мне бы, мать, за этот лежачий камень получше вцепиться. Вагу под него подсунуть. Да народ на это дело скликнуть. Тогда-то уже мы его перевернем мокрым местом на солнышко!

Алена сочувственно смотрела на сына — лицо было знакомо до мелочей, но за мальчишеской быковатостью проступало что-то новое, придававшее Севке незнакомую жестковатую суровость.

— Так-то оно так... Да только будут ли тебя, сынок, бояться?

— Эго зачем?

— А то как же? Без этого нельзя. Какая же из тебя власть, ежели бояться не будут?

Севка расхохотался, развел руками:

— Да разве я княжить сюда приехал? Разве Воробьевка вотчина моя? Эх, мать, все перепуталось в твоей головушке. Родина моя здесь, хата, ты здесь, дружки-товарищи, с которыми еще по садам лазили. Завяжи глаза — в каждую хату ход знаю... Зачем же чтоб боялись меня?

— А затем, что Фрол Палыч на что строг был, а тоже не удержался.

— Фрол Палыч! Привыкла ты: если по столу кулаком стучит, так тебе и власть. Негоже это. Давай выпрямляйся.

Севка плеснул горячей воды на конец полотенца, вытер лицо, подошел к матери, обнял ее за плечи.

— Ты ведь теперь председательша! Раздайся, народ, Алена Дмитриева идет! Так-то!

— Подь ты к лешему! — отстраняясь, замахала руками Алена. Ей было радостно, что Севка с ней так шутит.

— Хочешь новое корыто? — смеялся Севка. — Старое, поди, совсем уж развалилось?

— Цело, цело корыто-то! — отмахивалась Алена.

— Эх, мать, мать! Вот, гляжу я, в святом углу новые угодники прибавились. Это кто же вон тот, который справа?

— Иоанном Рыльским знающие люди зовут.

— Да... Видишь, как оно все поворачивается... А по-наше-

му, знаешь как: бог-то бог, да сам не будь плох! Держи хвост пистолетом!

— А ты бы, Сева, не смеялся. Нехорошо это.

— Я и не смеюсь. Тут смех невеселый... Я ведь знаю, что тебя гревожит. Хочешь, скажу?

— Да чего уж...

Севка подвел мать к лавке, бережно усадил, сел рядом.

— На кой ляд, думаешь ты, лезу я в это дело? Не одну голову свихнул... Так ведь?

— Разное думала,— смутилась Алена.— Вот гляжу я на тебя, сынок, и радуюсь: хорошо, что приехал, ласковый, поговорить об чем... Одна ведь и осталась... А подумаю, как ты на себя все это взвалишь... Молодой, доверчивый... И провести могут... Разве я тебе худа желаю? В городе оно понадежнее...

— По-разному и в городе живут,— сказал Севка.

— Ох, не скажи, Сева! Против Воробьевки, наверно, нигде хуже и колхоза нет.

— А почему, мать, как думаешь?

— Ох, не знаю, сынок, не знаю...

— Нет, в самом деле?

— Да ведь откуда хорошему быть-то? Тракторами бьют-бьют землю, а чтоб ей чем-нибудь пособить — навозу или каких удобрений,— нету хозяина. Одно слово — сиротой растут хлеба, по пустой земле. Сева, милый, разве это хорошо? И государству обман, и нам. А ведь земля-то у нас какая, сам знаешь. Покойника хоронят—до глины не докапываются, так в черную и засыпают. Нашей ли земле не родить, если с нею то по-хорошему?

Севка закурил и, пуская под ноги дым, подбодрил:

— Давай, давай, мать, выкладывай. Тебя не послушать — как кого же еще?

— Да что слушать-то? Я-то теперь одна. Мне и этого, что дадут, хватит. А когда вот четверо было — покрутись! Одних ботинок четыре пары, да пальгишек, да штанов, да рубах. Прорву всего надобно. А вы, проклятущие,— как бес на вас ездит,— по плетням да по грязи в месяц все изорвете. А откудова, скажи, у меня деньги такие?

Алена поднялась со скамьи, подперла бока кулаками, расставив ноги; сухое, заветренное лицо сделалось по-бабьи жестким. Незаметно для себя она все больше распалаялась и распалаялась, и уже не говорила, а выкрикивала, вздрагивая большим, выпуклым животом, тряся оборками передника.

— Скажи, не правда, что ли? Сам знаешь, как было. Тяпаешь-тяпаешь в поле, да и думки возьмут: «Стой, девка,— Кольке с Настькой в школу скоро идти, хоть по ботинкам купить-то, босые ведь. Аванс будет или нет — жди его». Схватишь пару куриц — да на станцию к поездам. Бежишь, а сама озираешься, чтобы Фрол Палыч не перелучил, а то матюков в горб натолкает: почему, мол, не в поле? Я ли, Сева, сынок, не работала? Бывало, где мужики, там и я...

Пока Алена говорила, Севка, сжав потухший окурочек в зубах, закинув за спину руки, как был — в майке, ходил взад-вперед по горнице, крепко ставя ноги и упрямо, по-бычьему нагнув голову. Рыжим бурьяном топорщился непричесанный, мокрый со снегу чуб, отчего и сам Севка казался колючим. На его обгнанных, только что выбритых скулах ходили зубчатые желваки.

Алена, выкричавшись, вдруг обмякла, притихла, будто жарко сгоревший снопок соломы. Она как-то виновато посмотрела на Севку повлажневшими глазами, взяла со стола пластмассовый стаканчик и ушла на кухню.

Севка остановился перед окном, засунул руки в карманы галифе, уставился в рассветную синеву. За окном тягуче визжали сани, фыркала лошадь. Чей-то озябший голос нетерпеливо понукал: «Но-о! Спотыкайся мне!»

Воробьевка пробуждалась.

— Садись, Сева, завтракать, — сказала Алена.

Она накрыла на стол. Принесла отваренную курицу, миску с солеными огурцами, на середине стола поставила большую глиняную черепашку с густо парившей картошкой. Озабоченно оглядев стол и что-то вспомнив, Алена полезла в подпол, достала кувшин с квасом и, обтерев горлышко ладонью, поставила на стол.

За синеющим окном послышался тяжелый скрип шагов. В сених заматывались переполошенные куры, и в хату, пригибаясь и кураясь холодным воздухом, ввалился Фрол Палыч. Постучав у порога валенками и сдернув с головы кожаную шапку, подбитую колючим инаем, он, ни к кому не обращаясь, спросил: «Дома?» — и прямо в полушубке вошел в горницу. Тяжелое, задубелое лицо было багровым с мороза, резко оттенился седой ежик на голове.

— Здоров, Севк, — скорее не словами, а сирым, глубоким выдохом сказал он и подвинул к столу табуретку.

— Здравствуйте, Фрол Палыч, завтракать с нами.

— Разделись бы,— попросила Алена с почтительной робостью. Фрол Палыч ни разу у них не бывал раньше и теперь в ее маленькой хате, в домашней близости, казался еще больше и грузнее того, каким она видела его обычно в конторе и на колхозном подворье.— У нас жарко, батюшка. Печь топлена.

Фрол Палыч досадливо отмахнулся, отодвинул миску с огурцами и положил на край стола локоть.

— Идешь? — спросил он.

— Позавтракаем и пойдем,— сказал Севка.— Успеем. Скинь полушубок.

— Так...— выдохнул Фрол Палыч, оставив без внимания слова насчет полушубка. Мигая мокрыми, оттаявшими ресницами, он уставился на Севку. Он смотрел на него хмуро, исподлобья, и Алена, не понимая его намерений и почуяв в этом недоброе, угодливо пододвинула ему курицу.

— Кушайте, Фрол Палыч,— сказала она, суетливо застилая рушником коленки его ватных брюк.

Этот суровый, молчаливый человек, уже сваленный под корень воробьевцами на собрании, для Алены все еще был полон магической силы власти. Теперь она уже не могла себе представить, что власть у него отнята и передана ее сыну.

Фрол Палыч сдернул с колен рушник и, не оборачиваясь, сказал Алене:

— Дай-ка еще стакан.

Он отвернул полу, вытащил поллитровку «Столичной», не торопясь, сосредоточенно вышиб пробку в кулак и поставил на стол.

Севка, перестав есть, выжидающе глядел на старого председателя.

Фрол Палыч палил два стакана, кивнул:

— Тяни.

Севка молча покачал головой.

— Ты чего? — Фрол Палыч задержал свой стакан в руке.

— Не могу, Фрол Палыч.

— Но... Это ты брешешь... Со всякой сволочью не пей.

А со мной — можешь...

— Ты, Фрол Палыч, не подумай...

— Хитришь?

Фрол Палыч выпил и, плаксиво сморщившись, засопел, шумно выдыхая водочный дух, подтянул к себе курицу, с хрустом выкрутил из нее ножку.

— Черт с тобой! Я на тебя не в обиде. Садись управляй,—

сказал Фрол Палыч.— Я старый колхозный конь, и на меня еще хомут найдется...

— Не в хомуте дело...

— Не тут, так еще где-нибудь. А ты, жеребчик, пойди попробуй.

— Ну что ж, попробую.

— Быстро холку набьешь!

— Да ты закуси, батюшка! — вмешалась Алена, робея от крутого разговора и поглядывая то на одного, то на другого.— Что ж так-то, не закусишь?

Фрол Палыч, покосившись на Алену, взял Севкин стакан и выпил одним духом. Скривившись, долго ловил заскорузлыми пальцами скибку огурца в рассоле.

— Ты думаешь, в легких дрожках бегать будешь? Дудки.— Он показал Севке кукиш с белыми огуречными семечками на прокуренном ногте.

— Знаю, Фрол Палыч, в какие оглобли становлюсь.

— Ну вот то-то... Зануздают тебя, голубчик, натянут вожжи, чтоб ни туда, ни сюда, да кнутом, кнутом, ежели станешь брыкаться.

— Это кто же меня кнутом-то? — простодушно усмехнулся Севка.

— Не маленький, сам знаешь.

— Ну что ж,— кивнул Севка.— Могут и подбодрить, если постромки ослабнут. Тут ничего плохого нет. За вашим братом председателем того и гляди да гляди. А то иной так завезет...

— Ну конечно! Не туда завез... Ты вот на все готовенькое идешь. Машины — полный комплект. Электростанцию пустил. Клуб построил. Контора с иглочки. Шесть лет хорош был. По президиумам сидел. А на седьмой не угодил.

В Севкиных глазах стеклянным осколком сверкнул смехок.

— Сначала, может, и правильно тебя в президиум сажали,— сказал он.— А потом уж и по инерции пошло. Тебе там, видно, очень понравилось.

— Не напрашивался, сами сажали.

— Нет, напрашивался! На фасад работал. Клуб с колоннами! Мебель мягкая! А народ из деревни бежит. Звеньевые в няньки в город подались. Брось, Фрол Палыч, пострадавшего разыгрывать. Скажи спасибо, что так обошлось. А могли и под суд закатать.

— Это за что ж меня под суд?

— А я скажу.

— А ну, скажи!

— Скажу! — Севка отбросил вилку, вышел из-за стола.—
За то, что землю уродуешь.

— Ну, ну, послушаем умника!

— Ты в прошлом году семенную пшеницу в закуп сдавал?
Сдавал!

— Ну и что? Без семян не остались.

— Не остались... А где ты их потом брал? Ты их в «Красном пахаре» на суперфосфат выменял!

— Врешь! — Фрол Палыч грохнул кулаком по столу.—
Врешь все!

— Сейчас пойдем к агроному, сверимся.

— И он врет! Суперфосфат весь по назначению внесли.
Посмотри посевные акты.

— По актам все правильно. А если по совести, то не сходится. Удобрения на сторону сбывали, а сеяли на пустой земле. Мне вчера агроном после собрания все выложил. На собрании сказать побоялся, а потом догнал на улице и рассказал. Ты его сам уговорил показать в актах, что удобрения вносились. Мол, про это никто не узнает. А если целый клип без семян останется, скандала не миновать. Запутал человека — он и подписал.

— Не верь ему! Теперь начнут валить на серого.

— Ладно, ему не верить — земле верю. Ты на Кобыльем клине по одиннадцать центнеров взял. А «Красный пахарь» на том же бугре, только по другому боку, по восемнадцати собрал. На твоём-то супере!

— Это еще доказать надо... — Фрол Палыч взял со стола бутылку, покрутил в ней остаток.— Может, все-таки выпьешь? — сказал он хмуро.

— Нет. И тебе не надо. Тебе еще дела сдавать.

Севка перехватил было бутылку, но Фрол Палыч сердито вырвал ее и вылил в свой стакан. Выпив, он как-то сразу захмелел, сник головой, на коротком ежике бусинками проступила испарина.

— Агроном — сволочь... — пьяно бормотал Фрол Палыч.— Тряпка... Гони ты его в шею... У, стервецы!

— Ладно, разберемся.— Севка, уже одетый, тронул за плечо Фрола Палыча.— Пошли?

Тот тяжело поднялся, обдав Севку запахом овчины из распаренного полушубка, нахлобучив шапку.

— Мать, обедать не жди.

Алена ткнула в Севкину грудь, беззвучно заплакала.

— Ну, ну, будет!

Фрол Палыч и Севка вышли. Хлопнула сени́я дверь, потом калитка...

За окном слышались шаги: тяжелые, скрипучие — Фрола Палыча и мягкие, ровные — Севкины.

— Ну, пошел! — проговорила Алена, остановившись посреди горницы.— Пошел Севушка... Дай-то ему бог.

Она метнулась к окну, но окно было доверху схвачено толстым морозным инеем.

Иней полыхал розовым рассветным огнем.

КРАСНОЕ ВИНО ПОБЕДЫ

Весна сорок пятого застала нас в маленьком подмосковном городке Серпухове.

Наш эшелон, собранный из товарных теплушек, проплывав около недели по заснеженным пространствам России, наконец февральской вьюжной ночью нашел себе пристанище в серпуховском тупике. В последний раз вдоль состава пробежал морозный звон буферов, будто в поезде везли битую стеклянную посуду, эшелон замер, и стало слышно, как в дощатую стенку вагона секло сухой снежной крупой. Вслед за нетерпеливым, озябшим путевским свистком сразу же началась разгрузка. Нас выносили прямо в нижнем белье, накрыв сверху одеялами, складывали в грузовики, гулко хлопавшие на ветру промерзлым брезентом, и увозили куда-то по темным ночным улицам.

После серых блиндажей, где от каждого вздрога земли сквозь наматы сыпался песок, хрустевший на зубах и в винтовочных затворах, после землисто-серого белья, которое мы, если выпадало затишье, проваривали в бочках из-под солярки, после слякотных дорог наступления и липкой хляби в непросыхающих сапогах,— после всего, что там было, эта госпитальная белизна и тишина показались нам чем-то неправдоподобным. Мы заново приучались есть из тарелок, держать в руках вилки, удивлялись забытому вкусу белого хлеба, привыкали к простыням и райской мягкости панцирных кроватей. Несмотря на раны, первое время мы испытывали какую-то разнеженную умиротворенную невесомость.

Но шли дни, мы обвыклись, и постепенно вся эта лазаретная белизна и наша неподвижность начали угнетать, а под конец сделались невыносимыми. Два окна второго этажа, из которых нам, лежащим, были видны одни только макушки голых деревьев да временами белое мельгешенье снега, двенадцать белых коек и шесть белых тумбочек, белые гипсы, белые бинты, белые халаты сестер и врачей, и этот белый, постоянно висевший над головой потолок, изученный до последней трещинки. Белое, белое, белое... Какое-то изнуряю-

щее, цинготное состояние от этой белизны. И так изо дня в день: конец февраля, март, апрель...

Впрочем, гипсы, в которые мы были закованы всяк на свой манер, уже давно утратили свою белизну. Они замызгались, залоснились от долгой лежки, насквозь пропитались желто-зеленой жижей тлеющих под ними ран. От них неистребимо тянуло сладковатым духом тления, воздух в палате стоял густ и тяжек, и, чтобы хоть как-то его успастить, мы поливали гипсы одеколоном.

Медленно заживающие раны зудели, и это было нестерпимой пыткой, не дававшей покоя ни днем, ни ночью. Вопреки строгим запретам врачей мы просверливали в гипсах дыры вокруг ран, чтобы добраться до тела карандашом или прутиком от веника. Когда же в городе зацвела черемуха и серпуховские ткачихи и школьницы начали приносить в палату обрызганные росой благоухающие букеты, они не знали, что по ночам мы безжалостно раздергивали их цветы, чтобы выломать себе палочки, которые каждый запасал и тайно хранил под матрацем, как драгоценный инструмент.

— Опять букет располовинили, — журила умывавшая нас по утрам старая нянька тетя Зина. — Все мои веники потренили, а теперь за цветы взялись. Ох ты, горюшко мое!

От этих каменных панцирей нельзя было избавиться до срока, и надо было терпеть и дожидаться своего часа, своей судьбы. Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки их пустовали.

В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны. Конечно, там, на западе, кто-то и теперь еще падал, подкошенный пулей или осколком, страшная мясорубка крутилась на предельных оборотах, и в глубь страны по-прежнему мчались лазаретные теплушки, но в наш госпиталь раненых больше не поступало. Их не привозили к нам, наверно, потому, что здание надо было привести в порядок и к сентябрю вернуть школьникам. Мы были здесь последней волной, последним эшелонем перед ликвидацией госпиталя. И, может быть, потому это была самая томительная военная весна. Томительная именно тем, что все — и медперсонал и мы, раненые, со дня на день, с часу на час ожидали близкой победы.

После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью.

Было видно, что теперь все кончится без нас.

В госпиталь мы попали сразу же после январского прорыва восточнопрусских укреплений. Нас подобрали в Мазур-

ских болотах, промозглых от сырых ветров и едких туманов близкой Балтики. То была уже земля врага. Мы прошли по ней совсем немного, по этой чужой унылой местности с зарослями чахлого вереска на песчаных холмах. Нам не встретилось даже мало-мальского городишки. Между тем ходили слухи, будто на нашем направлении среди этих мрачных болот Гитлер устроил свою главную ставку — подземное бетонное логово. Это придавало особую значимость нашему наступлению и возбуждало боевой азарт. Вместе с жаждой победы росло и простое любопытство — посмотреть на страну, сумевшую заглотив чуть ли не половину России. Но для меня, как, впрочем, и для всех лежащих в нашей палате, собранных из разных полков и дивизий, это наступление закончилось неожиданно и весьма прозаически: через какую-то неделю нас уже тащили в тыл на носилках...

Оперировали меня в сосновой роцице, куда долетала канонада близкого фронта. Роца была начинена повозками и грузовиками, непрерывно подвозившими раненых. Наспех забинтованные солдаты, — обросшие, осунувшиеся, в заляпанных распутицей шинелях и гимнастерках, — ожидали под соснами врачебного осмотра и перевязок. В первую очередь пропускали тяжелораненых, сложенных у медсанбата на подстилках из соснового лапника.

Под пологом просторной палатки с окнами и жестяной трубой над брезентовой крышей стояли сдвинутые в один ряд столы, накрытые клеенками. Раздетые до нижнего белья раненые лежали поперек столов с интервалом железнодорожных шпал. Это была внутренняя очередь — очередь непосредственно к хирургическому ножу. Сам же хирург — сухой, сутулый, с желтым морщинистым лицом и закатанными выше костлявых локтей рукавами халата — в окружении сестер орудовал за отдельным столом.

Я лежал на этом конвейере следом за каким-то солдатом, повернутым ко мне спиной. Подштанники спустили с него до колен, и мне виделся его костреч, обвязанный солдатским вафельным полотенцем, на котором с каждой минутой увеличивалось и расплывалось темное пятно.

Очередного раненого переносили на отдельный стол, лицо его накрывали толсто сложенной марлей, чем-то брызгали на нее, и по палате расплзался незнакомый запах. Стол обступали сестры, что-то там придерживали, оттягивали, прижимали, подавали шприцы и инструменты. Среди толпы сестер горбилась высокая фигура хирурга, начинали мелькать его оголенные острые локти, слышались отрывисто-резкие

слова каких-то его команд, которые нельзя было разобрать за шумом примуса, непрестанно кипятившего воду. Время от времени раздавался звонкий металлический шлепок: это хирург выбрасывал что-то в цинковый тазик, пододвинутый к подножию стола. А где-то за лазаретной рощей, прорываясь сквозь ватную глухоту сосновой хвои, грохотали разрывы, и стены палатки вздрагивали туго натянутым брезентом.

Наконец хирург выпрямлялся, и как-то мученически, неприязненно, красноватыми от бессонницы глазами взглянув на остальных, дожидавшихся своей очереди, отходил в угол мыть руки. Он шлепал соском рукомойника, и я видел, как острилась его узкая спина с завязками на халате и как устало обвисали плечи.

Пока он приводил руки в порядок, одна из сестер подхватывала и уносила таз, где среди красной каши из мокрых бинтов и ваты иногда пронзительно-восково, по-куриному желтела чья-то кисть, чья-то стопа... Мы видели все это, с нами не играли в прятки, да и некогда было и не было условий, чтобы щадить нас этикой милосердия.

Обработанный солдат какие-то минуты еще оставался в одиночестве на своем столе, но вот уже сестра подходит к нему, начинает тормозить, приговаривая:

— Солдат, а солдат... Солдат, а солдат...

Она произносит это с механической однотонностью, как говорила уже сотни раз прежде и как будет скоро говорить мне, а после меня — тем, что длинной вереницей лежали за палаткой на сосновых лапах. И тем, которых еще только везли сюда, и многим другим, которые в этот час находились к западу от сосновой рощи, были еще целы и невредимы, но падут вечером или ночью, завтра, через неделю...

— Солдат, а солдат...

Оперированный не подает признаков жизни, и тогда сестра принимается шлепать ладонью по его небритым запавшим щекам, чтобы он поскорее пришел в себя и уступил место другому. Если нет тяжелого шока, солдат постепенно очушивается, начинает крутить головой, и тотчас раздается нетерпеливый приказ хирурга:

— Унести!

Раненого подхватывают на носилки и уносят, сестра ребром ладони смахивает в таз темные студенистые сгустки, оставшиеся после него на клеенке, другая сестра поливает горячей водой из голубого домашнего чайника, третья затирает тряпкой, тогда как старшая хирургическая сворачивает марлю для очередной наркозной маски.

— Следующий! — выкрикивает хирург и воздевает кверху обтертые спиртом длиннопалые ладони.

Тогда же в маленьком польском городке Млава, лежащем на пути в Данциг, нас погрузили в товарный порожняк, доставлявший к фронту то ли боеприпасы, то ли продовольствие. Состав был спешно переоборудован в санитарный поезд с тройными ярусами нар в каждом вагоне, железной печкой посередине и снарядным ящиком у захлопнутой левой двери, где хранились колотые дрова для разжижки, а также миски на тридцать человек, пакеты бинтов и кое-какие медикаменты.

Медицинская прислуга ехала где-то отдельно, вагоны между собой не сообщались, и, когда поезд трогался и часами тащился от станции к станции по временным однокольным путям, только что уложенным на живую нитку вместо взорванных, мы, уже одетые в гипсовые вериги, оставались в теплушках одни, как говорят теперь — на полном самообслуживании. Еду нам приносили на остановках, и те, кто мог передвигаться, начинали делить похлебку и кашу. Они же поочередно топили печку, поили лежащих и подавали на пары консервную жестянку, служившую вместо лазаретной утки.

В Россию въехали со стороны Орши, и хотя в узкие продолговатые окна могли смотреть только те, кому достались верхние нары, мы, нижние и средние, и без того догадывались, что едем по России: исчезла едкая сырость Балтики, в щелястый пол начало подбивать сухим снежком, морозно, остро пахло близким зимним лесом, а на безвестных станциях вдоль эшелона хрустели торопливые шаги и было щемящерадостно узнавание родной стороны по бабьим и детским голосам, по их просительным выкрикам: «Картошка! Картошка! Кому вареной картошки?», «Есть горячие шти! Шти горячие!», «Покурим, покурим!» — и, пытаюсь пошутить, весело повести торговлю, должно быть, вдовая молодуха прибавляла нараспев: «Самосадик я садила, сама вышла продава-а-ть...»

Но все это было еще в январе.

Теперь же шла весна, и мы находились в глубоком тылу, вдалеке от пекла войны.

— Интересно, где теперь наши? — спрашивал, ни к кому не обращаясь, лежавший в дальнем углу Саша Селиванов, смуглый волгарь с татарской раскосиной. В голосе его чувствовалась и тоска и зависть.

Войска восточнопрусского направления шли уже где-то по полям Померании, и мы, вслушиваясь в сводки Информбюро, пытались напасть на след своих подразделений. Но по

радио не назывались номера дивизий и полков, все они были энскими частями, и никто не знал, где теперь топают ребята, фронтовые дружки-товарищи. Иногда в палате разгорался спор о том, как считать: повезло ли нам, что, хотя и такой ценой, но мы уже как-то определились, или не повезло...

— На войне, как в шахматах,— сказал Саша.— Е-два — е-четыре, бац! и — нету пешки. Валяйся теперь за доской без надобности.

Сашина толсто загипсованная нога торчала над щитком кровати наподобие пушки, за что Сашу в палате прозвали Самоходкой. К ноге с помощью кронштейна и блока был подвязан мешочек с песком, отчего Саша вынужден был все время лежать на спине, а если и садился, то в неудобной позе, с высоко задранной ногой.

— Теперь мат будут ставить без нас,— задумчиво продолжал он.

— Нешто не навоевался? — басил мой правый сосед Бородухов.

— Да как-то ни то ни се... Шел-шел и никуда не дошел... Охота посмотреть, как Берлин будут колошматить.

— Заго дома наверняка будешь. А то мог бы еще и два аршина схлопотать... Под самый конец.

Бородухов заметно напирал на «о», отчего речь его звучала весома и основательно. Был он из мезенских мужиков-лесовиков, уже в летах, кряжист и матер телом, под которым тугая панцирная сетка провисала, как веревочный гамак. Минные осколки угодили ему в тазовую кость, но лежал он легко, ни разу не закричав, не поморщившись. С начала войны это четвертое его ранение, и потому, должно быть, Бородухов отлеживал свой очередной лазарет как-то по-домашнему, с несуетной обстоятельностью, словно пребывал в доме отдыха по профсоюзной путевке.

Я слушал разговоры в палате, потихоньку температурил, задремывал, снова открывал глаза и подолгу глядел в весеннее небо. Мой нагрудный гипсовый жилет походил на рачью скорлупу с одной клешней. Под скорлупой тупо мозжила раздробленная лопатка, внутри клешни безвольно пролегалась плеть правой руки, перебитой в предплечье и заклиненной в локтевом суставе. Я все еще не мог привыкнуть к моему новому состоянию, к тому, что в меня тоже вонзилось железо, что-то там разворочало, перебило, нарушило, и что я мог быть убит этими слепыми и равнодушными кусками металла, сваренного в крупновских печах, может быть, еще в то время, когда я бегал в коротких штанишках и отдавал свои

медяки в школьную кассу МОПРа. Неотвратимая, исподволь обусловленная связь обстоятельств... От ран моих пахло собственным трупным духом, и это жестоко и неумолимо убеждало меня в моей обыкновенности, серийности, в том, что я тоже смертен, хотя собственную смерть понять и допустить по-прежнему отказывался. Сам факт моего ранения я пытался приспособить к моей наивной теории бессмертия: ведь я только ранен, а не убит! А раны — это всего лишь испытание. Мне шел тогда двадцать первый, и я, вернее не я, а что-то помимо меня, тот неуправляемый эгоцентризм, столь необходимый всему живому в пору расцвета, не допускал понимания, что я тоже могу превратиться в нечто непостижимое, доступное червю и мухе. Пули врага долгое время облетали меня, и я думал, верил, что это так и должно быть. За несколько минут до того, как меня изрешетило осколками, мы прямой наводкой расстреливали выскочивших из горящего ганка троих немцев. В своих черных коротеньких френчах, похожие на тараканов, немцы, быстро перебирая руками и ногами, карабкались на четвереньках по крутому склону приозерной дюны. Песок осыпался, они беспомощно съезжали вниз и начинали снова карабкаться в своем паскомьем безумии. Мы били по ним болванками с трехсот метров, и снаряды без следа исчезали в толще песка. В общем-то для удиравших немцев это была не слишком опасная пальба, хотя страху нагоняла изрядно, и одно это доставляло нам мстительное удовольствие, меж тем как проще было срезать их автоматной очередью. Вгорячах мы отчаянно мазали, беззлобно переругивались и, упиваясь паническим бегством врага, хохотали у орудия. Откуда-то взявшийся на гребне дюны «фердинанд» первым же выстрелом сииб нашу пушку. Он разделал нас каким-то горошошным ударом, выметя из огневой позиции весь наш расчет. Мне кажется, что в момент, когда снаряд разорвался под колесами орудия, во мне еще ликовало чувство торжества, а быть может, в это самое мгновение я даже хохотал над удиравшими танкистами и непрозвольно закусил свой смех судорожно сжавшимися челюстями. Видно, в мире все построено на таких вот непредвиденных подножках судьбы.

— А ты не балуй на войне,— резонил по этому поводу Бородухов, когда я рассказал, как попал в госпиталь.— Баловство — оно, парень, не дело.

Слева от меня лежал солдат Копёшкин. У Копёшкина перебиты обе руки, повреждены шейные позвонки, имелись и еще какие-то увечья. Его замуровали в сплошной нагруд-

ный гипс, а голову прибинтовали к лубку, подведенному под затылок. Копёшкин лежал только навзничь, и обе его руки, согнутые в локтях навстречу друг другу, горчали над грудью, тоже загипсованные до самых пальцев. Эта конструкция со всеми ее подпорками и расчалками на обиходном госпитальном языке именовалась «самолетом». Копёшкин, как нам удалось у него дознаться, числился в обозе, справляя и на войне свою нехитрую крестьянскую работу: запрягал, распрягал, кормил-поил обозных лошадей, летом, если позволяли фронтовые условия, гонял их в ночное, чинил сбрую, возил за батальоном всякую солдатскую поклажу: мешки с сухарями, концентраты, коптерское имущество, патронные цинки.

— Медалей много навоевал? — интересовался Самоходка.

— Дак какпе медали... — слабым сдавленным голосом отзывался из своего склепа Копёшкин. — За езду рази дают...

— Ты, поди, и немца-то додела не видел?

— Как не видел... За четыре-то года... Повида-а-ал.

— Стрелять-то хогь доводилось?

— Дак и стрелял... А то как же... В окруженье однова попали... Вот как насел немец-то, вот как обложил... Дак и стрелял, куда денешься.

— Убил когь?

— А шут его разберет... Нешто там поймешь... Темень, шальба отовсюдова.

— Небось перепугался?

— Дак и страшно... А го как же...

— Это где ж тебя так разделало?

— Заблудился с обозом. Я говорю — туда надо ехать, а старшой — не туда... Поехали за старшим... Да и прямо на ихнюю батарею... Куда колеса, куда что... Обоих лошадей моих прибило. От самого Сталинграда берег: п бомбили, и чего только не было... А туг вот и получилось нескладно...

В последние дни Копёшкину стало худо. Говорил он все реже, да и то безголосо, одними только губами, и надо было напрягаться, чтобы что-то разобрать в его невнятном шепоте. Несколько раз ему вливали свежую кровь, но все равно что-то ломало его, жгло над гипсовым скафандром, он и вовсе усох лицом, резко проступили заросшие ржавой щетиной скулы, сбрить которые мешали бинты. Иной раз было трудно сказать, жив ли он еще в своей скорлупе или уже затих навечно. Лишь когда дежурная сестра Таня подсаживалась к нему и начинала кормить с ложки, было видно, что в нем еще теплится какая-то живинка.

— Ты давай ешь, — наставлял его Бородухов. — Перемо-

гайся, парень. Вон скоро и война кончится. Пошто уж теперь зазря гибнуть-то.

Копёшкин, будто внемля совету, чуть приоткрывал сухие губы, но зубов не разнимал, крепко держал ими свою боль, и сестра цедила с ложки супную жижу сквозь желтые прокуренные резцы.

— Ему бы клюквы надавить,— говорил Бородухов, поглядывая на терпеливо сидевшую возле Копёшкина сестру с тарелкой на коленях.— Дак где ж ее взять. Нежели посылку из дому затребовать. У нас ее сколь хошь. Вот как добро жар утушает, клюква-то.

Как-то раз на имя Копёшкина пришло письмо — голубенький косячок из тетрадной обертки. Сестра поднесла конверт к его глазам, показала адрес.

— Из дому? — спросил Бородухов.

Подернутые температурным нагаром губы Копёшкина в ответ разошлись в тихой медленной улыбке.

— Вот и хорошо, вот и ладно. Пацаны-то есть?

Копёшкин с трудом пригнул два непослушных желто-сизых пальца с приставшими крупинками гипса на волосках, показывая остальные три.

— Трое, выходит? Тогда держись, держись, парень. Теперь домой недалеко.

Сестра Таня предложила прочитать ему письмо вслух, но он беспокойно шевельнул кистью.

— Сам хочет, сам,— догадался Самоходка.

— Ежели может, дак пусть сам,— сказал Бородухов.— Своими-то глазами лучше.

Косячок развернули и вставили ему в руки.

Весь остаток дня листок проторчал в недвижных руках Копёшкина, будто вложенный в станок. С ним он и спал почью. А может быть, и не спал... Лишь на следующее утро попросил перевернуть другой стороной и долго разглядывал обратный адрес, где крупными неловкими буквами, написанными послунявленным чернильным карандашом, было выведено: «Пензенская область, Ломовский район, деревня Сухой Житень».

Перед маем из нашей палаты ушли сразу трое. Им выдали новенькие костыли, довольствие на дорогу и отправили по домам. Это тоже означало конец войне. Раньше их направили бы в так называемый выздоравливающий батальон на какие-нибудь работы: пилить дрова, сапожничать, заготавливать в колхозах фураж с тем, чтобы потом, еще раз пропустив через жесткое сито медицинской комиссии, выкритить из этих хро-

моногих и косоруких одного-другого лишнего солдата для фронтовых тылов. Но теперь такие гам были не нужны.

Те, кто остался, кто мог переползать по палате, перебрались на опустевшие койки у окон. Приоконные места пользовались привилегией: оттуда можно хотя бы смотреть на улицу. Эти койки обычно захватывали выздоравливающие.

Ушел к окну сапер Михай, родом из-под загадочного бесарабского городка Фалешты. Я представлял себе молдаван непременно черноволосыми, поджарыми и проворными, а этот был молчаливо-медлительный увалень с широченной спиной и с детским выражением округлого лица, на котором примечательны и удивительно ясные, какие-то по-утреннему свежие, чистые, ко всему доверчивые голубые глаза и маленький нос пипочкой. К тому же Михай, даже будучи коротко остриженным под машинку, был золотисто-рыж, будто облитый медом. Этот большой тихий тридцатилетний ребенок вызывал у нас молчаливое сострадание. Он единственный в палате не носил гипсов: обе его руки были ампутированы выше локтей, и пустые рукава исподней рубахи ему подвязывали узлами.

Тетя Зина вспоминала, как она однажды, еще зимой, убирая в туалете, застала там беспомощно стоявшего Михая.

— Гляжу,— рассказывала нянька,— а у него слезы по щекам. До того, стало быть, расстроился. Ты что ж это, сынок, стоишь, говорю я ему, давай, милай, помогну. Так-таки не дал пуговицу отстегнуть, застеснялся... Все, бывало, стоит, ждет, пока какой-нибудь раненый заглянет.

Мы и сами видели, как тяжело переживал Михай утрату рук. Часами лежал он, уткнувшись лицом в подушку, иногда беззвучно трясясь широкой спиной. Но потом успокоился. Случалось даже, что, сидя у окна, он тихо напевал что-то на своем языке, раскачивая могучее тело в такт песне. И все глядел куда-то вверх домов, будто высматривал за горизонтом далекую Молдову.

В один из вечеров, когда Михай вот так же сидел на подоконнике и его огненная голова полыхала от закатного солнца, Копёшкин зашевелил пальцами, прося о чем-то.

— Чего ему? — поднял голову Бородухов.

Мы прислушались к слабому голосу Копёшкина.

— Спрашивает у Михая, что видно за окном,— разобрал я, поскольку моя койка стояла ближе всех к его кровати.

— Солнце вижу... Поле вижу...— не оборачиваясь, ответил Михай.

— Далеко? — спрашивает, — переводил я шепот Копёшкина.

— Поле? А там... За рекой.

— Какое оно? — говорит. — Что посеяно?

— Зеленое. Хлеб будет.

Копёшкин вздохнул, закрыл глаза и больше не спрашивал. На какое-то время в палате наступило молчание. Даже по одному только небу, которое виделось нам, лежащим у дальней стены, очистившемуся, сплелому, высокому, чувствовалось, как там теперь привольно.

— А на улице что? — помолчав, спросил Саша Самоходка.

— Дома, люди...

— Девчата ходят?

— Ходят.

— Красивые? — допытывался Самоходка.

Михай промолчал. Голова его монотонно качалась в раме окна.

— Тебе чего, трудно сказать? Красивые девки-то?

— А! — Михай досадливо отмахнулся узлом рукава.

— Ему теперь не до девок, — сказал Бородухов.

— Эх, братья-славяне! — с горькой веселостью воскликнул Самоходка. — Мне бы девчоночку! Дошкандыбаю до своей матушки Волги — такие страдания разведу, елки-пишки посыпятся!

Но шутить у нас было некому. Двое наших шутников, двое счастливицков — Саенко и Бугаёв — почти не обитали в палате. В отличие от нас, белокальсонников, они щеголяли в полосатых госпитальных халатах, которые позволяли им разгуливать по двору. Чуть только дождавшись обхода, они рассовывали по карманам курево, спички, домино и, выставив вперед по гипсовому сапогу — Саенко правую ногу, Бугаёв левую, — упрыгивали из палаты. Остальные поглядывали на них с завистью.

Возвращались они только к обеду. От них вкусно, опьяняюще пахло солнцем, ветряной свежестью воли, а иногда и винцом. Оба уже успели загореть, согнать с лица палатную желтизну.

А за окном было действительно невообразимо хорошо. Уже курились зеленым дымком верхушки госпитальных тополей, и, когда Саенко, уходя, открывал для нас окно, которое в общем-то открывать не разрешалось, мы пьянели от пряной тополевой горечи ворвавшегося воздуха. А тут еще повадилса под окно зяблик. Каждый вечер на закате он садился на са-

мую последнюю ветку, выше которой уже ничего не было, и начинал выворачивать нам души своей развеселой цыганистой трелью, заставляя надолго всех присмиреть и задуматься.

Сестра Таня, приходившая в шестом часу ставить термометры, в строгом негодовании первым делом шла к окну, чтобы захлопнуть створки, но Михай вставал в проходе между коек и преграждал ей дорогу:

— Нэ надо... Что тебе стоит?

— Не положено. Кто-нибудь схватит пневмонию. Разве вам мало форточки?

— А! — морщился молдаванин. — Ты послушай, послушай... Птица поет.

Михай культей обнимал Таню за плечи и подводил к подоконнику.

— Слышишь, как поет? А ты говоришь — форточка!

Таня молча слушала и не снимала с плеча Михаеву обрубленную руку.

Рухнул, капитулировал наконец и сам Берлин! Но этому как-то даже не верилось.

Мы жадно разглядывали газетные фотографии, на которых были отсняты бои на улицах фашистской столицы. Мрачные руины, разверстые утробы подвалов, толпы оборванных, чумазных, перепуганных гитлеровцев с задранными руками, белые флаги и простыни на балконах и в окнах домов... Но все-таки не верилось, что это и есть конец.

И действительно, война все еще продолжалась и третьего мая, и пятого, и седьмого... Сколько же еще?! Это ежеминутное ожидание конца звинчивало всех до крайности. Даже раны в последние дни почему-то особенно доносили, будто на изломе погоды.

От нечего делать я учился малевать левой рукой, рисовал всяких зверюшек, но все во мне было насторожено — и слух и нервы. Саенко и Бугаёв отсиживались в палате, деловито и скучно шуршали газеты. Бородухов, наладив иглу, принялся чинить распоровшийся бумажник. Саша Самоходка тоже молчал, курил пайковый «Дюбек», пускал дым себе под простыню, чтобы не заметила дежурная сестра. Валялся на койке Михай, разбросав по подушке культы, разглядывал потолок. На каждый скрип двери все настороженно поворачивали головы. Мы ждали.

Так прошел восьмой день мая и томительно-тихий вечер.

А ночью, отчего-то вдруг пробудившись, я увидел, как в лунных столбах света, цепляясь за спинки кроватей, про-

мелькнул в исподнем белье Саенко, подсел к Бородухову.

— Спишь?

— Да нет...

— Кажется, Дед приехал.

— Похоже — он.

— Чего бы ему ночью...

По госпитальному коридору хрустко хрумкали сапоги. В гулкой коридорной пустоте все отчетливей слышался сдержанный голос начальника госпиталя полковника Туранцева, или Деда, как называли его за узкую ассирийскую лопаточку бороды. Туранцева все побаивались, но и уважали: был он строг и даже суров, но считался хорошим хирургом и в тяжелых операциях нередко сам брался за скальпель. Как-то раз в четвертой палате один кавалерийский старшина, носивший Золотую Звезду, благодаря чему получавший всяческие поблажки, — лежал в отдельной палате, не позволял стричь вихрастый казачий чуб и прочее, — поднял шум из-за того, что ему досталась заштопанная пижама. Он накричал на кастеляншу, скомкал белье и швырнул ей в лицо. Мы в общем-то догадывались, почему этот казак поднял тарарам: донец похаживал в общежитие к ткачихам, а потому не хотел появляться перед серпуховскими девушками в заплатах пижаме. Кастелянша расплакалась, выбежала в коридор и в самый раз наскочила на проходившего мимо Туранцева. Дед, выслушав, в чем дело, повернул в палату. Кастелянша потом рассказывала, как он отбрил кавалериста: «Чтобы носить эту Звезду, — сказал он ему, — одной богатырской груди недостаточно. Надо лечиться от хамства, пока еще не поздно. Война скоро кончится, и вам придется жить среди людей. Попрошу запомнить это». Он вышел, приказав, однако, выдать старшине новую пижамную пару.

И вот этот самый Дед шел по ночному госпитальному коридору. Мы слышали, как он вполголоса разговаривал со своим заместителем по хозяйственной части Звонарчуком. Его жесткий сухой бас, казалось, просверливал стены:

...— выдать все чистое — постель, белье.

— Мы ж тильки змэнили.

— Все равно сменить, сменить.

— Слухаюсь, Анатоль Сергеич.

— Заколите кабана. Сделайте к обеду что-нибудь поинтереснее. Не жмитесь, не жалейте продуктов.

— Та я ж, Анатоль Сергеич, зо всій душою. Всэ, що треба...

— Потом вот что... Хорошо бы к обеду вина. Как думаете?

— Цэ можно. У мэни рэктификату йе трохы.

— Нет, спирт не то. Крепковато. Да и буднично как-то... День! День-то какой, голубчик вы мой!

— Та ж яснэ дило...

Шаги и голоса отдалились.

— Бу-бу-бу-бу...

Минуту-другую мы прислушивались к невнятному разговору. Потом все стихло. Но мы все еще оцепенело прислушивались к самой тишине. В ординаторской тягуче, будто в раздумье, часы отсчитали три удара. Три часа ночи... Я вдруг остро ощутил, что госпитальные часы отбили какое-то иное, новое время... Что-то враз обожгло меня изнутри, гулками толчками забухала в подушку напрягшаяся жила на моем виске.

Внезапно Саенко вскинул руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками.

— Все! Конец! Конец, ребята!— завопил он.— Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату.

Михай свесил ноги с кровати, пытаясь прийти в себя, как об сук, потеряв глазом о правый обрубок руки.

— Михай, победа! — ликовал Саенко.

Спрыгнул с койки Бугаёв, схватил подушку, запустил ею в угол, где спал Саша Самоходка. Саша заворочался, забормотал что-то, отвернул голову к стене.

— Сашка, проснись!

Бугаёв запрыгал к Сашиной койке и сдернул с него одеяло. Очнувшийся Самоходка успел сдапать Бугаёва за рубаху, повалил к себе на постель. Бугаёв, тиская Самоходку, хохотал и приговаривал:

— Дубина ты бесчувственная... Победа, а ты дрыхнешь... Ты мне руки не заламывай. Это уж дудки! Не на того нарвался... Мы, брат, полковая разведка. Не таких вязали, понял?

— Это у меня... нога привязана...— сопел Самоходка.— Я бы тебе... перо вставил, куда надо...

— Бросьте вы, дьяволы,— окликнул Бородухов.— Гипсы поломаете.

— А, хрен с ними! — грянул головой Саенко. Он дурашливо заплясал в проходе между койками, нарочно притопывая гипсовой ногой-колотушкой по паркету:

Эх, милка моя,
Юбка лыковая!

Бугаёв, бросив Самоходку, принялся подыгрывать, тряся, будто бубнами, шахматной доской с громыхающими внутри фигурами.

У меня теперь нога
Тоже липовая...

За окном в светлой лунной ночи сочно распелась малиновая ракета, переспело рассыпалась гроздьями. С ней скрестилась зеленая. Где-то резко рывнула автоматная очередь. Потом слаженно забасили гудки: должно быть, трубили буксиры на недалекой Оке.

— Братцы! — Саенко застучал кулаком в стену соседней палаты. — Эй, ребята! Слышите!

Там тоже не спали, и в ответ забухали чем-то глухим и тяжелым, скорее всего, резиновым пабалдашником костыля.

Прибежала сестра Таня, щелкнула на стене выключателем.

— Это что еще такое? Сейчас же по местам! — Но губы ее никак не складывались в обычную строгость. Наша милая, терпеливая, измученная бессонницами сестренка Тоненькая, чуть ли не дважды обернутая лапами халата, перехваченная пояском, она все еще держала руку на выключателе, вглядываясь, что мы натворили. — Куда это годится, все перевернули вверх дном. Взрослые люди, а как дети... Бугаёв! Поднимите подушку. Саенко! Сейчас же ложиться! Здесь Анатолий Сергеевич, зайдет — посмотрит.

Таня под села к Копёшкину и озабоченно потрогала его пальцы.

— Спице, спице, Копёшкин. Я вам сейчас атропинчик сделаю. И всем немедленно спать!

Но никто, казалось, не в силах был утихомирить пчелино загудевшие этажи. Где-то кричали, топали ногами, выстукивали морзянку на батарее. Анатолий Сергеевич не вмешивался: наверно, понимал, что сегодня и он был не властен.

Меж тем за окном все чаще, все гуще взлетали в небо пестрые, ликующие ракеты, и от них по стенам и лицам ходили цветные всполохи и причудливые тени деревьев.

Город тоже не спал.

Часу в пятом под хлопки ракет во дворе пронзительно заверещал и сразу же умолк госпитальный поросенок...

Едва только дождались рассвета, все, кто был способен хоть как-то передвигаться, кто сумел раздобыть более или менее нестыдную одежду — пижамные штаны или какой-нибудь халатишко, а иные и просто в одном исподнем белье, — повалили на улицу. Саенко и Бугаёв, распахнув для

нас оба окна, тоже поскакали из палаты. Коридор гудел от стука и скрипа костылей. Нам было слышно, как госпитальный садик наполнялся бурливым гомоном людей, высыпавших из соседних домов и переулков.

— Что там, Михай?

— Аяй-яй...— качал головой молдаванин.

— Что?

— Цветы несут... Обнимаются, вижу... Целуются, вижу...

Люди не могли наедине, в своих домах переживать эту ошеломляющую радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе. Кто-то снизу заметил высунувшегося Михая, послышался девичий возглас «держите!», и в квадрате окна мелькнул подброшенный букет. Михай, позабыв, что у него нет рук, протянул к цветам купцы предплечья, но не достал и лишь взмахнул в воздухе пустыми руками.

— Да миленькие ж вы моп-и-и! — навзрыд запричитала какая-то женщина, увидевшая беспомощного Михая.— Ох да страдальцы горемычные-и-и! Сколько кровушки вашей пролита-а-а...

— Мам, не надо...— долетел взволнованно-тревожный детский голос.

— Ой да спротинушки вы мои беспонятные-и-и! — продолжала вскрикивать женщина.— Да как же я теперь с вами буду! Что наделала война распроклятая, что натворила! Нету нашего родимова-а-а...

— Ну не плачь, мам... Мамочка!

— Брось, Насть. Глядишь, еще объявится,— уговаривал старческий мужской голос.— Мало ли что...

— Ой да не вернется ж он теперь во веки вечные-и-и...

И вдруг грянул неизвестно откуда взявшийся оркестр:

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой...

Музыка звучала торжественно и сурово. Ухавший барабан будто отсчитывал чью-то гяжелую поступь.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна...

Но вот сквозь четкий выговор труб пробились отдельные людские голоса, потом мелодию подхватили другие, сначала неуверенно и нестройно, но постепенно приладились и, будто обрадовавшись, что песня настроилась, пошла, запели дружно, мощно, истоиво, выплескивая еще оставшиеся запасы

святой ярости и гнева. Высокий женский голос, где-то на грани крика и плача, как острое, пронизывал хор:

Идет война народна-йа-ая-я...

От этой песни всегда что-то закипало в груди, а сейчас, когда нервы у всех были на пределе, она хватала за горло, и я видел, как стоявший перед окном Михай судорожно двигал челюстями и вытирал рукавом глаза. Сапа Самоходка первый не выдержал. Он запел, ударяя кулаком по щитку кровати, сотрясая и койку и самого себя. Запел, раскачиваясь гуловищем, молдаванин. Небритым кадыком задвигал Бородухов. Вслед за нами песню подхватили в соседней палате, потом наверху, на третьем этаже. Это была песня-гимн, песня-клятва. Мы понимали, что прощаемся с ней — отслужившей, демобилизованной, уходящей в запас.

Оркестр смолк, и сразу же без роздыха, лихо, весело трубы ударили «яблочко». Дробно застучали каблуки.

Эх, Гитлер-фашист,
Куда топаешь?
До Москвы не дойдешь —
Пулю слопаешь...

Частушка была явно устаревшая, времен обороны Москвы, но в это утро она звучала особенно злободневно, как исполнившееся народное пророчество.

И уж совсем разудало, с бедовым бабьим ойканьем, с прихлопыванием в ладоши:

Я по карточкам жила
Четыре годочка,—
Ненаглядного ждала
Своего дружочка!
Э-ой-ой-ой, йи-и-и-их...

Между тем начался митинг. Было слышно, как что-то выкрикивал наш замполит. Голос его, и без того не шибко речистый, простудно-сиплый, теперь дрожал и поминутно рвался: видно, замполит и сам порядочно волновался. Когда он неожиданно замолкал, мучительно подбирая нужные слова, неловкую паузу заполняли дружные всплески аплодисментов. Да и не особенно было важно, что он сейчас говорил.

Часу в девятом в нашу дверь несмело постучали.

— Давай, кто там?! — отозвался Сапа Самоходка.

— Разрешите?..

В палату вошел ветхий старичок с фанерным баулом и каким-то зачехленным предметом под мышкой. На старичке

поверх черного сюртука был наброшен госпитальный халат, волочившийся по полу.

— С праздником вас, товарищи воины! — Старичок снял сукодную зимнюю кепку, показал в поклоне восковую плешь. — Кто желает иметь фотографию в День Победы? Есть желающие?

— Какие тебе, батя, фотографии, — сказал Саша Самоходка. — На нас одни подштанники.

— Это ничего, друзья мои. Уверяю вас... Доверьтесь старому мастеру.

Старичок присел перед баулом на корточки, извлек новую шерстяную гимнастерку, встряхнул ею, как фокусник, перекинул через плечо, после чего достал черную кубанку с золоченым перекрестием по красному верху.

— Это все в наших руках. Пара пустяков... Итак, кто, друзья мои, желает первым? — Старичок оглядел палату поверх жестяных очков, низко сидевших на сухом хрящеватом носу. — Позвольте начать с вас, молодой человек.

Старичок подошел к Михаю и проворно, будто на малое дитя, натянул на безрукого молдаванина гимнастерку.

— Все будет в лучшем виде, — приговаривал фотограф, застегивая на растерявшемся Михае сверкающие пуговицы. — Никто ничего не заметит, даю вам мое честное слово. Теперь извольте кубаночку... Прекрасно! Можете удостовериться. — Старичок достал из внутреннего кармана сюртука овальное зеркальце с алюминиевой ручкой и дал Михаю посмотреть на себя. — Герой, не правда ли? Позвольте узнать, какого будете чину?

— Как — чину? — не понял Михай.

— Сержант? Старшина?

— Нэ-э... — замотал головой Михай.

— Он у нас рядовой, — подсказал Саша.

— Это ничего... Если правильно рассудить — дело не в чине.

Старичок порылся в бауле, откопал там новенькие, с чистым полем пехотные погоны и, привстав на цыпочки, припилил их к широким плечам Михая.

— Желаете с орденами?

— У него при себе нету, — ответил за Михая Самоходка. — Сданы на хранение.

— Это ничего. У меня найдутся. Какие прикажете?

— Не надо... — покраснел Михай. — Чужих не надо.

— Какая разница? Если у вас есть свои, то — какая разница? — приговаривал старичок, нацеливаясь в Михая дере-

вянным аппаратом на треноге.— Я вам могу подобрать точно такие же.

— Нет, не хочу.

— Скромность тоже украшает... Так... Одну секундочку... Смотреть прошу сюда... Смотреть героем! Не так хмуро, не так хмуро. Ах, какой день! Какой день!

После Михая фотограф прямо в койке обмундировал в ту же гимнастерку Сашу Самоходку. Саша, хохоча, пожелал сняться с орденами.

— Отечественная, папаша, найдется? — спросил он, подмигивая Бородухову.

— Пожалуйста, пожалуйста.

— И Славу повесь.

— Можно и Славу. Можно и полного Кавалера, — нимало не смутившись, предложил старичок, видимо, поняв, что Саша все обращает в шутку.

— А ты, папаша, в курсе всех регалий! Тогда валяй полного! Дома увидят — ахнут. Только не пойму, — изумленно хохотал Самоходка, — как же меня с такой ногой? Койка будет видна.

— Все сделаем честь по форме. Была бы голова на плечах — будет и фотография. Так я говорю? — тоже шутил старичок, морщась в улыбке. — Зачем нам кровать? Кровать солдату не нужна. Все будет, как в боевой обстановке.

Фотограф выудил из баульчика полотнище с намалеванным горящим немецким танком.

— Подойдет? Если хотите, имеется и самолет.

— Давай танк, папаша! — покатывался со смеху Самоходка. — А гранату не дашь? Противотанковую?

— Этого не держим, — улыбнулся старичок.

На карточке должно было получиться так, будто Саша находился не на госпитальной койке в нижнем белье, а на поле сражения. Он якобы только что разделался с немецким «тигром» и теперь, сдвинув набекрень кубанку, посмеивался и устраивал перекур.

— Ну и дает старикан! — реготал Самоходка.

— В каждом деле, молодой человек, имеется свое искусство.

— Понимаю: не обманешь — не проживешь, так, что ли?

— Это вы напрасно! К вашему сведению, я даже генералов снимал и имел благодарности.

— Тоже «в боевой обстановке»?

— Веселый вы человек! — жиденько засмеялся старичок и погрозил Самоходке коричневым от проявителя пальцем.

На меня гимнастерка не налезла: помешала загипсованная оттопыренная рука.

— Хотите манишку? — вышел из положения старичок, который, видимо, уже давно специализировался на съемках калек и предусмотрел все возможные варианты увечья. — Не беспокойтесь, я уже таких, как вы, фотографировал. Уверю вас: все будет хорошо.

Но манишки, а попросту говоря, нагрудника с пуговицами, я устыдился и не стал сниматься. Отказался и Бородухов, проворчавший сердито:

— Обойдусь. Скоро сам домой приеду.

— Тогда давайте вы. — Старичок цепким взглядом окинул Колёшкина, должно быть, прикидывая, какую можно к нему применить декорацию и бутафорский реквизит, чтобы и этому недвижимому солдату придать бравый вид.

— К нему, дед, не лезь, — сказал строго Бородухов.

— Но, может, он желает?

— Ничего он не желает... Не видишь, что ли?

— Понимаю, понимаю, — старичок приложил палец к губам и на цыпочках отошел от койки. — Хотя можно было и его... Что-нибудь придумали б... У меня, знаете, были очень трудные случаи...

— Давай, давай...

— Тогда счастливо выздоравливать. Фотографии только через десять дней. Много другой работы. Тула... Владимир... Это все моя зона. Что поделаешь. Теперь нету хороших мастеров, нету... Ах, такой день, такой день! Слава богу, дожили, наконец...

Он зачехлил аппарат, сложил в баул все свои бибехи, галантно раскланялся, доставая кепкой до пола, и неслышно вышмыгнул за дверь.

— Трупоед... — сплюнул Бородухов.

Госпитальный садик все еще гудел народом. Играла музыка — все больше вальсы, от которых щемило сердце. Саенко и Бугаёв вернулись в палату с красными бантами на пижамах и с охапками черемухи.

Перед обедом нам сменили белье, побрили, потом заревавшая по случаю праздника, с распухшим носом тетя Зина разносила янтарно-желтый суп из кабана.

— Кушайте, сыночки, кушайте, родненькие. — Концом косынки она утирала мокрые морщинистые щеки. — Суп-то нынче добрый... Ох, ты, господи! А я как услышала, так и села. Сколько по этим-то итажам выбегала, сколь носилок перетаскала и — ничего. А тут хочу, хочу встать, а ноги как не мои...

Да неужто, думаю, все уже кончилось? Аж не верится. Какую юдолю выгерпели, какого сапуста одолели. Как вспомню, как вспомню...

Слезы опять выступили на ее глазах, она торопливо утерлась и тут же улыбнулась, просветлела лицом.

— Кушайте, кушайте, а я пойду котлеток принесу. Поправляйтесь на здоровье, уж теперь недолго осталось...

Дверь распахнулась от толчка сапогом, в палату грузно протиснулся начхоз Звонарчук с неузнаваемо обвисшими усами на широком потном лице.

— Погодьте, погодьте исты!

На вытянутых руках он нес медный самоварный поднос с несколькими темно-красными стаканами.

— Э победою вас, товаришчи,— поздравил он усталым, по-детски тонким голоском.— Скильки вас у палати?

— Семеро осталось.

— Ага, точно... Тут вам вид имени администрации... Саенко, распорядысь.

— Есть распорядиться! — Саенко с готовностью подпрыгал к подносу и составил стаканы на Михаеву тумбочку.— Давайте с нами, товарищ начхоз. За Победу.

— Ни, хлопци. Нема время.— Он вытер рукавом халата потный лоб.— У мэни ще сто двадцать душ. Ух ты, чертяка, запалывси як...

Начхоз еще раз поглядел на стаканы: то ли пересчитывал в уме для отчетности, то ли просто так — как на произведение собственной расторопности. Видно, випо это досталось ему нелегко.

— Так вы давайте... А то суп охолонет.

— Спасибо.

— Було б за що.

Он ушел.

Саенко медленно, чтобы не пролить, не прыгая, как всегда, а волоча раненую ногу по полу, при полном молчании всех присутствующих разнес стаканы по тумбочкам. Лицо его при этом было озабоченным и строгим, а нижняя губа аскетически поджата, словно у ксендза при свершении исповеди. Да и правда, эти рубиново-красные, наполненные до краев стаканы воспринимались в нашей бесцветно-белой палате как нечто небывало-торжественное, как волнующее таинство.

Минуту-другую каждый молча созерцал свой стакан.

— Ну что, солдаты... Что задумались? Давайте колыхнем, что ли...— предложил Саенко.

— Да, давайте.

— Пусть сперва Михай,— сказал Бородухов.

— Верно, пусть он сперва. А то как же ему...

— Это само собой.— Бугаёв взял Михаев стакан.— Давай присядь, а то не дотянусь.

Михай послушно сел на край койки, запрокинул голову.

— Ну, браток... За победу?

— Ага.

— Жаль, нельзя с тобой чокнуться...

По лицу Михая скользнула виноватая улыбка.

— Ну ничего... поехали.

Мы смотрели, как Бугаёв, осторожно наклоняя стакан, вылил вино в птенцово раскрытый рот молдаванина.

— Во, парень,— удовлетворенно сказал он.— Это дело. Ничего, наловчишься...— Бугаёв вытер пижамным рукавом Михаев подбородок, по которому скользнула алая струйка, и, зачерпнув из супа картофелину, дал ему закусить.— Я знал одного такого, как ты, так он приспособился зубами брать стакан за край и высасывал все до донышка.

— Вино пить можно. А как теперь его делать будешь! — Михай потряхнул узлами рукавов.— Вину руки нужны.

— Ничего, братка! Не падай духом. Жинка поможет.

— Аяй-ай-ай...— Михай покачал головой.

— Ну будет, будет про это...— прервал Бородухов и степенно провозгласил: — Давайте, ребята, за дальнейшую нашу жисть выпьем... Как она дальше пойдет... Что было — то было, будь оно неладно! Живым жить, живое загадывать.

Мы выпили.

Прибежала Таня, поздравила с праздником, поставила на нашу с Копёшкиным тумбочку букет подснежников, принялась кормить его с ложки. Копёшкин, глотая жижу, морщился, пускал пузыри.

— Ты ему винца вплесни,— посоветовал Саенко.

— Вы что, смеетесь?

— А что? Пусть солдат разговееется.

— Ему же нельзя.

— Дай, дай ему. Отпусти ты его душу на волю. Вот увидишь, полегчает с вина-то.

— Не говорите глупостей.

— Ох уж эти лекари! Хуже жандармов. Может, ему только и осталось, что пососок выпить. Сердца у вас пету.

— Все, славяне! Завтра буду проситься на выписку,— решительным тоном сказал Саша Самоходка.

Таня посмотрела в его сторону, укоризненно покачала головой.

— Не выпишут — уберу. Тань, поехали со мной, а? На Волгу. Красота!

— По дороге потеряешь, — усмехнулась Таня.

— Честное гвардейское, не потеряю! Я ведь к тебе, можно сказать, привык. Осталось только расписаться. — Саша заметно окосел, да и все тоже порозовели, заблестели глазами. — Ребята, поехали? — говорил Саша, хмельной и добрый. — Нашими дружками будете. Такую свадьбу сварганим. Эх и хорошо у нас, братцы! Деревня высоко-высоко! А внизу Волга. Всю видать, на пятнадцать верст туда и сюда. Пароходы идут, гудки, бакены по вечерам... Михай, поехали?

— Не-е, я домой.

— Что у тебя там? Успеешь.

— Как что? — Михай вскинул рыжие брови. — Как что? Не был — не говори.

— Нет, брат, — Самоходка мечтательно уставился в потолок. — Где Волга не течет, там не жизнь.

— Зачем зря говоришь? Зачем? А виноград у вас есть? А вино наше пил? Не пил.

— Квас, знаю.

— Что понимаешь? — горячился Михай. — Давай спорить! Квас, да? Налю тебе кружку, вот такую большую, — он сдвинул культи, показывая, какую кружку нальет Самоходке. — Пей, пожалуйста! Выпьешь — под бочку упадешь. Как мертвый будешь. Э-э, что говоришь — нету жизни. Поедем — увидишь. Что Волга? Что Волга? Мы воду не пьем, мы вино пьем. Молдова, понял?

— Что ж вы не едите? — качала головой Таня, насильно вливая Копёшкину бульон. — Ну съешьте еще ложечку. Горе мне с вами...

— А у нас на Мезени пиво теперь варят. — Бородухов, только что побритый, в свежей рубахе, чинно прихлебывал наваристый суп, всякий раз подпирая доньшко ложки куском хлеба.

— Сегодня везде празднуют, — сказал Саенко.

— Празднуют, да не так. У нас, на Мезени-то, бабы старинное надевают. Хороводы водят, песни поют. А потом сядут в лодки да по Мезени. А пиво я люблю, чтоб с брусникою. — Бородухов выразительно покрякал, провел ладонью по рту, будто обтер пивную пену. — Благо! Давно не пивал. — И добавил, задумавшись: — Поди, теперь не из чего варить.

Таня кое-как покормила Копёшкина и, сама больше намутившись, ушла. Ей надо было смениться еще в девять утра, но она осталась помогать по случаю праздника. И было жаль,

что еще не посидела с нами. Самоходка прав: мы привыкли к ней и — чего уж темнить! — почти все были тихо влюблены в нее...

Вино разбредило, ребята зашумели, заспорили, где жить лучше. Вмешались Саенко с Бугаёвым, стали рассказывать о Сибири. Оба были родом из-за Урала, только Саенко происходил из степных алтайских хохлов, а Бугаёв — коренной енисейский чалдон.

«Сколько разных мест на земле, — думал я, слушая разговоры. — Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни... Были они и у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетелись по русской земле...»

— Тихе, ребята... — Бородухов первый заметил, как Копёшкин зашевелил пальцами. — Чего тебе, браток?

Мы насторожились.

— Пить?

Копёшкин отрицательно пошевелил кистью руки.

— Утку?

Припрыгал Саенко, наклонился над ним.

— Ты чего, друг?..

Копёшкин что-то шепелявил сухими ломкими губами.

— Так, так... Ага, понял... — Саенко закивал и перевел нам: — Говорит, у них тоже хорошо жить. Давай, давай, Копёшкин, расшевеливайся! Вот молодец! Ну-ка, расскажи, как там у вас... Это где ж такое? А-а, ясно... Пензяк ты. Ну и что там у вас?

— Хорошо тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина.

— Заладил: хорошо да хорошо... А что хорошего-то? Лес есть или речка какая?

Копёшкин пытался еще что-то сказать о своих местах, но не смог, обессилел и только облизал непослушные губы.

Мы помолчали, ожидая, что он отдышится, но Копёшкин так больше и не заговорил.

В палате воцарилась тишина.

Я пытался представить себе родину Копёшкина. Оказалось, никто из нас ничего не знал об этой самой пензенской земле. Ни какие там реки, ни какие вообще места: лесистые ли, открытые... И даже где они находятся, как туда добираться. Знал я только, что Пенза эта где-то не то возле мордвы, не то

по соседству с чувашами. Ну, а где эта самая мордва?.. И прежде почти никогда не вспоминал, что есть такая территория в России, хотя когда-то сдавал экзамены по географии. Сдал да тут же и позабыл... Где-то там в неведомом краю стоит и копёшкинская деревенька с загадочным названием — Сухой Житень, вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина являет она собой центр мироздания. Должно быть, полощутся белесые ракиты перед избами, по волнистым холмушкам за околицей — майская свежесть хлебов, вечером побредет с лугов стадо, запахнет сухой пылью, скотиной, ранний соловей негромко щелкнет у ручья, прорежется молодой месяц, закачается в темной воде...

Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально чиркал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картину в руки Копёшкина. Тот, почувствовав прикосновение к пальцам, разлепил веки и долго с осмысленным вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал:

— Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве...

Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картину.

Копёшкин, одобрив, еле заметно закивал восковым, заострившимся носом.

Ребята снова о чем-то заспорили, потом, пристроив стул между Сашиной и Бородуховой койками, шумно рубились в домино, заставляя проигравшего кукарекать. Во всем степенный Бородухов кукарекать отказывался, и этот штраф ему заменяли щелчками по роскошной лысине, что тут же исполнялось Бугаёвым с особым пристрастием под дружный хохот. Михай в домино не играл и, уединившись у окна, опять пел в закатном отсвете солнца, как всегда, глядя куда-то за петлявшую под горой речку Нару, за дальние вечеряющие холмы. Пел он сегодня как-то особенно грустно и тревожно, гяжко вздыхал между песнями и надолго задумывался.

Прислоненная к рукам Копёшкина, до самых сумерек стояла моя картинка, и я про себя радовался, что угодил ему, нарисовал нечто похожее на его родную избу. Мне казалось, что Копёшкин тихо разглядывал рисунок, вспоминая все, что было одному ему дорого в том далеком и неизвестном для остальных Сухом Житне.

Но Копёшкина уже не было...

Ушел он незаметно, одиноко, должно быть, в тот час, когда садилось солнце и мы слушали негромкие Михаевы песни. А может быть, и раньше, когда ребята стучали костяшками домицо. Этого никто не знал.

В сущности человек всегда умирает в одиночестве, даже если его изголодые участливо окружают друзья: отключает слух, чтобы не слушать ненужные сожаления, гасит зрение, как гасят свет, уходя из квартиры, и, какое-то время оставшись наедине сам с собой, в немой тишине и мраке, последним усилием отталкивает челн от э т и х берегов...

Пришли санитары, с трудом подняли с кровати тяжелую промокшую гипсовую скорлупу, из которой торчали, уже одревенев, иссохшие ноги Копёшкина, уложили все это в носилки, накрыли простыней и унесли.

Вскоре неслышно вошла тетя Зина со строгим отрешенным лицом, заново застелила койку и, сменив наволочку, еще свежую, накрахмаленную, выданную сегодня перед обедом, принялась взбивать кулаками подушку.

Я онемело смотрел на взбитую подушку, на ее равнодушную праздную белизну, и вдруг с пронзительной очевидностью понял, что подушка эта уже ничья, потому что ее хозяин уже н и ч ь о... Его не просто вынесли из палаты — его нет вовсе. Нет!.. Можно было догнать носилки, найти Копёшкина где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае. Но это будет уже не он, а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?» Эта его возможность появления сберегалась тысячелетиями, предки пронесли ее через всю историю — от первобытных пещер до современных небоскребов. Пришло время, сошлись, совпали какие-то шифры таинства, и он наконец родился... Но его срезало осколками, и он снова исчез в небытие... Завтра снимут с него теперь уже ненужную гипсовую оболочку, высвободят тело, вскрыют, установят причину смерти и составят акт. Потом его останки свезут на серпуховское кладбище, где для таких, как он, госпиталь арендует угол, и там закопают — без речей, без почетного караула, без прощальных залпов, — закопают, так сказать, «в рабочем порядке», как обычно хоронили по лазаретам ничем не отличившихся солдат.

— Ох ты, грехи наши тяжкие... — проговорила нянька, подняла с пола оброненную санитарями картинку с копёшкинской избой и прислонила ее к нетронутому стакану с ви-

ном.— Вот и пожар потушили, а, видно, чадить еще долго будет. Уж больно раскопчегарено...

Мы промолчали: разговаривать ни о чем не хотелось.

Картинка была моей вольной фантазией, но теперь нарисованная изба отбратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина. Я теперь и сам верил, что такая вот — серая, бревенчатая, с тремя окнами по фасаду, с деревом и скворечником перед калиткой,— такая и стоит она где-то там на пензенской земле. В это самое время, в час сумерек, когда санитары укладывают Копёшкина в госпитальном морге, в окнах его избы, должно быть, уже затеплился жидкий огонек керосиновой лампы, завиднелись головенки ребятишек, обступивших стол с вечерней похлебкой. Топчется у стола жена Копёшкина (какая она? как зовут?), что-то подкладывает, подливает... Она теперь гоже знает о победе, и все в доме — в молчаливом ожидании хозяина, который не убит, а только ранен, и, даст бог, все обойдется...

Странно и грустно представлять себе людей, которых никогда не видел и наверняка никогда не увидишь, которые для тебя как бы не существуют, как не существуешь и ты для них.

Тишину нарушил Саенко. Он встал, допрыгал до нашей с Копёшкиным тумбочки и взял стакан.

— Зря-таки солдат не выпил напоследок,— сказал он раздумчиво, разглядывая стакан против сумеречного света в окне.— Что ж... Давайте помянем. Не повезло парню... Как хоть его звали?

— Иваном, кажется,— сказал Саша.

— Ну... Прости-прощай, брат Иван.— Саенко плеснул немного из стакана на изголовье, на котором еще только что лежал Копёшкин. Вино густо окрасило белую накрахмаленную наволочку.— Вечная тебе память.

Оставшееся в стакане вино он разнес по койкам, и мы выпили по глотку. Теперь оно показалось таинственно-темным, как кровь.

В вечернем небе снова вспыхивали праздничные ракеты.

ОБЪЕЗДЧИК

1

В междуречье верхних притоков Днепра и Дона, по сухим увалистым водоразделам еще и теперь сохранились клочки дикой, паханой степи, некогда уходившей от порубежных русских земель к Черному и Каспийскому морям — и дальше, за Волгу, в необозримые киргизские кочевья.

Места эти издревле заселялись полупахарями-полувоинами, «с конца копья вскормленными», которым назначено было принимать на себя налеты бесшабашных половецких орд. Позже здесь обживались стрельцы и пушкарни, казаки и ямские люди и тоже пахали и сеяли промеж главным делом. С тех пор и остались во многих городах этой полосы, как память о беспокойной старине, стрельецкие и пушкарные, ямские и казацкие слободы. Правда, слободы уже не те: с кинотеатрами и кафетериями, с больницами и школами-десятилетками, а там, где раньше были ямские подворья и ночлежные станции с запасными тройками, стоят железнодорожные депо и вокзалы. Но до сих пор еще жителей называют по старинке — стрельцами и пушкарями, казаками и ямщиками, хотя ямщики уже давно пересели с облучков на поезда, да и стрельцы с пушкарями нашли себе новое дело. Русь раздвинула свои границы, и никто из теперешних слобожан не страшится, что вдруг наскочит дикий кочевник и отсечет кривой саблей иную зазевавшуюся стрельцкую голову или красавицу на модных шпильках уведут в полон в Крымское ханство. Теперешние стрельцы и стрельчихи и сами валят в Крым в несметном числе — полежать на южных пляжах. Бежит время!

Острова же тех прежних, первозданных степей затерялись теперь в безбрежном море паханных и перепаханных полей, окружены селами и деревеньками, опутаны шоссевыми и проселочными дорогами, по которым снуют автобусы и «Волги» или катят грузовики со всякой колхозной пожитью — зерном и картошкой, молоком и сахарными бураками.

Но странная, непривычная тишина охватывает всякого,

кто после каждодневной сутолоки, житейских дел и забот шагнет вдруг в дикие травы. Как и сотни лет назад, шумят, переливаются седые ковыли, одиноко в вечном сне дремлют курганы, подернутые синеватой марью, и все так же кружат над дикой равниной отрешенные от всего степные орлы, под крыльями которых проносятся столетия: прошли когда-то Игорева полки «испытать Дону широкого», прошла и конница Буденного — «от Касторной на Тихий Дон»...

Ранней весной рушится и оседает под щедрым солнцем серый торосистый снег, пробивают себе путь к земле талые воды, обнажая бурые, взъерошенные от прошлогодней травы пригорки и холмушки, а сквозь старую дернину уже востряются зеленые пики ковылей и типчаков. Едва зазеленев, степь сплошь золотится адонисом и сон-травой. В мае она уже бело-лиловая от диких ирисов и анемонов. В июне душно и густо синеет шалфеем, а к концу лета вдруг просияет ромашками, вымечет пуховые ковыли и заволнуется, засеребрится на ветру. Потом все это побуреет и поникнет, солнце иссушит, а дожди прибьют к земле мелкотравье, и только жестко и неприветливо будут торчать ржавые стебли конского щавеля да черные скелеты татарника. И побежит по степи проволочным клубком бездомное перекасти-поле. А вскоре падет снег, степь замрет, затаится до весны, а там снова — адонис и сон-трава, ирисы и анемоны... И так год за годом, века, а может быть, и тысячелетия в неумном и неистощимом круговороте.

Дикая вольница!

Пройдут краем степи мужики из соседних деревень, останутся, любуясь ширью, и в который раз подивятся слепому неразумию этой праздной, еще ни разу не служившей человеку земли, что сама сеет, щедро и без устали родит, сама пожинает свои плоды, ни с кем не делиась, разве что с птицами, беспечно и расточительно обращая все, что породила за лето, в прах и тлен. Постоят, подышат пьяным пыльным ветром и пойдут к себе, на соседние косогоры, к своим стократ паханым и перепаханым полям...

Останавливался у пограничной канавы и сапрыковский мужичок Яшка — маленький, узкогрудый, в сером мешковатом пиджаке с отвислыми карманами. По-рачьи красное, безусое и сморщенное Яшкино лицо непривычно мало, будто так с самого детства и осталось, не обретя зрелых мужских черт, так и состарилось, подобно не набравшему силы, преждевременно оброненному деревом яблоку. То ли за эту детскость, то ли за терпеливую безропотность считали Яшку на деревне ду-

рачком. В колхозе он не имел твердо определенной должности, посылали его на всякие работы, обычно невыгодные, на которые другие шли с неохотой, он же брался за все, был исполнительным, хотя по хилости своей охотнее всего прибегал к бабам — полел с ними бураки, сажал капустную рассадку, собирал долгоносиков. Все это не мешало ему, однако, жениться и наплодить кучу ребятишек.

Прикидывая сухонькую ладоньку к белесым детским бровям, Яшка глядел на буйный непроворот степных трав и бормотал:

— Ай-я-я... Зазря как... Ай-я-я...

— Чего уставился? — раздалось вдруг за его спиной.

Яшка пугливо вздрогнул и оглянулся. Большой грузный, в армейской, сбитой набок фуражке, с круглым и сонным лицом, со следами отпечатавшихся на щеке травинок, к нему поднимался с бруствера пограничной канавы объездчик Игнат Заваров. Игнат тоже был сапрыковский, Яшку признал и потому особенно строго и правоучительно изрек:

— На чужой каравай рот не раз-зевай.

— Поглядеть, чай... а что ж тут, если я из любознательности,— пролепетал Яшка.

— А чего глядеть? Трава — и трава.

— А трава она nope тоже хитрость. Не стало-ть трав-то... Вот и любо... Сена-то какие... Ай-я-я...

— Какие тут тебе сена?

— Да я так только... Предположительно. А вот тут чернобыльник завелся. Почистить али как...

— Не твоего ума дело,— неохотно, разморенно отозвался Игнат.— Нам чернобыльник не помеха.

— Дак ведь забьет, забьет...

— Науке все нужно,— вяло, будто показывая, что Яшке с его умишком все равно этого не понять, пояснил Игнат.— Науке что плохие травы, что хорошие.

Яшка поднял сухой ком земли, швырнул в суслика, любопытно и нахально разглядывавшего его с рассыпчатого холмика. Суслик сварливо заверещал, юркнул в дырку, мелькнув светло-желтыми подштанниками.

— И не швыряй,— наставительно и сурово сказал Игнат.

— Дак я суслика...

— Небось на столбе читал? Сказано: что произрастает и обитает на территории, охраняется законом.

— Какой суслик — закон? — усмехнулся Яшка.— Мы их на своем полю почем зря давим. А вы подбираете... Под закон приют даете.

— Давай, парень, налаживай лапти.— Игнат нахмурился, поигрывая крученой ременной плетью, пошлепывая ею о начищенную голяшку сапога.— Нечего мне с тобой попусту брехать. А то схлопочешь соли в штаны.

— А я канаву не переходил,— сощурился, скосив набок головенку, Яшка.— На нашенской земле стою. А конь твой хрумкает запретную траву... А на столбе написано...

— Вот я те сейчас пропишу! — Игнат топнул по брустверу сапогом, в канаву посыпались комья.

Яшка отпрянул и пошел, опасливо оглядываясь.

— Давай-давай, чеши! — помахал вслед плетью Игнат.— Шляются тут...

Отойдя к придорожным тополькам, Яшка еще раз оглянулся. Игнат вразвалку, будто в морскую пенную волну, забрел выше колен в ковыли и ромашки и, тихо посвистывая, принялся ловить жеребца. Рослый, грудастый жеребец красной буланой масти со светлой рассыпчатой гривой поднимал из трав узкую сухую морду, косился на Игната, откликался сдержанным радостным ржаньем. Игнат подходил к нему с вытянутой рукой, и конь, то косясь на ладонь, тянулся к ней с опасливым любопытством, то, будто передумав, взметывал шею, прижимал уши и бочком отходил, не даваясь, играя с Игнатом.

— Но, балуй мне, балуй! — добродушно сердился Игнат и вдруг, крупно шагнув, схватил повод, откинутый на луку. Конь приседал, рвал мордой, плясал, часто перебирая ногами, но объездчик легко, одним броском взлетел в седло и, будто сбросив лет пятнадцать, весь подобрившись, помахивая плетью в прямо отставленной руке, пустил жеребца размашистым галопом по невидимой со стороны степной тропе. И Яшка, затаясь в жидкой тени тополька, невольно любовался и конем и седоком, завидуя вольному Игнатову делу.

2

Игнат появился в степи лет пятнадцать тому назад, вскоре после демобилизации.

Побывав в Берлине с казаками, поглядев на вражье логово и снявшись на искромсанных ступенях рейхстага, Игнат о четырех медалях на бравой груди летом сорок пятого взортился в свою Сапрыковку. Еще издали увидел он родные кровли, но в деревню сразу не пошел, а, как бы отдаляя удовольствие, сбежал на луг под деревней, стащил гимнастерку, поплескался в торфяной копани, смыл дорожный пот. Улегшись на мягком

ковровом кочкарнике как раз против своей хаты, он вдыхал знакомый кизячий дымок, долетавший из трубы, вглядывался в отчий плетень, в поникшие, затяжелевшие головы подсолнухов и, растравляя себя ожиданием, смотрел, не выйдет ли кто из хаты. Со двора в огородную калитку вышмыгнул огнисто-красный петух, кукарекнул, будто поприветствовал, и пошел на грядки — должно быть, клевать огурцы. Петуха этого Игнат не знал, видно, завели уже без него, но все равно было приятно глядеть и на петуха — как-никак тоже родственник.

— Погоди ж ты! — радовался Игнат. — Вот я тя...

Снисходительно, с теплой усмешкой думал Игнат и о своих стариках. Мать небось топит печь, раз дым из трубы. Отец тюкает топориком махру в деревянном корытце. И не знают, не ведают, что сын их Игнат, целый и невредимый старшина казачьего эскадрона Кременчугского, Белостокского ордена Суворова первой степени гвардейского имени Котовского кавалерийского полка лежит у них перед самым носом. И стоит только ему, Игнату, подняться и перелезть через плетень, как в доме и во всей Сапрыковке начнется великий переполох.

Обмахнув вересковым пучком легкие старшинские сапожки, сшитые ему на заказ полковым сапожником, он достал из чемодана шпору, приладил, обдергал гимнастерку и, предвкушая столпотворение, суматоху, ахи и слезы, разговоры и выпивку, пошел по приседающим под ним кочкам к огородному плетню.

Все вышло так, как и хотелось Игнату. Мать заголосила, обхватила сухими руками его шею, бессильно повисла, уткнувшись впалым виском в Игнатовы медали.

Сестренка Нюська, вытянувшаяся за эти годы, с робкими пупырышками грудей, онемев, глядела пз-за двери на брата, потом, точно опомнившись, шмыгнула пз хаты, побежала в колхоз за отцом. Повалил народ — старики и бабы. Невесть откуда набилось полно ребятишек, босоногих, в выцветших и выгоревших рубашонках. Прибежал отец, протолкался к сыну, на ходу снимая кепчонку и крестясь. Запыхавшийся, со струйками пота в седых висках, сел с Игнатом рядом на лавку и тут же трясущимися, непослушными пальцами стал крутить сигарку, будто затем только и бежал, чтобы закурить. Игнат обнял его за плечи и, чувствуя под пальцами худое, невесомое тело, проникаясь доброй, снисходительной теплотой к старику, на секунду привалил его к своей груди.

— Ну, батя, как жизнь?

— Дак как. Вот дождался. Вся тебе и жисть...

— Ну-ну...— Игнат щелкнул трофейной зажигалкой и уважительно, под ревностными взорами окружающих поднес отцу огонька.

Меж тем мать в окружении баб уже затеяла на кухне стряпню. На всю кухню запахло мокрым горячим пером. Разомлевший от духоты, Игнат протиснулся к ведру с колодезной водой. Напившись из старого, с детства еще памятного медного ковшика, постоял над корытом, у которого присевшие на корточки бабы ошпыивали кур. Мать споровисто обдергивала ошпаренного кочета, того самого огненного петуха, что давеча первым выбежал навстречу Игнату и голосисто приветствовал его.

— Откукарекался,— усмехнулся Игнат.

— Да уж все огурцы издолбил,— с радостной готовностью отозвалась мать.— Не чаяла, как избавится.

Кто-то принес бутылку самогона, к ней донесли другую, натащили соленых огурцов, капусты, у кого что нашлось на скорую руку. Игнат, со своей стороны, выставил две бутылки припасенного спирта, достал кусок сала, селедку, и пошло накатываться, как снежный ком, веселье — до свету и от свету допоздна. Все перемешалось: и день и ночь. Игната поздравляли с благополучным возвращением, плакали по своим невернувшимся, зарытым — какой под Орлом, под Варшавой, а то и просто неизвестно где,— расспрашивали Игната, когда должны отпустить домой, ежели служит в артиллерии или еще где. Люди приходили и уходили, и только один Игнат сидел в красном углу бессменно, упрямо не покидая стола. Невыспавшийся, с оплывшим лицом, он чокался с вновь прибывающими, пьяно целовался, не выпуская стопки из руки, обнимал односельчан.

— А во — видели? — говорил он в который раз, беря со стола камень.— От самого рейхстага.

— Скажи ж ты! — Бабы пугливо пялились, разглядывая обломок, и почему-то все до одной прикидывали его на ладони.— А вроде как обыкновенный...

На второй день на таратайке с железными ходами от плуга впередке подъехал Васюхин, сапрыковский председатель. Длинный, с пустым рукавом, желтым сухим лицом язвенника, выбывший из войны в самом ее неинтересном месте — осенью сорок первого, без медалей,— Васюхин уважительно и заискивающе глядел на целого и невредимого Игната и даже наперекор донимавшей его язве с охотой выпил с ним стопку.

— За благополучное возвращение — это можно, — радостно сказал он. — Это мне никто не воспретит.

— А вот это — видел? — Игнат подсунул обломок к Васюхину. — От самого этого самого...

— Пошабашили, значит.

— В пух и прах расколошматили. — Игнат захохотал и стукнул кулаком по медалям.

— Н-да... — Васюхин задумчиво повертел обломок. — Оно, сказать, и у нас кирпича набито порядочно. Ох и набито! И не только кирпича... Из нашей Сапрыковки за все годы почитай рота ушла. А возвратились Захар Зуев, Ванек Чугунов да вот ты.

— Смертью храбрых, значит! Выпьем за смертью храбрых!..

— И в колхозе тоже, — сказал Васюхин. — Один трактор и семь пар волов осталось. На бабах до сево дня пашем...

— Ну, это все ерунда. Свои кирпичи... — Игнат, красный, потный, весь словно пропитанный хмелем, обнял, положил свою тяжелую лапу на остренькие плечи Васюхина, жарко и пьяно запел ему в шею: — И по камушку, по кирпичику...

— Да уж как-нибудь сообща залатаем... — закивал Васюхин. — Я небось больше отца-матери тебе рад.

Походив еще недели две по родным и знакомым, Игнат наконец выбился из сил и несколько дней отсыпался. Постепенно интерес к нему пошел на убыль. Мать больше не рубила к завтраку курицу, перевела все до единой в первые дни приезда и теперь виновато ставила на стол пустой суп, заправленный черными шкварками лука, и неизменную картошку с огурцами. Отец пропадал на конюшне, и Игнат, вяло позавтракав, в томлении топтался по знойному, заросшему просвирником двору или, опершись о плетень с торчавшими на кольях жаркими, раскаленными на солнце горшками, в которых заунывно трубил ветер, смотрел на деревню. Глядел он на серо-пыльную дорогу улицы, безлюдную об эту пору дня, на унылые ряды соломенных крыш, не перекрывавшихся еще с довоенных лет, обветшалые, посеревшие от дождей, придавленные старыми боровами и лемехами, глядел на низкий, сырой луг в черных рябинах нарезанного торфа, слушал кудахтанье кур, забившихся в крапиву, в сухую жаркую тень от плетней и сараев, и поднималась в нем тяжелая и мутная тоска и раздражение.

Иногда он забредал к отцу в конюшню. В длинном приземистом сарае было сумрачно и пусто, тянуло гнилой соломой, било в нос крепким, как спирт, запахом застоялого, за-

бродившего в духоте навоза. В косых столбах солнечного света, сквозившего в дыры на крыше, носились и зудели бронзово-зеленые мухи. Игнат, в начищенных сапогах, празднично-брезгливо пробирался по истыканному копытами вязкому проходу, заглядывая в пустые стойла, на которых остались еще дощечки с кличками когда-то стоящих здесь лошадей. Теперь в конюшне ютилась вся колхозная живность: несколько коров, десятка два овец, семь пар волов и единственная лошадь — председательский мерин. Но днем конюшня была пуста, скотина паслась или работала, лишь в одном стойле лежал, уткнувшись мордой в пах, с намазанной дегтем холкой маслятый большеерогий вол.

В камере с узким длинным оконцем и кой-какой сбруей на деревянных гвоздях отец, ссутулясь, ковырял шилом хомут. Игнат присаживался рядом на раковинном чурбаке, оба закуривали и молчали.

— Для чего хомут-то? — спрашивал Игнат.

— Как — для чего?

— Лошадей-то нет.

— Жив живое гадает. Про запас. Все равно так сажу. До вечера.

Игнат сосредоточенно дымил сигаркой, пуская струю себе в сапоги, оглядывая нехитрый упряжный скарб каморки.

— Вот у мадьяров хомуты... Серебром отделаны. И с рогом. На каждом хомуте рог торчит.

— Рог-то для чего?

— А так. Для красоты... И скрипки любят. Как цыгане. Усы почти у всех. А сало — крашеное. И хлеб белый. Круглыми жовригами на полпуда. Огромные рундуки, там овес... А в овсе — сало и коврига. А то и сливянки перепадало... Крепкая, зараза.

Игнат хотел было рассказать, как он выменял у одного поляка за десять тысяч таблеток сахара турецкого жеребца. Поляк тот у одного графа кучером был. Граф с немцами бежал, а жеребца бросил. Весь кипенно-белый, со змеиной шеей и злыми фиолетовыми глазами. И как потом он, Игнат, гарцевал на нем, когда проходили города, и как полячки забрасывали эскадрон тюльпанами. А одна, особо выделив Игната, подбежала и воткнула в стремя белую яблоневую ветку...

Но, вспомнив, что обо всем этом уже рассказывал, Игнат вздыхал и, скучая, поглядывал в оконце, за которым пустынно голубело выцветшее сапрыковское небо. И опять ему становилось невмотогу тоскливо. В такие минуты он чувствовал

себя не просто демобилизованным, а выбитым из седла, несправедливо разжалованным, как-то сразу потерявшим свою старшинскую власть, чин и все привычные привилегии.

— Ну, я пойду,— бросал он, вставая.

— Зашел бы к Васюхину,— говорил вслед отец.

— Зачем?

— Наказывал, чтоб зашел. Может, дело какое?

— Какое у него дело? Сам на железных ходах ездит...

По вечерам, позвякивая шпорами, с резной ивовой тростью Игнат шел на деревню, выпивал где-нибудь самогонки и, уже подвыпивший, повеселевший, вваливался на девчачий пятак. Собирались обычно возле сельсовета. Сельсоветский сторож дед Леонтий приносил с собой на ночное дежурство старую, залатанную ливенку, и вокруг него собирались позоревать ребятишки, девки и бабы. Игнат беспечно балагурил, плясал, иногда, разойдясь, посылал ребятишек на огород за огурцами и, подбрасывая один за другим огурцы высоко над головой, вздрыг разбивал их тростью, обдавая всех огуречными семечками.

Ребятишки млели перед Игнатовой ловкостью.

— Это что! — говорил он небрежно. — Вот бы пашку. Рубал бы на заказ: кому на скибки, кому от пупка до хвостика.

— И не надоело тебе пашкой-то махать? — говорил дед Леонтий.

Игнат хмыкал.

— Теперь, знай, косу вострить надо.

Под осень заезжие плотники подрядились сладить обветшалую конюшню. Игнат сошелся с ними, бегал для них за самогоном, а когда пошабашили, ушел с бродячей артелью в город. Где он пропал потом, никто не знал, только через год Васюхин, проезжая мимо, встретил его в степи — с ружьем и в седле.

— Стало быть, в городе не понравилось? — спросил Васюхин.

— А! — Игнат неопределенно махнул рукой.

— Промеж городом и деревней обосновался?

— Опять в казаках!

— Что ж фуражка-то не казачья?

— Ту потерял. Вот новую купил в военторге.

— Дак эта ж летчикская, — заметил Васюхин, поглядев на голубой околыш.

— А! Хрен с ней! Дело не в фуражке, а — что под фуражкой, — усмехнулся Игнат. — Так, что ли, земляк?

— Так-то оно так...

— А ты все на железных бегунках катаешься? Поди, тряско?

Васюхин не ответил, тронул вожжи.

— Так что кланяйся отцу с матерью,— уже вслед Васюхину сказал Игнат.— Передай — мол, опять в казаках. А я как-нибудь наведуясь.

3

С той поры уже пятнадцать раз по весне степь зацвела золотой сон-травой и пятнадцать раз, отковылившись, бурела и замирала под снегами.

За это время ушла из Игната дурашливая бесшабашность прежних лет, когда он, бывало, подвыпив, особенно на праздники, устраивал для сотрудников заповедника — ботаников, почвоведов и студенток-практиканток «рубку лозы»: натыкал вдоль степной дороги ракитовых шестиков с пучками травы и, лихо гикнув, припав к коню, пускался поддевать их и сбрасывать через себя самодельной деревянной шашкой. Ботанички смеялись до слез и в знак восхищения его удалью надевали на разгоряченную Игнатову голову холодный веночек из одуванчиков. По вечерам на центральной усадьбе танцевали под трофейный итальянский аккордеон или играли в волейбол. Игнат тоже пристраивался и все норовил попасть кулаком по мячу изо всей силы. Ботанички принимались обучать Игната правилам, и ему льстило, что эти ученые барышни, диковинно тоненькие, в узких наглаженных брючках, похожие на полек, которые осыпали его эскадрон цветами, обращали на него внимание. И вообще против сапрыковской жизнь здесь в степи была не в пример интереснее.

Вскоре, однако, Игнат соблазнил-таки «рубкой лозы» здешнюю кассиршу. Для молодых устроили свадьбу с речами, тостами и подарками и даже выделили комнату в только что отстроенном коттедже. Но жить у всех на виду Игнату быстро надоело, и он попросил разрешения поселиться отдельно.

Для жительства Игнат облюбывал глухой лесистый лог на краю степи, поросший дубняком, дикими грушами и лециной. Когда ходил выбирать место, спугнул волчий выводок и выстрелом из ружья уложил матерого.

— Хватит, пожил. Теперь я тут жить буду,— посмеялся Игнат, подняв за хвост взъерошенного зверя.

Срубил крепкую дубовую избу, выложил камнем погреб, на вольные сена завел корову, поставил во двор казенную ло-

шадь, купил батарейный приемник, индюков расплодил... Все пошло своим чередом. Приосанился, посолоднел. Однако по старой привычке по-прежнему носил военные фуражки. Фуражки и теперь были его страстью, он перепробовал все рода войск и, хотя чуб его давно вытерся до звонкой арбузной плешки, носил их с фасоном, свалив на левое ухо. Фуражки придавали его калмыцкому лицу, багрово-глянцевому на скулах, вид внушительный и весьма административный. Мужики из соседних деревень давно уже почтительно именовали его Игнатом Степановичем.

Перекинув через плечо ружьишко, казавшееся за его широкой, заметно погрузневшей спиной игрушечным, он неспешно объезжал степь, глядел, чтобы не забредала скотина, не шастали за ягодой ребятишки и вообще чтоб не было никакого баловства. А укачавшись в седле и притомившись на солнышке, отпускал ковы побродить и приваливался в тень подремать.

Иногда, особенно по воскресеньям, в степь наезжали туристы или так просто любопытствующие. Побродив по степи с экскурсоводами и наудивлявшись, они просили разрешения перекусить на лоне природы. Игнат выжидал, пока гости войдут в азарт, чинно подъезжал к компании и, не слезая с коны, предупреждал:

— Только прошу, чтоб все аккуратно. Бумажки, окурки...

— Конечно, конечно! Мы понимаем...

И почти всегда в таких случаях Игната приглашали перекусить.

— Благодарю,— степенно отказывался Игнат.— На службе. Никак нельзя.

Гости умилялись Игнатовой строгости к самому себе, наливали стопку, подавали в седло.

— Ну разве что одну... За знакомство.

Игнат запрокидывал голову, выпивал, благодарил, брал с протянутой вилки кружок колбасы и, еще раз предупредив, чтоб «все было в аккуратности», с достоинством отъезжал.

— А цветов можно сорвать? — спрашивали гости.

— По букету — это можно,— разрешал Игнат.

Выпадали и особенно урожайные дни, когда Игнат по стопочке «за знакомство» к вечеру набирался-таки порядком. В общем, служба была сносная.

Иногда Игнат наезжал в свою Сапрыковку, привязывал под окнами лошадь и с торжественным видом ставил на стол бутылку водки — выпить с отцом. Отец, теперь даже летом не

вылезавший из валенок, выпивал самую малость, и Игнат потихоньку приканчивал всю поллитровку.

— Ну как вы тут живете-можете? — снисходительно расспрашивал он, подразумевая, что в сравнении с ним в Сапрыковке никто крепче не живет.

— Да как живем... — неопределенно говорил отец, глядя слезящимися глазами на свои корявые кисти рук, казавшиеся непомерно большими по сравнению с худеньким его телом, будто они еще продолжали расти и узловатеть. — Вот по троице схоронили Васюхина. Царство ему небесное.

— Что так?

— Сгорел мужик. Не поест, не поспит вовремя. Все мотался по полям. Думал поскорее сладить дело. А выходит, одной-то жизни и не хватило.

— Другого дадут, — успокаивал Игнат. — Свято место пусто не бывает.

— Дак больно душевный был Иван-то. Жалко.

— Кого теперь метят?

— Дак кого... Чепляют нас теперича к Алябьевке. И Сосновку туда же. Ихний и будет теперь над нами. Теперь мода на укрупнение пошла. Сказывают, и другие деревни так же одна к другой лепят. Как бы не вышло: где широко, там и мелко...

— Стало быть, невесело живете...

— Дак пока плясать не из чего... Пока все гармонь ладим.

Игнат скучающе смотрел в окошко, на все тот же кочковатый луг в черных рябинах торфяных копаней.

— Что ж ко мне не заглянешь? — спрашивал он под конец. — Внуков бы поглядел. И вообще как живу.

— Теперя вот, видать, совсем к лавке прирос. Ноги не шагают... Свез бы — дак почему же не посмотреть.

— Свезу, — обещал Игнат. — На Октябрьские.

Отец с первыми осенними дождями слег и вскоре умер. Похоронив его, Игнат все реже навещался в Сапрыковку, а когда мать уехала жить к Нюське в Кокчетав, свез старую хату к себе в лог, сладил из нее амбар и с тех пор больше в деревне не бывал.

4

Весь этот день нещадно парило. По всему горизонту зыбился перегретый воздух, вместе с ним текла и струилась степь, а к полудню в белесом небе появились тяжелые гряды облаков. Казалось, вот-вот дело кончится оглушительной

и разгульной грозой с ливнем, который снимет с земли тяжелое бремя удушья. Но, так ничем и не разрешившись, небо вскоре очистилось, облака скатились к востоку и там, потеряв свою пышность, слеглись над курганами в плоскую, длинно вытянувшуюся пепельно-сизую завесу. И только к ночи в той стороне стало глухо погромыхивать. Показавшаяся было огромная багровая луна исчезла. Мгновенными вспышками далеких молний все чаще выхватывало из темноты тяжелые хребты поворотившей обратно, в степь, тучи.

Отпустив поводья, с бездумно приятным звоном в голове от выпитого вина Игнат возвращался домой с отъезда. Жеребец размеренно шлепал по мучнистой дорожной пыли, укачивая Игната в седле, и тот временами задремывал, по старой привычке чувствуя коня одними только коленями.

Иногда он поднимал голову и, поглядывая на острые конские уши, проступавшие из темноты при вспышках далеких молний, приятельски говорил жеребцу:

— А я, брат, опять нынче выпимши... Служба, брат, такая... А ты вот меня вези теперь... Потому как я тебя, стервеца, можно сказать, из смерти извлек. Была бы из тебя колбаса по рушь сорок с чесноком. А теперь ты как в царстве небесном... Никаких хомутов и трава до пуза. Понял? Ну и хояин один...

Года три назад из соседних колхозов вдруг валом погнали лошадей. Из одного колхоза гонят, из другого. Заинтересовался Игнат, вышел на пограничную канаву спросить мужиков, что за оказия.

— Бумага такая пришла,— говорили мужики.— Чтоб гнать, стало быть, на мясо.

— У вас что ни год, то новые указы,— посмеивался Игнат.— То зайцов пускаетесь разводить, а теперь вот лошадей изничтожаете.

— А мы — что? Нам как скажут,— оправдывались мужики.— Говорят, что дармоеды лошади-то. Вот их за это и по боку.

— Худому плясуну завсегда свой зад мешает.

Выходил Игнат и в другие разы к канаве, приглядывался к лошадям, порешив воспользоваться удобным случаем и обменять у мужиков своего застаревшего мерина на молодого конька. Им-то что? Им все едино, лишь бы счет головам. Примеривался внимательно, по-хозяйски и выглядел-таки себе вот этого буланого, в ту пору еще не объезженного, дурашливого стригунка. Шел буланый за медленно катившими дро-

гами в табунке таких же молодых кобылок и жеребчиков, не подозревая, какая ему уготована участь, игриво гнул шею с коротко подстриженной светлой гривкой, пружинисто и мягко вытанцовывал высокими, еще не стоптанными восковыми копытцами — гибкий и легкий, с нежно вздрагивающей при каждом переступе грудью. Шел, льня и ластьясь к кобылкам, западал ушами и скалил чистые зубы на соперников, дружок и сотоварищей по лугу, по вольной ночной пастьбе, а мужик, сидевший в дрогах, время от времени досадливо хлестал молодняк кнутом:

— Ну разыгрались тут!

Погонщик, оказавшийся сапрыковским конюхом Иваном Чугуновым, даже обрадовался, когда Игнат предложил ему обмен.

— Выбирай любого, Игнат Степанович. Все едино в распыл пойдут.

Игнат обошел коней, присматриваясь.

— Бери вон этого, со звездой. Отец его полторы тонны воил, как машина. И без поломок, не пробуксовывал, лопатой не откапывали.

— Нет, мне порезвей бы... Под седло чтоб.

— Бери под седло.

— Буланого возьму,— решил Игнат, но все еще продолжал шарить глазами по стригунам: не прогадать бы.

— Буланого так буланого,— одобрил Иван.— Войдет в лета — зверь будет конь.

Игнат достал специально припасенную бутылку перцовки, отъехали в сторону, выпили прямо из горлышка.

— Говорят, теперича все машинами будем делать,— заговорил Иван, сразу охмелев и слезливо заблестев глазами.— А я так скажу: конь машине не помеха, а, наоборот, подмога. Машина машиною, а конь всегда исправен и на мази. Вдруг развезет, носу не кажи, или завьюжит. Да и по мелочам, по деревне — торфу воз, мешок ли на мельницу, картошку выпахать. Семьсот дворов в колхозе — на каждый машину не напасешься. Так ведь, Игнат Степанович? Рассуди.

— Им с горы виднее, что делают.

— И опять же, уж больно жалко лошадей-то. Корову не жалко, свинью. Этих и сами били, и возить возили живым весом. А лошадь в жисть никто не трогал. Лошадь ведь!.. Как бумагу-то получили, чтоб, значит, в распыл, мужики весь день на конюшне колготились: глядели, какую свести, а какую приберечь. Выведем на свет, глядим-глядим, да и опять поставим. Жалко! Этак раза по три каждую выводили и заво-

дили. Поначалу наскребли десятка полтора, каких постарее да если где подшиблена. А теперь вот и до малолеток добрались, потому как звонят, укоряют.

Игнат курил, глядел на выбранного жеребчика и, уже считая его своим, любовно примечал, как тот бойчится, задирается с одногодками.

— А жеребчик пусть у тебя, Игнат Степаныч. Это я с радостью. Во степу пусть гуляет. Была б моя воля — всех бы тебе отдал. Дети ведь еще... Вон и балуются, как дети малые... Эх!

Игнат, сняв седло, пристегнул своего мерина к телеге и отвязал буланого. Телега тронулась. И долго еще буланный рвал из рук Игната повод, останавливался и тревожно, тонко ржал вослед пылившим по дороге лошадям, не хотел отделяться от товарищей.

Конь, как и прочил Иван Чугунов, на вольной степной траве, под хозяйской рукой получился добрый, и Игнат баловал его и холил, любя ревнивой цыганской любовью.

Между тем гроза обкладывала степь широкой огненной подковой. Глухо, настороженно темневший восток где-то по ту сторону плотной завесы внезапно вспыхивал на полгоризонта, мгновенно становились видны аспидно-синие хребты тучи, на мертвенно-призрачной, белесой от ромашек плоскости степи черным разломом прорезалась дорога, будто в этом месте треснула земля и разошлась, раздвинулась глубоким провалом. Потом все снова тонуло в глухом, беспросветном мраке, и уже в темноте тягуче прокатывался запоздалый гул грома.

Игнат, однако, не торопил коня, ему даже нравилось вот так одному ехать под громами, чувствуя себя в этот поздний час единственным властителем заповедного степного царства. Правда, в степном этом мире, кроме него, обитали еще и другие, но у тех было свое дело, которое они называли наукой, а у него свое — объезд. Заповедных сожителей Игнат не принимал всерьез и про себя думал о них снисходительно и скептически. Вся их наука казалась ему детской игрой: то они, протянув через кусок степи рулетку, высчитывали, сколько на ее протяжении встречается злаков, а сколько белых и красных клеверов, то детским совочком выкапывали какие-то корешки и, чему-то радуясь, укладывали их в папки, а то набирали в пробирки землю и потом у себя, на главной усадьбе, долго разглядывали ее под микроскопом. Люди они были вежливые, к Игнату относились уважительно, ничем ему не до-

кучали, тем более что свою службу он нес исправно, со строгостью, без какого бы то ни было панибратства даже с мужиками из своей Сапрыковки.

Игнат дремотно прислушивался к далеким раскатам грома и лениво думал о том, что ночь нынче будет тоже жаркая и душная, что в хату он не пойдет — блохи, да и жена заругает, а лучше всего спать ему в сарае на сеновале, где никаких блох и где духovitый воздух от свежего сена и хорошо протягивает сквозняком в чердачное окно...

Жеребец вдруг остановился, и задремавший было Игнат поднял отяжелевшую голову. Под конем заплескалось, запахло взбитой пылью и теплым пивным запахом конской мочи. Ленясь слезть с коня, он и сам помочился — прямо из седла. И, справив нужду, ощущая под рукой теплую, вздрагивающую от прикосновения холку жеребца и проникаясь к коню дружеским расположением, добродушно сказал:

— Во... А теперь, брат, давай покурим.

Он полез в галифе за папиросами, но вдруг насторожился, задержал руку в кармане. Повернувшись в седле, вытянул в темноту голову, прислушался.

Справа, из душной, туго натянутой тишины явственно доносилось: ж-жик... ж-жик...

— И-и... — в неожиданном замешательстве потянул Игнат горлом воздух, и враз вмякло у него под фуражкой темя. Косят!

Наливаясь яростью, он бесшумно свалился с коня, зашарил руками у края дороги, нащупал куст чернобыльника, сгреб его снопом, захлестнул вокруг повод, чтобы жеребец никуда не ушел. Дождавшись, когда между грозových раскатов снова осторожно завжикала коса, все еще не веря и удивляясь этому звуку, Игнат определил направление и, крадучись, ступил в траву.

— Ах мать твою... — бормотал он, по-петушиному пригнувшись, вытянув шею и прокрадываясь по рослой густой траве. — Ах ты зараза! Косит!

Небо полыхало, на миг мелькнули перед Игнатом седые космы ковылей, и ему вдруг почудилось, будто увидел он сразу несколько человек, рассыпавшихся по траве.

Он упал и затаился. Часто дыша в липкую паутину ковылей, стал соображать, что ему делать. Выждав молнию, сторожка высунулся из травы; перед ним чернели метелки конского щавеля, которые он принял за людей.

«Померещилось...» — подумал он. Но тут же явственно доносилось: ж-жик... ж-жик...

— Нет, косят. Один косит...— определил Игнат, прислушиваясь.— Где ж ты есть?

Пробежав несколько шагов и остерегаясь, как бы его не увидели, он при очередной вспышке снова упал в траву. Грохнул оглушительный, разломистый раскат грома. Игнат тотчас подскочил и, пока грохотало, перекатывалось из конца в конец неба, пользуясь наступившей темнотой, сделал перебежку. Снова присел, затаился, дожидаясь света, нетерпеливо вытягивая голову поверх трав. И когда небо пронизали сразу в нескольких местах пучки молний, увидел впереди себя, шагах в тридцати, темную фигуру косца, увидел в его руках белое, новое, недавно выструганное косье.

— А-а, сволочь! — злобно обрадовался Игнат.

Примериваясь, как его взять, как налететь сзади и заграбастать поперек вместе с руками, чтобы не успел замахнуть косою, Игнат, весь напрягшись, изготавившись к прыжку, привстал, но вдруг в тишине залившимся, протяжным ржанием его позвал жеребец. Косец, выхваченный молнией, замер, лицо его, мертвенно-голубое, с черными провалами глазниц, было повернуто к Игнату, но тот не успел разглядеть, как тотчас, поглощенное темнотой, видение исчезло.

— Будь ты неладен...— обругал Игнат нашумевшего жеребца, вскочил на ноги и побежал, тяжело давя траву и уже не стараясь пригибаться. И когда степь снова полыхнула, увидел, как впереди верткой серой мышью улепетывал косец.

— Сто-о-й! — закричал Игнат. Запнувшись о что-то, с размаху грохнулся на землю, нащупал рукой мешок, туго набитый травой.— Стой, паразит! Стрелять буду!

Ружья в этот раз при нем не было, и он, досадуя, что нечем пальнуть, напрягая все силы, стерведея, пустился вдогонку, засекая в мгновенных вспышках мелькавшую перед ним призрачную фигуру, чтобы гнаться потом за нею в темноте по памяти. Косец и не думал останавливаться на окрики, и Игнат, загораясь неукротимым охотничьим инстинктом, яростной гончей жаждой догнать во что бы то ни стало, хрипло подбадривал себя, до боли сжимая кулаки:

— Ну, поймаю... Ну, поймаю...

Почувствовав, что его догоняют, косец заметался, запетлял по степи, появляясь при внезапном свете в неожиданных местах и своей заячьей верткостью еще больше распаяя Игната. Наугад прикинув, куда должен на этот раз вильнуть беглец, Игнат скакнул наперерез и чуть не столкнулся в крошечной тьме с мужиком.

— Ну... Вот он... я-а-а! — запаленно и вызывающе заверещал мужик.

Игнат молча с разбегу ударил его давно стиснутым и занемевшим от налитой свинцовой ярости кулаком в голову. Мужик ойкнул, и Игнат, не давая ему опомниться, торопливо навалился на него, как на недорезанного барана. Чувствуя под собой хлипкое тело, не способное всерьез сопротивляться, он стал поспешно ловить его руки, захватывая вместе с руками траву, стгоряча выдирая ее с корнем. Мужик, придавленный к земле, колотил ногами. Игнат сел ему на ноги, сдернул с живота ремень, обхватил мужика, как вязанку хвороста, ремнем, туго застегнул, заломив ему за спину руки.

— Бо-ольна-а! — заскулил мужик, уткнувшись лицом в траву.

— А-а, п-пара-зит,— злорадно прохрипел Игнат, еще не отдышавшийся от бега.— Знал, куда шел, а? Знал, что делал?

— Бо-льна-а! — стонал мужик.— Ногам больна-а... Не сиди...

— У, ворюга! Да я из тебя душонку вытряхну! — Игнат сгреб в кулак пиджачишко на груди мужика и остервенело потряс.

Голова мужика безвольно заболталась, ударяясь об Игнатово плечо.

— Все равно ведь прахом,— заскулил из темноты мужик.— Через месяц дожди... Снега покроют... Ежели б я в мае...

— Не твое — не тронь! — отрезал Игнат.

— Не тронь?! — вдруг взвизгнул мужик.— А где мне косить? Где? Луга позапахали, в колхозе без сенов бедуют. Пасты негде, косить нечего... А у меня их пятеро, кроме самого да бабы... Я и так по болоту по горло с косой... Осоку да хмызу... Оттого и ревматизма... А ты на ноги сел... Да еще кулаком...

Игнату почудилось, будто где-то он уже слышал этот голос, хотя не мог припомнить, где и когда... В деревне он давно уже не бывал и даже с прежними своими друзьями не водился. Разве что иногда, встретясь у канавы, перебросится парой слов.

Мужик замолчал.

По степи внезапно пронесся горячий, перемешанный с брызгами близкого дождя ветер. В черной утробе тучи, уже заслонившей полнеба, вдруг сверкнула слепяще-белая молния, распустилась огромным сучковатым, корявым деревом и на миг задержалась, четко проступив на черном небе каждой веткой. Сухо, оглушительно треснуло, будто дерево это,

надломившись, полетело из поднебесья вниз маковкой и тяжело, обламывая сучья, грохнулось о землю где-то совсем поблизости. В темноте испуганно заржал Игнатов жеребец, и от дороги донесся торопливый топот. Игнат догадался: жеребец вырвал куст и поскакал ко двору.

Степь глухо, приборно зашумела растревоженными травами. В мертвенном свете новой вспышки всколыхнулись, заметались вокруг Игната ромашки. Игнат взглянул на мужика и увидел его скорченного, судорожно вздрагивающего в беззвучном плаче.

— А ну ты! Пошли, хватит! — прикрикнул Игнат. — Меня слезами не возьмешь. Знаем мы...

Мужик не отозвался, и тогда Игнат, матерясь, схватил его за ремень, рывком оторвал от земли и, как сноп, поставил на ноги.

— Думал: гроза, нету Игната? — злорадствовал Игнат. — Что — выкусил? Вот закатаю, паразита, под статью...

— На, веди, веди! — бабьим голосом, визгливо вскрикнул мужик и дернул связанными руками. — Веди! Я и сам пойду. Пойду и скажу... На суде скажу! Перед всем людом... Сам гы паразит, Игнатка!

— Давай-давай, топай! Огрызайся мне! — Игнат подтолкнул мужика в лопатки.

Тот пробежал несколько шагов, остановился и вдруг пошел на Игната.

— Я не бег... Не бег... — кричал он, подступая к самому лицу Игната. — Я с колхозом жил. Хорошо ли, плохо, а жил... Помогал... Все делал... Моего поту там полито...

— И там воровал.

— Нет, брешешь... Былки не тронул... А ты...

— Что — я? — усмехнулся Игнат.

— А ты — убег... Укрылся... В овраг спрятался... А только от людей не спрячешься. Люди видят твою жизнь... Наблюдают, какой ты есть...

— Что люди видят? — заорал Игнат. И, зверея, ткнул мужика в грудь. — Что твои люди видят? Говори, гад, что за мною видно? Воруя? Чужое хапаю?

— Сам ты гад! — отчаянно выкрикнул мужик, и опять в его голосе Игнату послышалось что-то знакомое. — Мне теперь все равно. Бей! А только гад ты и есть. Канаву перебег и спрятался... Как серая козюля, под закон...

Пальцы Игната сами собой стиснулись в кулаки.

— А теперича мы тебе не товарищи! — кричал мужик. — Разве ты степь стерешь? Ты себя стерешь... Свое житье...

Власти над собой не знаешь... Сам на других покрикиваешь... Кому дозволить, кому не дозволить. Ружьем на своих грохисси... Логово свое в овраге ружьем оберегаешь...

Жарким толчком кровь ударила в виски Игната.

«Ведь ушибу, враз ушибу... как клопа...» — поостерег себя Игнат, белея от выкриков мужика.

— Волк ты овражный, вот ты к...

Не помня себя, сам не ожидая того, только безнадежно, с сицлым придыхом вскрикнув: «А-эх!», Игнат из-под низу сунул кулаком в темноту. Под кулаком хлопнуло, мужик, захлебнувшись какими-то словами, опрокинулся и исчез под ногами в шумящей траве.

— Я вам догляжу!..— дрожа плечами, ярился Игнат.

Лил крупный, косой, шквалистый дождь. Игнат и не заметил, как он налетел. Тяжелые, будто свинцовая дробь, капли стегали его по голому вспотевшему темени.

— За мной нечего доглядать... Судья нашелся.

Поискав оброненную в схватке фуражку, Игнат натянул ее и, успокоившись, остывая, обтер лицо ладонью. Мужик больше не кричал. Он словно растворился в хлюпающей темноте. Вытянув ногу, Игнат пошарил ею перед собой, нащупал лежащее тело, пнул сапогом.

— Ну ты...— окликнул он.

Мужик не отозвался.

Игнат подумал, что следовало бы составить акт о потраве... Но как его составлять, когда льет и темень... Придется тащить потравщика на главную усадьбу и запереть до свету... И опять же, как его тащить такого? А ежели сильно харю расквасил или какие метины? Кричать станет: ударил, мол... И пускать жалко...

Дождь шквалисто шумел, стегал траву, полыхало и грохотало небо, Игнатовая гимнастерка промокла, текло по расстегнутой груди. Он еще раз нетерпеливо пнул мужика сапогом:

— Ну, поднимайся. Хватит дурака ломать. Попался.

Мужик не копыхнулся.

Игнат присел перед ним на корточки, скользнул рукой по намокшему пиджаку. Под пальцы попало теплое мокрое горло. Игнат почувствовал, как судорожно вздрагивал костистый кадык. Брезгливо отдернув руку, Игнат отстегнул и вытащил из-под мужика свой ремень.

— Притворяйся мне...— прикрикнул Игнат.— Не будешь зря гавкать...

Мужик не отвечал.

Досадуя, Игнат сумрачно, нетерпеливо глянул в темноту —

вправо, влево, в ревущую стену дождя, потом достал коробок, согнувшись, запалил спичку в неприятно дрожащих после удара ладонях, поднес к мужику. Спутанные мокрые космы закрывали его лицо до самых ноздрей. Из разбитого, изуродованного рта пузырилась кровавая пена. Дождь тут же размывал кровь, и она мутной жижей стекала по морщинистой щеке.

— Сам на рожон попер,— пробормотал Игнат.

Он запалил новую спичку, пальцем скovyрнул со лба мужика налипшие волосы, посветил в самые глаза. В сморщенном, безусом, недвижно запрокинувшем свою маленькую усохшую голову мужике Игнат, невольно вздрогнув, признал сапыковского дурачка Яшку.

Отдернув спичку, он гадливо отстранился.

«Ужли ушиб? — мелькнул вдруг брезгливый испуг. Но тут же успокоил себя: — Да не... не должно... Кадык-то телепается...»

Застегнув на животе ремень, Игнат осторожно отошел от дурачка. И, еще раз оглянувшись, крадучись, будто его могли увидеть в этом ночном ливне, пошел прочь...

— С дураком свяжешься — сам дурак будешь,— бормотал Игнат, испытывая гадливое чувство, будто нечаянно раздавил клопа и теперь все время чуял его ядовитую вонь. Он шел по колена в тяжелой от дождя траве, и в его ушах неотвязно стоял Яшкин крик. Припоминая все, что кричал ему Яшка, думал, что для Яшки слова эти были не так уж полоумны: связно кричал...

— Моду вяли во степу косить,— успокаивал себя Игнат.— Дурак-дурак, а воровать соображает... Да еще орет... Огрызается... Мне слова никто по службе не сказал... А они — доглядать за мною...

Дождь шумел, подталкивал Игната в спину, гимнастерка студено обхватывала тело, в сапогах чавкала вода, сбегавшая со штанов в голяшки. Косые зигзаги молний то здесь, то там втыкались в равнину, и на мгновение становились видны стремительные нити дождя, густо обступившие Игната, будто кто-то невидимый поспешно вколачивал на его пути прямые стальные прутья.

«Отойдет... дождем отмочит»,— опять подумал Игнат о Яшке, тревожно прислушиваясь к степи после каждого раската грома: не бежит ли Яшка, поняв, что его отпустили...

«Ждет небось, пока отойду подальше...»

Он шел, машинально убыстряя шаги, в ту сторону, где, как ему казалось, должна была быть дорога, и все прислушивал-

ся, спиной чувствуя позади молчаливое Яшкино присутствие. Неприятное ощущение от оставленного в степи дурачка толкало его прочь, подальше от того места.

— А что, если пришиб? — вдруг первый раз не на шутку испугался Игнат. Перед ним предстало в мокрых ковылях под ногами сморщенное, безусое, безобразно окровавленное Яшкино лицо с налившимися на глаза волосами, и он, сам того не замечая, вдруг побежал.

«На суде скажу... Перед всем народом...» — вспомнил Игнат Яшкины слова. — Накаркал, дурак... Вот тебе и суд теперь...»

Он бежал, пробиваясь к дороге, но ее все не было, и, поняв, что сбился, он стал забирать правее. Но трава оказалась ему выше, чем была, ноги, ощущая внезапную пустоту, сами побежали в какую-то низину, травы спутанными петлями охватывали ноги, и он, тяжело ломаясь сквозь заросли, продирал их коленками. Ага-га-га-га-а! — злорадно и торжественно прогрохотал над Игнатом гром. Выскочив из ложбины, он забрел по шее в жилистые, холодно брызжущие пригоршнями воды и липкими семенами бурьяны, яростно разгребая их, будто тонул в топком болоте, пробрался на открытое место и стал забирать левее, надеясь пересечь дорогу или какую-нибудь тропку. Но под ногами все путалась трава, и он, много раз уже поворачивавший то вправо, то влево, совсем перестал понимать, в какой стороне должен быть его лог. Тяжело дыша, отирая ладонью лицо, Игнат остановился. Кровь гулко отдавала в виски, туманила глаза. Первый раз за все пятнадцать лет объездов Игнат не узнавал места, не знал, куда ему идти. И, не решаясь больше шагнуть дальше, боясь, что в любое мгновение может наступить на лежащего в траве дурачка, загнанно, по-волчьи ощерясь, он повел по сторонам втянутой шеей.

— Если что — ничего не знаю... А то — конец... Отказако-рался. — И он вдруг явственно осознал, что все эти годы ждал каких-то неприятностей от Сапрыковки. — Вот оно...

Небо грохотало над Игнатом тяжкими обвалами, полыхала и шумела седая, вспененная степь, и казалось Игнату, что нет ей конца и краю, нет за ней ни дорог, ни деревень, ни людей...

ПЯТЫЙ ДЕНЬ ОСЕННЕЙ ВЫСТАВКИ

В последнюю погожую неделю октября на окраине областного города открылась сельская осенняя выставка. На улицах веселого фанерного городка попеременно с дикторскими объявлениями гремели марши и взмывали породистые быки. Тракторы новейших марок временами сотрясали землю вместе с павильонами. Выхлопные дымы мешались с запахом антоновки и крепкой осенней капусты. А над всем этим, в синеве солнечного ветреного неба, на высоких шестах струились флаги, вытягиваясь в одну сторону, как отлетные журавли. И было радостно и празднично от их пламенно-кумачовых всплесков.

На выставочных площадках в походных кухнях, одолженных по этому случаю у местной воинской части, варились кукурузные початки. Крышки котлов наглухо завинчены лопухими гайками, но даже и они не могли удержать аромата. Возле кухонь нетерпеливо толпились ребятишки. Повара в белых халатах и высоких накрахмаленных колпаках с важностью посматривали то на водомерные трубки, то на карманные часы. Вот кто-нибудь из них делал повелительный жест рукой и требовал отойти подальше. Над булькающим кратером котла вздымалось облако пара, повар поддевал метровой вилкой первый дымящийся ослепительно-желтый кочан и в обмен на пяточок, покрикивая: «Руки! Руки береги!» — сбрасывал его в подставленную кепку. Что же это за лакомство — пропаренный до барашковой кучерявости, до золоторунного сияния, обжигающий руки даже сквозь ватную шапку початок, особенно если его подсолить из баночки, которую имел при себе каждый кукурузный повар!

А тем временем колхозники показывали свои достижения под ажурными павесами павильонов и на скотных площадках. Все они, какого ни возьми, были отменно загорелые, будто только что приехали сюда с самого южного берега Крыма. Лишь на затылках и висках просвечивала белая кожа после свежей стрижки по случаю праздника. Многие были в новых, неловких, словно чужих костюмах, иные даже при галстуках, которые, впрочем, ни у одного не сидели должным

образом, а непременно съезжали на сторону или же, ослабнув в узле, обнажали под воротником верхнюю пуговицу рубашки, что случается с горожанином, когда он порядком, или, как говорил один выставочный милиционер, «зарядно выпимши».

Показывали они свои достижения в большинстве случаев молча, лишь иногда бросая коротко: «Не балуй», если какой-нибудь малец начинал карабкаться на трактор или тыкать кукурузной кочерыжкой в бок развалившегося за изгородью хряка. Так что весь день, терпеливо простаивая возле своих экспонатов, они и сами, казалось, были выставлены для всеобщего обозрения.

* * *

Одетая в белый халат поверх плюшевого жакета, которые все еще любят носить женщины черноземного подстежья, топталась возле своих коров Анисья Квасова — уже немолодая, с узким сухим лицом, темневшим треугольником из серенького полущалка. Лицо это с костистыми, обтянутыми и поэтому особенно заветренными скулами и со впалыми щеками, на которых ранее всего появлялись беспорядочные морщины, лицо это было замкнуто и даже сурово. Но в светло-серых глазах, затененных крутым надбровьем, таилась детская робость и доверчивость. Такие женщины обычно молчаливы даже в девичестве, больше слушают других, а при неожиданной и редкой улыбке стараются прикрыть рот концом косынки. Но зато нет рукастее их в работе, и, наверное, не бывает в нашей стороне более хлебосольной хозяйки, когда в ее избу нагрянут званые или незваные гости: уполномоченный ли ба ночлег, заблудившийся в осеннюю распутицу водитель или полузабытая золовка с детишками из дальних мест. Забегает, замелькает неслышно по избе — и зашумит самовар у заветки, вскрикнет и забьется зарубленная курица, а из распахнутого сундука замелькают чистые мережковые наволочки с простынями, и все это в радостно-смятенной бессловесности.

Коров у Анисьи было три: Ромашка, Зинка и Лада. Лада чуть погрузнее, попредставительнее — она мать, а Зинка с Ромашкою ее дочери. Все три были светлой масти цвета молока, самую малость приправленного кофеем. И у всех у трех — белые чулочки на передних ногах и белые одинаковые пролысинки на узких и большеухих мордах, похожих на олени. Схожесть с оленухами им придавала еще и безрогость — и

мать и дочери комолы. Но в крестцах коровы были неожиданно высоки и разлаты, с тяжелым, прямо-таки неподъемным выменем, так что если бы одну из них, скажем, разрезать поперек, то, пожалуй, никто не признал бы, что обе части принадлежат одной и той же корове. Своей необычностью животные вызывали любопытство, и возле Анисьиного стойла всегда толкался народ.

Когда Анисье сказали, что поедет на выставку, она испуганно ойкнула и целый день скребла и чистила коров, хотя они и без того содержались в опрятности. Потом еще мыла их теплой водой с дегтярным мылом и уксусом, а хвосты — самые кисточки — даже расчесала гребнем, так что они вовсе волнисто распушились. А приехавши на выставку, Анисья ревниво оглядела все, что доставили из других колхозов. Скотины навезли множество: с машин с зарешеченными кузовами сводили по доскам коров, телят, баранов невиданной породы — один лобастее другого, свиней всяких да еще с малыми поросятами. О птице и говорить нечего: каких только гусей не навезли! Больше всего Анисью занимали коровы, и, надо сказать, были среди них очень даже видные и статные. Но, возвращаясь к своей машине, дожидавшейся разгрузки, и еще издали увидев за бортовыми решетками своих коров, она тихо обрадовалась: свои всегда кажутся лучше.

Определив коров в стойло, Анисья больше не отходила от них все эти дни, каждую минуту находя себе дело. Праздник праздником, а и убрать за скотиной надо, и сено в кормушке поладнять, чтобы зря не топталось, и подоить три раза, потому как для коров и вовсе нет ни выходных, ни праздников: знай гони молоко. Затем их и показывали, что каждая за раз нацеживала по полной доенке. Это если посчитать, то ребятишкам на целую школу по стакану молока каждый день.

Спала Анисья в шумном, переполненном и прокуренном Доме колхозника, выстроенном тут же, на краю выставочного городка, где всю ночь горел свет, хлопали дверьми, а за хлипкими перегородками на мужской половине стучали в домино, горласто, подвыпивши, гомонили с непременно матерком, хохотали, пиликали на гармошке. Анисья не спала, а так, вздремывала на казенной провалистой койке, стесняясь раздеться как положено, сбросив одну только жакетку да резиновые сапоги. И даже во сне все струились и хлопали выставочные флаги — так они за день намелькались в глазах.

Вскакивала еще до свету и, окликаемая сторожами, таившимися где-то под навесами павильонов, бежала по пустым выставочным улицам. Лада узнавала ее еще издали, нетерпе-

ливо и обрадованно взмыкивала. И Анисья, тоже радуясь, приговаривая: «Сейчас, девки, сейчас, родные», совала им сквозь решетку куски булки, оставшиеся после ужина.

В коровьем стойле, где пахло скотиной и сеном, где стояла доильная скамейка и висели ведра, ей было привычно, она чувствовала себя здесь куда как спокойней, чем в заезжем доме, и ей даже нравились эти ранние и тихие часы до открытия выставки.

Тем временем начинали доить и в других стойлах, позвякивали ведра и цепи, циркало молоко, перекликались выставочные петухи в пропахшем антоновкой и капустой синем предрассветье, и, казалось, все было так, как на колхозной ферме. Молоко сливали во фляги и отвозили куда-то на машине. Потом по рядам развозили сено, и угрюмый казенный скотник, стоя на возу, сбрасывал пару-тройку навильников прямо на коровьи головы.

Анисье всегда казалось, что он скаредничает, обделяет ее коров, и она старалась украдкой выщипать из воза лишний пучок.

— Но-но! — кричал скотник, замахиваясь на нее вилами.

— Кинь еще маленько,— просила Анисья.

— Вот я т-тя кину...

— Насорил только...

Скотник отъезжал к соседнему быку, громыхавшему цепью за дощатой перегородкой.

Вечерняя дойка проходила тоже без посторонних, после того как схлынет гуляющая публика. Зато днем, когда выставка бурлила в полную силу, доить приходилось на людях. Анисья присаживалась перед Ладой, загородку обступали любопытные. Обмывая Ладино большое, отяжелевшее вымя, розоватое, покрытое легким белым пушком, сквозь который проступали голубые, напряженно вздутые вены, Анисья слышала голоса:

— Гляди, доит...

— Пацаны, айда сюда, тут доят!

Бежали глядеть ребятишки, останавливались взрослые.

Шумно налетала стая десятиклассниц в сопровождении не менее шумных своих одноклассников и, защебетав: «Девочки, побежали. Ну чего особенного? Не видели, как доят коров?» — останавливались посмотреть.

— Мам, а что тетя делает?

— Тетя доит молоко, Игоречек.

— То самое, что в садике?

— То самое...

Молодая женщина в голубом кожаном пальто, с пышно и высоко взбитой прической подняла сынишку над оградой. И круглощекий Игорек, одетый в розовый комбинезон под космонавта, заглядывая через изгородь, за которой, запуская языки в розовые парные ноздри, шумно жевали настоящие живые коровы, с каким-то испугом в округлившись, немигающих глазах смотрел, как Анисья «делала» молоко — то самое, что в садике. Глядел он па Анисьины большие красные кулаки, которые часто мелькали, поднимаясь и опускаясь, и из этих красных кулаков, то из правого, то из левого, в ведро били мгновенные упругие молнии. Ведро сперва голодно позванивало, потом показалась белая пузырчатая шапка, струи пропарывали пену отрывистыми хлопками, будто били по бумаге.

— Мам, а коровке не больно?

— Нет, не больно...

Анисья слушала лепет малыша и умилялась его любопытством и неведением: «Откуда же ему знать,— думала она.— Все бутылки да бутылки. Ах ты господи!»

Она отставила тихо шипящую доенку, достала из своей авоськи, что висела на задней стенке на гвозде, алюминиевую кружку, раздула пену и зачерпнула.

— А ну-ка, попей вот молочка.— Она обтерла ладонью донышко и протянула теплую кружку через изгородь.— Попей, голубчик. Не стоялое, от коровки толечко. Самое сладенькое, запашистое.

Мальш отпрянул от протянутой к нему кружки.

— Может, он меня чурается, так вы сами... Из своих рук. Коровка моя чистая и кружка сполоснутая...

— Что же ты? Как вехорошо...— укоряла сына женщина.

Игорек еще больше нагнул голову и вдруг заревел.

— Ах ты господи...— Анисья сконфуженно вылила молоко обратно в доенку. Обeim — и мамаше и ей — сделалось неловко.

— Пойдем, пойдем,— заторопилась женщина,— мы еще не видели лошадок. Хочешь посмотреть лошадок?

Иногда набегали обвешанные аппаратами фотокорреспонденты. Они ставили Анисью между коров, заставляли обнимать Ладу за шею или же совать ей в нос пучок сена.

— Головку вот так...— фотограф брал Анисью за подбородок и воротил голову куда-то на сторону.— Не смотрите на меня. На корову смотрите, на корову... Вы ее кормите и ласково разговариваете... Очень хорошо... А где же улыбочка?

Анисья послушно поворачивала голову, подсовывала Ладе

сено и старалась улыбнуться. Но губы, будто обмороженные, не подчинялись, и она еще больше немела лицом, а глаза заволакивались слезой от внутреннего напряжения, так что она уже не видела ни коровы, ни фотографа.

— Очень хорошо! А теперь запишем... Значит, Анисья Квасова... так... доярка...

— Ага, доярка,— облегченно выдохнула Анисья.

— Так... Ну и как вы добились такого успеха?

— Да как... Кормим, ходим...

— Передовой опыт, конечно, изучаете...

— Да есть брошюрки... У нашего учетчика.

— Значит, читаете,— подсказал корреспондент. Ему, видно, очень надо было, чтобы Анисья читала брошюрки, и он, не дожидаясь ответа, что-то записал в блокнот.

Анисья сконфуженно теребила Ладино ухо.

— Если хотите иметь фотокарточки лично,— сказал под конец фотограф,— могу занести.

После дойки Анисья полоскала ведро, стирала цедильную марлечку, снова прибирала в стойле, посыпала мокрые места песком, всякий раз боясь остаться без дела, потому что просто так торчать на людях под сотнями любопытных глаз было непривычно. А народ все валил и валил вдоль скотных рядов, и все непременно останавливались перед Анисьиной троицей.

— Петька, гляди, какая коровица.

— Ого!

— Дай ей покурить.

— Га-га-га!

— Мальчик, зачем же ты тычешь в корову папирсой? А еще, наверно, пионер.

Мальчишки шмыгнули в толпу.

— А вы знаете, Алла Павловна, я этим летом был в Нидерландах. И представьте — у них сплошь черно-рябые. Просто поразительно. Проехал всю Голландию — и одни черно-рябые.

— Эти тоже милые коровки. Смотрите, вымя какое. Особенно вот у этой. Не представляю, как она ходит с таким выменем.

— Голубушка, вы не скажете, почему они безрогие?

— Комолые,— пояснила Анисья.

— Как это?

— Без рогов которые.

— Первый раз вижу. Это что же, порода такая? Что-нибудь новое?

— Не знаю...— Анистья застеснялась своей неучености.— Так просто... Деревенская...

Она знала только одну породу — ту, что прошла с ней рядом через всю ее жизнь: таскала плуг по одичалому, забурьяненному в тяжкие годы войны полю, когда, кроме баб и коров, не осталось никакого другого тягла; волокла из леса к деревенскому пепелищу свежесрубленные кругляши, из которых вокруг уцелевших печей все те же бабы сами вязали венцы и забирали простенки; возила торф из болота и рожениц в больницу и с первой каплей телилась сама плоским, каким-то слежалым телком, с которым бледные, бескровные ребятишки играли с неделю, пока он учился вставать на нетвердые копыта, а затем играли уже в бабки из его костей.

Знала Анистья ту породу, что в бескормные зимы, встав на дыбки, обнажив тощий живот и усохшее, тряпичное вымя, скреблась по стене копытами, тянулась и выщипывала обледенелую застреху коровника и не сдыхала, не имела права околевать только потому, что чуяла поблизости, за хлевом, возню детишек, для которых она из последних своих соков нацеживала кружку-другую синеватого молока. Ее заносили в черные списки беспородных, выродившихся, пригодных только на головки кирзовых сапог, но Анистья знала, что если эту ребрастую, зачуханную горемыку покормить хотя бы один год досыта, подостлать ей свежей просяночки да не пинать, а найти для нее пару-тройку добрых слов на каждый раз, то вскоре она позабудет все свои прежние невзгоды, быстро наберет тело, шкура ее заблестит, забархатится, а до того сморщенное вымя нальется, отяжелеет и резиново распрямятся соски. И будет она каждую зорю перед закатом, издавая протяжный трубный мык по лугам, спешить ко двору, обрызгивая нетерпеливым молоком дорожную пыль и собственные копыта.

Такой породы и была ее Лада.

Она досталась Анистье от Клавдюхи лет семь, а то и все восемь тому назад. Тогда Клавдюха еще только начинала доярить, а до той поры кипятила воду, мыла фляги, иногда подменяла кого-нибудь на дойке — приноравливалась к делу. Анистья помнила ее еще совсем пигалицей: худющей, безгрудой, в маломерковом надставленном платышке, с мышинными хвостиками косиц, схваченных по концам марлевой тесемкой.

Когда Клавдюха начала доить самостоятельно, ей спихнули самую никчемную скотину: тугососых, бодливых, застарелых яловок. Но Клавдюха и этому была рада. Бывало, бежит с доярками в луга, старается не отстать от спорого бабь-

его шага, на руке песком начищенный подошник, а на дне его — кусок хлеба, чтоб коровы к ней привыкали.

Досталась Клавдюхе и эта самая Лада — тихая, замученная оводами безрогая животина... Ладу безнаказанно бодали, из-под носа отнимали пучок травы, она ходила с пропоротыми боками, в ссадинах, старалась отделиться от стада и пастись одна, так что поневоле была самой блудливой коровой. За это пастухи ненавидели ее и лупили чем попадя.

А тут еще в те годы с кормами было худо. Ровные, открытые луга, а стало быть, и самые тонкотравные и укормистые, запахивали под кукурузу. Скотина бродила по кустарниковым неудобьям, дожидаясь, пока вырастет кукуруза. И получалось, что в самый травный месяц май, когда к тому же план по молоку подвалил высокий, кормиться было нечем.

В это-то время ихний председатель Иван Тихонович и распорядился поддержать коров мучной болтушкой. Приказ был такой: за каждый надоенный литр — сто граммов муки. Дала корова десять литров — получай кило... Дала пятнадцать — получай полтора. Такая была заведена коровья сдельщина: кто не доится, тот не ест. Ну, а поскольку Лада давала не больше двух-трех кружек, ей ничего не причиталось из председательской премиальной оплаты. Да и другим Клавдюхиным горемыкам за их нерадение тоже доставалось что ни на есть на самую понюшку.

Бегают с ведерком Клавдюха, а надоев никаких. Все, бывало, пишут ее фамилию на самом последнем месте. Иной раз подойдет Клавдюха к доске показателей, смотрит, а сама ногти грызет.

Заикнулась как-то Анисья Ивану Тихоновичу, чтобы Клавдюхиным коровам мучицы прибавили, а он: «Ты давай знай свое. У меня план трещит, а я тут буду с дармоедами нянчиться. Пусть она на таких учится. На заводе ученику тоже не сразу хороший станок дают». Такой суровый человек этот Иван Тихонович...

Тем же летом по троице случилась у Клавдюхи неприятность. Поймали ее за нехорошим делом. Стала подливать в молоко разведенный мел. И как она такое удумала? Дошло дело до Ивана Тихоновича. А он сразу: «Позвать сюда Клавку! Ты что ж, говорит, делаешь? Тебе колхоз доверие оказал, а ты пакостишь». Да еще судом пригрозил. Может, он и не серьезно это, судом-то, так только, пострадать, ну а Клавдюха еще пуще оробела да в тот же вечер как ушла из кабинета Ивана Тихоновича, так и не пришла больше домой. Ни справки, ни полсправки не взяла, как была в одной жа-

кетке, так и пропала. С тех пор Клавдюха больше и не появлялась в деревне.

...Спросили у Анисьи невзначай про Ладину породу, а вся эта история и припомнилась ей. И долго она еще припоминала, откуда пошла ее Лада, а заодно и о многом другом передумала, и как-то выходило, что комолы не одни только коровы бывают, а и человек тоже, и всяк может боднуть и отпугнуть от своего стада.

После Клавдюхи никто больше не хотел брать к себе Ладу. Иван Тихонович распорядился списать ее и свести в районную столовую. Пастух Сашка Севрюк побег ловить, накинул веревку на шею и, регоча и злорадствуя, надавал Ладе сапогами под бока. Уж больно насолила она ему своей блудливостью. Тут-то Анисья и отняла у него корову и забрала себе, в свою группу. Уж и походила она за ней, как за бездомной сиротой. Обмыла застарелые струпья, смазала чистым дегтем. Да еще оставалась после дойки в лугах, уводила с собой Ладу подальше, куда-нибудь в укромное, незатоптанное местечко между болотцами, где по влажным берегам росла угонистая разновсячина. Днем пасла ее особо от стада, а на ночь ее к себе домой пригоняла: то бурачка ей подкрошит, то пойлица соберет. Был у Анисьи припасен чувал отрубей, собиралась поросенка завести, да весь мешок на Ладу и извела.

А там и в колхозе с кормами посвободнело, что-нибудь лишнего да подкинет Ладе. Ну и повеселела коровка, в один год выладнилась, откуда что взялось: и грязь к ней не стала липнуть, как раньше, когда взъерошенная ходила, да и шерсть как-то покорочела, а на лбу даже завиваться начала этакими вензелями, какие и в парикмахерской не уложишь, да и сама вроде бы сделалась выше и легче, будто на каблучках стала ходить. И пошли у нее каждую весну теленочки один другого лучше. И вот ведь удивительно: ничто к ней не приставало, никакая примесь. Отец Зинки с Ромашкою — здоровенный дурила, темные полосы по бурым бокам и рога — в пору трехведерные чугушки из печи вынимать, тигра полосатая с рогами, да и только. Но Лада упорно ничего этого не принимала, и телятки росли безрогими и светленькими — тютелька в тютельку сама Лада. Даже Иван Тихонович удивлялся: что за чертовщина, ты, говорит, Аниска, слово какое хитрое знаешь... На выставку послал. А теперь вот фотографируют, породой интересуются. А порода все одна — руками выхоженная.

...Натоптавшись за день до застарелой простудной ломоты

в ногах, Анисья иногда присаживалась на скамейку в укромном месте за коровами. За изгородью мельтешила разноголовая публика, гремели музыкой и песнями репродукторы, но Анисья, уже ничего не воспринимая, в первый же день пережив праздничное возбуждение, роняла красные суставистые руки, какие бывают только у доярок и прачек, себе в подол между коленок и забывалась в недвижимом покое, а то и просто задремывала. А иногда вдруг начинала томиться всей этой сутолокой и высчитывать, сколько ей еще сидеть тут. И принималась думать о доме. Виделась ей деревня: белые хаты по косогору, будто кто расставил пиленые рафинадные кубики. За десять верст светит белым деревня, особенно теперь, по осени, когда воздух ясен и студен. Перед каждой хатой вниз, к синей притихшей речке, забрызганной палой раковой листвой, тянутся полосы огородов: одни еще в жухлой зелени — там, где не копали картошку, другие свежечерные, перерытые, и по ним белые крапины гусей. Витька с Галькою теперь тоже копают огород; Витька небось разделся, чертенок, до майки, пыхтит, шурует лопатой и все лается на Гальку, чтоб швыдче подбирала, потому что ему не хочется после копки еще ползать на карачках и помогать Гальке собирать картошку. Ну, а та не спешит, разглядывает, как всегда, картофелины: то ей поросенок почудится, то баба с головой, с перехватом в поясе. Да и много ли накопят они вдвоем, без нее — дети ведь... А еще перебрать надо, и посушить, и в подполье засыпать, да и яму на огороде почистить. Мужичье это дело, а какой из Витьки мужик — двенадцатый годок: задачки пишет — книжки под себя подкладывает, чтобы повыше сидеть... Никак не хочет ходить в школу, пострел, с ремнем да с хныком, с самого начала нахватал двоек, учительница приходила выговаривать. Ну, а теперь ему без матери и вовсе своя воля...

— Есть горячая кукуруза! За початок — пяточок! За пару — гри-и-венничек!

— Пап, посмотри, какая рогатая корова.

— Какая же это корова? Это бык.

— А что у него в носе? Пап, что?

— Гражданин Метелкин! Вас у главного входа ожидает жена. Повторяю...

...И коровы брошены. Этим-то ничего. Ладе и Зинке с Ромашкою, эти при ней, обхоженные, а ведь там еще девять хвостов осталось, кроме своей во дворе. Назначили Нюрку Хмызову доглядать, дак какая Нюрка хожалка: надсмотрит — надоит, за неделю коров не узнаешь от такого надсмотрит

ра,— ветер в голове. А еще небось ден пять сидеть, руки связавши... Ладно бы сбегать на ярманку, посмотреть Гальке с Витькою обувки да так чего, селедок да бубликов, а то все порасхватают к закрытию, и уедешь ни с чем. Скажут, была в городе, а гостинцев не купила. Хорошо бы вдвоем сидеть: можно кому и отлучиться, по ларькам походить...

Буду петь да тебя целовать —
Научи на гармошке игра-а-ать!

— А вот я тебя побалую за уши... побалую...

— Кукуруза горячая! Кукуруза!

...Говорила председателю, Ивану-то Тихонычу, чтоб вдвоем с кем-нибудь с коровами ехать. Да нет: а что ты там будешь делать? Сено казенное, общий скотник будет раздавать, воду тоже не таскать, автопоилки по рядам устроены, сиди да посиживай... Не больно рассидишься при людях-то... Поперву хоть сам Иван Тихоныч заглядывал, справлялся. Ты, говорит, книжку отзывов на видном месте держи. Пусть записывают. Любит он, чтоб записывали... А вчера и нынче что-то совсем не казал носу Тихоныч, должно, загулял с начальством, не идет, не спрашивает... И откуда только народ набирается: и валит, и валит. Пятый день выставки, а он все колготится. Шутка ли, каждому надо по булке да по куску мяса, сколько всего на каждый день. Люду, как муравьев, и каждому давай... А так все красиво устроено: павильоны, что тебе дворцы или театры, и флаги, и музыка. Отсюда, со скотного, глядеть — и то красиво. Вот бы Витьку-то моего с Галькою сюда, вагляделись бы, набегались. Чудес-то всяких...

* * *

— Ай задремала, девка? Кличу, кличу...

Перед Анисьей выросла грудастая фигура Доськи Матюжиной, телятницы из ихнего района. Ее стойло находилось за быками, на том краю рядов.

Анисья встрепенулась, поднялась со скамейки.

— Чтой-то задумалась... Думки взяли... Дома-то все брошено...

— Нашла об чем горевать. Пошли лучше обедать.

Доська была без халата, в канареичном шелковом плаще, плотно обтягивавшем крепкую центнерную фигуру на коротких толстых ногах. Поверх плаща на могучей Доськиной груди, как на комод, лежала медаль «За трудовую доблесть».

Донька человек бывалый, и на выставку приехала с телятами уже по третьему разу.

— Давай собирайся.

— Дак ведь как же...

— Куда они к ляду денутся! Накормлены, привязаны.

Донька, шурша плащом, фэсонисто прошлась по стойлу, похлопала Ладу по бокам. Она была в хорошем настроении.

— С тебя вообще-то должно причитаться. За таких коров, вот увидишь, швейную машинку отхватишь.

— Смеешься все.— Анисья развязала тесемки на рукавах халата.

— А я тебе говорю: отхватишь. Лучше твоих коров нынче никто не привез. Так что машинка обеспечена.

— Да за что машинка-то?

— Такса такая: за первое место швейную, за второе — часы, а у кого третье — тому отрез на платье. Не веришь, Марью нашу спроси, она уже четыре машинки отхватила. Каждый раз по «тулке».

— Чудно. Зачем ей столько? Одной хватит, а к ней еще чего б дали...

— Да разве упомнят там, кому что раньше дадено? Я и то двое часов схлопотала. Одни продала, а эти — вот они: тикают, голубчики! Так что давай, девка, собирайся, в ресторан пойдем.

— Куда-а? — Анисья испугалась и перестала развязывать халат.

— Куда, куда... Закудахтала, смотри снесешься.

— Ой, да ну тебя с твоим рестораном! Выдумает тоже... Я уж тут перекусила...

— Знаем мы эти перекуски... На зеркальце, причесывайся, а я от народа загорожу.— Донька растопырила полы плаща на жарко-пламенной подкладке, занавешивая Анисью.— Хороший я себе макинтошик подцепила? На ярманке давали.

— Яркий дюже...

— Наплевать. Хоть теперь веселенькое поносить. Самые хорошие годочки в серых ватниках прошли... Глянька, как городские одеваются: шляпа не шляпа, пальто не пальто. А мы что, хуже, что ли... Брехня, вот еще шпильки себе куплю. Фу-ты ну-ты...

— Чево тебе не носить, ты еще молодая...

— А ты как старая! — Донька усмехнулась, оглядывая Анисьин коротенький плюшевый жакет, из-под которого бе-

лел оборчатый передник.— Ты себе тоже плащ купи. Теперь такие уже не носят.

— Это еще от свадьбы.

— И передник спиши. А то в ресторан не пустят.

— Ой, бес тебя поднес... Не пойду я никуда... Иди сама, если приспичило.

— Я шучу. Пустят. Сегодня наш праздник. Хочешь подкраситься? — Доська вынула из кармана пластмассовый патрончик с помадой и подбросила его на ладони.

— Что ты, что ты...— испугалась Анистья.

— Как хошь... А то давай, разрисую. Глядишь, какой влюбится. Бабий век — сорок лет, а в сорок пять — ягодка опять...

— Ой и брехло ты, Доська!

Анистья наспех прихорошилась, перевязала платок поладнее, пошоркала тряпкой резиновые сапоги и, попросив посмотреть за коровами соседа-старичка, дежурного возле угрюмого бугая с кольцом в ноздрях, побежала вслед за Доськой.

Ветер рвал из рук мальчишек разноцветные шары на нитках, в глазах рябило от всплесков кумача, от яблок, капусты, колосьев и всяких лозунгов и диаграмм, радио играло какую-то хорошую музыку, и к Анистье снова вернулось праздничное настроение, перемешанное со щемяще-сладким испугом.

— Удумает же такое — в ресторан! — восхищалась Анистья Доськой.

* * *

Белый, ажурный, с широкими застекленными верандами на все стороны, с высоко бьющим рассыпчатым фонтаном перед входом, весь в гирляндах разноцветных лампочек и флажков выставочный ресторан гудел народом, как улей во время взятка.

Анистья, невесома от робости, стесняясь взглянуть по сторонам и видя перед собой одну только канареечную Доськину спину, углублялась вслед за ней в дымный гул зала.

Они прошли к только что освободившемуся столику у края веранды с видом на примыкавший к выставке молодой сажень сосняк.

С непривычки робея даже перед ресторанными стульями, Анистья деликатно примостилась на краешке красного изогнутого сиденья и с преданностью и чуткой готовностью поглядывала на Доську, как будто вся ее, Анистьякина, жизнь теперь зависела от одной Доськи.

Зал гудел. Как на молотье, стучали вилки и тарелки, пушечно выстреливали пробки, пахло жареным луком и кофе, то здесь, то там прокатывались взрывы смеха. Маячили раскрасневшиеся лица, которые Анисья видела будто сквозь запотелое стекло,— не лица, а какие-то жаркие пятна, постепенно таявшие в глубине зала, в дымном табачно-луковом тумане. За некоторыми столиками Анисья успела разглядеть женщин, тоже раскрасневшихся, большинство в пестрых цыганских платках, сдвинутых за спину или распущенных по плечам.

У многих на груди поблескивали медали.

В дальнем углу зала пела в сарафан наряженная певица. Песня долетала урывками, и Анисья видела только, как певица раскрывала рот, будто ей не хватало воздуха.

Анисье было непривычно видеть такое шумное, праздничное застолье, наблюдать сразу столько заслуженных людей, которые так вот просто ели, пили, говорили и смеялись. Будь это не в ресторане, а в простой избе, все это походило бы на веселую свадьбу. Свадебную праздничность всему пиршеству придавали своим бесшумным мельканием белолицые улыбающиеся официантки, все как одна в голубых кашемировых платьях и накрахмаленных фартучках. Анисья засматривалась, как они в этакой толчее сноровисто и легко, будто плавали меж столами, несли горы тарелок и бутылок на высоко поднятых подносах и при этом улыбались, будто всех знали, любили и были бесконечно рады такому наплыву гостей. Они были все хорошенькие, чем-то похожие в своих кружевных чепцах на подвенечных невест, и Анисье казалось, что не эти невесты должны разносить тарелки, а, наоборот, их самих надо посадить в красный угол, подавать все в первую очередь и кричать: «Горько!»

Есть Анисье уже не хотелось, она вовсе забыла про еду и с пугливо-радостным любопытством смотрела в зал, будто с улицы подглядывала в свадебное окошко.

— Быр-быр... тыр-тыр,— сказала что-то Донька.

Анисья, ничего не поняв, растерянно улыбнулась и в знак согласия кивнула головой. Она была согласна со всем, что говорила или могла сказать Донька.

Донька засмеялась:

— Чего киваешь? Есть, говорю, что хочешь?

— А что ты, то и я.

— Ну вот слушай. Я буду читать, а ты замечай.

Донька разложила перед собой толстую клеенчатую пап-

ку и, заправляя пальцами за уши жиденькие завитые кучеряшки, принялась вычитывать названия еды.

— Салат «Выставочный»... Осетрина заливная... Рыба под маринадом...— После каждого названия Доська поднимала глаза и вопросительно глядела на Анисью.— Да ты что пялишься по сторонам? Ты давай слушай... Вот отхватишь первое место... Еще и депутатом выберут... Наездишься, наглядишься...

— Да подь ты! Не кричи-то громко.

— Гляди-ка, а вон и ваш Иван Тихонович сидит.— Доська приставила палец к строчке в меню и указала глазами в зал.

И верно, в середине зала среди незнакомых лиц виднелась похожая на мучной куль туго обтянутая спина Ивана Тихоновича. Он разламывал и аппетитно вычмокивал большого красного рака, и шея Ивана Тихоновича, тучная и тоже красная, все время вздрагивала, набегая складкой на ворот пиджака. Стол перед ним был завален красными рачьими опурками, в опорожненных бутылках шевелились и лопались глазастые пивные пузыри.

— А ты знаешь, с кем он сидит? — сказала Доська.

— Что-то не признаю.

— Да с Катькой! Дроновская ветеринарша.

— И правда.

— Гляди, гляди, как он возле Катьки-то увивается, старый хрен... Значит, так... Рыба под маринадом... Чепуха, треска какая-нибудь... Салат из помидоров... Видали мы такие... Вот! Икра черная! Ух ты, елки зеленые! — Доська воткнула палец в буквы и посмотрела на Анисью.— Берем, а?

— Не знаю... Как ты...

— Берем! И шпроты попробуем... Гулять так гулять!

Доська предлагала все заковыристое: выбрала какой-то «суп пити», да еще по ромштексу с луком и с яйцом, да по кофею с лимоном, и Анисья только кивала с удивлением:

— Обалдела девка! Куда сразу столько? Небось на великие деньги замахнулась.

Тем временем певица в сарафане, исполнив еще несколько песен, ушла под нестройные хлопки, и сразу же из-за своего столика привстал Иван Тихонович с обломком рака в руке. Лицо у Ивана Тихоновича просторное, нарощенное с боков и снизу, под подбородком, и все, что на нем было размещено — и круглые, глубоко запрятанные глазки, и вперед устремленный нос, и жесткий посевчик усов,— все кучно располагалось на самой середине лица, в то время как вокруг еще оставалось много пустого, незанятого места. Иван Тихонович

— Что тут у вас на второе? — Донька запуталась в меню.

— Из вторых — лангетик, шашлычки по-карски... — с доброй услужливостью отозвалась Клавдюха. — Но лучше возьмите гуся с яблоками — это наше фирменное блюдо.

— Давай гуся, — кивнула Донька.

— Пить что желаете? Крюшон, апельсиновый напиток, соки натуральные, кофе черный с лимоном.

И опять Анисье было странно слышать, как Клавдюха свободно выговаривала заковыристые слова. Хотелось заговорить с ней по-родственному, но что-то мешало, да и сама Клавдюха то ли не узнавала, то ли делала вид, что не узнает Анисью.

Записав заказ себе в блокнотик, Клавдюха забрала грязную посуду и пошла. Анисья посмотрела ей вслед. Шла она легко, часто постукивая тонкими каблучками белых туфель. И опять не верилось, что это та самая Клавдюха, тетки Клепихи дочка.

— Нашенская, — нагнувшись к Доньке, вполголоса сказала Анисья. — Из одной деревни мы... Вместе на ферме работали.

Донька обернулась и проводила Клавдюху долгим пытливым взглядом.

— Скажи пожалуйста... Отойди-подвинься... Что ж не признала тебя-то?

— Может, не разглядела, — с сомнением сказала Анисья. — Столько лет прошло.

— Заелась небось... — возразила Донька.

Анисья посмотрела на кухонную дверь, за которой скрылась Клавдюха, и сказала:

— Неловко как-то получилось...

— Что неловко?

— Да как же... Мы тут сидим, а она прислуживать нам будет... Вроде как барыням. Кабы не наша была...

— Вот пусть и поприслуживает, — фыркнула Донька. — За красивой жизнью погналась.

— Грех вышел у нее. Она и ушла со стыда.

— В подоле притащила?

— Да нет... Молоко мелом разбавила.

— То-то, гляжу, глаза непутевые.

— Судить хотели... А была такая старательная да понятливая. Еще девчоночкой на ферме прибилась. Дома у них было — не приведи господь: раку не за что ухватиться. Все, бывало, на ферме в поддувале скотскую картошку пекла... Я ей и насоветовала в доярки проситься... А оно вон как получилось-то...

— Она и тут небось разбавляет...

— Тише ты, вон она идет,— прошептала Анисья.

Приподняв над кружевным чепцом поднос с тарелками, Клавдюха снова пробиралась между столиками. Анисья выжидательно воматривалась. И, уже подойдя к столу, Клавдюха встретила с Анисьиными глазами, будто напоролась на острое.

Анисья, сама не понимая для чего, приподнялась со стула.

Они молча смотрели друг на друга, и обе покраснелись от неожиданности встречи.

На располневшем Клавдюхином лице малиновел напояженный рот. Ресницы ее были незнакомо черны, от уголков глаз тянулись к вискам полоски, намалеванные чем-то зеленым, а над белым чепцом торчала копна резко-желтых, тоже не Клавдюхиных волос. Все на ее лице было неприятно-чужое, и только глаза, голубенькие кругляшки с удивленно расширенными зрачками, оставались прежними, Клавдюхиными.

— Стало быть, тут ты...— Анисья перевела взгляд на Клавдюхины белые туфли.

— Да вот, видите...— Клавдюха совсем сконфузилась, и глаза ее беспокойно и виновато забегали.

— А я гляжу — ты ли, нет ли... И ты, и не ты...

Клавдюха опустила поднос и, все так же пылая лицом, переживая неловкую внезапность встречи, старательно и как-то даже торжественно расставила на столе посуду с закусками.

— Так, так...— твердила Анисья, не зная, что еще сказать.

— Да вы кушайте, кушайте,— услужливо говорила Клавдюха, поправляя перед Донькой и Анисьей тарелки.

Донька, поджав губы, откровенно и неприязненно разглядывала официантку.

— Принеси-ка нам шампанского,— потребовала она.

— А и правда, выпейте,— оживилась Клавдюха.— Праздник ведь! Сейчас сбегая...

Она проворно побежала за вином.

— А что? — Донька подпушила свои кучеряшки.— Пусть посмотрит. А то небось думает, кофею ее обрадовались.

— Дак, поди, дорого будет-то?

— Наплевать. Я плачу. Еще сейчас и по полкило мороженого закажу.

Запотелая бутылка с посеребренным горлом шарахнула пробкой из Клавдюхиных рук, ясно-золотистое вино закипело в фужерах. Сидевший за соседним столиком грузный, наголо обритый мужчина скрипуче повернулся на бутылочный хлопок.

— Дают колхознички жару! Какого района будете?

— До нас сто верст шляхом, а там то рысдой, то шагом.—
Донька выпила фужер шампанского одним духом, как са-
могонку.

Мужчина захохотал так, что на пиджаке зазвяками ме-
дали.

— Давай перебирайтесь сюда, в мой колхоз,— сказал он,
отодвигая на столе тарелки.

— Мы сами казаки с усами, только сабли не пристег-
нуты.

— Ай да девки!

Анисья тоже глотнула. Шампанское заципало в носу, сле-
зой ударило в глаза. Она поддела вилкой смуглую шпротину
в зеленом крошewe лука.

— Может, выпьешь с нами,— сказала Клавдюхе.

— Глоточек за встречу выпью,— согласилась Клавдюха
и подтянула к столу незанятый стул.— Я на одну секундочку
только. Там ведь еще четыре моих столика.

Опять вышла певица, на этот раз в блестящем черном
платье и черных до локтей перчатках. Позади нее выстроились
три музыканта, одетые в одинаковые белые пиджаки, с чер-
ными бантами под шеей. Замурлыкал аккордеон, и один из
музыкантов принялся постукивать чем-то, похожим на дет-
скую погремушку с горохом.

Клавдюха убежала на кухню за обедом. Донька снова
разлила шампанское.

— Мне бы хватит... Доить еще...— запротивилась Анисья.

— Ладно тебе... Держи свою марку.

Анисья отхлебнула три жарких ложки супа и распустила
под шеей концы полущалка. Донька налила себе еще вина
и выпила дочиста... Глаза ее блестели.

В глубине веранды пели что-то быстрое, веселенькое:

А парни все разборчивы,
Придирчивы ужасно.
И остаются у стены
Пришедшие напрасно...

Певица, пощелкивая черными перчаточными пальцами,
подходила то к одному, то к другому музыканту, и все, улы-
баясь ей, кивали одинаковыми черными головами с одинако-
выми проборами.

Стоят девчонки, стоят в сторонке,
Платочки в руках теребя,
Потому что на десять девчонок,
По статистике, девять ребят.

— Веселая у тебя работенка,— не то позавидовав, не то подковырнув, сказала быстро захмелевшая Донька.— С музыкой.

— Ой не говорите! — Клавдюха закрыла уши ладонями.— Так за вечер наслушаешься! Придешь домой, а в ушах все музыка гремит. Мы тут временно, пока выставка, а в будни я в городском ресторане работаю. Так там до самой ночи.

— Музыку стерпеть можно,— сказала Донька, разглядывая то Клавдюхин чепчик, то зеленую подкраску на глазах.— Я б всю жизнь под музыку телят выхаживала...

Клавдюха промолчала и, опустив ресницы, принялась катать на столе хлебный мякиш.

— Пойду за столик получу,— сказала она, вставая.

— Вот ведь как...— вздохнула Анисья.

Она задумалась, подперев кулаками щеки.

— Гляди-ка! Иван-то твой Тихонич,— кивнула Донька.

Иван Тихонович и Катька сошли с веранды и, обогнув ту ее сторону, где у края сидели Анисья и Донька, побрели прочь от ресторана. Иван Тихонович, нетвердо ступая, держал Катьку под локоть и все говорил ей что-то на ухо, зарываясь усами в ее волосы.

— Ай, комедия! — Донька щурилась на них, горя кошачьими глазами.— Пошли малину собирать. Кицо прямо!

Вскоре сосед переманил Доньку за свой стол. Она забрала гуся с яблоками и пересела. Сосед оживился, вызвал Клавдюху, заказал коньяку и плитку шоколада.

— И еще что-нибудь этакое...— Он побренчал в воздухе пятерней.— Фруктов, фруктов...

Донька хмельно хохотала и делала из-за спины соседа знаки Анисье: дескать, почему бы не погулять.

Анисья качала головой и стыдливо отворачивалась: ох уж и баламутка...

Клавдюха прибрала им стол и принесла заказанное угощение: графинчик с коньяком, шоколадку и большой полосатый арбуз.

Придерживая рукой вершок, Клавдюха ловко расхватила арбуз вдоль полосок так, что он при этом не развалился, а только пустил розоватые слезки по надрезам. Но когда она убрала руку, арбуз мгновенно раскрылся алым цветком на черном подносе.

Анисья невольно подивилась Клавдюхиной ловкости.

«Тоже, видать, проворность нужна»,— подумала она.

Разрезав арбуз, Клавдюха опять подседа к Анисьяному столику.

- Значит, на выставку...
- Да вот все с коровами. Трех привезли.
- Не бросаете...
- Да уж куда теперь бросать. Теперь уж до пенсии.
- Да-а...

Разговор не вязался. Но Клавдюха не уходила и в раздумье переставляла на столе пустой фужер.

- Мама-то твоя померла,— сказала Анисья.
- Знаю.— Клавдюха потупилась.
- Похоронили мы ее... У прудовой стезжки положили.

Клавдюха прикрыла глаза рукой, губы нервно задвигались под ладонью.

— Ну будя, будя,— тоже расстроилась Анисья.— Ничего все, ничего, обошлось... Вот, гляжу, обута-одета. Тут столуешься али как?

Клавдюха, не отрывая руки, кивнула.

- И то ладно. Копейка лишняя задержится.
- Все у меня есть, тетя Анисья,— вспыхнула Клавдюха.— И тряпки, и сыта...
- Ну будя, будя...

В зале застучали вилкой по графину.

Клавдюха вздрогнула, быстро достала платочек, вытерлась и побежала на зов.

Анисья видела, как она раза два проходила между столиками, шла, как и прежде, легко, приветливо прося посторожиться, улыбаясь, и в своем казенном бело-голубом наряде снова походила на счастливую невесту.

* * *

Из ресторана Анисья выходила одна: Донька осталась доживать с тем самым бритым соседом.

«Баловство все это»,— с осуждением думала Анисья о себе, вспоминая, как Донька выложила за обед красненькую.

Клавдюха не хотела было брать с них денег, говорила, что, мол, все это пустяки, не стоит беспокоиться, но Донька и слушать не пожелала. Она сунула десятку в карман передника Клавдюхи и отвернулась с неподступным видом.

После ресторанной дымной сутолоки на площади было свежо и просторно. Анисья невольно задержалась на ступеньках. Перед ней из фонтана бил толстый жгут воды. Водяная пыль от фонтана долетала до самого крыльца и приятно холодила разгоряченное Анисьино лицо. Радио играло «Амурские волны», и было радостно и в то же время почему-то грустно слушать эту красивую музыку.

— Чтой-то я загуляла нынче,— вздохнула она и сошла со ступенек.

И, вспомнив про своих коров, она торопливо пошла вдоль павильонов. Витрины и стеллажи ломались от всякой всячины, но она нигде больше не задерживалась и, поглядывая на низкое солнце, думала о том, что скоро опять начнут раздавать казенные корма и ей надо успеть к раздаче, чтобы коровам положили сена как следует.

После праздного сидения в ресторане мысли о предстоящем деле — раздаче кормов и вечерней дойке — доставляли ей даже тихое удовлетворение.

— Баловство все это,— повторяла она, шагая и с упрямом думая о вышитом шампанском.— Целую пенсию просидели.

Лада еще издали заметила Анисью и нетерпеливо и обрадованно взмывала.

— Иду, иду,— отозвалась Анисья, затворяя за собой калитку загона и на ходу снимая со стены халат.

Солнце опустилось за павильоны. Быстро за вечерело. Включили лампочки. Народ еще потолокся немного и стал постепенно расходиться. Репродукторы объявили о закрытии выставки и смолкли. В наступившей тишине стало слышно, как на другом конце скотных рядов скрипела телега и сердито тпрукал на лошадей скотник: начал развозить вечернее сено.

Получив свою порцию и засыпав сено в подвесные кормушки, Анисья немножко посидела на своей скамейке. Она сидела и прислушивалась к тому, как где-то за выставкой, за темной стеной саженных сосен все еще бурливо и неутомимо шумел город: выстукивали колесами трамвай, что-то пытело и шипело паром и еще что-то непрерывно и пчелино гудело — то ли от перепутанных проводов, то ли от скопления народа.

Посидев так еще минутку, Анисья устало приподнялась и не спеша принялась готовиться к дойке.

Она опростала сперва Ладу, потом Зинку и уже заканчивала доить Ромашку, как вдруг почувствовала за своей спиной чье-то присутствие.

Анисья обернулась.

Опершись о калитку, плохо различимая в тени навеса, стояла женщина, видимо уже давно наблюдавшая за ее работой. Анисья подумала, что это возвратилась из ресторана подгулявшая Донька, но женщина негромко отозвалась, и Анисья узнала Клавдюхин голос.

— Доите, тетя Анисья?— спросила она с робкой уважительностью.

— Да шабашу уж...

— А я с работы. Думаю, дай забегу...

Она просунула сквозь решетку руку и поворошила в кормушке сено.

— Да ты заходи,— сказала Анисья.— Я сейчас...

Клавдюха несмело вошла в калитку. На ней было легкое голубое пальто и тонкая паутинно-прозрачная косынка поверх высоко взбитых волос.

— Хорошо тут у вас,— вздохнула Клавдюха и теплым взглядом окинула нехитрое Анисьино хозяйство: ведра на гвоздях, вилы, стираную марлечку на веревке у задней стены.— Сено хорошо как пахнет...

Она остановилась позади Анисьи и задумчиво глядела на ее быстро мелькавшие под брюхом коровы жилистые руки. Колкие струйки глухо зарывались в нежную пену переполненного подойника.

— А кто ж еще из наших?— помолчав, спросила Клавдюха.

— На выставке-то? Да кто... Иван Тихоныч...

— Видела я его. Каждый день на веранде сидит.

— Признал-то хоть?

— Узнал! Все предлагал выпить на мировую. Дескать, строго тогда было...

Анисья промолчала.

— А я не только выпить, а и смотреть на него не могу,— тоже помолчав, сказала Клавдюха.— Столько потом натерпелась. И в копне почевала... И на вокзале... Как тогда из дому ушла... И в няньках была, тарные ящики сколачивала, асфальт заливала, пока ногу смолой не ошпарила... А сколько углов по чужим домам да по баракам пересчитала. Верите?

— Да уж известное дело — не дома,— сказала Анисья.

— Бывало, уткнусь в подушку и реву. Даже матери не писала, чтоб не знали, где я и что... И вас, тетя Анисья, поди, тоже ругали за меня. Наверно, сердитесь на меня.

— Ну да что ж теперь толковать...— Анисья поднялась со скамейки и принялась процеживать молоко во флягу.

Делала она все с той спокойной и уверенной сноровкой, с какой Клавдюха в прошлый раз разрежала арбуз. И Клавдюха в свою очередь тоже загляделась на Анисью. От широкой струи, округло сбегавшей из подойника во флягу, тонко запахло парной молочной свежестью.

— А коровки у вас хорошие,— уважительно сказала Клавдия.

— Да это же Лада твоя. Помнишь Ладу-то?

— Да неужто?

— Она, Клава, она.

— Ой, да какая ж она стала. Да какая же...

Клавдия робко прошла между коров к кормушке.

— Неужели Лада? Тетя Анисья?

— А это вот дочки ее,— сказала Анисья.— Правда, похожи? Ромашка и Зинка.

— Ой, да надо же!— не переставала удивляться Клавдия, то поглядывая на коров, то на Анисью.— Лада! Лада!— позвала она, дотрагиваясь до кучеряшек на лбу коровы.

Лада долго обнюхивала Клавдину руку, тычась влажной розовой губой в ладонь, потом шумно выдохнула воздух и, отвернувшись, принялась поддавать мордой сено в кормушке, отыскивая какие-то одной ей известные лакомые былинки.

— Не узнала,— растерянно сказала Клавдия.— Разве всех упомнишь... А я ни капельки себе тогда не брала. Ну вот ни полстолечка... Верите? А Иван Тихоныч как окрысился... А я ведь как думала... Думала, замеряют у меня молока побольше и муки набавят. Всем коровам дают, а моим не дают. А мне самой — зачем? Сколько лет прошло, а все обидно...

— Не то важно, Клава, что про тебя говорят,— сказала примирительно Анисья.— А то, что про себя знаешь. Душа свята — свят и день...

Они долго еще сидели в загоне на Анисьиной доильной скамье. Коровы неторопливо, монотонно пережевывали жвачку. Возле фонаря перед стойлом кружились поздние осенние бабочки. Было тихо, и они, подчиняясь этой тишине, тоже разговаривали вполголоса, почти перешептывались.

— А кто ж еще из наших?

— Да кто... Варька Зобова.

— Какая Варька?

— Да что с выселок.

— А-а... Я ж с ней вместе училась. В пятый ходили. Скажи ты! Тоже тут, значит...

— Ага, тут... С капустою.

— Хоть бы посмотреть на нее.

— Зайди, повидайся.

— Не узнать, поди... Сколько лет прошло.

— Уже двое детей у нее. За Пашкой Калабухом замужем.

— За Калабухом?

— А что... Какой стал парень! Действительную отслужил.

Теперь в колхозе по моторам. Дом построили, все под масло. Хорошо живут... А еще Ванек Стукалин тут. У того просо хорошо уродило. Да агроном с ним, ты его не знаешь, новенький он у нас... Приезжай летом, погостуй.

— Говорят, получшало теперь.

— Да подладилось... И равнять с прежним нечего...

— У нас небось теперь паутина летит по лугам, картошку копают...

Высоко на белых пестах дремали уставшие за день, на плескавшиеся флаги. Пересвистывались сторожа...

Прошел пятый день осенней выставки.

ПОРТРЕТ

*Соловьи, соловьи, не тревожьте
солдат,
Пусть солдаты немного поспят.
(Из фронтовой песни)*

Директор нашего краеведческого музея, узнав, что я собираюсь провести свой отпуск в Отраде, упросил меня написать портрет тамошнего председателя Зотова. И вот, захватив с собой краски и этюдник с холстами, я весь вчерашний день проторчал возле колхозной конторы в надежде подкараулить Алексея Максимовича.

Перед конторой рос молодой тополевый парк. Аллеи тремя лучами разбегались от круглой клумбы, жарко пламеневшей гвоздиками. Я устроился на одной из планочных скамеек в самом начале аллеи. Отсюда хорошо было видно кирпичное здание правления с двумя колоннами по бокам еще не окрашенной двери. Из распахнутых настежь окон доносились щелканье костяшек, урчание арифмометра. Иногда звонил телефон, в окне мелькала белая рубашка счетовода, и вслед раздавался его недовольный голос:

— Я вам уже говорил — председателя нет... Кто же его знает, где он. Колхоз велик... Что? Откуда я могу знать? Сами ждем.

На этот раз трубка сообщила, очевидно, что-то важное, потому что счетовод вдруг смягчился:

— Подождите минуточку... Коммутатор! Коммутатор, дайте третью бригаду... Третья? Там у вас нет Алексея Максимовича?.. Звонят из райпотребсоюза насчет яблок. Грозятся закупить в «Красном луче», если мы будем медлить... Уехал? Прямо беда с ним! Тут все уши оборвали телефонами. Увидишь — скажи, что звонили насчет яблок.

Я слушал телефонные звонки и все больше терял надежду дождаться председателя. Искать же его по полям было бессмысленно. Да и где его найдешь?

Раза два в аллею заглядывал колхозный сторож Киша, он же управитель парком, — живой, шустрый старикан в галифе и баскетбольных кедах. С почтительностью глядя на этюдник, перепачканный красками, он говорил:

— Вот какая незадача. Нету, значит, нашего Лексея Максимыча. Как поехал с утра, так и не вертался. Да ведь ты сам рассуди. Пять деревень в колхозе. Восемьдесят верст, ежели кругом нашей земли объехать. Одних замков на амбарах, хранилищах, кладовых и прочих дверях четыреста штук. Это уж я тебе точно, как сторож, говорю. А прочей техники и вовсе счегу нет. Тьма всего. Черт шею свернет в таком хозяйстве. Вот он, Максимыч, и вертится. Всему лад дать надобно.

Дед запустил под кепку пятерню, озабоченно поскреб косматый затылок.

— А ты, значит, с него портрет думаешь срисовать?

— Да вот собрался...

— От себя или указание дадено?

— Указание...

— Так, так,— одобрительно закивал Киша.— Давай срисовывай. У нас председатель красочный.

Часа через два, когда уже заметно повечерело и я подумывал уходить, дед пришел еще раз.

— Притомился небось, ожидаючи?— сказал он.— Видать, не будет нынче никаких делов. Приходи завтра пораньше. Глядишь, застанешь.

На другой день я пришел к правлению часов в семь. Утро было тихое, ясное, с прохладными, резкими тенями от домов и деревьев. Клумба, обрызганная росой, казалось, была покрыта хрустальным колпаком. Дед Киша уже прошелся метлой по дорожкам и успел посыпать чистым, чуть влажным речным песком. На свежем песке я увидел отпечатки следов председательского «Москвича», обрадовался и поспешил в правление.

В кабинете Зотова шло какое-то совещание. Вдоль стены и на подоконниках сидели бригадиры, заведующие фермами, агроном, знакомый мне счетовод и еще кое-кто. На председателем столе лежала зотовская фуражка с пропотелым донышком, а сам Зотов, по своему обыкновению, прохаживался у стола.

Был он грузен, а с тех пор, как я его видел в последний раз, даже растолстел, особенно в поясе. Парусиновый китель, севший после стирки, выглядел на нем кургузо, из коротковатых рукавов торчали красные, налитые стариковской полнотой кисти рук, чем-то похожие на рачьи клешни. Китель на груди, между медными пуговицами, собрался в гармошку, и казалось, стоило Зотову неловко повернуться или повисить голос, как пуговицы не выдержат, осыплются и раскатятся по

углам. Постарел Зотов! В широкой спине появилась сутулость, голова совсем стала сивой, особенно на висках. Только ноги в легких хромовых сапожках, в синих армейских галифе, плотно обтягивавших икры, выглядели молодцевато. Зотов прохаживался вдоль стола, пружинисто и мягко ступая своими щегольскими сапожками по старенькому, вытертому ковру.

Совещание, видно, уже заканчивалось: бригадиры прятали в карманы записные книжки, заминали папироски, а сам Зотов уже несколько раз протягивал руку за фуражкой и нетерпеливо поглядывал в окно.

— Все, что ли?

— Алексей Максимыч...

Со стула поднялся рослый, плечистый парень в голубой трикотажной тенниске, со следами свежей стрижки на загорелой шее.

— Ну что там еще? Гляжу я, Степка, крутишь ты что-то... Не хочешь ехать — не надо. Другого пошлем.

— Да мы разве против...

— Так чего ж ты? Деньги на дорогу получил?

— Получил.

— Продукты выписал?

— Это все есть...

— Ну?

— Да вот дома как же?

— А что дома? Я сказал буху, чтобы центнера два хлеба в счет аванса выписал. Это матери. Если еще что надо будет, пусть приходит, поможем. А теперь ступай. Помни: лес нужен, постарайся там.

— Да уж за это, Алексей Максимыч, будьте спокойны...

— Ну, ну, ладно, «спокойны»! Пробудешь недельку да и дернешь. Смотри, голову оторву... Давай иди, иди!

Парень старательно приладил кепку на аккуратно зачесанные, крепко отдающие сиренью волосы и вышел. Вслед за ним стали расходиться и все остальные.

Я улучил момент и протиснулся в кабинет.

— А-а! — протянул Зотов. — Живописец! Здоров, здоров! Опять к нам?

— Не откажете?

— Себе — откажем, а уж служителю муз — всегда хлеб-соль. Когда приехал?

— Уже три дня в Отраде.

— Ну?! И не зашел!

— Как — не зашел! Весь день вчера за тобой охотился.

— Что такое?

Я рассказал.

— Ну, брат, в музей мне еще рановато,— рассмеялся Зотов.— Я еще тут, по земле, похожу. В музей только старые лапти да сарафаны вешают.

— Нет, в самом деле, Алексей Максимович. Надо. Не мне разъяснять.

— М-да...

Зотов поскреб небритый подбородок, жестко зашуршавший под его пальцами.

— Честное слово, много времени не отниму!— обрадовался я раздумью председателя.— Сегодня полчаса, завтра полчаса...

— Вот не выполню хлебопоставок,— сказал он, хмуровато и снисходительно разглядывая меня,— тогда не только в музей, а и на телеграфном столбе мало повесить. Ты давай вот что... нарисуй-ка для нашего клуба картину. Веселую такую, яркую. Нашу, местную, а? Какие у нас места, я тебе скажу. Жигули!

— Опять за рыбу деньги!

На столе яростно задребезжал телефон. Председатель шагнул, широко облапил трубку.

— Слушаю я... Какой трактор, чей?.. Степанова? А бригадир где?.. Фу ты, черт! Ладно, сейчас приеду... Вот тебе и портрет... Трактор стал. За маслом не уследили. Ты уж меня извини,— сказал председатель, нахлобучивая фуражку с заляпанным мазутом козырьком.— Сам видишь, не вольный я казак. Если хочешь, поедем вместе. Вот только посмотрю бумажки. Откуда они набираются? Не успеешь рассовать, глядишь — опять кипа. Есть же любители марать бумагу!

Председатель сел за стол и, не снимая фуражки, стал просматривать папку. Я, ожидая, пока он освободится, остановился у раскрытого окна. На крыльце правления сидел разный люд. Зотов завел жесткий порядок: принимал в кабинете по личным делам только два раза в неделю. Сегодня день был неприемный, и председателя подкарауливали у выхода.

Откуда-то вывернулся дед Киша с метлой и, как взъерошенный воробей, набросился на мужиков:

— Совести у вас нету! Ишь сколько окурков нашвыряли! Говорят вам, нечего рассиживаться, день неприемный. Марш, марш отседа, пока председатель не увидел!

Он бесцеремонно совал обтертой, колючей метлой под зад, и мужики, незлобно огрызаясь, по одному очищали порожки и нехотя расходились.

«Москвичок» захрустел всеми своими суставами, когда Зотов садился за руль, накренился на левый бок, да так и оставшись кособоким, покатился по прохладной тенистой дороге. Сразу за парком машина серой мышью юркнула в глубокий зеленый тоннель кукурузы. В ее густой, душной чащобе перепархивали по шуршащим на ветру листьям бесчисленные зайчики. Золотистые, нарядные султаны покачивались над глубокой траншеей полевой дороги.

Я глядел на всю эту буйную силищу, бьющую из земли почти трехметровыми фонтанами, и удивлялся неукротимой мощи чернозема.

Наконец стесненный кукурузой проселок выбежал на залитый солнцем простор и влился в широкую, накатанную дорогу. Глазам стало просторно. Зотов надал газку, «Москвич» дернулся, как пришпоренный конь, и бойко покотил, убегая от ленивого, сонного облака пыли.

За лесистой балкой открылась черная полоса свежевспаханной зяби с неподвижным силуэтом трактора у самого края. Было видно, как над железной кабиной дрожал и струился горячий воздух.

Грачи, будто бригада ревизоров, деловито мерили пахоту веторопливыми шажками.

«Москвич» свернул на стерню, запрыгал по бороздам и остановился у кромки зяби, как раз против тракториста. На резкий стук дверцы из-под двигателя высунулось растерянное лицо тракториста-подростка.

— Подшипники целы? — еще издали крикнул Зотов, грузно поспешавший по вздыбленным комьям земли.

— Да, кажись, целы...

— «Кажись»! Две тысячи за машину отвалили, а ты — «кажись»... Где бригадир?

— Возле комбайнов.

— Пошли за ним?

— Прицепщик побежал.

— Ну-ка, дай гляну.

— Пойдите, я фуфайку постелю, — обрадовался тракторист.

Зотов, кряхтя, полез под вскрытое, дышащее горячим маслом брюхо трактора. Парень, присев на корточки, участливо заглядывал под гусеницы.

— Поддай-ка тряпку. И отвертку. Шатуны стучали, что ли? — слышалось из-под машины. — Придет бригадир — сделайте перетяжку. И масляный насос проверьте. Только чтобы завтра — пахать. Понял?

— Сделаем, Алексей Максимыч.

— «Сделаем»! Вот допашешь клин — сниму с трактора к чертовой бабушке.

— Я разве виноват?— У парня побелело лицо, и сразу проступили все веснушки, будто набрызганные пульверизатором.— Трактор старый, на нем хоть кто не сработает.

— Мне твое «кажись» не нужно,— не слушая, ворчал Зотов.— Это тебе не телега. Брат когда демобилизуется?

— К ноябрьским обещал...

— Ну вот, трактор отдадим ему, а ты... На курсы поедешь?

Лицо паренька медленно налилось краской, и все его крупные просяные веснушки снова утонули и померкли.

Уже далеко отъехав от трактора, Зотов, все время молчаливый, проронил:

— С одной стороны, вроде бы все хорошо: своя теперь техника, от МТС не зависим. Широкая оперативность. А машины все равно простаивают. Еще больше, чем раньше.

— Почему?

— Нет хороших механизаторов. Мне еще трактора три надо бы подкупить. Не могу. Некого на них сажать. Все опытные трактористы после ликвидации МТС в соседние колхозы ушли, по месту жительства. У них там хаты, коровы, деды-бабки. Двух переманил, срубы даже перевез. Да что это — капля в море. Приходится на дизеля прицепщиков сажать. Вот и лезешь чуть ли не под каждый трактор.

— А механики на что?

Зотов досадливо передернул плечами:

— Сколько этих механиков? А моторов в колхозе более ста штук. Считай, тридцать тракторов, двенадцать комбайнов, тридцать две автомашины да еще всякие стационары. И все это разбросано на пяти тысячах гектаров, работает в напряженных условиях — пыль, грязь, тяжелый грунт, бездорожье, техническое бескультурье... Работы все срочные, календарные. Подошла жатва — разбейся, а в две недели свали хлеба. Иначе зерно в землю утечет. В этих условиях не механики решают, а рядовые. Нам нужно до предела загруженное машинное время. Вот на зиму человек пятнадцать по школам рассую.

И еще через некоторое время, как бы продолжая перебирать какие-то свои думы, сказал:

— А много ли толку? Выучишь — в армию заберут. Да-а! Хорошие кадры собрать — лет пять надо. А они мне сегодня, вот сейчас нужны. И так во всем... Хвост вытащишь — нос вязнет. Диалектика!

Среди поля показалось длинное строение с низкой шиферной крышей, донесся гул работающих машин. Мы въехали на ток. Над цементированной площадкой висела упругая пульсирующая дуга. Выметываясь из зернопульта, она пронеслась в знойном неподвижном воздухе с легким шуршанием. На другом конце струя тяжело ударялась о ворох, который сразу начинал расти, как только женщины, орудовавшие совками и деревянными лопатами, на минуту переставали отгрести. Пахло полем и сытым, горячим ароматом свежего зерна. Неподалеку, дробно стуча, работали от тракторного привода три сортировки. Просушенное зерно насыпали в мешки, вешали и грузили в автомашины.

Зотов прошел к весам, развернул тетрадку, привязанную шнурком вместе с кургузым карандашиком к коромыслу весов.

— Сколько машин ходит? — вскинул он глаза на заведующего током, бритоголового, в красной майке, запорошенной мякиной.

— Машины, Алексей Максимыч, все. Вот зерно не успеваем подсушивать. Мала бетонная площадка. Утром одну машину на элеваторе не приняли. Не прошла по кондиции. Пришлось там во дворе высыпать, досушивать.

— Брезенты есть? Расстелите брезенты.

— Да уж разостлали.

— Расчистьте рядом стерню, утрамбуйте.

— Да кто будет расчищать?

— А ты что, инвалид?

— Ну, я — ладно. А еще кто? Бабы и так вон без разгиба верно лопатят.

— Значит, ничего нельзя сделать? Будем срывать график? — Зотов отбросил тетрадку, и та закачалась на бечевке.

— Почему — нельзя? Дайте бульдозер — полчаса делу.

— Привыкли: чуть что — бульдозер, трактор! Вон Магнитку без бульдозеров строили. Лопатами да тачками, — ворчал Зотов, доставая из кармана блокнот. — Трактористов у меня нет. Все заняты. — Написав что-то в блокноте, Зотов вырвал листок. — На, съездишь к завгару — пусть сам пригонит бульдозер. Скажи, что на часок, не больше.

Щупая на ходу зерно, Зотов подошел к сортировкам. Поставил, поглядел, подозвал к себе молодую женщину со вздернутым животом, железной мерой насыпавшую зерно в бункер сортировки:

— Ну-ка, поди-ка сюда, Настя.

Женщина отставила меру, подошла, охорашивая передник.

— Гляжу — тяжелая, что ли?

Настя засмушалась, начала подсовывать волосы под платок.

— Ну и... и как же ты?.. Может, тебя на птичник отправить? Пока суть да дело...

— Да нет, Алексей Максимыч, я уж тут...

— Ну, смотри, девка! А то принесешь семимесячного... Мне такие в колхозе не нужны.

— Не принесу! — блеснула глазами Настя. — Крепче будет! Сев в «Москвич», Зотов надавил стартер, но, что-то вспомнив, открыл дверцу и, выставив одну ногу на землю, крикнул:

— Как, обед возят?

— Вчера привозили! — откликнулись бабы. — Оставайтесь с нами обедать.

Зотов не ответил, но, повернувшись ко мне, сказал:

— Побудь-ка здесь. А я, не бойся, не сбегу. Съезжу в одно место и заверну за тобой. Край надо съездить.

Я стал отговариваться.

— Нет, нет... Вылезай, вылезай! Ну чего без толку мотаться? Порисуй, с людьми побалакай. Говорю — заеду.

Не зная Зотова, я бы, конечно, обиделся: говорил он со мной снисходительно, как с малым ребенком. А в этом «порисуй» проглядывало снисхождение уже не к моей персоне, а ко всему моему занятию. Но я понимал: хитрил Зотов! Он хотел, чтобы я остался и пообедал на току.

Пришлось уступить. Хлопнула дверца, «Москвичок» сердито вычихнул синий клуб дыма, запрыгал, заскрипел рессорами на примятой стерне. Где еще мотался он — не знаю. Я уже зарисовал несколько листов альбома и успел до костей прожариться в печной духоте августовского уборочного дня, а его все не было. Наконец он подъехал, я влез на заднее сиденье, и мы покатали.

— Поедем, покажу тебе лагерь.

Показывать мне скотный лагерь Зотову не было никакой необходимости, просто ему нужно было туда зачем-то, и вез он меня потому, что деть меня некуда. Но мне и самому, честно говоря, никуда ехать больше не хотелось. Сморенный жарой, я безучастно смотрел на знойно желтевшую стерню вдоль дороги, на далекие комбайны, тут и там выплывавшие на взгорки.

Машина шла быстро. Зотов сердито и размашисто вертел баранку, объезжая ухабы и колдобины. Меня бросало из стороны в сторону, «Москвич» гукал задним мостом, как загнанный жеребец ёкает селезенкой.

Одной рукой Зотов полез в карман кителя, очевидно, за носовым платком, чтобы вытереть взмокшую, багровую шею, испещренную сеткой морщин, и неожиданно для самого себя достал кусок давно засохшего хлеба. Поглядев на сухарь с недоумением, он сунул его в рот и спросил:

— Покормили тебя?

— Да нет...

— Что, не привезли разве? Ах, черти! Специально выбраковали два десятка петухов. Варить лапшу для токов и комбайнеров. И сами себе угодить не могут. Чистые дети! Поедем ко мне, чем-нибудь накормлю.

— Еще терпеть можно.

— Поехали, поехали! Нечего дурочку ломать!

Зотов решительно затормозил машину, дал задний ход и, вернувшись на перекресток, который только что минули, поехал по другой дороге.

На въезде в село, возле угрюмоватого дома на высоком фундаменте, машина остановилась. Из-под куста бузины вылез большеголовый пес, оставшийся при доме еще от прежнего председателя. Жена Зотова прозвала его Фирсом — по имени старого чеховского лакея из «Вишневого сада». Фирс подбежал к Зотову, застучал по сапогам хвостом, обметая пыльные голенища.

Мы вошли в прохладную горницу. Я и раньше бывал у Зотова, и с тех пор ничего в доме не изменилось. Все так же среди простенькой, наспех купленной обстановки надменно возвышался, холодно поблескивая хрусталем посуды, полированный сервант — единственная вещь, которую привезла с собой из города жена Зотова.

— Я уже три дня холостякую, — сказал Зотов. — Моя старуха уехала к дочери, так что, извини, борщей не будет.

Он принес кусок холодного мяса, с десятков яиц, тарелку помидоров, достал из серванта стопки.

— Яйца сырые пьешь? Или яичницу?

— Сырые так сырые... Только вот что, Алексей Максимович... Давай сначала попозируй. А?

— Гляди, не забыл!

— Хотя бы простой набросок. А то кто-нибудь явится — и опять улетишь.

Зотов крупно, крест-накрест нарезал помидоры, посыпал их кольчатым луком и солью.

— Что с тобой поделаешь? Давай, валяй...

Я помчался к машине, вытащил из багажника холст, этюдник, начал готовиться к сеансу.

— Может, побриться?— спросил Зотов.

— Не надо, ничего не надо.

— Что прикажешь делать?

— Садись, голубчик... Больше ничего.

Зотов, пряча смущение, неловко и грузно опустил на стул, не зная, куда деть руки. Наконец он пристроил их на растопыренных коленях и успокоился.

— Сиди так... Свободненько...

Некоторое время я приглядывался, потом, нащупывая, стал класть первые штрихи.

— Так... Секундочку... Что, супруга привыкла к деревне?

— Скучает... Я-то сам из лапотников. Это уж потом раб-фак, коммунистическая школа и все прочее. А она всю жизнь в городе.

— Да... трудненько привыкать...

Писать Зотова вроде бы просто. Лицо резкое, суровое, черты проступают отчетливо. Лепи крупный нос, этакой мичуринской грушей; по лбу твердым нажимом проводи борозды; маленькие жидко-зеленоватые глаза утопи в складках век под тяжелым надбровьем...

— Значит, скучает, говоришь?..

— Теперь, правда, не так... Я ей здесь дело нашел... Был у нас рояль. Когда ехали сюда, думали: куда его деть? Дочь училась в Харькове. Сын в армии. Я ей говорю: давай продадим. Куда, к лешему, везти его с собой... Неудобно, говорю, выбрали председателем, а я прикачу с роялем. Нет, уперлась: «Заберем да заберем»...

Зотов говорил одними губами, не шевелясь, будто сидел в парикмахерском кресле.

— Так...

Линию рта намечай чуть искривленной: рот у Зотова косоватый, с какой-то насмешинкой в левом углу. Ну, а дальше массивный подбородок, а вокруг него толстая жировая складка, набегающая на воротник.

— Ну, и что с роялем?

— Привезли, понимаешь, сюда... Стали затаскивать, а он в двери не лезет... Вообще-то втащить можно было... Да я тут словчил малость. Давай, говорю, отвезем пока в клуб. Старуха было надулась. Ни в какую. Два дня ночевал рояль на дворе. А потом жалко стало, согласилась... Под Новый год сидели мы с ней на концерте самодеятельности. Попросили ее сыграть. С тех пор и пошло. Сама бегаёт, дрынчит, и молодежь около нее учится. У них там теперь что-то вроде музыкальной школы.

— Обхитрил, выходит...

— Нет худа без добра!

— Это верно...

Я отступил от холста, поглядел. Вроде бы все точно схватил. А Зотова нет. Вместо него какой-то сердитый, некрасивый человек непонятных занятий. То ли надменный чиновник, то ли отставной генерал-служака. Придется повозиться. Портрет — дело такое... к нему не приложишь анкету. Оставил лицо пока так и начал писать руки.

— Это ты ее ловко обвел...

Коротковатые рукава кителя беспорядочной смятой гармошкой задрались почти до локтя. Большие, неловкие в своей вынужденной неподвижности руки с какой-то подростковой застенчивостью лежали на коленях. Они чуть отекли и заломились глубокими складками в запястьях, а там, где начались пальцы, в этой багровой, заветренной припухлости, над каждым пальцем залегли стариковские ямочки. Сами же пальцы, сдавленные с боков оттого, что всю жизнь теснили друг друга в работе, с натруженными, узловатыми суставами и кургузыми, горбатыми ногтями, были сильны даже в своем неподвижном лежании.

Я увлекся, списывая эти терпеливые и добрые руки, и видел, как от их появления на холсте постепенно оживало и как-то добрело суровое зотовское лицо, как эти руки делали Зотова — Зотовым.

— Так, так... — машинально твердил я.

Мой карандаш торопливо шуршал и чиркал в тишине горницы, а Зотов, перенося томительную неволю, послушно глядел в окно, загороженное пыльным кустом бузины.

Вдруг голова его как-то странно качнулась. Я вскинул глаза. Поддерживая грузное тело, зотовские руки по-прежнему твердо и терпеливо упирались в колени. Но седая голова безвольно поникла. Серая парусиновая куртка мерно вздымалась на груди. Верхняя пуговица при каждом вздохе покачивалась, словно на волнах, то опускаясь, то касаясь небритого подбородка... Двадцать минут безделья сломили старика. Я дорисовал руки, осторожно сложил этюдник и на носках вышел из комнаты.

Серый, запыленный «Москвич» тоже дремал у обочины, дожидаясь своего хозяина.

ТЕЧЕТ РЕЧКА...

Туман, по-осеннему колюч, студен, хватал за руки и был так плотен, что Устин не видел даже своего стада, а лишь различал шумное сопение коров, обрывавших траву. Парусиновый картузик на нем отволг и потемнел, сияым сделалось и востроносое лицо, поросшее невесомой, редкой бородой, сквозь которую видны были белые пуговицы рубахи. Опираясь на батог, Устин слушал стадо и время от времени, шмурыгая по траве сапогами, не торопя скотину, переходил на новое место.

Из тумана вынырнул Валерка, долговязый подпасок, переросший за лето Устина почти на целую голову.

— Во насунуло! Носа не видно.— Он потер красные озябшие руки.

— Дак ить ильин день проше-е-ел!— прокричал Устин с бодрой готовностью поговорить.— Самое теперь туманы пойдут.

Валерка достал блескучий портсигар, откинул перед Устином крышку с тремя выдавленными на ней богатырями. Тот долго копался, пытаясь подцепить корявыми дрожащими пальцами сигарету, но, так и не сумев вынуть ее из-под резинки, махнул рукой.

— Мне ить нель-зя! Врачи начисто запретили!

— И по лампадику нельзя?

— Не-е!— замотал бородой Устин.

— А то — есть!— Валерка, хитровато сощурился, хлопнул по дерматиновой сумке, висевшей через плечо.— Нынче ведь праздник. На деревне гулять будут.

— Какой такой?

— День механизатора.

— А-а... Ну-ну... Дак и верно: вчера по радио объявляли. Только мне теперь нельзя. Отпился.— Устин виновато засмеялся.— Все! Выбрал весь свой лимит. Врачиха сказала: дышать — дыши, а больше на этом свете ничего не положено. Во как!

— А я думал, все: отбросишь копыта.

— Да не-е пока... Выцарапался. Считаю весь желудок об-

резали, — засмеялся Устин. — Штаны не держатся. Хоть к пушке пристегивай!

Устин не говорил, а выкрикивал Валерке, будто глухому. Кричал, должно быть, оттого, что стоял туман, и эта крошечная, промозглая слепота сама по себе заставляла напрягать голос, а может, кричал и потому, что был он радостно возбужден первым своим выходом в луга. Пролежал он в больнице с самого апреля, увезли еще до травы, не чуял уже вернуться в свои Кулики, и теперь ему был весь белый свет внове. Он живо ощущал сквозь чуткие резиновые сапоги холодок мокрой травы, приятен был ему и грубоватый уют тяжелого брезентового дождевика с его застарелым синеватым запахом и даже радовался батогу, давнишней своей палке, захватанной руками до костяного блеска, которая все лето простояла в углу за печкой вместе с бабкиными ухватами и чашельниками.

— Это, говорит врачиха, все от сухой пици получилось! Надо, говорит, горячее потреблять! А иде оно горячее — поле да поле! — смеялся Устин. — Молодая, рази она понимает наше? Картох напекешь — то-то брюхо и погреешь!

Устин ласково глядел на Валерку, радуясь ему, тому, что Валерке можно выпить по случаю праздника.

— А и выдурился ты, гляжу! Ерой стал! Девоч, поди, щупаешь, когда в клубе кино пуцают, а?

Валерка покраснел оттопыренными ушами.

— Во флот попадешь, помяни мое слово, во флот!

Постояв, они продвинулись немного вслед за стадом. Завидневшаяся невдалеке черно-рябая корова, вытянув морду, задумчиво уставилась на Устина.

— Сорока, Сорока! — позвал он, узнавая корову.

Сорока потянулась к нему, обнюхала рукав дождевика, негромко мыкнула, обдав запахом утробного травяного варева.

— Ты гляди, а? — счастливо удивился Устин. — Не забыла!

Он привялся шарить по карманам, привычно отыскивая корку хлеба, но, не найдя, поерошил корове кудлатую челку, осыпанную водяной пылью.

— Стало быть, ходишь еще, а, Сорока? У, дуреха! А я вот, вишь, было отбегался... Что поделаешь... Ну ходи, ходи, глупая!

Валерка подхлестнул корову кнутом, та взбрыкнула и вмиг исчезла из виду, растаяла в тумане.

— Не балуй зря, — укорил Устин. — Не обижай...

Туман вдруг ожил, закружился, закипел румяно, и Устин понял, что взошло солнце. Подперев грудь палкой, он смотрел в легком стариковском забвении в ту сторону. Стадо тоже

почуяло солнце: коровы перестали щипать, тронулись брести все разом навстречу свету, ревя с протяжной лендой и оставляя на сером росном лугу сочные густо-зеленые полосы, и там, где только что паслись коровы, туман остро пах скотиной и парным молоком.

Наметанным ухом Устин вскоре определил, что стадо вышло к речке Ивице: послышался хруст осоки, чавканье воды под копытами. Забирая левее, чтобы стать во фланг, за последней коровой, они и сами вышли к реке, дымным провалом обозначившейся внизу, под берегом.

— Ой, кто-й-то?!

У воды, в парном куреве неясно мелькнуло нагое тело, затрещали лозняки.

— Ты, что ль, Татьяна?— догадался Устин.

— Напугалась-то как!— отозвался из кустов женский голос.— Думала, рыболовы.

— Куда бежишь? То ли на праздник?

— В Кулики. Говорят, артисты приедут.

— Дак пошто рано так-то?

— К девчатам забегу. Платье хочу укоротить. Дядь Устин... шел бы ты... Одеваться стану. Валерка, чего вызрелся, дурак...

— Нужна ты мне.— Валерка, волоча кнут, вразвалку ушел по берегу.

— Ты что ж, гляжу, плыла?— спросил Устин.— Мать-то чего не перевезла?

— С малым нянчится.

За невидимой Ивицей, за розовой клубящейся ватой тумана плакал ребенок. В его хныканье вплетался торопливый говорок Татьяниной матери Нюрки:

— Ну, миленький, ну, Павлуношка... Да что ж ты так? Или зубки режутся?

— Дак сама-то и переехала б,— сказал Устин.— Вода небось ледяная.

— А ну ее, лодку, крутиться с ней. Еще рыболовы угонят. Тут под берегом только и глыбка осталось. По коленки всю речку шла. Бр-рр!! Роса какая жгучая! Дядь Устин, иди уж...

— Иду, иду,— готовно заспешил Устин.

Он отошел на несколько шагов. Валерка чуть подальше лежал на боку, постукивал по сапогу кнутовищем.

Татьяна, прижимая к животу ком белья, выбралась из мокрых кустов и, маяча округлым телом, принялась одеваться. Устин глядел, как она, облитая процеженным заревым светом, отвернувшись, набрасывала на шею собранную хомутом

нижнюю рубаху, как затем торопливо обдергивала ее, липкую, неподатливую, по мокрой спине, и удивлялся тому, как быстро выросла Татьяна: давно ли бегала вот таким поганышем, а уж вон какая... Глядел, смиренно радуясь Татьяниной красоте, ее молодой, свежей, только что свершившейся зрелости. И, поглядывая на нее так, припоминал по ней свое молодое, далекое, что будто сон: вроде и было и не было...

— Муж-то как?— спросил он, вспомнив, что у этой девочки есть уже муж.— Пишет чего?

— Ой, да ну его! И думать не хочу. Как укатил на целину, так и концы в воду. Ни одного письма.

— Напишет еще. Оглядится — и напишет.

— Больно нужен. Небось другую уже завел... А ты, дядь Устин, значит, опять вышел?

— Да похожу, погоняю еще маленько, пока ноги носят.

— Шел бы ты уж на пенсию. После такой-то операции.

— Дома хуже, — засмеялся Устин. — А тут воля. Вроде как и опять жилец.

Татьяна оделась, повязала косынку и заспешила босая, разбрызгивая траву, будто зеленую воду. Опершись на батог, Устин смотрел на ее строгий прямой след в мокрой траве.

«Вот уж и выросла» — думал он про Татьяну.

За речкой бабахнуло. Устин встрепенулся от своих дум, прислушался. Палпли, должно быть, под лесом. Дуплет раскатился протяжно, и Устин определил, как выстрел ударился о невидимый сейчас заречный сажженный сосняк, загремел по нему гулким и бодрым эхом.

— В заказнике, не иначе, — кивнул Валерка, подходя к Устину.

— Скажи ж ты... Вот ведь и запрещено, а балуют.

Вскоре с шелковистым посвистом с той стороны на эту пронеслись утки. Оба задрали головы, сляясь разглядеть выводок за туманом.

— Чирята! — признал Устин, провожая уток по слуху долгим и жадным взглядом. Ему было радостно, что где-то еще водятся утки. И вообще было хорошо видеть, слышать и узнавать в лугах все прежнее, знакомое, что связывало его с этой землей, с этим миром.

Притомившись, Устин нагреб сухой, кем-то накошенной осоки, сгромоздил ворошок под ракитовым кустом, кряхтя привалился боком.

— Полежать, что ль... К земле, брат, гнет. Бяда-а!

Валерка выложил на осоку краюху ржаного хлеба, ломоть

сала, крупные налитые помидоры, головку молодого чесноку и соль в спичечном коробке. Потом деловито достал из полевой сумки зеленую четвертинку, зубами вырвал бумажную затычку, на всякий случай, больше из вежливости, протянул посудинку Устину. Тот, засмеявшись, потряс головой.

— Мне твоей еды-питья не положено,— сказал Устин, вынимая из своей холщовой сумочки бутылку молока и городскую баранку, обсыпанную маком.

Валерка крупно глотнул из горлышка, сморщился и поспешно разломил помидор, заблестевший сахаристым ииеем на изломе.

Река все еще курилась туманом, но уже просветлевшим и редким, и на середине Ивицы обозначился остров. За лето, пока Устин лежал в больнице, остров еще больше зарос лозой, и от его нижнего конца далеко по течению высунулся узкий песчаный язык, разделивший Ивицу на два рукава.

— Вон как прет,— кивнул Устин.— Дурнина пустопорожня. А ить глубина была, когда мельница стояла. Вожжами не промеряешь. Ты не захватил, не знаешь.

— Сван-то помню,— сказал Валерка.— Тракторами таскали.

— Тут ить прежде ивы росли. Во какие, не в обхват. По обоим берегах. Лес! Это ж на середине речки только небо и увидишь. Половодье-то схлынет, крыги унесет,— вспоминал Устин, поглядывая на речку,— дак скворухов слеталось видимо-невидимо. Все деревья, бывало, осыпят. Свиристят, гомонят в затишке... А то цвель начнут, пушиться серьгами. Ивы-то. Аж по лугам дух сладкий. Пчела как полетит, как повалит! Гудит все пчелою. Потому и речку нашу Ивицей назвали.

Устин стал рассказывать, как любил ездить сюда с отцом по новине. Увидел себя мальчишкой, отца, старую свою хату, двор, амбар, вкусно пропахший зерном, сбруей, старыми полушубками. Вспомнил, как батя еще с вечера подкатывал к амбару полук, отвинчивал гайки на осях, стаскивал колеса, мазал ступицы дегтем. Как потом начинал грузить мешки с житом, укрывая их рядом, клал в передок полушубок, еду, торбу с овсом... А перед тем неделя молотьбы. На огородах за половнем начисто разметали ток, выкладывали снопы, голова к голове, колосья на колосья и — пошел, пошел цепами.

— Туки-туки, туки-туки...— Устин замахал батогом, изображая молотьбу.— Ты ить и не знаешь такого, а?

— Да слыхал...

— А-а, слыхал!— по-детски восторжествовал Устин.— А я

меньше тебя был, годиков десяти, а уже имел свой цепок. Батя сделал. Вроде как для забавы, а сам меж тем уже и к работе приучал. Давай, давай, Узька, бывало, подбодряет. Да по соломе-то не лупи. Не порть солому. По колосьям меться.

— Тоже, значит, техника была,— усмехнулся Валерка, поддевая складничком соль из спичечного коробка.

— Да ить какая техника: держак да дубовая бита на ременных завертях. Вот тебе и весь сказ. За день так-то умолотишься, что и домой не дойдешь, а тут прямо в солому и ткнешься... Ни рук, ни ног. Ну, а на мельницу поедешь, там-то уж воля-вольная. Это ж теперь кино да телевизоры. А тади слаще, как на мельницу съездить, и развлечения не было. Так с раки в воду насыгаешься, аж в ушах звон. А то лошадей пораспрягаем, да всей гурьбой на них в Ивицу. Кто за гриву ухватится, кто за хвост. Шум, плеск, кони храпят, гуркают утробой от удовольствия, а уж нам, ребятишкам, и во все... Да...

Валерка допил, зашвырнул пустую четвертинку в протоку и, ковыряя в зубах травинкой, спросил с сытой ленцой:

— А мельница куда ж делась?

— Да ить как же... Всему свой конец приходит. Машина в Куликах объявилась. Машиною молотъ начали.

— Дизель, что ли?

— Не-е!— засмеялся Устин.— Тади таких еще не знали. А и тоже сила была. Чего хошь сыпь — все перетрет. Так это, бывало, пыхтит, пары пущает. И зимой и летом.

В Куликах неожиданно заиграла музыка, стало даже видно, как сквозь туманную дымку, должно быть, возле клуба, зеркально взблеснула медная труба. Валерка приподнялся на локте, поглядел, прислушиваясь, на деревню.

Устин начал было еще о чем-то рассказывать, но Валерка все поглядывал на деревню, все вострил в ту сторону уши, по всему было видно, что ему теперь не больно-то интересно слушать словоохотливого старика, и Устин, сдержанно поехкав в кулак, замолчал.

— Сегодня гульнут!— с тайной завистью сказал Валерка.

— А што ж,— одобрил Устин.— Зябь попахали, дело теперь законное. Да ты шел бы тоже. Я и один попасу.

Валерка оживился:

— Сходить нешто...

— Иди, иди, соколик. Дело молодое. Чего томиться.

Валерка не заставил себя упрашивать, поддернул голяшки сапог и, не убрав закуску, широко зашагал лугом.

— Иди, милай,— радостно напутствовал его Устин.— Теперь твое время.

Коровы, привлеченные водой, все еще лазили по берегу, добывали себе из ила узловатые корни рогоза, громко хрумакали кочерыжками. Растревожженный рогоз источал душный аптечный запах. Устин лежал на животе, глядел на Валеркину угловатую фигуру, пересекавшую седой дымящийся луг, на то, как солнце уже одолевало туман над высоким убережьем, по которому длинной вереницей ракут обозначились Кулики. Солнечные лучи подожгли пожаром высокие окна в новом клубе, кумачово полыхали флаги, вывешенные на белых колоннах. Потом высветились краснокирпичные ряды гаражей и мастерских, длинные бруски коровников, бело-серебристая водонапорная башня, похожая на гранату, поставленную торчмя.

— Эко наворочали!— дивился Устин.— Вот как взяли. Чисто город!

Возле клуба снова заиграла музыка, на этот раз звучали неторопливые «Сопки Маньчжурии». Устин улавливал знакомый старинный вальс и одновременно слышал, как в заречье Нюрка громыхла пустым корытом, хлопала сенешной дверью.

— Сейчас мы с Павлушей стирать будем.— Нюркин голос явственно долетал в чуткой утренней тишине.— Рубашечку Павлуньке постираем. Чистенькое наденем. Мамка воротится домой и не узнает нашего Павла. И чей же это, спросит, такой умница?

Тя-та-та...
Хо-та-та...
Во-та-та...
Круг-та-та,—

задумчиво вздыхала в Куликах басовая труба.

...— Да неужто, скажет мамка, это наш Павлунька такой чистенький да умытенький?— приговаривала по другую сторону Ивицы Нюрка.

И какая-то высокая, голосистая дудка совсем по-человечески выводила:

Ветер листья не колы-ше-ет...

Музыка сладко щемила, скребла и царапала какую-то еще не усохшую струнку в Устиновой душе. Он даже зажмурился, весь уйдя в слух, в радостно-тихое восприятие звуков. Мысли его все время почему-то углублялись в прожитое, и Нюркин баюкающий говорок, процеженный туманом, такой молодой

и чистый, вплетаясь в плавные переливы оркестра, напомнил Устину те далекие его годы, как он, уже парнем, ездил молотить на Ивицу, как выпрашивал у матери поновее рубаху, намусливал лампадным маслом непослушные вихры, а перед тем бежал в винополку купить в дорогу шкалик. К тому времени мельница отошла Куликовской коммуне и заправлял ею Ивашка Бобров, Нюркин отец, бородатый плечистый мужик на деревянной ноге, которую он привез с собой после австрийского плена. Мельницу он отдал в коммуну добровольно, и его поставили заведовать общественным помолом.

— Это ж как соберутся бабы-мужики по новине, как съедутся!— вспоминал Устин, поглядывая на реку, туда, где горбился остров.— Мать честная! Что тебе ярманка! Вozy скрипят, лошади ржут. Конь чужого коня, из другой деревни, увидит и то интересуется. А уж человеку и вовсе занято: кто да што, да откуда. Ночью под деревьями костры палат, лясы да байки точат, ожидаючи-то своего череда. Девки дак и петь возьмутся. А вода знай себе шумит на плотине. Денно и ночью. Бьет, пластается вода в щелки, в ставни-то... И жернова: жур-жур, жур-жур... Жуют жито. Теплой мукой пахнет. Уж так все припорошится пылкой: мужики бегают — брови, картузы белые.

Помнил Устин и ту прежнюю Нюрку, тогда еще молодую девку, как угощала она помольцев горячими ситнухами с общей муки, которые сама ночью же и пекла. Как приносила она эти хлебцы в решете, прикрытом полотенцем, под самые ивы, к костру, где коротали ночь мужики. Босоногая, румяная, только что от жаркой печи, пропахшая свежим хлебным тестом, кивком головы поправляя темную крученую косу, Нюрка обходила всех, приговаривая: «Ешьте, ешьте, люди добрые, с новиной вас». К решету тянулись темные корявые руки мужиков, разбирали хлебы, натирали горячие краюхи чесноком и салом. «Берите, берите,— предлагала Нюрка,— я еще напеку». Тянулся к хлебу и Устин, краснел и не глядел на Нюрку. И был он готов уступить свою очередь, молотить самым последним, чтобы еще вот так позоревать у костра, дожидаться, весь обомлев, этого Нюркиного ночного прихода.

Все хотел он с ней как-нибудь заговорить, да так и не решился, так молча и ушел в Красную Армию на действительную службу.

Когда же воротился домой, Нюрка была уже засватана. Прибился к ней Степка Грач с Ивицких хуторов, черномазый скуластый малый с вертлявыми глазами. Был он годов на

пять постарше Устина, держался бойко и самоуверенно. К тому времени старый мельник, Нюркин отец, уже помер, и всем делом на мельнице заправлял этот самый Степка.

Помнится, как пробрался Устин на плотину, как лежал в чужой телеге, таился, ждал, не выйдет ли Нюрка по прежнему своему обычаю... И верно, вышла и опять обносила всех ситнухами, а у самой под фартуком вроде тоже ситнух запрятан. И так тогда сделалось Устину безвыходно, так нехорошо было глядеть на ее беременный живот. Кинулся бежать, не помня себя, ломился сквозь какие-то кусты, в клочья изодрал гимнастерку, жакнулся по грудь в торфяную зыбь, потом всю ночь пролежал в сырой траве, в темени, то стеная, то загораясь жгучей слепой мезью. Недели две после того пил запойно, а потом и сам женился с отчаяния, чтобы враз все отрубить. Взял незнакомую, чужую, из дальнего села.

«А и было тоже,— подумал как не о себе Устин без сожаления и обиды.— Куда что девалось. Ушло время».

Года через два в Кулики привезли ту самую машину. Волокли ее со станции на восьми волах, разукрасили портретами, березовыми ветками с красными бантами. Пока везли по деревне, возле машины бегал, волчком вертелся подвыпивший Степка Грач, махал руками, указывал, по какой дороге везти, где меньше колдобин, подсовывал под чугунные колеса снопы соломы. Старый мельничный сруб разобрали, свезли на деревню, сделали из него сарай над машиной. И опять Степка командовал: сам метил цифрами бревна, сам снимал жернова, выдираал скобы и петли. Его и поставили потом заведовать новой мельницей. Предлагали ему заодно перевезти в деревню и хату, но он отмахнулся, дескать, сейчас не время, главное, чтобы машину пустить. Поначалу Степка бегал к машине из заречья, потом все чаще стал оставаться ночевать, а когда прирубил себе сбоку комору, то и вовсе неделями не ходил домой. Завелись у него дружки-приятели, рассказывают, будто шастала в эту комору одна хуторская разбитная бабенка. Однако все кончилось тем, что как-то раз сильно хмельного Степку затащило ремнями и задавило приводным колесом.

Вместо Степки назначили какого-то заезжего мастерового, и все пошло своим чередом. Меж тем старую плотину размыло и унесло половодьем, и Нюрка с дитем осталась в лугах одна. Но об ней особой речи не шло, а только вспомнили, что на той стороне осталось десятин двенадцать артельной пахотной земли. Думали, думали, как поступить с той пашней: засеять ее было теперь несподручно, поскольку туда не стало переправы, и порешили передать этот неудобный клин в до-

говорное пользование какой-то городской артели. А заодно передали тоже вроде как в аренду и саму Нюрку, потому как она оказалась ни то ни се...

Как-то раз, еще в те годы, возвращался Устин с Ивницких хуторов вьюжной ночью. Ехал зимним путем по остановившейся реке, и конь сам повернул к Нюркиному подворью. Видел, что свернул с дороги конь, потянул было за вожжи, но потянул как-то робко. Все в нем пыхнуло горячим содомом, и он не стал воротить коня, а вдруг, ополоумев, огрел кнутом и погнал напрямки целиной. По глубокому снегу пробрался к темному окошку. Долго стоял, осыпаясь с крыши бегучей снежной заметью: постучать или не постучать. И постучал... Нюрка долго не отпирала, выглядывая в протертую круговину окна, наконец узнала, вышла в сени, что-то испуганно заговорила ему, придерживая щеколду, но он, ничего не слыша, не помня себя, рванул дверь и, как был в завьюженном тулупе, с мокрым лицом, сграбастал полураздетую отбивавшуюся Нюрку, шагнул с нею в сени... И тут же, неся ее кулем, сразу весь обмякнув и похолодев, почувствовал сквозь замашную нижнюю рубаху жесткий вспученный ее живот... Остывая, он бережно опустил ее на ноги, Нюрка отвернулась, закрыла лицо ладонями...

— Как бы не помял тебя сдуру,— сказал он, смутившись.

— Чего уж мять...— глухо отозвалась Нюрка.— Мятая. А ты иди, Узя, ступай себе... Не хочу я теперь ничего...

Устин постоял, покомкал мокрую шапку.

— В Кулики, что ли, переежала бы... На люди.

— И в Кулики твои не хочу... Иди, иди...

Раза два после того встречался Устин с Нюркой, опять уговаривал переезжать на деревню. Нюрка не глядела на Устина, молчала. Да так и осталась по ту сторону, вот уже скоро сорок годов. Менялись всякие арендаторы, переходила из рук в руки и Нюрка со своей хатой.

— Ну ладно, перекусили маленько,— сказал сам себе Устин, вставая. Он спустился к реке и принялся полоскать свою бутылочку.

Река тем временем просветлела, открылась на всю ширину, заиграла под солнцем, и на той стороне выбелилась одинокая Нюркина хата. Стали видны ступени, прорытые в глинистом обрыве, сбегавшие к мостикам, у которых дремала большая, как называют в Куликах — сенная лодка. В двух правых оконцах пламенели какие-то цветы: там обитала Нюрка с Татьяной. В крайнем левом, загораживая выбитую шибку, стояли конторские счеты. В этой половине в разные времена

размещались всякие огородные конторы. Теперь там обосновалось подсобное хозяйство глухонемых. Со стороны казенной половинны на забурьяненном разгороженном дворе громоздились штабеля тарных ящиков, стояли плуги и телеги, краснел тракторок на дутых колесах. Ближе к берегу торчала на столбах фанерная Доска почета, обращенная фасадом к Ивице, а рядом с ней — физкультурный турник, на котором иногда баловались возчики. Контора от самого мая пустовала, подховская картошка и капуста еще не поспели, глухонемых на уборку пригонять было еще рано, так что, кроме завхоза, здесь никто не появлялся за все лето.

В дверях хаты показалась баба в солдатской гимнастерке навывпуск. Это была сама Нюрка. Она вынесла из сеней деревянную зыбку, привязала постромки к перекладине турника, потом опять сходила в хату, принесла всхлипывающего в голубенькой рубашке ребенка, уложила в зыбку.

— Уж я тебя на солнушке покачаю, вот как хорошо-то на солнушке,— певуче выкрикивала Нюрка.— Слышь, вон музыка в Кулках грает!

Ребенок устало квохтал, было видно, как он задирает ножки, хватал их руками.

— А вот на-ка тебе цацу! На-ка огурчик! Поточи, поточи зубки. Ишь они, зубки, не дают спать нашему Павлуньке... Болят, болят, окаянные...

Присев на колоду, Нюрка закатала рукава, принялась тискать белье в корыте.

— Точи, точи огурчик,— выкрикивала она, болтая седыми космами в такт движениям сухих оголенных рук.— А я тебя побаюкаю.

И, горбясь над корытом, начала тягуче и высоко:

Голова ж моя, головушка-а-а,
Голова ж моя бурлацкая-я-я,
Забурлачила ты меня, молодца,
Эх, да на чужой дальной стороне-е-е...

— Кхи, кхи...— квохтал в зыбке малец.

Нюрка высвободила из мыльной пены руку, обтерла о подол гимнастерки, поймала конец кушака, который волочился по земле вслед за люлькой, принялась раскачивать и снова припевать:

Сторона ж моя, сторонушка-а-а,
Сторона ж моя, незнакомая-я-я,
Ох, да незнакомая, незнакомая,
Ой, да ни дорожки к тебе, ни тро-по-чки-и-и...

Голос ее чисто и ясно перелетал тихую утреннюю Ивицу.

Завела ж меня хмелинушка-а-а,
Ох, да хмелинушка, вороний ко-о-онь.

Мальчонка, ненадолго присмирив, начал снова однотонно, басовито реветь.

— Да дай же мне достирать!— подскочила Нюрка, и голос ее загремел грубо и зло, будто и не она только что так сладко и душевно напевала.— Понапачкал и не дает сполоснуть.

— А-а-а-а...— трубил малец.

— Вот вражье семя, ирод полосатый, угомону на тебя нетути, прости ты мою душу грешную.

Нюрка торопливо принялась выкручивать белье, перекалывая отжатое себе на плечо.

Близко, где-то за мельничным островом, опять шарахнул выстрел. Сонная поверхность Ивицы взметнулась мальками, будто в воду сыпанули гороху.

— Слышал? Будешь нюниться?— кричала Нюрка.— Вот придет Мамай с ружьем, заберет тебя в сумку.

Павлушка приумолк.

— Вон, вон Мамай идет!— продолжала устрашать Нюрка, развешивая белье на гребне Доски почета.— Иди, иди скорей, Мамай, заведи Пашку-поганца.

И верно, той стороной, берегом, отражаясь в воде, шел охотник. Брел он неспешно, устало, ружье висело поперек груди, отвернутые голяшки болотных сапог толсто свисали под коленками.

— Батура идет.— Устин узнал в грузной, облаченной в кожаную куртку фигуре Нюркиного завхоза. На его поясе болталась убитая утка. Было видно, как при каждом шаге охотника птица взмелькивала светлым брюшком.

— Здорово, бабка!— еще издали гаркнул Батура сиплым басом.— Жива?

Он заглянул в зыбку, отчего Павлушка сразу же заревел. «Ну-ну!» — прицкнул на него Батура и пальцами показал козу. Нюрка принялась трясти люльку, а завхоз, пройдя к хате, приставил к стене ружье, расстегнул патронташ и вместе с уткой повесил его под застрехой. Освободившись от пояса, Батура помахал лапами куртки на округлый живот. Нюрка шмыгнула в сени, вынесла большую медную кружку. Батура долго пил, широко расставив сапоги, потом снял кепку, нагнулся и, шумно отфыркиваясь, вылил остальное себе на шею.

— От добре!— довольно крикнул завхоз и прошелся по двору, разглядывая хозяйство.

— А это что ты тут повешала?— строго крикнул он, остановившись перед Доской почета.— А ну, сними, сними...

«А и верно, нехорошо это,— подумал Устин.— Не для того предназначено».

Сколько он помнит, вечно на виду у всех Куликов в Нюркином дворе болтались пеленки да рубашонки. Однако детишки почему-то не выживали. Может быть, оттого, что лечили их всякие захожие бабки. Уцелела только Татьяна. Родила она ее после войны, будучи сама уже в летах. В то шумное, безалаберное послевоенное время по воскресеньям наезжали в заречье городские артельщики из Коопторга, целый день лазили по Ивице с бреднем, а вечером на берегу палили костры, варили уху, горланили песни. Какие они собирали со своего огорода урожай, Устин уже не помнит, зато после них Нюрка снова была с прибылью: родила эту самую Татьянку. Девочка росла почти на Устиновых глазах: училась она в Куликовской школе, нередко оставалась у него ночевать, а по весне, когда Нюркину хату отрезало недели на две, на три половодьем, жила у них до сухого. Девчужка она была тихая, привязчивая, лицом живо походила на Нюрку, особенно глазами, и Устин, у которого так и не народилось детишек, встречал ее, как свою, одаривал то конфетами, то яблоками. А иногда, таясь от жены, покупал в сельповской лавке чулки, а то и ботинки и, дожидаясь со стадом в лугах, когда Татьянка побежит в школу, заставлял ее тут же на траве переобуться в обновку...

Теперь вот пришел Нюрке черед развешивать внуковы рубашонки...

Пока Нюрка перевешивала белье с Доски почета на борта телеги, завхоз оглядывал заросший бурьяном инвентарь, сунулся было в распахнутый сарайчик, где обитал подхозовский мерин, но оттуда через Батурину голову вылетела белая курица. Батура запустил в нее кепкой, попал на лету, курица, роня перья, взвилась аж на самую хату и долго орала там, вышагивая взад-вперед по самому гребню, перепуганно вытягивая шею и не решаясь слететь. Батура подобрал кепку, пошел в огороды. Постоял, поглядел на капустные грядки, воротился обратно, на ходу застегивая ширинку.

— Дочь дома?— спросил он, засматривая в окна.

— Нету,— отозвалась Нюрка.

— А может, дома?

— В Кулики пошла.

— Чего она у тебя такая... неразговорчивая?— Батура по-

щелкал косточками счетов, вставленных вместо разбитой шибки.

На деревне снова заиграл оркестр, завхоз приставил ладонь к козырьку, долго прислушивался, глядел в сторону клуба.

— Чего там у них?— поинтересовался он.

— Праздник какой-то...

— Гм...

Батура сдвинул кепку на лоб, почесал затылок, постоял над рекой, должно быть, силясь разглядеть, что происходит в Куликах, потом подошел к зыбке, принялся что-то бубнить Нюрке. Та мотала головой, разводила руками, но Батура все терся около, клал руку на Нюркино плечо и даже хватался за кушак, которым она раскачивала люльку.

— Давай, уважь...— доносилось до Устина.

Нюрка отдала-таки кушак, сбегала в хату и вернулась оттуда повязанная белой косынкой.

— Давай, не бойся... Я с ним тут побалакаю.

Она сдернула с крыши сарая весло и спустилась к лодке. Павлушка, должно быть, почувствовав, что Нюрка куда-то уходит, завопил, заколотил ногами.

— Ух ты! Ух ты!— Батура тряхнул зыбку.— Горластый-то какой! Когда штаны носить будем? Поори мне! Живо оторву воробья, закину кошке.

Нюрка долго возилась с лодочным замком, наконец, отомкнула, загремела цепью и отчалила.

— А вон, гляди, курица на крыше орет,— заговаривал Батура Павлушку.— Дура пустоголовая. Давай-ка мы ее из ружья трахнем.

Нюрка торопливо гребла, скоргыкала веслом по борту и все оглядывалась на кручу.

«Кудай-то она,— запереживал Устин, наблюдая из-под куста.— Мальчонку бросила. Не видит Татьяна...»

Ближе к середине тяжелую плоскодонку подхватило течением, начало разворачивать. Нюрка суетливо совалась веслом то справа, то слева, но лодка не слушалась, с разгону ткнулась днищем в песок и остановилась.

— Чего там такое?— крикнул с обрыва Батура.

— Да мелко тут...— отозвалась Нюрка.— Совсем воды не стало...

Плоскодонка прочно села на тот самый песчаный язык, что уже под водой тянулся от острова. Нюрка уперлась в дно веслом, попробовала сдвинуться, но лодка не поддавалась.

— Надо было тебе объехать,— подсадовал Батура, раскачивая зыбку.— Живешь, а речки своей не знаешь.

— Да ить побыстрей хотела...

— Ты вылазь теперь, вылазь! Чего сидеть? Подтолкни ее. Нюрка подобрала подол, послушно полезла за борт.

— На меня давай вороти! Куда ж ты ее дальше-то задвигаешь? Экая бестолковая! Да цыть ты!— прикрикнул он на Павлушку.— Чего разорался? Цела твоя бабка.

Нюрка обошла лодку, ухватилась за цепь. Подол юбки выскочил из-за пояса, но она больше не подтыкала его, а, мокрая, растрепанная, с повисшим на шее платком, тянула за цепь изо всех сил, увязая в быстро таявшем под ногами песке.

— Покачай ее, покачай! Чего без толку тянешь?— сердился Батура, не переставая дергать кушак. За его спиной под турником размашисто мелькала зыбка. Павлушка, обессилев от крика, захлебывался и сипел. Плач мальчишки еще больше сердил Батуру, и он, топчась возле люльки, нетерпеливо кричал, ударяя пятерней по бедру:

— Наваливайся на нос, подпрыгивай! Подпрыгивай, говори... Раскачивай, чтоб вода под днище-то подпирала.

Нюрка попробовала исполнить то, что кричал ей Батура.

— Да не так! Не так, черт ты дери! Ты давай животом на нос дави, а потом отпуская. Поняла?

— Да уж я надавливаю...

— Ну давай по команде: раз-два, взяли! Еще раз — взяли!

— Поди сам да попрыгай,— озял Устин и первый раз за весь день лапнул себя по карману, машинально отыскивая кисет.

— ...Ну еще разок: взя-ли...

— Эть как настырничает! Эть командует! Чистый урядник.— Устин, сердито поглядывая на Батуру, начал стаскивать сапоги.— Совсем заездили бабу.

Он сбросил дождевик, ватник, торопливыми дрожащими пальцами расстегнул на штанах ремень.

— Погоди, си-час!— крикнул он Нюрке, выходя из-за куста в одних подштанниках.— Не тужись без толку.

Его заметили.

— Во-во! Помогай, папаша!— обрадовался Батура.— Давай, подпихни, а то бабка одна не сладит.

Устин попробовал ногой воду. Он не купался в речке несколько лет, и даже мелькнуло сомнение, не разучился ли плавать.

— Да ты не бойся!— подбодрил его Батура.— Тут раку по это самое место...

— Не учи, едрена Матрена...— буркнул Устин.

Батурины слова насчет «не бойся» еще больше озлили Устива. Придерживаясь за ветки ивняка, он ступил одной ногой с берега, сразу ошугнулся до пояса, зашелся с непривычки от студено охватившей его глубины и постоял так, обвыкая и перебарывая сердцебиение. Потом, глотнув воздуха, решительно окунулся и поплыл незабытыми саженками. За его головой с прилипшими к черепу седыми волосами пусто пузырились кальсоны.

— Давай, давай, папаша!

Плыть до мелкого было недалеко, каких-то метров двадцать, но Устин быстро запыхался и, немного не дотянув, попробовал стать на ноги. Однако бегучий песок ускользал из-под пяток, быстрое течение воротило напрочь. Устин чуть было не опрокинулся, но вовремя успел уцепиться за долги, пластавшиеся на струе космы водорослей. Задирая бороду, чтобы не захлебнуться, он по-рыбьи хватал воздух, в глазах зарябило от радужной мути.

«Оплошал,— с досадой подумал о себе Устин.— Совсем никуда»...

Он отдышался маленько, снова поплыл и, когда толкнулся коленками о дно, встал и пошел, пьяно шатаясь, животом обрывая травяные пути и волоча за собой мокрые хвосты водорослей.

— Куда ж ты такой,— оторопело выговорила Нюрка.— Из больницы толечко, из-под ножа...

— Куда... куда...— огрызнулся Устин.— Ты-то куда...

Он сердито отобрал у Нюрки весло, подважил им под носовой брус. Песок зашипел под днищем. Упрямо сопя, синяя проступившими ребрами, Устин поддевал и поддевал веслом, орудую, как ломом, лодка мало-помалу начала подаваться.

— Лезь, отяжеляй тот конец...— велел он Нюрке.

На вольной воде лодку подхватило течением, понесло, Устин проворно вскочил коленками на носовое сиденье и, загребая выставленной ногой, направил лодку к Нюркиному берегу.

— Эй, дед!— замахал с обрыва Батура.— Куда правишь? Слышь!

Устин не отвечал.

— На ту сторону давай!— шумел Батура.— Глухой, что ли?

— Уважь ты ему Христа ради...— попросила Нюрка.— Перевези уж...

— Какое такое спешное дело? Небось за водкой послал?

— Дак ведь пристал: дай выпить и дай... Я ему: нетути у меня, не гоню больше. А он: на деревню, говорит, сбегай. Там, дескать, гуляют нынче, у всех есть.

— На нет — и суда нет,— отрезал Устин.

— Когда сама гнала, дак и было. А позапрошлым летом милиция из району налетела... Для них, для конторских, и гнала, заставляли. Иной раз сами сахару привезут, дрожжей. Давай, дескать, займись... Им гулянья, а мне условный год присудили. Тсперь вот зареклась больше...

— Зарок дала, а сама бежишь. От дите-то хворого. Совсем ум отжила.

— Дак ить просит человек... И отказать нельзя: вся зависимая. Уж перевез бы ты меня от греха... Я ведь все собираюсь с ним насчет алиментов обговорить.

— Какие тебе алименты?— плюнул за борт Устин.— Дочь уже сама мать. Надо было тогда и спрашивать, по горячему следу.

— Люди сказывают, положено мне... За выслугу-то годов.

— Дак то пенсию положено!

— А не знаю я, как это зовется по-конторскому-то. Пенсию, дак и пенсию... Годки-то мои совсем повышли, ноги теперь не носят... Что ж я... И так всю-то жисть бесплатно. Ни копеечки ломаной...

— Тебе рази зарплату не дают?

— Дак чего там... Одной натурою... Овощем всяким.

— Этакая ты, однако, дура!— досадовал Устин на Нюркину бестолковость.— Чего же не договаривалась?

— Дак чего... Живу и живу. Приедет новый начальник хозяйство принимать, спросит: кто такая? Сторожиха, говорю, здешняя. Ну ладно, скажет, сторожи... Вот тебе и весь договор... Просила Таньку написать бумагу, чтоб, стало быть, хлопотать. А она: это ж, говорит, письменное подтверждение надо, что я здесь работала, справки за все года. А какое подтверждение, ежели и так все знают, как я тут день и ночь верчусь... Уж перевез бы ты меня, принесла бы ему поллитру, дело таковское, не слиняю... Он человек новый, может, и пособил бы...

— Такое дело за поллитру не правят. Прокурору сразу и пиши. Чтоб по закону.

— Ох ты, грехи мои тяжкие...

Батура еще что-то выкрикивал, но Устин, мелькая сухими локтями, борясь с течением, упрямо продвигал лодку к Нюркиному берегу и, когда лодка, наконец, ткнулась в мостки, велел Нюрке вылазить.

— А ну иди сюда, дед!— нетерпеливо потребовал Батура.

— Иду, иду...

Устин, не мешкая, полез наверх вслед за Нюркой. И пока он карабкался по крутым ступеням, помогая себе веслом, Батура попирал берег широко расставленными резиновыми ботфортами, возвышаясь над Ивицей во всей своей начальственной строгости. Нюрка смиренно прошла мимо него, забрала из люльки Павлушку.

— Ты чего ж это, а?— Батура обдал Устина козлиным духом распаренной кожанки.

— Дак а чего?

— Старый, а такой неуважительный. Сказано, на ту сторону надо.

Устин впервые видел перед собой незнакомо-замкнутое, с набегавшими на кожаный ворот багровыми бурдами лицо заречного завхоза, однако не дал себе ступеваться и, сам побагровев от отчаянной смелости, выпалил:

— А мне, мил человек, твой сказ не указ!— и для собственной твердости прибавил:— Понял?

— Да ты кто таков?— Батура смерил Устина с ног до головы.

Вид у Устина, и верно, был не весьма авторитетный, это он и сам за собой чувствовал: мокрая борода свисала обсоханной косицей, непросохшие подштанники облепляли тонкие голенастые ноги. Но Устин от сознания этого своего несоответствующего вида еще больше взъерошился и мокрым бесом подскочил к Батуре.

— Кто? Ты думаешь, ежели я с кнутом, дак уже и никто? А ну, Нюрка, давай бумагу, буду протокол составлять.

— Какой еще протокол?— с Батуриного лица сошла административная жесткость и проглянуло удивление.

— А вот узнаешь, как пропишу,— напирал Устин и, понимая ответственность момента, а также и то, что на плеть надо переть с обухом, решительно соврал, пристукнув веслом о землю, будто державным посохом:— Я, может, есть депутат райсовета, понял? И имею полномочия разговаривать со всякими.

— Ох ты, господи!— вздохнула Нюрка.

— Иди, иди, дед, отсюда, — захохотал Батура.— Хлебнул, что ли?

— А ты, гражданин, не смейся!— На Устиновом впалом животе малиновел рубец со следами недавних больничных ниток. Он поддернул подштанники и опять затребовал:— Давай, давай, Нюрка, бумагу. Писать буду, как этот гражданин

принуждал к незаконности, самогон вымогал. А ты, гражданка, будь свидетель.

— Но, но!— Батура перестал смеяться.— Ты эти штучки, дед, брось. Не городи чепуху. Какой такой самогон?

— А ну, гражданка, подтверди,— потребовал Устин.— Дай показания.

— Я ее на почту с телеграммой посылал. Чтоб рабочих на уборку давали. Скажи ему...— Батура обернулся к Нюрке:— Скажи, куда я тебя посылал?

— Устин Ваньч, не надо...— испуганно проговорила Нюрка.

— А ты помалкивай, ежели дура,— огрызнулся на нее Устин.— Я вот сейчас участкового кликну. Пусть ему ответит, по какому такому полному праву в запретном месте дичь стрелил. Вон она улика висит убитая.— Устин ткнул пальцем в сторону застрехи.— Пусть участковый самолично спросит у этого гражданина письменное дозволение. Он думает, ежели на этом берегу, дак и сладу с ним нету? Это тебе не крепостное право, беззакония творить.

При упоминании об утке Батура окончательно смутился.

— Да ну вас всех к черту!— сплюнул он.— С дураками свяжешься — сам дураком будешь. Иди, дед, проспись...

Батура прошел к хате, снял с гвоздя патронташ, принялся подпоясываться. Лицом он был хмур и строг, будто говорил тем самым, что больше не позволит шутить с собой дурацкие шутки.

— На той неделе капусту возить начнем,— крикнул он Нюрке хозяйственным тоном.— Ты тут тово, готовься... Контору хоть прибери.

Завхоз перекинул через плечо ружье и направился к огородам. Нюрка с Павлушкой на руках угодливым бежком поспешила ему вслед.

— Сделаю, Захар Степаныч... Все сделаю...

— Да шмутье свое, смотри, не развешивай. Развела срамоту. И чтоб всякие посторонние,— он кивнул в сторону Устина,— не шлялись по территории. А то, поди, всю капусту растащили, депутаты эти...

— Все цело, как есть...

— Да ты хоть глядишь-то?

— Гляжу, Захар Степаныч, как не глядеть?..

— Наверно, и носу не кажешь.

— Третьего дня ребятишки озоровали, дак шумнула...

А так бог миловал...

— Миловал! Смотри у меня.

Он поправил на плече ружье и не спеша пошел, на ходу

оглядывая инвентарь и постройки, делая вид, что вовсе ничего не боится и уходит только потому, что нет времени разглагольствовать со всякими встречными.

— Всего хорошего, Захар Степаныч,— закачалась вместе с Павлушкой в поклоне Нюрка.— Уж вы не беспокойтесь.

Устин отошел к берегу, сел, свесил ноги с обрыва и, все еще не остыв от горячего разговора, глядел в куликовские луга. Солнце уже хорошо припекало, стадо, насытившись, мирно полегло.

С Павлушкой на руках робко подседа Нюрка. Она долго разглядывала Устину, косясь на его немощную худобу, и в ее опутанных морщинами глазах светилась грустная материнская озабоченность. Многие годы она не видела его вот так близко и теперь почти совсем не узнавала.

— Ты обратно-то на лодке езжай,— сказала Нюрка.— Не плыви больше... А Танька вернется, дак и пригонит.

— Ладно...— кивнул Устин.

— Исхудал-то ты как, изболелся... А я, Узя, хотела тогда съездить к тебе в больницу. Уж и творожку припасла. Дума-ла, съезжу, а то, может, и не увижу больше... Да вот не поехала, грешная...

— А, пустое... Об чем теперь говорить...

Они напряженно замолчали. Павлушка добродушно сопел на ее руках, изворачивался и все норовил ухватить Устину за локоть. Устин долго недвижно смотрел в плоскую равнину лугов, потом перевел взгляд на деревню, стал глядеть, как и кто успел перестроиться за это лето и сколь еще домов под соломой. Старых домов почти не осталось, все больше под шифером и под железом, а в одном месте, в щербатине между ракетами, будто вставной зуб, сверкала под солнцем даже цинковая крыша.

«Зажили люди»,— успокаиваясь, порадовался Устин, глядя на помолодевшую деревню, и вдруг остро почувствовал, что скоро ему уже не ходить по куликовским улицам, по этим лугам... Все останется: и дома, и речка, и коровы... И будут жить другие люди... Татьяна, Валерка, Павлушка... Теперь это все ихнее...

«Ничего, тепло еще подержится,— утешал себя Устин, думая, что пока постоит тепло, поживет и он.— Осень, глядишь, будет погожая. До покрова еще сколь... В иные года стоит и стоит теплынь... Да, а что ж, ежели покров... Дровец насечь да печку истопить...» И он, сидя в отрешенном забытьи, стал прикидывать, как бывает, когда падет зазимок. Вспомнил белый праздничный свет за морозными окнами, стрекот

сороки на коньке сарая, пахучую сухость сенных стогов под шапкой первой пороши, мягкое тепло впервые надетых валенок... И выходило, что после покрова тоже бывает хорошо...

— Ну, мне, однако, пора...— очнулся Устин.— Скоро доить придут.

Он встал, подобрал с земли весло.

— Прощай, Анна,— сказал он со сдержанной строгостью и, не глядя на Нюрку, стал спускаться по ступенькам.

На мостках он отомкнул цепь, ступил в лодку, отчалился. Посудину сразу же подхватило течением, но Устин, стоя во весь рост, напрягшись, поворотил ее и погнал на середину в объезд острова.

— Заходи когда...— каким-то не своим голосом робко крикнула ему вслед Нюрка, оставшаяся сидеть на обрыве.

Устин не ответил. То ли не счел нужным откликаться на пустое, а может, и не разобрал Нюркиных слов, потому что в Куликах снова загремела музыка.

Играли что-то веселое, плясовое.

И УПЛЫВАЮТ ПАРОХОДЫ, И ОСТАЮТСЯ БЕРЕГА

1

После того как внешние шквалистые ветры разгонят остатки льда и острова оденутся зеленью, сюда начинают частить нарядные многопалубные теплоходы — одни со стороны Свири, другие от Вытегры и Повенца. В распахнутые окна кают вдруг свежо и властно дохнет большой водой, и пассажиры посыпят на палубы любоваться Онегой, смотреть, как утонувшее солнце бежит где-то совсем близко за краем воды, будоража задремавшие облака и самую воду чуткими всполохами. В разгар белых ночей далеко видать окрест: и тихие всплески рыб, и призрачные гривы отдалившихся берегов, и то, как за кормой по огнистой засмирившей глади тянется вспаханная кораблем фиолетовая дорога. Каютные люстры погашены, оставлены только сигнальные фонари на мачтах, приглушенно урчат мощные дизеля, и кажется, будто корабль не просто плывет своим обычным рейсом, а осторожно пробирается в самое сердце чуткой северной ночи. И все парят позади бессонные чайки, летят за теплоходом от самой Вытегры или Петрозаводска, кружат молча, без обычного дневного галдежа, словно и они не решаются нарушить ночное таинство воды и неба.

А утром Онегу уже не узнать: очнулась, зашумела, заходила широкими размахистыми валами. Под засвежившим ветром порывисто летят тугие грудастые облака. Они рождаются где-то в одной точке горизонта и, растянувшись через весь небосклон лебедиными вереницами, опять слетаются по другую его сторону в плотную синеющую стаю. Облака обгоняют теплоход, теньями накрывают встречные острова, и уже различимо, как на одном из них встают нерукотворным дивом седоглавые храмы. Остров невысок и безлесен — узкая, едва приметная полоска земли над вспененными водами, и чудится, будто храмы вырастают, поднимаются из бегущих валов, из самих глубин расходящейся Онеги. Теперь уже и простым глазом видно, как многоярусные шатры и маковки церквей чутко откликаются на переливчатую игру ветреного

неба. Срубы то золотятся под брызнувшими лучами, то, когда набежит облако, снова суровеют, прячут свою минутную улыбку в строгую сажину.

Теплоход, разворачиваясь, подбегает широким полукружьем, бодро трубит бархатистым кличем — приветствует остров, и ждешь, что вот-вот встречный град грянет ответно в запальные пушки и ударит в веселые звоны...

Но остров молчит, серые теремные храмы, не замечая белопалубного гостя, в раздумье глядят поверх его мачт в какие-то дальние дали, и немые их распяленные временем колокола... И подчиняясь этому безмолвию древнего погоста, что уже вознесся стенами над кораблем и рассекает маковками наседающие на него косяки облаков, постепенно стихает суетный гомон на палубах. Пассажиры молча грудятся у правого борта, щелкают фотоаппаратами, торопливо ловят набегающий берег в окуляры биноклей и дымчатых очков.

Судно же тем временем, уняв машины, бесшумно сближается с пристанью, матросы вяжут чалки, налаживают трап, и публика нетерпеливо выплескивается на дебаркадер. Сбегают по сходням полосатые пижамы, пестрые куртки с капюшонами и без капюшонов, шумные шуршащие болоньи, молодцеватые округлоплечие свитеры... По длинным лавам, выстланным на сваях от пристани к берегу, над зеленой стоялой водой, над осоками сходят на островную твердь и с выражением чинного умиления принимаются озираться вокруг.

Рейсовый массовик-затейник велит всем ожидать тут, на берегу, сам же озабоченно и всезнающе бежит в гору в музейную конторку — договариваться насчет экскурсии. От нечего делать публика разбредается по берегу, читает всякие надписи и указатели, разглядывает причаленные туземные лодки или просто смотрит, как плещется усталая озерная волна на дробном береговом камешнике.

Неподалеку под сенью лозняка виднеется свежая глина вперемешку с гольшами. Время от времени над ворохом выброшенного грунта вскидывается лопата, и с нее срываются и летят в кусты блинчатые ломти. Бредут смотреть, что там такое, и, обступив яму, с любопытством заглядывают внутрь: в виду музейных храмов все на этом острове обретает особый смысл и значение.

В яме, уже открытой метра на два в глубину, мелькает доньшко суконного флотского картуза, обсыпанное глиной. Серая рубаха, выпростанная из штанов, мокро темнеет на спине. Грунт каменист, неподатлив, желтеющие стены до самого дна аняют вмятинами от вывороченных гольшей. Когда лопата

натыкается на очередной булыжник и начинает скоргыкать, публика заинтересованно нагибается над краем, стараясь уяснить, что за камень, велик ли и нельзя ли что-нибудь по-советовать.

— Подрой, подрой его сначала...

— Да не так, ну зачем же...

— Ничего... Не впервой,— доносится голос снизу.— Дело пустяшное.

— А нет ли лома? Ломом куда удобнее. Ломом поддеть можно.

— Мы его и так вызволим, дак... Не велик барин.

Человек в яме, польщенный вниманием, азартно поплевы-вает на ладони и всякий раз, налегая на лопату, как-то отчаянно харкает горлом, разом выдыхая из себя воздух.

— Что здесь такое?— Это набегают новая партия любопытных.

— Что-то копают...

— А вы знаете,— замечает почтенного облика мужчина с доминошной коробкой в пижамном кармане,— прошлым летом я был в Керчи, и там тоже копали и нашли старинные сосуды. Говорили, что очень ценная находка.

— С монетами?

— Нет, монет не было. Просто посуда. Но ей две тысячи лет. Я сам видел: очень хорошо сохранилась.

— Да, но там был раньше греческий город.

— А тут тоже место историческое.

Камень наконец выворочен, человек поднимает его на грудь и, осыпая на себя глину, выталкивает на бруствер. Какой-то малец в голубой матросочке и с биноклем на шее (юный землепроходец) забрался на глиняную кучу и, присев на корточки, пробует заглянуть оттуда в яму.

— Вовик, Вовик!— пугается его бабушка, еще весьма сохранившаяся дама в темных очках и коротковатой юбке.— Слезь сейчас же!

— Я тоже хочу посмотреть!— надувает губы Вовик.

— Не выдумывай. Ты же свалишься.

— Не!

— Присыплю землей, дак...— остерегает голос снизу.— Не то лопатой задену.

— Вот видишь! Я же говорю, не подходи близко!

— А зачем он копает?— допытывается малец.

— Ты же слышал, дядя ищет исторические находки.

— А какие они, эти находки?

— Всякие...

— Ну, бабушка!— упрямо капючит малец.— Какие всякие?

— Перестань, пожалуйста! И не пачкай руки.

Человек в яме выпрямляется, сдвигает картуз на затылок, открывая дробное безбровое лицо с детским вадернутым носом. Из-под замусоленного околыша мичманки, подпираемой как-то враслопырку торчащими ушами, выкатываются обильные горошины пота, путаются в давно небритой стерне, местами сивой, сквозящей темными заветренными скулами.

— С какого теплохода?— интересуется он и живо перебирает глазами обступившую публику.

— С «Ивана Сусанина».

— Ага!— кивает он, и лицо его, похожее на лицо внезапно состарившегося ребенка, осеняется участливой радостью.— А я слушаю — по гудку вроде бы он, «Иван Сусанин». А он и взаправде... Закурить имеется?

Ему протягивают сразу несколько пачек. Человек суетливо обтирает руки о штанины и неловкими короткими пальцами, виновато напрягшись, берет у каждого по штучке. Из последней же пачки торчащую сигаретину вытаскивает деликатно вытянутыми губами.

— Из Москвы, стало быть...— говорит он в нос, подрагивая в деревянно-онемевших губах сигаретой.— Добро, добро! И дите аж из Москвы?— изумляется он и тут же одобряет:— Места у нас занятные, дитю тоже развлечение.

Он бьет себя по карманам, выслушивая спички, но кто-то уже чиркает зажигалкой и опускает огонек в яму. Человек спешит дотянуться до зажигалки, невпопад тычет сигаретой в огонек, и уши его шевелятся при каждой затяжке. Наконец прикурив, он расслабленно опускается на пятки и признательно мигает заслезившимися от дыма и неловкой позы глазами.

— Только вам надобно итить к погосту, к церквям,— говорит он, окутываясь дымом.— Потому как дело мое абнакавенное и никакого для вас интересу. Ежели по-хлотски разъяснить, дак вся и затея, что гальяон будет. А вам надо вон по той дорожке итить.

Мужчины наверху конфузливо хохочут и переводят дамам, не понимающим по-флотски. Лицо человека в яме тоже сжимается в робком ответном смешке, и оно делается похожим на кисет, сдернутый шнурком: уши отпрыдывают к затылку, щеки обкладываются ломкими складками, глаза тонут в лучиках сухих морщин.

— Оно, конечно, и без этого никак нельзя,— спешит по-

править он неловкость.— Без такой справки и глядеть ни на чего не захочешь...

— Вовик!— дама-бабушка ловит мальчика за руку.— Идем, детка.

Публике делается неловко стоять и глядеть, как роют такую прозаическую штуку, интерес к яме сразу пропадает, и все возвращаются к дебаркадеру.

Человек в яме плкует на ладони и принимается долбить глину.

2

Савоня объявлялся на острове с первыми теплоходами и, как яблик, исчезал внезапно с осенними холодами.

Он не имел здесь никакого твердого занятия, не числился ни в каком штате, и то, что ему выпала эта нехитрая и краткая работа — вырыть яму под лозняком,— было делом случайным. Появлялся же он здесь по потребности своей тоскующей и общительной души, как заводятся обычно на Руси такие люди подле шумных и толкучих мест.

Когда на Онеге уже все приобрели лодочные моторы, Савоня все еще ходил под ушкуйным парусом, скроенном из зеленого райпотребсоюзовского брезента, но потом и он у какого-то теплоходного механика раздобыл себе моторишко и приспособил на собственного производства вместительную посудину с высоко вздернутым носом наподобие старинных новгородских ладей. Теперь уже, садясь в лодку, он приторачивал свою мичманку ремешком под подбородком, говоря при этом с серьезной гордецей: «Не то ветром сорвет, скорости теперь вон какие!» И даже иной раз пробовал тягаться с самим «Метеором» на подводных крыльях, набегающим в здешние шхеры с туристами из Петрозаводска.

У него есть собственный прикол на острове в камышах невдалеке от погоста. Савоня привязывал за колышек лодку, выходил из камышей на берег и усаживался в одиночестве на сосновый комель, вкопанный у раскурочного места, где в неспешном созерцании вод и дальних берегов выкуривал одну за другой несколько тоненьких, быстро сгоравших папиросок «Север». Теплоходы он различал еще издали — кто плывет и откуда,— знал их поименно, по имени же и отчеству знал многих капитанов и механиков. Когда теплоход подворачивал к пристани, Савоня плевал себе в пальцы, тушил папироску и спешил к дебаркадеру. «Прибыл, Степаныч?— кричал он по-свойски знакомому капитану на мостик.— А я тебя аж вон игде заприметил. Ну и махина теперь у тебя, Степаныч!— раз-

ливался он в счастливом смехе и похлопывал ладошкой по холодному телу новенького теплохода.— Дворец, а не пароход. Высоко теперь стоишь, как на престоле!» А бывало и так, что Савоня запускал свою моторку и выходил встречать теплоход еще на подходе к острову. Он выстраивал свою ладью нос с носом, старался держаться вровень и, покачиваясь в теплоходных усах, кричал какому-нибудь Петровичу или Савельичу: «А я гляжу, идешь! Ну и шибко бегаешь, братка! За минуту где был, а уж вот он ты, подваливаешь! Бензинчику не отольешь ли маленько? А то свой уже начисто поизрасходовал. Жрет моя холера во все заверти. Ремонт думаю давать, а то не напасешься!.. Ты-то свою подремонтировал, подкапиталил? Ага, добро! И флаг, гляжу, новый навесил. А то прежний совсем пообтрепался. А и шутко ли — аж до самой Астрaгани бегаешь. Ну заходи, заходи, передохни малость, покурим, дак...»

К старым своим знакомым Савоня и вправду захаживал на мостик и покуривал там на важной высоте среди барометров и компасов и даже, случалось, угощался капитанским коньяком, который отпивал маленькими глотками, и все поглядывал через стопку на блеклое олонецкое солнце, удивляясь золотой игре питья. «А все ж, я тебе скажу, водка по-лучше будет,— заключал он и выпивал остальное одним глотком.— Здоровее. Правда, не всякая. Ежели на посуде дерево пропечатано, эту не пей, эта из дерева и есть. Сучок называется, потому из сучков, из обрезки гонется. А на которой красный бык натопыренный, вроде как боднуть хочет,— та вправде водка, та бодается добро! Под самый радикулит!— Савоня заливается дробным смешком и добавляет:— Да и то набрежут, нынче в торговле мастаки врать: этикетку наклеют правильную, а в бутылку дурнины какой нальют. Это сколь хошь! У меня раз было...» Савоня самое настроился побеседовать; но у капитана оказывался какой-то спешный недосуг, он пожимал Савоне руку и нетерпеливо говорил: «Ну, будь здоров, будь здоров... Ага, давай... Служба, понимаешь...» — «Дак ить как не понять!»— согласно кивал Савоня и, довольный угощением, ковылял к трапу.

После такого визита на мостик Савоня, распираемый потребностью поговорить, увязывался за экскурсией и плелся за толпой по острову, улучая момент и самому что-нибудь пояснить и порассказать приезжим людям. «А это только говорится, что без гвоздей,— заводил он беседу, топчась за спиной у экскурсантов.— Когда эту церкву перекрывали, ящикев с двадцать поколотили пятидесятки. Дак а пошто возиться,

крепить лемех на старый манер, все едино снизу не видно, глянть, какая высота. Не-е, гвоздя там много побито! Оно, конечно, занятней, ежели сказать, что без гвоздя, больше удивляются. А прежняя кровля, верно, та без единой железки держалась, что правда, то не совру».

Администрация, дознавшись про Савонины «антинаучные измышления», одно время даже запретила ему появляться на музейной территории, и он после того куда-то исчез и пропал все лето. Лишь потом прослышали, будто гостевал у своей дочери. У него действительно была дочь, и притом, как рассказывают, красавица. Были у него еще и два сына, но те заехали куда-то еще дальше, младший оказался аж на Тихом океане, служил на китобойных кораблях.

Нередко выпадало Савоне покатать на лодке теплоходную публику. Катал он охотно, лихо, счастливо расплывшись курносим лицом, что-то выкрикивая в моторном реве, катал с головокругительными разворотами, поднимая столбы брызг и вгоняя мотор в чих и кашель, пока тот, случалось, не замолкал середь воды. «Это ничего, это мы наладим!»— кидался он к двигателю и начинал суетливо что-то отвинчивать, продувать, сушить на спичке свечи и опять отвинчивать, накидывая вокруг себя все больше железок и винтиков, в то время как лодку сносило невесть куда волнами и ветром. Под конец он отступался, рассовывал детали по карманам и смущенно, ни на кого не глядя, брался за весла. «Незадача выпшла...— оправдывался он, глядя, как молча и отчужденно выпрыгивали на ближайший берег продрогшие, синелицые туристы.— Буду капитальный ремонт давать, дак...»

За такое гондольерство Савоне перепал рублишко, а если катание сходило гладко и клиенты попадались веселые, то, кроме денег, бывало и угощение в дебаркадерном ресторанчике. Подвыпивший Савоня норовил запеть. Голосом он вовсе не обладал, а только наговаривал песню торопливым словесным бежком, тут же отвлекаясь и давая пояснения к тексту, и лишь самый конец куплетов пытался тянуть жестяным дребезжащим тенорком. «Не вечерня заря да спотухалася...— Это надо тянуть одним голосом, одним, понимаешь ли.— Полуношна звезда высоко взошла...» И вдруг, весь покраснев и надувшись худой жилистой шеей, истово выкрикивал:

Высоко взошла-а-а, ах да светло... да светлая-а-а.

В наступавшей затем паузе Савоня поднимал указательный палец к потолку и, оставаясь так с воздетой рукой, как бы не позволяя никому говорить, перебивать, поочередно

и вопрошающе заглядывал в лица слушателей. И чем-то удовлетворившись, опускал руку и продолжал: «Это уже хором, хором поется: высоко взшла-а-а, ах да сыве-е-етла...» Но буфетчица, тучная тетья в наколке, грубо обрывала его, требовала, чтобы он не нарушал порядка в общественном месте, и Савоня, осекшись и как-то опав плечами, виновато говорил: «Нельзя, дак и ладно. Можем помолчать...» Он строже лицом, безброво насупливался, вставал и, обходя стол, церемонно, со значением протягивал всем руку для прощанья: «Премного благодарим за компанею. Домой пора, однако...»

Но домой он не ехал, а, реализовав заработанный рубль у буфетчицы, которая долго отпихивала смятую в комок потную бумажку, все не хотела отпускать, под конец отпускала-таки с брезгливой неприязнью: «Надоел, хуже смолы...» — переливал купленные сто двадцать граммов из казенного стакана в свою карманную посудинку и шел к лодке, запрятанной в камышах. «Ты мне не указ, чтоб не петь,— распаялся он дорогой.— Я больше забыл, чем ты знаешь, дура напудренная. Петь мне никто не запретит, нету такого права». Складным ножичком он нарезал охалку сырой пахучей осоки, стелил на дно своей ладьи, допивал водку, ложился навзничь и уже здесь, на воле, скрытый от всех стеной зарослей, услаждал себя недопетыми в ресторане песнями.

Не вечерняя заря ох да спотуха... да спотухалася-а-а...

Пел он тихо, про себя, под конец и вовсе без слов, одними только мыслями, и, хмелея, проваливаясь куда-то, бездумно глядел на четкие и строгие силуэты церквей, возвышавшиеся над ним против ясного закатного неба.

3

Обитал Савоня на одном из островов Малой Онеги. Места те, и теперь еще привольные — лесные, с укусистыми опушками, с рыбными лудами, в послевоенные годы, однако, поизредились жителями. Самый кряж, основа всему, мужики, остался в большинстве своем лежать на обширных и безвестных военных полях, старики повымирали, редко какой еще торчит трухлявым пнем, молодые же начали сбиваться от островной затворной жизни куда пошумней, поинтересней: в Мурманск, Петрозаводск, иные и того дальше. «На островах любо, да безденежно! — говаривал, смеясь, Савоня.— Я бы и то утопал куда ни есть, да поранетая нога раздогону не дала. А чё? На топор я шибко востер да ловок был. Где хошь под-

винулись, место ослобонили б... А теперь и не к чему бежать, жисть прошла. И так ладно».

Теперь уже не многие помнят, как на троицу сорок четвертого об двух костылях, с тощим вещмешком за плечами, в котором погромывали два кирпича ячневого концентрата, кисет сэкономленного пиленого госпитального сахару да топор, выменянный у одного дедка в Ярославле, где пребывал на излечении, Савоня сошел на отчий берег.

Жена Ульяна и подростские ребятишки ударились было в рев, но Савоня от слезы удержался, а, наоборот, что-то сбалагурил и притопнул костылями: «Али и вовсе негожий, ревете, дуры! На войне и промеж глаз попадает...» И, выкладывая скудный гостинец, прищелкнул ногтем по топору, по широкой захватистой пятке, показал звон: «Глядите-ко, с медалями».

В те времена на острове еще держался кое-какой нестандартный народишко, а за ним числилась прежняя довоенная колхозная бригада. Савоня, как недавний солдат, назначенный бригадиром, а заодно и управителем острова, самолично взялся рубить овчарню под шубных овец, которых на острове пока еще не имелось, но коих предписано было разводить, чтобы за деревней значилась общественная забота. Зиму валил он лес, весну и лето с двумя стариками тесал запасенные бревна на стояки и простенки, а на следующую весну приступил к поставу. Но пока взял первые венцы, один старец сослепу сбришул долотом себе руку, другой и вовсе помер — от подъема ли тяжелого, а может, и сам по себе от ветхости. Мужской замены им не нашлось, и Савоня занарядил на эту работу всех учтенных баб и свою жену Ульяну. Еще с год проканителились они с овчарней, с одного боку даже дотянули до стропил, но тем временем разводить шубных овец на острове отменили, посчитали делом невыгодным, а дали задачу гнуть обозные дуги, заготовливать кровельную щепу, вязать метлы, а заодно и запасть грибы. Но и эту нетрудную подать справлять уже было некому, так как остров к этому времени и вовсе обезлюдел. Подростший было табунок девок и ребят как-то незаметно разлетелся: кого подобрали в армию, кто подался в ФЗО и леспромхозы, а кто и самовольно улепетнул в неизвестные места без справок и Савониных полномочий. Савонины сыновья тоже не засиделись: один ушел в армию, во флот, другой — по набору на фабричное обучение. Незаметно поднялась и последняя девка Анастасея, завздохала и тоже запросилась из дому. Прикинул Савоня женихов в деревне — никого, примерялся к соседнему острову, и там тоже, выходило, ни единого. Может, в каких деревнях на материке и были,

да не искать ветра в поле, и отпустил с миром девку, собрали с Ульяной ей подорожный сундучок. «Я как царь без царства,— разводил руками Савоня по поводу своего бригадирства.— Власть дадена, а судить-рядить некого. Во дела!»

Лет десять уже тому, как остыла на ряпушной путине Ульяна. Обхаживала ее по прежнему обычаю местная лекарка бабка Марья, отпаивала травами, что-то нашептывала в подпечье. Но Ульяне становилось все хуже и хуже. Следовало бы вызвать настоящего лекаря, да ведь какие на острове телефоны? Мотора об ту пору и то ни у кого не было, чтобы сесть да на моторке слетать за доктором. Одно слово — остров... Хотел было самолично везти Ульяну в ближайшую больницу, но бабы всполошились, отсоветовали: куда, мол, по такой невзгоде, затрясет, заболтает на волнах, вконец застудится. Да вскоре и попрощалась бескровными губами, отошла...

На другой день гроб, сбитый из отодранных на повети досок, несли на островной погост все наличные жители деревни, так что позади никто не шел, не голосил, некому было. Передние углы поддерживали две Ульяновы одногодки-соприятельницы, безмужние солдатки, сзади домовину подпирала бабка Марья и он сам, благо, что легка была покойница, в половину прежнего. Шел, ничего не видя, невпопад тычась скрипучим костылем в неезженую, затравяневшую дорогу. За его спиной шлепался, тянул к земле заткнутый за пояс ярославский топор, который прихватил заколотить могильные гвозди.

Хмурым небом низко летели журавли, вскрикивали прощально. За проливом, на соседнем острове меж сизою ратью ельника проступили пожелтевшие березы. Онега, предзимне темнея, валко ходила меж островами. А здесь, на берегу, пустынно немела деревенская улица. Не гомонили на ней, как прежде, мальцы, не тюкали топоры у поленниц.

Савоня, потерянно возвращаясь с кладбища, проковылял вдоль посада, постоял в онемелом бездумье середь дороги, свернул в прогон между заколоченными избами. Костылем задел вымахавший на тропе можжевелевый кустик, чуть было не упал и, неприязненно удивившись побегу, хватил под него топором. Через несколько шагов встретил малолетнюю елку, рубанул и ее. Кинул взгляд на огороды, на сенные деляны, а там полно колючей молодежи. И уже не зашивая топор за опояску, а держа его наизготовку, запрыгал по пусгырям, ударился валять направо и налево наседавший на деревню лес. Рубился со злостью, с матюками, в кровь изодрал

руки, где-то потерял шапку — будто на Куликовом поле.

Шедшая к Савоне поприбраться в дому после покойницы бабка Марья остановилась, оперлась на клюку, устала на странное дело.

— Ушла жисть, так чего уж... Ты б, воитель, сплавал-то, коль делать неча, в Типиницы да привез бы мне карасину. А то зима заходит, вослеп насидишься.

Зимы в Заонежье долги и глухи. Трещат на морозе избы, метет проливом поземка, застит соседние заиндевелые острова. День брезжит невнятно, размыто, и уже часу в третьем ползут из запечья вкрадчивые сумерки. А в пять окно уже кромешно темно: к нему припала и пристально и одуряюще тягуче глядится немая онежская ночь. Ни пароходного вскрика, ни заезжего гостя — мертво до самой весны, пока не сломается лед. Долгой, как век, показалась Савоне та зима без Ульяны, некому слова сказать. Отлежал все бока в немом коротанье, порос бородой и, едва дотерпев до чистой воды, наладил парус и укатил к пристаням, на люди. Корабли подваливали к погосту, большие и малые, трубили на все лады, сходни муравьино кишели приезжим народом — другая земля! Была при Савоне скопленная пенсия, всю спустил до копейки. Угощал каких-то матросов, механиков, неизвестно откуда взявшихся земляков, кричал кому-то, обнимая: «Ты мне друг али нет? Друг, говори? Тади достань мотор на лодку. Нету мне никакой жизни без него. А иконку — это пожалуйста, это я тебе доставлю, раз интересуешься. Это пустое». И стукнув кулаком по ресторанной столешнице, заводил ломким дребезжалдим голоском:

Какая на сердце кручина,
Скажи, тебя кто огорчил...

Зачастил Савоня к погосту, а заодно то иконку с собой прихватит, то старый рушник, то туясок обветшалый. Спрашивают люди, почему ж не уважить? За ценой не стоял, больше дорожил компанией, застойной беседой. «У нас этой истории навалом, — говорил он. — Сколь времен копилось, дак...» Сначала подбирал всякую рухлядь в собственном дому, а когда запасы поиссякли, стал заглядывать в чужие брошенные хоромины, покинутые со всем обиходным скарбом — с горшками в печах и святыми угодниками по красным углам.

Этот никчемный товаришко разбирали у него на удивление бойко.

Савоня подчищает дно ямы, хозяйственно оглядывает свое творение и по выдолбленным в стене печуркам выбирается наверх. Там он усаживается на бруствер, неспешно раскладывает на колене разнокалиберные дареные сигареты, выбирает самую долгую, закуривает, а остальные складывает в помятую папиросную пачку.

Экскурсанты все еще толкуются у дебаркадера. Молодежь затеяла бросать гальку, и остальные глядят, как по воде затона скачут в многократных прыжках низко пущенные плоские камешки. Но вот с полдороги что-то кричит теплоходный зательник, машет лентами купленных билетов, и все идут к нему, вытянувшись долгой цепочкой по зеленому взгорку. Савоня прячет лопату в кустах и, припадая на ногу, плетется следом.

У новых, еще не успевших посереть, рубленных под старину ворот, отделяющих музейную часть острова от остальной территории, приезжих ожидает местный экскурсовод. «Михалыч!» — еще издали узнает его Савоня по невысокой кряжистой фигуре в безрукавой синей тенниске. Савоня шпатель к Михалычу особое почтение за то, что Михалыч родом тоже онежанин, долго обучался своему ученому делу в Ленинграде и теперь снова возвратился сюда, в отчие места. Ему нет и тридцати, строг лицом и смышлен бойкими нетерпеливыми карими глазами, но, несмотря на свою ученость, Михалыч, однако, не позабыл исконного обонежского ремесла и при случае мог показать, на что способен топор в его крепких руках.

Пока туристы разбираются у ворот с билетами, Михалыч прохаживается взад-вперед и, глядя себе под ноги, нетерпеливо пошлепывает по штанине самодельной указкой. Савоня протискивается к нему сквозь толпу, протягивает руку.

— Здоров, Михалыч! — говорит он, немного важничая перед публикой оттого, что может вот так запросто подойти к экскурсоводу. — Ты поведешь?

Михалыч молча кивает и пожимает руку.

— А и достается тебе, гляжу! — весело сочувствует Савоня. — Сегодня еще, поди, подвалят.

— Обязательно!

— Тыщ на сорок уже перебивало, а?

— Побольше!

— Ай-йя-йяй! — с радостным изумлением качает головой

Савоня.— Што делается! Столботворение ерехонское! И едут, и едут...

— Ничего, зимой отоспимся.

— А ить раньше как, вспомни, Михалыч... Тишина-а! Я на этом острове...

— Погоди, потом, потом...— нетерпеливо прерывает его экскурсовод и входит в гущу народа.

— Ага, потом... Ясное дело...— соглашается Савоня, оставаясь в стороне.

Михалыч шлепает указкой по ладони, громко и строго требует тишины, и ветер треплет его непокрытые волосы.

— Товарищи, товарищи! Прошу две минуты внимания!

Михалыч называет свое имя и объявляет, что осматривать историко-архитектурный ансамбль поведет он, а потому просит на территории музея не курить, а также самовольно никуда не отлучаться.

— Осмотр будет вестись по измененному маршруту,— трубно провозглашает он,— ввиду того, что доступ в храмы Покрова и Преображения временно прекращен по случаю киносьемок. Коллекцию преображенских икон постараюсь показать на обратном пути.

За каменной оградой погоста бодро възгрывает музыка, Михалыч морщится, словно бы у него заломило зубы, и обрывает свои разъяснения:

— Все ясно?

— А какое кино снимают?

— Эстрадное обозрение «Белые ночи». Для телевидения. Есть еще вопросы?

— Ясно! Ясно!

— Тогда пошли-и!

Как полководец шпагой, Михалыч взмахивает указкой, тычет ею куда-то в поле и, нагнув голову, решительным спорым шагом ведет толпу в обход храмов.

— Этот проведет! — одобряет Савоня.— Этот покажет! Башковитый парень!

Внизу у берега мелко тарахтит на катере движок. От него к воротам погоста тянется кабель. Вчера, когда это все устраивали и налаживали, Савоня пришел посмотреть и хотел помочь что-нибудь поднести. Он поднял какой-то черный ящичек с медными застежками и пошел было с ним от катера на взгорок, но ихний начальник в темных очках и в большой лохматой кепке не понял, погнался за Савоней и стал кричать: «Товарищ, положи! Това-а-рищ, положи!» Савоня, конечно, положил и пошел прочь, а начальник подобрал ящик

да еще погрозил вслед пальцем. Теперь артисты наглухо за-
творились на погосте и никого к себе не пускают.

Савоня отыскивает в створах ворот щелку, прилаживается
к ней глазом. На высокой паперти Преображенской церкви,
освещенной направленными на нее фонарями, поет молодень-
кая чернявая певица в белом голоколенном платье. Позади
нее переминаются, раскачиваются из стороны в сторону чело-
век восемь поджарых певцов в черных папахах и ярко-крас-
ных бекешах с кинжалами на поясах, и все восемь с одинако-
выми усиками. Девка тянет низким мужицким голосом, и Са-
воня даже не сразу догадывается, что поет именно она:

Лэ-тят уткы-ы-ы,
Лэ-тят у-у-уткы-ы...

Певица, пальцами прищелкивая себе возле серьги, после
каждого запева спускается на один порожек ниже и долго
топчется, перебирает ногами на одном месте, будто месит
глину.

Ы два гуса-а-а... —

подхватывают певцы в бекешах, и лица их при этом стра-
дальчески скорбны. Тянут они, наоборот, тонкими голосками,
как бы по-бабьи, так что Савоня кривится и досадует от не-
ладности пения.

Иэх, кого лу-у-ублу... —

басит девка и спускается еще на один порожек.

— Пошто она так-то, по-жеребчиному? — сердится возле
дырки Савоня. — Бабе надобно голосить, оказывать голос. Ба-
ба серебром должна брать, всему делу венец! Пошто над пес-
ней-то изголяться, мучить, крылья ей выкручивать, лёту не
давать...

Музыка неожиданно переходит на что-то веселое, торопли-
вое, сквозь гармошку и дудки просыпается гороховая дробь
бубен. Один из певцов с гиком выпрыгивает из строя, про-
носится по паперти, окарячивает верхом перила крыльца,
взвизгивает, съезжает на заду вниз, ловко, лихо соскакивает
на землю и, раскинув широкие красные рукава, начинает вер-
теться на одной ноге, на скрюченном носке так, что мелькают
то усики, то затылок. Плясуна сменяет другой, после чего
по разбежавшимся на обе стороны перилам скатываются сразу
двое — один направо, другой налево — и принимаются наско-
кивать друг на друга, звякать сабля об саблю. Плясали и еще
на всякий манер: один, не выпуская из рук гармошки, пере-

вертывался через голову, другой подбрасывал бубен, и пока тот, позвякивая побрякушками, взлетал под самый конек церковного крыльца,— танцор успевал похлопать себе по сапожкам...

Но вот к танцорам подбегает тот самый начальник в лохматой кепке, что-то недовольно кричит, машет на плясунов руками, и те, тяжело дыша и утираясь папахами, понуро лезут на крыльцо и начинают все сначала.

— А ить тоже работка...— удивляется Савоня.— В мыло мужиков вогнал. Дак и то: коня, бывало, почнешь к хомуту приучать, весь измочалится конишко-то... А без хомута и овса не дадут... Во всем усердие требуется.

Он отстраняется от дырки, некоторое время в раздумье стоит у запертых ворот, потом ковыляет вдоль стены на луг, поглядеть, что там делается.

На дальней холмушке возле часовни святого Лазаря примечает людскую толчею, видит даже, как жестикулирует, машет указкой Михалыч, и неспешно бредет туда по тропе сквозь поясные травы. Там он приземляется позади толпы, воровато достает сигаретку и, покуривая из рукава, прислушивается к Михалычеву голосу.

...— Сооружение это относится к древнейшему культовому зодчеству ранней Руси,— доносятся чеканные слова Михалыча.— Это так называемый клетский храм. Основу церкви составляет обыкновенная клеть, какие здешние смерды рубили и для бытовых построек. Различие только в оформлении кровли. Однако это небольшое строение превосходит своей древностью все наиболее известные храмы поонежского и беломорского Севера. Примерная дата его закладки возносится к временам Дмитрия Донского, то есть стоит эта церковь без малого шесть веков!

По напевному и торжественному звучанию голоса и по тому, как белой молнией мелькала самодельная можжевелевая указка, Савоня сразу угадывает, что Михалыч уже распалился и будет теперь молотить, позабыв про время и самого себя. Который год слушает его Савоня и каждый раз внимает с детским восхищением, наслаждаясь музыкой высоких и подчас не совсем понятных слов.

— Я прошу вдуматься в эту цифру — шесть веков! — призывает Михалыч и палочкой отбрасывает со лба растрепавшиеся волосы.— Можно прикоснуться к этим седым стенам руками, и вы ощутите естество тех сосен, которые шумели кронами над русской землей еще во времена татарского нашествия, а может, и того раньше, в славную пору Юрия Дол-

горукого, заложившего самую Москву. И тем не менее как свежи еще следы топора, как отчетливо прослеживается его искусная и вдохновенная работа, снимал ли он вот этот су-чок,— Михалыч тычет в стену указкой,—еще и теперь пропитанный янтарной смолой, или рубил этот порог, этот алтарь, эту дивную луковку... Перед вами гениальное творение без-вестных русских умельцев, и вам бы следовало снять шапки. Это не церковь,— если хотите, это стихи, это песня, товари-щи! Потом были Иван Грозный и посрамление Орды под Ка-занью, был царь Борис и нашествие шляхты, великий бунт протопопа Аввакума и боярыни Морозовой, был бурный Петр, были Пугачев, Наполеон и прочее и прочее. Сколько потом еще было всего на нашей многострадальной Руси и тоже про-шло... А порог этот и по сей день остался. Вот он! Должно быть, так же, как и теперь, у этого порога цвела белая каш-ка, курчавился бурьянок, гудел, сердился шмель, когда запу-тывался в травяных тенетах...

Савоня закрывает глаза и, слушая так, одобрительно кивает головой. Он любил, когда рассказывали про дерево, про топоры и постройки, а потому не удерживается и подсказы-вает:

— Ты, Михалыч, про крышу им порасскажь, про крышу. Ить не хитро на первый погляд, а поди, сработай так-то!

— Прошу не перебивать! — строго кашляет в кулак Миха-лыч, однако, сделав паузу, широко взмахивает к небу указ-кой: — Хочу обратить ваше внимание на завершение кровли. Здесь мы видим так называемый конек. Правда, внешне он нам не напоминает никакого изображения, он предельно прост. Но в том-то и дело, что...

И опять запел Михалыч, и, довольный, зажмуривается Са-воня, нежит себя рассказом о коньке. А рассказ-то всего о сосновом комле, положенном по самому гребешку кровель-ки, про то, как он, оказывается, воздушно-легок и невесом и так как-то хитроумно срезан на самом окончании, что кажет-ся, будто хочет вспорхнуть и остроклювой птицей улететь в онежские дали.

«Верно, верно говорит», — сладко млеет Савоня и сам лю-буется коньком и видит в нем диво-птицу.

От толпы отделяется светлоголовый паренек в голубой куртке, простеганной крупными клетками, опускается на тра-ву рядом с Савоней.

— В ногах правды нету, верно, б-бать? — говорит он с за-пинкой.

— Дак и посиди,— притишая голос, дружелюбно согла-

шается Савоня.— Отсюда тоже слышать. Тут ежели все рассказывать — делов много! — Савоня, радуясь возможности поговорить, пододвигается к парню.— Вот, к примеру, откуда она есть, часовня эта... Она ведь допреж не здесь стояла, не-е! Она стояла на Муромском острове. Вот где ее законное место. Это ежели тебе пояснить, дак верст на шестьдесят отсюда по воде. Конечно, разобрали ее всю, а то как же. Пометили бревна и раскидали. Целиком ее нежели довезешь? Не шутейное дело... Да и опять же: кто таков Лазарь? Он-то в поспешности не сказал, Михалыч, а я тебе скажу...

— У нас в Калуге тоже всяких ц-церквей допдна,— перебивает парень, отмахивая со лба косою чуб, похожий на птичье крылышко.— Не бывал в К-калуге? Циолковский, между прочим, жил.

Кто таков этот самый Ци., Савоня слыхом не слыхивал, не знал и про то, где находится Калуга, велик ли, мал ли городок, а потому виновато промешкивается, но вскоре опять возвращается к прерванной беседе и принимается рассказывать про Лазаря, какой это был непреклонный, с характером старец, как пришел он на Онегу-озеро из грецких земель и как соорудил себе среди ненасытных болот одинокую хижу и крест возле нее и как хотели сжечь его, Лазаря, некрещенные лопяне, дикие сыроядцы, но не смогли одолеть.

— Сто пять годов прожил! — восхищенно поверяет Савоня, слышавший эту историю то ли от своей бабки, то ли от деда, а может, и еще от кого из старожил^{ов}, хранивших старые книги.— Во какой смоляной был, Лазарь-от!

— Не знаешь, пиво есть в р-ресторане? — спрашивает парень.

— В нашѐм-то? Должно быть, а то как же.

— Башка, понимаешь, т-трещит...— морщится парень и сплевывает себе на ременные сандалии.— Вчера немножко д-долбанули.

— Усадку голова дает,— понимающе сочувствует Савоня.— Да и пиво должно быть. Подовчера завозили. Только бочковое.

...— Теперь об окнах,— долетает голос Михалыча.— Мы имеем здесь дело с так называемыми волоковыми окнами...

— Понимаешь, только Вытегру проехали,— опять сплевывает парень,— смотрю, ребята зовут. Пойдем, говорят, б-белые ночи встречать. Ну и пошли... А тут б-бабы подвернулись. Вон они стоят... Вон та, в белом свитере. И та вон, высокая, в коротких штанах которая...

— Да к ясное дело! — кивает Савоня — Ежели бабы... оно конешно...

— Ну и з-завелись...

— Стекол в то время в простых сельских храмах еще не было,— поет Михалыч.— И окна задвигались, как видите, или по-тогдашнему заволакивались, изнутри дощечкой. Отсюда — волоковые...

— Крепко ж-жахнули, понял?

...— Существует другой тип окон, характерный для более поздних построек...

— Владлена Андреевна,— переговаривается кто-то в толпе.— Не помните, я замкнула каюту?

— Не обратила внимания.

— А то у меня там плащ остался на вешалке.

— Кажется, замкнули.

— Ужасно стала рассеянная. Я уже имела счастье в Суздали вот так оставить номер... Вовик, Вовик, не становись на порог, детка! Он может провалиться, и ты сломаешь себе ногу.

Михалыч замолкает, нетерпеливо шлепает указкой по ладони.

— Товарищи, товарищи! Имейте в виду: чем больше будете говорить вы, тем меньше расскажу я. Выбирайте.

— Пойду пива попью,— шепчет Савоне парень.

Он встает и, делая вид, будто осматривает церковь, заходит за угол постройки. Через некоторое время парень осторожно высовывается из-за угла, подает кому-то знаки, дует себе на кулак, изображая пивную кружку. В толпе прыскают какие-то девчата, и Михалыч снова прерывает свои пояснения.

— В чем дело, товарищи? — строго оборачивается он.

Парень в голубой куртке мгновенно прячется за срубом.

Но вот со святым Лазарем покончено, Михалыч, нагнув растрепанную голову, суворовским жестом простирает вперед указку и быстрым своим шагом ведет осматривать соседнюю Великозерскую часовню. Савоня со своей ногой не успевает за экскурсией, постепенно отстает, останавливается среди острова и, заметив невдалеке от стен погоста белую панаму туриста-художника, одиноко маячившего над травами, поворачивает к нему. Там он в почтительном отдалении, но так, чтобы видеть картину, опускается на землю. Художник, невидяще глянув на пришельца, на миг показав обложенное русой молодой бородкой узкое, отрешенное, апостольское лицо, снова отворачивается к рисунку и продолжает торопко

шуршать по картону цветными палочками. Савоня достает из кармана недоеденную баранку и, отламывая по кусочку, вяло жуя, наблюдает за работой, сличает картину с живой Преображенской церковью.

Художник отходит на несколько шагов от своей треноги, в раздумье теревит, пачкает цветными пальцами бородку, и видно, что недоволен своей работой. «Вот и готовое, а не дается,— думает про него Савоня.— Да и сколь уже подступались: и оттуда зайдут и отсюда...»

— Иди покурим, дак,— сочувственно зазывает к себе Савоня.

Художник молча садится рядом, платочком обтирает длинные пальцы, а сам с потаенной тоской и жадностью все глядит на путаницу преображенских куполов, а Савоня видит, как под его бородкой ходит сухой нервный кадык.

Отсюда, с земли, сквозь колышимые на ветру былинки, храм походит на кем-то забытый в мураве туюсок, доверху наполненный грибами-куполами. Будто кто набрал их полон короб и все клал и клал друг на друга, грибок на грибок, все выше и выше, сам удивляясь, как дивно это у него выходило, а на вершине грибного ворошка водрузил самый крепкий чешуйчато-серебристый подберезовик, и даже крест, темнеющий над ним, Савоне кажется прилипшим сучком, лесной соринкой.

— Вот спрашиваешь,— затевает беседу Савоня, косясь на художника, хотя тот и ни о чем не спрашивал, а все глядел на церковные маковки.— Можно теперь соорудить такую? Сразу скажу — можно! Обгляди, обмеряй и — делай. У нас один малец из спичек в точности собрал.

— Это интересно,— вежливо выговаривает художник.

— Все как есть! Дак и теперь мастера найдутся. Покличь стариков, какие еще остались,— соорудят! Это я верно говорю. Оно, конечно, и старики теперь отвыкли от топора, нечего стало делать. А которые, окромя дров, ничего дак и не рубят. Но не в том вопрос. Ты меня слушаешь?

— Конечно, конечно...— отсутствующе кивает художник.

— А как она ставилась, церква эта, с самого изначалу, вот ты мне что скажи. Ну привезли лесу, ну натесали... Дальше чего? С чего начинать будешь — кругом голый берег, не на чего поглядеть. Какой и докуда высить угол? Где к месту остановиться и начинать класть карнизы? Какой и куда спускать водоток? От какой метки ставить барабаны? А их вои сколько, двадцать две штуки! Во где закавыка!

— Да...

Художник неожиданно подхватывается, бежит к треного и принимается что-то подтирать и подрисовывать.

— А-а! — торжествует Савоня и заливается азартным и благоговейным смехом.— Во была голова! Из ничего! А так, глядячи, дак и я сострою.

Ему охота еще поговорить про плотницкое ремесло, но собеседник прилип к картинке, не возвращается, и Савоня, так и по дождавшись его, ложится на живот, с облегчением вытягивает намученную ногу. Теперь ему видны одни только купола и небо, да еще чайки, мелькающие над крестами. Он опускает голову на поджатые руки и погружается в чуткую травяную тишину. Откуда-то выпрыгивает кузнечик, повисает перед самым Савониным лицом на прогнувшейся былинке. Сам весь зеленый и глаза тоже зеленые, и Савоне видно, как в них, больших и удивленных, отражаются колышимые травы. От всего облика этой шустрой, проворной, жизнерадостной таракашки веет вольницей, напомнившей далекое Савонино детство. «Ну чего, парень, как жисть? — спрашивает Савоня, проникаясь участливым чувством к этому загадочному созданию, о существовании которого даже позабыл в житейской сутолоке.— Ноги еще целы? И то ладно! Скачи давай, бегай, остров-от вон какой для тебя великий, целая губерня». Кузнечик протягивает сквозь передние лапки сначала один ус, потом другой и, вовсе не боясь Савоню, а может быть, просто не замечая его, начинает счастливо сипеть прозрачными крыльями. «Давай, давай, а то скоро придут косари, состригут твою палестину. Што тади будешь делать? А и нечего делать». Кузнечик прислушивается, потом перебирается повыше и пускается стрекотать еще жарче. Справа, слева ему отвечает веселая братия, трава вокруг Савони закипает знойным баюкающим стрекотом. Нехитрая музыка сигунков сливается звоном в ушах, и чудится Савоне, будто дед посылает его, семилетнего мальчонку, топтать на стогу сено. Савоня прыгает по мягко оседающему, покачивающемуся стогу, радостно страшась этой зыбкости, боясь края и в то же время весь ликуя от беспредельного простора, открывшегося отсюда, с сенной высоты. «Ух ты как! — кричит он деду.— Всю Онегу видать!»

Что-то хлестко шлепает по спине, Савоня поднимает голову и догадывается, что задремал. Редкие крупные капли дождя косо вонзаются вокруг Савони, в пыль разбиваются о мохнатые головки тимофеевки. Савоня поспешно встает, озирается по сторонам. Художника уже нет на прежнем месте, после него осталась лишь истоптанная луговина. Низкая глухая туча волочится над островом. Под налетевшим ветром замета-

лись травы, приборно заплескались у подножия каменной стены погоста. Их зеленые волны, взмелькивая светлой подкладкой, летуче и мятежно перебегают через весь остров и где-то за ветряной мельницей падают в седую зашумевшую Онегу, и видно, как мельница, борясь с ветром, вздрагивает привязанными крыльями.

Внезапно обрушивается шумный шквалистый ливень.

Мимо Савони по тропе со стадным топотом проносится экскурсия, и лишь какое-то время спустя проходит своим частым шажком Михалыч.

— Отчитал? — кричит ему Савоня, но тот, должно быть, не слышит за ветром и шумом дождя.

Савоня поднимает оброненный во сне картуз, выбирается на утонувшую в мутной пузырящейся воде тропинку, ковыляет к ограде и мокрой спиной притискивается к еще тепловатым камням стены. Над ним с тесового навеса взхлеб плещутся водяные струи. С сухим треском обрушивается совсем близкий гром, пустой бочкой прокатывается по острову. Дождь припускает пуще, все тонет в его обвальном шуме, и только слышно, как с размаху расшибаются о береговые карги невидимые онежские валы.

5

После дождя остров словно бы вымер.

Савоня, подставив спину проглянувшему солнцу, давая просохнуть рубахе, в одиночестве сидит у раскучного места, излюбленного им потому, что отсюда далеко видать, а главное, можно курить сколько хочешь. Мокрые, потемневшие срубы церквей тоже курятся парком, а над их верхами снова, как ни в чем не бывало, кружат и гомонят невесть откуда налетевшие чайки.

Из распахнутых окон дебаркадерного ресторана доносится обеденный гомон, слышно, как буфетная радиоло выкрикивает на чужом картавом языке. Из-за дождя за столики сегодня засели рано, не дождавшись, пока объявят обед на самом теплоходе.

Савоня, не любивший безлюдья, безо всякой нужды выкуривает еще одну «северинку» и наконец решает сходить к яме посмотреть, много ли натекло туда воды. Идет мимо дебаркадера, стараясь не глядеть на ресторанные окна, откуда ветер накатывает волны кухонных ароматов.

— Эй, батя! — окликает его кто-то.

Савоня оборачивается и видит в окне парня в голубой куртке.

— З-зайди на минутку.

Савоня кивает, но сперва все же идет к яме, выдерживает характер. И лишь после того сворачивает на лавы, обтирает пучком травы спецовочные фээзушные ботинки и поднимается на второй этаж. Там он останавливается в коридоре и глядит в обеденный зал, выискивая парня.

Ресторан битком набит сбежавшимся по случаю дождя народом. Распаренная официантка Зойка, разгоняя слоистый табачный дым, курсирует с подносом между камбузом и обедающими туристами. Посреди зала, сдвинув сразу несколько столиков, шумно, с тостами и взрывами белозубого хохота, обедают те самые усатые певцы и танцоры, что плясали на погосте.

Ай дала, ай дала, дала да... —

напеваает перед бегущей по проходу Зойкой один из артистов и, вращая желтыми глазными яблоками, прихлопывает в ладони.

— Да нуте вас! — увертывается с подносом Зойка. — Щи опрокинете.

За соседним столиком дама-бабушка и Вовик-землепроходец в компании мужчины с доминошной коробкой в нагрудном пжамном кармане лакомилась кефиром. Вовик дует в свой стакан, выбрызгивая оттуда белые пузыри, бабушка шлепает его по руке и вытирает нос бумажной салфеткой.

Савоня обшаривает глазами дальние углы, но парень в голубой куртке оказывается совсем рядом, за столиком у распахнутого окна. Он что-то рассказывает своим приятелям, мешая самому себе поминутным смехом, во время которого оцепенело замирает и прикладывает руку к сердцу. Сидящая рядом с ним круглолицая, покрасневшая туристочка с высоким начесом огненно-рыжих волос смущенно смигивает черными кукольными ресницами и прячет подбородок в толстый ворот белого свитера.

— Дима, не ври, не ври! — запальчиво выкрикивает она. — Не так все было!

Дима еще что-то выдает, туристочка накидывается на него, розовыми кулачками колотит по голубой спине.

— Все, все, Шурочка! — со смехом уклоняется Дима. — Ну сказал, не б-буду!

— Болтун!

— Все! М-мир — дружба! Мир — дружба!

Дима выстреливает за окна окурком, отмахивает чуб-крылышко и подтягивает к себе пивную кружку.

По другому боку рыжей туристочки пристроился густобровый паренек с набегающей на толстые очки всклокоченной мокрой челкой,— тоже в свитере, но только в малиновом, с желтой росшивью по груди. Паренек двумя пальцами с золотым колечком подносит ко рту тонкую сигаретину, тянется к ней сложенными в трубочку пухлыми губами, как-то так старательно обжимает желтый бумажный мундштук, вдумчиво тянет и, подержав в себе дым, тоже вдумчиво выпускает, целясь струей в подвешенную над головой люстру.

Остальные двое сидят к Савоне спиной, и он видит только их затылки. Один с аккуратным пробором до самой макушки, на которой угнездился неприглаженный петушок, и все называют этого, с петушком, по фамилии — Несветский. Затылок его соседа оброс цыганистыми завитками, набегающими на белый кантик синей футболки. Этот кучерявый, которого в разговоре тоже величали Димой, время от времени шарит смуглой ухватистой рукой по гитарному грифу и, клонясь к нему и прислушиваясь, что-то тихо и неразборчиво подрынькивает.

Савоня долго стоит в коридорчике перед ресторанной дверью, ждет, когда его заметят, и Дима в голубой куртке, наконец, натывается на него глазами и нетерпеливо и обрадованно машет ему рукой.

— Давай, бать, с-сюда!

Савоня еще у порога стаскивает картуз, приглаживает волосы и, стараясь не топтать, с опаской поглядывая на грудастую, оцуптанную по шее тремя рядами мониста буфетчицу, пробирается меж столиков тесными проходами.

— Ты куда, батя, з-запропал? — удивляется Дима-маленький.

— Куда ж мне пропадать? Пропадать некуда. В сенях и стоял.

— Понимаешь, р-разговор один есть.

— Дак и вот он я! — приободряется Савоня.

— Тут такое д-дело.— Выжимая из себя застрявшее слово, Дима-маленький трудно мигает веками.— Теплоход до утра никуда не пойдет, что-то там поломалось, п-понял?

— Отчего ж не понять,— смеется Савоня, переминаясь.— Ежели поломался, куда плыть, ясно дело.

Дима-маленький ловит Савоню за пуговицу на рубахе, притягивает к себе.

— Сколько дней плывем — то нельзя, это нельзя... Охота костерчик попалить. На воле, п-понял?

— Известное дело!

— А у тебя, говорят, лодка есть...

— На воде живем, как не быть! — еще больше оживляется Савоня.

— Значит, с-сорганизуешь?

— Это завсегда можем предоставить, — переминается Савоня, удерживаемый за пуговицу.

— А уху заделаем, как думаешь? — спрашивает другой Дима — Дима-большой. Он поворачивает к Савоне крупное скуластое лицо в редких оспинах.

— Дак и уху... — соглашается Савоня. — Третьего дня я тут в одном месте сетки покидал, может, чего и зацепилось...

— Давай, бать, уважь, — удовлетворяется ответом Дима-большой и снова свешивает смоляной чуб над гитарным грифом.

— Ой, поехали, поехали, мальчики! — рыжая Шурочка нетерпеливо топчет под столом каблучками. — Рит, едем, да?

Очкастый паренек выпускает дым, неопределенно пожимает плечами, и Савоня только теперь догадывается, что это вовсе и не парень, а так чудно обстриженная девица.

— Это же чудо как здорово! — ликует Шурочка. — Несветский!

Кругленький, розовощекий, расположенный к ранней полноте Несветский, одетый в хороший серый пиджак с галстуком, устремляет взгляд за окно, изучает низко бегущие облака. На его аккуратной макушке настороженно вздрагивает петушок.

Телепатия, ух, телепатия,
У меня к тебе антипатия... —

насмешливо напевает Дима-большой и, оборвав пение, хлопает Несветского по округло-женственной спине:

— Брось, кибернетик, умно задумываться! Дамы же просят!

— Поехали, поехали! — снова стучит каблучками Шурочка.

— Да, но я договорился с капитаном насчет радиogramмы.

У меня к тебе чувство скверное
Неспроста вызревало, наверное, —

морщится Дима-большой. — По маме соскучился?

— Не в том дело...

— Все, бать, з-зарубили! — объявляет Дима-маленький и отпускает Савонину пуговицу. — П-пива хочешь?

— Это можно... — расплывается Савоня.

— Тяни! И давай волокн сюда лодку.

Савоня стоя выпивает кружку, в поклоне благодарит и, зажав картуз под мышкой, спешит к выходу.

— Опять ты тут? — фыркает ему вслед буфетчица, и от ее окрика Савоня втягивает голову.

6

Разлатую, заляпанную смолой Савонину посудину покачивает на вялой обессиленной волне в заводине позади дебаркадера. От нее тянет рогожным духом слежалой осоки, устилающей днище. Савоня, уперев весло по внешнему борту, удерживает лодку у скользких зеленых свай настила. На нем просторный, с чужого плеча, флотский бушлат с отвернутыми обшлагами и неполным комплектом латунных пуговиц, недостаток которых восполнен разнокалиберными пуговицами из гражданского обихода. Бушлат этот вместе с прочими пожитками — гаечными ключами, подобранными на берегу бутылками, мережами и большим закопченным ведром — хранился в носовом отсеке, запиравшемся на щеколду.

Оба Димы спрыгивают в лодку, принимают рюкзак с провизией, закупленной в буфете, гитару, плащи, ловят взвизгнувшую Шурочку, переносят голенастую Риту в коротких, выше колен, наутюженных брюках.

— А она выдержит? — опасно спрашивает Рита, опускаясь на скамейку.

— Не бойсь, подружка! — ободряет ее Дима-большой. — Морские медленные воды не то, что рельсы в два ряда, верно, бать?

— Не-е! — подтверждает Савоня. — Лодка сухая, не течет. Я на ней по пятнадцать человек катал!

Последним с теплохода приходит Несветский в кудом плащике и темных очках, и Савоня, оттолкнув лодку, дергает пусковой шнур. Мотор бесстрастно отмалчивается, наконец, будто огрызнувшись на донимавшего его хозяина, сердито взгрыкивает.

— Ой, обождите, обождите, — спохватывается Шурочка. — Вон Гойя Надцатый идет. — И, приставив ладошки ко рту, кричит: — Го-ша! Го-ша!

От погоста к дебаркадеру спускается по тропинке уже знакомый Савоне бородатый художник в белой панаме с желтым плоским сундучком через плечо. Он то и дело останавливается и, прикладывая ладошку к глазам, подолгу глядит на отдалившиеся силуэты погоста.

— А каракатица да задом пятится,— усмехается Дима-большой.

— Гоша! — кричит Шурочка.— Ну скорей же!

Гойя Надцатый наконец улавливает окрики, и Савоня снова подправляет лодку к мосткам.

— Ты где делся? — кричит Дима-маленький.

— Да так, ходил все...— Промокшая панама свисает на глаза Гойи Надцатого увядшим безвольным лопухом.— Пописал немного...

— Ты что, еще не обедал?

— Да вот собираюсь...

— Брось, не ходи. Там одни пси. Имеется шанец ухи похлепать, п-понял?

— Ой, Гошенька, поедем!

— А как же теплоход?

— Ты чего, не знаешь? Ночевать будем.

— А в чем дело?

— Вызывают аварийный катер из Петрозаводска. У тебя есть г-гроши?

— Да найдутся...— Гойя Надцатый готовно копается в тесных карманах узких и мокрых техасских штанов.

— Давай дуй в буфет, бери бутылку и поехали.

— А не помешаю?

— Брось в-выпендриваться. Давай, рви за б-бутылкой. Мы ж на тебя не рассчитывали.

— Да, конечно... хорошо...— бормочет Гойя Надцатый, отдает этюдник и, по-верблужьи отбрасывая в стороны широченные растоптанные кеды, шлепает по дощатому настилу к дебаркадеру. Возвращается он с пузатой бутылкой и полной памамой «Мишек на Севере», прыгает в лодку и, запыхавшись и радостно светясь, приседает на корточки против Савони.

— Ш-шампанское! — разочарованно изумляется Дима-маленький.— Пижон!

— Гоша, вы умница! — застывает Шурочка.— И идите ко мне, вам там неудобно.

Дима-большой отбирает у Гойи бутылку, которую тот, все еще прижимая к груди, встряхивает и разглядывает против солнца.

— Вода, вода, кругом вода-а...— насмешливо тянет он.— Ладно, на похмелку сойдет.

После нескольких рывков шнура мотор резво взывает, и за кормой закипает коричневая от донного ила вода. Лодка, прошивая камыши, рвется от берега, лихо погибает причален-

ный к дебаркадеру теплоход, выбегает на вольную Онегу. Под высоко вскинутым носом хлестко плещет в днище встречная волна.

— Нынче ветерок! — Глаза Савони счастливо слезятся в сощуренных красноватых веках. Он надвигает поплотнее мичманку, пристегивает ее околышным ремешком и прибавляет газу. Лодка послушно рвется вперед, налетает на волны всем брюхом, разваливая их на обе стороны. Ветер тонким сверлом принимается сверлить уши, и все отворачивают воротники и натягивают капюшоны.

— Мухой будем! — смеется Савоня и, заметив, как Рита обхватывает руку Несветского, кричит: — Ты, милая, не бойся! То ли это волна? По такой волне у нас бабы сено с лугов возят. Копну нашвыряют и — поше-ел!

За рулем он по-детски возбужден и непоседлив, высматривая и выверяя дорогу, склоняется то к правому, то к левому борту. Корма под ним осела вровень с волнами, и кажется, будто сидит он вовсе не в лодке, а на гребне кипящего буруна, взбитого винтом.

— Всю жизнь на воде дак! Это теперь все с моторами. А допреж того не знавали-и! Под парусом бегали, а то больше на весельках, на весельках! — Савоня, пересиливая рев двигателя и всхлипы волн, выкрикивает слова с азартным оживлением, и в его неухоженной щетине взблескивают водяные брызги. — Я еще в мальчиках бегал, дак, бывало, в праздники... Как вдарят в колокола, как почнут дилибомкаты! На Спас-острове себе, в Усть-Яндоме себе колоколят! Да в Типиницах, да на Волкострове! Звону на всю Онегу! Ветер не ветер — и оттуда на звон плывут и отсюда! Целыми деревнями. Из гостей да в гости!

Савоня наклоняется над бортом, глядит куда-то поверх волн и, поправив лодку чуть левее, пропускает мимо легкий белый катерок.

— А то ежели свадьба, — продолжает выкрикивать он. — Этим и вовсе волна ничо чем! В одной лодке жених с невестою да с дружками, во второй сваты, а уж опосля еще лодок восемь-десять, сколь увяжутся. Гармошки ревут, а лодки все изукрашены, весла лентами повиты! Другой раз вот так волна взыграет, а бабы-девки знай себе олялешкают, да еще и поплясать норовят на волне-то! Я и сам так-от женился. Из Типиниц бабу свою привез.

От лодочного носа вдоль обоих бортов, будто крылья, взметываются пенистые хлопья, радугой вспыхивает пронизанная внезапным солнцем водяная пыль. Берег с дебаркадером и бе-

лым теплоходом быстро отдаляется, вот и совсем истаивает, и только шпили церквей все еще бегут по волнам.

Прямо по курсу неожиданно встает белая громада теплохода. Судно, погуркивая дизелями, источая из камбуза запах жареного лука, величаво проходит совсем близко от лодки, и становится слышно, как облепившие борта туристы поют дружным многопалубным хором «Долго будет Карелия сниться». Савоня кладет руль круто налево, облетает теплоход с кормы и, поравнявшись с носовыми иллюминаторами, ведет лодку метрах в десяти от борта. С теплоходного мостика раздается рупорный окрик:

— Эй, в лодке! Не балуй! Отваливай, отваливай!

— Это ты, Яковлевич? — радостно узнает голос Савоня.

— А-а! Привет! — отвечает рупор. — Кто там у причала?

— «Сусанин»! «Сусанин» стоит! — кричит в ладони Савоня. — Поломался, ночевать остается!

— Что там у них?

— Не знаю! За аварийным катером в Петрозаводск послали!

— Что они, сами не могут, что ли?

Туристы тоже что-то кричат лодке, машут руками, целятся фотоаппаратами.

Дима-большой, набрав из Гойиной панамы горсть конфет, бросает на палубу теплохода. Конфеты осыпают толпу, шлепаются о борт, недолетевшие падают в воду. На палубе поднимается визг, смех, суматоха.

— Кинь еще! — просят на теплоходе.

Дима-большой начинает метать поштучно, выцеливая девчат.

— Давай сюда!

— Кинь нам!

— А пиво б-будет? — кричит Дима-маленький.

— Чего? Громче!

— Пиво, говорю!

— Не-ту!

— Не зажимай! Бросьте пару бутылок!

— Правда, нету! Все попили!

— Эй, рыжая! Давай ныряй к нам!

— У вас своя есть рыжая!

— Еще одну надо! У нас п-недочет!

— Перебьешься! — хохочут теплоходные девчата.

— Ладно, п-попадись только!

— Чего-чего?!

— Попадись, говорю, м-мокрохвостая!

— Полегче на поворотах!

В Диму-маленького летит огрызок яблока, потом на палубе кто-то выкрикивает «три-четыре», и множество голосов сразу подхватывает:

Не хочу я каши манной,
Мама, я хочу домой!

Теплоход нетерпеливо дудит и прибавляет ходу, и на палубе снова, на этот раз с протяжкой, взлетает:

Ма-ма, я хочу домо-о-ой!

Дима-маленький вскакивает на носовую деку, корчит ответно рожицу и, заложив в рот пальцы, разбойно свистит. Лодку подбрасывает на разбежавшихся от корабельного носа ухабистых усах, Дима-маленький кубарем летит на Диму-большого, и Савоня отворачивает моторку и возвращается к прежнему курсу.

— Иван Яковлич пошел! — говорит он уважительно, оглядываясь на теплоход. — Хо-ороший капитан!

Налетает чайка, первозданно-чистая, стремительная каждым обдутым, плотно пригнанным пером. Птица борется с ветром и, держась почти над самой кормой, деловито заглядывает в лодку. Под ее брюшком видны кулачками сжатые лапки.

— Какая хорошенькая! — умиляется Шурочка, разглядывая дикую и доверчивую птицу. — Никогда не видела так близко!

— Смотрите, у нее на лапе кольцо! — замечает Гойя Надплатый.

— Ой, правда! Она ручная, да? Мальчики, дайте ей что-нибудь!

— Сейчас д-дадим... — отзывается сидящий в лодочном носу Дима-маленький.

Неожиданно, так что все вздрагивают, раздается громкий хлопок, мимо чайки пролетает что-то белое и, описав дугу, падает в волны. Чайка опрокидывается на крыло и летит прочь в красивом планирующем вираже. Все оборачиваются на звук и видят Диму-маленького с дымящейся бутылкой шампанского.

— Промазал, п-падла! — хохочет он, сверкая вставным золотым зубом.

— Зачем же ты спугнул? — обижается Шурочка. — Она так хорошо за нами летела.

— Еще прилетит. Тут их д-дополна. — Дима-маленький

достаёт из-за пазухи «уведенный» из ресторана стакан и отливает в него пенно побежавшее вино.— На-ка лучше, старуха, хватани.

— Да ну тебя!

— Чё ты? Чё тыришься? Я ж её не убивал?

— Давайте, правда, выпьем! — соглашается Рита.— Я вся заоченела.

— Вот это разговор! — одобряет Дима-маленький и передаёт Рите стакан.— Дайте ей конфетку.

— Давайте знаете за что? — говорит Рита.— Давайте за Ладожское озеро!

— Онежское,— вежливо поправляет Гойя Надцатый.

— Разве? — Рита конфузливо прикрывает рот ладошкой.— Я их всегда путаю. Ещё в школе никак не могла запомнить — Ладожское, Онежское...

— Да что ж тут запоминать! — смеется Савоня.— Это вот и есть Онежское! А Ладога эвон где! — он машет рукой за корму.— Ладога к Ленинграду. Мы там в блокаду с батареей под Осиновцем стояли! Ой и дела были!

Бутылка пошла по рукам, досталось немного и Савоне.

— За рулем много и-нельзя! — кричит ему Дима-маленький.— А то на пароход налетит!

— А и веселый парены! — смеется в ответ Савоня и закусывает непривычное питье папироской.

— Мальчики, мальчики! — оживляется Шурочка.— У меня есть идея!

— То есть?

— Давайте напишем записку и бросим в этой бутылке в воду!

— К-какую записку?

— Как — какую? Кто-нибудь найдет и узнает, что мы здесь были.

— Фи! Кому нужна твоя записка!

— Ничего вы не понимаете! Это же интересно!

— Лучше сдать в б-буфет,— хохочет Дима-маленький.

— Что ты, Димка, все со своим буфетом? Буфет, буфет! Несчастный, помрешь, и ничего от тебя не останется.

— Брехня! — регочет Дима-маленький.— У меня зуб золотой. З-зуб останется. Найдут и скажут, во парень был! С фиксой!

Все смеются.

— В прошлом году я была в Теберде,— говорит Рита.— Там берут с собой в горы кисти и тубы с красками. На одном перевале вся скала исписана. Есть надписи даже тысяча восемьсот

девяносто второго года. Какие-то Константин и Соня. Их ведь, наверно, давно уже и нет...

— Это что! — говорит Несветский. — Хотите хохму?

— Валяй!

— Это по Военно-Грузинской. Какой-то шутник в нише над самой дорогой пристроил человеческий череп, а под ним написал: «Я был таким, как вы, вы будете такими, как я. Счастливого пути!» Ничего, правда?

— Фу, какая мерзость! — зябко передергивает плечами Шурочка.

Слева начинает тянуться лесистый берег с белой кромкой прибойя. Сосны то подступают к самой воде, то, отдаляясь, сменяются полянами, кипящими нехоженой цветью. Дима-большой берет гитару и напевает расслабленным баском, как всегда, с насмешливым оттенком:

Ангара и Кама, Енисей и тундра.
Не волнуйся, мама, мы туда, где трудно..

Лодка огибает острый каменистый мыс, отделяющий большую воду от какого-то залива, и все вдруг видят на берегу под вольно разметавшейся сосной островерхую избушку, похожую на адешные часовенки.

— Дак и приехали! — объявляет Савоня.

— Ой, какая славная избушечка! — хлопает в ладоши Шурочка. — Вы здесь живете?

— Не-е! Я там... — Савоня неопределенно машет в открытую Онегу. — Вы, робяты, давайте, вылазьте, теплинку распляйте, обогрейтесь пока. А я сплаваю, погляжу сетки. Три дня стоят, может, и набежало чего ни то...

Все сходят на берег, а Савоня, проворно оттолкнув полечавшую ладью, «мухой» уносится в глубину залива.

7

Избушка почти по самую крышу заросла кипреем.

Дима-маленький, первым добежавший до ее порога, распахивает дверь, подпертую колышком, и гости заглядывают в полусумрачную ее глубину. Виднеются составленные в углу весла, серый ворох сетей с берестяными поплавками. Перед единственным тусклым запаутиненным оконцем — грубо сколоченный стол и лавка. Дима-маленький срывает со стены пучок сухой земляники с темными запекшимися ягодами, пробует жевать.

— А ничё! — одобряет он. — Жить можно!

— Все, мальчики! — Шурочка со вздохом опускается на скамейку и расслабленно роняет руки себе на колени. — Остаюсь здесь и больше никуда-никуда не еду. Вымою полы, повешу на окно занавеску — сказка!

— И я! — подсаживается к ней Дима-маленький. — Ты, старуха, будешь прясть пряжу, а я буду закидывать вон тот н-невод, договорились?

— Нет, Димчик, я одна.

— Б-брезгуешь, да?

— Отвяжись!

— Ага! Все понятно: ты хочешь с Несветским!

— Ничего я не хочу.

— Но учти, Несветский не умеет закидывать невод. Он при галстукке. Через неделю он уморит тебя голодом и сам даст д-дубу, верно, кибернетик?

— Не говори, идя на рать... — парирует Несветский.

— Не ссорьтесь, мальчики! Я не останусь: я совсем забыла, что скоро кончаются каникулы. Идемте лучше собирать дрова. Гости выходят наружу.

Гойя Надцатый, перекинув через плечо ляжку своего сундучка и нахлобучив панаму, отправляется на мыс. У его ног бежит низкое солнце. Оно уже пало на воду и омочило ободок. Далекий пароходик, волоча дым, отважно врзается в правый бок светила и расплавляется в нем, будто в жарком печном устье. И только дым от него все еще волочится по горизонту.

Все разбредаются по берегу.

Шурочка об руку с Димой-большим идут собирать плавун, выброшенный волнами, а Рита, грациозно, по-лосиному перешагивая через валуны, в паре с Несветским у края леса лакомятся земляникой.

— У нее очень красивые ноги, — замечает Шурочка. — Обрати внимание.

— Уже обратил.

— Нет, правда.

— Поэтому она не надевает юбок?

— А что, шорты ей очень к лицу.

— Не к лицу, а к заду.

— Болтун! Не будь я такая толстая, я бы тоже носила.

— А почему ее не едят комары?

— Кого, Риту? Ты о ней говоришь так, будто она тебе не нравится.

— Не люблю задумчивых дур.

— Почему же дура? Она учится на инязе и знает французский.

— Подумаешь!

— Ну хорошо, а я? Тоже дура?

— Нет, Шурок, ты баба компанейская. Мы сегодня с тобой сталкиваемся, ага?

— Не болтай и подними вот это колесо. Как по-твоему, что это такое?

— Это от прятки. У моей бабки в Тюмени тоже была такая.

— А я думала, корабельный штурвал. И вот эту дощечку тоже возьми.

Присмиревшие в заливе волны с легким стеклянным звоном накатываются на зализанные валуны — восемь ровных, один в один валов, каждый увенчанный солнечной чешуйкой. И лишь девятый набегает покруче, пошумней, с белым барашком на хребтине. Этот девятый дальше других валетает на камни и, уходя, оставляет среди них пенные живые озерки. Волны несут с собой крепкий смолистый запах неведомых островов, рассыпанных где-то за окоемом, по ту сторону солнца, пахнет от них рыбьими косяками, пресным духом большой воды, а еще древесным тленом, умершими деревьями, останки коих, выброшенные непогодой, белесые, омытые, тут и там виднеются среди прибрежных камней. Встречаются и следы крушений — смоленые доски карбасных днищ, обломки весел и мачт с истлевшими канатами, и следы разрушенных безвестных очагов — невесомые кружевные плахи наличников, бревна раскатанных срубов и прочие печальные останки человеческого бренного бытия.

Вскоре под сосной на месте старого очага уже пылал большой и жаркий костер.

В заливе слышится частый стукоток мотора, потом становится видно, как из-за горбатых островков, поросших березняком, выныривает Савонина пирога, черной жужелицей скачет по волнам, а вскоре и сам Савоня, по-утиному раскачиваясь, припадая на правую ногу, появляется на тропе с закопченным ведерком.

— Привез, привез! — еще с полдороги обнадеживает он праздничным голосом. — Как не уважить!

У костра он опрокидывает ведро, и несколько лещей, чавкая жабрами и пуская кровавые пузыри, вместе с мокрой осокой вываливаются на траву.

— Бедняжечки! — Шурочка приседает перед ними, сострадательно трогает пальчиком золотые выпученные глаза. Лещи топорщат плавники, бьют хвостами, и Шурочка боязливо убрает руку.

— Хотел вам сижка уважить,— смеется Савоня.— Ан нет, не попался, однако. Усигал сижок! То ли пароходá бойчее стали ходить, керосин пуцать... А уж и было его, разлюбезного!

Он идет с ведром за водой, потом выбирает из вороха дров дощечку, отходит в сторону и, попыхивая «северинкой», морщась и роняя слезу от папиросного дыма, складничком принимается чистить еще живую рыбу. Делает он это с вдохновенной сноровкой, приговаривая и пошучивая, должно быть, и сам получая удовольствие от этих приготовлений.

Прогоревший было костер раскошегаривают снова. Кидают на угли найденный на берегу выброшенный волнами могильный крест-восьмерик, связанный из сосновых комлей. Крест сразу же занимается дымным смолистым огнем. Его обкладывают корягами, обломками досок, оконными ставнями, сверху бросают какое-то корытце с поржавевшими колечками по четырем углам, на боковых стенках которого еще виднеется обветшалая, трухлявистая резьба, изображающая рыбок.

— Хе, какой корабель попался! — щурится Савоня, глядя, как резные рыбки, объятые огнем, шевелятся и корчатся, как живые.— Когда ни то малец в ём качался, начинал свое плавание. Дак и вырос, поди, давно! Сколько годов зыбку-то по Онеге носило. А может, и крест тоже его...

Савоня уходит к заливу, споласкивает там нарезанные куски рыбы, достает запрятанные в лодке соль, луковицу, и вскоре ведерко, пристроенное у края костра, уже побулькивает и дымит дразнящим рыбным парком.

Корытце налилось бегучим малиновым жаром, резные рыбки коробятся в судорогах, отстают от стенок, кучеряво закручиваются и осыпаются тонко звенящими углями. Пламя вскидывается с жадным гудом и треском под нижние ветви сосны, и опаленная хвоя осыпается серыми хлопьями пепла.

— А и весело горит! — одобряет Савоня.— Кидайте, кидайте, робята, грейтесь. Тут этого хламу куда с добром! Сколь по островам да по суземью хоромиں трухлявится, совы живут... Раньше оно как. Раньше мужики кажинный год што ни то ладили. Дома ставили, гумна да баньки рубили. Не себе, так еще кому. Дело завсегда топору находилося.— Савоня черной щербатой ложкой зачерпывает жижицу, пробует, сварилась ли уха.— А теперь что ж... Теперь этого ничего не надобно. Не для кого ладить, дак... Наше, стариковское, теперь дело такое: запасай себе последнюю домовину и дожидайся своего часу. Одно лето попрыгал, ан другое, глядишь, и не доведется...

— Пожирать, б-батьа, не надо,— говорит Дима-маленький, поигрывая хворостинкой, на конце которой пламенеет уголек.

— Это вам не надо. А нам не сдохь, а придется. Онега та-перь не наша. Теперь вам ею владеть. Какие дела вы тут на ей будете делать, с вас спрос. А мы свое уже все поделали на этом свете. И топором помахали, и государство сынами снабдили. Вон разъехались мои сыны, не схотели оставаться дома. Как скворухи из скворешни. Они сами по себе, а я сам по себе...

Савоня, глядя в булькающее ведро, скорбно задумывается, хмурит надбровье, прихватывает верхней губой нижнюю, но тут же оживленно вскидывает голову:

— Дак и чего там! Теперь отцовским домом никто не живет! Это допреж люди друг дружки держались, по лесам да по островам от миру прятались, куда поглуше. Жить старались. штоб ничево не надобно было от прочего миру, ни синь-пороха... Дак и пошто порох, ежели без ружья по три дюжины ко-сачей на повети висело. Силками лавливали. Сами ткали, сами сапоги точали. Одна соль не своя... Ну а теперь, ясное дело, не в лес бегут, а поближе к магазину. Дак я и сам,— смеется над собой Савоня,— старый да хромый, а вон куда из дому забежал! Ни к чему теперь островная жисть. И госу-дарству один нечет. Ни сосчитать нас, ни собрание какое устроить или кино... Глухари, мошники!

Савоня еще раз прихлебывает из ложки и отодвигает ведро от огня чуть в сторону.

— Так... Где вечерять желаете? Здеся или в избе?

— Мальчики, давайте здесь, на воздухе.

— Оно, конешно, вам на воздухе интереснее. Дак тади стол надобно выставить. Там у меня и миска гдей-то была. Только беда, ложек нету, одна-разъединая.

— У нас есть картонные стаканчики.

— Ну тади можно и кушать.

Кличут Гойю Надцатого. Тот молча протягивает руки к огню, потирает выпачканные мелками легкие долгопалые ладо-ни. Взгляд у него далекий, отсутствующий, как у про-рока, и видно, что весь он еще там, на берегу, где осталась его тренога.

Из избы выволакивают стол и лавку, ставят между костром и стеной сторожки, из камней и досок сооружают еще сиденья. Шурочка достает из рюкзака хлеб, полкраюхи сыру, стопку бумажных стаканчиков. Савоня щепкой поддевает ведерную дужку, на ходу обдувает днище и водруживает ведро с ухой на середину столешницы. Все рассаживаются с тем нетерпели-

вым оживлением, которое всегда сопутствует еде под открытым небом.

— А вы что же? — спрашивает Савою Шурочка, разливающая уху по стаканчикам, которых хватило и под водку.

— Кушайте, кушайте, — мнетя в стороне Савою, — я тут за теплинкой посижу.

— Давай, б-батя! — Дима-маленький выставляет три бутылки «Столичной». — Пропусти лампаду.

Савою, поупорствовав для приличия, присаживается на краю скамьи рядом с Гоей Надцатым, вешает мичманку себе на колено, приглаживает волосы, сквозь остатки которых проглядывает младенчески розовый череп, и, пока Дима-маленький откручивает пробку и разливает всем по бумажным стаканчикам, — сдержанно покашливает, делая вид, что осматривает кровлю сторожки. Тем временем Шурочка разливает уху и на обрывках газеты кладет перед каждым по куску рыбы.

— Ой, давайте, давайте! — торопит она. — Есть хочу — умираю!

Стукаются мягкими, гнущимися под пальцами стаканами, Савою привстает, тоже тянется чокнуться: «Побудем живы, дак...» — и выпивает свое степенно, с праздничной торжественностью.

Уха получилась хороша — крепка, навариста, с душистой янтарной пленочкой, и все набрасываются на нее с азартным упоением.

— А вы знаете, — неожиданно разговорилась Рита, платочком вытирая запотевшие очки, — я ведь чуть было не уехала рейсом «Москва — Астрахань».

— Перепутала теплоходы? — усмехается Дима-большой, обирающий мякоть с лещевой хребтины.

— И ничего я не перепутала. Просто не достала путевки. За два дня до меня последнюю продали.

— Суду все ясно.

— Предлагали на сентябрь. Но куда же я в сентябре? В сентябре занятия.

— А что в Астрахани?

— Как — что? Туда и обратно. Есть такой рейс. Пришлось, как видите, плыть совсем в другую сторону.

— А какая разница?

— Не загорись, зиму будешь бегать бледной дурочкой.

— Бегать черной дурочкой лучше?

— Но в общем-то я ничего не потеряла. Здесь, оказывается, тоже неплохо. И потом все на юг и на юг, ужас!

— К-кому добавки? — Дима-маленький, взявший на себя

роль виночерпия, отшвыривает через плечо пустую бутылку и распечатывает новую. Шурочка тоже не забывает подливать юшки и оделять рыбными ломтями, набитыми желтой икрой, похожей на пшеничную кашу.

— Ой, мальчики, не могу! — наконец переводит она дух и двумя пальцами трясет на груди свитер. — Аж жарко стало!

— Накижалась? — хохочет Дима-большой.

— Ужасно, как наелась!

— Давай отстегну юбку.

— Димка, ты невыносимый тип! — обижается Шурочка. — При тебе нельзя ничего сказать. Отчего ты на себя напускаешь?

— На меня дурно влияла улица.

— Болтун! Ты лучше скажи, за что тебя отчислили из института?

— Не отчислили, а ушел по собственному желанию. Как в Одессе говорят, это две большие разницы, мадам.

— Нет, правда. Ты прошлый раз что-то такое говорил... Что-нибудь натворил, да?

— Бывает, Шурок, бывает...

— И что ты будешь делать, несчастный?

— Поеду к бабке в Тюмень, у нее там корова. Или к Димке в Калугу. Буду помогать ему отливать зубы для пенсионеров.

— А разве наш маленький Дима протезист? — изумляется Шурочка. — Димчик, правда? Ты зубной техник? Ни за что не подумаешь!

Дима-маленький, сияя золотым зубом, прикладывает бутылку к сердцу.

— Какой-то там отливщик в платной стоматоложке, — хохочет Дима-большой.

— Так точно, в б-блатной! — выпаливает Дима-маленький.

— Но калым имеет. Так что можешь выходить за него замуж. Правда, зашибает маленько. Все брови стер.

— При чем тут брови? — не понимает Шурочка, и оттого все взрываются дружным смехом.

— На бровях ходит!

— Ладно трепаться! — смущается Дима-маленький.

— А хотите номер? — речочет Дима-большой. — Это как я в первый раз с ним встретился.

— Брось, ну с-сказал... — еще больше краснеет Дима-маленький.

— Захожу, значит, в туалет... Где-то под Кимрами. Смотрю, стоит, чуб на глаза, в зеркало глядится. А самого ведет из стороны в сторону, мордой не может попасть в зеркало.

За столом прыскают.

— Ты чего, спрашиваю, дверь ищешь? А он мне: с-слушай, друг, ув-в-важь... Познакомь с какой-нибудь... А я, приедешь ко мне в Калугу, а-зубы тебе а-зделаю...

— Ой, не могу! — виснет на руке Димы-маленького Шурочка.— Бедный мой Димульчик! И что же?

— Сам, говорю, не можешь познакомиться, что ли? А он: всех уже расхватали, падлы! Есть, говорит, одна, в семнадцатой каюте, да у нее ангина, горло перевязанное, не хочет со мной р-разговаривать.

И опять дружный взрыв хохота, смеется и сам Дима-маленький.

— И ты пообещался? — топочет в изнеможении Шурочка.

— А как же! А иначе не уходит. Там же, в гальюне, заключили трудовое соглашение.

— Ну хохмач!

— Предложил познакомиться с одной. Вы все ее знаете, толстая такая, чулки все на палубе вяжет...

— Тетю Феню? Ой, обхохочешься!

— А ему какая разница? Ему было уже не до Фени... Ага, говорит, уважь... Отвел я его в его же каюту, он сразу и захрапел, отбросил копыта. А на другой день заходит, головой крутит: я, говорит, вчера б-бузил... Это я так... А зубы, говорит, я тебе и затак а-зделаю. Приезжай только в Калугу.

Рита пересаживается к Диме-большому, запускает руку в его брючный карман, достает сигареты.

— Что, подруга, перекур? — трясет он смоляным чубом и, облапав Риту за плечи, поет ей шутивным баском:

Пусть удобства мало, пусть погоды выюжны,
Не волнуйся, мама, все идет как нужно...

Савоня, храня в себе праздничное настроение, радуясь веселому застолию, участливо слушает, о чем говорят гости, потом и сам пытается завести разговор со своим тихим молчаливым соседом.

— Время и нам покурить, дак... — наклоняется он к Гойе Надцатому, протягивая ему обшарпанную пачку «Севера». — Накось моих, простецких.

— Спасибо, не курю, — отстраняет папиросы Гойя Надцатый. — Как-то не научился.

— Это ты правильно. Наука никудышная... Из какой местности будешь?

— Из Куйбышева.

— Так, так...— кивает Савоня.— В Москве бывал, а там не приходилось. В Москве у меня дочка, Анастасья.

— Дочь? Вот как!

— Ага. Меньшенькая. Поначалу просто так поехала, разнорабочей. А потом как-то изловчилась, школу закончила, а заодно и институт. Да там же, в Москве, и замуж вышла. За своего учителя. Правда, мужик уже в годах, но из себя видный, справный такой.

— Это хорошо,— кивает Гойя Надцатый.

— Живут, куда с добром! — вдохновляется Гойиной похвалой Савоня.— Кобелек у них лохматенький, дак и тот на диване спит. Это как побанят, побанят его, рушником оботрут, и — на диван, на подушку. А ежели прогуляют по улице, до ветру или так чего, дак после того непременно лапы ему споласкивают. Это чтоб паркеть не пачкал.

— Значит, погостили в столице?

— Погостил! Дак я хотел и на зиму там остаться, чего мне тут зимой делать? Ан нельзя! Без пачпорта не дозволяют. Насчет этого в Москве бо-о-ольшие строгости. Анастасья мне говорит: так, мол, и так, был милиционер, справлялся, кто таков, почему без пачпорта проживает... Жалко, говорит Анастасья, жалко отпускать тебя, папаня, пожил бы ты у меня в свое удовольствие, да, вишь, нельзя. Давай, говорит, поезжай себе, а то мужу могут быть неприятности по службе. Лучше мы когда к тебе приедем. А я и верно, совесть потерял, две недели без никакой бумажки живу, на лифте катаюсь. Они это по службе, а я шасть на лифт, да и к зверям. У них через дорогу звери всякие, двугривенный билетик. И сажу-посаживаю, уток на пруду хлебушком кормлю. Дак так-то и всякие без пачпортов понаедут, колбасу московскую есть! Непорядок получится! Ты сиди там, где тебе положено, верно я говорю, ай нет?.. Дак из какой, забыл я, местности-то?

— Из Куйбышева.

Савоня наморщивает лоб, но не находит в своей памяти такого города.

— Не-е, не слыхал! — добродушно сознается он и тут же оправдывает себя: — Теперь к нам со всяких местов едут, каких-никаких! А то дак и иностранцы.

— Иностранцы тоже бывают? — вежливо спрашивается Гойя Надцатый.

— А то как же! Целая пропасть! Шляпа так, шляпа этак...

— Наши ведь теперь тоже в шляпах,— замечает Гойя Надцатый.

— Не-е,— смеется Савоня.— Нашего сразу видно, какой он

шляпой ни прикрывайся... А эти ходят, разглядывают, аппаратов по две — по три штуки на шее нацеплено. И на меня иной раз нацеливаются: «Карош, карош!» — Савоня пальцами изображает, как его ловят в объектив иностранцы. — Только я не даюсь. Он только на меня наметится, а я картузом да и заслонюсь. А то и задом к ему поворочусь.

— Это почему же? — включается в разговор Несветский.

— Э-э, парень! — торжествующе грозит ему пальцем Савоня. — Я их хвокусы знаю! Пусть кого надо снимают. А вот скажи мне, — Савоня обращается уже через стол к Несветскому. — Как это понять? Вот стоит она, церква, и все на нее глядят и удивляются. И большие деньги плотют, дай только доехать до наших мест, посмотреть. Так?

— Так... — согласно кивает подбором Несветский.

— А пошто раньше на нее никто не глядел? Парохода плывут, и все до единого мимо. Не замечают тех церквей, как ежели б их и вовсе нету. Вот скажи!

Савоня сощуривается, пытается поймать и удержать на себе взгляд Несветского, но тот выжидательно молчит, барабанит пальцами по столешнице, и Савоня продолжает:

— У меня на Спас-острове дружок есть давний, Мышев. Теперь по плотницкому при музее. Летом в сорок девятом годе заехал я к нему покурить да попроведывать. Глядь, и начальство вот оно из району. Справился тот начальник про колхозные дела, все свое спроворил и уезжать собрался. А церкви середь острова стоят, никак их не минешь. Повернул он на их поглядеть. Походил это он по погосту, поприщуривался. Мы с Мышевым тоже недалече топчемся, што, мол, скажет. Дак и што сказать, что теперь постройки обихожены да прибраны, ученые к ним приставлены, каждую досочку на учете содержат. А тади ограда была порушена, дурная травина из-под порога прет, скотина шастает. И говорит тот заезжий человек: разобрали бы вы, мужики, этот хлам. Завалится, дак и ушибет кого. Сколь под ним-то пашни занято, под погостом. Не то, говорит, хоть одни купола побросайте.

Савоня отрывает от рыбьей головы плавничок, тянет ко рту, но тут же откладывает:

— А теперь вон оно как повернулось! Не успеет один пароход с гостями отчалить, вот тебе сразу оба-два, успевай только принимать да показывать. Што за причина? Должно, указание какое дадено — на церква глядеть.

Дима-большой откидывает голову в раскатистом хохоте.

— Дак, а чего? — растерянно мигает и тоже смеется Савоня. — А иконку теперь и не показывай на пристани. Это как

набегут, как почнут отнимать друг у дружки! Каждый норовит себе ухватить. А то дак одно лето детишек привезли да с учителем. Посадили их на камушках, и давай они церквя каждый себе срисовывать. А учитель меж ими ходит и поглядывает. И так это все усердствуют. Уж, думаю, не из семинарии? Не к духовному ли званию обучают?

— Это, папаша, хорошо,— учтиво поясняет Гойя Надцатый.— Народу надо знать себя, свое прошлое.

— Не-е! — мотает головой заметно охмелевший Савоня.— Я тебе так скажу, начистоту: народу никак не с руки на церквя глядеть. Ему, к примеру, лес надо сплавлять, лен дергать... Когда ему на пароходах кататься? Сто целковых платить за это — не-е! Не поедет, верно говорю! И иконки ему не надобны.

Несветский неожиданно заспорил о чем-то с Гойей Надцатым, и Савоня, видя, что его уже не слушают, договаривает самому себе:

— Оно ведь как: у кого рот, тот и народ... Вон в Вытегре так-то глядели, глядели, да и сгорела церква в одночасье. Семнадцать куполов матушка. С самого Петра простояла. Не-е, ты мне не говори!

Спорили об иконах. Гойя Надцатый, нервно комкая бородку, пытается что-то возражать, но Несветский, на макушке которого задиристо топорщится петушок, запальчиво перебивает:

— Брось, брось, все это мода! Я в Третьяковке специально наблюдал. Вваливается такая мадам с авоськой и: где тут Рублев? Ах как прекрасно! Перед рублевскими досками всегда толпы, и каждый старается изобразить на своей физиономии глубокомыслие.

— Ну почему же изобразить...

— Потому, что никак не реагировать на эти доски считается неприличным.

— Но при чем тут дама с авоськой? Надо говорить о сути явления.

— А вот тебе и суть! — перехватывает Несветский.— Нам ужасно хочется, чтобы и у нас была своя эпоха Возрождения. Но этот твой Рублев — мальчик в коротких штанишках по сравнению с тем же Леонардо да Винчи. У того пластика, анатомия, формы, вполне доступные пониманию человеческие образы из плоти и крови. А что у Рублева? Плоско, примитивно!

— Вы это серьезно? — изумленно выговаривает Гойя Надцатый, и его серые, широко распахнутые глаза смотрят на Несветского с горьким недоумением и болью.

— Мальчики, мальчики! — пытается вмешаться Шурочка. — Давайте лучше о чем-нибудь другом. Ну что вы все: Рублев, Рублев, честное слово!

— Давайте, ребята, споем. — Савоня теребит Надцатого за рукав, но Гойя не слышит.

— Нет, позвольте... — Гойя, бледный от выпитого вина и волнения, даже привстает с лавки.

Савоня отмахивается от спорщиков и, обхватив голову ладонями, в одиночестве сам себе наговаривает песню, уже давно шевелившуюся в нем:

Гляну я далёко — там озеро широко,
Озеро широко да белой рыбы много...

И почувствовав от этих слов счастливый и щемящий озноб, тихо, под шум спора, отпускает свой слабый и неверный голос на волю:

Ах, да озеро широко, ой да белой рыбы много-о.
Дайте, подайте ой да мне шел-ковый нево-о-од...

Но Савоню никто не слушает. Несветский с насмешливым торжеством в голосе выкрикивает:

— На леонардовских мадонн не только молиться, но и жечь их на них хочется!

— Но если хотите знать, образы Рублева превосходят да Винчи своим внутренним драматизмом...

— Ерунда! — обрывает Гойю Несветский.

— Ну дайте же мне сказать, — еще больше бледнеет Гойя Надцатый. — Вы постойте повнимательнее перед его досками, взгляните. Рублевские глаза будут потом преследовать вас годами. Итальянцам этого было не дано при всей их живописности.

— Дак давайте споем, — снова просит Савоня и не получает ответа.

Рита и Дима-большой, окутанные папиросным дымом, уже давно отключились от общего разговора. Дима, притянув к себе Риту за талию, что-то бубнит ей на ухо, мотает растрепавшимся тяжелым куделистым чубом перед ее очками. Та косит на него из-под очков близорукие хмельные глаза и, меланхолически усмехаясь Диминым нашептываниям, выпускает в сосновую хвою над головой колечки сигаретного дыма. Потом молча встает и, нетвердо переступая своими сохатыми ногами через валежины, удаляется к ельнику, что темнеет на задах сторожки. Через некоторое время, хватив залпом водки из чьего-то стакана и забрав с лавки Ритину

болонью, Дима-большой уходит тоже, грузно хрустя сушняком.

— Пойду дровец пособираю...— оборачивается он с усмешкой.

— Давай ломай сухой! — подмигивает Дима-маленький, разливая из бутылки.— Кончайте вы орать, о-охломоны! Шурок, давай дерябнем с тобой. Ну их всех к ч-черту!

— Ну хорошо,— насаждает Несветский.— Давай возьмем эту самую церковуху, которую нам сегодня показывали... Святого Лазаря, что ли? Называют ее уникальной древностью, то-сё... Но что в ней особенного? Ну скажи честно, что ты нашел в этом Лазаре? Да ничего! Какая-то баня с крестом... И потом, когда рубили этот убогий курник, уже давно стояли действительные шедевры. Возьми хотя бы храм святого Марка в Венеции. Или Петра и Павла в Риме, Софию в Константинополе... Да куда там!

— Ну зачем же... Зачем же такие произвольные сопоставления? Дело ведь не в том, кто раньше!

— Давайте, я вам свеженького налью,— предлагает Савоне Шурочка, видя, как тот пытается подцепить непослушными пальцами все ту же рыбью голову, что лежала перед ним на мокрой газетке с самого начала.— Вы совсем ничего не съели. А то опьянеете...

— Не-е! — мотает головой Савоня.— Я не пьяный!

Он неловко, засидело встает, роняет с колена картуз и долго ищет его под столом в чьих-то ногах. Найдя же картуз, опускается на плоский камень перед меркнувшим костром, подбрасывает на угли обгорелые концы и замирает, вытянув вперед правую ногу. Где-то рядом, за желтым пятном огнища дробит о карги свои неусыпные валы Онега: восемь и девятый, восемь и девятый... Зыбкий свет костра высвечивает корни старого дерева, обнаженные, ястребино-скрюченные, цепко обхватившие валуны. Глухой шум прибоя сливается с вершинным шумом сосны, в кроне которой что-то скрипит и постанывает. Савоня слушает этот шум и, допраздняя в себе свой праздник, возвращается к песне:

Ах, дайте, подайте ой да мне шелковый нево-о-од,

Ах, да шелков невод кинуть, ой да белу рыбу выну-у-уть...

Песню эту любил петь еще Савонин дед, а деду, должно, досталась она от его дедов — стародавняя запредельная песня. Помнит Савоня, как однажды — и больше потом не доводилось — ездили они с дедом на ярмарку в далекую и сказочную Шуньгу, ошеломившую тогда Савоню-мальчика непроломным скопищем народа, лошадей, лавок, веселой пестротой свезен-

ных туда обонежских, поморских и питерских товаров: топов, пил, прялок, разрисованных дуг, щепной рухляди, тканого узорочья, куньих и горностаевых связок, дегтярных бочек и семужьих балыков... Ехали в Шуньгу не день, а уже и запамятовал сколько, помнит только, как скрипели на раскатах обозные сани, фыркали заиндевелые, с белыми ресницами кони, как хлопали рукавицами озябшие ездоные. Савоня лежал в уютной темени тулупа, задремывал и просыпался то в Подъельниках, то в Губе Великой, то в Космозере... А Шуньги все не было, и дорога бежала и бежала обочь молчаливых боров и усопших подо льдом проток и речек. И все маячила в санном передке дедовская заснеженная баранья шапка, и слышалось неторопливое, отлетавшее с дыханием, с морозным парком:

Ах, да шелков невод кинуть, да белу рыбу вынуть.
Ах, да бела рыба щука, ой да белая белу-у-уга-а-а...

Савоня неспешно и бережно, как тонкую мережу, разматывает свою с детства любимую песню, пряча напев за шумным и непонятым спором, все еще продолжавшимся за его спиной, и жалеет, что праздник как-то поломался, не попели хороших песен. Зачем было и ехать?

Между тем Гойя Надцатый, окончательно обидевшись на Несветского, уходит на мыс к брошенной треноге, Шурочка пытается его удержать, а потом напускается на Несветского:

— Ну скажи, за что ты на него навалился? Вечно ты со своими дурацкими спорами!

— Почему же дурацкими? — Несветский засовывает руки в брючные карманы и возбужденно, с победным чувством петуха, только что расклевавшего голову своему хилому противнику, прохаживается вдоль стола.— Все эти иконки, лапти, Иваны Калиты, протопопы Аввакумы...

— У тебя в волосах паук! — вдруг вскрикивает Шурочка.

— Где? Разве?..— Несветский, смешавшись, отряхивает волосы, ломая свой аккуратно расчесанный пробор.

— Ой, вон он побежал по рукаву! Ужасно боюсь пауков!

Несветский оглядывает пиджак и щелчком сшибает что-то с обшлага.

— Так вот... Надо смотреть не назад, а вперед. Если хочешь знать, атомный реактор — вот мой Рублев! Это штука! Тут мы действительно можем кое-кому утереть нос и оставить после себя настоящие памятники! Я вас как-нибудь приглашу в наш институт, убедитесь. Между прочим, я там возглавляю наше студенческое КБ.

— Что такое — Ка Бе?

— Ну как же ты не знаешь таких элементарных вещей?! Конструкторское бюро. Между прочим, меня оставляют в нем после окончания института.

— Ладно тебе б-бузить... кыбырнетик... — Дима-маленький колотит деревянной Савониной ложкой по недопитой бутылке.— Д-давай лучше х-хлобыснем... Вот он где, р-рреактор, понял? А х-хочешь, м-морду набью...

— Ой, мальчики! — спохватывается Шурочка.— Наш дядечка совсем задремал, бедненький!

Савоне хочется сказать Шурочке, что он вовсе и не задремал, но ему становится жаль обрывать песню, и он в ответ качает головой.

Ах, да бела рыба щука, ой да белая белуга-а-а.

Ах, да куда девкам сести, ой да белу рыбу чи-и-исти-ить...

— Давай, Ш-ш-шурка,— уже с трудом ворочает языком Дима-маленький.— П-по-ехали ко мне в... Калугу. Я тебе з-з-зубы з-зделаю... Без всякой очереди, п-поняла?

— Ой, уморил!

— З-зделаю! Гад б-буду... Девяносто шестую пробу. Люкс!

— Димка, какой ты пьяненький, ужас!

— Чего? Девяносто шестые зубы... з-знаешь кому только д-делают? Не знаешь! А ты, дура, лыбишься! Б-брезгуешь мною, да? Нет, ты скажи...

Ах, да белу рыбу вынуть... —

сбивается на старое Савоня и затихает, роняет голову на грудь...

Чудилось ему, будто он и на самом деле выбирает невод по темной осенней воде и невод этот тяжел и бесконечен. Савоня все перехватывает и перехватывает тетиву и видит, как в черной глубине огненно мечутся запутавшиеся сиги, высвечивают вокруг себя ночную воду. Савоня спешит-поспешает вытащить сигов, но глядеть на них жарко, невольно, и он отворачивается и, обжигая руки, торопко рвет их вместе с ячеями. Рвет и бросает, рвет и бросает... В лодке появляется Дима-большой, он громоподобно хохочет, и эхо шарахается по ночным шхерам и островам: «О-хо-хо! О-хо-хо!» А рыбы пляшут на огненных хвостах, бьются о дно лодки и со звоном рассыпаются на красные каленые угли...

Савоня приходит в себя от жара, бьющего в лицо. Он невольно отстраняется, трет накалившиеся штанины и только теперь различает по ту сторону высокого языкастого костра,

сложенного из сухих валежин и лапника, возвратившегося из лесу Диму-большого. Озаренный отсветом, багроволицый, с набившейся в цыганистые кудри сухой хвоей, Дима-большой наотмашь лупит по гитарным струнам и, раскачиваясь и передегивая плечами, выкрикивает хриплым осевшим голосом:

Катарп-и-на! Ох-хо-хо! Ох-хо-хо!

Перед ним, приседая и вертя из стороны в сторону коленями, двигая локтями и прищелкивая пальцами, топчутся в каком-то непонятном плясе Несветский и голенастая Рита. Лица у обоих бледны и сосредоточенны, длинные тени танцоров ребристо извиваются на освещенных бревнах сторожки.

Как ты странно идешь!
Ты вот-вот упадешь!
Катарп-и-на! Ох-хо-хо!

— Ох-хо-хо! — откликается издалека Дима-маленький, в одиночестве оставшийся досиживать за столом. — Д-давай, Ритка... накручивай б-бормашинку!

Савоня застится рукой от жаркого света и не замечает, как хрумкает в костре перегоревшая валежина, как осыпается и подкатывается дымным концом под вытянутую бесчувственную ногу. Накаленная у огня и пропитанная лодочным мазутом штанина тотчас вспыхивает вместе с ботинком. Савоня сдергивает с головы мичманку, колотит ею по ноге, стараясь сбить пламя. Штанина дымит под ударами картуза, но, раздуваемая взмахами, тут же занимается снова, и пламя переметывается к самому колену. Савоня откидывается назад и, повалившись навзничь, отталкиваясь здоровой ногой, пытается на спине отползти подальше.

Рита первая замечает барахтанье на земле и дико вскрикивает. Дима-большой, отшвырнув гитару, хватает Савоню под мышки и, будто куль, оттаскивает от костра. Потом бежит за ведром и выплескивает на тлеющую ногу остатки ухи. На переполох у сторожки прибегают перепуганные Шурочка и Гойя Надцатый. Под обгорелым и мокрым тряпьем темнеет коричневая голень, и Шурочка, взглянув на обезображенную ногу, болезненно закрывается руками.

— Ой, мальчики, как же это?!

— П-перевязать... н-надо... Ерунда. — Дима-маленький, пошатываясь, выходит из-за стола, сбрасывает куртку и пытается порвать на себе рубаху. — П-перевяжи батю, Шурка... Он мужик... м-мировой...

— Ой, да ну тебя!— пугается Шурочка— Ни в коем случае! При ожогах нельзя.

— Ничего... Пустое...— бормочет Савоня, поднимаясь.

— Соды бы надо,— переживает Шурочка.

— Не-е!— трясет головой Савоня и виновато глядит на ребят.— Вы не беспокойтесь. Ничего не надо. Она у меня такая... Не горит.

— Это у вас... протез?— почему-то еще больше пугается Шурочка, и все в молчаливом оцепенении глядят на Савонину ногу.

Такие ноги встречаются все реже. Многие их владельцы уже отходили свое. Оставшиеся после них фабричные и нефабричные подпорки спрятаны родственниками на чердаки и в кладовки, чтоб не напоминали, не бередили душу. А те, кто еще вживе, за долгие годы наловчились прятать свои фальшивые ноги от посторонних глаз: стараются ходить без палок и костылей, не лезть в трамваи и троллейбусы с передних площадок, не ломиться к гастрономной кассе без очереди, чтобы казаться равными со всеми и не вызывать излишней жалости, а то и молодой и жестокой неприязни. Уходящая в прошлое жизнь сама сглаживает рубцы и острые углы своей истории, и потому, наверно, как на страшную диковину, гораздо более страшную, чем обожженная живая нога, все молча и напряженно глядят на Савонин протез, невосприимчивый к ожогам.

— Это у вас с войны?— нарушает молчание Шурочка.

— Да вот... маленько зацепило,— кивает Савоня.— На Ладогe.

Ногу он потерял в сорок втором лихом году под тем самым Осиновцем, у причалов которого швартовались изрешеченные пулями и осколками суденышки, добравшиеся по Ладогe с грузами для блокадного Ленинграда. Правда, служил он в частях ПВО, но в тех местах это было ничуть не лучше передовой, поскольку немецкие пикировщики специально охотились за зенитными батареями, прикрывавшими причалы. Наглые одномоторные «юнкерсы» изматывали батарейцев, засыпали их бомбами, хлестали пулеметными очередями, и все же Савонина вторая батарея продержалась несколько месяцев. Лишь осенью сорок второго уцелил-таки злодей: тяжелая фугаска вырыла на месте Савониной пушки глубокую, до воды, воронку. Самого же Савоню нашли в соседнем сосняке: он сидел в луже крови и судорожно дергал за обмотку, один конец которой еще был подвязан под коленкой, тогда как на другом болтался повисший на суку бо-

тинок, оторванный вместе со ступней. Той же ночью потерявшего сознание Савою переправили с попутным катером на Большую землю, где в Ярославле ногу еще раза два укорачивали и укоротили выше колена.

— Ну-ка, батя, пройдишь, как оно...— просит Дима-большой.— Ботинки вроде цел, одни только шнурки обгорели.

— А и ладно! — Савою топают ногой, стряхивая с протеза прилипшие рыбы кости и хлопья вареного лука.— Сойдет! Автольчиком смажу суставы, опять как новая будет. У меня раньше самодельная была. Как с госпиталю пришел, так сразу и состругал. А эту уже опосля дочка подарила.— И, оживившись, рассказывает, как подарили ему ногу:— У них, в Москве, на самодельных теперь не ходят. Приехал я к Анастасеи, а она мне и говорит: ты, папаня, ногу-то эту смени-и. А то весь паркетъ мне поистыкаешь, и от соседей неловко. А я, и верно, как в Москву ехать, новый рапсиль заколотил...

Все смеются, добродушно двигает морщинами и Савою.

— Дорога-то не близкая. Дай, думаю, ходулю себе подвою.

— Перестарался, значит?

— Дак из-за этого и купили мне новую опору, московскую. Обувай, говорит Анастасея, а старую давай снимай. Да сразу и шуганула куда-то, аж гуд по всему дому пошел...

— Это она в мусоропровод, труба такая.

— Может, и в трубу... Пришлось мне в новую обряжаться, куда денешься... Нога, и правда, занятая, в коробку уложена, загорелая, одни заклепки выдают, што не живая. И книжечка при ей, как употреблять. Во куда техника пошла! Да еще две ботинки купили. Ходи, говорит, папаня, не береги, а то будешь беречь, а здоровье дороже. А я поначалу дак раза три, а то и четыре ковырнулся, пока приучался. А то уже, как домой ехал, в Петрозаводску сверзился, с поезда слазил. Вагон-то дали в хвосте, а пристани ему не хватило. Я-то ногу окаянную спустил, а земли все нет и нет, да и сиганул... Вот как бок отбил! Ан доскондыбал до дому, ничего... Теперь дак и привык, бегаю...

Савою, подобрав полу бушлата, подравнивает обгорелые лохмотья, складным ножиком чекрыжит прямо по ноге.

— А и крепкая холера! Сколь годов ношу, другой раз ею заместо весла правлюсь — и не трескается! Што за матерьял такой? Вот и в огне побывала...

— Ты давай и другую порточину подрежь,— добродушно похохатывает Дима-большой.— Как у Ритки, шортики сделай. По моде!

— А и дела!— Савоня в конфузливом смешке оглядывает кургузую штанину.— Чистый турист!

— Иди, бать, в-выпьём...— икает Дима-маленький. Он оборвал все пуговицы на рубахе, выпустил одну полу из штанов, и теперь, свесив голову, полусонно сидит на лавке, синев какой-то расплывчатой татуировкой на больнично-белой груди.— У меня дядька т-тоже... на заду к-катается... Все ч-четыре колеса, п-понял? Пиж-жоны! Про историю все... т-тырятся... Покажи им, б-бать, как она... д-делается... Падлы... Глядите и з-з-запоминайте... Ленарда Недовинчинный... М-махали мы его, понял? Морды щас буду б-бить...

— Слушай, не заводись,— просит Дима-большой.

— Зачем вы его брали?— морщится Рита и по-свойски запускает руку в карман Димы-большого, достает сигареты.— Он совсем невменяем...

— Набью!— икает Дима-маленький.— Кыбырнетяку я-набью...

— Поехали-ка лучше к тете Фене, а, друг?

— Ой, поедемте, поедемте, мальчики! Спать хочется — ужасно!

Было только три часа с небольшим, а уже над темной гривой леса по ту сторону залива всходило раннее онежское солнце. Оно вставало неяркое, стылое, и на него можно было смотреть не застясь. Низкие слежалые облака тотчас урезали его наполовину, а потом и скрыли совсем.

8

Возвращались по тихой воде.

Онега, наплескавшись за ночь и наволочив на себя пухлое одеяло облаков, умиротворенно дремлет в утреннем забытьи. Вскидывается зоревая рыбешка, хороводясь, дробит сонную воду, оставляя после себя медленно разбегающиеся колечки, похожие на шлепки дождевых капель.

— Сорога играет, к дождю, однако!— шурится из-под картуза Савоня и, обернувшись, глядит, как лодка пашет на два отвала мягко сияющее раздолье.— Скоро паровой окунь пойдет, на мелкое, на луды.— И поясняет, выкрикивая:— Это который табунится по теплой воде, по пару! Еще не время ему! Черёма по островам не оцвела! Рано быть паровому!

— Со скольких там... б-буфет?— Дима-маленький перевешивается через борт, плещет в лицо с ладони, пьет и шумно отфыркивается.

— Что, друг, перебор?— усмехается Дима-большой.— Два туза?

Дима-маленький молча валится на осочную подстилку и натягивает на себя куртку. Скоро из-под нее раздается засосный храп.

— Все! Этому уже Карелия снится...— кивает Дима-большой и, насмешливо разглядывая обшарпанные сандалии, торчащие из-под голубой куртки, напевает:

Тещи, матери и жены,
Не горюйте, не грустите,
К вам вернутся робинзоны
С чемоданами открытий...

— Ой, мальчики! Мы забыли занести стол...— вспоминает Шурочка.— Там все так раскидано...

— Не беспокойтесь!— отзывается Савоня.— Вернусь когда — приберу. А то дак и сороки подчистят.

— Это ваша избушечка?

— А— ничья! Так, порожняя... Рыбаки себе срубили.— И, оживившись, рассказывает: — Об прошлом годе так-от двое из Москвы облюбовали, недели три жили, дак... То ли муж с женой, а может, и так просто... На сетях спали вместо постели. Он дак и не брился, пока жил,— бородой оброс. Хочу, говорит, опроститься, ни о чем не думать. Тут, говорит, как в раю. И все, бывало, милуются, рука об руку ходят, грибки-ягоды собирают. А я их рыбкой еще подкармливал. Как раз окунь паровой валом валил. И в магазин плавал, за вином да за куревом... А потом што-то занеладили. Он себе на берегу сидит, она себе... То ли деньги поизрасходовались, то ли наскучило... Рай-то рай, да ежели только недолго.

— Бывает, бать, бывает...— Дима-большой шарит по карманам у похрапывающего Димы-маленького, достает колоду карт, предлагает:— Ну как, ацтеки, врежем дурака?

Между скамейками ставят перевернутое ведро, Дима садится в паре с Шурочкой, Несветский с Ритой. Гойя Надцатый играть отказался. Он достает альбомчик и, уединившись на носу, что-то черкает, поглядывая на пробегающий справа берег.

Где-то на волпути встречается черный скуластый буксир с километровым хвостом из связанных бревен. Буксир тяжело, утробно сопит и еще издали окатывает моторку едким соляренным дымом, который вычихивает из низкой жерластой трубы. Сиплый гудок требует дорогу, но Савоня не сворачивает, а только глушит мотор, и плотогон с крупной белой над-

писью по носу «Семен Дежнев» медленно проходит левой стороной. Из рулевой рубки высовывается женщина, по самые глаза повязанная красной косынкой, пристально и строго вглядывается в пассажиров моторки.

— Здорово, Анна!— кричит ей Савоня.— Одна рулишь? А где ж твой Иваныч?

— Спит,— неохотно откликается женщина.— Нарулился...

Позади рубки на такелажном рундуке из-под бушлата торчат раскинутые босые ступни. Тут же беленькая девочка, склонившись над алюминиевой кастрюлей, чистит картошку. Мальчик поменьше в балахонистой тельняшке пинает ногами волейбольный мяч, подвязанный, чтобы не падал за борт, к длинной жердине. Девочка первой замечает моторку, с ножом и картофелишой подбегает к поручням. Дима-большой нашаривает в кармане завалившуюся со вчерашнего конфету, замахивается и бросает на палубу буксира. Девочка испуганно убегает за рундук.

— Но-но!— остерегает женщина.— Я тя швырну!— и грозит кулаком из рубки.

— Ты чего?— удивляется Дима-большой.— Дура ненормальная!

— Это Анна,— коротко поясняет Савоня.

— Тулисты! Тулисты!— выкрикивает парнишка, показывает лодке язык и тоже, мелькая босыми пятками, улепетывает за рундук.

— Я тя кину, холера! Шляются тут...— женщина круто матерится и отворачивается к штурвалу.

Савоня снова запускает мотор, и лодка мчится мимо плота, облепленного отдыхающими чайками.

Незаметно начинает сеяться тихий неспешный дождь. Онега теряет свой фольговый блеск, тускнеет и шершавеет, морось обкладывает горизонт.

Игра в подкидного расстраивается.

Дима-большой притягивает к себе Риту, накрывается вместе с ней общим плащом. То же самое проделывает Несветский, сидящий рядом с Шурочкой. Гойя Надцатый прячет за пазуху альбомчик и натягивает на панаму капюшон штормовки.

Савоня, оставшись наедине с самим собой, поудобнее гнездит голову в поднятом вороте бушлата, недвижно затаивается на кормовой лавке, и только глаза его живо и зорко бегают под навесом козырька, увешанного дождевыми каплями.

Две гагарки заплотшно взлетают из-под самого лодочного носа, опцсывают круги в сером и низком поднебесье. С фор-

ватерной вехи снимается орлан, неохотно тянет в сторону. Гагарки, заметив его, с лету пикоподобно вонзаются в Онегу. Тяжело ухает крупная рыбина, и Савоня догадывается, что сыграла она на луде, которую не мешало бы как-нибудь обметать мережками. Время от времени внезапно набегают скипидарными волнами завешенные моросью близкие берега, и тогда Савоня чуть трогает руль, уходит от незримых скал на открытую воду.

Как всякий туземец, он не умел отделять себя от бытия земли и воды, дождей и лесов, туманов и солнца, не ставил себя около и не возвышал над, а жил в простом, естественном и нераздельном слиянии с этим миром, и потому, должно быть, как душевный отклик на занимавшийся день, в нем само собой забраживает вчерашнее, давнее, вечное:

Ах, да бела рыба щука, да белая белуга...

Потерявшимся телком где-то в шхерах взмыкивает теплоход. Отголоски его гудка мягко толкаются в сыром ватном воздухе о невидимые берега и, отразившись эхом, блудят в проливах. Савоня слушает гудки и пытается разобрать, что за теплоход, откуда и куда идет, и вдруг догадывается, что это дудит «Иван Сусанин», не иначе, как успел уже починиться.

— Где плывем?— не сбрасывая плаща, спрашивает Дима-большой.

— Дак и вот уже!— бодро выкрикивает Савоня.

И в самом деле слева проглядывают знакомые разливы лозняка, обрамляющие берег, буйные камыши по мелководью, и вот уже за изредившимся дождем, повисшим над водой парным куревом, проступают и островерхние строения Спас-острова.

— Подъем, ребята!— шумит Савоня.— Приехали, однако...

Но прежде чем подправить лодку к причалу, до которого уже оставалось рукой подать, Савоня вдруг замечает туманную глыбу «Ивана Сусанина», уже отвалившего от дебаркадера и вышедшего на большую воду.

В лодке закричали, засвистели, Савоня поддает газу и пускается догонять теплоход.

Капитан долго не хотел останавливать судно, кричал в микрофон, что ничего не знает, пусть опоздавшие плывут на чем угодно, и даже грозился выбросить за борт оставшиеся в каютах чемоданы, но под конец все-таки смягчился и разрешил опустить трап. Савоня подгоняет моторку к борту, придерживает брошенную чалку, матросы, подтрунивая и пере-

мигиваясь, подхватывают под руки Шурочку и Риту, затем втаскивают сонного, обмякшего Диму-маленького в распахнутой настежь рубахе. Трап убирают, и теплоход сразу же всплывает за собой воду.

Савоня тоже запускает мотор, плывет рядом и, запрокинув голову, старается разглядеть среди столпившихся пассажиров своих недавних знакомых.

— До свиданья!— кричит ему сверху Шурочка, и он растерянно выглядывает и с трудом находит ее в пестрой толпе.

— Прощевай, милая!

К поручням проталкивается Дима-большой, бросает Савоня какой-то синий сверток, который разворачивается на лету и падает в лодку распластанными тренировочными штанами.

— Это тебе!— кричит Дима-большой.— Сам знаешь, за что...

— Ой, парень! И не надо бы...

— Там в кармане троя-як!— трубит в ладошки Дима.— Ну, будь здоров, батя! Садют! Дыши глубже! Ну, будь!

Теплоход гудит так, что на палубе все зажимают уши, лодка, отброшенная бортовой волной, сбивается с хода, постепенно отстает. Савоня поднимается, роняет с колен мешковину, которой прикрывал обнаженный протез, и, стоя, долго машет теплоходу картузом.

Позади него, окутанные мгlistой наволочью, брезжат верхами островные храмы. Они будто парят над тусклым серебром Онеги, кисейно-призрачные, неправдоподобные, как сновидение.

НА РЫБАЧЬЕЙ
ТРОПЕ

*Рассказы
о природе*

ТРОПА ДЛИНОЮ В ЛЕТО

1

Приходилось ли вам ходить рыбацкой тропкой?

Это самая длинная их всех троп. Обыкновенные лесные и полевые дорожки торопятся поскорее привести путника, куда ему надо. Но если ступишь на рыбацкую тропу, не скоро доберешься до дому: куда река течет, туда и тропа вьется. В ином месте, если напрямик считать, не больше километра будет, а пойдешь тропой-береговушкой, часа два проходишь. То выбежит она на веселую ромашковую поляну, то ужом проползет под корнями, свисающими с крутого обрыва, подмытого половодьем, то затеряется в прибрежном песке, усыпанном ракушками.

Какой длины река, такой протяженности и рыбацья тропа. Ходят по ней от самых истоков до устья. Но и тут не конец тропе. Она перебирается на берег другой реки и провожает воды своей новой спутницы до того места, пока та, в свою очередь, не сольется с еще большей рекой. Так, почти через всю страну, через лесную северную глухомань, средне-русские светлые дубравы, через степные просторы юга, до самого моря ведет рыболовов береговая тропа, зовет их на поиски радостного, но нелегкого и сторожкого рыбацкого счастья.

Трудно сказать, когда после зимнего бездорожья появляется первый след на этой тропе.

Едва только на реке зачернеют промоины, рыбац-непоседа уже укладывает свои нехитрые пожигки. И ведь знает: рано выходить с удочкой, но утерпеть не может. Так радостно журчат вешние потоки, такая вокруг благодать, что рыболов дома места не находит. И, приняв решение, огчего на сердце сразу становится легко и беззаботно, отправляется по рыбацкому первопутку. Идет целиной, посеревшей, изъеденной туманами. Проваливается в снег, забирая за голенища сапог. Осторожно, опираясь на удилице, скользит по наледям, залитым коричневатой водой, и наконец выбирается на берег. Глядит, а на обрыве уже чернеют в снегу глубокие провалы следов,—

такой же одержимый обновил рыбацью тропу. С этого дня все больше следов, все торнее становится береговая дорожка. И не стихнет оживление на великом пути беспокойного племени рыболовов до новых снежных заносов.

Тропа не пустует ни днем ни ночью. В любое время суток кто-нибудь и где-нибудь шагает берегом реки.

Субботним летним вечером рабочие поезда и пригородные автобусы, оцетинившись лесом удилиц, развозят рыболовов во все концы и по всем дорогам. Один за другим, растянувшись на много десятков километров, соскакивают удильщики на полустанках и разъездах, сходят с автобусов у проселочных дорог и тихих деревушек и тотчас теряются в зеленых просторах, в густеющих сумерках. Веселыми компаниями или в одиночку пробираются они к заветной тропе. Идут влажными, согретыми дневным теплом поемными лугами, терпеливо продираются сквозь шуршащее море камышей — необъятное комариное царство, — шагают гулкими сосновыми борами и говорливыми осиновыми перелесками.

Ступив на заветную береговую тропу, рыболовы чувствуют себя дома. Гостеприимная тропа быстро разведет их по излюбленным «сижам». Одних — к таинственному мельничному омуту, тускло мерцающему отраженном звездной россыпи. Других — на самый кончик песчаной косы на перекате. Третьих — под старые сонные ветлы, склонившиеся над глубоким плесом. Четвертых... да мало ли знает рыбацья тропа укромных добычливых местечек! Вот у края кувшинок, закрывающих на ночь свои белые розетки, поднялся водяной бурун. Серебряными брызгами запрыгала рыба молодь, закачались на круговых волнах широкие лопухи. Ставьте поскорее жерлицу и ожидайте поклевки щуки. А здесь, у коряги, опутанной космами наносного ситника, забросьте надежнее снасть на сома. Не хотите? Тогда ступайте на крутой обрыв, где у самого дна забились на линьку раки. Там прогуливаются черноспинные голавли, поджидая добычу.

Тихо и покорно догорела вечерняя заря. У кого есть — натянуты палатки, у кого нет — принесены охапки сена, свежей травы, сосновых лап, ивовых прутьев. Наскоро выпотрошены полосатые окуни, собран сушняк в прибрежных кустах. И вспыхивают один за другим веселые рыбацкие костры, вспыхивают по всей береговой тропе от истоков до устья. Похоже, что кто-то включил рубильник, и тотчас на всем протяжении великого пути рыболовов засияли дорожные маяки.

Это, пожалуй, самые счастливые, самые безмятежные ми-

нуты для тех, кто пришел на берег из душного города.

Ярко пылают языки пламени, поет и пенится в костре ветка сырой таволожки, влетают и гаснут хоромы искр. А в котелке булькает ни с чем не сравнимая рыбацкая уха, приправленная лавровым листом и надвое разрезанной луковицей. Нет в мире более заманчивого лакомства, чем окуневая уха, сваренная на берегу летней ночью!

На тропе послышались шаги. Это сосед идет на огонек. Вот увидишь, сейчас скажет, что у него нет спичек и он зашел прикурить от уголька.

Наивная хитрость! Скучно одному коротать ночь. Но вы погодите жалеть, что к вам подсел незванный гость. Потому что, как только грубка будет раскурена, завяжется интереснейший разговор, какой умеют искусно сплести только рыболовы и охотники. Начинается он обычно с погоды, клева, приманок, снастей, привады, но обязательно перекинется на воспоминания о каком-нибудь небывалом случае.

— Ловил я прошлым летом под Духовцом с лодки,— начинает он, например.— Пускал с носа в проводку... А с кормы свесил жерличку, так, на всякий случай. И, знаете, взяла, окаянная! Слышу, застрекотала рогатулька о борт. Подсек. Эх и понесла же, эх и заходила!.. Попробовал потянуть — не поддается. Минут двадцать куролесила. А потом всплыла. И такое, знаете, весло! Килограммов на десять! Ну, кое-как забагрил, выволок в лодку. Одумалась и давай выганцовывать. Ухватил я обеими руками под жабры, прижимаю, а она ну хвостом меня охаживать. Чую, не удержу, вывернется. Было б дело на берегу — это проще, а в маленькой лодчонке шутки плохи. Тут и пришло мне в голову: дай, думаю, я ее в сапоги обую. Стащил ногу об ногу сапоги, один надел ей на рыло, другой — на хвост. Положил на дно лодки. Вроде успокоилась. И, верите, только я было прошел в нос, к удочке, как подскочит она, как громыхнет сапогами! Один соскочил с хвоста и метра за три шлепнулся в воду. Не успел я и пальцем шевельнуть, как она, окаянная, будто пружина, перелетела через борт и с другим сапогом на голове скрылась в омуте, только на том месте пузыри посыпались. Видно, из голенища.

Вот какие удивительные истории можно слышать в короткие часы летней ночи. Насколько они правдоподобны, оценит ваш опыт. Но как бы он ни был богат, с каждой такой встречей у костра ваши познания становятся еще полнее и глубже. О чем только не переговорают рыболовы у ночного огонька! И, заметьте, какие это тонкие, наблюдательные люди, с

каким глубоким пониманием природы, ее мудрых законов, ее бесконечной поэзии!

Поужинав, вы беззаботно распластываетесь тут же у костра, подмяв под бока ромашки и подложив под голову набитую травую кепку. Вечер теплый, пряный, ласковый. Сонно переругиваются лягушки, жужжат и глухо шлепаются в траву привлеченные огнем хрущи. Комары больше не надоедают, как раньше, на заходе солнца. Они попрятались от дыма в раkitнике и осоках. До сих пор вы и не подозревали, что можно так удобно устроиться на ночлег где-то за тридевять земель от своей домашней койки.

И вот тут-то сосед рыбак, по-хозяйски поправляя угли в костре, задает каверзный вопрос:

— А плаща вы с собой не захватили?

— Нет. Зачем? И так тепло.

Тогда сосед, пряча в усах добродушную ухмылку, сообщает:

— К утру будет дождь.

— Дождь? Какой там дождь! Небо ясное, ни облачка, тихо, даже ветка над головой не колыхнется.

— А вы не заметили, какая нынче была заря?

Заря? В самом деле, какая же была нынче заря? Увлечшись сбором хвороста, вы и не увидели, как она догорела...

— Розовая...— отвечаете, припомнив, что в книжках зори называют розовыми, румяными...

— Верно, розовая,— соглашается собеседник.— Даже малиновая. Это и есть к дождю. А бывают зори золотистые, светлые. Это погожие.

Оказывается, и комары не зря нынче так отчаянно кусались, и лягушки недаром скандал устроили — все это, как пояснил старый рыболов, к ненастью. И когда он раскрывает одну приметку за другой, забываешь о предстоящих неприятностях и только удивляешься познаниям этого спокойного, рассудительного человека. Да и какая там неприятность — майский дождь!

Первая ночь на охапке свежей травы, когда, закинув руки за голову, лежишь, прислушиваясь к какой-то особенной усталости в теле, когда вовсе не хочется спать, а только одно желание — не шевелиться и смотреть удивленными глазами в бездонную высь.

Первая встреча с бывалым рыболовом, которому искренне завидуешь во всем — манере неторопливого разговора, умению угадывать породы рыб по одному только всплеску, спо-

способности спать крепко в то время, когда вы долго не можете уснуть.

Первый восход солнца, встреченный над стогожками поплавокми... Первая добыча — упругая, пружинистая сила в ваших дрожащих руках.

Все, все это никогда не забудется! Даже если обстоятельства надолго разлучат вас с рекой, то и через год, и через два, и много лет спустя вас снова властно позовет к себе рыбацья тропа. Не напоминает ли это тоску прирученной птицы, увидевшей в небе косяк своих вечно кочующих сородичей?!

Но бывает, в спину тому же рыболову, что прошел мимо вашего дома, кто-нибудь пустит:

— Рыбку удим — через год жарить будем...

Честное слово, жаль такого остряка. Он, верно, из тех, кто ни разу за свою жизнь не видел восхода солнца, кто после укуса комара спешит поставить себе градусник, а отдых признает только в Сочи...

Пусть такой насмешник скажет, какие из тысячи трехсот видов растений нашей курской природы он знает по имени. Или пусть сорвет пучок обыкновенной луговой травы и назовет хотя бы одно знакомое ему растение. И мы вместе посмеемся над его невежеством.

Не понимают рыбака и сердобольные домохадцы, считают его чуть ли не мучеником. Особенно если вернувшийся после долгих скитаний рыбак вытряхнет из рюкзака пару-тройку неказистых плотвичек. Сколько жалости в глазах домашних!

— Посмотри на себя, — выговаривают ему. — Весь в колючках, забрызган грязью, усталый. Стоило из-за этих несчастных рыбешек так изнурять себя? Хотя бы улов был порядочный, а то так, мелюзга!

И начнут подсчитывать себестоимость каждой пойманной плотвички. Проезд в автобусе до вокзала — девять копеек. Проезд из Курска до Лукашевки в два конца — рубль двадцать. Выкинуто в реку цареной пшеницы, оборвано лесы, потеряно поплавок, крючков, грузил... Даже приплюсуют к этому износ обуви и одежды. И выйдет, что каждая стограммовая плотвичка обходится втрое дороже семги.

Ну как объяснить таким математикам, что рыболов всегда в барыше?

Природа сурова только с теми, кто закрывает глаза на ее простую, мудрую и целебную красоту. Но придите к ней доверчиво, как школьник приходит к учителю, и она раскроет перед вами удивительные сграницы своих учебников. Она

быстро стирает городскую неловкость новичка. У более опытных рыболовов, встреченных на береговой тропе, он очень скоро обучится азбуке кочевой жизни, заразится удивительным энтузиазмом этих землепроходцев-следопытов, гусяров природы, от неутомимых походов по родному краю станет духовно крепче и богаче, а телом сильнее и здоровей. И кто знает, может быть, эта самая тропа послужит ему началом большого пути к серьезной работе, истоком будущей профессии преобразователя природы.

2

Рыбачьей тропе, говоря словами поэта, все возрасты покорны. Кого только не встретишь на ее извилинах!

Вот в прибрежных лозняковых джунглях пробираются дочерна загорелые ребятишки. Заросли настолько густы, что на влажную еще с весны тропинку лишь кое-где пробиваются солнечные зайчики. И не будь у этих чернокожих вихров, выпцветших от воды и солнца, не неси они длинных сизок обыкновенных пескарей и уклеек, можно подумав, что тропа завела нас на берега Конго.

— Андрейка! Андрей! — загорланил «африканец» отставшему товарищу. — Где ты?

— Иду!

На упругой, будто высланной резиной тропе дробно зашлепали босые ноги, а из-под куста выскочил Андрей — полосатый от свежих царапин, с улыбкой, от которой шевелились облупленные уши. В одной руке он держал, как копьё, обломок орехового удилица, другой сжимал горло большого, судорожно обвившегося до самого плеча ужа.

Ребята окружили Андрея и с минуту молча разглядывали его трофей. Из крепко зажагого кулака выглядывала усмехающаяся голова с холодными бусинками глаз. Нервно вздрагивал кончик хвоста, задевая ухо мальчика.

— Здорово жмет? — спросил один.

— А, чепуха! — сплюнул Андрейка.

Мальчики размотали живую пружину. Андрей, бросив удилице, схватил ужа другой рукой за хвост и растянул его во всю длину.

— С метр будет! — деловито оценил он, размахнулся и швырнул ужа в кусты...

Это уже «просоленные», бывалые рыболовы. Они возвращаются домой с охалками лилий, длинные стебли которых небрежно волочатся по городскому тротуару, оставляя мокрые полосы.

— Где нарвали? — ахают встречные.

— А там, — встряхивает вихрами Андрейка, не останавливаясь.

В другой раз они возвращаются с мокрыми рубахами, набитыми раками. Раки шуршат, цепляют клешнями за материю, сердито бьют хвостами.

Или несут картузы, полные дикой малины, и прохожие опять удивляются:

— И где растет такая прелесть?

Мне однажды довелось иметь в проводниках такого голопятого следопыта. Я брел правым берегом Сейма, где-то неподалеку от глубокого рва, по которому спускали воду из Линева озера. Оттуда, из-за двухметровой стены камышей, росших попеременно с крапивой, доносились ленивые вздохи локомотива торфяного пресса. Мне надо было перебраться на другую сторону реки, но лезть в воду не хотелось, а потому решил подождать какую-нибудь лодку.

Стоял знойный августовский полдень. Неистово стрекотали кузнечики, разомлевшие мята и чабрец источали густой аптечный запах. Я растянулся в тени молодой ракитки, удобно пристроив голову на рюкзаке. И, разумеется, задремал.

Проснулся от ощущения, что рядом кто-то стоит. Приоткрыл глаза и увидел бронзовый живот, светившийся между подолом куцей рубашонки и поясом штанов. От неожиданности я очнулся окончательно и теперь мог разглядеть всего незнакомца — с ног до головы. Белобрысый мальчонка лет девяти устался на мой спиннинг. Под мышкой он держал ковригу черного хлеба, от которой ломал корки и клал в рот.

Я осторожно кашлянул, и мальчонка, точно кузнечик, отпрыгнул в сторону.

— Нет ли тут поблизости лодки? — спросил я, садясь. — Мне надо на ту сторону...

— Нету, — не сразу ответил он.

— А как же ты сюда перебрался?

Мальчонка хмыкнул носом, переложил ковригу под другую руку, но ничего не сказал.

— Ты ведь на лодке сюда переехал?

— Не... Мы так ходим. Тут мелко...

— А куда ты хлеб несешь?

— Домой, — мотнул он головой в сторону реки. — В Шатуре покупаем.

— В Шатуре? — удивился я. Я знаю, что под Москвой есть крупный Шатурский торфяной промысел, а местные жители, видно, называют этим словом просто добычу торфа.

— Угу, в Шагуре,— подтвердил паренек.

— А где ж ваша Шагюра?

— Вона, за камышом. Торф там режут, а батя на молокobile работает.

Я невольно рассмеялся вывернутому наизнанку слову.

Мальчишка испуганно замер и вдруг засмеялся тоже — доверчиво и открыто. После этого мы как-то сразу сблизились. Парнишка, подойдя к спиннингу, присел на корточках.

— Магази́нская! — с уважением сказал он. И, желая усилить зависть, добавил: — Мне батя тоже сделает. Ну, пойдем, что ли? — решительно поднялся он. — Штанов не снимай, тут мелко.

Мой маленький проводник, положив ковригу на голову, зашлепал по воде. Я пошел следом. Течение было быстрое, но вода пока доставала только до колен. Пройдя шагов двадцать, парнишка остановился.

— Держись за мной,— предупредил он,— тут вот справа яма.

Затем он круто повернул вдоль реки вверх по течению. Намокшая рубаха вздулась пузырем, сделав мальчишку похожим на большой красный поплавок. Неожиданно белобрысая голова с ковригой исчезла под водой и тотчас вынырнула, плюясь и фыркая.

— Опять яма... Поди, хлеб намок... мамка ругать будет...

Отсюда мы снова повернули к противоположному берегу, вышли на песчаный остров, прошли его и уже там, перебравшись через неширокую, всю в зарослях рдеста протоку, вылезли на противоположный берег.

— Не испугался? — спросил я.

Мальчуган, как и в первый раз, хмыкнул носом:

— Не-е! Мы привычные... За хлебом частенько в Шатуру ходим... Вот только жалко, крючков не продают в ихнем магазине.

Я набрал в рюкзаке пригоршню самых разных крючков и насыпал в мокрый подол моему отважному проводнику. А через секунду, перепрыгивая через кусты колючки, он мчался по лугу к селу.

3

Впрочем, нигде в таком скоплении и в такой разномастности не встретишь рыболовов, как в крошечной, прокуренной лавчонке под довольно громкой вывеской: «Магазин «Охотник». Здесь всегда полно, с утра до вечера. Присядьте где-

нибудь в уголке на ящик и понаблюдайте за посетителями. Вот именно, «посетителями», а не «покупателями», потому что идут они сюда подчас вовсе не за покупкой. Если дело движется к весне, то у путного рыболова уже давно все куплено-перекуплено. А бредет он в магазин так просто: посмотреть, послушать, поговорить...

В узенькую дверцу протискивается грузный мужчина с седыми отвисшими усами и в черной каракулевой папаше пирожком. Присматриваясь сквозь зыбкое облако табачного дыма к собравшейся публике, он осторожно, бочком проталкивается к прилавку, достает очки и направляет их поочередно на коробки с крючками, поплавками и прочей незамысловатой рыбацкой утварью. Рассматривает он ее с таким серьезным и озабоченным видом, будто выбирает в ювелирном магазине необыкновенный подарок.

— Поддай-ка, батенька, вон тот крючок,— обращается он к продавцу.

На стекло витрины гулко, как подковы, сыплются вороненые крючки величиной с загнутый мизинец. Человек в папаше выбирает из вороха с виду одинаковых крючков один какой-то особенный, долго вертит его перед очками, царапает жалом ноготь большого пальца и наконец кладет обратно.

— А покрепче нет?

— Куда уж крепче,— пожимает плечами продавец.— На подъемный кран годится. Я прошлый раз на такой крючок, знаете, что вытащил?

— Э, батенька, не рассказывайте. Я-то уж пробовал...

— Нет, вы послушайте. Потянул — чувствую, что-то пуда на два. И знаете что? Ведро, наполовину песком засыпанное. А вы говорите...

— Ну, ведро, может быть, груз мертвый.

— На сомика, стало быть, готовитесь? — встревает в разговор узкоплечий рыжий рыбак, выпуская изо рта вместе со словами зеленые клубы самосада.— Такой крюк, ежели на добрую рыбину поставить, оно, верно, не выдержит. В два счета разогнет. Со мною, знаете, была история...

Рыжий смачно заплевывает сигарку и тянет седоусого за рукав к ящику. Изловчась начать «историю», он округляет белесые глаза и некоторое время ошалело смотрит на собеседника.

— Работаю я как-то в кузнице, бестарки под хлеб ремонтирую. А кузница наша в конце деревни, на самом берегу пруда стояла. Пруд залили добрый, гектаров на пятьдесят. Пустили в него карпа, с верхов всякая прочая рыба нашла.

Баловать никому не разрешали. Одно слово, завелась охота. Так вот, ремонтирую я бестарки. Влетает в кузницу Меланья, моя соседка, баба суматошная, бестолковая. Ноги в иле, подол под пояс подоткнут, бельмы бегают. А тут еще с перепугу на горячую ось голой пяткой наступила. Ну и вовсе скаженная, да и только! У меня даже молот на замахе остался — напугала, окаянная! Никак, думаю, хата загорелась.

— Ты что? — кричу я.

— Ох, Митрич, страх-то какой,— присела она на ящик с углем, а сама за обожженную пятку схватилась.

— Да что такое? — осерчал я.

— В ставку-то нашем водяной завелся! — выпалила Меланья.

— Ну, выдумала! Кой там тебе водяной!

— Ей-богу, не вру. Сама видела. Хотела я бочки выка- тить, а между ними черная рожа из воды смотрит. Я на нее гляжу, а рожа — на меня. Глаза злющие, синим огнем светятся, а губы белые, как у мертвеца, и шевелятся, будто шепчут.

— Сом! — оживился грузный мужчина и от удовольствия заерзал на ящике.

— Я тоже догадался, что сом,— перехватил рыжий.— Говорю Меланье: «А ну, показывай, где видела!»

— Нет уж, ты сам иди гляди, а я и так страху натерпелась.

Взял пожарный багор, пошел к бочкам. И верно, этакая колода вильнула от бочек, даже брюхо мраморное показалось.

— Ушел? — досадливо щелкнул языком грузный муж- чина.

— Вглубь подался. Но только решил я его изловить. Свил шнур покрепче, привязал вог такой крюк, что вы, знаете, сейчас смотрели, ну, а вместо поплавка боченок прикрепил. Не пожалел цыпленка, общипал, зажарил — самая что ни есть сомовая нажива. Снарядил все это и поставил между бочками. Утром вышел, а от моего бочонка и след простыл. Подъезжаю на лодке, а сам, знаете, остерегаюсь: вертапет еще в ярости хвостом — быть греху. Зацепил багром за кольцо в днище — не поддается, вроде как привязан к чему на- мертво. И тут только я разглядел, что бочонек плотно между корягой засел — там раньше ракиты росли, их сплели, а раз- вилки в воде остались.

— Ну, а сом-то как? — спросил собеседник.

— А никак! — плюнул сердито рыжий.— Ушел, шельма.

Едва только бочонок затесался между стволами, он рванул, и крючок разогнулся.

— Экая досада! — искренне огорчился собеседник. — Да ты-то, батенька, маленький, что ли? Надо было в кузнице покрепче выковать. Я ж и говорю, вот эти крючки — одна видимость.

— Об этом я потом догадался, — сказал рыжий, вдруг раскатиисто и басовито расхохотавшись. — Догадался, знаете... Только в то лето ловить не пришлось. Вскоре похолодало, и сом залег на зиму. А в мае я его все-таки взял, выковал из ребра косы крюк — и взял. Вот это, знаете, крюк! Вы адресок черкните, я вам посылочку с такими крюками вышлю. Продукция — первый сорт!

На свете стало двумя знакомыми рыбаками больше.

И такие знакомства завязываются в лавчонке каждый день, каждый час. Один посоветовал, как крепче затянуть на леске узел, и дружба от такого совета тоже завязывается накрепко. Другой дал рецепт какой-то неотразимой приманки — пареный горох с анисовым маслом. Третий пригласил на уловистое место, куда еще якобы не ступала нога удильщика и где ходят непуганые лещи, каждый размером с чайный поднос. И все это от души, с щедрым желанием помочь ближнему.

Походите перед открытием сезона в эту лавчонку, в этот «клуб знаменитых рыболовов», послушайте нескончаемые рассказы и советы — и вы словно специальный институт закончите: такое богатство опыта, такая уйма сведений, которые не приобретешь и за долгие годы, если пробовать все открывать самому. А главное, с первым же выходом на рыбачью тропу у вас будут уже знакомые спутники, в большинстве бывалые, знающие толк в своем увлекательнейшем занятии.

Пойдемте на рыбачью тропу, право, не пожалеете!

4

Крепкий утренник прихватил в камышах воду, и теперь там целый день похрустывает и позванивает на волне молодой ледок.

Уже второе воскресенье не показывается на приваде мой сосед Анисим Петрович. Человек он с резонном: попусту торчать над поплавами не станет. А уж коли старый лещатник смотал удочки — стало быть, конец летнему сезону.

Я и сам знаю, что клева теперь не видать до весны. Рыба сбилась в стаи, ушла с привычных летних жировок в глубо-

кие омуты. В ямах теперь полно, а от них на много километров вверх и вниз по течению пусто.

Один мой приятель, днепровский водолаз, рассказывал, как он однажды зимой набрел на косяк леща. «Иду,— говорит,— свечу фонариком, разыскиваю сорвавшийся с лодки мотор. Вдруг — что такое? Впереди дно будто булыжником вымощено. Вгляделся — рыба! Лещ! Хребтина к хребтине! Крупная к крупной! Мелкая к мелкой! Головами в одну сторону. Уложена аккуратно, по сортам, как в «Гастрономе». Посветил фонариком — конца косяку не видно. Может, тысяч десять, а то и больше. Иду прямо на косяк. А он и не думает уходить. Только самые ближние лещи чуть потеснились, уступая проход. Приглядел одного покрупнее, нацелился, хотел схватить. Не тут-то было! Скользящий, гад! Только по хребту и погладил...»

Да, делагь нечего!

Я уже начал было сматывать удочки, как с обрыва спустился какой-то детина. Вижу, не из рыболовов. Без снастей. Через плечо противогазная сумка. Поверх кепки мешок в виде капюшона. Мрачно как-то оглядел меня, присел за спиной на корточках.

— Курить есть?

Я протянул пачку папирос.

Он отсыпал несколько штук, одну сунул в рот, остальные зачихнул под кепку.

— Значит, удим?

Я промолчал.

Парень курил и сплевывал себе на сапоги. Он больше ни о чем не спрашивал.

Я стал сматывать удочки. Сложил снасти в лодку и оттолкнулся от берега. Лодка легко побежала вниз по течению. Парень все еще сидел на корточках, провожая меня из-под нахлобученного мешка долгим неприятным взглядом.

Плес скрылся за поворотом. По обе стороны стоял глухой поемный лес: старые замшелые ракиты, тальники, непролазные заросли ежевики.

Кругом — ни души. Лишь иногда попадались брошенные привады, шалашики с провалившимися боками или в крутом берегу темнели квадратные дыры землянок.

Рыболовы покинули насиженные, обжитые места до будущей весны. Рыбачья тропа опустела.

Вдруг позади что-то тяжело грохнуло. По гулкому пустому лесу заметалось эхо. Из зарослей репейника выпорхнула стайка щеглов. Испуганно пересвистываясь, она неров-

ным — вверх-вниз — полетом перемахнула реку и скрылась на той стороне. Что это? Упало подгнившее дерево? Обрушилась в воду земляная глыба? Что-то не то, не очень похоже...

Я придержал лодку, вслушиваясь. Потом, встревоженный подозрением, развернулся и поплыл обратно. Река наша быстрая, и гнать лодку против течения — дело нелегкое. Чтобы не сносило водой, я прижимал лодку к отмелям и отталкивался ото дна веслом. Так быстрее. И все же поднимался вверх уже более получаса.

Вот и знакомый поворот. За ним широкий плес, на котором мы с Анисимом Петровичем рыбачили все лето.

Над рекой кружило воронье. Серые лохматые птицы, неуклюже махая крыльями, повисали над самой водой, затем быстро взмывали вверх и летели к раkitам.

Я подплыл к тому месту, над которым кружили птицы. По реке широкой лентой плыла рыба молодь — годовалые подлещики. Их несло, как мелкую щепу. Лишь некоторые рыбешки пытались встать на плавники, ошалело кружили на месте и выбрасывались из воды.

Лодка шла прямо по рыбной дороге. Лещи пошли все крупнее и крупнее. Совсем рядом пронесло не менее чем десятифунтовую рыbinу. Лещ плыл плашмя. Грудной плавник судорожно торчал из воды. Жаберная крышка вяло приподымалась и опускалась, выдавливая на бронзовую чешую жидкую струйку крови.

Я причалил к своей приваде и сошел на берег. Под старой нависшей раkitой в бурой, взмученной взрывом суводи кружились сорванные ветки. Толстый сук, белея свежим надломом, повис над водой на ремешке коры. В ветвях раkitы запутались мокрые водоросли. Береговая кромка истоптана следами резиновых сапог, усыпана рыбной мелочью, вдавленной в грязь. Браконьер, видно, орудовал сачком, выхватывая все, что попадет. Потом стал отбирать самых крупных. Складывать в кучу было некогда, рыбу сносило течением, и он разбросал добычу по всему берегу. А ту, до которой не мог дотянуться, река уносила — великое множество загубленной рыбы.

Негодяй угодил взрывчаткой в самую яму.

Я прошел еще раз по берегу, вглядываясь в следы. В кустах лозняка тускло поблескивал ворох рыбы, наспех и небрежно притрушенный сухими листьями. Значит, не все в мешок полезло. Оставил. Но я-то уж знал: сюда он больше не вернется! Хитрый и расчетливый вор действует по-друго-

му. А здесь был жадный и наглый громила. Он даже не пытался замести следы.

Я поднялся на обрыв, по краю которого петляет рыбацья тропинка. На сырой глине четко отпечатались следы сапог, те самые «елочкой», которые я видел у воды. Браконьер не рискнет идти торной дорогой: побойтся встретить рыболова. Значит, свернет на первую же лесную тропку, пробитую коровами. И верно: следы повели в заросли ежевики. На вязкой колчеватой стежке, изрытой копытами, свежие оттиски все тех же «елочек». Шаг нетвердый, ноги разъезжались на грязи под тяжестью ноши.

Я прибавил ходу. Почти бежал. Чтобы не вязнуть в грязи, пробирался краем тропинки. Ветки хлестали по лицу, царапали в кровь руки. И вдруг, наступив на что-то скользкое, упал. Опять рыба! Целый ворох отборных лещей. Не рассчитал, пожадничал, ворюга! Высыпал из мешка, чтобы легче бежать.

Некоторое время я еще шел вдоль тропинки. Но следы больше не появлялись. Значит, полез напролом — лесной чащобой. Где-то теперь пробирается, трусливо озираясь, унося на дне мешка какой-нибудь десяток рыб, десяток из сотен, а может, тысяч, что подняла со дна взрывчатка.

Думаю, что я не напрасно рассказал об этом диком случае.

К сожалению, на рыбацье тропе все еще встречаются такие выродки. Рыскают они днем и ночью, во все времена года. Иногда подсаживаются к гостеприимному рыбацье костру, прикуривают от его уголька папиросу, пробуют радушно предложенную уху. А за пазухой у них... взрывчатка, в сумке острога, мелкоячеистый бредень, отравы, закатанная в хлеб...

Браконьер — враг природы, враг честного племени рыболовов, он жаден и беспощаден. Недрогнувшей рукой вонзит острогу в спину щуки, выплывшей на мелководье выметать икру, пустит заряд дрови в зазевавшегося голавля. Вычерпнет мелкоячеистой сетью всю мелочь, будет потирать руки при виде всплывающей на поверхность рыбы, отравленной ядовитой приманкой.

Держи ухо остро, товарищ! Иначе вот такой, прокравшись на рыбацье тропу, может натворить немало мерзостей, надолго лишит тебя тихой рыбацкой радости, в поисках которой ты проходишь многие километры, мокнешь под дождем и коротаешь бессонные ночи у дымного костерка.

Рыбацья тропы — только для чистых душой!

РАКИТОВЫЙ ЧАЙ

Никогда не пробовали ракитовый чай? Хороший напиток. Ни одна заварка не сравнится с ним, если приготовить его по всем правилам. А условия такие: во-первых, не пытаться варить чай на кухне. Ничего из этого не получится. Берите чайник, а лучше — обыкновенный котелок, в каких на базаре продают улежалые лесные груши, и отправляйтесь на речку. Вода из крана не годится для этого чая. Непременно нужна речная, чужь пахнущая тивой, желтыми кувшинками и телорезом.

Надо захватить с собой и удочки. Ведь, придя на берег реки, не станешь сразу, ни с того ни с сего, пить чай. Немножко порыбачьте, благо, на вечерней зорьке исправно клюют окуни и плотвица. А когда погаснут самые высокие перистые облака и сумерки загустеют настолько, что не станет видно поплавок, пожалуйста, разжигайте костер и вешайте на огонь котелок. Раньше этого времени начинать варить чай нельзя: покажется невкусным. Когда из соседних кустов в спину пахнёт влажной прохладой и обдаст тело мелким ознобом, особенно приятно греть руки о кружку с горячим чаем, вдыхая аромат замечательного напитка. А чтобы чай получился именно ракитовым — чуть-чуть горьковатым, немножко вяжущим язык, чтобы он приобрел цвет палого листа, нужно разжигать костер ветками лозы или ракиты. В этом, пожалуй, главный секрет той прелести, какой славится среди рыболовов настоящий ракитовый чай.

Я вам расскажу, как сам обучался этому необходимому искусству. Дело было давно, когда мне минул восьмой год, а моему соседу Алексею — одиннадцатый. Алексей уже ходил с ребятами в ночное и нередко приносил в своей холщовой сумке головастых скользких сомят. Сейчас бы эти сомята, величиной чуть побольше столовой ложки, вызвали чувство жалости к ним. Слишком уж они были малы и беспомощны. Но тогда я разглядывал их с восхищением. Ведь мне разрешалось ходить на рыбалку только днем, и обычной моей добычей были пескари и уклейки.

И вот однажды, снимая с крыши сарая связку удилиц, Алексей крикнул:

— Айда, скажи матери, что, мол, Алешка берет тебя на рыбалку. Да сахару попроси. Будем чай варить.

— И заварки спросить? — обрадовался я, кубарем срываюсь с забора.

— Заварки никакой не надо. Чай сам по себе заварится.

До реки было километра два пути по заливному лугу, нестрому от цветущих трав. Встречный ветер обдавал нас пахучими волнами разомлевшего за долгий летний день разнотравья.

Я был возбужден широким простором, быстрой ходьбой, тем, что нес настоящие удочки, доверенные мне Алексеем, предвкушением ночной охоты и множеством других неуловимых ощущений, которые у взрослого создают хорошее настроение, а у ребятшек вызывают неудержимое желание кувырнуться и горланить. И верно, когда на пути встречались метровые, усыпанные острыми шипами кусты татарок, мы, поджав босые ноги, с гиком пронеслись над их красными шапками или с размаху подрубали комлями удилиц.

Алексей осторожно, чтобы не уколоть пальцы, взял подсеченную головку колючки:

— А знаешь, почему ее татаркой зовут?

— Нет. А ты?

— А я знаю. Это еще когда татары на Русь нападали, они с собой колючки из далеких степей привезли. Вот их и стали называть татарками.

— Нарочно привезли?

— Чудной какой! Зачем — нарочно? Семена могли в конском хвосте застряты, в походной кибитке, мало ли где.

И вдруг, пускаясь в отчаянный галоп, Алексей загорланил:

— За мно-о-ой! Татарское войско бежит! Ура!

Мы вихрем налетели на колючки и с еще большим ожесточением сшибали им головы, изображая собой что-то вроде дружины Дмитрия Донского, преследующего разгромленное войско незваных пришельцев.

Когда пришли к реке, Алексей, будто вспомнив, что ему не к лицу в моем присутствии быть обыкновенным мальчишкой, каким он был на лугу, вдруг посерьезнел, нарочито сдвинул брови.

— Тут толку не будет, — осмотрев берег, сказал он топом знатока. — Пойдем-ка к лесу.

Ниже по течению река, извиваясь, вползала в густые за-

росли лозы, черемухи, мелколистного клена, карагача, среди которых возвышались старые ракиты, иные — расколотые молниями, иные — со сквозными светящимися дуплами, с узловатыми наростами на стволах, с самым фантастическим рисунком кроны. Издали их темные силуэты напоминали сказочных великанов и диковинных зверей.

В лесу даже днем было сумрачно от непроницаемого полога из веток и листвы мелкоколосья. Редкие травы, блеклые и тощие, безнадежно тянулись вверх. Земля никогда не просыхала. Было тихо, прохладно и немножко боязно.

— Лески не оборви,— предупредил Алексей, ступая на тропинку, протоптанную коровами.

Иногда коровьи следы выводили на открытые поляны, поросшие такими буйными травами, что шагавший впереди Алексей скрывался в них с головой, видны были только кончики удилиц, перекинутых через его плечо. Растения, будто наперегонки, тянулись кверху, стараясь оттеснить друг друга, вырваться на простор, к солнечному свету. Гигантские лопухи, под листьями которых можно укрыться от дождя, красноватые зловонные стволы болиголова, цепкие лозы дикой малины были густо оплетены хмелем, вьюнком и еще какими-то ползучими травами. Местами под ногами чавкала вода, сухолюбивые растения сменялись зарослями стрелолиста и осоки, среди которых виднелись бело-розовые цветы ядовитой частухи. Иногда над темной болотной зеленью вспыхивали огненно-желтые факелы цветущих ирисов.

И опять мы вступали в сумрачный и гулкий коридор плотно стоящих древесных стволов, голых почти до самых верхушек. Казалось, что этой глухомани не будет конца.

— Леш, скоро речка? — спрашивал я, все время отставая от своего товарища.

— Скоро! — сердито отмахивался Алексей.

— А может, мы не туда идем?

— Не хнычь! Знал бы, что ты такой, ни за что не взял бы.

Лес неожиданно кончился крутым глинистым обрывом. Над ним по самому краю висала протоптанная рыболовами дорожка. Алексей осмотрелся и выбрал место, где обрыв сменялся пологим, песчаным спуском. Мы сошли к самой реке. Вечерело. Лес ронял на воду длинную тень, достававшую почти до противоположного берега, отчего река казалась глубже и таинственней. Над темно-зеленой водой хороводили комары. Охотясь за ними, то и дело плескалась мелкая рыбешка.

Алексей размотал самую большую удочку, наживил во-

робья. Потом достал из сумки колокольчик, сделанный из обрезка гильзы от охотничьего ружья. Колокольчик привязал к концу удилища. Ночью поплавок не видно, поэтому о поклевке должен оповестить сторожок.

Мне тоже не терпелось поскорей забросить удочку, но Алексей прогнал меня собирать хворост для костра. Вскоре на песчаной косе вспыхнул и весело заплясал огонь, от которого еще больше загустели сумерки. Лес шагнул к самому огню и остановился, задумавшись и распростав над костром черные лохматые лапы своих ветвей, будто грея их. Мир разделился на две части: одна — маленький освещенный пятанок с костром посередине, все остальное — черное небо, черная вода, черный лес. Наступила ночь. Первая моя ночь на рыбалке. Она была полна таинственной, невидимой жизни. Совсем близко в кустах шуршали листья. Над огнем, шараясь из стороны в сторону, пронеслись летучие мыши. В воде что-то шлепало, барахталось. Я ворочал головой, бояливо ловя непонятные мне ночные звуки.

— Леш, что это шлепает?

Алексей сидел по другую сторону костра. Он выкапывал из углей картошку, накалывал ножом, пробуя, не испеклась ли, и готовую зарывал в холодный песок, чтобы немножко остыла. Дым, словно собака, то ласкался к нему, то лез в мое лицо. Мы морщились и поочередно пускали слезы. Но отодвигаться подальше, в холодную темень, не хотелось.

Вдруг раздался короткий звон сторожка. Алексей мгновенно вскочил на ноги, шмыгнул в темноту и затаился у берега. Звон повторился, на этот раз дольше и настойчивее. Алексей рванул удилище, вода под берегом заплескалась. И вот уже в полосе света шлепнулось черное извивающееся тело соменка. Рыбина судорожно била хвостом, разбрасывая песок. Алексей посадил соменка на кукан и опустил его у берега в воду. Сом живо заходил, всплескиваясь и дергая бечеву.

Снова забросили удочку и принялись за картошку. Ели с аппетитом, пачкая лица обгорелой кожурой и хрустя запеченными корками. Алексей, не остывший от возбуждения, рассказывал, как он подсек, а потом выволок соменка. Я заискивающе поддакивал, обрадованный разговором, который хоть немножко рассеивал ночные страхи.

Когда доели картошку, Алексей достал из сумки котелок и зачерпнул им из речки воды.

— А хворост-то весь пожгли, — сказал он, шаря рукой в том месте, где был сложен сушняк,

Мы молча глядели, как по углям пробегали последние огненные судороги. Потом Алексей сказал:

— Пойду поищу дров.

Я остался сидеть у костра и, вытянув шею, прислушивался к удаляющимся шагам товарища. Было слышно, как под его ногами шуршала трава, хрустели ветки. Наконец звуки шагов затихли, растворились в ночной тишине.

— Леш-ка! — завопил я, не выдержав одиночества.

По лесу тревожной волной, будоража листву прокатился ветер. В огонь что-то тяжело плеснулось и зашипело. Потом что-то упало в котелок, всплеснув в нем воду. Ударилось о козырек моего картуза, часто застучало по листьям над головой. Костер зачал эдким ползучим дымом. Прибежал Алексей.

— Чего мокнешь? — сердито сказал он. — Возьми в моей сумке клеенку, накройся.

— А ты?

— Я обойдусь. Дрова искать надо.

— Да ну его, этот чай! — захныкал я.

Дождь усилился, гулко и четко забарабанил по клеенке. Захотелось домой, под теплое одеяло. Скорей бы утро.

— Лезь под клеенку, — позвал я товарища.

— Давай лучше навес устроим, — предложил он.

Мы воткнули в обрыв две палки, привязали между ними клеенку и залезли под нее.

Я вспомнил про кусочки сахара в кармане и сказал:

— Я свой сахар съем, ладно?

— погоди. Скоро дождь перестанет — чай вскипятим.

Но дождь, как назло, лил все сильнее. Рядом, с корневищ, свисающих с обрыва, тоненькими струйками стекала вода. Песок под нами намок, он лип к босым ногам, к одежде, неизвестно как попадал на зубы.

Вдруг жерди, воткнутые в обрыв, наклонились, и все наше шаткое сооружение рухнуло. Целое озеро ледяной воды, скопившееся на клеенке, хлынуло на головы.

— Давай, братуха, плясать, а то позамерзаем к чертовой бабушке. Или лучше пойдем дрова собирать. Все равно мокрые.

Будто затем только и лил, чтобы промочить нас до нитки, дождь постепенно стал утихать. Мы вскарабкались по мокрой глине на мручу и ощупью, боясь напороться на торчащие сучья, побрели в чащу.

— Где их искать, дрова-то? — спросил я, протягивая руки в черную пустоту.

— А ты садись на корточки и ощупывай землю. Тут много веток.

Делать нечего: надо было становиться на четвереньки. Бояливо, пядь за пядью ощупывал я подножия деревьев, то и дело задевал тонкие стволы молодой поросли, и на меня каскадом сыпались холодные дождевые капли.

Кое-как собрали топливо, разожгли костер. Дрожая всем телом и окончательно потеряв дар речи, мы сушили над огнем мокрую и грязную одежду. А когда огонь грозился снова погаснуть, оставляли рубахи у костра на палке и голые шли в лес, под холодный душ дождевой капли. Зато, вернувшись с охапкой дров, мы с наслаждением отогревали свои заочевшие тела, чуть ли не давая пламени лизать наши животы.

Наконец-то забрезжил запоздалый рассвет. В посветлевшем лесу мы наломали ракитовых веток и разложили такой костер, какой разжигали в старину полинезийские дикари в дни своих самых торжественных праздников. Да и сами мы походили на полинезийцев — голые, с растрепанными мокрыми волосами, с разрисованными печеной картошкой лицами.

— В-в-во-д-а за-за-к-к-кипела, — пробарабанил я.

— Сни-м-май к-ко-телок, — в ответ защелкал зубами Алексей. Я снял котелок. Когда чай немного остыл, мы принялись пировать. Алексей отхлебнул первым. Я досгал свой сахар, заранее откусил от него маленький кусочек и принял в озябшие ладошки закопченную посудину. В котелке плавал уголь, подпаленные листья и еще какой-то мусор. Я подул на воду, сгоняя сор к другому краю, и тоже отхлебнул. Чай пах дымом, горелым деревом, вязал язык, немного горчил, но все-таки был удивительно вкусен. Так хорош, что я глотнул еще два раза и только потом передал котелок.

Так мы пили по очереди, экономно откусывая сахар и смакуя каждый глоток чудесного напитка, изгоняющего дрожь и щепячье желание скулить.

Взошло солнце и обсушило траву и деревья. Мы выкупались в реке, смотали удочки и бодро зашагали домой. За моей спиной болтался на бечевке пойманный сом. И то ли оттого, что я впервые возвращался домой с такой добычей, или потому, что я наконец-то «хлебнул» ракитового чая и отныне мог считать себя бывалым рыболовом, только мне снова захотелось горланить и кувыряться.

С тех пор прошло много времени. Я теперь хорошо владею искусством варить настоящий рыбацкий чай. И когда случается быть на берегу реки, не премину после доброй ухи попить в тишине ночи чайку вприкуску.

КОВАРНЫЙ КРЮЧОК

Уклейку — эту вездесущую крошечную, не больше пальца, рыбешку, считают самым веселым и беззаботным существом в наших среднерусских речках. Глядя, как уклейки смело шныряют у ног купальщиков, устраивают шумную возню вокруг брошенной корки или, выпрыгивая из воды, всплескиваясь и сверкая, наперегонки гоняются за мошкаркой, говоришь себе: «Вот кому весело живется!»

И вид у уклейки тоже легкомысленный: хрупкая, плоскоськая, в зеркально сверкающем наряде, с большими черными зрачками в радужной оправе. И клюет-то она с какой-то веселой беспечностью: с налету, не разобравшись, берет на самую пустяковую удочку из катушечной нитки, кусочка пробки и даже без грузила. Несерьезная рыбка! Селявка!

А между тем судьба у нее самая незавидная. Одни только ребятишки сотнями навизывают на кукан, так просто, ради озорства. Принесуг домой да и швырнут сизку в угол: мол, кошка съест. И сколько других неприятностей поджидает уклейку на каждом шагу!..

Плывет она мимо затонувшей коряги, плывет — ничего не подозревает. Да вдруг ожившее бревно как метнется наперез! Щелкнула щучья пасть — и конец.

А то окуни налетят. Эти полосатые разбойники не прячутся в засаду, как щука, а нападают целой шайкой — с шумом, гиком, стараясь побольше паники нагнать. Залучат табунок мелочи в какой-нибудь заливчик да такой погром учинят, только брызги летят в разные стороны...

И серая цапля, и зимородок, и угка, и даже ворона не прочь пообедать уклейкой, и каждый по-своему промышляет ее.

Вся эта прожорливая братия особенно насаждает на уклейку в мае, когда та начинает метать икру и набивается в мелкие травянистые протоки, рукава и заливы. В это время ее даже руками можно наловить: иная так запутается в тине, что только жабрами шевелит. А то невзначай выскочит на пухлую подушку водорослей и тапцует на ней, стараясь поскорей до воды добраться. Бывает, сразу по нескольку рыбок

на тине бьется. Подходи и бери руками. Ну, а цапля и подавно не упустит такого случая: шась-шась по воде на своих ногах-ходулях, подойдет к тине и позавтракает готовенькими. Или налетят вороны, наскочат утки.

Но страшнее всех для уклейки белизна. Может, видели: идут против течения рыбешки стайкой, торопливо работают плавничками и вдруг как метнутся испуганно врассыпную! Это неподалеку прошла белизна. Нет, она не погналась, она только проплыла стороной. И то уже какой переполох! А вот ежели подкрадется да ударит серебристо-голубой молнией в самую гущу — тогда беда! Раздается резкий и хлесткий удар, будто по воде со всего маху веслом полоснули. Взметнется в небо фонтан, закипит вода воронкой. Обезумевшие от ужаса уклейки чуть ли не на полметра выбрасываются наружу. Иногда даже на берег выскакивают и, пожалуй, только благодаря этому остаются целыми. Попрыгав на берегу, они кое-как скатываются в реку. А белизна уже подбирается к другой стае.

Сильная, стремительная, осторожная и красивая эта рыба. Внешне она совсем не похожа на хищника. Даже беззубая. Но зато какой хвост! Ширины и силы необыкновенной. Им-то белизна и глушит рыбу. Налетит да как шарахнет — какую сразу наповал, какая, ошеломленная, бестолково вертится. В это время и хватает их хищник — и живых и полумертвых.

В мае белизна тоже подходит к местам нереста уклек и здесь жирует, нападая на беспомощных, обессиленных рыбок.

Однажды я пошел поискать нерестилища, чтобы вблизи них поохотиться на белизну. В эти дни она бывает не так осторожна и смелее берет приманку.

Река, вырвавшись из глинистых крутояров, поросших лесом, широко разлилась в низких песчаных берегах. Ничем не стесненная, она каждый год меняет здесь русло, намывая в половодье острова и оставляя протоки. Дул легкий южный ветер. По небу торопливо плыли разрозненные округлые облака. Их тени проносились по еще не кошевному дугу, и яркие краски цветущих трав на мгновение гасли, а вода в луговых болотцах темнела, наливалась холодным свинцом. Над песчаной отмелью летали крачки. Плаксиво перекликаясь и тяжело взмахивая узкими обвислыми крыльями, они медленно пробивались навстречу ветру. Потом, словно устав бороться, шарахались назад и снова тянулись над рекой, жалобно всхлипывая.

Я повял, почему крачки так упорно держатся именно это-

го места. Здесь собрались уклеики на икромет. Значит, и белизна ходит где-то поблизости.

И верно: перебираясь вброд на маленький островок, я услышал шумные всплески, будто кто-то невидимый бросал в воду гяжелые комья земли. Мелочь испуганно шарахалась, рьяя поверхность реки. Это делала свое лихое дело она — гроза уклеек.

Не упустить момента и подбросить блесну как раз тогда, когда хищник после удара хвостом крутится и хватает оглушенную мелочь, — основное в охоте на белизну. Я торопливо собрал спиннинг, выждал, когда белизна сделает очередной всплеск, и метнул. Но заброс не удался: блесна, задержанная встречным ветром, упала с опозданием. Новые попытки тоже не принесли успеха. Я давал блесне тонуть, пускал ее в полводы, заставлял вращаться у самой поверхности, даже делать короткие скачки по воде, чтобы вызвать хватку хищника, но он не обольщался моей металлической рыбкой. Мол, знаем, что это за штука! Не обманешь! И вызывающе поднимал фонтаны брызг то справа, то слева, то почти совсем рядом с моим островком. Однажды я даже увидел эту неуловимую разбойницу. Она на какое-то мгновение вывернулась из глубины у самого берега. Широкое серебристое тело, темная спина, острый, как парус яхты, спинной плавник и страшный хвостище, упруго и гибко сверлящий воду. Даже холодок внезапной огоропи пробежал по спине, как бывает всегда при неожиданной встрече с серьезным противником. Белизна круто развернулась, сверкнув полированным боком, и растворилась в зеленоватой толще воды.

Когда у охотника из-под носа срывается куропатка, он вздрагивает от неожиданности и беспорядочно палит вслед. То же самое бывает и с рыболовами. Хотя было и бесполезно, но я замахнулся, и... Всегда вот так, когда торопишься. Блесна полетела не в ту сторону и унесла чуть ли не все сто метров лесеы. Досадуя, я стал тотчас выбирать шнур. Узкоперистая блесенка, борясь с течением, шла у самой поверхности воды. Издали она походила на маленькую рыбку, с трудом пробивающуюся навстречу речной струе.

И вдруг неизвестно откуда появилась крачка. Задержав крылья на замахе, она упала на воду в том месте, где сверкала никелем блесна. Я машинально рванул лесу. Птица естественно дернулась и, разбрызгивая воду, забила крыльями. Взлетев, она тут же с размаху кувыркнулась в волны. Я понял, что птица засеклась на крючок...

Крачка отчаянно барахталась, взлетала, рвала из рук уди-

лице, снова падала, а я, растерявшись, никак не мог сообразить, что же делать. Да и что можно было придумать? Я — на острове, а птица на крепкой жилке бьется метрах в тридцати от меня, на воде. Не обрывать же лесу. Крачка взлетит и, запутавшись жилкой где-нибудь в кустах, погибнет. Тащить птицу к себе тоже нельзя: она будет биться и повредит себя. Единственное, что показалось мне разумным, — это выключить на катушке тормоз.

Выждав, когда птица снова поднялась над рекой, я отжал тормозную кнопку на катушке. Не чувствуя больше сопротивления лесу, крачка взмыла в небо. Катушка быстро завертелась, сбрасывая шнур. Глядя, как сквозь кольца удилица со свистом улетала жилка, я испугался: «Сейчас кончится последний метр, птица с разлету дернет, разорвет себе клюв или, остановленная резким рывком, кубарем полетит вниз и разобьется о воду».

И, до того, как леса окончательно сошла с катушки, я начал снова притормаживать барабан, слегка прикасаясь к нему пальцем. Почувствовав сопротивление, птица тяжело замахала крыльями. Я надавил на катушку сильнее, и крачка, не в силах преодолеть сопротивление, стала разворачиваться на кругу, постепенно снижаясь. Вот она уже поравнялась с берегом, вот летит над зарослями лозы, задевая крыльями верхние ветви... На ходу сбрасывая лесу, я перелез через проток и побежал навстречу.

Она упала в траву меж кустов лозняка и лежала на спине, раскинув ослабевшие крылья. С никелированной блесны, свисавшей из полураскрытого клюва, капала кровь.

Чувствовал я себя преотвратительно. Так, будто непоправимо сломал чужую вещь. Эту вещь — частицу природы — нельзя трогать грубыми руками, как нельзя прикасаться к жемчужной капле росы в чашечке цветка, к пыльце на крыльях бабочки, к серебристой головке одуванчика, сотканной из пуха и воздуха, пронизанной солнцем... Всем этим можно только любоваться. Тронул — и все испортил...

За спиной слышались печальные вскрики крачек да тяжелые, глухие всплески. Это вскидывалась белизна — гроза беззаботных уклеек. Жизнь шла своим чередом.

ЗИМОРОДОК

У каждого рыболова есть на реке любимый уголок. Здесь он строит себе приваду. Забивает в дно реки у берега полукругом колья, оплетает их лозой, а пустоту внутри засыпает землей. Получается что-то вроде маленького полуострова. Особенно когда рыбак обложит приваду зеленым дерном, а забитые колья пустят молодые побеги.

Тут же, в трех-четыре шагах, на берегу сооружают укрытие от дождя — шалаш или землянку. Иные устраивают себе жилище с нарами, маленьким оконцем, с керосиновым фонариком под потолком. Здесь и проводят рыболовы свой отпуск.

Этим летом я не строил себе привады, а пользовался старой, хорошо обжитой, которую уступил мне товарищ на время отпуска. Ночь мы прорыбачили вместе. А наутро мой друг стал собираться к поезду. Укладывая рюкзак, он давал мне последние наставления:

— Не забывай о прикорме. Не будешь подкармливать рыбу — уйдет она. Потому и привадой называют, что к ней рыбу приваживают. На рассвете подсыпай жмышку. Он у меня в мешочке над нарами. Керосин для фонаря найдешь в погребе за шалашом. Молоко я брал у мельничихи. Вот тебе ключ от лодки. Ну, кажется, все. Ни хвоста, ни чешуи!

Он вскинул на плечи рюкзак, поправил сбитую лямкой кепку и вдруг взял меня за рукав:

— Да, чуть не забыл. Тут по соседству зимородок живет. Гнездо у него в обрыве, вон под тем кустом. Так ты гово... Не обижай. Пока я рыбачил, привык ко мне. До того осмелел, что на удочки стал садиться. Дружно жили. Да и сам понимаешь: одному тут скучновато. И тебе он верным напарником в рыбалке будет. Мы с ним уже третий сезон знакомство ведем.

Я тепло пожал руку товарищу и пообещал продолжить дружбу с зимородком.

«А каков он, зимородок-то? — подумал я, когда приятель был уже далеко.— Как я его узнаю?» Я когда-то читал про эту птичку, но описания не запомнил, а живой видеть не при-

ходило. Расспросить же друга, как она выглядит, не догадался.

Но вскоре она сама объявилась. Я сидел у шалаша. Утренний клев окончился. Поплавки недвижно белели среди темно-зеленых лопухов кувшинок. Иногда разыгравшаяся мальва задевала поплавки, они вздрагивали, заставляли меня насторожиться. Но вскоре я понял, в чем дело, и совсем перестал следить за удочками. Наступал знойный полдень — время отдыха и для рыбы и для рыболовов.

Вдруг над прибрежными зарослями осоки, часто-часто махая крылышками, промелькнула крупная яркая бабочка. В то же мгновение бабочка опустилась на крайнее мое удилице, сложила крылья и оказалась... птичкой. Тонкий кончик удилица закачался под ней, подбрасывая птичку вверх и вниз, заставляя ее то вздрагивать крылышками, то растопыривать хвостик. И точно такая же птичка, отраженная в воде, то летела навстречу, то вновь падала в синеву опрокинутого неба.

Я затаился и стал разглядывать незнакомку. Она была удивительно красива. Оливково-оранжевая грудка, темные, в светлых пестринках крылья и яркая, небесного цвета спинка, настолько яркая, что во время полета она блестела совершенно так же, как переливается на изгибах освещенный солнцем изумрудно-голубой атлас. Неудивительно, что я принял птичку за диковинную бабочку.

Но пышный наряд не шел к ее лицу. В ее облике было что-то скорбное, печальное. Вот удочка перестала качаться. Птичка замерла на ней неподвижным комочком. Она зябко втянула в плечи голову и опустила на зоб длинный клюв. Короткий, едва выступавший из-под крыльев хвост тоже придавал ей какой-то сиротливый облик. Сколько я ни следил за ней, она ни разу не пошевелилась, не издала ни единого звука. И все смотрела и смотрела на струившиеся под ней темные воды реки. Казалось, она уронила что-то на дно и теперь, опечаленная, летает над рекой и разыскивает свою потерю.

И у меня стала складываться сказка про красавицу царевну. О том, как ее заколдовала злая баба-яга и превратила в птичку-зимородка. Одежда на птичке так и осталась царская: из золотой парчи и голубого атласа. А печальна царевна-птица оттого, что баба-яга забросила в реку серебряный ключик, которым отмыкается кованый сундук. В сундуке на самом дне лежит волшебное слово. Овладев этим словом, царевна-птичка снова станет царевной-девушкой. Вот и летает

она над рекой, грустная и скорбная, ищет и никак не может отыскать заветный ключик.

Посидела, посидела моя царевна на удочке, тоненько пискнула, будто всхлипнула, да и полетела вдоль берега, часто махая крылышками.

Очень понравилась мне птичка. Обидеть такую рука не поднимается. Не зря, выходит, предупреждал меня товарищ.

Зимородок прилетал каждый день. Он, видно, и не заметил, что на приваде появился новый хозяин. И какое ему было до нас дело? Не трогаем, не пугаем — и на этом спасибо. А я к нему прямо-таки привык. Иной раз почему-то не навестит, и уже скучаешь. На пустынной реке, когда живешь так невылазно, каждому живому существу рад.

Как-то прилетела моя пичужка на приваду, как и прежде, уселась на удочку и стала думать свою думу горькую. Да вдруг как бухнется в воду. Только брызги во все стороны полетели. Я даже вздрогнул от неожиданности. А она тут же взлетела, сверкнув чем-то серебряным в клюве. Будто это и был тот самый ключик, который она так долго искала.

Но оказалось, моя сказка на этом не окончилась. Зимородок прилетал и прилетал и все был так же молчалив и не весел. Изредка он нырял в воду, но вместо заветного ключика попадались мелкие рыбешки. Он уносил их в свою глубокую пору-темницу, вырытую в обрыве.

Приближался конец моего отпуска. По утрам над рекой больше не летали веселые ласточки-береговушки. Они уже покинули родную реку и тронулись в далекий и трудный путь.

Я сидел у шалаша, греясь на солнце после едкого утреннего тумана. Вдруг по моим ногам скользнула чья-то тень. Я вскинул голову и увидел ястреба. Хищник стремительно мчался к реке, прижав к бокам свои сильные крылья. В тот же миг над камышами быстро-быстро замахал крылышками зимородок.

— Ну зачем же ты летишь, дурачишка! — вырвалось у меня. — От такого разбойника на крыльях не спасешься. Прячься скорей в кусты!

Я вложил в рот пальцы и засвистел что было мочи. Но, увлеченный преследованием, ястреб не обратил на меня внимания. Слишком верна была добыча, чтобы отказаться от погони. Ястреб же вытянул вперед голенастые ноги, распустил веером хвост, чтобы затормозить стремительный разлет и не промахнуться... Злая колдунья послала на мою царев-

ну смерть в облике пернатого разбойника. Вот какой трагический конец у моей сказки.

Я видел, как в воздухе мелькнули в молниеносном ударе когтистые лапы хищника. Но буквально на секунду раньше зимородок голубой стрелой вонзился в воду. На тихой предвечерней воде заходили круговые волны, удивившие одуряченного ястреба.

Я собирался домой. Отвел лодку к мельнице для присмотра, уложил в заплечный мешок вещи, смотал удочки. А вместо той, на которой любил сидеть зимородок, воткнул длинную ветку лозы. Под вечер как ни в чем не бывало прилетела моя печальная царевна и доверчиво уселась на хворостину.

— А я вот уйду домой,— сказал я вслух, завязывая рюкзак.— Поеду в город, на работу. Что ты будешь одна делать? Смотри, ястребу на глаза больше не попадайся. Полетят твои оранжевые и голубые перышки над рекой. И никто про то не узнает.

Зимородок, нахохленный, недвижно сидел на лозинке. На фоне полыхающего заката отчетливо вырисовывалась сиротливая фигурка птички. Казалось, она внимательно слушала мои слова.

— Ну, прощай!..

Я снял кепку, помахал моей царевне и от всей души пожелал отыскать серебряный ключик.

ХИТРЮГА

Давно приставал ко мне сынишка: принеси да принеси из лесу ежа. Они в школе живой уголок устроили: есть кролик, ящерица, воробей, даже морскую свинку где-то достали. А вот ежа нет. Раза два всем классом в лес ходили, да разве его скоро найдешь? Вот сынишка и пообещал товарищам, что я обязательно поймаю. Я, мол, знаю, где какая птица, какой зверь прячется.

Пожурил я сына за поспешное обещание, которое может остаться и невыполненным, да делать нечего. Пришлось искать ежа. Правда, специально за ним я не ходил. Отправлюсь на охоту или рыбную ловлю, ну и про ежа помню: может, по пути встретится. А оно всегда так бывает: когда чего надо — попадает, а когда ищешь — не найдешь.

Прошлой осенью ходил я к дальнему лесному озеру за окунями. Тихо и светло бывает в лесу ясным осенним днем. Светло оттого, что листья осыпались и больше не затевают землю, а тихо потому, что и ветер не шумит кроной, и птиц не слышно — они уже улетели на юг. Стволы деревьев подпирают небо, будто колонны. Между ними постлан мягкий ковер из сухих листьев. Изредка попадают молодые дубки с еще не опавшей листвой. Освещенные солнцем, они вспыхивают в просветах между стволов, словно зажженные факелы. И эхо, гулкое, раскатистое, блуждает в лесу тоже как в большом пустом здании.

В таком лесу далеко слышен каждый звук. Скачет ли заяц или сторожко крадется лисица — нет-нет да и хрустнет сухая ветка, зашуршат опавшие листья.

Слышу и я: кто-то бежит под кустами лещины. Топ-топ-топ... Присел на корточки, чтобы под ветки заглянуть. Вижу: прямо на меня катится возок, доверху нагруженный листьями. Точь-в-точь, как телега с сеном. Только величиной-то этот возок с шапку и движется он сам собой, без лошади.

— Ежик! — догадался я. — Тащит сухие листья в нору на подстилку.

Ежу очень удобно собирать листья. Найдет местечко, где их побольше, растопырит иголки — и ну кататься, с боку на

бок переваливаться. Листья и накальваются на его колючки. Встанет на лапки еж, а его под листьями и не видать. Так и бежит он в золотой одежде в свою нору.

Почуял меня еж — остановился, припал к земле. Только листья шевелятся на его взъерошенной спинке.

Это было до того, как сын попросил ежа, к тому же я шел к озеру и брать зверюшку было не с руки. Ну и уступил ему дорогу.

Попадись он мне теперь — накрыл бы шапкой и в рюкзак! Но вот беда: хожу-хожу, а он все не попадается. Едва я вечером на порог, а сын уже вопросительно смотрит: принес?

— Нет, не принес,— говорю.— Не надо было обещать! Нехорошо получается. Последняя надежда на следующее воскресенье. Если и тогда не встречу, там уже холода начнутся, все ежи по норам спрячутся до весны.

Очередной выходной день я ожидал с не меньшим нетерпением, чем сын. Охотничий азарт взял. Впервые отправился специально за этой колючей дичью. Проходил полдня, заглядывал под каждое корневище, под каждую кучку валежника — нет ежа! Рассердился, даже по зайцу стрелять не стал, когда он из-под напиленных поленьев выскочил.

Повернул я домой. Чтобы быстрее идти, выбрался на железнодорожную насыпь. Шагаю по шпалам, а сам все про сына вспоминаю. Сейчас открою дверь, а он — скок навстречу: «Принес? Эх ты, охотник!»

Прошел переезд. Скоро и лес должен кончиться, завиднеется город. И вдруг впереди между рельсами вижу, какой-то серый клубок катится, не прямо, а зигзагами: то к одному рельсу, то к другому жметя и так ловко через шпалы прыгает. Снял я ружье, прибавил шагу. Клубок еще быстрее покатился. Я — бежать. Он тоже прибавил ходу. Чего бы ему через рельс не перепрыгнуть? Откос высокий, враз скатился бы, только его и видели.

Но серый клубок не думал сворачивать. Наконец нагнал я его. Да ведь это же ежик! Вот выручил, вот спасибо тебе, глупенький ты зверюшка. Припал еж в углублении между шпалами, ощетинился. А бока так и вздымаются, колючки так и ходят. Видно, запалил я его. А перепрыгнуть через рельс не догадался, не видел края, что ли? Наверное, на переезде переходил пути, да я помешал, он и угодил между двух рельсов. Накрыл я ежика шапкой и сунул в рюкзак. А потом сбежал с насыпи в лес, набрал побольше листьев и набил ими мешок. Думаю, передам сыну пленника вместе с листьями. Пусть устроит ему настоящее гнездо.

Сына дома не оказалось: он не ожидал меня так рано и пошел к товарищу. Ну ладно, думаю, так еще лучше. Придет, а еж уже будет бегать по комнате.

Налил я в блюдечко молока, накрошил в него булку, а рядом кусок сырого мяса положил. Выбирай, ежик, что понравится!

Но ежишка даже не взглянул на лакомства. Посидел тихонько взъерошенный, потом высунул из-под колючего чуба остренькое рыльце и затопал под шкаф.

В кухне света не стали зажигать, чтобы не беспокоить зверюшку, а сами перешли в столовую, закрыв за собой дверь.

Пришел сынишка, увидел на полу рюкзак с листьями, рядом блюдечко с молоком, запрыгал, забил в ладошки:

— Принес! Принес! Принес! Ну-ка, покажись, ежик, какой ты? Пап, где же ежик?

— Под шкафом,— сказал я, включая свет.

— Нету.

— Ну как — нету? Туда побежал. Тебе просто не видно.

— Хорошо видно. Там сзади стена освещена.

— Тогда, значит, в другое место перебежал. Посмотри под столом.

Сынишка, не вставая, на четвереньках дополз до кухонного, с дверцами стола и заглянул под него.

— Тоже нет.

— Ну как — нет? — не поверил я и сам посмотрел под стол. Ежа и вправду не было.

— Может, кошка его съела?

— Выдумал! С ним собака и та не сладит...

Мы с сыном сидели на полу и, недоуменно глядя друг на друга, гадали, куда запропастился ежик. Убежать он никуда не мог, разве только в столовую незаметно прошмыгнул. Но ведь дверь туда была закрыта.

Не меньше часа всей семьей лазали на четвереньках по полу, по нескольку раз заглядывая во все углы.

— А не забрался ли он в поддувало? — с робкой надеждой предположил сын.

— А ведь верно!

Пошарили кочергой в поддувале — нет. Вот задача!

Снова собрались все в столовой, совещаемся. В самом деле, куда он мог спрятаться?

— Ведь не иголна же это, — возбужденно всплескивает руками сын. — А тысяча иголок сразу!

Сидим молча, думаем. Вдруг слышу — кто-то на кухне ла-

кает. Вскакиваем, бежим на кухню. А это наш кот Тишка. Съел мясо, которое ему подложено, и молочком запивает...

Опять принялись за поиски, но так и не нашли ежа. Поздно вечером улеглись и долго еще не спали, прислушиваясь, не зашлепают ли по полу лапки беглеца.

— Папа, а не спрятался ли он в твой охотничий сапог? — спросил сын и, не дожидаясь моего ответа, соскочил с кровати, побежал обследовать сапоги.

— Нету...

— Спи, завтра сам найдется.

Но и утром ежа не было. Расстроенный, сын пошел в школу.

Весь день я гадал, куда мог исчезнуть ежик. Вернувшись с работы, я еще с порога спросил, не отыскался ли он. Но ежишка пропал бесследно.

Дня через два я зачем-то пошел в кладовую. Увидев на стене туго набитый листьями мешок, я снял его с гвоздя, чтобы вытряхнуть: листья-то теперь не понадобятся. И что вы думаете? Вместе с листьями выпал на землю... ежик. Он тотчас свернулся клубочком, будто сознавал всю вину за учиненный в доме переполох.

Как он мог оказаться в кладовой, в крепко затянутом рюкзаке, подвешенном на высоте двух метров?

Ответ мог быть только один. Когда мы оставили ежа в кухне, он, побегав среди незнакомых предметов, опять залез в рюкзак, откуда пахло родным лесом и его собственным запахом. А потом бабушка отнесла рюкзак в кладовую и повесила его на гвоздь...

Ну и хитрюга этот еж! Так и называли его юннаты: Хитрюга.

РЕПЕЙНОЕ ЦАРСТВО

Тропинка, протоптанная рыбаками, вела нас по обрывистому крутояру. Начинаясь Кулига, некогда знаменитая своими глубокими коряжистыми омутами, изобиловавшими всякой рыбой. Река, капризно петляя, подтачивала берега, над водой то здесь, то там нависали деревья. Они судорожно цеплялись за край обрыва, было видно, как их корни напряжены от усилий, как жадно они нащупывали каждый клочок земли, чтобы вцепиться в него и продержаться еще хотя бы день. Иногда слышался глухой грохот обвала. Глыбы земли вместе с деревьями и кустиками ежевики, густо усыпанными темносиними ягодами, сползали в глубь омута, и тогда в этом месте тропа внезапно обрывалась. Ее продолжение уже там, на дне.

Мы останавливались у свежего надлома земли, еще влажного, в прожилках оборванных корней, и с опаской глядели вниз, где в воронках кружили мусор, сухие листья, ветки — следы недавней катастрофы.

Встречались и старые обвалы: из воды торчали мрачные скелеты деревьев, на ветвях которых пауки развесили серебряные сети. Порой среди скрученных побуревших листьев ярко сверкала на солнце блесна. Какой-то рыболлов угодил блесной в сухое дерево, торчащее из воды. Снять ее оттуда без лодки невозможно. Рыболлов после тщетных попыток в сердцах обрывал лесу и уходил прочь.

Мой приятель — добродушный толстяк, недавно произведенный в спиннингисты, — уже порядком устал, а тропа все вела и вела нас непролазными береговыми зарослями ивы, мелколистного клена, карагача и густой щетины подлеска. Непривычный к таким переходам, грузный и неловкий, он продирался сквозь чащу, как слон: слышно, как позади трещали ветки, беспокойно шумели листвой раздвигаемые кусты.

— А, ты, черт!

— Что такое?

— Чуть было удочку не сломал!

У него поднят воротник куртки, глубоко надвинута кепка. На лбу багровела свежая царапина.

— И какой чудак ловит в этой чащобе? Ни к реке не подойти, ни удочку забросить...

— Это еще цветочки! Ягодки — впереди!

— Неужели будет еще хуже?

— Будет! — безжалостно подтвердил я.

— Разыгрываешь? — Приятель взглянул на меня, стараясь угадать, шучу я или говорю правду.

Но вот лес поредел. Впереди завиднелось открытое пространство. Мой товарищ, облегченно отдуваясь, достал платок и вытер потное просветлевшее лицо.

— Дешевый розыгрыш! — усмехнулся мой приятель.

Тропа вынырнула из-под сумеречного полога лесной глухомани, и мы зажмурились от брызнувшего в глаза августовского солнца.

Здесь, на открывшейся полянке, густой рыжей стеной стоял репейник. В человеческий рост, жесткий, жилистый, весь в цепких шапках, слепившихся в большие лепешки, он встретил нас, будто огромное войско, молчаливо и враждебно.

— Держись! — на ходу крикнул я другу и поднял высоко над головой удочку, будто собирался переходить вброд бурный поток.

Стена сорняков нехотя подалась, сухо зашуршала, у самого лица устрашающе закивали головки репейев. Из бурой чащи повеяло пыльной, застоявшейся духотой.

Прощупывая ногами тропинку, я с трудом продирался, наваливаясь всем телом на пружинистую сетку переплетенных стеблей. И с каждым шагом чувствовал, как моя одежда обрастала комьями колючек. Они назойливо цеплялись за кепку, за рукава, за штаны, к ним тотчас прилипали другие репы и свисали виноградными гроздьями. Хотелось высунуть голову из этого хаоса, глотнуть свежего воздуха, поскорее освободиться от неприятных объятий лопухов.

Позади глухо шуршали кусты, слышались проклятия.

— Скоро там конец? — кричал он мне.

Так продирались мы добрых полчаса. Усталые и истерзанные, с ног до головы облепленные репьями, свалились на траву.

— Тьфу! — сплюнул мой спутник. — Никогда не встречал подобной гадости. И откуда они только тут взялись? Главное, растут как раз вдоль тропы. Как нарочно!

Приятель стащил с себя куртку, штаны и с яростью начал обрывать с одежды репы, отшвыривая их подальше от себя.

— Что ты делаешь? — схватил я его за руку.

— А что? Что ж, мне так в репьях и идти домой?— удивился он.

— Ты вот спрашиваешь: откуда, мол, они взялись на тропе. А сам же и разбрасываешь семена. Выбрался на чистое место и давай скорей обираться. А сорняку только того и надо. На другой год приди на это место — и не узнаешь. Все зарастет лопухами. А сколько за осень пройдет здесь нашего брата? И каждый, выбравшись на поляну, начинает чиститься. Так постепенно и обрастет наша рыбацья тропа дикими джунглями сорняков.

— Гм... А ведь верно.

Я набрал сухих веток, разжег костер и положил в огонь собранные репья. Потом, взявшись за руки и притоптывая босыми ногами, мы закружились в торжественном танце, посвященном сожжению злодея.

ПАЛТАРАСЫЧ

Солнечный луч отыскал в камышовой крыше куреня лазейку, угодил мне в глаза и разбудил. В треугольный просвет двери глядело погожее августовское утро. В деревне горланили петухи. Их возбужденные крики долетали непрерывно: то близкие, то далекие, а то почти совсем неуловимые, похожие на звон в ушах.

Снаружи тянуло дымком и запахом поспевающего кулеша. Дед Палтарасыч готовил завтрак. Сквозь камышовую стенку было слышно, как он, звякая ложкой по котелку, приговаривал:

— Побурли, милок, наберись наварцу.

С Павлом Тарасовичем, или, как зовут его в деревне, Палтарасычем, я познакомился вот при каких обстоятельствах.

Прошлой осенью повстречал я на областной сельскохозяйственной выставке своего старого знакомого — инженера Дмитрия Петровича Вешкина. Незадолго до этого он оставил завод и уехал работать в деревню. Его избрали председателем колхоза «Поднятая целина» в каком-то отдаленном сельце, название которого никак не запомню. То ли Заболотное, то ли Залесное, но не в названии дело. А в том, что человек попросился в самую глухомань.

— Ну и как? — полюбопытствовал я.

— А вот видишь, на выставку приехали. Показываемся. Пшеничку добрую привезли, бахчу, телят, ну и рыбку.

Экспонаты колхоза «Поднятая целина» были разбросаны по всей выставке. «Пшеничку» и «бахчу» мы осматривали в районном павильоне. Потом отправились в отдел животноводства и полюбовались на тройку большеглазых телят — чистеньких, в чуть наметившихся, цвета топленого молока пятнышках.

— А вот и наша рыбка, — сказал Вешкин, подойдя к огромному, как фургон, аквариуму. — Сто тысяч дохода получили.

Массивную посудину из дерева и стекла плотным кольцом окружили ребятишки, наверняка рыболовы. Они с завистью разглядывали полупудового карпа, развалившегося на песча-

ном дне аквариума. Карп был действительно завиден! Крутолоб, могуч, дороден. В нем было что-то бычье: и в тупой короткой морде, и в широченной спине, изогнутой крутым горбом, и в том, как он лениво шлепал губами, будто пережевывал жвачку. А какой хвостике! Он все время чуть шевелился, но и этого было достаточно, чтобы вода кругом ходила ходуном. Иногда карп словно вздыхал, как вздыхает сытая скотина, и тогда из его рта вырывалась сильная струя воды, взвихривая песок и крутя воронки.

У аквариума, не замечая нас, ходил длинный костлявый старик в соломенной шляпе. Большим алюминиевым ковшом он вылавливал яблочные огрызки, куски печенья и булок, которые, забавляясь, то и дело забрасывали в аквариум ребятишки.

— Цыц, бесенята! — взмахивал редкой бородой старик и устрашающе потрясал над головой ковшом. — Понимать надо!.. Думаешь, ты ему приятность оказываешь своим печеньем? От этого одно помутнение воды получается. Никакого продыху рыбе от вас нету, мошкара голопятая!

Старик плюхнулся на стул, сорвал с себя шляпу, обнажив всю в испарине шоколадную лысину, и по-рыбьи глотнул воздух.

— Загоняли, шельмецы, замаяли!..

Он устало оглядел своих противников и нахлобучил шляпу.

— В нашем колхозе рыба не простая. Не дичь какая-нибудь. Наша рыба с пониманием, с дисциплиной. Обитание свое проводит по распорядку дня. Пришел час — отдыхает, пришел другой — гуляет. И кушает тоже по часам.

— Вот заливает!.. — послышалось сзади.

— И физзарядку выполняет — все честь по чести. Вот какая, значит, у нас рыба. А раз такая у нас рыба заведена, то и обращение должно быть с нею деликатное. Вы вот разную сладость бросаете, а то вам невдомек, что перед вами не какой-нибудь глупый карп представлен для обозрения, а настоящий артист. Он тебе утречком, на восходе солнца, такую кадрили выкинет, — что твоя балерина — не гляди, что полпуда весом. Особенно если на рожке сыграть.

Председатель колхоза смотрел на всю эту компанию и улыбался.

— Прибаутки рассказывает? — спросил я у него.

— Палтарасыч-то? А вот приезжай — увидишь...

И вот я живу под гостеприимной кровлей Палтарасычева шалаша. Он стоит километрах в трех от села в лесистой балке. Когда-то по дну балки бежал робкий ручеек. Его перегородили плотиной. Весной разлился пруд гектаров на пятьдесят. Завели в нем рыбу, а Палтарасыча назначили ее управителем.

В заливчике, на берегу которого ютился шалаш, Палтарасыч расчистил дно, посыпал его песком, а над этим местом построил помост. Каждый вечер, набрав в сумку корма, старик шел по мосткам и рассыпал пригоршнями подкормку.

...В шалаш на четвереньках влез Палтарасыч, порылся в сундучке, что стоял в углу возле входа, достал оттуда краюху хлеба, глиняное блюдо и деревянные ложки. Заметив, что я не сплю, он позвал меня завтракать.

Я взял полотенце и выполз вслед за стариком. Тропинка, сбежавшая к пруду, еще по-утреннему холодила босые ноги, но доски на помосте уже прогрелись, и ступать по ним было приятно. Я прошел в самый конец настила. Передо мной на полкилометра в ширину сияло безукоризненно чистое зеркало пруда. По нему, не оставляя следа, скользило отражение одинокого облака. Только в заливчике поверхность воды то и дело покрывалась кругами. Они расходились, постепенно затухая, а рядом возникали новые... Иногда круги появлялись у самых моих ног. Раза два я даже видел, как под мостком, не обращая на меня ни малейшего внимания, неторопливо проходили табунки сытых крутобоких карпят. Они проплывали плотной стайкой вслед за своим вожаком, как правило, более солидной рыбиной. Табунок замыкали фунтовички. Они вели себя игриво, поминутно отплывали в сторону, иногда гонялись друг за другом, поблескивая серебром чешуи.

Старик поставил дымящуюся миску на стол, сооруженный в тени густого куста лещины.

— За ложку извини,— сказал он.— Деревянная. Никогда не ел такой?

— Не приходилось. Удобная штука!

Старик ловко зачерпнул ложкой кулеш, старательно обтер ее донышко о хлеб и, макая в супе усы, смачно отхлебнул.

— Дело не только в удобствии. Опять же из деревянной еда вкуснее. Попробуй кулешу поесть железной — уже не то! Нету в нем никакого аромату. Железом отдает. Или взять уху...

Но тут Палтарасыч осекся и сделал «стойку»:

— Кажись, опять ребята балуют...

Он отбросил ложку, сдернул с крыши шалаша шест и скрылся в кустах. Где-то затрещали ветки, и вслед раздался голос Палтарасыча:

— Ах вы, разбойники! Вот погодите, я вам задам!..

Палтарасыч вернулся запыхавшийся, возбужденный. Он сердито отшвырнул шест, присел на лавку. Его сивая реденькая борода нервно вздрагивала.

— Опять с бреднем подкрались. Ну, прямо сладу с ними никакого нету! — пожаловался он. — Одно безобразие получается. За яблоками в колхозный сад и то перестали лазить. Стало быть, понимают, что нельзя. А рыбу воровать, выходит, можно. Да что она, хуже самых последних яблок, что ли? Еще и корят: «Ты, мол, дед, жадный. Что тебе, жалко дать рыбу поудить? Ведь не сеешь, не пасешь, сама растет». А сколько я на нее сил своих уложил? А? Оно, конечно, удить рыбку — дело безобидное, утешительное. Но посуди, сынок, сам: один снизу унесет, другой... Сколько за лето рыбы загубят? Я так и сказал на правлении: если разбой не прекратится, буду из ружья стрелять. Пусть потом зад чешут.

Ну, ребята куда ни шло. А то ведь и взрослые туда же. Какой командировочный из города объявится — сразу же на пруд метит. Всякие прочие гости опять-таки лезут. Один — не помню, кто такой, — удилице с колечками, а возле комля целое колесо с лесою. Автомат, что ли, какой? Хотел было этим самым автоматом на чужую собственность нацелиться. Да не дал я. Не дал — и все тут. «Нельзя, — говорю, — мил человек. Не положено. Вот выпиши в конторе, сколько тебе надо, — три там или пять кило, — такой вес и вылавливай». Обиделся, правда. Потом председатель даже выговаривал мне за горячность.

* * *

После завтрака Палтарасыч повез меня на лодке осматривать пруд. Потом старик ушел на усадьбу выписывать подкормку: отруби, жмых, зерновые отходы.

— Ты тут, сынок, присмотри, чтобы не озоровали, — попросил он.

Пришлось заделаться караульщиком. Раза два я садился в лодку и объезжал пруд. Но ничего подозрительного не заметил.

А под вечер возле куреня собралась целая ватага ребятпшек.

— Что за люди?— спросил я.

— Мы к Палтарасычу.

Ребята разлеглись неподалеку на травке, негромко переговаривались, грызли молодые подсолнухи.

За кустами закричала подвода. Палтарасыч подъехал к куреню. Ребята обступили телегу.

— Давай, дедушка, поможем сгрузить.

— Сгружать-то нечего,— слезая с телеги, хмуро буркнул Палтарасыч.— Не дал кладовщик жмыху. «Мало,— говорит,— осталось. Надо скотине побережь». А рыба, значит, ему — тьфу! Вот насыпал какой-то трухи... А вы что? Пришли рожок послушать? Не в духах я нынче. Не до песен. Да к тому ж вы баловники большие. Это ж ты, Митька, утром с сачком подкрался?— спросил Палтарасыч у вихрастого.

— Не я.

— Ну, еще врешь деду!

— Я теленка искал.

— Смотри у меня!— погрозил пальцем Палтарасыч.— Уши оборву. Ну, живо, тащите мешок.

Ребятишки одним духом вскочили на телегу, скатили мешок и, облепив его со всех сторон, поволокли, как муравьи, к куреню.

Тем временем Палтарасыч достал из сундучка рожок. С виду это был обыкновенный серый коровий рог, отшлифованный от долгой службы до блеска. На внутренней стороне его изгиба были просверлены отверстия — лады. Дед подсел к столу, достал из кармана баночку от зубного порошка и высыпал на стол набор пищиков — коротких камышовых трубочек. Взяв одну из них, он поднес ее к губам и слегка подул. Трубочка издала густой, несколько сухой звук. Палтарасыч положил ее в коробку и попробовал другую. Эта пропела более высоким и чистым голосом. Он вставил ее в конец рожка, сложил остальные трубочки в коробку. Потом отсыпал в конскую торбу корму, перекинул ляжку сумки через плечо.

— Ну, теперь пошли скликать наше стадо.

Пройдя в самый конец мостков, Палтарасыч опустил на доски, свесил к воде босые ноги. Мы разместились тоже на мостках, но на некотором расстоянии от него. Я с любопытством следил за приготовлениями к этому небывалому представлению.

Палтарасыч сыпнул несколько пригоршней подкормки в воду, неторопливо расправил усы, чтобы волосы не лезли в рот, откашлялся, поднес рожок к губам. В вечерней тишине над спокойной гладью воды, розовой от багряного отсвета за-

ри, полетели бодрые звуки. Они не отличались силой, но были мелодичны и чисты.

Протрубив зóрю, рожок вдруг вывел сочное, игривое колленце из «Камаринского». Повторив эту запевку еще раз, Палтарасыч пошел наигрывать «Камаринского» без передышки, постепенно убыстряя темп. Неуклюжие, корявые, в синих вздутых узлах пальцы бегали по рожку с необыкновенной легкостью. Будто, заразаясь весельем, они сами пустились отплясывать.

И ведь бывают же чудеса! Поверхность залива, в которой еще минутою назад отражались прибрежные осоки и неподвижно темнели листья кувшинок, вдруг ожила. Сначала появился один круг, качнувшийся листья кувшинок, следом — другой. Потом — сразу несколько. Вода закипела от всплесков. Было похоже, что над заливом пошел дождь и крупные невидимые капли шлепались в воду, дробя и будоража ее гладкое зеркало.

А рожок все наигрывал нехитрую, бесконечно веселую песенку.

Вдруг возле самого помоста с гулким всплеском выпрыгнула рыбина. Она продержалась в поле зрения какую-то долю секунды, но я успел разглядеть могучее тело громадного карпа, изогнутое в стремительном броске. Сверкнув розовато-бронзовым боком, он тяжело шлепнулся в воду. Брызги, поднятые им, ударили в лицо.

— Ого, какой дядя! — отозвался Митька.

Не успел я пережить увиденное, как новая вскидка полупудового карпа отозвалась в ушах. А следом выпрыгнул еще один и сделал головокружительное тройное сальто. Он подскочил, упал, но тут же ударом могучего хвоста подбросил себя снова кверху, опять шлепнулся и снова подпрыгнул.

Все это походило на колдовство. Палтарасыч в эту минуту и впрямь смахивал на сказочного волшебника: сутулый, худой, с длинной козлиной бородкой. Его склонившаяся над водой фигура, слегка покачивающаяся в такт мелодии, отчетливо вырисовывалась на фоне пламенеющего неба. А у его ног отплясывали, позабыв о своей солидности, карпы.

* * *

Небо налилось вишневым соком погожей зари. В кустах за клубились туманом ранние в эту пору сумерки.

Старик достал из кармана белую чистую тряпочку, бережно завернул в нее рожок. Присмирившие ребятишки неслыш-

но снялись с лавки, шлепая босыми ногами по доскам помоста, молча умчались к берегу. Вслед за ними поднялись и мы.

— А вы, Павел Тарасович, прямо-таки чародей,— сказал я, все еще находясь под впечатлением увиденного.

— Это насчет рожка-то?— отозвался Палтарасыч.— А я так тебе скажу: всякая тварь к душевности понятие имеет,— что рыба, что птица, что зверь какой. Приласкай — и пойдет за тобою. А рожок этот, брат, целая история. Ему уже, почитай, лет сто, а то и поболее. Достался он мне от пастуха, деда Парфена. А как к деду Парфену попал, неизвестно. Может, сам сладил, а может, и по наследству перешел.

Палтарасыч засветил «летучую мышь», отер рукавом стекло, поставил на стол.

— Рожку меня тот самый дед Парфен и обучил,— снова заговорил Палтарасыч, задумчиво шурясь на огонек фонаря.— Я в ту пору у него в подпасах ходил. Бывало, обступят деда Парфена овцы, стоят, головы к земле, слушают. А он играет. Уже не помню, что играл, не понимал я тогда, только и меня, мальчишку, за сердце от той игры хватало. Овцы переминаются с ноги на ногу, а в глазах у них человеческое внимание.

Не было у деда ни родных, ни знакомых. Так и помер среди овец на кургане. Подогнулись ноги, опрокинулся на землю и больше не поднялся. Когда умирал, сказал мне: «Тут, Павлуша, в моей сумке рожок. Возьми себе. Больше ничего не нажил...»

На огне, тревожно звеня крышкой, закипел чайник. Палтарасыч поддел его под ручку проволочным крючком, снял на землю.

Из-за лесистого края балки показалась луна. Она заглянула в пруд, и тот, чуть тронутый дыханием ночи, засветился мелкой чешуйчатой рябью. В заливе все еще раздавались гулкие всплески рыбы, собравшейся на кормежку.

На столике тускло горела «летучая мышь». Мы молча допивали свой вечерний чай. Бывают такие минуты, когда собеседники, перебирая еще не улегшиеся мысли, уходят в себя и при этом не чувствуют никакой неловкости.

ЧИР И ЧИРИХА

Березовские Дворики — ничем не примечательная деревушка. Ни садов в ней, ни палисадников, ни березки, ни даже простой ракиты не встретишь. Стояла она на тощем песчаном косогоре.

И все же я любил эту деревушку. И как не любить: прямо перед избами, цепочкой вытянувшимися по бугру, протекала речка, изобилующая сазаном, лещом и прочей всякой речной дичью. А чего лучшего может желать рыболов?

Под выходной в деревню съезжалось много нашего брата-удильщика. У кого наступал отпуск, тот и квартировал здесь.

Я тоже снимал комнатку у одной старушки. Летом она жила на деньги за квартиру, которую с самого апреля и до морозов занимали городские рыболовы, а зимой вязала носки и теплые пуховые платки. А с нашей рыбацкой точки зрения, старушка была прямо клад: она ловко чинила и вязала новые подсачки, сучила лески, держала целый мешочек маховых гусиных перьев. Все это стоило гроши, но иногда позарез необходимо рыболову. Да и старушке некоторый доход.

Называла она всех нас «удочей».

— А, удочей пришел! — улыбалась она, открывая мне калитку. — Пожалуйста, комната свободна: прежний с неделю как уехал. А ты, сынок, как раз ко времени подоспел. На завале лещ стал брать.

Зажил я у бабушки Прасковьи привольно. Лещи на завале действительно брали хорошо. По вечерам в маленькой избенке аппетитно пахло ухой или жареной рыбой. Бабушка Прасковья умела угодить самому утонченному обожателю ухи. У нее и перчик горошком всегда в норму оказывается положенным, и лаврового листа ровно столько, чтобы задрожали ноздри от величавого запаха, и луку, и пшена — всего в меру.

— Я-то в молодости тоже рыбачила, в артелях имела участие. Там и сети вязать научилась, и уху стряпать, — отвечала на похвалу бабушка Прасковья. — Я и теперь промеж вас, удочеев, вроде как в артели нахожусь.

Но самое распривольное житье было, конечно, на реке.

На том берегу открывалась широченная пойма, вся в бесчисленных озерах, старицах, рукавах, шуршащая камышом и благоухающая цветущим разнотравьем. Вдосталь наудившись на реке, я шел с местными ребятами в пойму ловить карасей, делать зарисовки и снимки из таинственной жизни этих маленьких непролазных джунглей.

Без рубахи и в закатанных выше колен штанах я, видимо, был смешон в глазах местных жителей. Правда, открыто этого мне никто не выказывал, и, когда, увешанный аппаратом и банками, я проходил деревенской улицей, со мной чинно здоровались.

— Что это у тебя, Прасковья, постоялец какой-то чудной?— спросила как-то соседка.

По случаю ненастья я был дома, лежал на койке и через перегородку слышал весь этот разговор.

— У всякого человека свой интерес,— слышался скрипучий голос старушки.— Одни ружьем пробавляются, другие — удочкой, третьи — рюмочкой. А этот вот большое внимание ко всякой живности имеет. У него в комнате, как в аптеке какой: разные банки, пакетики, по ночам карточки отпечатывает... А на тех карточках птичьи гнезда, следы и еще какие-то чудеса. Да ты погляди, как к нему наши ребята липнут-то! Зря не станут. Видать, дело интересное.

Как-то мы набрали на выводок чирка: взрослую утку и четырех подростков. Утята уже хорошо оперились, но летать еще не могли, а потому выводок держался в самой глухой части Бараньего озера, сплошь заросшего двухметровым ситником. Только в одном месте у берега виднелось небольшое оконце воды. Сюда-то и вышла на кормежку семейка уток, когда мы появились на берегу озера. Уточка-мать тревожно свистнула и поплыла в заросли. Вслед за ней кинулись и утята, оставляя на зеленом ковре ряски следы своего бегства.

Сопровождавший меня соседкин сынишка Гриша, мигом сдернув штаны, полез за утятами. Проваливаясь в топком иле, он раздвинул шуршащую стену ситника и исчез за ней, как за занавесом. Я угадывал его путь по колыхающимся верхушкам стеблей.

— Вернись, утопнешь!— крикнул я.

Но Гриша не откликался. Только чавкала вода да тревожно перешептывался ситник. Вдруг послышалось хлопанье по воде крыльев, потом опять... Верхушки стеблей заколыхались в обратном направлении. Наконец в протоптанном коридоре появился Гриша, весь забрызганный грязью, черный как бесе-

нок: белели одни только белки глаз да зубы. Из подола рубахи он торжественно извлек пару утят.

— Ух и шустрые, пострелята! Через камыш, как иголки. Так и шьют, так и шьют! Двух накрыл, а двое куда-то забились.

Гриша держал утят за крылья, они испуганно дергали шейками и перебирали черными лапками, будто ехали на невидимом велосипеде. Размером они были не больше голубя, бурые перышки в темных крапинках так плотно прилегали друг к другу, будто на них не одежда из перьев, а тонкое трико спортсмена. В этих миниатюрных поджарых уточках и впрямь было что-то спортивное. Изящество плавных линий, стремительная заостренность тела, длинные узкие крылья и, наконец, гладко пригнанное оперение — по всему видать: первоклассные летуны.

— Натe, возьмите, — просто и охотно протянул мне утят мальчик. — Который побольше — селезень. А вот та — уточка.

— Ну что ты, Гриша. Тебе такого труда стоило их поймать, — стал было я отказываться.

— Ничего, берите. Я себе еще, если захочу, поймаю.

— Ну, спасибо, Гриша, за такой дорогой подарок. Только ты, пожалуйста, снеси их ко мне, а то я боюсь упущу.

— Прасковья Петровна! — окликнул я хозяйку, когда мы вошли во двор. — Посмотрите, что мы принесли.

На порог сеней вышла бабушка Прасковья с недовязанным подсачком в руках, заглянула в мокрый подол, спросила:

— Для дела для какого?

— Да нет, так просто...

— А тогда зря. Птица вольная. Ей надо на юг лететь. А вы ее неволить надумали. Замокреет, запакастится, пропадет!

Слова Прасковьи Петровны смутили меня. Но я все же не решился расстаться со своими пленниками. Меня так соблазняла мысль увезти их в город, приручить, сделать их домашними! Я попросил у Прасковьи Петровны лукошко, поставил его в угол моей комнатки, постлал на дно сухого сена и посадил на него утят. А чтобы они не выскочили, накрыл лукошко плащом.

Я переживал какое-то радостное волнение оттого, что вот тут, в человеческом жилье, рядом с книгами и репродуктором в уголке затаилась дикая природа: два пугливых, сторожких, неуволимых чирка.

Сколько мы еще не знаем! Какое-нибудь чудосочное озерцо, тут же, под городом, полно жизни, но какова она, эта

жизнь,— для многих такая же загадка, как тайна планеты Марс. А мы еще мечтаем о путешествиях в дальние страны, думаем открывать, удивлять мир. Вот они, дальние, неведомые страны,— вокруг тебя. Поля, луга, рощи, реки, озера...

Я накрошил в миску хлеба, налил воды, поставил в лукошко и лег спать. А ночью проснулся от хлопанья крыльев. Селезень неведомо как вылез из лукошка, бился в окно. Ударится о стекло, упадет на пол и тут же снова с ожесточением бросается навстречу холодному лунному свету.

Я засветил спичку. Утенок отпрянул и испуганно блеснул бусинками черных глаз. Он сидел на полу, опершись на мокрый хвост и растопыренные крылья. Черный, еще не затвердевший клювик широко открыт. Вид у молодого чирка был помятый, но решительный, как у боксера, все еще надеющегося на победу.

— Вон ты какой буйный!— сказал я, зажигая жестяную керосиновую лампочку.— Удрать, значит, хочешь? Потерпи, браток. Приедем в город, устрою тебе вольерку с водой, посажу кустики осоки. Славно заживешь со своей подружкой.

В ответ утенок угрожающе зашипел и шмыгнул под кровать. Я вытащил его и водворил в лукошко. Миска оказалась опрокинутой, сено намочено. Уточка забилась в складки упавшего на дно плаща. Я заменил подстилку, налил свежей воды.

Утром наведалься Гриша. Мы вытащили утят и пустили их на пол. Как неузнаваемо изменились они за одну ночь неволи! Хвосты и грудки намокли, шейки зашершавели, из крыльев торчали вывернутые перья. Видно, они всю ночь бились в лукошке, опять пролили воду, вымокли и испачкались.

Прасковья Петровна, внеся завтрак, укоризненно покачала головой:

— Пустите вы их! Смотри, как измаялись. Даже через стенку слышно, как ночью бились. Вам — забава, а им — самое горькое несчастье. Вот давай тебя возьму да и посажу в погреб. Тебе надо в свой город, а я не пускать стану, буду в сырой яме держать. Ты оттуда карабкаешься, а я за воротник да опять назад. Неволя, сынок, самое тяжкое наказание. Это что человека возьми, что тварь какую. И человек жертвует собой ради свободы, и птица тоже. Только у человека, конечно, свое разуменье о свободной жизни, а птица просто чутьем это понимает. А все ж таки для всех она, что твой воздух. Лишился — и зачах.

— Да вы, Прасковья Петровна, просто философ!— попытался отшутиться я, соглашаясь в душе с ее доводами.

— Чай, жизнь-то прожила, все повидала, — серьезно сказала Прасковья Петровна.

— Что, Гриша, отпустим чирят? — спросил я своего приятеля.

— Да хоть и пустим... — согласился Гриша.

— Только давай вот что сделаем: колечки на лапки надем. Примету такую. У тебя нет алюминия?

— Это найдется, — отозвалась Прасковья Петровна. — У меня кастрюля прогорелая есть. Без надобности валяется.

Прасковья Петровна принесла кастрюлю, Гриша сбегал домой за ножницами и напильником, и мы принялись за работу. Вырезали две узкие полоски, обточили края, чтоб лапки не резали.

— А теперь надпись сделать, где родились утята, в каком году. Если кто поймает их, чтоб видно было, откуда они. Какой адрес напишем?

— Известно какой, — озабоченно ответил Гриша. — Курская область, деревня Березовские Дворики... — И, подумав, добавил: — Баранье озеро.

— Нет, это слишком длинно, — улыбнулся я. — На такой маленькой пластинке не уместится. — И я концом ножниц выгравировал латинскими буквами: «Курск, СССР, 1959 год».

Этими пластинками мы обогнули лапки чирков и скрепили концы.

Когда смерклось, мы в торжественном молчании вынесли из дому лукошко и спустились по откосу к реке. На той стороне, за камышами, за клубящимися туманами поймы поднималась красная луна. Поперек черной реки перекинулся зыбкий мостик лунного света. Было тихо и тепло. От реки веяло запахами тины и сырости.

Я наклонил лукошко и сбросил с него плащ. На ободок, неуклюже карабкаясь перепончатыми лапками, выбрался селезень, уселся на краю, балансируя грудью и вскидывая маленькую головку с блестящими глазами. И вдруг пырхнул, полетел, полетел, зачерпывая крыльями воду, разбивая танцующий золотой мостик, полетел навстречу багровому диску луны. Казалось, вот он, обессиленный, упадет. Но нет, полет выровнялся, чирок оторвался от воды и растворился в густеющих сумерках. Только когда он тяжело шлепнулся у противоположного берега, мы поняли, что он набрал-таки сил перелететь реку и спрятаться в береговой тени. Это был его первый в жизни полет. Полет из неволи.

Уточка оказалась слабее селезня. То ли она еще как следует не оперилась, то ли оплошала в плену, только она даже

и не попыталась лететь. Она сбегала к воде, вошла в нее и поплыла на ту сторону по лунной дорожке. И тут я впервые услышал ее голос. Она тихонько, едва слышно свистнула, потом еще и еще. Но ее тихий тревожный зов был услышан на том берегу. Тотчас раздался ответный голос селезня: пльви, мол, сюда! Я здесь.

Уточка благополучно перебралась через реку, и мы потеряли ее из виду. Но долго еще не уходили домой, слушали, как на той стороне плескались и радостно посвистывали два диких утенка.

— Проводили?— встретила нас Прасковья Петровна.

— Проводили,— отозвался я.— Жалко, конечно, но будто ношу какую с плеч сбросил.

— Оттого что доброе дело сделал. С годами такое поймется... Ну, пойдете в избу, уха простынет.

ТРУДНЫЙ ХЛЕБ

Ходит по лесу осень, развешивает по кустам и травам хрустальные сети паутины, убирает в золото осинки и березки. Первые палые листья запестрели на влажных дорогах, на тихих потемневших водах речных заливов.

Уже давно оставила родную рощу звонкоголосая иволга. Вслед за ней улетели ласточки. Их глубокие норы темнеют в опустевшем береговом обрыве.

А вчера на глухой лесной плёс за деревней Гуторово опустилась пара крохалей — пролетные гости с далекого севера.

На другой день, когда я снова пришел на этот плёс, крохали не улетели. Погода не торопила их на юг.

Мое соседство их нисколько не смущало. Видать, мало имели они встреч с человеком. Не то что наша дикая утка. Редко по какой из них не палили из ружья.

И вдруг совсем рядом из кустов: «Трах-бабах!..» Поперек реки побежали вспененные дробью одна за другой две дорожки.

Крохаль, что плыл первым, сверкнул белой подкладкой крыльев, торопливо снялся и полетел над рекой. Второй даже не вадрогнул. Он только почему-то окунул голову в воду да так и поплыл вниз по течению.

В прибрежном ситнике захлюпала вода. Показалась вислюхая голова спаниеля с белой пролысиной на лбу. Собака на миг остановилась, повела носом и вошла в реку. Она плыла легко и быстро, почти наполовину высунувшись из воды.

Вскоре спаниель был уже на том месте, где только что гуляла пара крохалей. Но он не повернул за сносимой течением птицей, а, не меняя направления, зашлепал дальше.

— Чанг, назад! — послышался спокойный, даже ласковый голос.

Чанг встряхнул длинными лохматыми ушами, остановился, поводя носом, и круто повернул влево. Догнав птицу, спаниель схватил ее за крыло и, все так же высоко над водой неся голову, поплыл обратно. Течение немного снесло его. Он выбрался на берег рядом с моими удочками, положил пти-

цу на песок и стал отряхиваться, обдав меня дождем холодных брызг.

— Вот невежа! Перестань!

Из кустов вышел хозяин собаки, грузный, круглолицый, с ежиком седых усов. Он одет в короткий стеганый ватник, на ногах высокие болотные сапоги.

— Обрызгал?— сказал он, подбирая птицу.

— Ничего!— вытирая платком лицо, ответил я.— Хорошая добыча! Редкая.

— А я, знаете, не особенно уважаю крохалю,— возразил охотник. Он приподнял за шею птицу, разглядывая рану на голове.

Я воспользовался случаем, чтобы рассмотреть крохалю. Он — в черном сюртуке, белой рубашке. Зелено-черная голова заканчивалась острым копьеобразным клювом. Величиной он был с хорошую крякву, только длиннее и уже ее.

— Птица с виду ладная. Но мясо невкусное, рыбой отдаёт,— пояснил охотник, присаживаясь и устало кряхтя. Собака легла рядом.— Набегались мы с тобой, Чанг. Давай-ка, дружище, посидим, отдохнем.

Чанг одобрительно замахал обрубком хвоста.

— Новичок, наверно?— кивнул я на собаку.— Обучается?

— Уже, можно сказать, старик. Пятый год. Золотая собака.— Хозяин ласково провел ладошкой по черному шелковистому жилету спаниеля.— Без нее половинку добычи потеряешь. Упадет битая утка в самую топь — как ее достанешь? Облизнешься и пойдешь не солоно хлебавши. Или взять подранка. В такую глушь забьется, что днем с огнем не пайдешь. А Чанг быстро свое дело сработает: и подранка схватит, и битую из топи вынесет. У вас, кажется, клюет. Воп на той, где пробковый поплавок.

Я подсек. Леса натянулась. В глубине тускло блеснул бок рыбы. Потом леса вдруг провисла, и я вытащил пустой крючок.

— Сошла,— сочувственно прищелкнул языком охотник.— Жалко. У вас, значит, тоже охота... А я больше с ружьем. Люблю походить. Да вот хотя бы сегодняшней случай взять. Унесло бы крохалю течением, застрял бы где-нибудь в кустах. А Чанг, пожалуйста, слазил и достал.

— А отчего он вначале не хотел брать птицу?— поинтересовался я.

— Хотеть-то он хотел, да со следа сбился. Это бывает.

— Ну что вы!— удивился я.— Какой же может быть след на воде? Да и зачем след, когда птицу и так видать?

— Э, батенька! Да ведь если бы у Чанга глаза были. Он у меня слепой.

— Слепой!..— Я даже весь повернулся от изумления.— Совершенно слепой? Да не может быть!..

Я пристально и недоверчиво посмотрел на Чанга. Он лежал, положив морду на мохнатые белые лапы в черных пестринках. В его глазах не было ничего странного. Светло-карне, внимательные, умные глаза опытной охотничьей собаки.

— Не верите?— усмехнулся хозяин.— Давайте продемонстрирую.— Он достал из ягдташа ломоть хлеба, отщипнул от него кусочек. Спаниель насторожился, оживленно задвигал влажным, точно резиновым, носом и уставился на хлеб.

— Чанг, лови!— крикнул хозяин и подбросил высоко вверх корочку хлеба.

Но Чанг не встрепенулся, не запрыгал, как это обычно делают собаки при виде летящей подачки, он спокойно стоял, вопрошающе глядя на хозяина. И только когда корочка упала шагах в пяти от него, он тряхнул своими мохматыми ушами и побежал на звук упавшего хлеба.

— Видели?— спросил охотник, бросая собаке весь ломоть.— Хлеб уже летит, а он об этом не подозревает, ждет, когда я брошу.

Этот простой опыт почти убедил меня. Но оставалось непостижимым все поведение собаки. До этого она вела себя совершенно так же, как обыкновенная, зрячая, ничем не выказывая свою слепоту.

— Вы давеча заметили, что Чанг было промахнулся, плывя за убитой птицей?

— Да, заметил. Только принял это за баловство новичка.

— Нет. Это он со следа сбился. На минутку порвалась ниточка птичьего запаха, которая вела Чанга к добыче. Но Чанг молодчина! Быстро нашелся.

Спаниель благодарно чиркнул по песку обрубок хвоста, повял, что его похвалили. А может, в добром голосе хозяина почувал к себе ласку. Я с уважением посмотрел на Чанга.

— Ну как же он ослеп?

— Сам не знаю,— покачал головой хозяин.— Может, таким и родился. Как узнаешь, что он слепой? Вы вот до сих пор не можете с этим согласиться. Ведь он совсем не похож на слепого. Ни обо что не спотыкается, с собаками, как и все, бегаёт, играет. Убежит от меня далеко — свистну, и он прямохонько мчит обратно. И по дичи промаху не делает. Ни одной утки не потерял. А главное — глаза: такие умные, понимающие! Разве подумаешь, что эти глаза совершенно ниче-

го не видят? Я-то и сам узнал о его слепоте случайно, вот так же бросив ему хлеб. Сначала не верил, а потом, со временем, убедился.

У меня опять клюнуло. На этот раз я благополучно вытащил крупную плотвицу. Снимая ее с крючка, я неосторожно спросил:

— А не лучше ли вам завести другую собаку?

— А эту куда?— нахмурился охотник.— Пристрелить? Сдать на воротник? Да я, батенька мой, за него двух зрячих не возьму. Как-никак, пять лет вместе. Он свой хлеб честно зарабатывает. Трудный хлеб, но честный. Пойдем, Чанг. Бывайте здоровы!

Охотник вскинул на плечо ягдташ, двустволку и зашагал напрямик в чащу леса. Чанг бодро вскочил и побежал за хозяином. Он уверенно продирался через заросли, тычась мордой в лозу и повизгивая от нетерпения.

Я долго глядел ему вслед и теперь уже не жалел убитую птицу.

ЧЕРНЫЙ СИЛУЭТ

У самой береговой кромки отпечатались мои следы. В них уже успела набраться вода, и я вижу, как маленький кулик-песочник бегаёт от следа к следу и тычет в них длинным шильцем. В десяти шагах он останавливается. Потом начинает пересчитывать следы в обратном порядке.

Вот ведь как получается: рядом бегаёт крошечная пичуга, и оттого, что она не считает тебя своим врагом, чувствуешь большое удовлетворение. Недоверие природы унижает человека.

По чистым пескам отмели проносится расплывчатая тень. Кулик замирает, так и не опустив поднятую было для очередного стежка лапку.

Я оглядываю небо и замечаю в ясной полуденной синеве черную букву «Т». Она кружит над плёсом, недвижно распластав крылья, и, когда наплывает на солнце, по прибрежным пескам мелькает быстрая тень. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружат над мирными берегами.

У человека и птицы разные враги в небе. Очевидно, кулик распознал своего врага — коршуна. Для меня же этот черный силуэт вдруг отпечатался вражеским разведчиком. Память воскресила зловещую букву «Т» над растерянными и беззащитными улицами. Мы, тогда еще мальчишки, вот как этот кулик, с неосознанной тревогой вглядывались в небо, такое же ясное и привычное. Чьи-то невидимые глаза, чей-то разбойный замысел кружили над нашими детскими играми, над нашей шахматной доской, над подсолнухом у забора...

Я перевожу взгляд на кулика. Он больше не суетится над шахматной задачей моих следов, он замер и, вскинув голову, вглядывается в небо.

Плёт затих, затаился под этим неслышным скольжением недоброй птицы. Смолкла, не тенькает в куге камышевка, куда-то незаметно увела свой шумный выводок утка. И хотя нарушен не мой покой и мне решительно ничего не угрожает, но почему-то тоже стаповится неуютно от повисшего над землёю черного силуэта...

А он все кружит и кружит, настойчиво и нахально сверля глазами пески и травы, камыши и тихую гладь воды.

Но вот коршун оставляет плёс, широким полукругом перемещается в заречье и повисает над старицами и луговыми болотцами. Теперь, со стороны, он еще больше похож на вражеский бомбардировщик...

И вдруг из затихших трав в небо почти вертикально взмывают две серо-серебристые птицы. Их согласный, решительный бросок в высоту похож на взлет двойки истребителей.

Коршун, увертываясь от удара, тяжело, неуклюже взмахивает крыльями, сбивается с круга. Преследователи делают крутой вираж и снова устремляются на хищника. И только теперь по угловатым крыльям и тому особенному, устрашающему шелесту я узнаю в этих отважных летунах чибисов. Отчаянными лобовыми атаками чибисы все дальше и дальше оттесняют коршуна, и, когда тот отлетает достаточно далеко, обе птицы оставляют преследование и идут на посадку.

Но тотчас на смену им с болотных «аэродромов» поднялась новая серо-серебристая двойка. Хищник лавирует, круто взмывает вверх, бросается вниз, но чибисы быстро перехватывают коршуна и гонят, гонят прочь от своих гнезд. А там уже мчится еще одна пара... Я уже не могу разглядеть очертаний. В синем небе видны лишь две белые точки, стремительно поднимающиеся наперерез черному пятну.

— Ну что, отбой? — с облегчением говорю я.

Кулик издает тонкий свист и смотрит на меня черным, все еще перепуганным глазом.

Рядом, в куге, осторожно тенькает камышевка. Где-то снова начинают полоскаться утята. Слышно, как дробно чавкают в тине их плоские клювики.

Кулик подпрыгивает на своих тонких ходульках и бежит досчитывать следы.

Скверная эта штука — непрошенный гость в небе!

ТАИНСТВЕННЫЙ МУЗЫКАНТ

Однажды после долгого хождения с удочкой по берегу реки я присел отдохнуть на широкой песчаной отмели среди прибрежных зарослей. Поздняя осень уже раздела кусты лозняка и далеко по песку разбросала их узкие лимонные листья. Лишь на концах самых тонких, будто от холода покрасневших веточек еще трепетали по пять-шесть таких же бледно-желтых листков. Это все, что осталось от пышного карнавала осени.

Было пасмурно и ветрено. Вспененные волны накатывались на песчаную отмель, лизали почерневшие водоросли, вытасканные на берег рыбацким неводом.

И вдруг среди этих шорохов и всплесков послышались тревожащие своей необычностью звуки. Было похоже, что где-то совсем близко играла крошечная скрипка. Порой тоскливая, зовущая, порой задумчивая и покорная, полная светлой печали мелодия робко вплеталась в неутомное ворчание хмурой реки. Звуки мелодии были так слабы, что порывы ветра иногда обрывали, как паутинку, эту тонкую ниточку загадочной трели.

Прислушавшись, я уловил закономерную связь между скрипачом и ветром. Стоило ветру немного утихнуть, как скрипка переходила на более низкие ноты, звук становился густым, и в нем отчетливо улавливался тембр. Когда же ветер усиливался, звуки забирались все выше и выше, они становились острыми, как жало, скрипка плакала и всхлипывала. Но дирижер-ветер был неумолим, он настойчиво требовал от скрипача новых и новых усилий. И тогда таинственный музыкант, казалось, не выдерживал темпа, срывался, и... слышались только сердитые всплески волн и шорох опавших листьев.

Как замороженный слушал я этот удивительный концерт на пустынной песчаной отмели. Я прислушивался снова и снова, и паев все время повторялся все в тех же сочетаниях звуков.

Наконец я установил направление и даже приблизительное место, откуда текла эта тоненькая струйка мелодии. Оно на-

ходило справа, не более чем в двух-трех шагах от меня. Но там был все тот же песок, и ничего больше, если не считать полузасыпанной раковины на гребне песчаного холмика. Это была раковина обыкновенного прудовика. Такие у нас встречаются во множестве. Если подойти к берегу водоема в тихий солнечный день, то у поверхности воды можно увидеть плавающие, как пробки, черные, спирально закрученные домики прудовика. Всколыхните веткой зеленоватую гладь, и эти домики медленно, как бы ввинчиваясь в воду, пойдут на дно — подальше от опасности.

Я подошел к холмику. Широкое входное отверстие ракушки было обращено навстречу ветру и немного в сторону. Край ее в одном месте обломан. Я наклонился поближе и окончательно убедился, что волшебный музыкант спрятался в раковине. Оттуда, из глубины спирального, выложенного перламутром убежища, отчетливо слышались звуки крошечной скрипки.

Я осторожно взял раковину, чтобы рассмотреть повнимательнее. Но ничего особенного не нашел: обыкновенная, как все другие, которых на песке оказалось довольно много. Но почему звуки исходили только из этой, а все остальные молчали? Может быть, и в самом деле в ней кто-то запрятался? И мне снова захотелось послушать игру раковины-музыканта.

Я положил ее на прежнее место, приготовился слушать. Но «скрипач» молчал. Похоже, что он рассердился за то, что его бесцеремонно потревожили, и ожидал, пока я снова уйду.

Я, конечно, догадался, что слышанную мной мелодию извлекал из раковины ветер. Но почему после того, как домишко прудовика был водворен на прежнее место, он больше не мог извлечь ни единого звука? И тут я понял, что допустил роковую ошибку, сдвинув раковину с места. Из множества других, видимо, только она лежала по отношению к ветру так, что на малейшее его дуновение тотчас отвечала звучанием. Возможно, этому еще способствовала та самая щербатина, которую я обнаружил на краю отверстия, и даже тот песок, которым она была наполовину засыпана.

Долго я возился с ней, клал так и этак, осторожно подсыпал под нее песок, насыпал внутрь, но так и не смог извлечь ни единого звука.

Огорченный, я положил раковину в карман и пошел домой.

Теперь она лежала на письменном столе, в картонной коробке с речным песком.

Я видел немало диковинных заморских раковин — необык-

новенных размеров, необычайной расцветки, удивительной формы. О многих из них ходят целые истории. Говорят, что если такую раковину приложить к уху, то услышишь шум морского прибоя. Конечно, никаких ударов волн в ней не слышно. Шумит раковина потому, что она помогает уху более чутко улавливать окружающие нас звуки. Да в этом и нетрудно убедиться: накройте ухо ладонью, сложенной лодочкой. Слышите шум? Вот и весь секрет.

А эта, что лежит на моем столе, — скромная серенькая обитательница ваших тихих речных затонов, — действительно обладает секретом.

Иногда я выношу мой «музыкальный инструмент» во двор, подставляю под ветер, пытаюсь настроить с помощью песка, но пока это мне не удастся. Видно, не хватает терпения.

Когда же я оставляю раковину на столе, а сам выхожу в соседнюю комнату, то мне чудится, будто за приоткрытой дверью кто-то осторожно настраивает маленькую скрипку...

ЗАБЫТАЯ СТРАНИЧКА

Лето умчалось как-то внезапно, будто спугнутая птица. Ночью тревожно зашумел сад, закрипела под окном старая дуплистая черемуха.

Косой шквальный дождь хлестал в стекла, глухо барабанил по крыше, и булькала и захлебывалась водосточная труба.

Рассвет нехотя просочился сквозь серое, без единой кровинки небо. Черемуха почти совсем облетела за ночь и густо насорила листьями на веранде.

Тетя Оля срезала в саду последние георгины. Перебирая мокрые, дышащие влажной свежестью цветы, она сказала:

— Вот и осень.

И странно было видеть эти цветы в полумраке комнаты с заплаканными окнами.

Я надеялся, что внезапно подкравшееся ненастье долго не задержится. Холодам, по сути дела, рановато. Ведь впереди еще бабье лето — одна-две недели тихих солнечных дней с серебром летящей паутины, с ароматом поздних антоновок и предпоследними грибами.

Но погода все не налаживалась. Дожди сменились ветрами. И ползли и накатывались бесконечные вереницы туч. Сад медленно увядал, осыпался, так и не запыхав яркими осенними красками.

За ненастьем как-то незаметно истаял день. Уже в четвертом часу тетя Оля зажигала лампу. Кутаясь в козий платок, она вносила самовар, и мы от нечего делать принимались за долгое чаепитие. Потом она шинковала для засолки капусту, а я садился за работу или, если попадалось что интересное, читал вслух.

— А грибов-то нынче не запасли,— сказала тетя Оля.— Поди, теперь уж и совсем отошли. Разве только опять...

И верно, шла последняя неделя октября, все такая же сумрачная и нерадостная. Где-то стороной прошло золотое бабье лето. Уж не было никакой надежды на теплые деньки. Того и жди, завьюжит. Какие уж теперь грибы!

А на другой день я проснулся от ощущения какого-то

праздника в самом себе. Я открыл глаза и ахнул от изумления. Маленькая, до того сумрачная комнатка была полна радостного света. На подоконнике, пронизанная солнечными лучами, молодо и свежо зеленела герань.

Я выглянул в окно. Крыша на сарае серебрилась изморозью. Белый искрящийся налет быстро подтаивал, и с карниза падала веселая, бойкая капель. Сквозь тонкую сетку голых ветвей черемухи безмятежно голубело начисто вымытое небо.

Мне не терпелось поскорее выбраться из дому. Я попросил у тети Оли небольшой грибной кузовок, перекинул через плечо двустволку и зашагал в лес.

Последний раз я был в лесу, когда он стоял еще совсем зеленый, полный беспечного птичьего гомона. А сейчас он весь как-то притих и посуровел. Ветры обнажили деревья, далеко вокруг развеяли листву, и стоит лес странно пустой и прозрачный.

Только дуб, что одиноко высился на самом краю леса, не сбросил своей листвы. Она лишь побурела, закручерявилась, опаленная дыханием осени. Дуб стоял, как былинный ратник, суровый и могучий. В него когда-то ударила молния, осушила вершину, и теперь над его тяжелой, выкованной из бронзы кроной торчал обломанный сук, словно грозное оружие, поднятое для новой схватки.

Я углубился в лес, вырезал палку с вилочкой на конце и принялся разыскивать грибные места.

Найти грибы в пестрой мозаике из опавших листьев — дело нелегкое. Да и есть ли они в такую позднюю пору? Я долго бродил по гулкому, опустевшему лесу, ворошил под кустами рогатинкой, радостно протягивал руку к показавшейся красноватой грибной шапочке, но она тотчас таинственно исчезала, а вместо нее лишь краснели осиновые листья. На дне моего кузовка перекачивались всего три-четыре поздние сыроежки с темно-лиловыми широкополыми шляпками.

Только к полудню я набрел на старую порубку, заросшую травами и древесной порослью, среди которой то здесь, то там чернели пни. На одном из них я обнаружил веселую семейку рыжих тонконогих опят. Они толпились между двух узловатых корневищ, совсем как озорные ребяташки, выбежавшие погреться на завалинке. Я осторожно срезал их все сразу, не разъединяя, и положил в кузовок. Потом нашел еще такой же счастливый пенек, еще и вскоре пожалел, что не взял с собой корзины попросторней. Ну что ж, и это неплохой подарок для моей доброй старушки. То-то будет рада!

Я присел на пенек, снял кепку, подставив голову теплу

и свету, и набил свою трубочку. Экий выдался славный денек! Теплынь, тишина. И не подумаешь, что по этому голубому небу с высоко плывущими перьями прозрачных облачков только вчера ползали косматые сырые тучи. Совсем как летом.

Вон с березового пня слетела бабочка, темно-вишневая, со светлой каемкой на крыльях. Это траурница. Она выползла из своего укрытия на солнце и грелась на теплом срезе дерева. А теперь, отогревшись, неловко, скачущим полетом запорхала над поляной. И совсем удивительно было слышать, как где-то в траве стал настраивать свою скрипочку кузнечик.

Вот ведь как бывает в природе: уж и октябрь на исходе — глухая пора дождей,— и совсем где-то рядом затаилась зима,— и вдруг на границе нескончаемых осенних дождей и зимней вьюги затерялся такой светлый, праздничный денек! Будто лето, поспешно улетаая, случайно обронило одну из своих светлых страничек. И вся эта поляна, окаймленная молчаливым, обнаженным лесом, выглядит совсем по-летнему. Здесь столько еще зелени! И даже есть цветы. Я нагнулся и выпутал из травы жестковатую кисточку душицы, усыпанную нежно-лиловыми венчиками.

А потом, возвращаясь домой, я собрал еще несколько разных цветков и связал из них маленький букетик. Здесь были и ярко-синие звездочки дикого цикория, и белые крестики ярутки, и даже нежная веточка полевой фиалки — драгоценности, оброненные улетевшим летом.

ЛЕСНОЙ ХОЗЯИН

Светлой памяти И. И. Пишкина

В пору листопада я хожу в лес запастись удилица из лещины. Зимой до орешника не доберешься: метровые сугробы по кустам наметены. Летом же в густой зелени трудно рассмотреть подходящий строй. Срубишь, глядь — то комель искривлен, то вершина раздвоена.

Зато осенью выберешь что тебе надо. Орешник стоит светел, видна каждая ветка. Все вершинки, не торопясь, оглядеть можно. У орешника такая особенность: начинает ронять лист с самых высоких побегов.

Дед Проша вызвался показать место с хорошей лещиной. Он трусит спорой рысцей впереди меня. Голенища его резиновых сапог гулко шлепают по тощим икрам. Лохматая шапка подстреленным тетеревом мелькает над кустами: одно ухо обвисло, другое, отвернутое, вскидывается при каждом шаге. Дед рад случаю промяться, а потому и суетлив и болтлив без удержу.

Я тоже рад предстоящей встрече с осенним лесом. Иду, как в картинную галерею, еще раз взглянуть на давно знакомые полотна, что ежегодно выставляет напоказ золотая осень. Глаз настрожен и жаден: не хочется ничего упустить.

У самого края леса в зарослях болотного вереска блеснуло озерко с темной водой цвета крепко заваренного чая. На его поверхности цветная мозаика из листьев, занесенных ветром. У берега горбится старая вершина, брошенная за ненадобностью. Это — Поленов.

А на косогоре узнаю Левитана. Тонконогие осинки застенчиво толпятся у опушки, о чем-то перешептываются сразу всеми своими листьями. Трепещут листья на ветру и мелькают, то поворачиваясь к солнцу золотом, то серебром изнанки. И путается в этом живом, колеблющемся кружеве и тоже трепещет ясная синева осеннего неба.

Позади молодого осинника, высится многоколонным фасадом старый лес. Из его глубин, как из музейного здания, тянет тонкими запахами древности. Среди стволов-колонн затаилась гулкая тишина, и слышно, как, падая, шуршит, цепляясь за ветки, оброненный деревом лист.

У края леса дед останавливается, стаскивает треух и торопливо крестится. Обычай, дошедший из глубины веков, от языческого суеверия. Я тоже медленно снимаю шапку, но не как язычник. Я вхожу под своды леса, как в залы неповторимого шишкинского гения.

Мы идем мимо развешенных полотен по пестротканой лесной дорожке. Она то желтеет лимонными листьями берез, то розовеет осыпью бересклета, то окрашивается в оранжевое и багровое, когда пробираемся под осинами. Узорчатые листья рябины стали пунцово-красными, и в тон им, только еще ярче, пламенеют тяжелые кисти ягод. Тропинка ведет все дальше и дальше, глаза начинают уставать от ярких красок, а этому беспечному расточительству по-прежнему нет конца.

В глубине, за кострами молодой кленовой поросли слышатся торопливые прихрамывающие шаги. Дед Проша направляет задранное ухо шапки на звук, прислушивается.

— Заяц?

— Кой там заяц!

— А кто же?

— Чуешь, на одну ногу припадает? Это он!

— Да кто — он?

— Кто, кто!.. Хозяин, вот кто!

Мне не удается удержать усмешку, и это сердит старика.

— А смеяться, мил человек, и не из чего. Видать, тебе с ним делов не приходилось иметь.

— А тебе?

— А со мной было...

Дед пересунул топор за пояс поудобнее и опять засеменял по тропе, шлепая голенищами.

— Той самой зимой пошел я лесину на ворота поискать. Срубил дубок, отсек вершину, закрючил бревно на санках. Обрато по наезжей дороге вертаться убоился. Пошел прямо по насту. Наст твердый, мартовский, держал крепко. Иду, значит. Вот тебе сорока впереди на сук опустилась. Завертела хвостом, затараторила. Бранная птица, хуже бабы. Ничего от нее не утаится. Мышь и та не пробежит. Иду, будто не вижу. А она перелетает с дерева на дерево и поносит меня на весь лес. Не к добру это. Замахнулся шапкой. «Кшш,— кричу,— распроклятая!» За ее болтовней не заметил, как и на человека наехал. Навела, шельма. Кивает тот человек, пальцем подзывает. Подхожу. Этаким ветхий старичок. Полушубок в заплатках, из дыр не овчина, а вроде как мох торчит. «Покажь,— говорит,— как идти на Сухой Дол». Прикинул я: на-

ша деревня напрямик будет, значит, Сухой Дол по левую руку. «Сюда,— говорю,— по этой дороге ступай». Поклонился старичок, а сам на срубленное дерево глаз скосил. «Валялось,— соврал я,— подобрал, чтобы не пропало». Ничего не сказал. Только посмотрел стылыми ледышками, покачал головой и заковылял прочь.

— И ты думаешь, он был? — спросил я.

— Ей-богу, он! Пошел он прочь, а сам так на ногу и припадает. Кому ж быть! Я после того едва из лесу выплутался. Невесть откуда туман взялся. Ничего не видать. А тут еще наст разъело. Бреду по лесу, ноги вязнут, санки по брюхо проваливаются. А позади слышу: «Шасть, шасть...» Благо, догадался лесину бросить. Тут только и выбрался на дорогу. Да не в свою деревню, а в Сухой Дол и пришел с огнями... А ты, мил человек, смеялся. Не любит хозяин озорства в лесу. У него каждое дерево, каждая птица на счету. Зорко бережет. Не сидит на месте, ходит по лесу, пересчитывает. Лесину украсть або живность какую без надобности загубить — пропащее дело...

— А отчего он на ногу припадает?

— Говорят, в войну поранило. Немцы лес из тяжелых орудий обстреливали. Деревья так с корнем и выворачивало. Три дня черной тучей над лесом стоял дым. Ну, значит, осколком его и зацепило. Да только потом немцам доже за это зло досталось. Кто был в партизанах, рассказывали, будто целый немецкий полк в лесу заблудился. Всех потом партизаны порешили. А я так разумею: тут без хозяина дело не обошлось. С ним шутки плохи.

От деда Проши можно ожидать какого угодно сочинительства. Придумывает он так самозабвенно, что сам, кажется, верит своим словам. Иной раз не поймешь, то ли правда, то ли вымысел. Но рассказ о лесном хозяине — не его выдумка, разве только прибавил дед, что с ним «нос к носу повстречался». Легенда эта стара, как сам лес, породивший ее. Со временем она обкаталась в народе, как камень в морской воде, прежнее стерлось, взамен придумалось новое, вроде того, что лесной хозяин получил ранение в минувшей войне. Мне она понравилась, эта сказка о лешем, что, прихрамывая, бродит по своим владениям, пересчитывает деревья, бережет лес от поругания. Хорошая сказка!

Я нагибаюсь и поднимаю с земли свежие, непритоптанные листья. Выбираю самые крупные, самые яркие. Они пестреют всюду, будто мазки красок на палитре великого живописца,

И у меня начинает складываться своя легенда о лесном хозяине...

Я вижу его лицо, простое загорелое лицо лесоруба в мшистой рамке бороды. Серые глаза с зорким прищуром. Сухие хвоянки, осыпавшиеся с дерева, запутались в седеющих волосах.

Я слышу, как он ходит по осеннему лесу, мягко ступая по пестротканому ковру из листьев, дятлом постукивает тростью по стволам и шепчет шорохом листопада: «Этому нет цены... Берегите это, люди». Его добрые глаза светятся радостью, большие натруженные руки ощупывают молодую поросль, шарят в кружеве листвы. И не бежит от него в страхе потревоженный заяц, не кричит, как над чужим, сорока. Он у себя, в своей чудесной мастерской.

Вот он присаживается на пень, раскладывает у ног краски и начинает нерукотворное колдовство... И я, очарованный, смотрю на эти с детства знакомые полотна: сумрачные еловые дебри, бронзовоствольные сосновые боры, светлые, все в солнечных пятнах дубравы, ромашковые опушки, лесные проселки с лужицами в коленях... Все это не в золоченых рамах, не в музейных залах. Эти картины разворачиваются передо мной во всю ширь. Они возникают по обе стороны тропинки, которая ведет нас с дедом Прошей в самое сердце леса. Мы идем молча, и каждый несет в себе свою легенду: он — о лешем, я — о человеке.

Домой мы возвращаемся под вечер.

Я сваливаю под навес связку орешника, а на стол высыпаю собранные листья. Бережно расправляю их и вкладываю между страниц тяжелой книги. Комната наполняется душным запахом грибов и сырой осенней земли. Веет чем-то бесконечно близким и родным. И этому нет цены.

КАК ПАТЕФОН ПЕТУХА ОТ СМЕРТИ СПАС

Дело уже двигалось к весне. Замаслилась дорога, снег во дворе осел и потемнел, а в полдень на солнцепеке все настойчивее барабанила капель. Витька вытер насухо лыжи и спрятал их на чердак до будущей зимы.

И вдруг как-то ночью трахнул морозище. Да такой лютый, что и среди зимы не часто случается. К утру деревья, телефонные провода, заборы покрылись лохматой изморозью. Солнце встало в каком-то зловещем ореоле. Прилетевший на кормушку воробей зябко поджимал под себя то одну, то другую лапку, будто пританцовывал, стараясь согреться.

По радио объявили, что по случаю мороза занятий в школе не будет, и Витька засел дома на целую неделю.

Однажды утром бабушка принесла из курятника петуха, и все ахнули. Его широкий, короноподобный гребень, большие, до самого зоба бурды и не покрытые перьями щеки были белы от инея.

— Пропал петух! — заахала бабушка.

Все домашние собрались вокруг пострадавшего и с озабоченностью смотрели на его обмороженную голову.

— Надо зарезать, — сказал наконец отец. — Все равно сдохнет...

У Витьки при этих словах похолодела спина. Ему стало очень жаль петуха. Он был такой красивый и смелый. На шее — огненное ожерелье, спина серая, в мелких белых пестринках, а в пышном хвосте длинные, серпообразные иссиня-черные перья. Держался он гордо, выступал вперед широкой, отливающей бронзой грудью, высоко, будто на параде, приподнимая лапы, увенчанные загнутыми кверху острыми шпорами, и был храбр, как истинный гвардеец. На улице не было петуха, который смел бы подойти к нему близко. Он делал навстречу противнику два-три неторопливых шага, будто предоставляя ему возможность еще раз подумать, на что идет, и, если тот не убирался восвояси, стремительно обрушивался на него. При этом он зонтиком растопыривал на шее медно-

красные перья, низко пригнул голову, а его длинный хвост волочился по земле, как плащ.

Обычно петухи поспешно ныряли в ближайшую подворотню. И тогда Витька, заложив пальцы в рот, неистово свистел вслед удиравшему. А Витькин петух, великодушно отказавшись от преследования, хлопал крыльями и, изогнув шею вопросительным знаком, горланил на всю улицу свое «ку-ка-ре-ку!», что в данный момент означало: «Я тебе покажу, как забываться!..»

А как голосисто кукарекал он зарю! Сначала за стенкой в сарайчике раздавались короткие удары крыльями. Потом, сразу забирая в головукружительную высоту, петух уверенно брал первое колено песни. Он никогда не торопился переходить ко второму колену и, словно стараясь показать всем соседним петухам свое мастерство, забирал все выше и выше. Голос его звенел чистым, прозрачным звуком меди, и Витьке казалось, что вот сейчас в горле петуха что-то лопнет от туги и песня оборвется. Витька даже съеживался от этой звонкости петушиной песни, от напряженного ожидания конца знаменитого «р», составляющего венец победного клича. Но петух не осекался. Он плавно переходил на более спокойное «ку», тянул его не менее долго и громко и благополучно завершал все свое «ку-ка-ре-ку!».

И вот теперь отец велел отрубить ему голову. Бабушка ошпылет с него золотистый мундир, завяжет перья в сумочку и подвесит их в чулане рядом с пучком мороженой калны, а из петуха сварит суп.

В горле у Витьки заскребло, глаза часто-часто замигали. Он быстро юркнул в другую комнату и забился в угол.

Мать и отец ушли на работу. Дома остались только он да бабушка. Витька слышал, как тихо шаркали ее валенки, и со страхом ожидал, когда она выйдет во двор, чтобы отрубить голову петуху. Но бабушка что-то не торопилась, и Витька, успокоившись, вышел в кухню.

— Бабушка, а бабушка,— тихо позвал он.— Ты не будешь петуха резать? Пусть еще поживет немножко, а? Может, ничего... оттает?

— Ишь ты какой!— погладила бабушка Витьку по стриженной голове.— Сердчишко у тебя, видать, жалостливое. Ну что ж... Пусть побудет! Авось отойдет. Мы его сейчас гусиным жиром смажем. Это от морозу помогает.

Витька просиял. Он подбежал к петуху, который сидел под стулом нахохленный, с полузакрытыми глазами, и дружески погладил по сутулой спине.

— Больно, а? Я тоже раз нос поморозил. И ничего. Поболело немножко, а потом зажило. Ты терпи, не поддавайся. А то башку отрубят.

Бабушка смазала петуху уже успевшие посинеть в тепле гребень и бороду и насыпала на пол пшена. Но петух даже и не взглянул на корм. Голова его с каждой минутой распухла, наливалась какой-то прозрачной жижей, петух все больше сутулился и гнулся.

Бабушка принесла сена, постлала под печкой, поставила туда бапочки с зерном и водой, посадила петуха и прикрыла железной заслонкой. Витька снова забеспокоился: «Зарубят. Придет отец — и конец!»

Отец пришел с работы поздно и, видно, забыл о петухе. Не заговорил о нем и утром.

А когда все опять разошлись, Витька отодвинул заслонку и осторожно вытащил из-под печки петуха. Он был по-прежнему плох: голова слилась в какой-то красно-синий шар, глаза затекли и смотрели тускло и безразлично. К корму он, как и вчера, не притронулся. Витька поднес банку с водой и насильно макнул в нее клюв петуха. Петух раза два глотнул и заковылял под печку.

Между тем мороз не сдавался. Он трещал в старых бревнах дома, проступал колючей солью на оконных ручках и шляпках дверных гвоздей. Витька давно не казал нос на улицу и уже порядком соскучился по своим друзьям, как вдруг появился одноклассник Колька. Повязанный поверх ушанки пуховой шалью, концы которой крест-накрест охватывали спину, он неуклюже перевалился через порог.

— Ух, какой морозище! — сказал Колька. — За нос так и щиплется. Даже слезы текут.

— А у нас петух поморозился, — поделился новостью Витька.

— Петух — это что! Петух — птица, — серьезным тоном возразил Колька. — У нас от мороза водопроводная труба лопнула. Железо и то не выдержало. А петух — раз плюнуть...

Бабушка напоила приятелей чаем с вареньем, и они пошли играть. Посмотрели книжки, новые почтовые марки, поиграли в «Конструктор». Когда все это наскучило, Витька сказал:

— Я тебе сейчас новую пластинку заведу. Хочешь?

— Ну, давай...

Пластинка и верно оказалась хорошей. Рассказывали басню Крылова «Лягушка и Вол». Лягушка, стараясь раздуться до размеров Вола, напрягалась и квакала. Потом, после осо-

бенно усердного кваканья, в патефоне вдруг что-то страшно зашипело, будто из его нутра прорвался воздух. Колька испуганно взглянул на Витьку, а тот в ответ расхохотался.

— Ты думал, патефон испортился, да? Это лягушка от натуги лопнула. Надувалась, надувалась — и «п-ш-ш»... Интересно?

— Угу! А что на другой стороне?

Витька накрутил пружину, перевернул пластинку и пустил диск. Заиграла музыка, из патефона выпорхнули слова другой знакомой басни:

— Как, милый Петушок, поешь ты
громко, важно!

— А ты, Кукушечка, мой свет, как тянешь
плавно и протяжно...

Умиляясь друг другом, Петух и Кукушка поочередно раздавали похвалы. Но вот, не находя больше слов, они перешли на песни. Из трубы вылетало то звонкое петушиное «ку-ка-ре-ку!», то вкрадчивое, разнеженное кукованье. Обе птицы хвалили друг дружку с таким усердием, что Петух вдруг охрип и начал орать каким-то кошачьим голосом. Витька и Колька покатались со смеху.

— Дохвалился! Даже охрип, бедняга! — сказал Колька. — А ну, давай сначала заведем.

Пластинку завели сначала, и птицы с новыми силами принялись состязаться в безудержных похвалах. И вот, когда кукушкин друг собирался охрипнуть во второй раз, Витька и Колька услышали, как откуда-то издалека, будто из-под земли, донесся настоящий, живой петушиный голос.

Ребята переглянулись.

— Слышал? — спросил Витька.

— Слышал...

— Да ведь это же наш, обмороженный, запел! Бабушка! — вскочил со стула Витька. — Бабушка!..

Из сеней с охалкой дров вошла бабушка.

— Бабушка, наш петух запел! Не веришь?

С этими словами Витька вернулся в комнату, схватил патефон, поставил его в кухне на пол и вытащил из-под печки петуха. Бабушка недоверчиво смотрела на все эти странные приготовления.

— Вот слушайте! — сказал он, накручивая патефонную ручку.

Сначала петух подозрительно косился опухшим глазом на вращающийся и поблескивающий никелем диск. Но когда из

глубины патефона раздался первый петушиный выкрик, он вдруг вытянул настороженно шею и издал то самое вопросительное «ко-ко-ко?», которое обычно означало: «Что там еще такое?»

— Слышите? Кокочет!— ликовал Витька.

Между тем спела свою партию Кукушка и подошла очередь ее партнера. И как только послышалось особенно отчаянное «ку-ка-ре-ку», Витькин петух вдруг выпятил грудь и сделал навстречу патефону свои два предупреждающих шага. Вот ведь воинственная птица! Даже с распухшей головой и заплаканными глазами петух не мог стерпеть, чтобы противник нагло горланил, спрятавшись в этом ящике.

Сделав еще два шага, петух пригнул голову, распустил на шею перья и сердито долбнул в пол клювом.

Раздайся в эту минуту из патефона еще хоть один петушиный клич, и Витькин петух, наверное, налетел бы на патефон, ударил бы по нему крыльями и деранул шпорами. Но этого не случилось.

Как раз в это время Петух из басни допелся до того места, где полагалось потерять голос, и он сбился, зафальшивил и задерябил драной кошкой.

Готовый ринуться в бой, петух остановился, приподнял голову и снова скороговоркой проговорил свое «ко-ко-ко?». Мол, что ж это ты, братец, осип? Эх, ты!.. Потом он вытянулся на голенастых ногах, будто привстал на цыпочках, замахал крыльями, развевая по полу пшено, и вдруг закукарекал, да так, что у ребятишек заложило уши, а в железном нутре патефона что-то задрезжало. Кончив победную песню, петух важно отошел в сторонку и как ни в чем не бывало стал собирать раскатившееся по полу зерно.

Витька ликовал. Он с гордостью посмотрел на своего золотоперого друга и радостно воскликнул:

— Вот черт! Оттаял-таки!

После этого он уже не сомневался, что никто не посягнет на петушиную голову.

КАК ВОРОНА НА КРЫШЕ ЗАБЛУДИЛАСЬ

Наконец-то наступил март! С юга потянуло влажным теплом. Хмурые неподвижные тучи раскололись и тронулись. Выглянуло солнце, и пошел по земле веселый бубенчатый перезвон капли, будто весна катила на невидимой тройке. За окном, в кустах бузины, отогревшиеся воробьи подняли шумиху. Каждый старался изо всех сил, радуясь, что остался жив: «Жив! Жив! Жив!»

Вдруг с крыши сорвалась подтаявшая сосулька и угодила в самую воробьиную кучу. Стая с шумом, похожим на внезапный дождь, перелетела на крышу соседнего дома. Там воробьи расселись рядом на гребне и только было успокоились, как по скату крыши скользнула тень большой птицы. Воробьи враз свалились за гребень.

Но тревога была напрасной. На печную трубу опустилась обыкновенная ворона, такая же, как и все другие вороны в марте: с забрызганным грязью хвостом и взъерошенным загривком. Зима заставила ее позабыть о чувстве собственного достоинства, о туалете, и она правдой и неправдой с трудом добывала хлеб свой насущный.

Кстати, сегодня ей повезло. В клюве она держала большой ломоть хлеба. Усевшись, она подозрительно осмотрелась: не видно ли поблизости ребятишек? И что за привычка у этих сорванцов бросать камнями? Потом она оглядела ближайшие заборы, деревья, крыши: там могли оказаться другие вороны. Они тоже не дадут спокойно перекусить. Сейчас же слетятся и ползут в драку.

Но неприятностей, кажется, не предвиделось. Воробьи снова набились в бузину и оттуда завистливо посматривали на ее кусок хлеба. Но эту скандальную мелюзгу она в расчет не принимала. Итак, можно закусить!

Ворона положила ломоть на край трубы, наступила на него обеими лапками и принялась долбить. Когда отламывался особенно большой кусок, он застревал в горле, ворона вытягивала шею и беспомощно дергала головой. Проглотив, она некоторое время снова принималась озираться по сторонам. И вот после очередного удара клювом из-под лап выскочил

большой ком мякиша и, свалившись с трубы, покатился по скату крыши. Ворона досадливо каркнула: хлеб может упасть на землю и даром достанется каким-нибудь бездельникам вроде воробьев, что пристроились в кустах под окном. Она даже слышала, как один из них сказал:

— Чур, я первый увидал!

— Чик, не ври, я раньше заметил! — крикнул другой и клюнул Чика в глаз.

Оказывается, хлебный мякиш, катившийся по крыше, видели и другие воробьи, а потому в кустах поднялся отчаянный спор. Но спорили они преждевременно: хлеб не упал на землю. Он даже не докатился до желоба. Еще на полпути он зацепился у ребристого шва, какие соединяют кровельные листы. Ворона приняла решение, которое можно выразить человеческими словами так: «Пусть тот кусок полежит, а я пока управлюсь с этим».

Доклевав остатки, ворона решила съесть упавший кусок. Но это оказалось нелегкой задачей. Крыша была довольно крута, и когда большая тяжелая птица попробовала сойти вниз, ей это не удалось. Лапы заскользили по железу, она поехала вниз, тормозя растопыренным хвостом.

Путешествие таким способом ей не понравилось, она взлетела и села на желоб. Отсюда ворона попробовала снова достать хлеб, карабкаясь снизу вверх. Так оказалось удобнее. Помогая себе крыльями, она наконец добралась до середины ската. Но что такое? Хлеб исчез! Оглянувшись назад, посмотрела вверх — крыша пуста!

Вдруг на трубу опустилась голенастая, в сером платочке галка и вызывающе щелкнула языком: «Так!» Мол, что тут делается? У вороны от такой наглости даже на загривке оцептенились перья, а глаза сверкнули недобрый блеском. Она подпрыгнула и ринулась на непрошеную гостью.

«Вот старая дура!» — сказал про себя следивший за всей этой историей Чик и первым перемахнул на крышу. Он-то видел, как ворона, перелетев на желоб, начала подниматься вверх не по той полосе, где лежал кусок хлеба, а по соседней. Она была уже совсем близко. У Чика даже сердечко екнуло оттого, что ворона может догадаться, перейти на другую полосу и обнаружить добычу. Но уж очень несообразительна эта лохматая птица. И на ее глупость Чик втайне рассчитывал.

— Чик! — закричали воробьи, пускаясь вслед за ним. — Чик! Это нечестно!

Оказывается, они все видели, как старая ворона заблудилась на крыше.

РАЗБОЙ НА БОЛЬШОЙ ДОРОГЕ

Три дня сеял мелкий дождик — моросей. Дочерна промокли заборы. Дороги раскисли, глубокие колеи заплыли жидкой грязью. Осенний пожар окончательно погас, и только молодой дубок в придорожной посадке тускло пламенел несброшенной листвой.

А вчера под вечер моросей спугнул внезапный морозец. Сквозь свинцово-цинковую крышу туч просочилась лимонная полоска зари. Дороги захрустели под колесами, будто намочший брезент, окаменели собачьи следы на огородах.

Кряжистый дубок залубенел: листья топорщились, словно вырезанные из бронзы, на них проступила морозная соль.

Сегодня же и дорожные колеи, и отпечатки собачьих лап на грядках, и заиндеветый, озябший дубок — все это спрятано под первой порошей. И сразу стало уютно и чисто. Пришла зима!

Рано облившийся заяц на радостях сразу же наделал петель возле своего логова. Да что ему теперь логово! Кругом бело, и шуба на нем белая. Где ни залег, там и постель. В рыхлом взбитом снегу тепло, как в пуховой перине. Прыгает косою, кувыркается, тычется мордочкой в искристый снег. Радуетя!

Не унывают и клесты. Их говорливая стайка беззаботно порхает среди мохнатых, отяжелевших от снега еловых лап. Шишек в этом году много, можно строить гнездо и выводить птенцов. Над головами голых слепых малюток будут перепархивать снежинки, а птенцам хоть бы что! Пищи вдоволь — значит, стужа не страшна.

Но не все такие счастливы! Для многих обитателей полей и лесов зима принесла беспокойные хлопоты. Куда податься, скажем, галкам, воронам, сорокам? От лютой стужи в гнезде не спрячешься. И какое это убежище, если его насквозь ветром пронизывает, снегом забивает? А главное — в зобу пусто, нечем поживиться, все замерло, попряталось, засыпано порошей.

Вот и жмутся птицы поближе к человеческому жилью. Откуда только смелость берется! Иной раз выглянешь утром

в окошко, а на заборе — рукой дотянуться — уже сидит носатая нахохленная ворона. Ждет: не выбросят ли чего на помойку. Тут же, на пустой скворечне, сорока вертится и на чем свет стоит поносит свою родственницу ворону: «Ах ты, такая-сякая, старая воровка! Тре-ке-ке-ке! И как тебя близко к помойке подпускают!»

Выбросит хозяин собаке кость поглотать, а белобокая крикунья уже грозит вороне: «Моя кость, не тронь, моя!» И от нетерпения и зависти даже хвостом вскидывает. Молчит ворона; в ссору не ввязывается: знает, что сороку не перекричать.

Что сорока сварлива и воровата — всякому известно. А я вот однажды, возвращаясь с подледной рыбалки, видел, как она разбоем занималась. И кто может подумать, что эта франтиха с черным шелковистым галстуком, выпущенным поверх белоснежного жилета, будет промышлять грабежом на большой дороге!

Дорога эта — большак с телеграфными столбами по обочине и густой лесополосой на другой стороне. Пылят снегом машины, скрипят полозьями везы. Идут люди в заиндевелых воротниках и шапках. Дело под вечер: морозно! Не время зевать по сторонам. Скорей бы до теплой печи добраться. А потому, уткнувшись в воротники, никто и не замечает, что на одном из придорожных столбов притаилась большая хищная птица. Да и заметить ее трудно: белая, будто налипший ком снега на вершине столба.

Птица сидит неподвижно, словно спит. Но круглые янтарные глаза ее открыты. Они неморгающе и пристально смотрят на дорогу, на дымящиеся спины лошадей, на неуклюжие фигуры обозников.

Но вот последние сани скрылись за поворотом, птица бесшумно снимается и неторопливо летит вдоль лесополосы. Крылья широкие, кончики маховых перьев буроватые, большая круглая голова приросла к толстому туловищу, хвост короткий, распущен веером. Это полярная сова. Откуда? Очень просто! Прилетела в гости. Она каждую осень покидает тундру и перекочевывает к югу. И под Москвой ее можно встретить, и порой под Курском, и даже южнее. У нас холодно и голодно зимой, но все же не так, как в Заполярье, откуда улетают все птицы.

Сова летит бесшумно и плавно. Она будто забывает махать крыльями, будто спит во время полета. Лишь изредка делает два-три сильных взмаха.

Кажется, птица совершенно безразлична к тому, что делается внизу. На самом же деле сова зорко, метр за метром

ощупывает заснеженное поле, проникает взглядом кошачьих глаз в самую гущу лесной посадки.

Вот из-за сугроба выскользнул маленький пушистый шарик. С высоты он кажется не больше макового зернышка. Сова будто проснулась от спячки, чуть дернула широким хвостом и, сложив крылья, упала в заросли.

И в тот же миг она взлетела с мышью в цепких когтях. Теперь — добраться до телеграфного столба и аппетитно позавтракать.

И вдруг, едва только сова поднялась над зарослями, навстречу ей откуда-то из лесной гущи метнулась быстрая тень. Я никогда не видел сороку в таком стремительном броске, когда она, прижав к бокам крылья и вытянув хвост, стрелой мчалась наперерез неуклюжему хищнику, а потому не сразу узнал в ней ту самую сороку, которую видел всего несколько минут назад на вершине молодого тополя. Качаясь на тоненькой веточке, она, видимо, все это время внимательно следила за совой.

Я даже оторопел от такого опрометчивого поступка сороки, которая ничем не была вооружена, чтобы схватиться с могучей полярной птицей. Будь у совы в эту минуту свободные когти, она в два счета пустила бы по ветру сорочьи перья. Но, видимо, сорока знала, что, пока у совы когти заняты, бояться ей нечего.

Увертываясь от нападения, сова круто взмыла вверх. То же повторила и сорока. Сова снова сделала крутой взлет. И тотчас с необыкновенной ловкостью метнулась ввысь и сорока. Она оказалась намного проворнее. Стремительно нападая снизу, сорока все выше и выше гнала белого неповоротливого хищника. Обе птицы уже маячили высоко над землей, то кружась, то поднимаясь порывистыми взлетами. Поражали упорство одной и беспомощность другой.

И вот, выбившись из сил, а может быть затем, чтобы освободить когти и задать трепку сороке, сова выпустила из лап мышь. Полевка камнем полетела вниз. И тотчас, задрвав хвост и сложив крылья, за уроненной добычей помчалась сорока, быстро нагнала ее, ловко подхватила на лету и скрылась в кустах.

Сова осталась в дураках. Она сделала несколько кругов над тем местом, где укрылась белобокая разбойница, потом медленно полетела к дороге и снова уселась на телеграфном столбе. А через некоторое время из кустов выпорхнула сорока и тоже устроилась неподалеку на вершине тополя.

Сидит неподвижно нахохленная голодная сова, раскачивает

хвостом ветку сытно закусившая сорока. Долго они сидели одна против другой. Потом сова поднялась и, пролетев вдоль дороги с полкилометра, снова уселась на столб — подальше от наглої вертихвостки. Сорока тоже полетела вслед за хищником.

Видно, так и летают вместе обе эти птицы. Куда сова, туда сорока. Ловить мышей она не умеет, нет у нее сноровки. А у совы это ловко получается. Вот сорока и решила «загребать жар чужими руками». Только рискованное это дело: озлится сова, улучит момент да и сцапает разбойницу. И полетят по ветру шелковые сорочки перья. Что и говорить, игра опасная. Только голод не тетка...

ГДЕ ПРОСЫПАЕТСЯ СОЛНЦЕ?

Тяжело махая крыльями, летели гуси.

Санька сидел на перевернутой лодке и, запрокинув голову, тянулся глазами к этим большим усталым птицам. А они то резко темнели, когда пролетали под влажно-белым весенним облаком, то вдруг сами ослепительно белели чистым, обдутым ветрами пером, когда окунались в солнечные лучи, в голубое бездонное разводе между облаками. И сыпались на землю их сдержанные, озабоченные вскрики.

Гуси всегда летели в одну сторону: из-за домов, нанскосок через реки и поле, к далекому лесу.

Санька глядел вслед птицам долго и завистливо, как гусенок с перешибленным крылом. Издали вся стая походила на обрывок черной нитки, которая, плавно изгибаясь над зубчатой стеной леса, то провисала качелями, то вытягивалась в ровную линию.

— Уже, поди, и до дяди Сергея долетели, — прикидывал он.

Дядя Сергей поселился у них среди зимы. Однажды, возвращаясь из школы, Санька увидел под окнами своего дома нечто совершенно непонятное: не самолет, не автомобиль. Диковинная машина была вся запорошена снегом: и овальные окна, и ребристые бока, и огромная фара на кончике длинного, как у моторной лодки, носа. Стена Санькиного дома была густо залеплена снегом, будто по улице только что прошлась вьюга. Позади кузова невиданной машины Санька разглядел красную лопасть пропеллера.

— Ух ты! — прищелкнул языком Санька и побежал через сугроб домой.

Во дворе Санька увидел незнакомого человека в сером свитере, в рыжей лохматой шапке и таких же рыжих меховых сапогах. Лицо его густо обросло щетиной. Человек колот дрова.

В горнице за столом сидел еще один приезжий, Степан Петрович. Смешно надув щеки и глядя в маленькое зеркальце, он бритвой соскабливал с лица густую мыльную пену.

Все это неожиданное нашествие наполнило их пустой, гулкой дом ощущением праздника. Саньку совершенно поко-

рили и чудо-машина под окном, и загадочные вещи, сваленные в сених, и эти бородатые, ни на кого не похожие люди, и даже швырчащая колбаса на сковородке.

Улучив момент, Санька дернул мать за рукав:

— Мам, кто такие?

— Квартиранты.

— У нас будут жить?— переспросил Санька.

— Говорят, проживут до лета.

— Мам, и машина будет у нас?

— Не знаю, Санюшка. Садись поешь.

После обеда Санька побежал на улицу к машине. Там уже толпились ребяташки. Протирали рукавичками окна, почти-точно притрагивались к алой лопасти пропеллера, пролезали под днищем.

— А ну, не трогать руками!— налетел Санька. Ребяташки послушно отступили. Ничего не поделаешь: машина стояла перед Санькиным домом. Приходится подчиняться.— У нас теперь квартиранты на постое,— сказал Санька.— А это их машина.

Ребяташки с завистью глядели на Саньку.

Вечером дядя Сергей и Степан Петрович расстелили на столе большую карту, всю исчерченную кривыми, причудливыми линиями, и стали вымерять что-то блестящим циркулем и помечать цветными карандашами. Санька с любопытством следил за их непонятным занятием.

— А ну-ка, Санька!— сказал дядя Сергей.— Покажи-ка нам на карте свою реку.

Санька забрался на стол, растерянно оглядел пестрый лист. Никакой реки он не увидел и смущенно сказал:

— Ее снегом замело. Зимой всегда заметает.

Дядя Сергей и Степан Петрович расхохотались.

Работали они допоздна. А на рассвете Санька проснулся от рева мотора. Яркий свет полоснул по окнам, и на миг стали видны до последней прожилки морозные веточки на стеклах. Мотор завыл, в окна швырнуло снегом, и вскоре был слышен лишь отдаленный рокот, который постепенно совсем истаял.

Утром Санька выбежал на улицу и внимательно оглядел снег. Он отыскал три широкие лыжни. Они вели прямо к реке. С обрыва было видно, как лыжни сбежали по крутому спуску на реку, пересекли ее поперек, выбрались на тот берег и ровными голубыми линиями умчались по чистому снегу к далекому лесу.

«Вот бы прокатиться!» — думал Санька, щурясь от солнеч-

ной белизны и силясь проследить как можно дальше стремительный росчерк лыжни.

Так они уезжали каждое утро и возвращались, когда становилось совсем темно. Санька еще издали замечал в поле рыскающий луч света, который отбрасывала фара, и, радостный, бежал домой:

— Мам, едут!

Они снимали в передней пахнувшие морозным ветром шубы и шапки, и Санька полывал им на руки из кувшина. Потом дядя Сергей шел раздувать самовар, который он чудно называл ихтиозавром. После ужина дядя Сергей и Степан Петрович садились за карты и чертежи.

Дядя Сергей был большой выдумщик и всегда что-нибудь привозил из лесу. Как-то раз он выгрузил из аэросаней разлапый сосновый корень, весь вечер опиливал и строгал корягу, и получилась голова оленя с красивыми рогами. Когда же дядя Сергей уезжал надолго, Санька скучал и лънул к матери, и та укачивала его на коленях, закрыв теплой вязаной шалью. В такие дни в доме было тихо и пусто. Спать ложились рано.

В последний раз дядя Сергей уехал перед самой весной. Санька ожидал его каждый день. Он бегал к обрыву и глядел за речку. Но поле было пустынно и белело, как чистый лист бумаги, — без единого пятнышка, без черточки. Свежая поросль замела все следы.

Когда же с пригорков хлынули ручьи и река вздулась и подняла лед, Санька понял, что дядя Сергей больше не приедет. По реке мчались льдины с оборванными строчками лисих следов и кусками санной дороги. Льдины тупо, упрямо бодали пустые стволы старых ракит, и те содрогались до самой макушки. А сверху, тяжело махая крыльями, летели гуси. Они летели туда, где просыпалось солнце.

Санька никогда не бывал по ту сторону соснового бора. Он только знал, что каждое утро из-за леса поднималось солнце, оно было большое и красное, и Санька думал, что оно спростенья такое. «Вот если бы пройти весь лес, — размышлял он, стоя на крутояре, — тихонечко подкрасться и спрятаться за кусты, то можно подсмотреть, как просыпается солнце. Дядя Сергей, поди, уж видел много раз».

Весенние дни побежали быстро, Санька с утра до вечера пропадал на улице и постепенно стал забывать дядю Сергея.

Однажды под окном на раките радостно засвиристел свирец. И Санька вспомнил, что уже давно собирался сделать

скворечник. Старый совсем развалился. Санька побежал домой, вынес на крыльцо дощечки, топор, ножовку и принялся за дело. Тяпал топором и виновато поглядывал на скворца.

— Как же я забыл?— приговаривал Санька.— Ну посиди, я сейчас.

Скворец сидел тут же на ветке, охорашивался с дороги и понимающе косил черным глазом на кучерявую щепку.

Сделав скворечник, Санька полез приколачивать его на раките. Он уже сидел на самой макушке, когда к их дому подкатил вездеходик с брезентовым верхом. Из машины вылез человек в сером дождевике и резиновых сапогах.

— Дядя Сергей! Дядя Сергей!— закричал Санька.— Я — вот он!— Он заскользил на животе вниз по корявому стволу.— Я сейчас!

Санька глядел на дядю Сергея, и его губы сами собой растягивались в улыбку. На Санькиной щеке багровела свежая царапина. К куртке пристали кусочки сухой коры.

— Ну как вы тут?— Дядя Сергей присел перед Санькой на корточки.

— Мы ничего... Живем. Только с мамкой ждали... Думали, совсем не приедете.

— Дела, Санька. Вот скоро с тобой поедем, сам увидишь. Тут я тебе одну штуку привез.— Дядя Сергей порылся в машине.— На-ка, держи!

Это был трехмачтовый кораблик с клем, форштевнем, каютами, бортовыми шлюпками. По всему было видно, что кораблик находился в долгом и трудном плавании. Его корпус, выкрашенный белым, покрылся рыжей илистой пленкой. Мачты были сломаны. Обломки запутались в снастях. Уцелела только бизань-мачта с мокрыми парусами. К парусу прилип бурый ракиновый лист.

Санька держал в руках кораблик так осторожно, будто это было живое существо, живая, трепещущая птица. Где-то он плавал, гонимый ветрами, встречал закаты и восходы, боролся с непогодой, какие-то видел берега... Саньке даже не верилось, что в его руках такой необыкновенный корабль, он даже покраснел от счастья.

— Спустился к реке, чтобы подлить воды в радиатор,— сказал дядя Сергей,— гляжу, плывет!

Пока мать готовила обед, Санька и дядя Сергей взялись за ремонт судна. Отмыли под ракумойником корпус и палубу, выстругали новые мачты и прикрутили к ним реи. Санькина мать достала из сундука белый лоскут для парусов. Корабль выглядел нарядно, празднично. Он стоял на столе на подстав-

ке от утюга, будто на стапелях, снова готовый к дальним странствиям.

— А что ж мы про флаг забыли!— всплеснул руками сияющий Санька. Он разыскал в ящичке швейной машины кусочек красной материи и выкроил флаг.

— Без флага кораблю нельзя,— одобрил дядя Сергей.— Только поднимать его еще рано, потому что у корабля нет названия. Надо дать ему имя. Самое красивое. Ну-ка, Санька, подумай!

Санька озабоченно наморщил лоб.

— Чайка!— сказал он.

— Чайка...— в раздумье повторил дядя Сергей.— Чайка! Что ж, неплохое название! Подходит! Но не будем торопиться: есть слова лучше.

— Морской орел!— выпалил Санька.— Орел сильнее чайки!

— Нет, это слишком воинственное. Не нравятся мне эти морские орлы,— сказал дядя Сергей.— Давай, знаешь...— задумался он.— Давай назовем вот как: «Мечта». Повнимаешь?!

Санька задумался. Он никак не мог себе представить, какая она бывает, эта мечта.

— Ты о чем-нибудь мечтаешь?— спросил дядя Сергей.— Есть у тебя какое-нибудь самое большое желание?

— Есть...— тихонечко, почти шепотом, проговорил Санька.

— Какое? Какое?

— Хочу поглядеть, как солнце просыпается,— смущенно пробормотал Санька.

— Ну вот, видишь... У каждого человека есть свое самое большое желание. У тебя, у меня, у твоей матери. Без него нельзя, вот так же, как чайке нельзя без крыльев. Мечта — тоже птица. Только летает она и выше и дальше. Повнимаешь?

Вместо ответа Санька порылся в кармане, достал огрызок чернильного карандаша и, взглянув на дядю Сергея, спросил:

— Где писать название?

И, послушив карандаш, Санька старательно вывел на носу корабля большими печатными буквами: МЕЧТА.

— А теперь слушай мою команду! На флаг смирно!— повоенному громко сказал дядя Сергей и вытянул руки по швам.

Санька поглядел на него и тоже прижал к бокам руки. Лицо его стало серьезным, и только царапина на щеке и синее пятнышко от чернильного карандаша на нижней губе несколько не соответствовали параду.

В дверном проеме стояла Санькина мать. Вытирая рушником тарелку, она глядела то на дядю Сергея, то на своего

сына, улыбалась, но губы почему-то дрожали, а глаза ее блестели так, будто она только что крошила сырую луковичу.

— Можешь спускать корабль на воду!— объявил дядя Сергей.

Санька схватил суденышко и выбежал на улицу.

Вскоре он прибежал обратно. Вид у него был растерянный. В глазах стояли слезы.

— Дядя Сергей! Кораблик-то уплыл...

Мать всплеснула руками:

— Как же это ты? Так-то тебе давать хорошие вещи! За это уши надо драть.

— Да-а...— захныкал Санька.— Я не хотел... Я только оттолкнул его от берега, а паруса надулись... И — уплыл...

Дядя Сергей и Санька вышли на улицу. С высокого берега было видно, как на тихой ряби реки, на самом стрежне, белел стройный, красивый парусник. Это была Санькина «Мечта». Попутный ветер надувал ее паруса, и она, чуть покачиваясь и трепеща алым флагом, быстро бежала все дальше и дальше.

Дядя Сергей искал глазами лодку, на которой можно было бы догнать кораблик, но единственная лодка лежала на берегу вверх днищем.

— Только не хныкать,— сказал дядя Сергей.— Ничего не поделаешь! Видно, такой уж это беспокойный корабль. Не любит мелкой воды. Ты, Санька, не огорчайся. Мы построим новый. Винтовой пароход. С трубами. Тот никуда не уплывет. А этот пусть плывет...

Дядя Сергей присел на перевернутую лодку и притянул к себе Саньку.

Вечер быстро наливался густой, плотной синевой. Река стала еще шире, просторней. Затуманился и куда-то уплыл противоположный берег. Далеко-далеко, где-то за лесом, на темном вечернем небе неясно и таинственно вспыхивали и дрожали то голубоватые, то бледно-желтые всполохи и доносился глухой, едва уловимый рокот.

— Слышал я, Санька, одну загадочную историю,— начал дядя Сергей.— Рассказывали мне, будто плавает по нашей стране неведомо кем построенный кораблик с мачтами, с парусами — все как положено. Никто не может удержать его. Швыряют тот кораблик волны, ветер ломает мачты и рвет паруса, а он не сдается — плывет и плывет. Поймает его какой-нибудь парнишка, починит и думает: вот хорошая игрушка. Только спустит на воду, а кораблик надует паруса и был та-

ков. Так и плывет он мимо сел и городов, из реки в реку, через всю страну, до самого синего моря.

— А когда до моря доплывет?

— А когда доплывет до моря, его непременно изловит какой-нибудь человек. Обрадуется: хороший подарок сыну! И увезет куда-нибудь к себе. Ну, а сын, известное дело, сразу бежит на речку. Корабliku только этого и надо. И снова — из реки в реку, от мальчишки к мальчишке, через всю страну. И вот что удивительно: всякий парнишка, который подержит его в руках, навсегда становится беспокойным человеком. Все он потом что-то ищет, чего-то дознаётся...

В эту ночь Саньке снились чайки и огромное красное солнце. Солнце наполовину вышло из моря, и навстречу ему, рассекая волны, гордо бежал белокрылый корабль.

РАДУГА

В пятидесяти километрах от Курска, в поэтических верховьях речки Тускарь, где некогда вдохновенно творил Фет, живет мой приятель Евсейка.

Евсейке этой зимой мпнул десятый год, и ходит он в четвертый класс, который помещается на втором этаже фетовского особняка. Из классных окон, с высоты птичьего полета, открывается просторная речная долина с островками деревенских ракитовых кущ у дальнего ее края. Самой же речки не видать. Скрываясь в прибрежных зарослях разной кустарниковой всячины, она петляет у самого подножия обрывистого правобережья, на скате которого, в окружении дубов и кленов, и стоит Евсейкина школа.

С Евсейкой я познакомился на станции.

Я спрыгнул с подножки вагона в хлипкую предрассветную темень. Вот уже третьи сутки сыпал изнуряющий октябрьский дождь. Звякнул колокол. В ответ паровозик жалобно свистнул, устало выдохнул пар, и мутные, в дождевых потоках, квадраты вагонных окон медленно проплыли мимо.

Через псхлестанную дождем лужу протянулись зыбкие отсветы станционного аданья. Не разбирая, я пошел напрямик по одной из этих световых дорожек. У входа тускло поблескивал колокол. Крупные капли, срываясь с карниза, хлестко разбивались о бронзу, отчего колокол чуть слышно звенел, будто жаловался на непогоду.

В маленьком зале пережидали невастье несколько пассажиров и провожающих. Я попросил себе чая и направился к дальнему столику. За ним сидел низкорослый человечек в дождевике с откинутым капюшоном, из-за которого виднелась стриженная макушка. Садясь напротив, я заглянул ему в лицо. Это оказался парвишка. Он с деловым усердием дул на блюдечко, покоившееся на растопыренных пальцах. Мелкие буспки пота высыпали на его чуть вадернутом носу. В другой руке он держал полумесяц бублика.

Мне нужно было в Свободинскую МТС, как раз в те фетовские места, и я спросил паренька, не ходят ли туда машины. Тот неторопливо поставил блюдечко на стол, смахнул

• груди крошки от бублика и удивленно посмотрел на меня.
— Какие теперь машины!
— Как же, брат, быть, а?
— Если не срочно, то подвезу. Вот малость дождь уймется, и поедем.

Так я познакомился с Евсейкой. Он рассказал, что возил к поезду брата, который приезжал в отпуск с целины.

Буфетчик погасил свет, в окна заглянуло запоздалое серое утро. Дождь все еще не переставал, хотя уже измельчал и обессилел. Мы выпили еще по стакану чаю, потом Евсейка отправился посмотреть погоду.

У коновязи, склонившись над недоодеженной охапкой клевера, безропотно мокла Евсева лошадь — рыжая, в белых заплатах кобылка. Увидев хозяина, она шевельнула сизыми отвислыми губами, будто спрашивая: «Скоро ехать-то? Все равно где мокнуть — что здесь, что в дороге». Евсей, видимо, решил, что и в самом деле ожидать нечего. Путаясь в полах дождевика, он подошел к коновязи, размотал вожжи, зачем-то пнул раз-другой сапогом переднее колесо, потом подобрал с земли клевер и сложил его в телегу. Я расплатился и вышел на улицу. Евсей передал мне плащ, которым укрывался его брат, и мы поехали. Кобылка бодро зашлепала по хлюпкой дороге.

За нефтебазой повернули к переезду. Телега запрыгала на рельсах, потом покатила по мощеному спуску вниз, опять в непролазное месиво раскисшего чернозема.

— Вы у нас летом не были?— спросил Евсейка, будто извиняясь за то, что его родные места выглядели сейчас так уныло.— Благодать у нас какая! Лес, речка... А ягод сколько в покос! К нам из Москвы отдыхать приезжают.

Проехали пристанционное село. За околицей дорога раздваивалась, лошадь сама свернула влево и, выбирая путь полегче, пошла не промеж разъезженных и залитых грязью колес, а по обочине, густо поросшей осотом и полынью. Полынь, высохшая за лето, после дождей настоялась влагой, размякла и остро пахла.

— Ишь ты как раздобрела!— сказал возница, втягивая носом душистую горечь, и стегнул по траве кнутом.

Пегашка приняла это за свой счет, налегла на упряжь, забряцало колечко на дуге, отсчитывая торопливые лошадиные шаги.

Я уселся поудобнее и глубже натянул плащ. От нечего делать я следил, как дождевые капли, появляясь на верхнем краю капюшона, катились вниз, нагоняли друг друга, стал-

ивались, а слившись и окончательно отяжелев, шлепались ко мне на колени. За таким занятием не мудрено было задремать. Проснулся я оттого, что кто-то дергал меня за рукав.

Я открыл глаза и увидел возбужденное лицо Евсейки.

— Дяденька! Смотри, какая радуга! Вон там, над речкой!

Пока я дремал, откуда-то набежавший ветер расслоил на западе тучи, и к длинной, в полнеба, щели прильнул немигающий глаз солнца, будто желая подсмотреть: стоит ли ему завтра сиять или спрятаться еще на денек? Его золотистые лучи-ресницы простерлись над мокрой, озябшей землей и своим прикосновением вновь вернули природе смытые дождями краски. Вспыхнула бегучим пламенем придорожная лесополоса, рассыпанной ртутью дождевых капель засверкал широкий луг, а за ним на той стороне, на крутом косогоре, пожаром загорелись окна большого особняка. Вверху же, над ликующей долиной Тускари, висела радуга — огромная, расцвеченная пестрыми лентами арка. Она выходила откуда-то из прибрежных кустов и, сделав широкий, будто проведенный гигантским циркулем, полукруг, упиралась другим концом, километра за три, в сады какой-то деревеньки. Я никогда не видел радуги поздней осенью. А такой пышной и праздничной, как эта, не приходилось видеть даже летом. Главное — она была совсем близко от нас. Ее концы упирались в землю не далее как в километре. И, может быть, оттого, что радуга была так близко, она казалась необыкновенно яркой и широкой. Несколько деревьев, тесной группой стоявших на берегу, укрылись за пестрой лентой, и каждое приобрело оттенок того цвета, какой пришелся против него.

— Смотри, смотри, а радуга-то движется! — приподнялся на колени Евсейка. — Вон уже на село набежала!

И действительно, радуга медленно, не забегая вперед и не отставая от нас, двигалась параллельно дороге, продолжая упираться своим левым концом в затерявшуюся в зарослях речушку. Вот ее передний правый рукав шагнул на улицу села, белые хаты вдруг запестрели, становясь на мгновение то нежно-голубыми, то изумрудными, то вспыхивали золотом, чтобы тотчас залиться багрянцем.

Нам нужно было проезжать через село, дорога шла туда задами. Но Евсейка неожиданно резко поворотил лошадь и, лихо гикнув, помчал напрямик, по клеверищу.

— Врешь, не уйдешь! — крикнул он, становясь во весь рост.

Лошадь пустилась в тяжелый галоп, порывисто дергая повозку, из-под копыт летели комья земли, клеверные корне-

вища. Евсейка, широко расставив ноги, взмахивал в такт рыкам оттопыренными локтями.

— Не уйдешь!

Мне в ту минуту почему-то казалось, что стоит пегашке еще малость поднажать, и мы вкатим в огромные радужные ворота.

Но вдруг я увидел, что радуги уже нет в селе. Она перешагнула через хаты и висела над черным силуэтом ветряной мельницы. И чем быстрее мы скакали, тем дальше от нас отдвигалась радуга.

— Эх, уходит!— сплюнул Евсейка.— За речку перешагнула.

— Стой, Евсейка,— опомнился я.— Зря гоним лошадь. Все равно радугу не поймаешь.

— Теперь я и сам вижу, что не догнать. Надо кругом на мост объезжать. Вот если бы я раньше догадался, пока она к селу подходила, тогда бы успел.

Я рассмеялся:

— Дело-то не в этом... Ее и на автомашине не догонишь, и посади тебя на самолет — все равно не поймал бы.

— И на реактивном?— недоверчиво покосился на меня мальчик.

— И на реактивном.

— Да ведь он как пуля летает!

— Все равно...— И я стал объяснять Евсею, почему мы не догнали радугу.

Кажется, Евсейка не понял моих объяснений или не хотел верить в них. Потому что, когда мы въехали в село, он пристально осматривал стены хат, по которым прокатилась цветистая полоса радуги. А когда навстречу попался кто-то из здешних ребятишек, он придержал лошадь и настороженно спросил, будто разыскивал пропавшую корову:

— Послушай-ка, у вас тут по улице радуга не проходила?

— Какая радуга?— раскрыл рот парнишка.

— Какая-какая! Обыкновенная радуга, что после дождя бывает.

— Нет, не проходила.

— Слепая ты тетеря!— рассердился Евсейка.— Был тут и не видел.— И маленький возница в сердцах хлестнул вожжами пегашку.

БЕЛЫЙ ГУСЬ

Если бы птицам присваивали воинские чины, то этому гусю следовало бы дать адмирала. Все у него было адмиральское: и выправка, и походка, и тон, каким он разговаривал с прочими деревенскими гусями.

Ходил он важно, обдумывая каждый шаг. Прежде чем переставить лапу, гусь поднимал ее к белоснежному кителю, собирал перепонки, подобно тому как складывают веер, и, поддерживая этак некоторое время, неторопливо опускал лапу в грязь. Так он ухитрялся проходить по самой хлюпкой, растележенной дороге, не замарав ни единого перышка.

Этот гусь никогда не бежал, даже если за ним припустит собака. Он всегда высоко и неподвижно держал длинную шею, будто нес на голове стакан воды.

Собственно, головы у него, казалось, и не было. Вместо нее прямо к шее был прикреплен огромный, цвета апельсиновой корки клюв с какой-то не то шишкой, не то рогом на переносье. Больше всего эта шишка походила на кокарду.

Когда гусь на отмели поднимался в полный рост и размахивал упругими полутораметровыми крыльями, на воде пробегала серая рябь и шуршали прибрежные камыши. Если же он при этом издавал свой крик, в лугах у доярок тонко звенели подойники.

Одним словом, Белый гусь был самой важной птицей на всей кулиге. В силу своего высокого положения в лугах он жил беспечно и вольготно. На него засматривались лучшие гусыни деревни. Ему безраздельно принадлежали отмели, которым не было равных по обилию тины, ряски, ракушек и головастиков. Самые чистые, прокаленные солнцем песчаные пляжи — его, самые сочные участки луга — тоже его.

Но самое главное — то, что плес, на котором я устроил приваду, Белый гусь считал тоже своим. Из-за этого плеса у нас с ним давняя тяжба. Он меня просто не признавал. То он кильватерным строем ведет всю свою гусиную армаду прямо на удочки да еще задержится и долбанет подвернувшийся поплавок. То затеет всей компанией купание как раз у противоположного берега. А купание-то это с гогомом, с хлопаньем

крыльев, с догонялками и прятками под водой. А нет— устраивает драку с соседней стаей, после которой долго по реке плывут вырванные перья и стоит такой гам, такое бахвальство, что о поклевках и думать нечего.

Много раз он поедал из банки червей, утаскивал кукуны с рыбой. Делал это не воровски, а все с той же степенной неторопливостью и сознанием своей власти на реке. Очевидно, Белый гусь считал, что все в этом мире существует только для него одного, и, наверное, очень бы удивился, если бы узнал, что сам-то он принадлежит деревенскому мальчишке Степке, который, если захочет, оттяпает на плахе Белому гусю голову, и Степкина мать сварит из него щи со свежей капустой.

Этой весной, как только пообдуло проселки, я собрал свой велосипед, приторочил к раме пару удочек и покатию открывать сезон. По дороге заехал в деревню, наказал Степке, чтобы добыл червей и принес ко мне на приваду.

Белый гусь уже был там. Позабыв о вражде, залюбовался я птицей. Стоял он, залитый солнцем, на краю луга, над самой рекой. Тугие перья одно к другому так ладно пригнаны, что казалось, будто гусь высечен из глыбы рафинада. Солнечные лучи просвечивают перья, зарываясь в их глубине, точно так же, как они отсвечивают в куске сахара.

Заметив меня, гусь пригнул шею к траве и с угрожающим шипением двинулся навстречу. Я едва успел отгородиться велосипедом.

А он ударил крыльями по спицам, отскочил и снова ударил.

— Кыш, проклятый!

Это кричал Степка. Он бежал с банкой червей по тропинке.

— Кыш, кыш!

Степка схватил гуся за шею и поволок. Гусь упирался, хлестко стегал мальчишку крыльями, сшиб с него кепку.

— Вот собака!— сказал Степка, оттащив гуся подальше.— Никому прохода не дает. Ближе ста шагов не подпускает. У него сейчас гусята, вот он и лютует.

Теперь только я разглядел, что одуванчики, среди которых стоял Белый гусь, ожили и сбились в кучу и испуганно вытягивают желтые головки из травы.

— А мать-то их где?— спросил я Степку.

— Сироты они...

— Это как же?

— Гусыню машина переехала.

Степка разыскал в траве картуз и помчался по тропинке к мосту. Ему надо было собраться в школу.

Пока я устраивался на приваде, Белый гусь уже успел несколько раз подражаться с соседями. Потом откуда-то прибежал пестро-рыжий бычок с обрывком веревки на шее. Гусь набросился на него.

Теленок взбрыкивал задом, пускался наутек. Гусь бежал следом, наступал лапами на обрывок веревки и кувыркался через голову. Некоторое время гусь лежал на спине, беспомощно перебирая лапами. Но потом, опомнившись и еще пуще разозлившись, долго гнался за теленком, выщипывая из ляжек клочья рыжей шерсти. Иногда бычок пробовал занять оборону. Он, широко расставляя передние копытца и пуча на гуся фиолетовые глаза, неумело и не очень уверенно мотал перед гусем лопухой мордой. Но как только гусь поднимал вверх свои полутораметровые крылья, бычок не выдерживал и пускался наутек. Под конец теленок забился в непролазный лозняк и тоскливо замычал.

— То-то!— загоготал на весь выпас Белый гусь, победно подергивая куцым хвостом.

Короче говоря, на лугу не прекращались гомон, устрашающее шипение и хлопанье крыльев, и Степкины гусята пугливо жались друг к другу и жалобно пищали, то и дело теряя из виду своего буйного папашу.

— Совсем замотал гусят, дурная твоя башка!— пробовал стыдить я Белого гуся.

— Эге! Эге!— неслось в ответ, и в реке подпрыгивали мальки.— Эге! (Мол, как бы не так!)

— У нас тебя за такие штучки враз бы в милицию.

— Га-га-га-га,— издевался надо мной гусь.

— Легкомысленная ты птица! А еще папаша! Нечего сказать, воспитываешь поколение...

Переругиваясь с гусем и поправляя размытую половодьем приваду, я и не заметил, как из-за леса напозла туча. Она росла, поднималась серо-синей тяжелой стеной, без просветов, без трещинки, и медленно и неотвратно пожирала синеву неба. Вот туча краем накатилась на солнце. Ее кромка на мгновение сверкнула расплавленным свинцом. Но солнце не могло растопить всю тучу и бесследно исчезло в ее свинцовой утробе. Луг потемнел, будто в сумерки. Налетел вихрь, подхватил гусиные перья и, закружив, унес вверх.

Гуси перестали щипать траву, подняли головы.

Первые капли дождя полоснули по лопухам кувшинок. Сразу все вокруг зашумело, трава заходила сизыми волнами, лозняк вывернуло паизнанку:

Я едва успел набросить на себя плащ, как туча прорвалась

и обрушилась холодным косым ливнем. Гуси, растопырив крылья, полегли в траву. Под ними спрятались выводки. По всему лугу были видны тревожно поднятые головы.

Вдруг по козырьку кепки что-то жестко стукнуло, тонким звоном отозвались велосипедные спицы, и к моим ногам скатилась белая горошина.

Я выглянул из-под плаща. По лугу волочились седые космы града. Исчезла деревня, пропал из виду недалекий лесок. Серое небо глухо шуршало, серая вода в реке шипела и пенилась. С треском лопались просеченные лопухи кувшинок.

Гуси замерли в траве, тревожно перекликались.

Белый гусь сидел, высоко вытянув шею. Град бил его по голове, гусь вздрагивал и прикрывал глаза. Когда особенно крупная градина попадала в темя, он сгибал шею и тряс головой. Потом снова выпрямлялся и все поглядывал на тучу, осторожно склонял голову набок. Под его широко раскинутыми крыльями тихо копошилась дюжина гусят.

Туча свирепствовала с нарастающей силой. Казалось, она, как мешок, распоролась вся, от края и до края. На тропинке в неудержимой пляске подпрыгивали, отскакивали, сталкивались белые ледяные горошины.

Гуси не выдержали и побежали. Они бежали, полузачеркнутые серыми полосами, хлеставшими их наотмашь, гулко барабанил град по пригнутым спинам. То здесь, то там в траве, перемешанной с градом, мелькали взъерошенные головки гусят, слышался их жалобный призывный писк. Порой писк внезапно обрывался, и желтый «одуванчик», иссеченный градом, поникал в траву.

А гуси все бежали, пригибаясь к земле, тяжелыми глыбами падали с обрыва в воду и забивались под кусты лозняка и береговые обрезы. Вслед за ними мелкой галькой в реку сыпались малыши — те немногие, которые еще успели добежать. Я с головой закутался в плащ. К моим ногам скатывались уже не круглые горошины, а куски наспех обкатанного льда величиной с четвертинку пиленого сахара. Плащ плохо спасал, и куски льда больно секли меня по спине.

По тропинке с дробным топотом промчался теленок, стегнув по сапогам обрывком мокрой веревки. В десяти шагах он уже скрылся из виду за серой завесой града.

Где-то кричал и бился запутавшийся в лозняке гусь, и все натужнее звякали спицы моего велосипеда.

Туча промчалась так же внезапно, как и набежала. Град в последний раз прострочил мою спину, поплясал по прибрежной отмели, и вот уже открылась на той стороне деревня, и в

мокрое заречье, в ивняки и покосы запустило лучи проглянувшее солнце.

Я сдернул плащ.

Под солнечными лучами белый, запорошенный луг на глазах темнел, оттаивал. Тропинка покрылась лужицами. В поваленной мокрой траве, будто в сетях, запутались иссеченные гусята. Они погибли почти все, так и не добжевав до воды.

Луг, согретый солнцем, снова зазеленел. И только на его середине никак не растаивала белая кочка. Я подошел ближе. То был Белый гусь.

Он лежал, раскинув могучие крылья и вытянув по траве шею. Серый немигающий глаз глядел вслед улетающей туче. По клюву из маленькой ноздри сбегала струйка крови.

Все двенадцать пушистых «одуванчиков», целые и невредимые, толкаясь и давя друг друга, высыпали наружу. Весело попискивая, они рассыпались по траве, подбирая уцелевшие градины. Один гусенок, с темной ленточкой на спине, неуклюже переставляя широкие кривые лапки, пытался взобраться на крыло гусака. Но всякий раз, не удержавшись, кубарем летел в траву.

Малыш сердился, нетерпеливо перебирал лапками и, выпутавшись из травянок, упрямо лез на крыло. Наконец гусенок вскарабкался на спину своего отца и замер. Он никогда не забирался так высоко.

Перед ним открылся удивительный мир, полный сверкающих трав и солнца.

ЖИВОЕ ПЛАМЯ

Тетя Оля заглянула в мою комнату, опять застала за бумагами и, повысив голос, повелительно сказала:

— Будет писать-то! Поди проветришь, клумбу помощи разделить.— Тетя Оля достала из чулана берестяной короб. Пока я с удовольствием разминал спину, забивая граблями влажную землю, она, присев на завалинку и высыпав себе на колени пакетики и узелки с цветочными семенами, разложила их по сортам.

— Ольга Петровна, а что это,— замечаю я,— не сеете вы на клумбах маков?

— Ну, какой из мака цвет!— убежденно ответила она.— Это овощ. Его на грядках вместе с луком и огурцами сеют.

— Что вы!— рассмеялся я.— Еще в какой-то старинной песенке поется:

А лоб у нее, точно мрамор, бел,
А щеки горят, будто маков цвет.

— Цветом он всего два дня бывает,— упорствовала Ольга Петровна.— Для клумбы это никак не подходит: пыхнул и сразу сгорел. А потом все лето торчит эта самая колотушка, только вид портит.

Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака на самую середину клумбы. Через несколько дней она зазеленела.

— Ты маков посеял?— подступилась ко мне тетя Оля.— Ах озорник ты этакий! Так уж и быть, тройку оставила, тебя пожалела. А остальные все выполола.

Неожиданно я уехал по делам и вернулся только через две недели. После жаркой, утомительной дороги было приятно войти в тихий старенький домик тети Оли. От свежeweымытого пола тянуло прохладой. Разросшийся под окном жасминовый куст ровнял на письменный стол кружевную тень.

— Квасу налить?— предложила она, сочувственно оглядев меня, потного и усталого.— Алеша очень любил квас. Бывало сам по бутылкам разливал и запечатывал.

Когда я снимал эту комнатку, Ольга Петровна, подняв

глаза на портрет юноши в летной форме, что висит над письменным столом, спросила:

— Не мешает?

— Что вы!

— Это мой сын Алексей. И комната была его. Ну, ты располагайся, живи на здоровье.

Подавая мне тяжелую медную кружку с квасом, тетя Оля сказала:

— А маки твои поднялись, уже бутоны выбросили.

Я вышел посмотреть на цветы. Клумба стала неузнаваемой. По самому краю расстился коврик, который своим густым покровом с разбросанными по нему цветами очень напоминал настоящий ковер. Потом клумбу опоясывала лента матиол — скромных ночных цветков, привлекающих к себе не яркостью, а нежно-горьковатым ароматом, похожим на запах ванили. Пестрели куртинки желто-фиолетовых анютиных глазок, раскачивались на тонких ножках пурпурно-бархатные шляпки парижских красавиц. Было много и других знакомых и незнакомых цветов. А в центре клумбы, над всей этой цветочной пестротой, поднялись мои маки, выбросив навстречу солнцу три тугих, тяжелых бутона.

Распустились они на другой день.

Тетя Оля вышла поливать клумбу, но тотчас вернулась, громыхая пустой лейкой.

— Ну, иди смотри, зацвели.

Издали маки походили на зажженные факелы с живыми, весело полыхающими на ветру языками пламени. Легкий ветер чуть колыхал, а солнце пронизывало светом полупрозрачные алые лепестки, отчего маки то вспыхивали трепетно-ярким огнем, то наливались густым багрянцем. Казалось, что стоит только прикоснуться — сразу опалят!

Маки слепили своей озорной, обжигающей яркостью, и рядом с ними померкли, потускнели все эти парижские красавицы, львиные зевы и прочая цветочная аристократия.

Два дня буйно пламенели маки. И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто. Я поднял с земли еще совсем свежий, в капельках росы, лепесток и расправил его на ладони.

— Вот и все, — сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения.

— Да, сгорел... — вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля. — А я как-то раньше без внимания к маку-то этому. Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...

Тетя Оля, как-то сгорбившись, вдруг заторопилась в дом.

Мне уже рассказывали о ее сыне. Алексей погиб, спикировав на своем крошечном «ястребке» на спину тяжелого фашистского бомбардировщика.

Я теперь живу в другом конце города и изредка заезжаю к тете Оле. Недавно я снова побывал у нее. Мы сидели за летним столиком, пили чай, делились новостями. А рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню.

ТРИДЦАТЬ ЗЕРЕН

Ночью на мокрые деревья упал снег, согнул ветви рыхлой сырой тяжестью, а потом его схватило морозцем, и снег теперь держался на ветках крепко, будто засахаренная вата.

Прилетела синичка, попробовала расковырять намерзь. Но снег был тверд, и она озабоченно посмотрела по сторонам, словно спрашивая: «Как же теперь быть?»

Я отворил форточку, положил на обе перекладки двойных рам линейку, закрепил ее кнопками и через каждый сантиметр расставил конопляные зерна. Первое зернышко оказалось в саду, зернышко под номером тридцать — в моей комнате.

Синичка все видела, но долго не решалась слететь на окно. Наконец она схватила первую коноплянку и унесла ее на ветку.

Проворно расклевав твердую скорлупу, она вытащила ядро и съела.

Все обошлось благополучно. Тогда синичка, улучив момент, подобрала зернышко номер два...

Я сидел за столом, работал и время от времени поглядывал на синицу.

А она, все еще робея и тревожно заглядывая в глубину форточки, сантиметр за сантиметром приближалась по линейке, на которой была отмерена ее судьба.

— Можно, я склюю еще одно зернышко?

И синичка, пугаясь шума своих собственных крыльев, улетела с очередной коноплянкой на дерево.

— Ну, пожалуйста, еще одно, ладно?

Но вот осталось последнее зерно. Оно лежало на самом кончике линейки. Зернышко казалось таким далеким, и идти за ним было так боязно!

Синичка, испуганно замирая и настораживая крылья, прокралась в самый конец линейки и оказалась в моей комнате.

С боязливым любопытством вглядывалась она в неведомый мир. Ее особенно поразили живые зеленые цветы и совсем летнее тепло, которое так приятно оевало озябшие лапки.

— Ты здесь живешь?

— Да.

— А почему здесь нет снега?

Вместо ответа я повернул выключатель. Под потолком ярко вспыхнул матовый шар плафона.

— Солнце!— изумилась синичка.— А это что?

— Это все книги.

— Что такое «книги»?

— Они научили зажигать это солнце, растить эти цветы и те деревья, по которым ты прыгаешь, и еще многому другому. А еще научили насыпать тебе конопляных зернышек.

— Это очень хорошо. А ты совсем не страшный. Кто ты?

— Я — человек.

— Что такое «человек»?

Объяснить это было трудно, и я сказал:

— Видишь нитку? Она привязана к форточке...

Синичка испуганно оглянулась.

— Не бойся. Я этого не сделаю. Это и называется у нас — Человек.

— А можно мне съесть это последнее зернышко?

— Да, конечно! Я хочу, чтобы ты прилетала ко мне каждый день. Ты будешь навещать меня, а я буду работать. Согласна?

— Согласна. А что такое «работать»?

— Видишь ли, это такая обязанность каждого человека. Без нее нельзя. Все люди должны что-нибудь делать. Этим они помогают друг другу.

— А чем ты помогаешь людям?

— Я хочу написать книгу. Такую книгу, чтобы каждый, кто прочитает ее, положил бы на своем окне по тридцать конопляных зерен...

Но, кажется, синичка уже не слушает меня. Обхватив лапками семечко, она доверчиво расклеывает его на кончике линейки.

ПЕСНЯ О РОДИНЕ

В одном из лучших рассказов Евгения Носова — «Красное вино победы» — есть далеко не центральный эпизод, но, на мой взгляд, во многом проливающий свет на природу таланта писателя.

Госпиталь 45-го. Только что пришла весть о Великой Победе. Раненые делятся воспоминаниями о родных, теперь уже близких местах. В углу лежит умирающий солдат Копёшкин, который пытается что-то сказать о своей деревеньке. «Хорошо, тоже... — разобрал я слабый, будто из-под земли, голос Копёшкина», — повествует рассказчик. И затем следует сюжетно как бы проходная сцена: «Я пытался представить себе родину Копёшкина... Я уже вторую неделю тренировал левую руку и, размышляя о копёшкинской земле, машинально черкал карандашом по клочку бумаги. Нарисовалась бревенчатая изба с тремя оконцами по фасаду, косматое дерево у калитки, похожее на перевернутый веник. Ничего больше не придумав, я потянулся и вложил эту неказистую картинку в руки Копёшкина. Тот... долго с... вниманием разглядывал рисунок. Потом прошептал: — Домок прибавь... У меня домок тут... На дереве... Я понял, забрал листок, пририсовал над деревом скворечник и вернул картинку. Копёшкин, одобряя, еле заметно закивал заострившимся носом».

Совершенно конкретный, быть может, и доподлинно документальный рассказ. Зарисовка-воспоминание «мемуарного», казалось бы, частного характера. Но здесь запечатлелось вместе с тем в полной мере и нечто существенное, выходящее далеко за рамки бытовой конкретности. Это — своеобразная

клетка живого организма, называемого художественным произведением. Это — один из тех центральных нервных узлов, в которых отражается ритм его сердца.

Перед нами как бы живая, полнокровная «модель»: автор (художник, писатель, в данном случае рассказчик) — художественное произведение (здесь — рисунок) — читатель (или зритель — Копёшкин), при том не какой-то отвлеченный читатель вообще, — или абстрактный зритель, — а тот определенный, но вместе с тем идеальный читатель-друг, для которого пишет писатель, на чей суд выставляет свое произведение, перед которым «невозможно, непростительно слукавить».

Эти последние слова взяты из другого, уже чисто документального рассказа Евгения Носова, в котором делится впечатлениями о поездке на Вологодчину, родину писателя Василия Белова. Встреча с земляками творца «Плотницких рассказов» и «Привычного дела» навела Евгения Носова на такие раздумья:

«...даже самому автору подчас трудно определить, от кого что пошло. Вот, скажем, жпл через дорогу от Беловых дед Федор Евгеньевич... «Слышал я, собираешься ремонтироватьсь.— Дед оценивающе глядит на Васильеву избу.— Дак и давай до холодов...» И пошло, и пошло... Не из этих ли вот порой препотешных, порой раздумчивых дедовских баек собирались те самые «Бухтины» и «Плотницкие рассказы»? Между прочим, познакомил меня Василий и с прототипом своего будущего Ивана Африкановича... Многое от этого тихого и застенчивого человека я потом находил в герое «Привычного дела»...

Но, хочу заметить, речь тут идет не просто о прототипах, не только о реально-жизненном материале художественного произведения, но о чем-то гораздо более глубинном и, я бы сказал, творчески сокровенном: «...я,— продолжает Носов,— увез непоколебимое убеждение: все, что до сих пор написал Василий Белов, бережно сверено им с жизнью высокой мерой ответственности большого и честного художника».

Эти слова вполне можно отнести и к творчеству самого Евгения Носова, впрочем, как и к творчеству любого, подлинно «большого и честного художника», ибо здесь отмечена не столько индивидуальная, сколько — родовая, типологическая черта истинного творчества. Но есть и другая сторона дела. Большинство прототипов, о которых пишут такие наши прозаики, как Василий Белов, Федор Абрамов, Виктор Астафьев, Сергей Залыгин или тот же Евгений Носов, как

правило их земляки. Они же и их первые и неподкупные судьи, ожидающие от писателей правды и только правды, той правды, которую, возвратимся к мысли Евгения Носова о Белове, писатель «всегда ревниво и как-то болезненно-честно... оберегает перед своими земляками».

«Родовая черта творчества, естественно, проявляющаяся у каждого из таких писателей особо, индивидуально, тем не менее роднит их в чем-то центральном, в самом отношении их к переводу правды жизни — в правду художественную. «Земляки» — не просто «прототипы», «материал», о котором пишут они, но и те читатели-друзья, читатели-судьи, для которых они пишут.

«Тем паче,— размышляет Евгений Носов,— перед лицом такого внимательного и пристрастного читателя, ей-же-ей, трудно, невозможно, непростительно слукавить...»

Ведь и рисунок, преподнесенный умирающему бойцу Копёшкину в рассказе «Красное вино победы», родился не от скуки и не ради хвастовства умением рисовать. Он имеет вполне конкретную цель и задачу: доставить близкому человеку хоть каплю радости, наполнить его сердце сочувствием, связать его сознание с жизнью, — а стало быть, он создан ради добра, в самом широком и ответственном смысле этого слова.

Оттого-то и «документально-бытовая» деталь — домик, могла быть, а могла и не быть в произведении с иной идейно-творческой установкой, но здесь она существенно необходима.

«Картинка была моей вольной фантазией, — с наивпой непосредственностью размышляет рассказчик из «Красного вина победы», — но теперь нарисованная изба обратилась в единственную реальность, оставшуюся после Копёшкина...» Но за этой непосредственностью рассказчика, как мы понимаем, стоит художественная воля самого автора, вкладывающего в уста героя «формулу» своего собственного творческого мирозидания.

Конечно, добро, правда как формы художественности, как ее качественно необходимые условия не являются исключительной принадлежностью творчества Евгения Носова. Напротив, как уже говорилось, — это, скорее, черта, роднящая его с целым рядом наших современных писателей, а по существу — неотъемлемый признак всякого подлинного творчества.

Но, создаваемый даже по одинаково понимаемым законам красоты, художественный образ мира у каждого из истинных творцов слова, как мы знаем, — индивидуален. Да, такие законы для разных писателей в целом могут быть едины. И материал творчества может быть один. И цели и мысли — родственны. Но движимый не какой-то абстрактной, а своей выстраданной любовью к людям и миру, любовью своей неповторимо единственной личности, — художник превращает эту свою любовь в творческое деяние — в «красоту добра и правды».

...Но более всего любовь к родному краю
Меня томила, мучила и жгла... —

так когда-то определил существо своего поэтического лица Сергей Есенин. Так же, по мысли, по настроению, по существу — могли бы сказать и о себе многие наши поэты и прозаики. Но каждый — в формах неповторимых, присущих только ему.

Эти же слова Есенина можно было бы поставить эпиграфом и к творчеству Евгения Носова. Но... не только, далеко не только Носова...

А потому обойдемся без эпиграфов, а попытаемся увидеть, как любовь этого писателя «к родному краю», к людям переплавляется в его творчестве в красоту художественного образа.

«Мы часто повторяем по делу и без дела: «Любить землю», «Любить Родину», — а может быть, чувствовать, ощущать, как самого себя, а?.. — размышляет Виктор Астафьев в связи с творчеством Евгения Носова. — В голой пустыне живут люди, и в тундре живут люди и любят ее так же, как люблю я свою диковатую и прекрасную Сибирь, как любит работающую... пристепную Русь мой друг, не громко, но так проникновенно поющий о ней вот уже почти двадцать лет...»

Работающая пристепная Русь... В самом этом определении органически слились работник и природа, человек и труженица-степь, о которой А. П. Чехов писал как о живой, могучей, сказочной, но как будто сознающей, что она, степь, «одинока, что богатства ее и вдохновение гибнут даром для мира, никем не воспетые...»

Прислушаемся к негромкой проникновенной песне Евгения Носова: «В середине лета по Десне закипали сенокосы.

Перед тем стояла ясная недокучливая теплынь, небо вы-

сокое, емкое, и тянули по нему вразброд, не застя солнца, белые округлые облака. Раза два или три над материковым обрывистым побережьем сходились облака в плотную синеву, и оттуда, с хлебных высот от полужских тесовых деревень, не спеша наплывала на луга туча в серебристых окоемах. Вставала она высокая, величавая, в синих рушниках дождей, разгульно и благодатно рокотала и похохатывала громами...

...Полоскались в веселом споре дожде притихшие лозняки, набухали сахарные пески в излучинах, пили травы, пила земля, набирая влагу про запас в кротовые норы, и, опустив голову, покорно и охотно мокла среди лугов стреноженная лошадь.

...Лесные запахи мешались с медовыми и чайными запахами лугов в крепкий настой, от которого становилось хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе» (рассказ «Шумит луговая овсяница»).

Да, это степь-работница, увиденная глазами народа — труженика и поэта. Здесь мастерская и храм слились неразрывно. «Ясная недокучливая теплынь» — это и поэтическая картина, и бытовое восприятие, оценка степи косарем перед горячей порой сенокоса. «Небо высокое, емкое, и тянули по нему вразброд... белые округлые облака» — просто пейзаж. Но у Евгения Носова — тянули, «не застя солнца». И пейзаж сразу обретает лицо.

Это не только авторская, объективная картина природы, но и народное восприятие: «не застя» — это его, народа, слово. И «хмельно и необъяснимо радостно и молодо на душе» — не у одного рассказчика, но у всех тех, под чьими руками закипали сенокосы. И синие рушники дождей, и земля, набирающая влагу про запас, и настой из лесных и луговых запахов, и лошадь, мокнущая под дождем, с охотой и покорностью, — все это уловлено писателем, умеющим видеть глазами народа.

Такое художественное видение органически присуще произведениям Евгения Носова. О чем бы он ни писал, как бы ни строил авторскую речь, у него всегда ощутимо присутствие народного взгляда.

Порою в это обобщенное, авторски-народное видение вторгнется чисто авторское слово, назначение которого подчеркнуть какую-либо черту, остановить на ней внимание читателя. Старика у него «бледнотелые, с темными, непомерно большими кистями рук и темными, будто из другой кожи, шеями...» «Непомерно большими» — это, конечно, автор-

ское. Старики вряд ли задумываются: померно или непомерно.

Произведения Евгения Носова небогаты событиями, неожиданными поворотами сюжета, они полны красотой человеческой души, отраженной в повседневном, осязаемом действии. Красота мира Евгения Носова рождается, как красота повседневной трудовой жизни его героев.

Что, собственно, происходит в большом рассказе «Шумит луговая овсяница»?

Люди косят. Косит молодая вдова Анфиска. Мужики пошучивают. Во всем заметна «хозяйственная озабоченность и много, много раз пережитая радость... сенокосной страды, крестьянской работы-праздника».

Не ради красного словца сказано: руки «с непомерно большими кистями», и «мокрые, темные, сатиновые и ситцевые спины», и багровые лица, и влажно лоснящиеся виски... Но и «на каждом кончике косы — по росяной капле...»

Поэзия обыденного, реально земного не привносится в мир Носова, но открывается в нем писателем-художником. В процессе этого открывания и происходит здесь творческое пересоздание мира — перевод поэзии земных реалий в реалии художественного мира.

Писатель не навязчиво, исподволь создает зримый и осязаемый образ работы-праздника. Вы не столько слышите рассказ о работе-празднике, сколько ощущаете сами, непосредственно эту праздничность: «Дело-то необычное: сенокос! Кругом воля вольная, и в косарях бродит хмельная удаль, как ни при какой прочей работе». И сами косари «удивлялись: сколько наворочали!» Нелегко труд. «И все-таки было жаль, что прошли покосы, прошло еще одно лето...» Писатель рисует подлинную радость работы «миром», работы, рождающей у читателей ощущение красоты. Нет, он вовсе не стремится нагнетать это ощущение какими-либо заметными художественными ухищрениями. И уж совсем не навязывает это чувство от себя, в открытых авторских декларациях-восторгах.

Но, говоря словами Пришвина, «красота» — в художественном мире Евгения Носова — «почему-то всегда встречается около того места, где совершается общая необходимая... работа».

«Шумит луговая овсяница» — это еще и рассказ о молодой женщине, жаждущей не только общей радости работы-праздника («Анфиска косила широко и жадно, как пьют в жаркий полдень ключевую воду, от которой не хочется

оторваться»), но и личного, житейского счастья: «Анфиска пыталась представить, как косила бы она с мужем... Работали бы молча! А тоже хорошо...» Это рассказ о счастье человеческого чувства, о радости ощущения родного, понимающего тебя человека.

Ночью приходит на покос к Анфиске председатель колхоза Чекурин, который еще вчера «был страшно далек от Анфиски своей исполненной какой-то значительности председательской жизни. Но теперь, видя его так близко, рядом с собой, за простой крестьянской работой, обыденной и понятной ей сызмальства, делавшей его тоже простым и понятным, Анфиска почувствовала себя так, будто знала его давно и работала рядом всю жизнь...»

Предчувствие внезапно пришедшего счастья согревает добрым человеческим теплом весь рассказ Евгения Носова. В нем нет поэтизации быта, но ощутима поэзия обыденного, благодать земного, простого и понятного.

Порою может показаться, что писатель слишком увлекается подробностями, что его мир излишне наполнен не бытом даже, но этнографией быта в духе Успенского или, скажем, несправедливо полузабытого С. В. Максимова с его знаменитыми повестями-очерками из жизни различных слоев дореволюционной России и, прежде всего, — крестьянства. Вот, к примеру, хотя бы одна из таких «этнографических зарисовок» Е. Носова:

«Первыми съезжались в пойму председатели и бригады — местные, из полужских колхозов, и дальше, с суходолов. Суходольские тоже имели здесь свой пай. Ходили по полям в травах, осматривали деляны, ставили тычки.

Дня через два-три начинали двигаться в луга тракторы, сенокосилки, колесные грабли...» и т. д. — описание занимает более страницы, а заканчивается или скорее незаметно переливается оно... в далеко не этнографический, а скорее уж — чисто поэтический образ: «...от змеиных извивов водорослей, и растревоженная Десна била маслянистыми зелеными волнами в берег, качала и рвала на осколки опрокинутое в реку солнце».

Естественное, органичное слияние «очерково-этнографической» точности с поэзией — характернейшая черта художественного мировоссоздания Евгения Носова. Но и в этой индивидуально-носовской черте — в ее истоках, в ее изначальности — заложено глубоко родовое, отличительное свойство поэтики народного сознания. У каждого из писателей, стремящихся взглянуть на мир не только индивидуально, по

вместе с тем и «глазами своего народа» — естественно, так или иначе, — проявляется эта черта.

Что же стоит за такой приверженностью к «этнографии»? Не слишком ли это устаревший, «дедовский» метод художнического познания мира?

Один из величайших писателей современности (здесь нет преувеличений и будем справедливы) — Михаил Пришвин, существенность идейно-творческих исканий и откровений которого мы только сейчас начинаем познавать в их глубине и перспективе, — видимо, не случайно задумывался над этой же проблемой и однажды так «сформулировал» итог осознания собственного творческого метода:

«Я предлагаю для будущей (здесь и далее выделено мной.— Ю. С.) огромной работы художественного сознания воспользоваться и моим «этнографическим» методом художественного изображения действительности. Сущность его состоит в той вере, заложенной в меня, что вещь существует и оправдана в своем существовании, а если выходит так, что вещь становится моим «представлением», то это мой грех, и она в этом не виновата. Поэтому вещь надо описать точно (этнографически) и тут же описать себя в момент интимнейшего соприкосновения с вещью (свое представление)... Это-то и нужно, чтобы открыть путь. Он мне открывается в работе искания момента слияния себя самого с вещью, когда видимый мир оказывается моим собственным миром. Так смотрят на мир... крестьяне, и так все мы, образованные и деятельные люди, пожалуй, будем смотреть, когда освободимся от философской заумности.

Нужно нам учиться у мужика, и глазу его, как он смотрит на мир. Вот почему я толкусь всю жизнь среди наших крестьян...»

Сейчас в нашей современной прозе немало сознательных и бессознательных последователей пришвинского пути. Среди них и Евгений Носов. Однако угадать общее, родственное — еще не значит увидеть творческое лицо писателя. И «этнографическое», и «поэтическое», и пути их слияния в единый художественный образ у каждого из истинных творцов, конечно же, свои.

Вот мы, например, говорили о поэтическом образе «растрепанной Десны», рвущей «на осколки опрокинутое в реку солнце», в рассказе Носова. Поэтический-то он, конечно, поэтический, но... Но, пожалуй, сам по себе не слишком оригинальный. Скорее даже — несколько «затасканный». Сам по себе. Или в сочинениях иных авторов, падких на «красиво-

сти». Но не у Носова. Потому что он у него — не сам по себе. Он — органическая составная его единого и удивительно цельного мира. Уже следующие за этой «поэтической» картиной фразы вновь вводят читателя в «суровую прозу»: «А на мелком, присев на край и сперва испробовав воду вытянутой ногой, перекрестясь, сползали на костлявых задах в реку старики... У иных на синеватой ребристой наготе багрово проступали старые солдатские отметины...»

И эта реально осязаемая деталь заставляет как-то по-новому возвращаться памятью к разорванному на осколки, опрокинутому в реку солнцу. И «затасканный» поэтический штрих преобразуется вдруг в образ, столь обыденно простое и вместе с тем столь трагически совмещающий, казалось бы, несовместимое — красоту жизни и дыхание смерти, оставившей о себе «старые отметины».

Несомненно, это — естественные плоды художественного сознания писателя, определенные его опытом жизни, его судьбой.

Евгений Носов принадлежит к поколению фронтовиков: «...доподлинный окопник, рядовой боец», — скажет о нем его друг, большой писатель Виктор Астафьев, человек с той же солдатской судьбой... и далее: «Нельзя всуе трепать святые слова. Как, впрочем, нельзя и врать о войне. А плохо писать о страданиях народа стыдно. Вот потому-то, наверное, опасается власть в сочинительство мой друг. Мастер и труженик прозы, он знает, что память погибших друзей можно оскорбить неловким словом... И готовится, как мне кажется, напряженно, внутренне готовится писать достойно и с достоинством о самом великом, что было в нашей жизни, — об Отечественной войне. Мне памятна его осторожность, трепет и уважение к памяти погибших...»

Что ж, и солдатская, и писательская судьба дают Евгению Носову моральное право на такую творческую заявку, пусть высказанную и не им самим, но, как мы понимаем, не случайно родившуюся...

Дело благородное и ответственное. Эти качества уже вполне проявились в его рассказе «Красное вино победы».

Внешне спокойно, сдержанно ведет рассказ Евгений Носов. Скупые фразы внутренне предельно наполнены (напомню, что сам по себе сюжет разворачивается в госпитале в последние дни Великой Отечественной).

«Двоих из двенадцати унесли еще в марте... С тех пор койки пустовали. В том, что на освободившиеся места не клали новеньких, чувствовалась близость конца войны...»

В сухой информационной фразе передано крайнее напряжение нервов, направленность всех мыслей и чувств к единому для всех, а вместе с этим и сама атмосфера времени: «После того как пал Будапешт и была взята Вена, палатное радио не выключалось даже ночью».

В будничности рассказа Евгения Носова чувствуется постоянный заряд напряженности, ожидание праздника и убежденность в нем.

Отсюда и та лавина чувств, которую ничто не способно сдержать, когда «Саенко вскинул вдруг руки, потряс в пучке лунного света синими от татуировки кулаками».

— Все! Конец! Конец, ребята! — завопил он. — Это, братцы, конец! — И, не находя больше слов, круто, яростно, счастливо выматерился на всю палату...»

Это было объединяющее ликование: «Люди не могли наедине, в своих домах, переживать эту радость и потому, должно быть, устремились сюда, к госпиталю, к тем, кто имел отношение к войне и победе...» Совсем не бессознательным и стихийным было это ликование, как не стихийным был и ратный труд-подвиг народа. А ликовал народ оттого, что войне конец, и оттого, что это — начало, с которым вернутся прозрачные лунные ночи, запах сена, работа-праздник, высокое небо, спокойное и ясное, громы не артиллерийских орудий, а весенних гроз. Что бы ни несло с собой это начало, оно возвращало людям главное — радость бытия.

Народ ликовал, а в это время умирал на госпитальной койке солдат Копёшкин, неведомый крестьянин из неведомого края, из маленькой деревеньки с загадочным названием — Сухой Житень. Неведомая для других деревенька — «вполне реальная, зримая, и для самого Копёшкина она — центр мироздания».

Радость Победы. «Но Копёшкина уже не было...» Он — «где-то внизу, во дворе, в полутемном каменном сарае», и это уже не он, «а то самое непостижимое ничто, именуемое прахом... «И это все? — спрашивал я себя, покрываясь холодной испариной. — Больше для него ничего не будет? Тогда зачем же он был? Для чего столь долго ожидал своей очереди родиться на земле?...»

В контрасте всеобщего ликования, радости бытия и ушедшего во прах, единственного, незаменимого солдата-крестьянина Копёшкина — высокая, трагическая правда рассказа Евгения Носова. И мысль о необходимости человеческого единения, чтобы все жили друг в друге и друг для друга — единственное, что может вместить в себя трагедию и ликование.

Евгений Носов умеет увидеть и выявить в простом и понятном частицу бытия. Он выявляет духовную основу своих героев в обыденных реалиях: в поступках, жесте, слове, сказанном будто невзначай. Но это всегда такое человечески-земное проявление, которое «душу облакает в плоть...». Потому и самое земное у Носова одухотворено, наполнено красотой человеческого добра.

В небольшом рассказе «Есть ли жизнь на других планетах?», повествуя о случайной встрече заезжего лектора — специалиста по «планетно-космической тематике» и молодого библиотекаря Лены, писатель по существу спрашивает: а знаем ли мы достаточно жизнь на своей планете? Когда девушка полушутя-полусерьезно говорит специалисту: «А мне не хочется, чтобы еще где-нибудь была жизнь... Не могу даже представить, что такой вот наш, такой теплый дождик есть еще где-то...» — лектор Стремухов, «ужасаясь и почти шепотом», спросил: «Значит, вы совсем отрицаете?.. Но это антинаучно!» — «Ну и пусть!» — отвечает девушка. «Ночь шла своим чередом... и молодой месяц, совсем не космический, не нужный никому во всей вселенной, кроме как здесь, на земле, запутался острыми рожками и доверчиво задремал в вишнях».

Есть ли жизнь на других планетах? Кто ж говорит, проблема достойная того, чтобы бились над ней лучшие умы человечества... Но куда важнее, словно говорит автор, чтобы всегда была прекрасной наша маленькая, совсем не космическая, земля, чтобы было хорошо на ней людям, чтобы не растерять в холодных космических проблемах живую тайну движения человеческой души, свою земную поэзию, красоту. Мечтой об этой земной красоте наполнен и рассказ Евгения Носова «Храм Афродиты».

Радостью красоты человеческого труда, уверенностью, что прорастет семя преемственности, традиции работы-искусства, провизан рассказ «В чистом поле за проселком».

И, как бы в назидание скороспелым критическим обобщителям, поспешившим верхоглядно зачислить Евгения Носова по разряду «деревенщиков», писатель хоть и «вдруг», но вряд ли неожиданно-негаданно для себя написал «городскую» повесть — «Не имей десять рублей». Повесть лишний раз, и уже совершенно наглядно, явила подлинно гражданственную, не вмещающуюся в «местнические» схемы, направленность творческих устремлений ее автора.

Не само по себе высокое материальное и служебное положение героя повести, Федора Андреевича, а его неуверенность

в подлинной ценности собственной личности ведет его к полной самоизоляции, к отчуждению от самой жизни. Он — «большой начальник» — сумел впервые за несколько десятков лет поглядеть на живущего с ним бок о бок человека «как-то так, не служебно...». Да и то, когда лишился своего поста. Федор Андреевич даже во сне чувствует себя начальником: он «...сделал строгое должностное лицо... и проснулся». Герой вынужден «делать лицо», потому что и сам он как личность сделан. Он и других людей оценивает сквозь призму этой сделанности, ибо он — не столько человек, сколько... администратор. Он «делает дело», а не живет. И себя, и других людей оценивает сквозь призму административно-служебных ценностей, не предусматривающих, по его понятиям, ценностей просто человеческих. Вот он смотрит на портрет Юрия Гагарина, с завистью «рассматривая улыбчивого человека, обеспечившего себе бессмертие». Именно «обеспечившего» — слово, точно выражающее отношение Федора Андреевича. Сам он пытается обеспечить собственное «бессмертие» то приобретением почти генеральского обмундирования, хотя он и «не попадал под этот ранг», то уж совсем отчаянным жестом — личной подписью на обратной стороне портрета Юрия Гагарина... Писатель не скрывает своего отношения к герою, рисует его крупными мазками, которые один за другим создают вполне законченный портрет современного человека-функции, эдакого своеобразного духовного Кащея Бессмертного, у которого, как известно, если и была душа, то так далеко упрятана, что он и вспоминать о ней разучился. И все же это духовное окостенение героя — на поверхности. Главный же конфликт повести не только в столкновении высокого и низкого пластов жизни, того, который живет в душе Степана Фомича, и того, который поработил Федора Андреевича. Противоборство этих двух «пластов» в повести начинается не со встречи двух давних знакомых, работавших много лет назад едва ли не за соседними станками. Эта встреча только обострила, довела до кризисного состояния другой, более скрытый конфликт тех же двух начал внутри самого Федора Андреевича Толкунова. Нет, этот бывший директор и «бывший человек» не так уж однопланов, как это может показаться. Вот хотя бы история с копией «Девятого вала» Айвазовского, которую сделал для него заводской художник. Когда жена покусилась выбросить ее, Федор Андреевич обиделся, а потом... растерялся: «...без привычной рамы стена оказалась удручающе глухой, будто на том месте только что было окно в мир, а его, это окно, этот мир, заложили кирпичами...»

В этой фразе весь герой Носова: его отношение к миру всегда опосредовано чем-то неподлинным, вторичным. И этот мир, и сам герой существуют в привычных рамках, вне которых и Федор Андреевич к миру, и мир к Федору Андреевичу, как он представляет себе,— удручающе глухи. Казалось бы, образ завершен. Но ведь с другой стороны, «очень уж любил Федор Андреевич этот «Девятый вал» за беспшабашный разгул стихии и потому попросил художника не пожалеть холстины, нарисовать побольше, повнушительнее». Да, здесь и чисто административный восторг и размах: «побольше, повнушительнее», но Федор Андреевич порою «чувствовал себя в духовном родстве с бушующим океаном. И, ощущая себя несокрушимым, молодея душой, азартно, ликующе запевал:

Эй, баргузин, пошевелявай вал —
Молодцу плыть недалечко...»

Нет, здесь не одноплановость, не окончательный приговор,— здесь — подавленная, но все еще ощутимая внутренняя борьба сделанного и естественного, живого и окостенелого, мнимого и подлинного в характере героя. Да, он чувствует себя вполне солидно лишь в рамке своего представления о мире. Но ведь где-то там, в душе, которая есть же, пусть и «за лесами, за горами»,— понимает все же, что ничего не значит как личность вне этой рамки. «Вот тебе и «баргузин»...— мрачно подумал Федор Андреевич.— Доплыл, называется... налил полный стакан коньяку и выпил напропалую... как если бы хотел покончить с собой». Напропалую... В нем еще есть отблеск того духовного родства, которое он находил в картине Айвазовского, он еще не совсем мертв. И с каким собой он хотел бы покончить? С тем, который изолировал себя от жизни, от «известной публики», «всякого поселкового и деревенского люда», или с тем, который собирал книги, «с упованием как-нибудь взяться и все перечитать»? И пытался ведь, хоть и не достиг своих упований: «Ладно, теперь уж и не к чему знать так подробно, не студент,— сказал он себе...» Но, заметьте, сказал «не без грусти...»

Жизнь дала ему еще одну, последнюю возможность обрести в себе человека. Потому так детально и выписывает Евгений Носов все подробности встречи со Степаном Фомичем. Что заставляет Толкунова предать Фомича? Конечно, это и его функциональная привычка не считаться с людьми нижестоящими. Но только ли это? Именно подспудное понимание человеческого превосходства над ним Фомича и создает на-

пряженную внутреннюю кульминацию борьбы «сделанного» и «возможного» в Федоре Андреевиче. Он стоит перед последним выбором. Окончательный приговор федорам андреевичам подписан лишь последней фразой повести.

До последнего выбора — ехать или не ехать к «подлецу» Зинченке, который недавно был с ним в отношении «сапог сапогу пара», а теперь не хочет вспомнить, кто такой Толкунов, — Федор Андреевич все еще пытается обмануть свою совесть, уговорить себя, что он что-то значит сам по себе. Выбор и ставит последнюю точку. Мертвечина — одолела... Герой Носова объективно чужд и даже враждебен нашему времени и обществу. Но что же все-таки его породило? Ведь и Степан Фомич — его сверстник — формировался в тех же условиях, тем же временем...

Тут скорее вопрос о личной ответственности человека и за себя, и за само время. За выбор не только служебных, но прежде всего — человеческих путей в жизни. Вопрос о личной ответственности каждого перед жизнью в конце концов.

Художественная удача повести «Не имей десять рублей» говорит о скрытых пока возможностях писателя и в освоении еще более сложного жанра — романа. Писатель открыл в себе умение смотреть на жизнь не только под знаком утверждения положительных ценностей, но и под углом отрицания мертвечины. Естественная слиянность этих «за» и «против» в большом художественном полотне может помочь писателю в создании объемного, многомерного образа мира. В связи с этим хочется вспомнить о таких рассказах Евгения Носова, как «Живое пламя», «Белый гусь», «Тридцать зерен». Кстати, «Белый гусь», «Радуга» и некоторые другие рассказы говорят и о далеко не использованных возможностях Евгения Носова как писателя для детей. Рассказы эти совсем небольшие, а мы заговорили о романе...

Достоевский в свое время открыл для себя истоки новых романских форм в «Пиковой даме» Пушкина, более того — в поэтической импровизации из повести «Египетские ночи». Лев Толстой утверждал, что зерно его эпопеи — в лермонтовском «Бородино». Очевидно, дело не в величине, не в жанре самом по себе, а в том угле зрения, который помогает художнику осмыслить собственные творческие потенции. Лирическое отступление о птице-тройке в «Мертвых душах», «легенда о великом инквизиторе» в «Братьях Карамазовых», «куст татарника» в «Хаджи-Мурате» — каждый из этих «фрагментов» вполне завершен, способен существовать и вне целого. А вмес-

те с тем они в символически концентрированной форме содержат все многообразие взаимосвязей целого, как зерно хранит в себе будущую могучую красоту дуба. В этом смысле скрытые возможности рассказов Евгения Носова и представляются в известной мере такими вот зернами будущего прорастания.

В «Живом пламени» рассказчик спрашивает: «Ольга Петровна, а что это... не сеете вы на клумбах маков? — Ну, какой из мака цвет!.. Цветом он всего два дня бывает...— Но я все-таки сыпанул тайком щепотку мака,— продолжает рассказчик...— Два дня буйно пламенели маки. И на исходе вторых суток вдруг осыпались и погасли. И сразу на пышной клумбе без них стало пусто...— Вот и все,— сказал я громко, с чувством еще не остывшего восхищения.— Да, сгорел...— вздохнула, словно по живому существу, тетя Оля...— Короткая у него жизнь. Зато без оглядки, в полную силу прожита. И у людей так бывает...»

Эта миниатюра Носова — своеобразный световой фокус, собравший воедино энергию его творчества, по-своему сказывающийся в любом из произведений писателя. Поистине символично окончание рассказа: «Недавно я снова побывал у нее... рядом на клумбе полыхал большой костер маков. Одни осыпались, роняя на землю лепестки, точно искры, другие только раскрывали свои огненные языки. А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны, чтобы не дать погаснуть живому огню».

И эти слова могли бы стать эпиграфом всего творчества писателя: в них заключено ядро его художественного видения. Этим огнем живы его рассказы и повести.

«Чтобы не дать погаснуть живому огню...» — эта заветная мысль писателя по-своему воплощена и в рассказе «В чистом поле за проселком». Давно заброшена старая кузница; умер умелец Захар, «сгорел» прямо за работой. И вдруг ночью ожила кузница. Кто? «— Кто, кто... Может, сам Захар тюкает...— говорит один из персонажей рассказа.— Никто его дела не подхватил... Вот он, может, и поднялся... Забота человека одолела...» А перезвон в кузнице продолжается, да какой: «Его почерк. Слышь, легкость-то руки какая. Не работает, а благовест вызванывает...»

Почерк труда-искусства Захарова восприяли мальчишки. «Проросло семя...»

Эта же идея определила и внутренний пафос написанной позднее, не вошедшей в настоящий сборник повести «Шопен,

соната номер два», в которой писатель убедительно вскрывает за внешней расхлябанностью молодых наших современников — их серьезность в минуты, напоминающие о великом подвиге народа, и внутреннюю, пусть еще не осознанную готовность, если потребуется, к продолжению этого подвига: «Шли молча, сосредоточенно... и старшой слышал близко, сразу же за собой, тяжелое, упрямое дыхание строя. Как тогда, в сорок третьем...»

Вспомним еще раз слова из рассказа «Живое пламя»: «А снизу, из влажной, полной жизненной силы земли, подымались все новые и новые туго свернутые бутоны...» По этой земле шли и тогда, в сорок третьем. «Тем же вечером дядя Саша водил их в первую контратаку. Прорвавшийся враг был остановлен, но многие из них тогда не вернулись...» Но из «жизненной силы земли» поднялись новые... Как поднимались и прежде и всегда простые люди, труженики России за честь и свободу Родины. Может быть, не случайно в русском языке слова — ратай-пахарь и ратник-воин — звучат столь родственно?

В рассказе «Красное вино победы» герой, слушая воспоминания бойцов о своих родных уголках, думает: «Сколько разных мест на земле... Лежали раненые и в других палатах, и у них тоже были где-то свои единственные родные города и деревни. Были они у тех, кто уже никогда не вернется домой... Каждый воевал, думая о своем обжитом уголке, привычном с детства, и выходило, что всякая пядь земли имела своего защитника. Потому и похоронные так широко разлетелись, так густо усеяли русскую землю...»

«Я,— скажет о себе писатель в одном из проникновенно-лирических рассказов-воспоминаний «За долами, за лесами»,— житель соломенной и плетневой России». Евгений Носов — курянин, потомок тех ратаев-ратников, о которых устами Буй-Тура Всеволода сказал когда-то автор нашего «Слова»: «А мой-то куряне опытные воины: под трубами повиты, под шлемами взлелеяны, с конца копья вскормлены, пути им ведомы...»

Пути чести и славы, пути побед ведомы людям нашей земли и в прошлом, и в настоящем. Достаточно напомнить два слова: «Курская дуга» — и перед нами возникнет живой образ непобедимой земли непобедимого народа...

Земля — центральный образ творчества Евгения Носова, потому что это священная земля Родины. «Оно ежели все памятники поставить, как и положено, по тем боям, что тут были, так и пахать негде будет...» Оттого и так дороги писателю

люди, что живут с ним рядом на этой земле, живут, «чтобы не дать погаснуть живому огню» всходов добра, понимания, человечности. В этом одна из «тайн» возвышенной песни о земле в творчестве писателя.

Евгений Носов поет свою песню тихо, душой и главное — своим голосом — чисто и убежденно.

Юрий Селезнев

СОДЕРЖАНИЕ

ХРАМ АФРОДИТЫ. (Деревенские повести)

Шумит луговая овсяница	5
В чистом поле за проселком	46
Варька	59
Шуба	84
Подпасок	99
За долами, за лесами	107
Домой, за матерью	126
Во субботу, день ненастный...	142
Храм Афродиты	166
Есть ли жизнь на других планетах?	192
На рассвете	203
Красное вино победы	220
Объездчик	247
Пятый день осенней выставки	269
Портрет	294
Течет речка	305
И уплывают пароходы, и остаются берега . . .	326

НА РЫБАЧЬЕЙ ТРОПЕ. (Рассказы о природе)

Тропа длиною в лето	381
Ракитовый чай	395
Коварный крючок	401
Зимородок	405
Хитрюга	409
Репейное царство	413
Палтарасыч	416
Чир и чириха	423
Трудный хлеб	429
Черный силуэт	433
Таинственный музыкант	435
Забывтая страничка	438
Лесной хозяин	441
Как патефон петуха от смерти спас	445
Как ворона на крыше заблудилась	450

Разбой на большой дороге	452
Где просыпается солнце?	456
Радуга	463
Белый гусь	467
Живое пламя	472
Тридцать зерен	475
Песня о Родине. <i>Ю. Селезнев</i>	477

Евгений Иванович Носов
ШУМИТ ЛУГОВАЯ ОВСЯНИЦА

Повести и рассказы

Редактор **Т. М. Мугуев**
Художник **Л. Ф. Шканов**
Художественный редактор **Э. А. Розен**
Технический редактор **И. И. Капитонова**
Корректор **Т. В. Лысенко**

ИБ № 712

Сдано в набор 28/IX-76 г. Подп. к печ. 21/II-77 г.
Формат бум. 84×108¹/₃₂. Физ. печ. л. 15,5+1 вкл.
Усл. печ. л. 26,15. Уч.-изд. л. 28,25. Изд. инд.
ЛХ-45. Тираж 100.000 экз. Цена 2 р. 04 к. Бум.
№ 1 типогр. Зак. № 1426.

Издательство «Советская Россия».
Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрика № 1 Росглаволиграфпрома
Государственного комитета Совета Министров
РСФСР по делам издательств, полиграфии и
книжной торговли, г. Электросталь Московской
области, ул. им. Тевосяна, 25.